И БУДУ СУДИТЬ ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

ЯРОСЛАВ ЗОЛОТАРЁВ

Ярослав Золотарёв

И буду судить живых и мертвых

«Автор»
2026

Золотарёв Я.

И буду судить живых и мертвых / Я. Золотарёв — «Автор», 2026

Что было бы, если бы Катюша Маслова не простила?Сибирь, 1890-е. Героиня Толстого выходит на поселение не раскаявшейся грешницей, а судьёй. Ей нечего терять, кроме ненависти. Вместе с подругами — рыжей деревенской Настей и экзальтированной певицей Ниной — она проходит путь от борделя до бомбы: соблазн, шантаж, грабёж, убийство, террор.Роман откровенен во всём — в эротике, в жестокости, в изображении людей, для которых насилие стало языком. Это честный взгляд изнутри на эпоху декаданса, Ходынки и первых бомбистов — глазами женщин, которых общество сначала растоптало, а потом назвало чудовищами.Автор не пропагандирует ни терроризм, ни разврат, и не стремится оскорбить ничьих религиозных чувств. Взгляды героев не совпадают с позицией автора. Это исторический роман о Серебряном веке и русской революции со всеми их противоречиями.Серебряный век без глянца. 18+

© Золотарёв Я., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Живые и мертвые 6
0.1. Мёртвые 7
0.2. Живые 10
0.3. Подвиг 13
0.4. Холод 17
0.5. Господня земля 21
0.6. Смертию смерть 25
0.7. Доктор 30
0.8. Тот берег 33
Глава 1. Желтый билет и красный фонарь 39
1.1. Комитет 40
1.2. Болото 45
1.3. Аукцион 52
1.4. Бездна верхняя и бездна нижняя 59
1.5. Тени незримого 64
Глава 2. Книга живых 73
2.1. Чёрная тетрадь 74
2.2. Суббота 81
2.3. Наверху и внизу 87
Глава 3. Самородок 96
3.1. Ильин день 97
3.2. Кроткая 104
3.3. Сулема 110
3.4. Уроки французского 118
3.5. Соломин 126
3.6. Успение 134
Глава 4. Озеро огненное 139
4.1. Канкан 140
4.2. Скучная история 147
4.3. Покров 153
4.4. Озеро огненное 159
4.5. Иудушка 165
Глава 5. Чёрное платье 171
5.1. Любка 172
5.2. Цепь 178
5.3. Господня земля 183
5.4. Маскарад 188
5.5. Крещение 193
Глава 6. Талая вода 200
6.1. Оттепель 201
6.2. Бабка 205
6.3. Капитал 210
6.4. Кольцо 215
6.5. Прощёное воскресенье 220
6.6. Чистый понедельник 225
Глава 7. Половодье 232

7.1. Арест 233
7.2. Головин 237
7.3. Касса 241
7.4. Коричневая книга 246
7.5. Неудобные вопросы 250
7.6. Огонь 254
Глава 8. В женских руках 260
8.1. Три номера 261
8.2. В первую же ночь 265
8.3. Настя прибирается 268
8.4. Марксизм для дурочек 272
8.5. Красное 276
8.6. Две няньки 280
Глава 9. Наследник Престола 283
9.1. Наследник 284
9.2. Анархизм для дурочек 288
9.3. Дом с садом 292
9.4. Стоны за дверью 295
9.5. Двадцать рублей 298
9.6. Награда 301
Глава 10. Маленький Париж 305
10.1. Прощание 306
10.2. Тайная комната 309
10.3. Французский для Насти 313
10.4. Труппа 316
10.5. Спонсор 321
10.6. Открытие 326
Глава 11. Чайка 331
11.1. Нужна певица 332
11.2. Чайка 336
11.3. Урок 340
11.4. Ебут 344
11.5. Некуда 347
11.6. Конт против Гегеля 351
Глава 12. Примадонна 355
12.1. Привалов 355
12.2. Элеонора Бельканти 359
12.3. Просвещение Сибири 362
12.4. Дива идёт в номера 366
12.5. Укрощение 369
12.6. Книжники и практики 372
Глава 13. Холера 376
13.1. Гостья с низовьев 377
13.2. Чистые руки 378
Конец ознакомительного фрагмента. 379

Ярослав Золотарёв
И буду судить живых и мертвых

Пролог. Живые и мертвые

Гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше.
Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу.

0.1. Мёртвые

Небо над Томском висело низко, серое и тяжёлое, как мокрое арестантское сукно. Оно висело так третий день, и казалось, что оно никогда не поднимется, что его забыли поднять.

В женской камере пересыльной тюрьмы было ещё темно, когда Маслова проснулась. Она проснулась не от холода и не от шума — от тишины. В коридоре было тихо так, как бывает тихо только в одном случае. Она знала этот случай. Все в тюрьме его знают.

— Крыльцов, — сказал кто-то у двери. — Ночью.

И никто не спросил: что ночью? Потому что все знали и это.

Маслова села на нарах. Под ней скрипнули доски, и скрип был громкий и неприличный, как смех на похоронах. Она подумала, что вчера, всего только вчера, она сказала Нехлюдову «простите меня» и ушла, и что вчера же Крыльцов ещё дышал за стеной, хрипло, с присвистом, как дышит старый мех. А теперь он не дышит. А она — дышит. И Нехлюдов где-то в гостинице дышит, ровно и чисто, и, может быть, молится.

Она встала.

Надзиратель долго не хотел пускать. Он был сонный, с красными веками, и от него пахло луком и казённой махоркой. Он говорил, что не положено, что поселенке там делать нечего, что покойник политический, а она уголовная, хоть и помилованная. Маслова молча смотрела на него. Она умела так смотреть. Этому она научилась не у политических и не у Нехлюдова — этому её научил дом Китаевой, где мужчины, которые говорили «нельзя», через минуту говорили «можно», если на них правильно смотреть.

— Ну иди, — сказал надзиратель и отвёл глаза. — Только скоро.

Мертвецкая была в подвале. Туда вели семь ступеней. Маслова потом всю жизнь помнила, что их было семь, хотя не считала.

Внизу был холод, другой, не уличный: неподвижный, стоячий, как вода в колодце. На столе, на голых досках, лежал Крыльцов.

Он был жёлтый. Жёлтый не так, как бывают жёлтыми больные, а так, как бывает жёлтым воск, как бывает жёлтой старая бумага. Губы его разошлись, и были видны зубы, и казалось, что он усмехается. Он и при жизни так усмехался — когда говорил о них. О судьях, о генералах, о графинях. О тех, кто сыт.

Маслова стояла и смотрела на его руку. Рука свесилась со стола. Пальцы были длинные и тонкие, пальцы студента, который никогда не держал ни плуга, ни топора. Эта рука ничего не успела. Ничего.

Она вспомнила, как он говорил на этапе, задыхаясь, а все молчали: что с ними нельзя по-человечески. Что они не люди. Что это звери, хищные звери, и с ними надо как со зверями.

Тогда она испугалась этих слов. Тогда Марья Павловна покачала головой, а Симонсон сказал что-то длинное и доброе о том, что всякая жизнь священна. И она согласилась с Симонсоном, потому что любила его, и потому что слова его были тёплые, а слова Крыльцова были холодные, как этот подвал.

Теперь она стояла в холоде, и холод был правдой.

— Ты прав был, — сказала она вслух. И испугалась своего голоса, который не отразился от стен, а лёг на пол, как тряпка.

Крыльцов усмехался.

На тюремном дворе её ждали двое.

Симонсон стоял у ворот с узлом за плечами, высокий, сутулый, в пальто, из которого он вырос ещё в университете. Борода у него была рыжая, клочковатая, и в ней запутались соломинки. Он смотрел на небо, и губы его шевелились: он, наверное, думал о чём-то большом

— о том, как всё живое связано в одну ткань, как звёзды связаны с людьми, а люди с травой. Он всегда думал о большом. Он не замечал луж.

А посредине двора, на сухом месте, которое он, должно быть, выбирал нарочно, стоял Нехлюдов.

Он был в хорошей шубе, но без шапки — шапку он держал в руках, как держат в церкви. Лицо у него было бледное, светлое, промытое, лицо человека, который не спал всю ночь и всю ночь был счастлив. Маслова поняла это сразу. Он был счастлив. Пока Крыльцов умирал за стеной, Нехлюдов был счастлив.

— Катюша, — сказал он.

Она подошла. Она заметила его калоши — новые, блестящие, без единого пятна грязи. Как он прошёл через этот двор в чистых калошах? Он умел. Они все это умели.

Он говорил. Он говорил долго и хорошо: о том, что теперь всё иначе, что он понял, что ему открылось, что жизнь его только начинается, что он будет писать ей, что она всегда, всегда может рассчитывать… Он говорил «новая жизнь», и голос его дрожал на этих словах, как дрожит пламя свечи.

Маслова слушала и не слышала. Она смотрела на его руки. Белые, чистые руки, сжимавшие шапку. Эти руки десять лет назад в ночь на Светлое воскресенье расстёгивали на ней кофточку. Эти же руки сегодня держат шапку, как в церкви.

— Вот, — сказал он и протянул конверт. — Это на первое время. Я прошу тебя. Не ради меня — ради…

Он не договорил, ради чего.

Симонсон, не оборачиваясь, сказал от ворот:

— Не надо, Катерина Михайловна. Мы проживём трудом.

Маслова взяла конверт. Взяла молча и спокойно и, не глядя на Нехлюдова, сунула его за чулок, привычным движением, тем самым, каким когда-то прятала в доме Китаевой деньги от хозяйки. Нехлюдов покраснел и отвёл глаза. Он узнал это движение. Она видела, что он узнал.

— Прощайте, Дмитрий Иванович, — сказала она.

И пошла к воротам, не оборачиваясь, и знала, что он стоит посреди двора с шапкой в руках и смотрит ей вслед, и что лицо у него больше не счастливое.

Это была первая минута за весь день, когда ей стало легче.

Подводу нанимали у заставы. Мужик был кафтанчиковский, приехал в город с дровами и ехал теперь порожняком. Он долго разглядывал их обоих — сутулого рыжего барина с узлом и бабу в арестантском, с лицом, которое не было похоже на арестантское.

— Поселька, однако, — сказал он, ни к кому не обращаясь, и сплюнул. — Ладно. Садись. Полтинник.

Ехали долго. Город отступал назад — сначала избы, потом заборы, потом золотые главы, которые ещё долго висели над серым, как будто их подвесили к небу на нитке. Потом и они пропали.

Дорога шла лесом. Берёзы стояли голые, белые, и было в них что-то покойницкое, что-то от простыней. Колёса вязли в грязи, мужик ругался тихо и однообразно, лошадь мотала головой.

Симонсон говорил. Он говорил о том, как хорошо, что они будут жить на земле, своим трудом, как все; о том, что жизнь проста, если её не усложнять; о том, что в каждом человеке, даже в самом дурном, есть живая частица, и её не может уничтожить никакая тюрьма. Говорил о Крыльцове — что тот не умер, что ничто не умирает, а только переходит в иное.

Маслова не слушала слов. Она слушала голос. Голос был тёплый и немного смешной, с лёгким заиканием на трудных звуках, и от этого голоса ей хотелось плакать — не от горя, а от чего-то другого, чему она давно разучилась давать имя.

Она нашла его руку под рогожей и сжала. Рука была большая, неловкая, холодная. Он замолчал на полуслове и посмотрел на неё, и в его близоруких глазах было удивление, почти испуг, как будто он впервые заметил, что рядом с ним сидит женщина.

— Катя, — сказал он тихо. Так её никто не называл. Ни Нехлюдов, ни тётушки, ни Китаева. Никто.

Она прижалась к его плечу и закрыла глаза.

И подумала, что, может быть, Крыльцов всё-таки неправ. Что, может быть, можно и так — в избе, с этим нелепым, добрым, рыжим человеком, который боится её коснуться. Что, может быть, вот это и есть…

Она не додумала — что.

Пошёл снег.

Он пошёл сразу, без предупреждения, большими медленными хлопьями. Он ложился на рогожу, на рыжую бороду Симонсона, на круп лошади, на чёрную дорогу. Он ложился на берёзы, на поля, на далёкий город с золотыми главами. Он ложился на тюремный двор, где, может быть, всё ещё стоял Нехлюдов, и на подвал с семью ступенями, где лежал Крыльцов.

— Зима, однако, — сказал мужик. — Рано нонче.

Впереди, за пеленой снега, залаяли собаки, и потянуло дымом.

Снег падал на живых и на мёртвых.

0.2. Живые

Изба стояла на краю, там, где кончался Кафтан и начинался бор.

Дальше дорога уходила в сосны, прямая и тёмная, как коридор, и по обе стороны от неё стояла вода. Не озеро и не река, а болотная, ржавая вода между кочками, с белыми корнями, с мёртвыми, без коры, стволами, которые торчали из неё, как кости. Осенью над болотом стоял пар. Зимой оно замёрзнет, и станет тихо так, что будет слышно, как трещит в бору мороз.

Избу им отдали потому, что никто другой в ней жить не хотел. Здесь умер бобыль, одинокий и злой, и умер нехорошо — долго, никого не позвав. Говорили, что по ночам он ходит. Маслова не верила, что он ходит. Она знала, что мёртвые не ходят, а лежат — жёлтые, с усмешкой, на голых досках.

За поляной была Барабинка, татарская деревня. Оттуда тянуло другим дымом — кизяком, бараньим салом, — и доносилась другая речь, гортанная, быстрая. Если пройти по дороге дальше, через бор, был ручей Умка, за ручьём поле, а за полем — Томь.

А за Томью — Томск.

В ясные дни с высокого берега было видно, как на той стороне, на горе, горят главы. Маслова ходила смотреть на них. Она стояла над рекой, в сером платке, и смотрела на тот берег, как смотрят из окна тюрьмы на волю, хотя здесь не было ни решёток, ни часовых. Здесь была только вода, широкая, бурая, холодная. И этого было довольно.

Кафтан встретил их молча.

Молчание было хуже ругани. Ругань — это разговор, а молчанием говорят: вас нет. Бабы у колодца замолкали, когда она подходила, и начинали снова, когда она отходила, и она слышала за спиной одно и то же слово, сказанное без злобы, с какой-то даже ленивой точностью, как называют погоду или масть лошади:

— Варначка.

Варнак — каторжник. Это слово здесь знали двести лет. Его знали деды, которые помнили, как гнали по тракту кандальных. Оно было старше всех, кто его произносил, и Маслова чувствовала, что против него ничего нельзя сделать, как ничего нельзя сделать против мороза.

Мужики смотрели иначе. Мужики смотрели на неё так, как смотрели в доме Китаевой: сначала на лицо, потом ниже, потом опять на лицо, с усмешкой. Они что-то знали. Деревня всегда всё знает. Как дошло — неизвестно: может быть, писарь в волости прочёл бумагу и рассказал куму, а кум свату. Но через неделю весь Кафтан знал, кто она и откуда. И что живёт с барином невенчанная.

— Блудом живут, — сказала однажды в церкви старуха в чёрном, сказала громко, на всю паперть, и перекрестилась.

Священник, отец Никандр, толстый, с маленькими умными глазками, ничего не сказал. Он только посмотрел на Маслову долгим и внимательным взглядом. И она поняла, что и он смотрит так же, как мужики, только он лучше умеет это прятать.

Больше она в церковь не ходила.

Симонсон не замечал ничего.

Он не замечал, что бабы замолкают, что мужики усмехаются, что ребятишки кидают в их забор комьями. Вернее, замечал, но объяснял всё по своей теории: темнота, невежество, вековое угнетение. Это не их вина. Это вина строя. Надо просвещать, надо любить, надо ждать.

Он колол дрова, и это было страшно и смешно. Он брал топор, как берут незнакомый инструмент, — за середину топорища, далеко от конца, — и бил не туда, и полено отскакивало, и он нагибался за ним, сутулый, длинный, с лицом виноватым и сосредоточенным. Однажды топор соскочил и рассёк ему сапог. Крови было немного, но Маслова, увидев её, побелела, как никогда не белела в тюрьме.

— Пустяки, Катя, — сказал он и улыбнулся. — Царапина. Всякая материя стремится к восстановлению.

Она отобрала у него топор и колола сама. Она умела: в детстве, у тётушек, она делала всё. Сосновые поленья раскалывались с сухим, коротким звуком, и пахло смолой. Он стоял рядом и смотрел на неё с восхищением, которое было почти благоговением, и говорил, что вот она — настоящий человек, человек труда, человек земли, что в ней живёт народ, а он только интеллигент, гнилой продукт…

Она не дослушала и ушла в избу. Ей было стыдно и приятно.

Первая их ночь была в начале октября.

Он долго не решался. Он вообще не знал, как это делается, — не в том смысле, в каком не знают мальчики, а в другом: он не знал, как это делается по-человечески. Ему, кажется, представлялось, что сначала нужно всё обсудить, установить равенство, объяснить, что он ничего не требует и ни на что не претендует.

Она не дала ему объяснить.

Она знала тела. Она знала их сотни, жирные и тощие, пьяные и трезвые, торопливые и медлительные, тела купцов, чиновников, приказчиков, студентов. Она знала, что такое мужское тело, лучше, чем отец Никандр знал Писание. И она взяла это знание и обратила на него — на неловкого, близорукого, рыжего, который дрожал, как в лихорадке, — и в первый раз в жизни это было не работой, не платой, не грехом, а чем-то, чему у неё не было слова.

Потом он лежал, глядя в потолок, где ходили тени от лампы, и говорил, что это был акт освобождения. Что любовь, свободная от собственности и церковного рабства, есть прообраз будущего общества.

Она смеялась, уткнувшись ему в плечо, и плакала, и не могла остановиться. Он испугался. А она не могла объяснить, что смеётся над его словами и плачет от того, что он рядом, и что это одно и то же.

За стеной, в болоте, что-то чавкнуло и затихло.

А потом были книги.

Он привёз их с собой — целый узел, обвязанный ремнём. Они были истрёпанные, с чужими пометками на полях, некоторые без переплёта, некоторые запрещённые, обёрнутые в старые «Епархиальные ведомости». Он раскладывал их на столе, как раскладывают драгоценности, и трогал корешки.

Читать она умела: выучили тётушки. Она читала когда-то, ещё девушкой, романы, переводные, про графинь и похищения, и плакала над ними. Но это было другое.

Он дал ей сначала «Что делать?».

Она читала медленно, шевеля губами, при лампе, когда за окном выл ветер. Она прочла о Вере Павловне и о её снах, о хрустальном дворце, о новых людях. И прочла о Насте Крюковой — девушке из того же мира, что и она, которую Вера Павловна спасла, взяв в свою мастерскую.

Она закрыла книгу и долго сидела неподвижно.

— Ну что? — спросил Симонсон, светясь. — Ведь правда?

— Правда, — сказала она.

Но думала она не о хрустальном дворце. Она думала о том, что Настю Крюкову спасали. Что её все спасали — тётушки, Нехлюдов, политические, теперь вот Симонсон. Что её всю жизнь кто-то спасал или губил, и это было, в сущности, одно и то же, потому что её саму никто не спрашивал.

Он дал ей Сеченова. «Рефлексы головного мозга». Она продиралась через эту книгу неделю, с карандашом, и спрашивала его о каждом слове. И когда поняла главное — что душа есть рефлекс, что мысль есть движение нервов, что нет никакой бессмертной частицы, а есть только раздражение и ответ на раздражение, — она засмеялась странным смехом и сказала:

— Значит, и стыда нет. Есть только рефлекс.

Он не нашёл, что ответить. Он вообще всё чаще не находил, что ответить на её вопросы. Она задавала их не так, как задают ученицы, а так, как задают на допросе: прямо, в упор, не принимая длинных ответов.

Он дал ей Милля, «О подчинении женщины». Дал Писарева. Дал Лаврова — «Исторические письма», и она читала о долге, который образованные классы несут перед народом, о долге, оплаченном кровью и потом миллионов, и думала: долг. Значит, его можно взыскать. Как Китаева взыскивала долги с девушек — по книжке, по счёту, до копейки.

Она начала вести тетрадь. Он подарил ей толстую, в клеёнчатой обложке, купленную ещё в Нижнем. Она выписывала туда мысли, которые её поражали, и рядом писала свои — коротко, без запятых, неровным почерком, который с каждой неделей становился твёрже.

Однажды он заглянул в тетрадь через плечо и прочёл:

«Сеченов говорит рефлекс. Лавров говорит долг. Крыльцов говорил звери. Кто прав. Все правы».

Он ничего не сказал. Он только погладил её по голове, как гладят ребёнка, и отошёл к печке.

Она не заметила, как он закашлялся.

В ноябре пошла шуга.

Томь, широкая и бурая, понесла лёд — сначала кашей, мелкой и серой, потом льдинами, которые тёрлись друг о друга и стонали. Паром встал. Перевозчик ушёл в Кафтан пить. Тот берег стал недостижим, как луна.

Маслова пришла на высокий берег и долго стояла, глядя, как идёт лёд.

На той стороне, на горе, горели главы. Где-то там, в тепле, в гостинице, в ресторане с крахмальными скатертями, обедал Нехлюдов. А она стояла здесь, на ветру, и лёд шёл между ними, и она думала, что так и должно быть. Что между ними всегда шёл лёд, только раньше его не было видно.

Когда она вернулась, Симонсон сидел у печки, укутанный в её платок, и читал. Лицо у него было красное от жара печи, а может быть, не от печи.

— Холодно, Катя, — сказал он и улыбнулся виновато. — Удивительно, как холодно. Человек, в сущности, совсем не приспособлен к холоду. Это интересно.

И закашлялся снова — долго, глухо, отвернувшись к стене.

0.3. Подвиг

В Томске Нехлюдов занимал два номера в лучшей гостинице на Почтамтской: в одном спал, в другом думал.

Думал он много. Он вставал в восемь, хотя мог бы спать до полудня, — вставал нарочно, потому что ранний подъём был частью новой жизни. Умывался холодной водой из кувшина, хотя коридорный по первому звонку принёс бы горячую. Потом садился к столу, раскрывал Евангелие в чёрном переплёте и читал одну главу, всегда одну, медленно, подчёркивая карандашом. Потом закрывал книгу, смотрел в окно на серую улицу, где по деревянным мосткам шли чиновники в шинелях и бабы с корзинами, и испытывал чувство, которое он называл умилением.

Он умилялся тому, что он здесь.

В самом деле: кто из его круга сделал бы то, что сделал он? Кто бросил бы Петербург, имения, общество, карьеру — и поехал бы в Сибирь за каторжницей, и остался бы в Сибири, когда она его отвергла? Никто. Ни Шенбок, ни Селенин, ни тем более Масленников. Они бы посмеялись. Они и смеялись, должно быть, — там, в Петербурге, за ужином у Кюба, — смеялись над ним. И он прощал им этот смех, и прощение тоже наполняло его умилением.

Он писал письма. Длинные, по восемь, по десять страниц, сестре, Марье Павловне, которая ушла с партией дальше, в Иркутск, и ещё одному человеку, которому письма никогда не отправлял. Он писал о том, что понял. О том, что жизнь проста. О том, что надо жить для души, не противиться злу насилием, любить врагов. Перечитывая, он находил письма прекрасными и иногда, перечитывая особенно удачное место, чувствовал на глазах слёзы.

Никто, читая эти письма, не догадался бы, что их автор ни разу за два месяца не спросил себя, на какие деньги живёт.

Обедал он в ресторане при гостинице.

Это его немного смущало. Он думал, что следовало бы есть простую пищу, щи и кашу, как едят мужики, и обедать в харчевне, где обедают мещане и извозчики. Однажды он даже пошёл в такую харчевню, у Базарной площади. Там было накурено, пахло кислой капустой и мокрыми овчинами, и пьяный ямщик, увидев его шубу, полез целоваться и назвал «вашим благородием». Нехлюдов просидел там двадцать минут, не притронувшись к щам, и вернулся в гостиницу с головной болью.

Он решил, что простота — дело внутреннее, а не внешнее.

От мяса он отказался. Это была его гордость. Он заказывал стерлядь — обскую стерлядь, которую здесь подавали так, как не подавали и в Петербурге, — или нельму, или муксуна, и уху из ершей, и пироги с черемухой, и кедровые орехи на десерт. Стерлядь не была мясом. Он это проверял по совести, и был совершенно уверен, что не была.

Половой, рыжий, с прилизанными волосами, ставил перед ним серебряную миску, кланялся и говорил:

— Вчерашняя-с, Дмитрий Иванович, утренняя. Ещё живая была.

И Нехлюдов кивал и думал о том, что вот он не ест мяса, не участвует в убийстве живых существ, — и ел стерлядь, которая была ещё живая утром.

Томск заметил его быстро.

Томск вообще всё замечал быстро: это был город, где всем было скучно. Через две недели о Нехлюдове знали все. Знали, что он князь, что богат, что отдал землю мужикам, что приехал за каторжной и что она — вот потеха — ушла от него к какому-то политическому, рыжему жиду или немцу, неизвестно. В гостиных говорили «наш толстовец» и улыбались.

Его стали звать. Он сначала не ездил, потому что светская жизнь была ему противна. Потом поехал к губернаторше, потому что отказ был бы невежлив, а невежливость тоже грех.

Потом к жене управляющего казённой палатой. Потом к вдове золотопромышленника, у которой был лучший в городе рояль и лучшие в городе ананасы из собственной оранжереи.

Он сидел в креслах, в гостиных с пальмами в кадках, и рассказывал. Он не хотел рассказывать, но его просили, и он, вздохнув, рассказывал — сначала коротко, потом подробнее, потом с теми подробностями, которые сами собой складывались в ясную и трогательную историю: молодость, ошибка, суд, раскаяние, Сибирь. Рассказывая, он видел, как дамы прикладывают к глазам платки, и чувствовал от этого не удовольствие, нет, а ту же, всё ту же тихую и чистую радость.

— Вы святой, князь, — сказала однажды вдова золотопромышленника, дама лет сорока, полная, в лиловом, с влажными глазами. — Нынче таких нет.

— Я не святой, — ответил Нехлюдов. — Я самый большой грешник из всех, кого вы знаете.

И это прозвучало так хорошо, так искренне, что вдова, придвинувшись, положила ему на руку свою пухлую руку, в кольцах.

Потом заговорили о «Крейцеровой сонате». Её в Томске ещё никто не читал: только слышали, что Толстой написал что-то ужасное о браке, что повесть запрещена и ходит по рукам в литографированных листках. У Нехлюдова листки были. Ему прислали из Москвы. Он пересказал содержание — что плотская любовь есть грех, что брак есть узаконенный разврат, что человечество должно стремиться к целомудрию, даже если от этого прекратится.

Дамы ахали. Вдова дышала часто. Нехлюдов говорил о целомудрии и смотрел, не замечая того, на её полную шею над лиловым воротником.

Вечером, у себя в номере, он записал в дневник:

«Был у Н. Говорил о главном. Кажется, был понят. Как трудно и как радостно нести правду в этот мир суеты».

И, подумав, приписал:

«Господи, благодарю Тебя, что я не как прочие».

Он не вспомнил, откуда эти слова. Перечитав их, он остался доволен.

В декабре, когда Томь стала и через реку проложили санную дорогу, он поехал в Кафтан.

Он долго собирался. Он говорил себе, что не должен ехать, что это будет слабостью, что она сделала свой выбор и надо уважать её свободу. Потом говорил себе, что не ехать — гордыня, что надо проверить, не нуждаются ли они в чём-нибудь, что христианин обязан навещать. Потом нанял лучшие сани, с медвежьей полостью, и купил в лавке у Второва фунт чаю, голову сахару, банку французских конфет и, подумав, тёплый оренбургский платок.

Сани неслись по льду. Мороз щипал лицо. Нехлюдов смотрел на белую реку, на тёмный бор на том берегу и думал о том, как он войдёт, как она встретит его, и сердце билось часто и неровно.

Изба стояла на краю села, у бора, низкая, вросшая в снег, с крошечными окнами. Из трубы шёл дым. Нехлюдов остановился перед ней и почувствовал умиление: вот она, простая жизнь, вот то, о чём он столько писал. Бедность. Труд. Земля.

Он не заметил, что ставни покосились, что в сенях намело снега, что дрова сложены неумело и половина сырые.

Открыла она.

Она была в старом сером платье, в валенках, с закатанными рукавами, и руки у неё были красные от холодной воды. Лицо похудело, и скулы обозначились резче. Она посмотрела на него, на шубу, на кулёк с конфетами, — и в её глазах ничего не изменилось. Ничего.

— Дмитрий Иванович, — сказала она. — Входите. Холодно.

Самовар был старый, помятый, и пел тоненьким голосом.

Симонсон сидел у печи, в тулупе, хотя в избе было жарко, и кашлял. Он обрадовался Нехлюдову искренне и шумно, как радуются дети и чудаки, тряс ему руку, говорил, что очень,

очень рад, что как это прекрасно, что люди разных классов могут вот так, по-братски… Потом опять закашлялся.

— Вам нужен доктор, — сказал Нехлюдов.

— Пустяки, — сказал Симонсон. — Организм справится. Организм, в сущности, мудрее врачей.

Нехлюдов посмотрел на Маслову. Она разливала чай и не подняла глаз.

На столе, среди чашек, лежала книга, открытая, с карандашом в переплёте. Нехлюдов скосил глаза и прочёл на корешке: «Исторические письма». И рядом тетрадь в клеёнке, исписанная неровным почерком.

Он почувствовал что-то, чему не хотел давать имени. Это было похоже на ревность, но он знал, что ревность — чувство низкое, плотское, и он её давно в себе победил. Это было что-то другое. Может быть, тревога за её душу. Лавров, социалисты, насилие. Это было не то. Она должна была идти другим путём.

— Ты читаешь, Катюша? — спросил он ласково, как спрашивают ребёнка.

— Читаю, — сказала она.

— Я привёз бы тебе… Есть прекрасные книги. Евангелие, изложенное для народа. Я бы мог…

— Спасибо, Дмитрий Иванович. Мне есть что читать.

Она сказала это спокойно и вежливо, и он не нашёл, что ответить.

Он заговорил о себе. Он не хотел говорить о себе, но так вышло. Он рассказал, как живёт в Томске, как ему одиноко, как трудно человеку, который понял правду, жить среди людей, которые её не понимают. Как он страдает. Да, страдает. Пусть она не думает, что ему легко. Остаться здесь, в Сибири, одному, вдали от всего…

Маслова слушала, глядя в чашку. Потом подняла глаза.

Она посмотрела на его руки, белые, с отполированными ногтями, лежавшие на её грязной клеёнке. Потом на свои, красные, в цыпках, с трещиной на большом пальце, которая не заживала третью неделю. Потом снова на его лицо — чистое, светлое, страдающее.

И впервые за весь вечер улыбнулась.

Нехлюдов принял эту улыбку за прощение.

Уезжал он в сумерках. Она вышла проводить его на крыльцо, накинув на плечи — не оренбургский платок, который он привёз и который остался лежать на лавке, нетронутый, а свой, старый, серый.

— Если что-нибудь… — сказал он. — Деньги, доктор, что угодно… Ты знаешь, где я.

— Знаю, — сказала она.

Сани тронулись. Он обернулся. Она стояла на крыльце, тёмная на белом, и не махала рукой. За ней чернел бор. Из избы доносился кашель.

В Томск он вернулся к девяти. В ресторане было светло и тепло, играл оркестрик, пахло жареным и духами. Рыжий половой поклонился:

— С мороза, Дмитрий Иванович? Стерлядки прикажете?

— Прикажу, — сказал Нехлюдов и вдруг почувствовал страшный голод.

Он ел стерлядь, пил белое вино и думал о том, какой он сегодня совершил трудный, какой высокий поступок. Он поехал к ней — и не упрекнул. Он увидел соперника — и не возненавидел. Он предложил помощь — и смиренно принял отказ.

Ночью, у себя в номере, он записал в дневник:

«Был у неё. Победил в себе ревность. Она, кажется, поняла меня. Её улыбка на прощание — это начало».

Он лёг спать счастливым.

А в Кафтане, в избе у болота, Маслова сидела над тетрадью при лампе и писала неровным, твердеющим почерком:

«Приезжал. Говорил о своих страданиях. Руки белые. Оставил платок. Отдам бабам. Пусть носят княжеский».

И ниже, после долгого перерыва:

«Он никогда ничего не поймёт. Его нельзя простить, потому что ему нечего прощать. Он не виноват. Он такой. Таких можно только судить».

0.4. Холод

Холод пришёл на Крещенье.

Он пришёл не так, как приходит погода, а так, как приходит враг: ночью, неслышно, со всех сторон сразу. Вечером ещё было терпимо — двадцать, двадцать пять, обычная сибирская зима, к которой даже Симонсон начал привыкать. А утром Маслова проснулась от того, что у неё онемело лицо. В избе стоял пар от дыхания. Вода в ведре у двери превратилась в камень. Стёкла заросли белым мохом в палец толщиной, и свет сквозь них шёл мёртвый, молочный, как сквозь бельмо.

Снаружи было тихо. Так тихо, что звенело в ушах.

Потом в бору что-то треснуло — громко, как выстрел. Маслова вздрогнула.

— Деревья, — сказал Симонсон из-под тулупа. Голос у него был хриплый. — Сок замерзает и разрывает ствол. Удивительно. Физика.

Он улыбнулся. Губы у него были сухие и потрескавшиеся.

Холод был везде.

Он сидел в углах избы, куда не доставало тепло печи, и в углах был иней — пушистый, белый, красивый, как на рождественских открытках. Он сидел под полом, и пол был ледяной, и ноги стыли даже в валенках. Он сидел в стенах, и по ночам стены потрескивали, будто кто-то ходил за ними — может быть, бобыль, который умер здесь нехорошо.

Печь надо было топить постоянно. Дрова сгорали, как солома. Маслова вставала ночью по три раза, подбрасывала поленья, смотрела, как занимается огонь, и снова ложилась, прижимаясь к Симонсону, и чувствовала, что он горячий.

Горячий не так, как горяч живой человек. По-другому.

— Ты горишь, — сказала она на второе утро.

— Пустяки. Простуда. Организм…

— Организм мудрее врачей. Я знаю.

Она сказала это резче, чем хотела. Он посмотрел на неё удивлённо и виновато. Она отвернулась.

Простуду он получил по своей доброте. Это было самое невыносимое.

В Крещенский сочельник она ушла в волость: раз в месяц поселенка должна была отмечаться у писаря, и пропустить было нельзя. Волость была далеко, она вернулась затемно. А он без неё решил сделать ей подарок — натаскать воды, чтобы ей не ходить. Пошёл с вёдрами к Умке, к проруби, в сорок градусов, в своём университетском пальто. Таскал воду. Вспотел. Поскользнулся у проруби, промочил ноги по колено. И продолжал таскать, потому что не умел бросать начатое, потому что дал себе слово натаскать полную кадку.

Когда она вошла, кадка была полна. Вода в ней уже затянулась ледком. А он сидел у печи, мокрый, синий, с застывшей на лице счастливой улыбкой.

— Вот, Катя, — сказал он. — Тебе не нужно будет ходить.

Она хотела закричать. Она хотела ударить его. Вместо этого она стащила с него мокрые сапоги, растёрла ноги, укрыла всем, что было в избе, и до утра поила горячим чаем с малиной, которую выменяла у барабинских татарок на свою единственную шёлковую ленту.

Утром в Кафтане звонили к обедне. Шли на Иордань — святить воду. Бабы в праздничных шубах, мужики, дети. Шли мимо их избы, крестились на церковь, смеялись. Кто-то крикнул про варначку. Кто-то запел.

А в избе, под тулупом, человек, который хотел натаскать ей воды, начинал умирать.

На третий день она поняла.

Он дышал часто и неглубоко, с хрипом, будто внутри у него что-то рвалось. Щёки горели пятнами, а губы синели. Он кашлял, и кашель был теперь другой — мокрый, тяжёлый, и в тряпке, которую она подставляла, оставалось ржавое. Как вода в болоте.

Она видела такое. В больнице, где работала сиделкой. Там говорили: воспаление лёгких. Крупозное. Там говорили: ждать кризиса, на седьмой, на девятый день. Или пройдёт — или нет.

Она пошла в Барабинку.

Татары в Барабинке не называли её варначкой. Может быть, потому что не знали этого слова. Может быть, потому что сами были здесь чужие — чужие старожилам, чужие попу, чужие всем. Старый Ибрагим, у которого она выменивала молоко, выслушал её, кивнул и позвал внука, мальчишку лет четырнадцати, с узкими быстрыми глазами.

— Ахмет поедет, — сказал старик. — Ахмет быстрый.

Она написала записку на листке, вырванном из тетради. Писала, и рука не дрожала:

«Дмитрий Иванович. Симонсон умирает. Воспаление лёгких. Нужен доктор. Сегодня. Е. М.»

Мальчишка ускакал по льду в Томск, на мохнатой татарской лошадке. Она стояла на высоком берегу и смотрела, как он уменьшается, превращается в точку, пропадает в белом.

На той стороне, на горе, горели главы церкви. Холодно горели, как лёд.

Доктор приехал на следующий день к вечеру.

Он был немец, Карл Фёдорович, сухой, в пенсне, с саквояжем. Он вошёл в избу, огляделся, поморщился от тесноты и запаха, снял шубу, долго грел руки над печью. Потом выслушал Симонсона — прикладывал ухо к его груди, стучал пальцами, слушал опять — и лицо у него было непроницаемое, как у чиновника, который читает чужое прошение.

— Крупозная пневмония, — сказал он по-немецки, будто себе, потом по-русски: — Двусторонняя. Запущено. Надо было раньше.

— Раньше не было доктора, — сказала Маслова.

Он посмотрел на неё поверх пенсне. Он, должно быть, знал, кто она. Весь Томск знал.

— Камфара. Банки. Тепло. Ждать кризиса. — Он помолчал. — Я ничего не обещаю.

Он оставил порошки и склянку, взял с неё — нет, не с неё: сказал, что уплачено. Уплачено князем. И, уже надевая шубу, достал из кармана конверт.

— Вам. От князя.

Она разорвала конверт, когда сани доктора отъехали. На плотной бумаге с вензелем, ровным красивым почерком было написано:

«Катюша. Посылаю лучшего доктора в Томске. Сам приехать не могу — нездоров, да и думаю, что моё присутствие сейчас было бы тягостно. Молюсь за него и за тебя. Да будет воля Божия. Твой Д. Н.»

Нездоров. Она представила себе, как он нездоров — в тёплом номере, в халате, с Евангелием на коленях. Как он молится. Как ему тягостно.

Потом, много позже, она узнает: в тот вечер, когда Ахмет привёз записку, у вдовы золотопромышленника был святочный маскарад. И князь Нехлюдов был там. В костюме пилигрима, с посохом и раковиной на плаще.

Но этого она пока не знала. Она просто открыла печную заслонку и положила записку в огонь. Бумага с вензелем горела долго, неохотно, корчилась, чернела, и на ней в последний раз проступило слово «Божия» — и пропало.

А потом были ночи.

Она не спала. Она сидела у его постели, ставила банки, давала порошки, меняла мокрые от пота рубахи, подставляла тряпку под ржавый кашель. Она держала его голову, когда он задыхался. Она слушала, как он дышит, и считала вдохи, как считают удары часов.

Чтобы не заснуть, она читала. Книга была та, что лежала у изголовья, — Писарев, статья о Базарове. Она читала о нигилисте, который резал лягушек и не верил ни во что, кроме естественных наук, и который умер от заражения крови, глупо, случайно, — и как перед смертью попросил дунуть на умирающую лампаду. Она читала это при лампе, у постели умирающего, и думала: вот. Вот и всё. Лягушки, науки, теории. А потом дунуть на лампаду.

Он бредил.

Бред начался на шестую ночь. Он говорил быстро, неразборчиво, по-русски, по-немецки, по-латыни — обрывки лекций, формулы, имена. Потом стал говорить яснее. Глаза его были открыты, но смотрели не на неё — куда-то сквозь потолок, сквозь крышу, сквозь мороз и чёрное небо.

— Ткань… — говорил он. — Всё одна ткань, Катя… Ты понимаешь? Всё связано… Каждая нить… Если порвать одну — вся ткань… Мы все… Все отвечаем… Никто не уйдёт… Каждый ответит за каждого…

Она держала его горячую руку и слушала.

— Справедливость… — говорил он, и голос его стал вдруг сильным, почти торжественным. — Справедливость должна… она придёт… она не может не прийти… потому что ткань… ткань восстанавливается… всякая материя стремится…

Он закашлялся. Она подставила тряпку. Ржавое. Много ржавого.

Потом он затих, и она думала, что он заснул. А он вдруг повернул голову и посмотрел на неё — в первый раз за всю ночь посмотрел на неё, узнавая, — и глаза у него были ясные, синие, близорукие, детские.

— Катя, — сказал он тихо. — Не надо… мстить… надо…

Он не договорил. Он хотел сказать что-то ещё, губы шевелились, но звука не было.

Не надо мстить. Надо — что? Любить? Прощать? Жить? Учиться?

Она наклонилась к самым его губам.

— Что надо? Володя, что надо?

Но он уже не смотрел на неё. Он смотрел опять сквозь потолок — туда, где была его ткань, его справедливость, его вселенная, в которой всё восстанавливается.

«Не надо. Мстить надо».

Слова лежали перед ней, как поленья, и их можно было сложить по-разному.

Она сидела и складывала.

Он умер на рассвете восьмого дня, в самый мороз.

Перед смертью ему стало легче. Хрип утих, дыхание стало ровнее, жар спал. Она подумала: кризис. Прошёл. Она заплакала от облегчения, впервые за неделю, тихо, чтобы не разбудить. Легла рядом с ним, прижалась, обняла — и заснула мгновенно, как проваливаются в прорубь.

Когда она проснулась, он был холодный.

Не горячий и не тёплый. Холодный, как стены, как пол, как вода в кадке, которую он натаскал для неё. Холод, который сидел в углах, пришёл и забрал его, тихо, пока она спала. Взял, как берут своё.

Она лежала рядом и не шевелилась. Она смотрела, как в окне, сквозь бельмо инея, светлеет мёртвый молочный свет. Где-то в Кафтане запел петух. Где-то в бору треснуло дерево — громко, как выстрел.

Сок замерзает и разрывает ствол. Физика.

Она встала. Подошла к столу. Раскрыла тетрадь в клеёнчатой обложке. Окунула перо в чернила — чернила загустели от холода, она подышала на них. И написала — твёрдо, ровно, тем почерком, который уже не был неровным:

«Умер на рассвете. Сказал: не надо мстить надо.

Я поняла».

Потом закрыла тетрадь и пошла топить печь. Потому что живым было холодно.

0.5. Господня земля

Землю отогревали всю ночь.

Двое кафтанских мужиков, нанятых за деньги и за водку, разложили на погосте костёр — прямо на том месте, где должна была быть могила, — и жгли его с вечера до рассвета. Земля в Сибири в январе не земля, а камень, железо, кость. Её нельзя копать, её можно только размягчить огнём, снять оттаявший слой, разложить огонь снова, снова снять. Так роют могилы зимой. Так рыли их двести лет.

Маслова видела этот огонь из окна. Погост был на взгорке за церковью, и всю ночь там, в чёрной морозной тьме, горела красная точка. Она смотрела на неё, не отрываясь, и ей казалось, что это не костёр, а глаз. Что земля открыла глаз и смотрит на неё.

Рядом, на лавке, лежал он. Обмытый, одетый в чистую рубаху, с руками, сложенными на груди. Мыла его она сама. Никто из кафтанских баб не пришёл помочь: обмывать варнака, жившего с варначкой во блуде, — грех. Она мыла его тёплой водой, той самой водой, которую он натаскал для неё и которую она растопила в печи. Она мыла его долго, медленно, как моют ребёнка. Она знала его тело — живое. Теперь узнавала мёртвое.

Оно было лёгкое. Удивительно лёгкое. Как будто из него вынули что-то тяжёлое, и осталась одна оболочка, одна ткань.

Хоронить по обряду она не хотела.

Он не верил. Он смеялся над попами — не зло, а с тем добродушным презрением, с каким смеются над детскими сказками. Он говорил: когда я умру, Катя, закопай меня в лесу, под сосной, и пусть из меня вырастет трава. Это будет моё бессмертие. Единственное, которое существует.

Но под сосной хоронить было нельзя. Был закон, была волость, был становой, который приехал на второй день, посмотрел на мёртвого, записал что-то в книжку и сказал, что хоронить надо на погосте, как положено. Крещёный — значит, по-христиански.

Отец Никандр отказал.

Он пришёл сам, на второй день, в тулупе поверх рясы, с красным от мороза лицом. Постоял на пороге, не входя. Посмотрел на покойника маленькими умными глазками. Сказал, что умерший был безбожник и социалист, что к исповеди не ходил, святых тайн не принимал, что жил в открытом блуде и что он, отец Никандр, не может отпевать такого по полному чину, а может разве что…

Он не договорил. Он ждал. Она поняла, чего он ждёт. Она знала этот взгляд — тот самый, мужицкий, только спрятанный лучше.

— У меня нет денег, — сказала она.

— Бог милостив, — сказал отец Никандр и ушёл.

А на третий день, утром, он вернулся — совсем другой. Мягкий, сочувственный, с готовностью. Сказал, что подумал, помолился и решил, что милосердие выше правил. Что отпоёт по полному чину. Что всё уже устроено: гроб заказан у плотника, певчие будут, свечи будут, и поминальный обед для причта. Всё.

— Кто заплатил? — спросила она.

Отец Никандр опустил глаза.

— Его сиятельство князь Нехлюдов изволили прислать с нарочным. И письмо.

Она не стала читать письмо. Она знала, что в нём. Она знала, что князь Нехлюдов, который не мог приехать к умирающему, потому что был нездоров, и тягостно, и маскарад, — князь Нехлюдов купил его похороны. Купил отпевание для человека, который не верил в Бога. Купил ему вечную память, как покупают стерлядь.

Она могла отказаться. Могла выгнать попа. Могла пойти в лес с топором и сама долбить мёрзлую землю под сосной, пока не отнимутся руки.

Она не отказалась.

Она поняла это не сразу, а потом, в церкви, когда запели. Она поняла, что не откажется, потому что слова, которые будут петь над ним, — не их слова. Не попа, не князя, не баб, которые шепчутся у колодца. Эти слова старше их всех. И она возьмёт их себе.

В церкви было холодно. Холод шёл от каменного пола, от стен, от высоких тёмных окон, в которых стоял январский рассвет. Свечи горели прямо, не колеблясь, и пламя их было бледное, как будто и оно замёрзло.

Гроб стоял посреди церкви, на двух скамьях. Сосновый, некрашеный, ещё пахнущий смолой. Он лежал в нём — лёгкий, длинный, с рыжей бородой, которую она расчесала, и на лбу у него был бумажный венчик с надписью, а в руках бумажная молитва.

Народу было мало. Две старухи, которые ходили на все похороны. Пономарь. Трое певчих — дьячок и двое мужиков с мохнатыми бровями. Несколько любопытных у двери, которые пришли посмотреть на варначку.

И он. Нехлюдов.

Он приехал в последний момент, когда уже начали. Вошёл тихо, в шубе, со снегом на плечах, перекрестился на иконостас и встал сбоку, у колонны. Она не обернулась. Но она знала, что он здесь. Она чувствовала его, как чувствуют сквозняк.

Отец Никандр, в чёрной ризе, кадил. Кадило звякало, дым поднимался синий, густой, сладкий, и сквозь дым его голос, неожиданно сильный и чистый, произнёс:

— Благословен Бог наш…

И начали петь.

Она не понимала половины слов. Церковнославянский — тёмный язык, язык не для людей, а для Бога. Тётушки водили её в церковь каждое воскресенье, и она стояла там девочкой, слушала, крестилась и ничего не понимала. Потом, в доме Китаевой, она не была в церкви десять лет. Потом — тюремная церковь, где священник в золотой ризе кормил арестантов с ложечки, а они стояли в кандалах.

Но теперь она слушала иначе. Теперь она читала Сеченова и Лаврова. Теперь она умела слушать слова, как выслушивают показания.

Дьячок затянул, гнусаво и протяжно, стихиру:

— *Помянух пророка вопиюща: аз есмь земля и пепел…*

Земля и пепел. Она посмотрела на гроб.

— *…и паки разсмотрих во гробех, и видех кости обнаженныя, и рекох: убо кто есть царь, или воин, или богатый, или убогий, или праведник, или грешник?*

Она перестала дышать.

Кто царь, кто убогий? Кто богатый? В могиле — нет разницы. Кости одинаковые. Князь и варначка, губернаторша и бобыль, умерший нехорошо в этой самой избе. Все — кости. Все — земля и пепел.

Она слышала это сто раз в детстве и никогда не слышала. А это была правда. Страшная правда, которую Церковь пела над каждым мертвецом — и не понимала сама, что поёт.

Если в смерти нет ни царя, ни убогого, то почему они есть в жизни? Кто их поставил? Кто разделил?

Она обернулась — в первый раз — и посмотрела на Нехлюдова.

Он стоял у колонны, в шубе, и плакал. Плакал красиво, тихо, не вытирая слёз, и лицо у него было светлое, просветлённое. Он слушал те же слова. Кто царь, кто богатый. Он слушал — и плакал о своей душе.

Она отвернулась.

— *Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего…*

Голоса поднялись, и вдруг даже эти трое мужиков с мохнатыми бровями запели хорошо, слитно, широко, как поют только над мёртвыми.

Со святыми.

Она подумала о святых. О мучениках. О тех, кого жгли, распинали, бросали зверям за то, что они не хотели кланяться кесарю. Тётушки рассказывали ей жития. Она плакала над ними девочкой.

Она подумала о Крыльцове на голых досках, жёлтом, с усмешкой. О Перовской, о которой шептались на этапе политические, — о маленькой светловолосой женщине, которую повесили за то, что она махнула платком у Екатерининского канала. О тех, кто умер в рудниках, в казематах, на этапах. Мученики. Святые.

Со святыми упокой. Да. Со святыми.

Симонсон лежал в гробу с бумажным венчиком на лбу, и она знала теперь, с какими святыми он упокоится. Не с теми, которые на иконах, в золоте, с постными ликами. С другими.

— *Вечная память…* — запели в конце, трижды, и голос отца Никандра поднялся высоко, а потом упал. — *Вечная память… вечная память…*

Вечная память. Не забыть. Помнить вечно.

Она стояла у гроба и повторяла беззвучно, одними губами, и это была не молитва, а клятва. Помнить. Всё помнить. Кто, когда, за что. Каждое имя. Каждую обиду. Каждого, кто сидел в креслах, когда другие умирали. Вечная память — это не утешение, это счёт. Это книга, в которую записывают долги.

А долги взыскивают.

Последнее целование.

Она подошла первая. Наклонилась над гробом. Посмотрела в лицо — спокойное, чужое, восковое, совсем не его. Губы, которые сказали «не надо мстить надо». Поцеловала в лоб, в бумажный венчик.

И, выпрямляясь, быстро, никем не замеченная, сняла венчик с его лба и спрятала в рукав.

Это было воровство. Святотатство. Она знала. Ей было всё равно.

Венчик был узкий, бумажный, с напечатанными на нём буквами и картинками: Спаситель, Богородица, Иоанн Креститель. И надпись вокруг — «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас». Дешёвая бумага, лубок. Она будет хранить его всю жизнь, между страниц тетради в клеёнчатой обложке. Он будет с ней в Томске, в доме терпимости, в тюрьмах, на явках, в Петербурге. Он будет с ней в тот день, в пятом году.

Святый Крепкий. Святый Безсмертный.

Помилуй нас.

Она никого не собиралась миловать.

На погосте ветер.

Могила чернела в снегу, и края её дымились: земля ещё не остыла после костра, и от неё шёл пар, как от живого тела. Мужики опустили гроб на верёвках, неловко, с руганью вполголоса. Гроб стукнул о мёрзлое дно.

Отец Никандр взял лопатой горсть земли — чёрной, комковатой, перемешанной с углём от костра — и бросил на крышку крестообразно. И сказал громко, нараспев, древние слова:

— *Господня земля, и исполнение ея, вселенная, и вси живущии на ней.*

Земля стукнула о доски. Глухо. Окончательно.

Господня земля.

Она стояла над могилой, и слова входили в неё, как гвозди.

Господня земля — значит, не княжеская. Не помещичья. Не нехлюдовская, которую он отдал мужикам и думает, что совершил подвиг. Не губернаторская, не царская. Господня. А если Господня, если Бога нет, как учил её Сеченов, как учил её он, лежащий там, внизу, под досками, — то чья?

Ничья. Общая. Народная.

Земля и воля.

Она вспомнила, как политические на этапе называли так своё первое общество — то, из которого потом вышла «Народная воля». Земля и воля. Она не понимала тогда. Теперь понимала. Поп, сам того не зная, только что пропел над могилой их программу.

Мужики стали засыпать. Комья стучали о крышку всё глуше, всё мягче, потом перестали стучать совсем — земля падала на землю.

Она подняла глаза.

За оградой погоста, на дороге, стояли двое — старый Ибрагим и Ахмет. Татары не могли войти на христианское кладбище и стояли за оградой, в своих лисьих малахаях, неподвижно. Старик, когда увидел, что она смотрит, медленно провёл ладонями по лицу — сверху вниз, по-своему, по-мусульмански. И она поняла, что это и есть настоящая молитва за Симонсона. Единственная.

Нехлюдов стоял у ограды с другой стороны. Он ждал её. Он хотел подойти. Он сделал шаг.

Она прошла мимо него, не повернув головы. Мимо отца Никандра, мимо баб, мимо мужиков с лопатами. Вышла за ограду, прошла мимо Ибрагима и сказала ему тихо: «Рахмат». Это было единственное татарское слово, которое она знала.

И пошла по дороге через бор, к своей избе у болота, одна.

Сзади, на погосте, мужики уже допивали оставшуюся водку. Кто-то засмеялся.

Изба была пустая.

Она вошла и остановилась. Печь прогорела. Холод снова сидел в углах. На лавке, где он лежал, ничего не было — она сама убрала тулуп и подушку. На столе стояли его книги. Писарев. Лавров. Сеченов. Чернышевский. И тетрадь.

Она села к столу. Достала из рукава бумажный венчик, разгладила его ладонью на клеёнке. Посмотрела на маленькие, грубо напечатанные лица.

Потом раскрыла тетрадь и написала:

«Похоронили. Пели: кто царь кто убогий. Пели: со святыми упокой. Пели: вечная память. Пели: Господня земля.

Они поют это над каждым мёртвым двести лет и не слышат.

Я услышала.

Это не их песни. Это наши».

И вложила венчик между страницами. Закрыла. Встала. Пошла растапливать печь.

За окном, над бором, вставал серый январский день. Где-то далеко, на той стороне Томи, на горе, звонили к обедне.

0.6. Смертию смерть

Весна пришла гнилая.

Снег не таял — он гнил. Он оседал, серел, становился ноздреватым, как старый хлеб, и сквозь него проступала чёрная вода. Болото за избой просыпалось: оно дышало, булькало, пахло прелью и железом. Мёртвые стволы, торчавшие из воды, почернели от сырости, и по утрам на них сидели вороны — неподвижно, как приколоченные.

Дороги не было. Вместо дороги через бор была каша из снега, воды и глины, в которой вязли по колено. В Кафтан ещё можно было пройти, в Барабинку — с трудом. А в Томск — никак. Томь ещё стояла, но лёд на ней почернел, вздулся, пошёл трещинами, по краям выступила вода. Перевозчик сказал, что по такому льду ходят только самоубийцы да пьяные. Санная дорога закрылась. Паром ещё не пошёл.

Тот берег стал недостижим снова. Как в ноябре.

Она жила одна. Три месяца. Она шила — татарским женщинам из Барабинки, которые приносили ей ситец и платили яйцами, молоком, иногда медяками. Она стирала на попадью — отец Никандр сам предложил, с маленькой, понимающей улыбкой, и она согласилась, потому что надо было есть. Она носила бельё в поповский дом, и попадья, толстая, рыхлая, принимала его с брезгливым лицом, двумя пальцами, будто боялась заразиться.

По ночам она читала. Его книги. Все по второму, по третьему разу. И тетрадь в клеёнке становилась всё толще.

Князь Нехлюдов писал. Письма приходили с оказией, через волость, и писарь, отдавая их, всякий раз ухмылялся. Она не читала их. Складывала в печной закуток, нераспечатанные. Там их набралось уже семь.

На Страстной неделе в Кафтане начали звонить по-другому.

Колокол бил медленно, редко, глухо — по усопшему. Это звонили по Христу. Бабы ходили в церковь в чёрном, постились, не пели. В Великую пятницу вынесли плащаницу. Маслова видела, как старухи шли из церкви, вытирая глаза: Христа положили во гроб.

Она тоже вспомнила гроб. Сосновый, некрашеный, пахнущий смолой. Мужики, которые опускали его на верёвках, ругаясь вполголоса. Земля, которая стучала о доски.

В Великую субботу к вечеру потеплело. С Томи поднялся туман — густой, белый, тяжёлый. Он пополз по полю, через Умку, через бор, заполнил болото, подошёл к самым окнам избы и встал там, как стена. Мир исчез. Остались только изба, лампа и туман.

И тогда она вспомнила.

Ту ночь. Десять лет назад. Тоже Пасха, тоже туман. Тоже река, на которой ломался лёд — она помнила этот звук: треск, хруст, стон, будто кто-то огромный ворочался под водой. Тётушкин дом. Заутреня в сельской церкви. Он, молодой, красивый, в белом офицерском кителе, — христосовался с ней на паперти. «Христос воскресе, Катюша». Поцеловал. А потом ночью пришёл к ней в девичью, через туман, через треск льда на реке…

Христос воскресе.

С этих слов началось её падение. Её смерть. Он сказал «Христос воскресе» — и убил её. А потом, через десять лет, пришёл в тюрьму и стал её «воскрешать». Вот оно, его Воскресение. Сначала убить, потом воскрешать. Сначала соблазнить, потом спасать. И всё это — с Евангелием в руках.

Она сидела у стола, и лампа горела, и туман стоял за окном, и ей казалось, что туман тот же самый. Что десять лет не прошли. Что это та же ночь, и что если она откроет дверь, то увидит не болото и бор, а тётушкин сад, и девичью, и его — в белом кителе, в тумане.

Она не открыла дверь.

Около полуночи ударил колокол.

Не так, как на Страстной. Не глухо и редко. Ударил во всю силу, раз, другой, третий, — а потом подхватили малые колокола, и всё смешалось в один гул, в один радостный, захлёбывающийся, безумный звон. Он шёл через туман, через бор, через болото, — и казалось, звонит не церковь, а сам туман, сама ночь, сама земля.

Начался крестный ход.

Она подошла к окну. Сквозь туман ничего не было видно, только свет — дрожащие, расплывчатые огоньки, десятки огоньков, которые медленно двигались вокруг церкви на взгорке. Свечи. Фонари. Люди шли со свечами вокруг церкви, и туман делал огни огромными, призрачными, как блуждающие огни над болотом.

И голоса. Далёкие, глухие, но слова было слышно — их нельзя было не услышать, их пели все, и громче всех:

— *Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!*

И снова. И снова. Без конца.

Она стояла у окна, и слова входили в неё.

Смертию смерть поправ.

Смертью — смерть. Не любовью. Не прощением. Не непротивлением злу насилием, как учит Нехлюдов по своему графу. Смертью. Христос победил смерть — смертью. Он умер, чтобы убить смерть. Он отдал себя, чтобы уничтожить то, что убивает.

Она услышала это так, как никогда не слышала. Как слышала теперь всё — после Сеченова, после Лаврова, после тех ночей у постели.

Мир, который убивает, — убить смертью. Смерть, которая держит людей, — бедных, падших, каторжных, — поправить смертью. Чьей? Своей? Чужой? Какая разница. Смерть одна. Ткань одна, говорил он. Если порвать одну нить…

— *…и сущим во гробех живот даровав!*

И тем, кто в гробах, — жизнь.

Симонсон в гробу. Крыльцов в гробу. Её ребёнок — в какой-то общей яме при воспитательном доме, без гроба, без имени. Перовская в безымянной могиле. Все, кто в гробах. Им — жизнь.

Кто им её даст? Христос?

Она засмеялась. Тихо, страшно, одна, в пустой избе, у окна, за которым горели огни и пели «Христос воскресе».

Она отошла от окна, села к столу и раскрыла книгу.

Это был Новый Завет — маленький, в мягком чёрном переплёте, на дешёвой бумаге. Ей дал его в томской тюрьме англичанин, тот самый, что ходил с Нехлюдовым по камерам и раздавал книжки арестантам. Она тогда взяла и не раскрыла ни разу. Пусть лежит. Бумага годится на растопку.

Теперь она раскрыла его.

Но то, что она искала, было не в нём. Это было в ней. С детства. Тётушки заставляли её учить наизусть, и она стояла перед ними, маленькая, в чистом переднике, и бормотала, не понимая ни слова. Они кивали. Ей давали за это пряник.

Она закрыла глаза и стала читать по памяти, медленно, вслух, в пустой избе — Символ веры:

— *Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли…*

Слова шли сами, как вода из открытого крана. Она не останавливала их. Она слушала.

— *…и вочеловечшагося. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.*

Распятого. При Пилате. Пилат — римский губернатор. Он умыл руки. Как Нехлюдов, который тоже всегда умывал руки — холодной водой из кувшина, каждое утро.

— *И воскресшаго в третий день по Писанием.*

Она остановилась.

Воскресшего. Вот оно. Воскресение. То самое слово.

А что дальше? Что дальше после Воскресения? Нехлюдов думает, что Воскресение — это конец. Что воскрес — и всё, и живи себе, и читай Евангелие по главе в день, и ешь стерлядь, и плачь в гостиных. Его граф так и написал: воскрес — и началась новая жизнь, а чем кончится — неизвестно.

Но дальше в Символе есть ещё слова. Она помнила их. Она не понимала их никогда, а сейчас они вспыхнули в ней, как огни за окном:

— *И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.*

Она открыла глаза.

Судить живым и мёртвым.

Христос воскрес не для того, чтобы простить. Не для того, чтобы плакать в гостиных. Он воскрес — и вознёсся — и придёт снова. Со славою. Судить. Живых и мёртвых. Всех. Царя и убогого, богатого и праведного — всех, кого Церковь хоронит под одну песню. И после суда — царство. Которому не будет конца.

Воскресение — это не конец. Это начало суда.

А попы поют это каждую литургию. Двести лет. Тысячу лет. Поют — и не понимают, что поют. Поют, что их Бог придёт судить их же самих, сытых, — и стоят в золотых ризах, и кормят арестантов с ложечки.

Она сидела, и руки у неё дрожали. Не от страха. От того чувства, которое бывает, когда в темноте вдруг нащупываешь дверь.

Нехлюдов прочёл Евангелие — и остановился. Не дочитал. Не дошёл до конца, туда, где суд.

А она дойдёт.

Она раскрыла книжку англичанина с конца.

Апокалипсис. «Откровение святого Иоанна Богослова». Она никогда его не читала. Тётушки не давали: говорили, что эта книга не для девочек, страшная, непонятная, её и попы-то не все понимают.

Она листала, и строчки бежали мимо: звери, печати, ангелы, трубы, кровь, огонь. Она не понимала, но чувствовала, что это — её. Что это написано на том языке, на котором она теперь думает.

Шестая глава. Пятая печать.

Она прочла — и перестала дышать:

«И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?»

Не мстишь.

Здесь так и было написано. Не мстишь. Души убитых вопиют к Богу: когда отомстишь? Сколько ждать?

Она прочла дальше. Им дали белые одежды и сказали, чтобы успокоились ещё на малое время, пока число не дополнят их братья, которые будут убиты, как и они.

Число. Пока не дополнится число убитых.

Она подумала о Крыльцове. О Симонсоне. О Перовской. Число ещё не дополнено. Ещё нужны убитые. Ещё нужна кровь. А потом — суд и отмщение.

Это не она придумала. Это написано. В той книге, которую англичанин раздаёт арестантам, чтобы они смирились.

Она нашла ещё. Апостол Павел, Первое послание к коринфянам: «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Святые. Не Бог один — святые с ним. Мученики. Те, кто под жертвенником.

Она взяла карандаш и подчеркнула. Потом листала дальше, до самых последних глав, до огня, до озера, горящего огнём и серою, куда бросают тех, кто… Она прочла и подчеркнула двойной чертой. И написала на полях, мелко: «Ему. Дочитать вслух».

Нехлюдов не дочитал Евангелие до конца. Она дочитает. Ему.

Она надела платок и вышла в ночь.

Туман был такой, что она не видела своих рук. Она шла по памяти — по дороге через бор, через грязь, через талую воду, к погосту. Звон стоял над головой, огни мерцали где-то справа, у церкви, а она шла мимо, в темноту, туда, где за оградой были могилы.

Его могилу она нашла сразу. Она нашла бы её с закрытыми глазами.

Холм осел. Земля оттаяла, напиталась водой, и могила просела, превратилась в чёрную яму, в которой стояла вода. Крест — деревянный, наспех сколоченный — покосился. На нём ничего не было написано. Отец Никандр отказался писать имя социалиста.

Она стояла над ямой, и вокруг в тумане стояли другие кресты — сотни крестов, кафтанских, двухсотлетних, с осевшими холмами, — и под каждым были кости. Кости обнажённые, пели над Симонсоном. Кто царь, кто убогий.

Ей стало казаться, что погост живой. Что туман — это не туман, а дыхание тех, кто внизу. Что под каждым крестом кто-то лежит с открытыми глазами и слушает, как наверху звонят и поют «Христос воскресе». Слушает и ждёт. И сущим во гробех… Мёртвые ждут. Двести лет. Тысячу лет. Им обещали жизнь. Им обещали суд. А попы звонят, и бабы христосуются, и пьют, и едят пасху и крашеные яйца — а мёртвые ждут.

Она опустилась на колени прямо в грязь, у края ямы. Наклонилась над чёрной водой.

— Христос воскресе, — сказала она.

Тишина. Только звон над головой, далёкий, глухой в тумане.

— Христос воскресе, Володя.

Она ждала. Она знала, что он не ответит. Мёртвые не отвечают. Мёртвые лежат — жёлтые, восковые, с усмешкой. Физика. Рефлекс.

И тогда она ответила сама — за него. За всех, кто в гробах. За Крыльцова, за Перовскую, за ребёнка в яме, за тех, кто под жертвенником:

— Воистину воскресе.

И голос её не лёг на землю, как тогда, в тюремной мертвецкой. Он поднялся. Он ушёл в туман, к крестам, к костям, к огням у церкви, к той стороне реки, к горе с главами, к Петербургу, к каторжникам по всей Сибири.

Она встала с колен. Платье было мокрое и чёрное от грязи до пояса.

— Я воскресла, — сказала она вслух, туману, крестам, ему. — Он меня воскресил. Сам. Своими руками. Ну так пусть знает. Кто воскрес — тот судит. Так написано.

Она постояла. Потом сказала — тихо, ровно, как говорят клятву:

— И буду судить живых и мёртвых.

Домой она шла на рассвете.

Туман редел. Сквозь него проступили сосны, потом болото, потом её изба на краю. Звон кончился. В Кафтане христосовались, пили, ели, кто-то пел пьяную песню.

И тогда, с реки, донёсся звук.

Треск. Хруст. Долгий, протяжный стон, будто кто-то огромный ворочался подо льдом. Потом ещё. Потом грохот — как пушечный выстрел, раскатившийся над полем, над Умкой, над бором.

Томь ломала лёд.

Как тогда. Как в ту ночь, десять лет назад, в тётушкином доме, когда он пришёл к ней через туман. Тогда лёд ломался — и она погибла. Теперь лёд ломался — и она…

Она остановилась на крыльце и слушала. Река стонала и грохотала, льдины лезли друг на друга, и ей казалось, что это не лёд, что это земля, Господня земля, ломается, раскалывается, открывается, и из неё встают те, кто в гробах.

Она вошла в избу. Села к столу. Раскрыла тетрадь. Вынула бумажный венчик — Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный — и положила рядом.

И написала:

«Пасха. Пели: смертию смерть поправ. Значит смертью. Не любовью.

Символ веры: воскресшего в третий день. И сразу: грядущего судить живым и мертвым. Царству не будет конца.

Воскресение — не конец. Воскресение — начало суда.

Нехлюдов не дочитал.

Я дочитаю.

Апокалипсис 6:10. Доколе не мстишь. Число ещё не полно.

Лёд пошёл.

Я воскресла.

И буду судить живых и мертвых».

Она положила перо и долго сидела, глядя на последнюю строчку. Потом зачеркнула «мертвых» и написала сверху, по-церковному, как пели над гробом:

«…судити живым и мертвым».

За окном вставало солнце. Первое за всю весну.

0.7. Доктор

(Интермеццо)

В середине мая в гостинице на Почтамтской остановился проезжий литератор из Москвы.

Об этом сказал Нехлюдову коридорный — тот самый рыжий, с прилизанными волосами, который по вечерам служил половым в ресторане. Он сказал это с видом человека, сообщающего о прибытии важного лица, но без большого почтения, потому что литераторы, по его опыту, давали на чай меньше купцов.

— Чехов, — сказал коридорный. — Антон Павлович. Едут на Сахалин. Велели самовар и чернил.

Нехлюдов знал это имя. Он читал рассказы в «Новом времени», читал «Степь» в «Северном вестнике», и рассказы ему нравились, хотя казались несколько холодными, как будто автор смотрит на людей в микроскоп. Он подумал, что надо бы познакомиться. Потом подумал, что знакомство с литератором — суета. Потом подумал, что это гордыня — отказываться от знакомства из боязни суеты. И пошёл.

Чехов сидел в ресторане у окна и ел уху.

Он оказался моложе, чем ожидал Нехлюдов, — лет тридцати, высокий, худощавый, с бородкой и в пенсне на шнурке. Лицо у него было усталое, обветренное, с тем особенным сизым оттенком, какой бывает у людей, просидевших две недели в тарантасе на весеннем тракте. Он покашливал — коротко, в салфетку, и, покашляв, всякий раз аккуратно складывал салфетку и клал рядом с тарелкой.

Нехлюдов представился. Чехов привстал, пожал руку — рука была сухая и горячая — и пригласил сесть.

— Князь Нехлюдов, — повторил он, глядя поверх пенсне с выражением доброжелательного любопытства. — Мне про вас уже рассказывали. Здесь про всех всё рассказывают. Вы тот самый, что отдал землю.

— Это ничего не значит, — сказал Нехлюдов.

— Как сказать. Для мужиков, вероятно, значит.

Подали вино. Чехов налил себе, Нехлюдову, отпил, поморщился.

— Здешнее, — сказал он. — Мадера, изготовленная в Томске из того, что было под рукой. Знаете, какая тут главная черта? Все пьют. Чиновники пьют, купцы пьют, извозчики пьют, даже лошади, кажется, пьют. Хорошеньких женщин я пока не видал ни одной. Город скучный. Грязь на улицах — невылазная. Я сегодня видел, как в ней тонула свинья, и никто не обратил внимания, ни свинья, ни прохожие.

Он сказал это без злости, спокойно, как говорят о погоде. Нехлюдов почувствовал себя задетым. Он прожил в Томске полгода и привык думать о нём как о месте своего подвига.

— Здесь много страдания, — сказал он. — Здесь лучше видно, как люди живут на самом деле.

— Люди везде живут на самом деле, — сказал Чехов. — В Москве тоже. Только в Москве мостовые.

Разговорились.

Вернее, говорил Нехлюдов. Он не собирался — так вышло. Чехов слушал хорошо: не перебивал, не кивал, не делал понимающего лица, а просто слушал, изредка покашливая в салфетку и подливая вина. Под этим слушанием Нехлюдов рассказал всё: молодость, тётушки, Катюша, суд, Сенат, этап. Рассказал о своём обращении. О том, что понял. О новой жизни.

Чехов дослушал до конца. Потом спросил:

— А она теперь где?

— В селе под Томском. На поселении.

— Одна?

Нехлюдов помолчал.

— Одна. Человек, с которым она… ушла, — он умер зимой.

— От чего?

— Воспаление лёгких.

— Крупозное?

— Кажется. Я посылал доктора. Лучшего в городе.

— Посылали, — повторил Чехов. Он помолчал. — А сами ездили?

Нехлюдов почувствовал, что краснеет.

— Я был нездоров. И потом — я думал, моё присутствие было бы тягостно. Для неё.

— Да, — сказал Чехов. — Это, конечно, соображение.

Он сказал это совершенно ровно, без малейшей насмешки, и от этой ровности Нехлюдову стало хуже, чем если бы он рассмеялся.

Потом заговорили о графе Толстом.

Нехлюдов говорил о нём с благоговением. Он говорил о непротивлении, о пяти заповедях, о том, что жизнь человечества должна быть устроена по закону любви, что надо опроститься, отказаться от собственности, от мяса, от плотской любви. Он упомянул «Крейцерову сонату» и сказал, что это величайшее нравственное произведение века.

Чехов слушал и мял в пальцах хлебный мякиш.

— «Сонату» я читал, — сказал он. — Сильная вещь. Читаешь — и не можешь оторваться. Ум необыкновенный. Но вы знаете, что меня в ней смущает? — Он поднял глаза. — Я, видите ли, доктор. И когда Лев Николаевич начинает рассуждать о болезнях, о сифилисе, о воспитательных домах, о том, что женщина будто бы испытывает отвращение к соитию, — то видно, что он никогда не потрудился прочесть две-три книжки, написанные людьми, которые в этом понимают. Он гений. Но о чём не знает — о том не знает. А говорит с той же уверенностью, что и о войне и мире.

— Это мелочи, — сказал Нехлюдов. — Главное — нравственное содержание.

— Может быть. — Чехов положил мякиш. — А по-моему, если человек говорит неправду о сифилисе, ему трудно поверить и в остальном.

Нехлюдов не нашёлся, что ответить.

Чехов кашлянул в салфетку, сложил её и сказал, глядя в окно, на мокрую улицу, где извозчик, ругаясь, вытаскивал колесо из ямы:

— Мне иногда кажется, что в паре и в электричестве больше любви к человеку, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Только вы этого никому не говорите. Меня и так в Москве считают человеком без идеалов.

Принесли жаркое. Чехов ел с аппетитом. Нехлюдов заказал стерлядь.

— Вы не едите мяса? — спросил Чехов.

— Не ем.

— А стерлядь?

— Стерлядь — рыба.

— Да, — сказал Чехов. — Рыба. Это верно.

Под вечер пришёл помощник полицмейстера.

Это был молодой ещё человек с усиками, в мундире, от которого пахло одеколоном и табаком, — и с рукописью под мышкой. Он представился, долго тряс Чехову руку, говорил, что счастлив, что читал, что восхищается, что сам пописывает — так, для себя, рассказики из полицейской жизни, — и не соблаговолит ли Антон Павлович…

Чехов соблаговолил. Взял рукопись, положил на стол, не раскрывая. Сказал, что прочтёт в дороге. Помощник полицмейстера сиял.

Потом выпили. Потом помощник полицмейстера, раскрасневшись, сказал, что Антону Павловичу непременно надо посмотреть город. Настоящий город. Не губернаторский дом и не собор — это всё пустяки. А настоящий — трактиры, ночлежки, Базарная площадь. И кое-что ещё. Он подмигнул. Есть, знаете, заведения… Для литератора — материал. Сама жизнь.

— Поедемте, — сказал Чехов, вставая.

Нехлюдов смотрел на него с изумлением.

— Вы… поедете?

— Я еду на Сахалин считать каторжных, — сказал Чехов, надевая пальто. — Десять тысяч человек, если повезёт. Мне надо знать, как люди живут. Все люди. — Он помолчал и добавил мягко: — Поедемте с нами, князь. Вам, может быть, тоже полезно.

Нехлюдов отказался. Он сказал, что не может. Что для него это невозможно. Что он дал обет.

— Ну и хорошо, — сказал Чехов. — Каждому своё.

Они ушли. Нехлюдов остался один над недоеденной стерлядью и долго сидел, глядя в окно на темнеющую улицу. Ему было скверно, но он не мог понять отчего.

На следующий день, утром, Чехов зашёл в полицейское управление: надо было выправить бумагу для дальнейшего проезда.

В приёмной было накурено и душно. На лавках вдоль стены ждали посетители: мужик в армяке с прошением, две мещанки, какой-то еврей с узелком. И у окна — женщина.

Она сидела отдельно ото всех, прямо, в сером платке, в старом сером платье, забрызганном до колен грязью — видно, шла пешком издалека. Лицо у неё было худое, со скулами, с тёмными, чуть косящими глазами, и в нём было что-то, что заставило Чехова, человека, привыкшего к лицам, остановиться и посмотреть ещё раз.

Она читала. Книжка была маленькая, растрёпанная, без переплёта. Чехов, проходя мимо, скосил глаза и прочёл на верхнем поле страницы: «Исторические письма».

Она подняла голову. Посмотрела на него — на пенсне, на бородку, на хорошее пальто — тем взглядом, каким смотрят на вещь, определяя ей цену. И снова опустила глаза в книгу.

— Маслова Екатерина, ссыльнопоселенка, — выкрикнул из-за перегородки писарь. — По делу о проживании в городе. К полицмейстеру.

Она закрыла книжку, сунула её за пазуху, встала и пошла к двери. Прошла мимо Чехова совсем близко. От неё пахло дымом, болотом и мылом.

Чехов посмотрел ей вслед. Потом достал из кармана записную книжку, карандаш и, стоя в душной приёмной томской полиции, записал своим мелким, быстрым почерком:

«Поселенка в полиции. Худое лицо, глаза. Читает Лаврова. Посмотрела на меня, как барышник на лошадь. Князь Н. полагает, что спас её. Она полагает иначе. Чем кончится? — Ничем хорошим. — Сюжет: он думает, что воскресил её, а она воскресла сама и пришла за ним. Не для меня. Для Достоевского. Или для какого-нибудь молодого декадента лет через десять».

Подумав, приписал внизу:

«В Томске нет хорошеньких женщин. Неправда: одна есть. Но лучше бы её не было».

И закрыл книжку.

Через два дня он уехал дальше, на восток, по тракту, в купленном тарантасе. Нехлюдов не вышел его проводить: он был нездоров.

Рукопись помощника полицмейстера Чехов оставил в номере, на столе. Нераскрытой.

0.8. Тот берег

Черёмуха зацвела в одну ночь.

Вечером ещё стояли голые кусты вдоль Умки, серые, корявые, а утром весь берег был белый, будто снова выпал снег. Но это был не снег. Снег не пахнет. А черёмуха пахла так, что кружилась голова: густо, сладко, горько, до тошноты, до слёз. Запах полз через поле, через бор, через болото, входил в избу, в волосы, в платье, в постель. От него нельзя было спрятаться, как нельзя спрятаться от собственной крови.

И вместе с черёмухой пришли комары.

Они поднялись из болота тучами, звенящими, серыми, неисчислимыми. Они висели над водой, над кочками, над мёртвыми стволами, и звон их не умолкал ни днём, ни ночью — тонкий, ровный, бесконечный, как звон в ушах у больного. Они впивались в шею, в руки, в лицо. Они пили кровь.

Маслова сидела на крыльце, в дыму от гнилушек, которые жгла от комаров, и смотрела на белую черёмуху у реки. И думала, что весь этот мир — болото, комары, черёмуха, Кафтан, — весь он живёт одним: пить кровь и цвести. Пить и цвести. И больше ничего.

Ночи стали светлые.

Не белые, как, говорят, в Петербурге, но короткие и прозрачные, с долгой зарёй, которая не гасла, а только тускнела, переходя из вечерней в утреннюю. В такие ночи она не могла спать.

Она лежала на лавке, где раньше лежал он, и смотрела в маленькое окно, в котором стояло серое светлое небо. Комары звенели за стеклом. Черёмуха пахла. И тело её не давало ей покоя.

Она знала это чувство. Она знала его лучше, чем кто-либо в Кафтане, лучше, чем попадья, чем бабы у колодца, чем отец Никандр с его маленькими глазками. Она знала тело так, как знает инструмент мастер. И её тело просило.

С января у неё не было мужчины. Пять месяцев. Для другой женщины — ничто. Для бабы из Кафтана, у которой муж на прииске, — обычное дело. Но её тело было другое. Её тело десять лет знало мужчин каждую ночь — не любило, не хотело, а знало, как знает руки поденщица. Потом тюрьма. Потом этап, где она была с политическими и была чиста, как никогда в жизни. Потом он — осень, зима, — и тело в первый раз узнало, что такое не работа, а другое. И вот теперь — ничего. Пустота. И черёмуха.

Она лежала и думала о Сеченове.

Рефлексы головного мозга. Раздражение — и ответ. Всякое раздражение требует ответа, иначе нервная сила накапливается и ищет выхода. Это не грех. Греха нет. Это физиология. Это наука. Голод — тоже раздражение, и никто не называет голод грехом. Жажда. Холод. Так почему это — грех?

Она засмеялась в темноте. Отец Никандр назвал бы это блудной страстью. Нехлюдов — плотской похотью. Граф в своей «Сонате» — свиным состоянием. А она называла это просто: голод. Голод тела. Такой же, как голод желудка.

И она подумала ещё — и эта мысль была новой, холодной и ясной, как родниковая вода:

Голод можно использовать. Голодная собака лучше идёт по следу.

Однажды ночью она пошла купаться.

Вода в Томи была ещё ледяная, мутная, бурая после ледохода. Но на Умке, в старице, где ручей разливался тихой заводью под черёмухой, вода была тёплая — прогретая за день, стоячая, пахнущая тиной и цветами. Она разделась на берегу. Сложила платье, рубашку, платок. Постояла голая в серых сумерках, под белой черёмухой, в звоне комаров.

И посмотрела на себя.

Она давно не смотрела. В Кафтане не было зеркала — в избе бобыля только маленький осколок над рукомойником, в котором видно один глаз. В тюрьме зеркал не давали. В доме

Китаевой зеркала были везде — большие, в золочёных рамах, — но там она смотрела на себя чужими глазами, глазами покупателя, и видела товар.

Теперь она смотрела своими.

Ей было двадцать семь. Тело было белое — белое по-северному, без загара, как молоко, как черёмуха. Грудь полная, высокая, не обвисшая — она так и не выкормила своего ребёнка, ребёнка у неё забрали в воспитательный дом. Плечи округлые. Живот плоский. Бёдра широкие, крепкие, бёдра женщины, которая всю зиму колола дрова и таскала воду. На руках цыпки, на ногах синяки от валенок. Но тело было живое. Сильное. Красивое. Она знала это так же точно, как знала, сколько стоит пуд муки в Кафтанской лавке.

Десять лет у Китаевой. Тюрьма. Этап. Сибирская зима. Смерть. А тело — живо. Тело ничего не помнит. Тело не знает стыда. Тело — рефлекс.

Она вошла в воду.

Вода обняла её — тёплая, мягкая, тёмная. Она легла на спину и поплыла, глядя в серое небо, в белые ветки черёмухи над головой. Лепестки падали на воду, на её лицо, на грудь. Комары звенели над самой водой, но не садились: боялись воды.

И тогда она поняла, что на неё смотрят.

В кустах на том берегу старицы что-то шевельнулось. Хрустнула ветка. Она не повернула головы. Она знала, кто это. Сын перевозчика, Митька, парень лет восемнадцати, белобрысый, с красными ушами. Он ходил за ней уже месяц: на расстоянии, издали, как ходит молодая собака за чужим человеком. Когда она шла мимо, он краснел и отворачивался. Когда она отворачивалась — смотрел.

Он смотрел сейчас.

Она могла бы закричать, выбежать из воды, закрыться. Так сделала бы кафтанская баба. Так сделала бы и та Катюша из тётушкиного дома.

Она не сделала.

Она медленно перевернулась на живот, проплыла к берегу, встала в воде по пояс. Постояла. Отжала волосы — длинным, медленным движением, подняв руки, выгнув спину. Вышла на берег. Не торопясь. Не прикрываясь. Встала под черёмухой, вся мокрая, белая, в лепестках, налипших на кожу, — и стала одеваться. Тоже не торопясь.

Она чувствовала его взгляд всей кожей. Это был тот же голод — его голод, мальчишеский, жадный, растерянный. И её голод встречался с его голодом где-то посередине, над тёмной водой старицы, и ей стало жарко, несмотря на ночную сырость.

Она могла бы позвать его. Он пришёл бы — пришёл бы на коленях, дрожа, как Симонсон в первую ночь. Это было бы легко. Это утолило бы голод на одну ночь.

Она не позвала.

Она застегнула платье, накинула платок и пошла по тропинке к избе, ни разу не обернувшись. И знала, что он стоит в кустах и смотрит ей вслед, и что лицо у него горит, и что он не будет спать до утра.

Это было не утоление голода. Это было другое. Это была проба.

Тело — оружие. Она это знала всегда. Но раньше это оружие держали чужие руки — Китаевой, клиентов, Нехлюдова. Им торговали, его брали, его покупали.

Теперь оно было в её руках.

И голод не надо утолять. Голод надо беречь. Голод — это порох.

Утром она пересчитала деньги.

Конверт Нехлюдова — тот, первый, который она сунула за чулок на тюремном дворе, — она не тронула за всю зиму. Ни рубля. Она жила стиркой и шитьём, голодала, мёрзла, выменивала ленту на малину, — а конверт лежал в щели под печкой, завёрнутый в тряпицу. Ждал.

Двести рублей. Много. В Кафтане столько не было ни у кого, кроме попа и лавочника.

Неделю назад, когда она ходила в Томск, в полицию, она истратила из них одиннадцать рублей сорок копеек.

Теперь она разложила покупки на столе, на клеёнке, рядом с книгами, и смотрела на них.

Чулки. Две пары. Тонкие, фильдекосовые, чёрные, со стрелкой — такие носили в доме Китаевой, и такие продавались в Томске в галантерейной лавке на Почтамтской, в двух шагах от гостиницы, где жил Нехлюдов.

Помада. Маленькая, в бумажной трубочке, французская, как уверял приказчик, хотя на бумажке было написано по-русски «Рижская». Цвета вишни.

Пудра в коробочке с нарисованной дамой.

Флакон духов — дешёвых, резких, с запахом, который приказчик называл «гелиотропом». Она понюхала тогда флакон и вспомнила дом Китаевой: там так пахло всё.

Шпильки. Гребень. Кружевной воротничок.

Всё это было куплено на нехлюдовские деньги. На деньги, которые он дал ей «на первое время», «не ради себя, а ради…» — и не договорил ради чего. Теперь она знала, ради чего.

Рядом с помадой и чулками на клеёнке лежали книги. Сеченов. Лавров. Писарев. Чернышевский. Милль. Новый Завет англичанина с подчёркнутым Апокалипсисом. И тетрадь в клеёнчатой обложке, из которой выглядывал край бумажного венчика.

Она смотрела на всё это — на помаду и на Сеченова, на чулки и на Апокалипсис, — и ей казалось, что это одно. Что это две половины одного оружия. Как ствол и курок.

В полиции ей сказали то, что она и ожидала.

Поселенке жить в губернском городе можно только с разрешения и при наличии законного занятия. Какое у неё занятие? Шитьё? Стирка? Этим в Томске промышляют тысячи баб, и для этого не нужно разрешения полицмейстера. Нужно место. Служба. Или…

Это сказал не полицмейстер. Полицмейстер принял её на две минуты, не поднимая глаз от бумаг, и передал помощнику. А помощник был тот самый, молодой, с усиками, от которого пахло одеколоном и табаком, — тот самый, что накануне водил московского литератора по городу.

Он смотрел на неё долго. Сначала на лицо. Потом ниже. Потом снова на лицо. Она знала этот взгляд. Она знала его наизусть.

— Есть один способ, — сказал он, понизив голос, и улыбнулся. — Быстрый. Через врачебно-полицейский комитет. Билет выдаётся в тот же день. И место найдётся — я вам скажу, к кому. Хорошее заведение, приличное. Публика — лучшая в городе.

— Я подумаю, — сказала она.

— Подумайте, — сказал он. И, уже провожая её до двери, прибавил тише: — Я сам там бываю.

Она вышла на Почтамтскую, в грязь, в майское солнце, в крики извозчиков. Постояла. Посмотрела на гостиницу, где у окна, может быть, сидел Нехлюдов над стерлядью. Потом пошла в галантерейную лавку.

Тогда, в лавке, она ещё говорила себе, что подумает.

Теперь думать было не о чем.

Последнюю ночь в Кафтане она не спала.

Она сидела у стола при лампе — хотя ночь была светлая и лампа была не нужна, — и писала в тетради. Долго. Много. Страница за страницей. Потом перечитала, вырвала все страницы, кроме последней, и сожгла в печи. Осталось только это:

«Решила.

Помощник полицмейстера сказал: жёлтый билет, хорошее заведение, лучшая публика. Он сам там бывает.

Значит — туда. Где бывают они. Где они без мундиров, без ряс, без шуб. Где видно, кто они есть.

Там я их увижу. Там я их узнаю. Там я их запишу.

Сеченов: тело — рефлекс. Значит стыда нет. Значит тело — инструмент. Значит его можно употребить на дело.

Лавров: долг. Его надо взыскать.

Крыльцов: звери.

Володя: не надо мстить надо.

Апокалипсис: доколе не мстишь. Число не полно.

Символ: судити живым и мертвым.

И ещё — пять месяцев нет мужчины. Тело просит. Это тоже правда. Это не стыдно. Это физиология. Голодная собака лучше идёт по следу.

Пусть голод работает на дело. Пусть дело кормит голод. Одно другому не мешает. Одно другое оправдывает.

Китаева была у меня хозяйкой. Теперь я сама себе хозяйка.

Завтра — на тот берег».

Она закрыла тетрадь. Вложила в неё семь нераспечатанных писем Нехлюдова — не сожгла, а вложила, аккуратно, одно к одному. Пусть будут. Это его показания. Пригодятся на суде.

Утро было ясное, тёплое, звонкое. Комары ещё не проснулись.

Она умылась холодной водой из кадки. Расчесала волосы — долго, тщательно, по сто раз каждую прядь, как учила когда-то Китаева: волосы — первое, что видит мужчина. Заколола их высоко, шпильками, открыв шею.

Надела чистую рубашку. Потом — чулки.

Она надевала их медленно, сидя на лавке, вытянув ногу. Тонкий чёрный фильдекос скользил по коже, от щиколотки вверх, по икре, по колену, выше, — и она чувствовала каждый дюйм этого движения, и тело её отзывалось на него, как струна. Она вспомнила тюремный двор, конверт, который сунула за чулок привычным жестом из дома Китаевой, и покрасневшего Нехлюдова, который узнал этот жест. Тогда чулок был толстый, бумажный, арестантский. Теперь — тонкий, чёрный, со стрелкой.

Она завязала подвязку. Надела вторую.

Потом встала, подошла к осколку зеркала над рукомойником — тому, в котором видно один глаз, — и накрасила губы. Помада была жирная, сладкая на вкус, вишнёвая. Она провела раз, другой. Сжала губы. Посмотрела.

В осколке был виден один глаз и половина рта. Красного рта на бледном лице.

Этого было довольно.

Она надела серое платье — оно было её единственное, другие будут потом, — но приколола к нему кружевной воротничок. Капнула гелиотропом за уши, на запястья, в ямку на шее. Запах ударил в нос, резкий, приторный, и вместе с ним на неё пахнуло домом Китаевой — красными фонарями, пианино, зеркалами, пьяным смехом, — и она не отшатнулась, а вдохнула глубже.

Узел был уже собран. Книги. Тетрадь. Венчик. Письма. Пудра. Гребень. Новый Завет. Помаду она положила в карман.

Она оглядела избу. Лавку, где он лежал. Печь. Кадку, в которой он натаскал для неё воды. Осколок зеркала. Угол, где по ночам потрескивало, будто ходил бобыль.

Оренбургский платок Нехлюдова, который он привёз в декабре, она ещё вчера отнесла к колодцу и повесила на сруб. Пусть кафтанские бабы носят княжеский. Утром его уже не было.

Она вышла и не закрыла за собой дверь.

Подвода ждала на дороге.

Тот самый мужик, кафтанский, что вёз их с Симонсоном осенью от заставы. Он сидел на телеге, жевал травинку и смотрел на неё. Смотрел долго — на красные губы, на кружевной

воротничок, на высокую причёску, — и в лице у него медленно, как в воде, проступало понимание.

— В город, однако? — спросил он.

— В город.

— Полтинник.

— Рубль, — сказала она и положила ему на ладонь серебряный рубль. — Только не болтай.

Он посмотрел на рубль. Потом на неё. Сплюнул травинку и усмехнулся — не так, как усмехался осенью, а по-другому, с уважением.

— Садись, — сказал он.

Она села.

Поехали. Мимо избы с открытой дверью, мимо болота с мёртвыми стволами, по дороге через бор. Мимо поляны, за которой Барабинка, — и там, у крайней избы, стоял старый Ибрагим, и она махнула ему рукой, и он медленно провёл ладонями по лицу, как тогда, у погоста. Мимо Умки, где в старице под черёмухой она плавала ночью. Мимо погоста на взгорке, где за оградой осевший холм и покосившийся крест без имени.

Она не повернула головы к погосту. Она уже простилась.

Поле. Высокий берег. Томь.

Река шла широко, бурая, быстрая, ещё мутная после ледохода, но уже без льдин. У берега качался паром — неуклюжий, на канате, — и перевозчик с сыном отвязывали его. Сын, белобрысый Митька, увидел её, увидел красные губы — и залился краской до самых ушей и уронил верёвку.

Она улыбнулась ему.

Подвода въехала на паром. Канат натянулся, заскрипел. Берег поплыл назад.

Она стояла у края парома и смотрела вперёд, на тот берег. Там, на горе, над рекой, горели главы. Не холодно, как зимой. Горели на солнце, жарко, золотом. Город спускался с горы к воде — крыши, заборы, дымы, колокольни. Тот берег, на который она смотрела всю осень, всю зиму, всю весну с высокого кафтанского обрыва, как смотрят из тюрьмы на волю.

Ветер с реки трепал выбившуюся прядь. Пахло водой, смолой и черёмухой. Черёмуха цвела по обоим берегам, белая, сплошная, как снег, и ветер срывал лепестки и нёс их над рекой, над паромом. Они летели ей в лицо, падали на волосы, на серое платье, на красные губы. Падали на Кафтан позади и на город впереди. На воду. На погост.

На живых и на мёртвых.

Паром ткнулся в томский берег.

Она сошла первой.



Глава 1. Желтый билет и красный фонарь

И на челе её написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.

Откровение, 17:5

Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть.

Бакунин

1.1. Комитет

Врачебно-полицейский комитет помещался на горе, рядом с полицейским управлением, в одноэтажном каменном доме с облупленной штукатуркой цвета больного зуба.

Над управлением торчала пожарная каланча, и на ней, высоко, в деревянной будке, стоял дозорный и смотрел на город. Смотрел день и ночь, ища дым. Маслова, поднимаясь по крутой немощёной улице, подняла голову и увидела его — крошечную тёмную фигурку на фоне белого июньского неба. Он стоял неподвижно, как святой на столпе. Он видел всё: каждый двор, каждую крышу, каждую трубу. Он видел, наверное, и её.

Ей это понравилось. Пусть видит.

Гора была высокая. С неё был виден весь Томск — крыши, крыши, крыши, деревянные, серые, зелёные, бурые, с резными коньками и голубятнями, сады, заборы, луковки церквей, извилистая лента Ушайки внизу, а дальше, за городом, широкая сверкающая Томь, и за Томью — тёмная полоса бора. Кафтан. Отсюда его не было видно. Отсюда это была только тёмная полоса.

Она остановилась перевести дух.

Прямо перед ней, на самом краю горы, над обрывом, стоял костёл. Не церковь — костёл, каменный, с острым шпилем и крестом, белый, строгий, чужой среди деревянного русского города. Польский. Его поставили ссыльные поляки, которых гнали сюда после каждого восстания, тысячами, — гнали за то, что они хотели воли для своей Польши. Они строили здесь, в Сибири, свой храм, чтобы молиться своей Матке Боске на своём языке. Над дверью была надпись по-латыни, которую Маслова не могла прочесть.

А рядом с костёлом, в двух шагах, стоял деревянный дом — обычный, одноэтажный, с мезонином и резными наличниками, каких в Томске тысячи.

В этом доме когда-то жил Бакунин.

Ей рассказал Симонсон. Он рассказывал, лёжа у печки, ещё осенью, когда был здоров, — о человеке огромном, как медведь, с львиной гривой, который бежал из всех тюрем Европы, сидел в Петропавловской крепости, в Шлиссельбурге, — и был сослан сюда, в Томск, и жил вот в этом доме, и женился здесь на дочери ссыльного поляка, молоденькой девушке, а потом бежал и отсюда — через Амур, через Японию, через Америку — в Лондон, к Герцену, и снова поднимал восстания, и спорил с Марксом, и умер в Швейцарии, так и не увидев революции. Симонсон говорил о нём с восхищением и с ужасом. Бакунин хотел разрушить всё. Государство, церковь, собственность, семью, закон — всё. Он говорил, что страсть к разрушению есть творческая страсть.

Маслова стояла на горе между костёлом и домом Бакунина и смотрела то на один, то на другой.

Крест — и разрушение. Матка Боска — и бомба. Польские мученики, которые молились здесь о воле, — и русский великан, который хотел воли без Бога. Они стояли рядом. Через забор. Как соседи.

И ей вдруг показалось, что это не случайно. Что это одно и то же. Что поляки, молившиеся в костёле, и Бакунин в своём доме с мезонином хотели одного — и разница только в словах. Мученики и разрушители. Святые и бунтари. Со святыми упокой — и страсть к разрушению. В её голове это легло рядом, как легли когда-то в узел помада и Сеченов, и не спорило.

Внизу, под горой, под обрывом, в долине Ушайки, лежало Болото.

Она знала это название ещё из полиции. Так называли низину у речки, где теснились кривые дома, кабаки, ночлежки, дворы с лужами, которые не просыхали до августа. Туда стекала вода с горы, туда стекали нечистоты, туда стекало всё, что не держалось наверху. Оттуда тянуло дымом, кислым и сырым. Там, сказал помощник полицмейстера, было хорошее заведение.

Наверху — костёл и дом Бакунина. Внизу — Болото.

Она пошла к комитету.

В приёмной ждали женщины.

Их было семь или восемь. Они сидели на длинной лавке вдоль стены, под портретом государя, и Маслова, войдя, сразу узнала их — не лица, а породу. Так узнают своих. Одна, полная, немолодая, с накрашенными щеками, в шляпке с облезлым пером, лузгала семечки и сплёвывала шелуху в кулак. Другая, худая, с сизым лицом, кашляла. Третья, совсем молоденькая, рыжая, сидела неподвижно, уставившись в пол, и сжимала в руках узелок. Остальные — как везде, как у Китаевой: усталые, тупые, равнодушные, с той особенной пустотой в глазах, которая бывает у людей, переставших замечать, что с ними делают.

Они посмотрели на неё. На серое платье с кружевным воротничком. На высокую причёску, открывающую шею. На красные губы.

— Новенькая, — сказала полная и сплюнула шелуху. — Ишь, барыня.

Маслова села на край лавки. Не рядом с ними, но и не далеко. Положила руки на колени. Стала ждать.

Она помнила такую приёмную. Двенадцать лет назад, в Москве, когда Китаева привезла её впервые на осмотр. Тогда она сидела как эта рыжая — уставившись в пол, сжимая узелок, и ей хотелось умереть. Она помнила, как дрожали колени. Как горело лицо. Как она не могла поднять глаз.

Теперь колени не дрожали.

Теперь она смотрела. На портрет государя — молодого ещё, с окладистой бородой, в мундире, — висевший прямо над головами ожидающих женщин. На дверь кабинета, обитую клеёнкой. На стол писаря, где лежали стопкой жёлтые книжечки. На самих женщин. Она смотрела и запоминала. Это было новое. Раньше на неё смотрели, а она нет. Теперь она смотрела сама.

Полная женщина вдруг наклонилась к ней и сказала тихо, по-свойски, обдав запахом семечек и дешёвой помады:

— Ты не бойсь. Немец — он ничего. Холодный только. Как лягушка. А усатый — тот смотрит. Ему нравится смотреть.

— Я не боюсь, — сказала Маслова.

Полная посмотрела на неё внимательнее, и что-то в её лице изменилось.

— Ишь ты, — сказала она, уже без насмешки. — Не боится.

— Маслова Екатерина!

Кабинет был маленький, с высоким окном, закрашенным до половины белой краской, чтобы не было видно с улицы. Свет шёл сверху, мутный, ровный. Пахло карболкой, йодоформом и табаком.

Посреди кабинета стояло кресло. Не простое кресло, а особенное, медицинское, обтянутое потрескавшейся чёрной клеёнкой, с подставками для ног, — и Маслова, увидев его, на мгновение почувствовала, как внутри у неё всё сжалось, как сжимается кулак. Она знала это кресло. Она знала его лучше, чем любую кровать.

Рядом, за столиком с инструментами, стоял доктор и мыл руки в эмалированном тазу.

Сухой, в пенсне, в белом халате поверх сюртука. Карл Фёдорович.

Он обернулся, вытирая руки, — и узнал её. Она видела, что узнал: в его лице ничего не дрогнуло, но пенсне чуть блеснуло, когда он поднял голову. Он узнал её, как узнают пациента, которого лечили, — без интереса, без участия, просто отметив факт.

— Раздевайтесь, — сказал он. — За ширмой.

У окна, за маленьким столом, сидел ещё один человек. В мундире, с усиками, с тетрадью и пером. Помощник полицмейстера. Тот, что водил московского литератора по злачным местам. Тот, что сказал: «Я сам там бываю». По правилам при осмотре должен был присутство-

вать представитель полиции, чтобы записать результат. Обычно присылали писаря. Сегодня пришёл он сам.

Он смотрел на неё и улыбался.

Маслова пошла за ширму.

Она раздевалась медленно.

Она знала, что за ширмой её не видно, но знала и то, что он слушает. Слушает шорох платья, стук шпилек, вздох юбки, падающей на пол. Ему нравится смотреть, сказала полная. А когда нельзя смотреть — слушать.

Пусть слушает.

Она сняла платье. Нижнюю юбку. Сорочку. Осталась в одних чулках — чёрных, фильдекосовых, со стрелкой, купленных на нехлюдовские деньги. Хотела снять и их. Потом передумала.

И вышла из-за ширмы так.

Белое тело, чёрные чулки. Красный рот. Волосы высоко, шея открыта. Она прошла через кабинет к креслу — не быстро и не медленно, тем шагом, которому учила Китаева: от бедра, ставя ногу на всю ступню, чуть покачивая плечами. Шесть шагов. Она чувствовала, как помощник полицмейстера перестал дышать. Слышала, как скрипнуло перо, споткнувшись на бумаге.

Карл Фёдорович не поднял глаз. Он перебирал инструменты.

Она села в кресло. Клеёнка была холодная и липкая. Она положила ноги на подставки. Ноги в чёрных чулках — сильные, крепкие, белые выше чулок, — раскрылись, как раскрываются створки. Она смотрела не на доктора. Она смотрела поверх его плеча — на помощника полицмейстера у окна. Прямо в глаза.

Он покраснел. Медленно, от воротника мундира до корней волос. Отвёл взгляд. Потом снова посмотрел — не мог не посмотреть. Потом снова отвёл.

Она не отводила.

Карл Фёдорович взял со столика инструмент — металлический, блестящий, холодный, с двумя створками.

Зеркало. Так его называли. Она помнила это слово с первого раза, двенадцать лет назад, и тогда оно показалось ей страшным и непристойным: зеркало, которое вставляют внутрь, чтобы посмотреть. Не на лицо — внутрь. В самое тёмное. В то, чего не видит никто, даже она сама.

У Китаевой зеркала висели на всех стенах, в золочёных рамах, — чтобы мужчины видели себя с девушками. В Кафтане был осколок над рукомойником, в котором видно один глаз. А здесь — это. Зеркало, которое смотрит в неё.

Металл вошёл холодно. Она не вздрогнула. Она смотрела на помощника полицмейстера.

Карл Фёдорович наклонился. Пенсне блеснуло. Он смотрел внутрь неё — сухо, внимательно, равнодушно, как смотрел в грудь Симонсона, приложив ухо, — как чиновник читает чужое прошение. Потом выпрямился. Вынул инструмент. Положил в таз. Звякнул металл.

— Здорова, — сказал он по-немецки, себе, потом громче, по-русски, к окну: — Здорова. Признаков заразных болезней не обнаружено.

Помощник полицмейстера записал. Перо скрипело долго, долго, дольше, чем нужно было для двух слов.

Маслова сняла ноги с подставок и встала с кресла. Не торопясь. Прошла к ширме. Шесть шагов, от бедра.

У ширмы она обернулась и сказала — не помощнику, а доктору, ровным, светским голосом, каким говорят о погоде:

— Вы тогда опоздали, Карл Фёдорович.

Он поднял голову. Пенсне.

— Простите?

— К Симонсону. В Кафтан. Вы приехали на четвёртый день. Он умер на восьмой.

Доктор помолчал. Он, кажется, вспомнил. А может быть, и нет: у него было много пациентов.

— Медицина не всесильна, сударыня, — сказал он сухо. — Крупозная пневмония при запущенном течении…

— Вам заплатили за визит?

— Мне… да. Его сиятельство…

— А за этот осмотр вам тоже платят?

— Мне платит комитет.

— Значит, вы всегда приходите, когда вам заплатят, — сказала Маслова. — Когда заплатит князь — к умирающему. Когда заплатит полиция — ко мне. Это правильно. Это порядок.

И ушла за ширму.

За ширмой было тихо. Потом она услышала, как доктор, ничего не сказав, снова стал мыть руки в тазу. Долго мыл. Вода плескалась.

Она одевалась и думала, что он моет руки, как Нехлюдов. Холодной водой. Каждое утро. Они все моют руки. Пилат тоже мыл руки.

Жёлтый билет ей выдал сам помощник полицмейстера.

Он вышел вслед за ней в приёмную — женщины на лавке разом замолчали и уставились на них, — взял со стола писаря жёлтую книжечку, раскрыл, обмакнул перо и стал заполнять, стоя, держа книжечку на ладони. Писал медленно, старательно, высунув кончик языка, как гимназист.

Потом протянул ей.

— Извольте. Заменительный билет. Взамен вида на жительство. По нему вам можно проживать в городе. Являться на осмотр по субботам. Отметки ставит доктор. Утеряете — штраф. Будете уличены в занятии промыслом без билета — арест.

Она взяла.

Книжечка была маленькая, в жёлтой бумажной обложке, с орлом. Жёлтая, как воск. Как лицо Крыльцова на голых досках. Как бумажный венчик.

Внутри, на первой странице, его старательным почерком было написано:

«Маслова Екатерина Михайловна. Ссыльнопоселенка Кафтанчиковской волости. Лет — 27. Рост — средний. Волосы — чёрные. Глаза — чёрные. Особых примет — нет».

Особых примет — нет.

Она стояла посреди приёмной, под портретом государя, перед лавкой с женщинами, и читала эту строчку. Особых примет нет. Чёрные волосы, чёрные глаза, рост средний. Вот и всё, что о ней знает государство. Вот всё, что оно записало.

Будут, подумала она. Будут приметы.

— Вы не забыли, — сказал помощник полицмейстера, понизив голос, наклоняясь к ней так близко, что она почувствовала одеколон и табак, — что я вам говорил? Насчёт места? Дом Анны Марковны. На Болоте, у самой Ушайки, второй от моста, зелёные ставни. Скажете — от Очумелова. Анна Марковна знает. — Он помолчал. — Я там бываю. По четвергам.

— Сегодня какой день? — спросила Маслова.

— Вторник.

— Значит, в четверг.

Она сказала это просто, без улыбки, глядя ему в глаза. И он снова покраснел — так же медленно, от воротника до волос, — и, кажется, сам не понимал, почему краснеет. Ведь это он здесь власть. Он, в мундире, с пером. Он выдал ей билет. Он может отнять его в любую минуту. А краснел он.

Она спрятала жёлтый билет за корсаж, у самого сердца, туда, где когда-то, в Москве, прятала деньги от Китаевой.

На лавке полная женщина, перестав лузгать семечки, смотрела на неё открыв рот. Рыжая молоденькая подняла наконец глаза от пола и тоже смотрела, и в её взгляде был страх, и удивление, и ещё что-то — что-то похожее на надежду.

Маслова прошла мимо них к двери. У двери остановилась и, не оборачиваясь, сказала:

— Не бойтесь его. Он сам боится.

И вышла.

На улице было солнце, ветер с реки и пыль.

Она остановилась на краю горы — там же, где стояла утром. Костёл белел справа, строгий, со шпилем и крестом. Дом Бакунина темнел слева, деревянный, с мезонином. А внизу, под обрывом, в долине Ушайки, лежало Болото — крыши, дворы, дым, лужи, — и где-то там, у самой речки, второй дом от моста, с зелёными ставнями.

Она достала из кармана помаду, сняла бумажный колпачок и, глядя в маленькое зеркальце, которое купила вместе с пудрой, подкрасила губы. Вишнёвое, сладкое, жирное. Красное.

Внутри у неё было то самое зеркало — холодный металл, двустворчатый, — она всё ещё чувствовала его, как чувствуют занозу. Оно смотрело в неё. Комитет смотрел в неё. Государство смотрело в неё, внутрь, в самое тёмное, — и записало: особых примет нет.

Хорошо, подумала она. Теперь я посмотрю в вас.

С каланчи над полицейским управлением дозорный смотрел на город, ища дым.

Дыма пока не было.

Она пошла вниз, на Болото.

1.2. Болото

Спуск с горы был крутой и кривой, как сломанный позвоночник.

Наверху ещё было небо, ветер, белый костёл, дозорный на каланче. С каждым шагом вниз неба становилось меньше. Сначала его заслонили заборы, потом крыши, потом бельё, развешанное на верёвках поперёк улицы, — серые простыни, рубахи, исподнее, — и солнце пробивалось сквозь них пятнами, как сквозь рваную марлю. Становилось теплее и сырее. Начинало пахнуть.

Пахло всем сразу. Тиной от Ушайки. Помоями, которые выплёскивали прямо с крыльца. Квашеной капустой из подвалов. Конским навозом, кислой овчиной, дешёвым табаком, жареным луком, сивухой. И сквозь всё это, сладко и тошнотворно, — гниющими досками, гниющей водой, гниющей землёй. Болото гнило так же, как гнил весной снег в Кафтане. Здесь всё гнило всегда.

Она узнала этот запах. Он был тот же, что у Китаевой, только честнее. У Китаевой его прятали под духами.

Под ногами хлюпало. Тротуаров не было — были доски, брошенные в грязь, кривые, скользкие, полузатонувшие. Она ступала по ним осторожно, приподняв подол, и всё равно чулки сразу забрызгало до щиколоток. Чёрное на чёрном. Не видно.

У кабака на углу, у самого спуска, сидели на завалинке мужики. Трое или четверо, с красными мутными глазами, с лицами одинаковыми, как пятаки. Один спал, привалившись к стене. Другой, увидев её, поднял бутылку и крикнул хрипло и торжественно, будто открыл великую истину:

— Ин вино веритас!

Где он подцепил эту латынь — бывший семинарист, спившийся писарь, выгнанный учитель? Остальные загоготали. Глаза у них были красные и мокрые, как у кроликов.

Маслова прошла мимо. Она подумала: истина в вине. Может быть. Истина где-то здесь, внизу, в грязи, в вине, в гнили, — а наверху, на горе, только костёл и каланча. Наверху её ищут. Здесь в ней живут.

Она обернулась.

Отсюда, снизу, гора казалась огромной. Она закрывала полнеба. И на самом её краю, над обрывом, высоко-высоко, белел шпиль костёла с крестом. Он был тонкий и острый, как игла. Как жало. Он смотрел вниз, на Болото, и Болото смотрело на него.

Где-то там, рядом со шпилем, невидимый отсюда, стоял деревянный дом с мезонином, в котором жил Бакунин.

Крест над Болотом. И разрушитель под крестом.

Она отвернулась и пошла к Ушайке.

Мост был деревянный, горбатый, с перилами из жердей. Под ним текла Ушайка — узкая, бурая, медленная, с радужными пятнами на воде, с плывущими щепками, с гнилым запахом. На берегу бабы колотили вальками бельё. Дальше, у воды, мальчишки ловили что-то сачком и кричали.

Второй дом от моста.

Он стоял чуть в стороне от улицы, за высоким глухим забором, — двухэтажный, деревянный, крашенный когда-то в голубое, теперь облупившееся до серого. Ставни зелёные. Все закрыты, хотя был день. Над калиткой — ничего, ни вывески, ни номера. Только на крыльце, под навесом, висел незажжённый фонарь с красным стеклом.

Красный фонарь. Днём он был просто стекло, мутное, засиженное мухами. Ночью он загорится.

Она постояла у калитки. Последний раз. Последний раз можно было повернуться и уйти — наверх, на гору, через Томь, в Кафтан, в избу с открытой дверью, к болоту, к книгам, к коровам, к татарам.

Гиппиус? Нет — она не знала этого имени, никто ещё не знал этого имени, но в голове у неё вдруг сложилась фраза, чужая и своя одновременно, будто кто-то шепнул её из будущего: *мне нужно то, чего нет на свете*.

Того, чего нет на свете, не найдёшь ни в Кафтане, ни на горе. Его можно только сделать. Из того, что есть. Из грязи. Из Болота.

Она постучала.

Открыл вышибала — огромный, рябой, в красной рубахе навыпуск, с руками как лопаты. Посмотрел на неё сверху вниз, долго, без выражения, как смотрит бык.

— От Очумелова, — сказала Маслова.

Бык подумал. Потом посторонился.

Внутри было темно и прохладно после улицы. Пахло застоявшимся табаком, пролитым пивом, пудрой, духами — тем самым гелиотропом, который она купила на Почтамтской, — и под всем этим, едва уловимо, карболкой. Карболкой пахло везде, где продают тела. В комитете, у Китаевой, здесь. Это был запах закона.

Через приоткрытую дверь она увидела залу: длинную, с низким потолком, с диванами вдоль стен, обитыми малиновым плюшем, вытертым до проплешин. Пианино в углу. Зеркала в золочёных рамах — много, на всех стенах, тусклые, в пятнах. Пальма в кадке. Олеография на стене: голая женщина с голубем. Днём, при закрытых ставнях, при свете одной лампы, всё это выглядело как театральная декорация после спектакля: облезлое, пыльное, жалкое.

Ночью оно оживёт. Ночью зажгут лампы, и плюш станет алым, и зеркала заблестят, и голая женщина с голубем покажется красавицей.

Бык провёл её по коридору в конец, к двери с медной ручкой. Постучал. Голос изнутри сказал:

— Войдите.

Анна Марковна пила чай.

Комната её была маленькая и очень чистая — чище всего дома. Кровать с горой подушек под кружевной накидкой. Комод с фарфоровыми собачками. Канарейка в клетке у окна. И угол, весь угол, от пола до потолка, в иконах: тёмные лики в окладах, в фольге, в бумажных цветах, и перед ними лампада красного стекла — горела ровно, неугасимо, как фонарь на крыльце.

Красный огонь перед Богом. Красный огонь над дверью. Один и тот же цвет.

Сама Анна Марковна сидела за столом, накрытым вязаной скатертью, перед самоваром. Маленькая, полная, седая, в чёрном шерстяном платье с белым воротничком, в очках на шнурке. Похожа на попадью, на добрую тётушку, на старую экономку из хорошего дома. Руки у неё были пухлые, белые, в кольцах, и она держала блюдечко на растопыренных пальцах и дула на чай.

Она подняла глаза — маленькие, светлые, острые, как у птицы.

— От Петра Семёныча? — спросила она.

— От Очумелова.

— Ну да, ну да. Садитесь, милая. Чаю?

Маслова села. Анна Марковна не налила ей чаю. Она поставила блюдечко, сняла очки, протёрла их краешком скатерти, надела снова и стала смотреть.

Маслова знала этот взгляд. Она видела его двенадцать лет назад, в Москве, когда Китаева так же сидела за столом и так же смотрела на неё — шестнадцатилетнюю, беременную, выгнанную из тётушкиного дома. Это был взгляд барышника на конской ярмарке. Лицо. Зубы. Шея. Грудь. Талия. Бёдра. Руки — руки особенно: рабочие руки сбивают цену. Взгляд прошёл по ней сверху вниз и снизу вверх, ощупал, взвесил, оценил.

Только теперь Маслова смотрела в ответ.

Она смотрела на кольца на пухлых пальцах — сколько стоят. На комод с собачками. На кружевные подушки. На лампаду. На белый воротничок. Она смотрела так же, как Анна Марковна смотрела на неё, — тем же взглядом, барышническим, оценивающим, — и Анна Марковна это почувствовала. Глаза её чуть сузились.

— Где работали? — спросила она.

— В Москве. У Китаевой.

— У Китаевой? — Анна Марковна приподняла брови. — Слыхала. Хорошая хозяйка. Строгая. Порядок держала. — Помолчала. — А потом?

— Потом суд. Каторга. Помилование. Поселение.

— За что судили?

— За отравление купца.

Анна Марковна не вздрогнула. Только пухлые пальцы на блюдечке чуть сжались.

— Отравили?

— Нет. Дала порошок, сказали — сонный. А он умер. Присяжные забыли написать «без умысла».

— Бывает, — сказала Анна Марковна и вздохнула, будто речь шла о неурожае. — Суд — дело Божье. Только люди его творят, а люди, известно, — грешны. — Она отхлебнула чаю. — А теперь, значит, сюда.

— Сюда.

— А почему ко мне? В Томске домов много.

— Мне сказали — у вас лучшая публика.

Анна Марковна улыбнулась. Улыбка у неё была добрая, тётушкина, с ямочками.

— Публика у меня, милая, всякая. Есть и лучшая. Бывают люди с положением. Бывают из университета. Бывают и такие, кого по имени не называют. — Она помолчала. — Мои девушки… Знаете, как я про них говорю? Все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. Кто под седлом, кто в упряжке. А я за ними хожу, как конюх. Кормлю, пою, лечу. И они мне благодарны.

Она сказала это задумчиво, глядя на лампаду, будто цитировала что-то из Писания. Маслова не знала, откуда эти слова. Анна Марковна тоже, кажется, не знала. Они пришли откуда-то сами — из воздуха, из будущего, из Болота.

— Условия у меня такие, — продолжала Анна Марковна уже другим голосом, деловым. — Стол и квартира от меня. Платья, бельё, духи — от меня, в долг, выплачиваете из заработка. Девушке — треть от гостя, остальное — дому. По субботам — осмотр, по воскресеньям — к обедне, у меня строго, я девушек от Бога не отлучаю. Выходить — с моего позволения. Гостю не отказывать, если гость приличный. Пьяных драк не допускаю. Ребёнка заведёте — избавлю, у меня есть бабка, хорошая. Уйти захотите — сначала долг.

Маслова слушала. Всё это она знала наизусть. Те же слова, тот же порядок. У Китаевой было то же. Во всех домах России — то же. Как будто где-то в Петербурге лежал один на всех устав, напечатанный в типографии, с орлом, и хозяйки заучивали его, как Символ веры.

— Я согласна, — сказала она. — Но у меня тоже условия.

Анна Марковна подняла брови.

— Условия?

— Своя комната. Отдельная. С ключом.

— У меня девушки по двое…

— Своя, — повторила Маслова. — Я буду приносить вам больше, чем две ваших девушки. Через месяц вы это увидите. Если не увидите — переселите.

Анна Марковна молчала. Смотрела.

— Ещё что?

— Книги.

— Что?

— Я читаю. Днём, когда нет гостей. Мне нужно время и свеча.

Анна Марковна засмеялась. Тихо, мелко, с ямочками, прикрыв рот пухлой рукой.

— Книги! Ну, милая… У меня Женька читает. Романы. Про любовь. Плачет потом. — Она отсмеялась. — А вы что читаете?

— Разное.

Анна Марковна посмотрела на неё ещё раз — внимательно, совсем по-другому, без смеха. Посмотрела так, будто только сейчас увидела. И Маслова поняла, что та всё поняла. Не про книги — про другое. Про то, что перед ней не лошадь.

— Хорошо, — сказала Анна Марковна медленно. — Комната будет. Наверху, угловая, где раньше жила Клавдия. Клавдия у нас померла зимой. Книги читайте. Только чтобы гостям не мешало. — Она помолчала. — Посмотрим, милая. Посмотрим, сколько вы принесёте.

Она взяла со стола колокольчик и позвонила.

Дверь открылась, и вошла девушка с подносом.

Совсем ещё молоденькая — лет девятнадцати, не больше, — маленькая, худенькая, белобрысая, с веснушками, с тонкой шеей, в сером платье и белом фартуке. На подносе стоял чистый стакан в подстаканнике и вазочка с вареньем. Подавальщица. Та, что разносит в зале пиво и чай.

Она вошла, увидела Маслову — и замерла.

Маслова не знала, что увидела в ней девушка. Может быть, красные губы. Может быть, глаза. Может быть, то, как она сидела — прямо, свободно, с руками на коленях, перед самой хозяйкой, как равная. Девушка смотрела на неё и не двигалась, и поднос в её руках задрожал.

Стакан съехал к краю подноса. Ложечка звякнула.

— Настя! — резко сказала Анна Марковна.

Девушка вздрогнула всем телом. Стакан покачнулся и пошёл вниз.

Маслова, не вставая, протянула руку и поймала его. Просто, спокойно, на лету, как ловят падающее яблоко. И поставила обратно на поднос. И на мгновение её пальцы коснулись Настиных пальцев — холодных, мокрых от страха, дрожащих, как у пойманного воробья.

Настя подняла на неё глаза. Светлые, круглые, полные слёз.

— Простите, — прошептала она. Неизвестно кому — хозяйке или ей.

— Ничего, — сказала Маслова тихо. И, сама не зная зачем, задержала руку на Настиных пальцах ещё на мгновение. Пальцы перестали дрожать.

— Иди, — сказала Анна Марковна. — И позови Эмму Эдуардовну.

Настя поставила стакан перед Масловой, налила чаю — руки уже не тряслись — и вышла. У двери обернулась и посмотрела на Маслову ещё раз. Так смотрят бездомные собаки на человека, который не пнул их.

— Переселенка, — сказала Анна Марковна, когда дверь закрылась. — Родители померли в дороге, от тифа. Подобрала на улице — пожалела. Пока подаёт. Боится всего. Глупая. — Она помолчала и прибавила задумчиво, ни к кому не обращаясь: — Ничего, привыкнет.

Маслова пила чай и молчала. Чай был крепкий и сладкий. Варенье — брусничное.

Привыкнет. Она знала, что значит это слово в этом доме.

Эмма Эдуардовна вошла без стука.

Высокая, плоская, сухая, в тёмно-синем платье, застёгнутом до горла, с туго стянутыми на затылке рыжеватыми волосами. Лицо длинное, бледное, с поджатыми губами. На поясе — связка ключей, позвякивающих при каждом шаге. Под мышкой — толстая конторская книга в коленкоровом переплёте и пачка маленьких книжечек, перевязанных шпагатом.

Она не поздоровалась. Она посмотрела на Маслову так же, как Анна Марковна, — оценивающе, только ещё холоднее, без притворной доброты. Немка. Остзейская, наверное, из Риги или Ревеля. Маслова таких видела. Они были самые страшные.

— Новая, — сказала Анна Марковна. — Маслова Екатерина. Угловая комната, где Клавдия. Одень её.

Эмма Эдуардовна кивнула. Развязала шпагат. Взяла из пачки чистую книжечку — маленькую, в серой обложке, — открыла, обмакнула перо в чернильницу Анны Марковны и написала на первой странице: «Маслова Екат.» И поставила дату.

Маслова смотрела на эту книжечку.

Вот оно. Долговая книжка. Такая же была у неё у Китаевой. Туда записывали всё: каждое платье, каждую пару чулок, каждый флакон духов, каждый обед, каждую свечу, каждый день постоя. Записывали по ценам, которые назначала хозяйка, — втрое, впятеро против лавочных. А заработок девушки записывали на другой странице — треть от гостя, — и эта треть никогда, никогда не догоняла долга. Долг рос. Он рос, как болото растёт, как плесень растёт, как ребёнок растёт в животе. Девушка работала год, два, пять, десять — и долг становился только больше. И уйти было нельзя: сначала долг. А долг был вечный.

Вечная память, пели над Симонсоном. Вечный долг, писала Эмма Эдуардовна.

Эта маленькая серая книжечка была крепче замка, крепче стен, крепче быка в красной рубахе у двери. Она держала девушек лучше любой тюрьмы. В тюрьме хотя бы знаешь свой срок.

У Масловой за корсажем лежали сто восемьдесят восемь рублей нехлюдовских денег. Она могла бы сейчас вынуть их и заплатить за всё наличными — за платья, за бельё, за постой на месяц вперёд — и не взять на себя ни копейки долга. Остаться свободной. Тогда бы она могла уйти отсюда в любой день.

Она не вынула.

Она хотела, чтобы её записали. Хотела, чтобы её имя стояло в этой книжечке, как стоят имена всех. Хотела быть внутри. Чтобы узнать, как это устроено. Чтобы найти, где у этого замка скважина.

Деньги останутся за корсажем. Они понадобятся потом. Для другого.

— Платья, — сказала Эмма Эдуардовна, не поднимая глаз от книжки. — Пойдёмте.

Платья висели в кладовой на втором этаже, в большом шкафу, пахнущем нафталином и чужим потом.

Эмма Эдуардовна раскрыла дверцы и стала снимать одно за другим, показывать, вешать обратно, говоря цену ровным голосом, как читают молитву:

— Голубое, шёлк, на корсете. Тридцать пять рублей. Розовое, атлас, с кружевом. Сорок. Белое, муслин, для невинных. Двадцать восемь. Сиреневое…

Маслова смотрела. Голубое — для блондинок. Розовое — для пухленьких. Белое — для тех, кто играет девочку, для тех, кто любит девочек. Всё это были маски. Каждое платье — роль. Как в театре.

В глубине шкафа, в самом конце, висело ещё одно. Она увидела его не сразу — сначала только цвет, мелькнувший между голубым и сиреневым.

Красный.

— Это, — сказала она.

Эмма Эдуардовна обернулась. Поджала губы.

— Это не для вас.

— Почему?

— Красное у нас носит Нана.

— У неё одно красное платье?

— У неё… — Эмма Эдуардовна запнулась. — Нет. У неё три. Это — запасное.

— Тогда оно не её.

Маслова сама протянула руку и сняла платье с вешалки.

Оно было тяжёлое — шёлк, плотный, тёмно-красный, цвета вишни, цвета крови, цвета её помады. С глубоким вырезом, открывающим плечи. С корсажем на косточках, стягивающим талию до тонкости осы. С юбкой, которая расширялась книзу и шуршала, как сухие листья, как шёпот, как огонь в печи. По краю выреза шла чёрная кружевная оторочка, тонкая, как паутина.

Красное и чёрное.

Она приложила платье к себе и посмотрела в зеркало на двери шкафа — большое, мутное, с отбитым углом. В зеркале стояла женщина в сером, с красным платьем в руках, и платье было как пламя, приложенное к пеплу.

Она вспомнила флаги. Политические на этапе рассказывали о них шёпотом: о демонстрации у Казанского собора, давно, о юноше, который поднял над толпой красное знамя с надписью «Земля и воля». Его схватили, судили, сгноили на каторге. Но знамя было. Красное. Цвет крови. Цвет бунта. Цвет того, что нельзя.

И то же красное — на фонаре над дверью. На лампаде перед иконами Анны Марковны. На её губах.

Страсть — и бунт. Блуд — и революция. Кровь, которую проливают девственницы, когда становятся блудницами, и кровь, которую проливают на площади, и становятся революционерами. Один цвет.

— Сколько? — спросила она.

Эмма Эдуардовна помолчала. Потом сказала, глядя ей в лицо — с вызовом, с тем же холодным, как вода в Томи, остзейским презрением:

— Шестьдесят рублей.

Втрое дороже, чем стоило. Маслова это знала. Эмма Эдуардовна знала, что она знает. Это была проверка.

— Записывайте, — сказала Маслова.

Эмма Эдуардовна раскрыла серую книжечку и написала, твёрдо, с нажимом: «Платье красное шёлк — 60 р.».

Первая строчка долга.

Маслова смотрела, как высыхают чернила. Потом сказала:

— Ещё чулки. Чёрные. Две пары. И бельё — тоже чёрное. И туфли — красные. На каблуке.

Эмма Эдуардовна записывала. Строчка за строчкой. Сумма росла.

Маслова смотрела на эти строчки и думала, что каждая из них — это гвоздь. Гвоздь, который она сама вбивает в свой гроб. Гроб, который она сама потом откроет изнутри.

И сожжёт.

Вечером, в угловой комнате наверху, где зимой умерла какая-то Клавдия, она надела красное.

Корсаж стянул талию так, что стало трудно дышать. Шёлк лёг на тело — тяжело, прохладно, как вода в старице под черёмухой. Плечи открылись. Юбка зашуршала. Она надела чёрные чулки, красные туфли на каблуке, — каблуки подняли её, выпрямили, вытянули ноги, и она почувствовала, как меняется походка, как бёдра начинают двигаться сами, как тело вспоминает то, что знало двенадцать лет. Соски ее напряглись и покраснели.

Она распустила волосы. Чёрные, вьющиеся, тяжёлые, — они упали на плечи, на спину, на красный шёлк. Одна прядь упала на лоб, на глаза. Она не стала её поправлять.

Подкрасила губы. Вишнёвое на вишнёвом.

Потом подошла к окну. Ставни были закрыты, но в щель между створками виднелась полоска неба — тёмно-синего, вечернего, — и на его фоне, высоко, на горе, белел шпиль

костёла. Крест на шпиле поймал последний луч заката и вспыхнул красным. На мгновение. Потом погас.

Внизу, на крыльце, кто-то зажёг фонарь.

Красный свет упал на мокрые доски двора, на забор, на грязь Болота. Залу внизу наполнили голоса, кто-то сел за пианино и заиграл вальс — фальшиво, с пропущенными нотами. Хлопнула пробка. Засмеялась женщина — низко, гортанно. Нана, наверное.

Маслова стояла у окна в красном платье, с прядью на глазах, и смотрела сквозь щель ставни на погасший крест.

Потом повернулась и пошла вниз.

1.3. Аукцион

К одиннадцати зала была полна.

Ставни закрыли наглухо, лампы зажгли все, и малиновый плюш, днём облезлый и жалкий, стал алым, густым, как кровь в бокале. Зеркала заблестели. Голая женщина с голубем на олеографии порозовела и стала почти красавицей. Пальма в кадке отбрасывала на стену тень, похожую на растопыренную пятерню. Пахло табаком, пивом, гелиотропом, потом, пудрой и тем, что под пудрой.

Тапёр, плешивый, в засаленном фраке, играл вальс — тот же, что в сумерках, с теми же пропущенными нотами. Играл и не слушал себя. Он играл этот вальс, наверное, десять тысяч раз.

Девушки сидели на диванах вдоль стен. Голубое, розовое, белое, сиреневое. Как конфеты в коробке. Как куклы в лавке. Как лошади у коновязи.

Гости стояли, сидели, пили, курили, смеялись. Купцы в поддёвках, приказчики в крахмальных воротничках, двое офицеров, чиновник с орденком. Студент в тужурке, худой, очкастый, сидел в углу один, пил пиво и смотрел на всё с выражением человека, изучающего социальное явление.

В красном, в углу, у самого пианино, сидела Нана.

Она была красива — не по-русски красива: смуглая, тонкая, с узким лицом, с огромными подведёнными глазами, с волосами, уложенными по-парижски, высоко, с завитками на висках. Говорила с акцентом, картавила, вставляла французские словечки. Говорили, что она из Парижа. Говорили, что из Варшавы. Эмма Эдуардовна знала точно, что из Риги и что настоящее её имя Анна Берзиня, но молчала, потому что француженка стоила втрое дороже латышки.

Нана сидела на коленях у молодого человека в светлом сюртуке, с напомаженными волосами и маленькими усиками, — у Паратова, сына пароходчика, который тратил отцовские деньги так, будто они горели у него в руках. Она смеялась низко, гортанно, запрокидывая голову, и пила шампанское из его бокала.

У стены, отдельно, в кресле, которое никто другой не занимал, сидел большой человек.

Огромный, широкий, с бородой лопатой, рыжей с проседью, с красным обветренным лицом и маленькими медвежьими глазками. В поддёвке тонкого сукна, с золотой цепью через живот, с перстнем на мизинце. Он сидел неподвижно, расставив ноги в высоких сапогах, держал в руке стакан водки и не пил. Смотрел. Перед ним на столике стояла бутылка и тарелка с солёными груздями, и никто к нему не подходил — ни девушки, ни гости. Будто вокруг него был круг, через который нельзя переступить.

Это был Привалов. Золотопромышленник. Хозяин трёх приисков на Мариинской тайге, двух пароходов на Оби, половины домов на Почтамтской. Говорили, что он в молодости сам мыл золото лотком, босой, в ледяной воде. Говорили, что убил человека на прииске — артельщика, который утаил самородок. Говорили, что он может купить весь Томск и не заметить.

Он приходил к Анне Марковне раз в месяц. Никогда не выбирал сразу. Сидел, смотрел, пил. Иногда уходил, никого не взяв.

В половине двенадцатого Анна Марковна вышла на середину залы и хлопнула в ладоши.

Тапёр оборвал вальс на полуфразе. Разговоры стихли. Анна Марковна стояла посреди алого света — маленькая, полная, в чёрном шерстяном платье с белым воротничком, — похожая на попадью, пришедшую в кабак увещевать грешников.

— Господа, — сказала она тихим, задушевным, тётушкиным голосом. — Сегодня у нас радость. Новенькая. Прямо из Москвы. Работала в лучшем доме — у самой Китаевой, может, кто слыхал. Красавица. Образованная. Книжки читает.

Кто-то засмеялся.

— Обычай у меня известный, — продолжала Анна Марковна, переждав смех. — Новенькую — первому, кто больше даст. Для почину. Чтобы с лёгкой руки. — Она помолчала. — Начнём с двадцати пяти.

Двадцать пять рублей. Цена коровы. Обычная цена за ночь у Анны Марковны была три рубля, пять с шампанским.

По зале прошёл гул. Кто-то присвистнул.

— Да где ж она, новенькая-то? — крикнул купец в поддёвке. — Товар покажи!

Анна Марковна обернулась к двери.

Маслова стояла на лестнице.

Она стояла там уже давно — минут десять, — в полутьме, на третьей ступеньке сверху, и смотрела вниз, на залу, сквозь перила. Смотрела, как смотрят со сцены в тёмный зал перед поднятием занавеса. Она видела всё: диваны, девушек, Нана на коленях у Паратова, студента в углу, огромного рыжебородого человека в кресле. Она видела Настю — та стояла у буфетной стойки с подносом, в сером платье и белом фартуке, бледная, и тоже смотрела на лестницу.

Ноги у неё не дрожали. Но внутри что-то происходило.

Это началось ещё наверху, когда она надевала красное. Тяжёлый шёлк на голом теле. Корсаж, стянувший талию. Чулки, скользящие вверх по ноге. Каблуки, которые выпрямили её, подняли грудь, вытянули шею. Она почувствовала тогда, как тело просыпается — тело, которое пять месяцев ничего не знало, кроме холода, топора, вёдер, ледяной воды, горя. Тело вспомнило.

А теперь — эти голоса внизу. Этот запах. Этот алый свет. Мужчины — много мужчин, десятки, — и все они ждут её. Все смотрят на дверь. Все хотят.

У неё горели щёки. Горели губы. Горело что-то внизу живота — медленно, сладко, тяжело, как разгорается печь, когда подбросишь сухих поленьев. Сеченов, подумала она. Раздражение — и рефлекс. Пять месяцев раздражения. Нервная сила, накопившаяся, ищущая выхода.

Голод.

Она сжала перила. Пальцы были горячие.

Это было стыдно. Это было не по плану. Она пришла сюда судить, а не хотеть. Она пришла смотреть, записывать, искать скважину в замке.

А тело хотело.

Ну и пусть, подумала она вдруг — легко, весело, с какой-то злой радостью. Пусть хочет. Голодная собака лучше идёт по следу. Голод — это порох.

Пусть он горит.

Она спустилась.

Не так, как спускаются девушки к гостям — робко или жеманно, опустив глаза. Она шла медленно, ступень за ступенью, держась одной рукой за перила, а другой чуть приподняв подол, — так, что на каждом шаге из-под красного шёлка показывалась нога в чёрном чулке и красная туфля на каблуке. Шаг. Нога. Шаг. Нога. Каблуки стучали по ступеням — громко, отчётливо, в полной тишине, потому что тапёр не играл и все молчали.

Волосы распущены — чёрные, тяжёлые, вьющиеся, до лопаток. Прядь на лбу, на глазах. Красные губы. Белые плечи из выреза. Чёрное кружево по краю.

Она сошла с последней ступеньки и остановилась в дверях залы. Посмотрела на всех — из-под пряди — тем взглядом, который у раньше был чуть косящим и который теперь был просто прямой, тёмный, дикий, как у волчицы, вышедшей из леса к костру.

Тишина стала ещё глубже.

Нана в углу перестала смеяться. Паратов выпрямился и уронил бокал. Студент снял очки, протёр их, надел снова. Огромный рыжебородый человек в кресле впервые за вечер поднёс к губам стакан водки — и не выпил, а так и застыл со стаканом у рта.

— Вот, — сказала Анна Марковна, и голос её чуть дрогнул. — Катерина. Двадцать пять рублей, господа. Кто больше?

— Тридцать! — крикнул купец в поддёвке.

— Тридцать пять, — сказал офицер.

— Сорок!

Маслова слушала, как растут цифры. Сорок. Сорок пять. Пятьдесят. Они торговались, как торгуются на ярмарке за лошадь, — громко, азартно, перебивая друг друга, — и смотрели на неё, а она стояла в дверях и слушала.

И вдруг ей стало мало.

Мало стоять. Мало, чтобы смотрели. Мало, чтобы торговались внизу, а она — товар, кукла, лошадь. Это было как у Китаевой. Это было как всегда. Это было не то.

Она пошла через залу.

Посреди залы стоял большой стол — длинный, дубовый, заставленный бутылками, бокалами, тарелками с закуской, пепельницами. Вокруг него сидели гости.

Маслова подошла к столу, не глядя на гостей, поставила ногу в красной туфле на стул, опёрлась рукой о плечо купца в поддёвке — он охнул, как будто его ударили, — и одним движением поднялась на стол.

Бокал упал и разбился. Бутылка покатилась, и купец поймал её в последний момент. Кто-то вскрикнул. Кто-то засмеялся. Тарелка с груздями поехала к краю.

Она стояла на столе.

Высоко. Над всеми. Над их головами, над их лысинами и напомаженными проборами, над их красными лицами и мокрыми губами. Каблуки впились в дубовую столешницу. Красное платье спадало вниз, на бутылки, на бокалы, и в бокалах, в разлитом вине, отражался красный шёлк.

Она посмотрела вниз.

Они были внизу. Все. Они смотрели вверх — на неё. Открыв рты. Задрав головы. Как смотрят на икону в церкви, когда её проносят крестным ходом. Как смотрят на висельника.

— Пятьдесят, — сказала она. Громко, отчётливо, с той хрипотцой, которая появляется у женщин, когда в горле пересохло от желания. — Пятьдесят рублей? За меня?

Она засмеялась. Смех вышел низкий, грудной, злой.

— Господа, вы что — корову покупаете? У меня в Кафтане корова стоила сорок. Неужели я дороже коровы только на десять рублей?

Залу накрыл хохот. Купцы стучали кулаками по столу. Офицер выкрикнул что-то по-французски. Нана в углу побелела под румянами.

— Покажи товар! — крикнул кто-то снова. — Что прячешь?

Она перестала смеяться. Посмотрела на того, кто кричал, — молодой приказчик с прыщавым лицом, — посмотрела долго, сверху вниз, из-под пряди, пока он не опустил глаза.

Потом взялась обеими руками за подол — и медленно, очень медленно, потянула его вверх.

Красный шёлк пополз по ногам. Щиколотки в чёрном. Икры — сильные, округлые, натянутые на высоких каблуках. Колени. Выше. Ещё выше. Чёрный фильдекос, обтягивающий бёдра, и полоска голой белой кожи над чулком — молочно-белой, северной, как черёмуха, как снег в Кафтане. Подвязки, чёрные с красным бантом.

Она остановилась там. На самом краю. Ни на палец выше.

— Вот, — сказала она тихо, и в тишине её голос был слышен в каждом углу. — Это ноги, которые таскали воду из проруби в сорок градусов. Которые прошли от Москвы до Томска в кандалах. — Она чуть повела бедром, и шёлк качнулся. — Сильные ноги, господа. Такие обнимут — не вырвешься.

Кто-то застонал. Не от смеха.

— Сто рублей! — выкрикнул Паратов, вскакивая. Нана соскользнула с его колен на пол и так и осталась сидеть на полу, в своём красном, растерянная.

— Сто? — Маслова повернула голову к нему. — Мальчик, у тебя на сто рублей хватит сил?

Хохот. Паратов покраснел, как мак.

— Сто пятьдесят! — крикнул он, не садясь.

— Сто шестьдесят, — сказал офицер.

— Двести!

Цифры полетели. Она стояла на столе, держа подол у бёдер, и смотрела, как они летят. Как мужчины внизу вскакивают, кричат, машут руками, перебивают друг друга. Как у купцов наливаются кровью шеи. Как офицер шарит по карманам. Как кто-то шёпотом спрашивает соседа, нельзя ли взять в долг.

Она смотрела на них — и видела море.

Тёмное, бурлящее, качающееся море голов, плеч, рук, раскрытых ртов. Оно волновалось под ней. Оно поднималось к её ногам. Оно хотело её — жадно, слепо, тупо, как волна хочет берега. Оно было огромное, и она была одна на столе, на маленьком дубовом островке, — и не боялась. Потому что она знала: это море не утопит её.

По этому морю она пройдёт, как по суху.

Как Христос по Галилейскому морю, когда ученики в лодке кричали от страха, а он шёл к ним по воде, и вода держала его. Как израильтяне по дну Чермного моря, когда воды встали стеной справа и слева, а за ними гнались колесницы фараона.

Она не утонет. Утонут они. Фараон и всё его войско. Колесницы и всадники.

Волна жара поднималась в ней — снизу, от бёдер, от живота, к груди, к горлу, к лицу. Она чувствовала, как пульсирует кровь в висках. Как напряглась под корсажем грудь. Как стало влажно и горячо. Как подкашиваются колени — не от слабости, от другого. Она стояла на столе, над морем мужчин, и хотела. Хотела всех их — и ни одного. Хотела власти, которая была сейчас в её руках, — власти над этим морем, которое могло поднять её или растерзать и вместо этого кричало цифры.

Я хочу быть дерзкой. Я хочу быть смелой.

Откуда это? Она не знала. Это пришло само — из воздуха, из алого света, из будущего, — и было правдой.

У Китаевой её покупали. Здесь — она продавала себя сама. Сама назначала цену. Сама поднимала подол. Сама решала, на каком пальце остановиться.

Все они хотят её. Все. И ни один не получит, пока она не скажет.

Это был бунт. Маленький, грязный, в борделе, на заставленном бутылками столе, — но бунт. Против Китаевой, против Нехлюдова, против комитета с его зеркалом, против помощника полицмейстера с усиками, против всех, кто покупал её двенадцать лет, против всех, кто записывал её в книжки и жёлтые билеты. Против всего мира, который сделал её товаром.

Товар восстал. Товар сам себя продаёт.

— Триста, — сказал Паратов. Голос у него сорвался.

Тишина. Триста рублей. Жалованье чиновника за полгода.

— Триста — раз, — сказала Анна Марковна. Голос у неё был странный, сдавленный, она держалась рукой за спинку дивана. — Триста — два…

Маслова посмотрела на Паратова. Молодой, напомаженный, с усиками, с отцовскими деньгами. Красивый и пустой, как фарфоровая собачка на комоде Анны Марковны. Он смотрел на неё снизу вверх с собачьим восторгом. Она видела: он отдаст ей всё, что у него есть, и потом пойдёт к отцу просить ещё.

Нет, подумала она. Не ты.

Она отпустила подол. Шёлк упал, закрыв ноги, — и по зале прошёл вздох, как от холодного ветра.

Она подняла руку.

— Подождите, — сказала она Анне Марковне. И повернулась.

В кресле у стены сидел рыжебородый великан с медвежьими глазками. Он так и не выпил свою водку. Стакан стоял на столике. Он сидел, расставив ноги, положив огромные ладони на колени, и смотрел на неё — не так, как смотрели другие. Не жадно, не по-собачьи, не с открытым ртом. Он смотрел спокойно, внимательно, оценивающе, — так, как смотрел, наверное, на золотоносную жилу, решая, стоит ли её разрабатывать.

Он был единственный в зале, кто не кричал.

Маслова смотрела на него. Он смотрел на неё.

— А вы? — спросила она через всю залу. — Вы ничего не скажете?

И немного двинула бедрами вперёд.

Все обернулись к нему.

Привалов помолчал. Потом медленно взял со столика стакан. Выпил водку — одним глотком, не поморщившись. Поставил стакан. Вытер бороду ладонью.

И сказал негромко, басом, не вставая:

— Тысяча.

Зала замерла.

Тысяча рублей. За одну ночь. Столько стоил дом. Столько не стоила ни одна женщина в Томске — ни в каком доме, никогда. Столько, наверное, не стоила ни одна женщина в Сибири.

Анна Марковна побледнела так, что стали видны пудра и румяна отдельно от лица. Она открыла рот и не могла сказать ни слова.

Паратов стоял, хватая воздух, как рыба. Он не мог перебить. У него не было тысячи. Ни у кого в этой зале не было.

У буфетной стойки Настя уронила поднос. Стаканы разбились о пол, и никто даже не обернулся.

Маслова стояла на столе и смотрела на Привалова. Щеки ее заливались краской.

Огромный. Грубый. Сильный. Из земли вышедший, из ледяной воды, из тайги. Он сам мыл золото лотком. Говорили, убил человека. Он не был ни пустым, ни жалким, ни фарфоровым. Он был хищник. Зверь. Таких, говорил Крыльцов, надо — как зверей.

Но он был настоящий.

Настоящий враг. Достойный.

И что-то внутри неё — горячее, тёмное, голодное — потянулось к нему, как железо тянется к магниту. Она хотела его. Не за деньги. За силу. За то, что он один не кричал. За то, что он смотрел на неё как на золотую жилу, а не как на кусок мяса. За то, что его можно было бы потом — она это знала, она уже это знала, глядя в его медвежьи глазки, — его можно будет потом сломать.

— Тысяча — раз, — прошептала Анна Марковна. — Тысяча — два…

— Не надо, — сказала Маслова. — Я согласна.

Она шагнула со стола.

Не на стул, не на пол. Она шагнула вниз, прямо в море, — на протянутые руки. И руки подхватили её. Десяток рук — купцов, приказчиков, офицеров, — они сами потянулись к ней, сами подхватили под локти, под талию, под колени, и она пошла по ним, как по волнам, — шаг, ещё шаг, — к креслу у стены. Красный шёлк волочился за ней по головам. Каблуки упирались в чьи-то плечи. Кто-то целовал её щиколотку сквозь чулок. Кто-то стонал. Море несло её, и она шла по морю, как по суху.

У кресла руки опустили её на пол.

Она стояла перед Приваловым. Он не встал. Он сидел и смотрел снизу вверх — и в его медвежьих глазах она впервые увидела что-то кроме расчёта. Удивление. Может быть, уважение. Может быть, страх.

Она наклонилась к нему, так что прядь упала ему на лицо, и сказала тихо, только для него:

— Ты не пожалеешь. Но и не забудешь.

И протянула руку.

Он встал. Огромный — на голову выше её даже на каблуках. Взял её руку в свою — широкую, тяжёлую, мозолистую, руку, которая когда-то держала лоток с золотым песком в ледяной воде.

Зала молчала.

Они пошли к лестнице. Маслова не оглядывалась. Но у самой лестницы, на первой ступеньке, она всё-таки обернулась — на мгновение — и посмотрела в залу.

Нана сидела на полу у пианино в своём красном платье, и красное это вдруг стало дешёвым, кричащим, как ситец на ярмарке. Она смотрела на Маслову с такой ненавистью, что казалось, сейчас вскочит и вцепится.

Паратов стоял посреди залы, бледный, с пустыми руками.

Студент в углу что-то быстро писал в записной книжке.

Анна Марковна, оправившись, уже подсчитывала что-то на пальцах, и губы её шевелились.

Женька, угрюмая, курила у окна и смотрела на Маслову долгим, тяжёлым, непонятным взглядом — без зависти, без насмешки. Будто узнавала.

А у буфетной стойки, среди осколков стаканов, стояла Настя с пустым подносом в руках. Белая, как её фартук. С огромными светлыми глазами, полными слёз. В этих глазах был ужас — и было удивление — и ещё что-то, чему Маслова не знала имени. Так смотрят на пожар. Так смотрят на чудо. Так смотрят на то, чего не бывает и что вдруг случилось.

Маслова встретила её взгляд. Задержала на мгновение.

Потом повернулась и пошла наверх, ведя за руку золотопромышленника Привалова, как ведут медведя на цепи.

Тапёр, опомнившись, заиграл вальс. С пропущенными нотами.

Паратов ушёл из дома через четверть часа. Он сел в пролётку у моста и велел гнать на Почтамтскую, в гостиницу, в ресторан, где ещё горел свет и сидели за ужином его приятели.

— Господа! — крикнул он, входя, ещё в дверях, бледный, с горящими глазами. — Господа, вы не поверите! У Анны Марковны… Тысяча рублей! Привалов дал тысячу рублей! За одну ночь! За новенькую!

Приятели загудели. Половой, рыжий, с прилизанными волосами, замер с подносом.

— Да кто ж такая? — спросил кто-то.

— Каторжная! Из Москвы! Говорят, та самая — которую князь… — Паратов понизил голос и кивнул куда-то вверх, на потолок, туда, где на втором этаже были номера. — Нехлюдовская.

За соседним столиком, в углу, один, над недоеденной стерлядью, сидел человек с бледным, светлым, промытым лицом. Он сидел здесь каждый вечер. Он поднял голову.

Вилка в его руке звякнула о тарелку.



1.4. Бездна верхняя и бездна нижняя

Он не помнил, как вышел из ресторана.

Помнил только, что вилка звякнула о тарелку, что Паратов обернулся и, узнав его, замолчал на полуслове, что рыжий половой отступил к стене. Помнил, что встал, задев стул, и стул упал. И что потом была лестница, швейцар, распахнутая дверь — и улица, ночная, светлая, июньская, пустая.

Он пошёл. Потом побежал.

Без шляпы. В сюртуке нараспашку. По деревянным мосткам Почтамтской, мимо тёмных лавок, мимо галантерейной лавки, мимо собора, белевшего в бледной сибирской ночи, как кость.

— Не противься злому, — бормотал он на бегу. — Не противься злому. Кто ударит тебя в правую щёку…

Он не знал, зачем бормочет. Слова шли сами, как вода из пробитой бочки.

Наверху, в угловой комнате, где зимой умерла Клавдия, горела одна свеча.

Привалов стоял посреди комнаты и не двигался. Огромный, он занимал её почти всю — головой под самый скошенный потолок, плечами от стены до стены. Он снял поддёвку и бросил на стул, и стул затрещал. Остался в шёлковой рубахе, вышитой по вороту, с золотой цепью через живот.

Маслова закрыла дверь на ключ. Повернулась к нему.

Он смотрел на неё сверху вниз и молчал. Так же, как внизу: спокойно, медленно, оценивающе. Тысяча рублей. Он заплатил тысячу рублей и теперь не торопился. Он смотрел, как смотрят на купленную жилу, прежде чем ударить кайлом.

— Ну? — сказал он наконец. Басом. Одно слово.

Она не ответила. Она подошла к нему вплотную, так близко, что красный шёлк коснулся его рубахи. Подняла голову — и даже на каблуках едва доставала ему до подбородка. От него пахло водкой, табаком, дёгтем от сапог и ещё чем-то — землёй, сырой землёй, как пахнет из открытой могилы, как пахнет из шурфа на прииске.

Она положила ладони ему на грудь. Грудь была твёрдая и широкая, как дубовая столешница внизу.

— Ты думаешь, ты купил, — сказала она тихо. — А это я тебя продала. Себе.

Медвежьи глазки чуть сузились.

На спуске с горы Нехлюдов поскользнулся.

Мостков здесь не было — только глина, мокрая после вечерней росы, и колеи, полные чёрной воды. Он упал на одно колено, вскочил, побежал дальше. Колено было мокрое и холодное. Калоши — новые, блестящие, те самые, в которых он прошёл по тюремному двору, не запачкав, — по щиколотку ушли в грязь.

Он не заметил.

— Царство Божие внутри вас, — бормотал он. — Внутри. Не во внешнем. Не в теле. Тело — ничто. Плоть немощна. Дух бодр…

Внизу, под горой, лежало Болото. Он никогда здесь не был. За полгода в Томске он ни разу не спустился с горы. Он знал Почтамтскую, собор, губернаторский дом, гостиные вдовы с ананасами. Он знал город сверху.

Теперь он спускался вниз.

Вонь ударила в лицо: тина, помои, сивуха, гниль. У кабака на углу кто-то сидел на завалинке, кто-то храпел, кто-то сказал ему вслед хрипло и торжественно: «Ин вино веритас, ваше благородие!» — и загоготал.

— Бездна верхняя и бездна нижняя, — бормотал Нехлюдов, и сам не знал, откуда эти слова, они пришли из воздуха, из темноты, из будущих книг, которых ещё никто не написал. — Бездна духа и бездна плоти. Христос и Антихрист. Она там — в бездне нижней. Я должен… Я должен спуститься и вывести…

Он думал об Орфее. О певце, который спустился в ад за своей Эвридикой и вывел её — почти вывел — к свету, и обернулся на самом пороге.

Он не обернётся. Он выведет.

Она расстегнула мужчине рубаху. Пуговицу за пуговицей. Медленно.

Под рубахой было тело — огромное, мощное, заросшее рыжим волосом, со шрамом через всю грудь, белым, толстым, как верёвка. Она провела по шраму пальцем.

— Ножом? — спросила она.

— Кайлом, — сказал он. — Артельщик.

— Ты его убил?

Он помолчал.

— Он самородок утаил. С кулак. — И, помолчав ещё, добавил: — Его не нашли.

Она не отняла руки. Она смотрела на шрам и думала о Крыльцове. Звери. Таких — как зверей. Этот человек убил другого человека за кусок золота и закопал его где-то в тайге, в мёрзлой земле, без креста, без имени, и никто его не нашёл. И сидит в лучшем кресле у Анны Марковны, и владеет половиной Почтамтской, и жертвует, наверное, на храм.

А она сейчас ляжет с ним.

И внутри у неё, под корсажем, горячо и тяжело, как расплавленное золото, разлилось желание.

Она испугалась его. Не Привалова — желания. Оно было слишком сильное. Оно было неправильное. Оно поднималось не вопреки этому шраму, этому убитому артельщику, этой силе — оно поднималось из них. Из того, что он зверь. Из того, что он враг.

Сеченов, подумала она. Рефлекс. Пять месяцев голода. Это просто физиология.

Это была неправда, и она это знала.

Она повернулась к нему спиной.

— Расшнуруй, — сказала она.

Мост через Ушайку. Потом пройти вниз. Второй дом от моста.

Забор. Калитка. И над крыльцом, в глубине двора, — фонарь. Красный.

Он остановился у калитки, задыхаясь. Сердце колотилось в горле. Сюртук промок на коленях, калоши были полны воды и грязи, волосы прилипли ко лбу.

Красный фонарь смотрел на него, как глаз.

Оставь надежду, всяк сюда входящий, — подумал он почему-то по-итальянски, как читал когда-то в университете Данте, и тут же по-русски, и тут же устыдился: это гордыня, это литература, это не нужно.

Он толкнул калитку и пошёл через двор к крыльцу.

— Я войду, — бормотал он. — Я войду и скажу. Я скажу ей: Катюша, я пришёл. Я не осуждаю. Не судите, да не судимы будете. Я пришёл за тобой. Я выкуплю твой долг. Я обвенчаюсь с тобой — завтра же, в соборе. Я…

Дверь открылась прежде, чем он постучал.

На пороге стоял бык. Огромный, рябой, в красной рубахе навыпуск, с руками как лопаты. Он посмотрел на Нехлюдова — на его мокрый сюртук, на грязные колени, на калоши в глине, на всклокоченные волосы, — посмотрел долго, без выражения.

— Мне нужно… — начал Нехлюдов. — Я — князь Нехлюдов. Мне нужна Маслова. Катерина. Новенькая.

— Занята, — сказал бык.

— Я подожду.

— Долго ждать.

— Пустите меня. Я… я заплачу.

Бык не посторонился.

— Барыню позову, — сказал он и закрыл дверь у него перед носом.

Тем временем в комнате наверху грудь Катерины пылала от похоти. Корсаж упал.

Она стояла перед ним в одних чулках, в чёрном белье, с распущенными волосами, и свеча горела у неё за спиной, так что он видел её силуэт — тёмный, обведённый огнём. Как икона в окладе. Как ведьма на костре.

Он протянул руки.

Она не далась.

Она толкнула его — ладонями в грудь, в рыжий волос, в белый шрам — и он, огромный, медведь, убийца, хозяин тайги, — он сел на кровать. Не от силы её толчка. От неожиданности. От того, что никто никогда его не толкал.

Кровать застонала под ним.

Она шагнула к нему. Поставила ногу в чёрном чулке ему на колено. Сильную ногу, которая колола дрова и таскала воду из проруби. Медленно, глядя ему в глаза из-под пряди, провела ступнёй вверх по его бедру.

— Ты сегодня не хозяин, — сказала она. — Сегодня ты мой.

Он смотрел на неё снизу вверх. В медвежьих глазах впервые было то, чего в них, наверное, не было никогда: растерянность. И что-то ещё — тёмное, жадное, звериное.

Он схватил её за бёдра.

Анна Марковна вышла на крыльцо в ночной кофте, накинутой на чёрное платье, со свечой в руке. Посмотрела на Нехлюдова. Узнала — она знала его, весь Томск его знал, наш толстовец.

— Князь, — сказала она мягко, тётушкиным голосом, с ямочками. — Какая честь. Только поздно, батюшка. Катерина занята.

— Я знаю. Я подожду.

— Она занята до утра, князь. — Анна Марковна понизила голос. — Ей Привалов тысячу рублей дал. Тысячу! Я такого за сорок лет не видала. Уж вы сами понимаете — нельзя.

Тысяча рублей. Привалов.

Он знал Привалова. Видел в ресторане — огромного, рыжебородого, с золотой цепью. Говорили, что гостиница, в которой он живёт, тоже его.

— Я дам больше, — сказал Нехлюдов. Голос у него сорвался. — Я дам две тысячи. Пять. Сколько угодно. Только пустите меня к ней. Сейчас.

Анна Марковна посмотрела на него с жалостью. С настоящей, тётушкиной, почти материнской жалостью.

— Батюшка, — сказала она. — Да ведь не в деньгах дело. Он же уже там. Что ж я, вытащу его, что ли? Привалова? — Она покачала головой. — Посидите в зале. Выпейте чаю. Утро вечера мудренее.

Она взяла его под руку — мягко, крепко — и повела в дом.

Она не помнила, когда это случилось.

Она помнила, как была сверху — как сжала его бёдрами, сильными ногами, такими, что не вырвешься, — как он закрыл глаза и застонал, огромный, беспомощный, как поверженный

бык на арене. Помнила свою власть над ним — сладкую, острую, пьянящую, как первый глоток водки на морозе. Помнила, как его руки на её бёдрах дрожали.

А потом что-то сломалось.

Не в нём — в ней.

Это пришло снизу, из темноты, из того места, которое двенадцать лет было только товаром, только работой, только мокрым и чужим. Оно поднялось, как вода поднимается в проруби, когда треснет лёд. Оно было горячее и тёмное, и оно не слушалось её. Она хотела удержать его, сжать, спрятать, — и не смогла.

Она запрокинула голову. Волосы упали на спину. Свеча качнулась, и тень её, огромная, метнулась по скошенному потолку, как крыло.

Она закричала.

Не так, как кричат девушки у Китаевой — по привычке, для гостя, нарочно. По-настоящему. Голосом, которого сама у себя не знала. Хриплым, звериным, страшным. Голосом, который шёл не из горла, а откуда-то из-под земли, из шурфа, из той мёрзлой ямы в тайге, где лежал убитый артельщик.

У Китаевой — никогда. С Нехлюдовым в ту пасхальную ночь — никогда, тогда были только страх, боль и стыд. С Симонсоном — нежность, тепло, слёзы, но не это.

Это — впервые. Здесь. С ним. С убийцей. С врагом. С тем, кого она будет судить.

Она упала ему на грудь, на рыжий волос, на белый шрам, и лежала, задыхаясь, и сердце её билось о его сердце, и ей хотелось плакать, и смеяться, и убить его, и не отпускать.

Она не понимала, что с ней.

Потом поняла.

Это и есть суд, подумала она. Он только начинается. И судить буду не только их. Я буду судить и себя.

Внизу, в зале, Нехлюдов сидел на малиновом диване с остывшим стаканом чаю в руке.

Зала опустела. Гости разошлись, девушки ушли наверх с теми, кто остался. Тапёр спал, уронив голову на крышку пианино. Пахло табаком, пролитым вином, потом. Лампы чадили. Голая женщина с голубем смотрела со стены.

Настя, подавальщица, собирала с полу осколки стаканов. Она поглядывала на князя — бледного, грязного, в мокром сюртуке, с безумными глазами, — со страхом и жалостью.

И тогда сверху, сквозь потолок, сквозь доски, донёсся крик.

Нехлюдов поднял голову.

Крик был женский, долгий, хриплый, не похожий ни на что. Он прорезал тишину спящего дома, как нож прорезает холст. Он длился, и длился, и оборвался.

Настя замерла с осколком в руке.

Нехлюдов сидел неподвижно. Стакан в его руке задрожал, и чай расплескался на колени, на мокрый сюртук.

Он знал этот голос. Он не знал этого крика.

— Господи, — прошептал он. — Господи, помилуй…

Он не знал, о чём молится.

Настя смотрела на него. Потом опустила глаза и стала собирать осколки дальше — быстро, неловко, порезав палец.

Привалов спускался по лестнице на рассвете.

Одетый, в поддёвке, с золотой цепью. Медленно, тяжело, ступенька за ступенькой, держась за перила. Лицо у него было странное — будто его ударили и он ещё не понял, кто и за что.

Внизу, у подножия лестницы, стоял Нехлюдов.

Они посмотрели друг на друга. Медвежьи глазки — и светлые, промытые, безумные.

Привалов узнал его. Остановился на нижней ступеньке.

— А, князь, — сказал он хрипло. — Постоялец мой. — Помолчал. Посмотрел на его грязные калоши, на мокрые колени. — Туда, что ль?

Нехлюдов не ответил.

Привалов хмыкнул. Сошёл со ступеньки, прошёл мимо, задев его плечом, — и уже у двери обернулся.

— Не ходи, князь, — сказал он, и в голосе его не было насмешки. Было что-то другое. Почти предостережение. — Пропадёшь.

И вышел.

Нехлюдов поднимался по лестнице.

Ступени скрипели. В коридоре было темно, только в конце, из-под последней двери, пробивалась полоска света. Он шёл к ней. Как Орфей. Как Данте за Вергилием. Как блудный сын.

Он остановился у двери. Поднял руку, чтобы постучать.

Дверь была не заперта.

Он толкнул её.

Свеча почти догорела. Комната была маленькая, со скошенным потолком, — и в ней пахло потом, воском, гелиотропом и чем-то тяжёлым, сладким, звериным, от чего у него закружилась голова.

На полу — красное. Красное платье, брошенное, смятое, как лужа крови. Корсаж. Шпильки. Чёрное кружево.

На кровати, на смятых простынях, лежала она.

Она лежала на спине, раскинувшись, не прикрываясь. Волосы — чёрные, спутанные — разметались по подушке. Прядь на лице. Глаза открыты, смотрят в потолок — тёмные, мокрые, как смородина после дождя, — и не видят его.

Губы, красные, размазанные, распухшие.

Один чулок — чёрный — был спущен до колена. Второй — сброшен совсем и висел на спинке кровати, как траурная лента.

И ноги. Голые, длинные, сильные, раскинутые на смятой простыне, — белые в предрассветном сером свете, белые, как черёмуха, как снег, как мрамор, как саван.

Она медленно повернула голову. Увидела его. Посмотрела из-под пряди — долго, спокойно, без стыда, без удивления.

И не пошевелилась.

Нехлюдов стоял на пороге — в мокром сюртуке, в грязных калошах, без шляпы, — и смотрел на неё. И из всего, что он хотел сказать ей — о Царстве Божием, о прощении, о новой жизни, о венчании в соборе, — из всего Евангелия, из всего графа, из всей «Крейцеровой сонаты» — у него осталось только одно.

Он сказал — хрипло, шёпотом, как молятся:

— О, закрой свои бледные ноги.

1.5. Тени незримого

Она не закрыла ноги.

Она лежала, как лежала, — раскинувшись на смятой простыне, в одном спущенном чулке, с размазанной помадой на распухших губах, — и смотрела на него из-под пряди. Свеча догорала. В щель между ставнями сочился серый рассвет, и в этом свете её тело казалось высеченным из чего-то холодного и белого — из мрамора, из соли, из того льда, который весной ломался на Томи.

— Закрой, — повторил он тише. Почти умоляюще.

— Зачем? — спросила она.

Голос у неё был хриплый, низкий, сорванный — тот самый, которым она кричала час назад. Он слышал этот крик снизу, сквозь потолок. Он узнал голос. Он не знал крика.

— Затем, что… — Он запнулся. — Затем, что это… это нехорошо. Это стыдно, Катюша.

— Кому стыдно?

Он не ответил.

Она медленно подтянула одну ногу, согнула в колене — не закрываясь, а наоборот, — и положила на колено руку. Посмотрела на свою ногу, на голую белую икру, на чулок, спущенный до щиколотки, — с интересом, как на чужую.

— Мне не стыдно, — сказала она. — Мне хорошо.

Он вошёл в комнату и закрыл за собой дверь.

Он не хотел входить. Он хотел стоять на пороге и говорить оттуда — с порога, издали, как говорят из алтаря. Но ноги сами внесли его внутрь, и дверь сама закрылась у него за спиной, и теперь он стоял посреди тесной комнаты со скошенным потолком, в двух шагах от кровати, в мокром сюртуке, в грязных калошах, и между ними на полу лежало красное платье, как лужа крови, и он боялся на него наступить.

Он начал говорить.

Он говорил то, что приготовил по дороге — на бегу, на спуске с горы, на мокром диване в зале, над остывшим чаем. Он говорил, что не осуждает. Что не судите, да не судимы будете. Что Христос не осудил блудницу и сказал: кто из вас без греха, пусть первый бросит в неё камень. Что он пришёл не судить, а спасти. Что он выкупит её долг — сегодня же, сейчас, сколько бы ни было. Что они уедут отсюда. Что он обвенчается с ней — в соборе, на горе, при всём Томске, пусть смотрят, пусть смеются, ему всё равно. Что он понял, наконец понял, что значит любовь — не плотская, не свиная, как у Позднышева, а высшая, духовная, христианская. Что плоть есть ничто, тлен, прах, а дух вечен.

Он говорил, и слова выстраивались одно за другим — ровно, стройно, правильно, как кирпичи. Он строил из них стену. Он строил из них храм. Высокий, белый, с куполом и крестом, — как собор на горе. Как костёл над обрывом. Он стоял посреди грязной комнаты и строил храм из слов, и храм поднимался всё выше, и в храме было чисто, светло и безопасно.

А она лежала внизу, у подножия его храма, — голая, раскинутая, белая, — и молчала.

И он чувствовал, как под его храмом шевелится болото.

Так было всегда.

Мужчина строит. С самого начала, с первого дня, когда вышел из пещеры и посмотрел на мир — на лес, на реку, на ночь, на звёзды, на женщину, — и испугался. Мир был огромный, тёмный, мокрый, текучий. Он рождал и пожирал. Он цвёл и гнил. Он не слушался. И в самой его середине, в самой тёмной его глубине, была она — женщина, — и она была как мир: такая

же тёмная, такая же мокрая, такая же текучая. Она рождала из себя, как земля. Она кровоточила с луной. Она не слушалась.

И мужчина, испугавшись, стал строить.

Он строил стены, чтобы отгородиться от леса. Плотины, чтобы удержать реку. Храмы, чтобы спрятаться от ночи. Законы, чтобы связать то, что не связывается. Философию, чтобы объяснить то, что не объясняется. Он строил Аполлона — светлого, ясного, мраморного, с правильными пропорциями, — чтобы заслониться им от того тёмного, мокрого, хаотического, что шевелилось внизу, в болоте, в земле, в женском лоне.

Он строил Евангелие и «Крейцерову сонату». Он строил толстовство и непротивление. Он строил Вечную Женственность — чтобы не видеть настоящей.

А болото было всегда. Под всеми храмами. Под всеми плотинами. Оно ждало.

Весной оно поднималось.

— Ты кончил? — спросила она, когда он замолчал.

Он стоял, тяжело дыша, как после бега.

— Катюша…

— Ты всё сказал? Про Христа, про блудницу, про собор? Всё?

— Я…

— Хорошо.

Она села на кровати. Медленно. Волосы упали на плечи, на грудь — чёрные, спутанные, — и она не стала их поправлять. Посмотрела на него снизу вверх. Глаза были тёмные, мокрые, косящие, — смородина после дождя, — и в них было что-то, от чего у него похолодело внутри.

— Христос воскресе, Митенька, — сказала она.

Он отшатнулся, как от удара.

Христос воскресе. Митенька. Так он сказал ей тогда. На паперти. В ту пасхальную ночь, в тумане, когда на реке ломался лёд. Христос воскресе, Катюша. И поцеловал. И ночью пришёл к ней в девичью. И так звала его тогда только она. Митенька.

— Не надо, — прошептал он.

— Почему? — Она улыбнулась. Улыбка была медленная, тёмная, с размазанной помадой. — Ты же сам так сказал. Тогда. Христос воскресе. А потом пришёл. Помнишь, как ты пришёл? Через туман. Я тебя ждала. Я тебя любила. Я думала — Бог тебя послал.

— Катюша, я каюсь, я всю жизнь буду…

— А теперь ты опять пришёл. — Она не слушала. — Через туман. Через Болото. С Евангелием. — Она наклонила голову. — Зачем ты пришёл, Митенька?

— Спасти тебя.

— От чего?

Он молчал.

— От этого? — Она провела рукой по своему телу — от шеи вниз, по груди, по животу, по бедру, — медленно, бесстыдно, глядя ему в глаза. — От меня?

Она встала с кровати.

Голая — только один чулок, спущенный до щиколотки. Она переступила через красное платье на полу, не глядя на него, — и подошла к Нехлюдову вплотную. Он не отступил. Не мог. За спиной была дверь.

Она была ниже его — без каблуков, босая. Она смотрела снизу вверх. От неё пахло потом, гелиотропом, воском, Приваловым — дёгтем, водкой, землёй, — и ещё чем-то своим, тёмным, сладким, звериным, от чего у него поплыло в глазах.

— Знаешь, Митенька, — сказала она тихо, почти ласково, — у меня пять месяцев не было мужика. Пять месяцев. С января. С тех пор как Володя умер. Пять месяцев — ничего. Ни разу.

Он смотрел на неё и не понимал, что она говорит.

— А сегодня — один. Один только. — Она улыбнулась. — Мало, Митенька. Пять месяцев голода — одним не накормишь.

Она положила ладонь ему на грудь. На мокрый сюртук. Туда, где под сюртуком, под жилетом, под рубашкой колотилось сердце.

— Я могу и второго. Сейчас. — Она помолчала. — Если заплатишь.

Он не сразу понял.

А когда понял, кровь бросилась ему в лицо — так, что застучало в висках, — и он схватил её за руку, лежавшую у него на груди, и сжал так, что она поморщилась.

— Ты… ты с ума сошла. Ты понимаешь, что ты говоришь? Мне? Ты предлагаешь мне — за деньги — как… как…

— Как шлюха, — спокойно сказала она. — Я шлюха, Митенька. Ты же знаешь. Ты меня сделал шлюхой. Тогда, в ту ночь. Ты и твои сто рублей, которые ты сунул мне в конверте на прощание. Помнишь? Ты заплатил мне тогда. Сто рублей. За первый раз.

Он отпустил её руку.

Он помнил. Он помнил этот конверт. Он хотел забыть. Он забыл. Он десять лет жил, не вспоминая. А когда вспомнил — в суде, увидев её на скамье подсудимых, — он испытал такой стыд, что этот стыд и стал его «воскресением». Его покаянием. Его новой жизнью.

А она помнила всегда.

— Тогда ты заплатил сто, — сказала она. — Сегодня Привалов заплатил тысячу. Цена растёт, Митенька. Я дорожаю.

И он начал строить снова.

Он стоял у двери, и она стояла перед ним, голая, и он строил, торопясь, задыхаясь, — кирпич на кирпич, — свою стену, свой храм. Он говорил, что это искушение. Что дьявол говорит её устами. Что это испытание, посланное ему Богом, и он выдержит. Что плоть — ничто. Что «кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём». Что он дал обет. Что он не может. Что это погубит его душу.

Он вспомнил — неизвестно откуда, из воздуха, из каких-то будущих стихов, которых ещё никто не написал, — и забормотал, глядя поверх её головы, в серую щель ставни:

— Милый друг, иль ты не видишь, что всё видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами?

Тени. Только тени. Тело — тень. Её тело — тень. Видимое — ничто. Есть только незримое. Только дух.

Она засмеялась. Тихо, низко, в самое его лицо.

— Тени? — сказала она. — Потрогай.

Она взяла его руку — ту, что сжимала её запястье, — и положила себе на грудь.

Храм рухнул.

Не сразу — сначала треснул. Он почувствовал, как под его ладонью — горячее, живое, тяжёлое, — бьётся её сердце. Как кожа — не тень, не отблеск, а кожа, тёплая, чуть влажная от пота, — подаётся под пальцами. Как она дышит. Как она пахнет.

Он хотел отдёрнуть руку.

Рука не отдёрнулась.

— Сколько? — сказал кто-то хриплым, чужим голосом. Он не сразу понял, что это его голос.

— Сколько у тебя есть? — спросила она.

Он полез в карман сюртука — мокрого, грязного — дрожащей рукой. Вынул бумажник. Раскрыл. Там было четыреста двенадцать рублей. Он вынул их все и протянул ей — не глядя, отвернувшись, как подают милостыню, как отдают взятку.

Она не взяла.

— На стол, — сказала она. — Положи на стол. Как кладут все.

Он положил. На столик у кровати, рядом с догорающей свечой. Деньги легли кучкой — синие, красные, радужные бумажки, — и в неверном свете казалось, что они шевелятся.

— И часы, — сказала она.

Он посмотрел на неё. Часы были золотые, на цепочке, — подарок матери на совершеннолетие. Он носил их двадцать лет.

— Зачем?

— Затем, что Привалов дал тысячу. А ты — четыреста. Я дешевле не продаюсь.

Он отстегнул часы. Положил на деньги.

Часы тикали.

Потом он не мог вспомнить, как это началось.

Он помнил, что сорвал с себя сюртук — мокрый, тяжёлый, — и бросил на пол, на красное платье. Что пуговицы жилета не расстёгивались, и он рвал их, и они отлетали и катились по полу. Что грязные калоши так и остались на ногах — он не снял их, не успел, не подумал, — и он упал на неё в этих калошах, в грязи Болота, на смятую простынь, ещё тёплую от Привалова.

Он помнил, что она смеялась.

Она смеялась под ним — низко, хрипло, торжествующе, — и этот смех был хуже, чем удар. Он хотел, чтобы она замолчала. Он закрыл ей рот ладонью. Она укусила его ладонь — до крови — и засмеялась снова.

И тогда в нём что-то прорвалось.

Что-то, чего он не знал в себе. Что-то тёмное, тяжёлое, древнее, что лежало на дне — под толстовством, под Евангелием, под непротивлением, под пятью заповедями, под «Крейцеровой сонатой», под всеми его храмами, — и ждало. Как болото ждёт под плотиной.

Плотина рухнула.

Он перевернул её — грубо, рывком, — лицом в подушку. Она не сопротивлялась. Она поддалась, выгнулась, подставилась, — и это было ещё хуже, потому что он понял: она этого хотела. Она ждала этого. Она знала, что это в нём есть, — знала лучше, чем он сам, — и вытащила это наружу, как вытаскивают занозу.

- Еби меня, - сказала она матерно, - я хуею от этого.

Он схватил её за волосы — за чёрные, спутанные, тяжёлые, — и потянул назад, так что голова её запрокинулась, и она застонала — не от боли. Он видел её спину, белую, выгнутую, как лук. Видел её бёдра, сильные, крепкие, — такие обнимут, не вырвешься. Видел свою руку на её талии — белую, барскую, с отполированными ногтями, — и на этой руке была кровь от её укуса.

— Вот он, — прохрипела она в подушку. — Вот он, твой граф… Вот оно, твоё непротивление…

Он не ответил. Он не мог говорить. Он был не он.

Он был тот, кто убивает. Тот, кто берёт. Тот, кого Позднышев в «Сонате» называл свиньёй. Тот, против кого граф писал свои трактаты. Тот, кто жил в каждом мужчине — в Привалове, в Очумелове, в Паратове, в купцах внизу, в нём самом, — и кого все они прятали под мундирами, рясами, поддёвками, толстовскими блузами.

Она его вытащила. Голым. На свет.

Он брал её — так, как не брал ни одну женщину. Так, как, ему казалось раньше, берут только скоты. Он перекидывал её, как куклу, — то так, то этак, — в позах, которых не знал, о которых не слышал, которые придумывало за него его тело, тёмное, слепое, голодное. Он слышал, как трещит кровать. Слышал свой собственный хрип. Слышал её стоны и смех — то вместе, то по отдельности. Чувствовал её ногти на своей спине — до крови. Её зубы на своём плече. Её ноги вокруг себя — сильные, такие, что не вырвешься.

Он покорял это безразмерное тело и никогда, никогда не мог покорить его до конца.

И в какой-то момент — он помнил это потом всю жизнь, помнил с ужасом, — в какой-то момент он понял, что ненавидит её.

Ненавидит так, как Позднышев ненавидел жену, когда взял кинжал.

И что это ненависть — та же самая, что любовь. Одно. Как красное на фонаре и красное на лампаде.

А она смотрела.

Даже тогда. Даже когда кричала, и смеялась, и кусала, — она смотрела на него, и запоминала. Его лицо — красное, искажённое, с выкаченными глазами, с открытым ртом, с жилой на виске. Его руки — белые, барские, с её кровью. Его голос — хрип, рычание. Это было лицо, которого не видел никто. Ни губернаторша, ни вдова с ананасами, ни сестра, которой он писал письма по десять страниц. Ни граф в Ясной Поляне.

Только она.

И она чувствовала, как в ней поднимается то же, что с Приваловым. Горячее, тёмное, неудержимое. Только сильнее. Потому что с Приваловым это была просто власть. А это — это был суд.

Она судила его. Его телом. Своим телом. Она судила его толстовство, его непротивление, его «Крейцерову сонату», его чистые калоши, его стерлядь, его маскарад в костюме пилигрима, пока умирал Симонсон. Она судила, и приговор приводился в исполнение тут же, на этой кровати, им самим.

Она кричала второй раз за эту ночь.

И ей не было стыдно.

Когда все закончилось, он лежал на спине и смотрел в потолок.

Свеча догорела. В комнате было серо. Через щель в ставнях пробивался рассвет — бледный, июньский, — и пахло снаружи Ушайкой, тиной, дымом. Где-то пропел петух. Где-то залаяла собака.

На ладони у него был след её зубов — полукруг, запёкшийся кровью. На плечах — следы ногтей. Сюртук валялся на полу, на красном платье. Калоши так и остались на ногах. На простыне — грязные следы от них. Глина с Болота.

Он лежал и не думал ни о чём. Внутри была пустота — огромная, гулкая, как собор после службы, когда все ушли и погасили свечи.

Она сидела на краю кровати, спиной к нему, и расчёсывала волосы. Медленно. Пальцами. Прядь за прядью.

— Катюша, — сказал он наконец. Голос был сорванный. — Катюша, что это было?

Она не обернулась.

— Это был ты, Митенька, — сказала она. — Настоящий.

Он закрыл глаза.

Он хотел сказать что-то — о том, что это был не он, что это бес, что он раскаивается, что он завтра же пойдёт к исповеди, что он будет молиться, поститься, что он никогда больше…

— и не сказал. Потому что знал: это был он. Тот, кто лежал на дне под всеми храмами. Тот, кого он боялся всю жизнь.

Она встала. Подняла с пола его сюртук. Встряхнула. Протянула ему.

— Уходи, — сказала она. —Уже утро.

Он одевался долго, неловко, путаясь в рукавах. Пуговицы жилета были оторваны, и он запахнул его кое-как. Сюртук был мокрый и грязный. Шляпы не было: он оставил её в ресторане.

У двери он остановился. Обернулся.

Она сидела на кровати, голая, с распущенными волосами, и считала деньги. Его деньги. Раскладывала бумажки на простыне — синие к синим, красные к красным, — шевелила губами. Рядом, на подушке, лежали его часы. Тикали.

Она не подняла головы.

— Я приду ещё, — сказал он. И сам испугался своих слов.

— Приходи, — сказала она, не отрываясь от денег. — Анна Марковна берёт за ночь пять рублей. Со мной — двадцать пять. Тебе — сто. Ты дорогой гость.

Потом быстро повернулась, посмотрела глазами в глаза и сказала:

- Еби меня, Митенька.

Он вышел.

На лестнице никого не было. В зале — тоже, только тапёр спал, уронив голову на пианино. У двери бык в красной рубахе молча открыл ему засов.

Он вышел во двор. Красный фонарь над крыльцом погас. Стекло было мутное, засиженное мухами. Просто стекло.

Он пошёл через двор, к калитке, к мосту, к горе. Калоши хлюпали. На горе, высоко, в утреннем свете, белел костёл, и крест на его шпиле горел розовым, как утренняя заря.

Он не поднял головы.

Анна Марковна пришла в восьмом часу. Без стука.

Маслова уже была одета — в старое серое платье с кружевным воротничком. Волосы стянуты в узел. Лицо умыто. Помада стёрта. Только губы ещё припухшие, и синяк на запястье.

На столе лежали деньги. Две кучки. Приваловская тысяча — Привалов отдал хозяйке внизу, Анна Марковна принесла долю. И нехлюдовские четыреста двенадцать. И золотые часы.

Анна Марковна посмотрела на деньги. Потом на Маслову. Долго.

— За одну ночь, — сказала она медленно. — Тысяча четыреста. И часы. Двое. Золотопромышленник и князь.

— Делите, — сказала Маслова.

Анна Марковна села к столу. Пересчитала. Разделила — две трети дому, треть девушке. Потом подумала и придвинула к Масловой часы.

— Это ваше, — сказала она. — Подарок. Подарки — девушке.

— Эмме Эдуардовне скажите, — сказала Маслова, — пусть спишет с моей книжки. Сколько там.

— Двести шестьдесят три рубля сорок копеек.

— Пусть спишет. Всё. Из моей трети.

Анна Марковна посмотрела на неё. В маленьких светлых птичьих глазах было то, что Маслова видела вчера вечером у Привалова и сегодня ночью у Нехлюдова: удивление. И страх.

— За одну ночь, — повторила Анна Марковна. — Долг, который девушки выплачивают годами.

Она встала. У двери обернулась.

— Вы, милая, — сказала она негромко, — вы не лошадь.

И вышла.

Маслова осталась одна.

Она сидела у стола, перед своей третью — четыреста шестьдесят рублей, — и перед часами Нехлюдова. Часы тикали. На крышке была гравировка: «Митеньке в день совершеннолетия. Мама». Она смотрела на эту гравировку и думала, что его мать была, наверное, похожа на тётушек. На Софью Ивановну и Марью Ивановну. Таких же добрых, светлых, богомольных. Которые выгнали её беременную.

Она победила.

Она это знала. Вчера утром она пришла сюда с жёлтым билетом за корсажем и ста восемьюдесятью восемью рублями. Сегодня у неё было шестьсот сорок восемь рублей, золотые часы, своя комната, ни копейки долга — и имя, которое к вечеру будет знать весь Томск. Двое самых сильных мужчин в городе — самый богатый и самый знатный — лежали у её ног. Хозяйка, которая тридцать лет смотрела на девушек как на лошадей, сказала ей «вы». Нана сидела на полу в дешёвом красном. Привалов ушёл, как побитый медведь. Нехлюдов ушёл без шляпы, в калошах, полных грязи, с её зубами на ладони, — и придёт ещё.

Это был реванш. За Китаеву. За ту пасхальную ночь. За сто рублей в конверте. За двенадцать лет.

Она сидела перед деньгами и ждала, когда придёт радость.

Радость не приходила.

Она подумала: что изменилось? Наверху, на горе, стоит костёл и губернаторский дом, и там живут те же самые люди, что жили вчера. Привалов вернётся к своим приискам, к пароходам, к домам на Почтамтской, и в тайге будут так же умирать артельщики. Нехлюдов вернётся в свою гостиницу, к своей стерляди, к своему Евангелию, и напишет в дневнике, что его искусил дьявол, и что он раскаивается, и что это был урок смирения. Очумелов будет так же выдавать жёлтые билеты. Карл Фёдорович будет так же вставлять зеркало. Эмма Эдуардовна будет так же вести книжки — других девушек, не её. Настя будет так же подавать пиво. Пока не привыкнет.

Ничего не изменилось.

Она победила в постели. Но постель — это не мир. Постель — это Болото. А мир — наверху, на горе.

Она поняла это с ясностью, от которой стало холодно: всё, что она сделала этой ночью, — это то же самое, что делала у Китаевой. Только дороже. Она продала себя. Дорого. Сама. С торжеством. Но продала. И они купили. И ушли. И мир остался тем же.

Шлюха может победить мужчину. Но шлюха не может победить мир, который делает шлюх.

Для этого нужно другое.

Она встала. Подошла к узлу, который так и лежал нераспакованный в углу, у кровати. Развязала. Достала книги. Сеченов. Лавров. Писарев. Чернышевский. Милль. Новый Завет англичанина. Разложила их на столе — рядом с деньгами, рядом с часами.

Она смотрела на них. На деньги и на книги.

Деньги — это то, что они дали ей. Книги — это то, чего они ей не давали никогда. Тётушки учили её молитвам и пряникам. Китаева — как раздеваться. Нехлюдов — как падать. Комитет — как раскрывать ноги перед зеркалом. Никто не учил её понимать.

А они — те, наверху, — они понимают. Им объяснили. В гимназиях, в университетах, в книгах. Они знают, как устроен мир. Поэтому они им и владеют.

Чтобы судить мир, надо его знать. Чтобы его сжечь, надо знать, где он загорится.

Она открыла тетрадь в клеёнчатой обложке. Вынула бумажный венчик — Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный — и положила рядом с часами.

И написала:

«Первая ночь. Двое. Привалов — тысяча. Нехлюдов — четыреста двенадцать и часы.

Привалов — зверь. Честный.

Нехлюдов — тоже зверь. Только врёт. Под графом у него то же, что у Привалова. Я видела. Он сам теперь знает.

Долг списан. Комната своя. Хозяйка говорит вы.

Это победа.

Это не победа.

В постели я сильнее их. В мире — нет. Они владеют миром, потому что понимают его. Я не понимаю.

Надо читать. Всё. Много. По порядку и без порядка. Всё, что они читали, и то, чего они не читали.

Соломин бы сказал: учись. Володя говорил: учись.

Буду учиться.

Тело — оружие. Но голова — тоже оружие.

Значит, их два».

Она закрыла тетрадь. Посмотрела в окно — в щель между ставнями. Там, на горе, белел костёл. Над ним, на каланче, стоял дозорный и смотрел на город, ища дым.

Дыма не было.

Она взяла со стола Сеченова и открыла на первой странице.



Глава 2. Книга живых

Всё во мне, и я во всём.

Тютчев

2.1. Чёрная тетрадь

Она проснулась в полдень и засмеялась.

Просто так, лёжа на спине, глядя в скошенный потолок, по которому ходили золотые пятна от солнца, пробившегося сквозь щели ставен. Засмеялась тихо, потом громче, потом закрыла лицо руками и смеялась в ладони, как девочка, которой подарили куклу.

Тело ломило. На запястье — синяк от нехлюдовских пальцев. На бёдрах — следы привaловских ладоней. Губы распухли. Между ног саднило сладко и тупо, как саднит натруженная мышца после хорошей работы. Простыня пахла двумя мужчинами — дёгтем и одеколоном, землёй и воском.

И ей было хорошо.

Хорошо так, как не было никогда. Ни у тётушек, где она была девочкой и её любили, но любили как собачку. Ни у Китаевой, где хорошо не бывало. Ни на этапе, где была чистота и надежда, но была и усталость, и кандалы, и вши. Ни в Кафтане, где была любовь, но был и холод, и голод, и смерть.

Здесь, в угловой комнате, где зимой умерла какая-то Клавдия, на простыне, пахнущей двумя мужчинами, ей было хорошо. Тело было сыто. Голова была ясна. Под подушкой лежали четыреста шестьдесят рублей и золотые часы с гравировкой «Митеньке». Долг был списан. Впереди был день.

Она потянулась — всем телом, до хруста, как кошка на солнце, — и подумала: ни о чём не жалею. Ни о чём, блядь, не жалею.

Слово выскочило само. Грязное, кабацкое, из Болота. Она произнесла его вслух, в потолок, — и засмеялась снова. Слово было хорошее. Честное. Как Привалов. В Кафтане она его не говорила: Симонсон бы огорчился. Нехлюдов упал бы в обморок. Граф вычеркнул бы.

А здесь можно.

Слух о ней обошёл Томск, как обходит огонь сухую траву.

К обеду о тысяче рублей знали на Почтамтской, на Базарной площади, в Гостином дворе, в губернском правлении, в консистории. К вечеру — в университете, у вдовы золотопромышленника, на пароходной пристани. Знали все. Рассказывали шёпотом, со смаком, с подробностями, которых не было и которые выросли сами, как грибы после дождя. Что она плясала на столе голая. Что она отравила в Москве трёх купцов. Что она колдунья, и Привалов вышел от неё седой. Что она та самая, нехлюдовская, и князь ночевал у неё после Привалова и вышел без сапог.

Последнее было почти правдой.

Анна Марковна ходила по дому как именинница. Она не говорила ни о чём, кроме вчерашней ночи. Она пересказывала её девушкам, Эмме Эдуардовне, быку у двери, кухарке, приходившему точильщику. Тысяча! Тысяча рублей! Сорок лет в деле — такого не видала. И князь — четыреста! И часы! Вечером, говорила она, будет полная зала. Придут посмотреть. Надо цены поднять.

Она поднялась наверх сама, без колокольчика, и постучала в угловую дверь. Раньше не стучала ни к кому.

— Катерина Михайловна, — сказала она, войдя, ласково, с ямочками. — Как спалось, милая? Может, кофею? Я велю Насте принести. Со сливками.

Катерина Михайловна. Вчера утром была «милая». Вчера вечером — «Катерина». Сегодня — с отчеством.

Маслова сидела на кровати, поджав ноги, в одной сорочке, с распущенными волосами, и читала Сеченова. Подняла глаза.

— Кофею, — сказала она. — И Эмму Эдуардовну.

Анна Марковна замялась.

— Эмму? Зачем?

— Хочу посмотреть, как она книги ведёт.

Эмма Эдуардовна пришла через час. С конторской книгой под мышкой. С поджатыми губами.

Она остановилась на пороге и смотрела на Маслову — в сорочке, на кровати, с кофейной чашкой в одной руке и раскрытой книгой в другой — холодными остзейскими глазами, в которых было презрение пополам с чем-то новым. С осторожностью. Так смотрят на собаку, которая вчера была дворняжкой, а сегодня оказалась волком.

— Анна Марковна сказала, вы хотите видеть книги, — сказала она. — Зачем?

— Затем, что я умею считать, — ответила Маслова. — А вы, Эмма Эдуардовна, считаете одна на весь дом. Пятнадцать девушек, гости, кухня, бельё, вино, полиция. Устаёте, наверное.

Эмма Эдуардовна поджала губы ещё сильнее.

— Я справляюсь.

— Знаю. Вчера вы справились: шестьдесят рублей за платье, которое стоит двадцать. — Маслова отпила кофе. — Хорошо справились.

Эмма Эдуардовна покраснела — пятнами, по-немецки, от шеи вверх.

— Это цена дома.

— Конечно. — Маслова поставила чашку. — Я не спорю. Я хочу научиться. Я у Китаевой двенадцать лет прожила и ни разу не видела, как это считают. Хочу понять, как это устроено. Мне это — как книжка. — Она показала Сеченова. — Интересно.

Эмма Эдуардовна смотрела на неё долго. Потом — неожиданно — села на стул у стола. Положила книгу. Раскрыла.

Маслова потом поймёт почему. Эмма Эдуардовна была одинока. Двадцать лет она вела эти книги, считала, записывала, сводила, и никто — ни Анна Марковна, ни девушки, ни гости — никто никогда не интересовался, как она это делает. Её работа была невидимой, как работа часовщика внутри часов. А теперь кто-то спросил.

Даже немке хочется, чтобы её спросили.

Они просидели над книгами до вечера.

Маслова смотрела, слушала, спрашивала. Эмма Эдуардовна показывала — сначала скупо, неохотно, потом всё подробнее, увлекаясь, водя сухим пальцем по графам, шурша страницами.

Вот книга прихода. Гости по дням. Сколько пришло, сколько заплатило, кто с какой девушкой, сколько вина, сколько шампанского, сколько закуски. Цены — втрое, вчетверо против Почтамтской. Бутылка, которая в лавке стоит рубль, здесь — пять.

Вот книга расхода. Мука, мясо, дрова, бельё, керосин, свечи, мыло, карболка. Жалованье кухарке, быку, тапёру, прачке.

Вот долговые книжки девушек. Пятнадцать серых книжечек, перевязанных шпагатом. Маслова взяла одну наугад. «Клавдия». Та, что умерла зимой. Долг — триста сорок рублей. Заработок за три года — двести девяносто. Разница — пятьдесят. Клавдия умерла должна дому пятьдесят рублей.

— А с мёртвой как? — спросила Маслова.

— Списали, — сказала Эмма Эдуардовна. — Похороны тоже на её счёт записали. Двенадцать рублей. Тоже списали.

Похороны за свой счёт. И после смерти — в долгу.

Вечная память, подумала Маслова. Вечный долг.

Она взяла другую книжку. «Женька». Долг — пятьсот восемьдесят. Заработок — четыреста. Растёт. Ещё одну. «Нана». Долг — двести. Заработок — девятьсот. Нана была единственной, кто зарабатывал больше, чем должен. Нана была звездой.

Была.

А вот — ещё одна книга. Тонкая, в коричневой обложке, без надписи. Эмма Эдуардовна, увидев, что Маслова тянется к ней, быстро накрыла её ладонью.

— Это не надо.

— Что это?

Эмма Эдуардовна помолчала.

— Особые расходы.

Маслова не стала настаивать. Она улыбнулась и отдёрнула руку. Но она запомнила коричневую обложку. Запомнила, как дрогнули сухие немецкие пальцы. Запомнила, на какую полку в конторке Эмма Эдуардовна её убрала.

Особые расходы. Она знала, что это. У Китаевой тоже была такая. Полиция. Комитет. Пристав. Околоточный. Доктор. Батюшка в приходе. Все, кому дом платит, чтобы его не трогали.

Это была самая важная книга в доме. Важнее долговых. Долговые держали девушек. Коричневая держала город.

Вечером, когда Эмма Эдуардовна ушла, Маслова достала из узла тетрадь.

Не клеёнчатую, симонсоновскую. Другую. Новую. Купленную вчера утром на Почтамтской вместе с помадой и чулками, на нехлюдовские деньги, — толстую, в чёрной клеёнчатой обложке, с плотной разлинованной бумагой. Она купила её тогда, не зная зачем. Просто — понравилась. Чёрная.

Теперь она знала зачем.

Она раскрыла её на первой странице, обмакнула перо и написала вверху, крупно, с нажимом:

КНИГА ЖИВЫХ

Посмотрела на эти слова.

В Писании была Книга жизни. Агнец раскрывал её на Страшном суде, и кто не был записан в ней, того бросали в озеро огненное. Она помнила, она подчеркнула это у англичанина.

Её книга будет наоборот. Кто в неё записан — того бросят.

Ниже она провела черту. И стала писать — колонками, как в книгах Эммы Эдуардовны, как в конторе, как у счетовода:

Имя. Чин. Сумма. Как берёт. Что любит. Чего боится. Что говорит. Тайна.

И первая строка:

Привалов, Мих. Гаврилович. Купец 1-й гильдии, золотопромышленник. 1000 р. Сначала смотрит, потом берёт. Любит, чтобы им командовали — сам не знает. Боится — не знаю ещё. Говорит мало. Тайна: артельщик, самородок с кулак, «его не нашли». Шрам от кайла.

Вторая:

Нехлюдов, Дм. Иванович. Князь. 412 р. и часы. Сначала говорит, потом берёт. Берёт как зверь, хотя думает что святой. Любит, чтобы его унижали — сам не знает. Боится себя. Говорит много, всё чужое. Тайна: маскарад в костюме пилигрима, пока умирал Володя. Сто рублей в конверте тогда.

Она перечитала. Посмотрела в окно, на погасший фонарь во дворе, на гору, на костёл. Подумала.

И добавила внизу, под чертой, мелко:

Кто был ничем, тот станет всем.

В четверг пришёл Очумелов.

Он пришёл рано, в девятом часу, когда зала ещё была полупустой, в парадном мундире, с усиками, нафабренными до блеска, и с запахом одеколона, который входил в дверь раньше него. Он прошёл через залу, кивая девушкам снисходительно, как начальник, и под-

нялся прямо наверх, к угловой двери, — и постучал. Анна Марковна, увидев это, только перекрестилась.

Маслова открыла. На ней было красное.

— Пётр Семёныч, — сказала она. — Четверг.

— Четверг, — сказал Очумелов и покраснел. От воротника вверх. Как тогда, в комитете.

Он вошёл, сел на стул, снял фуражку, положил на колени. Огляделся. Увидел книги на столе — Сеченов, Лавров, Писарев — и нахмурился.

— Это что у вас?

— Книжки.

— Разрешённые?

— А вы проверьте.

Он взял Сеченова, повертел, посмотрел на обложку, раскрыл, прочёл несколько строк, ничего не понял, закрыл.

— Рефлексы, — сказал он подозрительно. — Это про что?

— Про то, что человек — машина. Что души нет. Что мысль — это нервы дёргаются.

Очумелов положил книгу, как кладут горячую сковородку.

— Это нехорошо, — сказал он. — Это, знаете… это вольнодумство. Я, конечно, понимаю — образование. Но всё же… Начальство не одобряет. — Он оглянулся на дверь, будто начальство могло стоять за ней. — У нас, знаете, всякие ходят. Политические. Ссыльные. Студенты. Надо смотреть.

— Вы смотрите, — сказала Маслова и села на кровать, закинув ногу на ногу. Красный шёлк сполз с колена. — Вы ведь любите смотреть.

Он покраснел ещё сильнее. До корней волос.

Он был, как она и думала, — ничтожество.

Не злой. Не жестокий. Просто маленький. Маленький во всём: маленькая должность, маленькое жалованье, маленькие мечты, маленький страх. Он боялся начальства. Боялся политических. Боялся газет. Боялся жены — у него, оказалось, была жена, толстая, из купеческих, с приданым, которую он не любил и которая била его по щекам за опоздания к обеду. Боялся, что его обойдут по службе. Он мечтал стать полицмейстером. Говорил об этом, как говорят о рае: тогда-то, тогда-то…

Он читал ей свой рассказ.

Он достал его из-за пазухи — смятую рукопись, листов двадцать, исписанных крупным писарским почерком, — и читал, сидя на краю кровати, водя пальцем по строчкам, запинаясь. Рассказ был про околоточного, который поймал вора, а вор оказался сыном генерала, и околоточный отпустил его, и генерал наградил околоточного, и околоточный стал приставом. Рассказ назывался «Чутьё».

— Я его Чехову давал, — сказал Очумелов, дочитав. — Антону Павловичу. Когда он у нас проездом был. Он обещал прочесть в дороге.

— И что?

— Не ответил. — Очумелов помолчал. Лицо у него стало обиженное, детское. — Уже два месяца. Я ему в Москву писал. Не отвечает.

— Он не прочёл, — сказала Маслова.

— Почему вы так думаете?

— Он оставил рукопись в номере. На столе. Нераскрытой. Мне коридорный рассказал.

Очумелов побелел. Потом покраснел. Потом сжал рукопись в кулаке так, что листы смялись.

— Сволочь, — прошептал он. — Москвич. Литератор. Я его по всему городу водил! В кабаки! К девкам! Сам платил!

Он дышал часто, по-собачьи. В глазах у него стояли слёзы.

И Маслова вдруг увидела его — по-настоящему. Маленький, жалкий, с нафабренными усиками, в мундире, который сидел на нём как чужой, — он сидел на её кровати и плакал над рассказом, который никто не прочтёт. Он ловил воров, выдавал жёлтые билеты, ходил на осмотры смотреть, как девушкам вставляют зеркало, — и мечтал, что Чехов похвалит его «Чутьё».

Ей не стало его жалко. Ни капли.

Она смотрела на него, как смотрят на таракана, — с брезгливым интересом. Животное. Маленькое, глупое животное, которое боится, хочет и ест. Перед таким не стыдно ни раздеваться, ни смеяться, ни что угодно. Перед таким стыдно только одно — быть похожей на него.

Она пересела ближе. Взяла у него из рук смятую рукопись. Разгладила на колене.

— Хороший рассказ, — сказала она. — Правдивый. Он завидует, ваш Чехов. Испугался, что вы лучше напишете.

Очумелов поднял на неё мокрые глаза.

— Вы правда так думаете?

— Правда.

Он смотрел на неё, как смотрит собака на человека, бросившего ей кость. И она поняла, что теперь он её. Целиком. С мундиром, с усиками, с «Чутьём», с толстой женой, с мечтой о полицмейстерстве.

Потом, после — быстрого, суетливого, жалкого, как он сам, — он лежал рядом и болтал.

Так бывает с маленькими людьми: после этого им хочется говорить, хочется казаться больше. Он говорил о службе. О начальстве. О том, кого из приставов скоро переведут, кого повысят, кто берёт, кто не берёт. Маслова лежала, закинув руки за голову, смотрела в потолок и слушала. Иногда спрашивала — лениво, будто между делом.

— А Анна Марковна много даёт?

— Анна Марковна? — Очумелов хихикнул. — Анна Марковна — святая женщина. Двадцать пять рублей в месяц полицмейстеру. Десять — приставу. Пять — околоточному. Мне… — он запнулся. — Ну, мне по-приятельски. Натурой.

Он засмеялся. Она тоже.

— А доктору?

— Немцу? Немцу — особо. Он у неё девушек лечит. Когда надо — не замечает. Когда надо — замечает. — Очумелов зевнул. — А консисторским — это уж на храм. Анна Марковна — она на храм жертвует. Ей батюшка грехи отпускает. Всё по-христиански.

— А ещё кому?

— А ещё… — Он вдруг замолчал. Повернул голову. Посмотрел на неё — подозрительно, с внезапным страхом. — А вам зачем?

Маслова повернулась к нему. Положила руку ему на грудь — на мундир, на пуговицы с орлами.

— Мне? Ни зачем. Интересно. Вы так хорошо рассказываете, Пётр Семёныч. Как в книжке. Как в вашем «Чутье».

Подозрение в его глазах растаяло, как снег на печке.

— Ну, — сказал он, польщённый, — ещё товарищу прокурора. Головину. Только не деньгами. Он сам ходит. Бесплатно. По вторникам. Но он не к вам — он к Нане. — Очумелов хихикнул снова. — А Нана у него узнаёт, что в суде готовят. И Анне Марковне шепчет. Вот вам и вся механика.

Механика. Маслова закрыла глаза. Внутри у неё всё пело.

Когда он ушёл — оправив мундир, нафабрив усики перед её зеркалом, сунув смятое «Чутьё» за пазуху, — она достала чёрную тетрадь.

И писала долго. При свече. Почти до утра.

Очумелов, Пётр Семёнович. Помощник полицмейстера. Четверги. Натурой — «по-приятельски». Берёт быстро, жалко, суетится. Любит, чтобы хвалили. Мечтает стать полицмейстером. Боится: начальства, политических, жены (бьёт по щекам). Пишет рассказ «Чутьё», давал Чехову, тот не прочёл. Плакал.

Говорит:

Полицмейстеру от А. М. — 25 р. в мес.

Приставу — 10.

Околоточному — 5.

Доктору (Карл Ф.) — особо. «Когда надо — не замечает».

Консистория — «на храм».

Головин, тов. прокурора, — вторники, бесплатно, к Нане. Нана узнаёт про суд, шепчет А. М.

Коричневая книга у Эммы — «особые расходы». Вторая полка конторки, слева.

Она остановилась. Перечитала. Посмотрела на свечу.

Вот она, механика. Вся. Как часы: колёсико цепляет колёсико, и всё тикает. Девушка — гость — хозяйка — околоточный — пристав — полицмейстер — товарищ прокурора — суд — консистория — храм — Бог. И обратно. Цепь. Все повязаны. Все кормят друг друга. Все кормятся с девушек — с их тел, с их долгов, с их серых книжечек. И над всем этим — крест на шпиле костёла, и колокола, и «Христос воскресе».

А она теперь видит эту механику. Изнутри. Она внутри часов.

Если знать, какое колёсико вынуть, — часы встанут.

Она закрыла тетрадь. Положила рядом с клеёнчатой симонсоновской. Две тетради: светлая и чёрная. В светлой — мысли, клятва, венчик. В чёрной — имена, суммы, тайны.

Она погасила свечу. Легла. Потянулась под простынёй, всем телом, сытым, усталым, довольным.

Она была счастлива.

Днём книги, ночью мужчины, на рассвете — тетрадь. И всё это было одно: одно наслаждение, один голод, одна страсть. Она узнавала мир — телом, глазами, пером. Она видела его изнанку. Видела, как он устроен. Видела всех этих животных — Привалова, Нехлюдова, Очумелова — голыми, без мундиров и поддёвок, без Евангелия и «Чутья». Видела, чего они боятся.

И ни о чём не жалела. Ни о чём, сука, не жалела.

Она засмеялась в темноте и заснула.

Во дворе, над крыльцом, красный фонарь горел до утра.


СЕЧЕНОВ
ЛАВРОВ

2.2. Суббота

По субботам девушек водили на осмотр.

Так было заведено во всех домах Томска — в доме Анны Марковны, в доме Шульцихи за Ушайкой, в двух домах на Песках, о которых говорили с презрением, потому что там брали по рублю. В субботу утром, в десятом часу, девушек выстраивали во дворе, Эмма Эдуардовна пересчитывала их по головам, как гусей, и бык в красной рубахе вёл их вверх, на гору, в комитет. Пешком. Через весь город. Извозчиков не нанимали: дорого, да и не положено. Публичная женщина должна ходить пешком.

Это был не закон. Это был обычай. И обычай этот был хуже закона, потому что закон хотя бы стыдился себя и прятал осмотр за закрашенным окном, а обычай выводил девушек на улицу, при свете дня, под глаза всего города.

Город смотрел.

В пятницу вечером Анна Марковна, увидев, что Маслова отложила красное платье на стул, всплеснула руками.

— Катерина Михайловна! Да что вы! На осмотр — в красном?

— А в чём?

— В скромном, милая. В сером. В тёмном. Платочек на голову. Глаза опустить. — Анна Марковна понизила голос, как говорят о покойнике. — Через город ведь идём. Люди смотрят. Батюшка с соборной паперти смотрит. Губернаторша, бывает, в коляске едет. Надо смиренно.

— Смиренно, — повторила Маслова.

— Смиренно, милая. Как кающиеся. Мы ведь — что? Мы — грех. Город нас терпит, потому что так надо. Как терпят нужник во дворе. Но показывать нужник на улице — не надо.

Маслова посмотрела на неё — на маленькую, полную, седую, в чёрном шерстяном платье с белым воротничком, — и улыбнулась.

— Хорошо, Анна Марковна, — сказала она. — Я подумаю.

Утром она вышла во двор в красном.

Девушки стояли во дворе в ряд — четырнадцать, в сером, в тёмно-синем, в коричневом, в платочках, с опущенными головами. Как богомолки. Как арестантки на поверке. Нана стояла первая: так было всегда, звезда шла первой. Она была в тёмно-лиловом, с вуалеткой.

Маслова вышла на крыльцо.

Красный шёлк. Чёрное кружево по вырезу — правда, она накинула на плечи чёрную шаль, — но шаль только подчёркивала красное. Волосы уложены высоко, открыта шея. Красные губы. Красные туфли на каблуке. В руке — маленький чёрный зонтик от солнца, купленный вчера на Почтамтской.

Девушки обернулись разом. Кто-то ахнул. Эмма Эдуардовна, считавшая головы, сбилась со счёта и начала снова.

Анна Марковна, вышедшая проводить, остановилась на пороге и перекрестилась.

— Господи, — сказала она тихо. — Да ведь нас всех заберут.

— Не заберут, — сказала Маслова, спускаясь с крыльца. — Очумелов не даст.

Она прошла вдоль ряда девушек — мимо Женьки, мимо Насти (Настю тоже вели: Анна Марковна записала её в комитет «на всякий случай», чтобы было, когда понадобится), мимо всех серых и тёмных, — и встала впереди. Впереди Наны.

Нана повернула к ней голову. Под вуалеткой блеснули огромные подведённые глаза.

— Это моё место, — сказала она по-русски, с латышским акцентом, который вдруг прорвался сквозь французский.

— Было, — сказала Маслова.

Бык в красной рубахе посмотрел на неё. Потом на Нана. Потом на Эмму Эдуардовну. Эмма Эдуардовна, помедлив, кивнула.

Бык открыл калитку.

Они шли через Болото.

Здесь их знали, здесь не смотрели. Бабы у Ушайки колотили бельё, не поднимая голов. Пьяные у кабака кивали, как знакомым. Мальчишки, ловившие что-то в речке, свистнули по привычке и вернулись к сачкам. Болото было своё. На Болоте шлюха — не диковина.

Потом начался подъём.

Улица пошла вверх, круто, кривым позвоночником. Мостков здесь не было, были ступени — земляные, выбитые тысячами ног, укреплённые досками, — и девушки поднимались по ним цепочкой, подбирая подолы, тяжело дыша. Вверх. Вверх. От Болота к горе.

Маслова шла первой, не оборачиваясь, не подбирая подола выше, чем нужно, — ровным шагом, от бедра, раскрыв над головой чёрный зонтик. Каблуки впивались в землю. Красное платье горело на солнце. Она поднималась по ступеням, как по ступеням храма.

Гора называлась Воскресенской.

Она узнала это только сейчас — услышала, как кто-то из девушек сзади, задыхаясь, сказал: «Ох, Воскресенская эта… каждый раз помираю». Воскресенская гора. Гора Воскресения. Здесь был первый острог, первая церковь, Воскресенская, от неё и имя. Отсюда начался Томск.

И сюда, на гору Воскресения, каждую субботу гнали шлюх с Болота — показывать то, что внутри, немцу с зеркалом.

Воскресение. Она засмеялась, не останавливаясь. Граф Толстой бы оценил.

Наверху начинался город.

Деревянные мостки. Заборы с резными воротами. Особнячки с мезонинами. Лавки, вывески, извозчики, чиновники в шинелях, барышни с зонтиками, гимназисты в фуражках. Город, который не знал Болота. Который знал о нём, как знают о нужнике во дворе: что он есть, что без него нельзя, но говорить о нём не принято.

И сквозь этот город шли они.

Город останавливался. Город оборачивался. Город смотрел.

Барышня с зонтиком, увидев их, побелела и перешла на другую сторону улицы. Её мать, тучная дама в шляпке со страусовым пером, схватила барышню за руку и потащила, громко говоря что-то о позоре и о полиции. Гимназисты, наоборот, остановились, сбились в кучку, захихикали, зашептались, толкая друг друга локтями. Один, рыжий, засвистел — пронзительно, в два пальца. Чиновник в шинели перекрестился и плюнул. Извозчик на козлах заржал вместе со своей лошадью.

А у церковной ограды — небольшой, деревянной, приходской — стоял священник. Старый, седой, в выцветшей рясе. Он смотрел на процессию, и губы его шевелились. Молился. Или проклинал.

Девушки шли с опущенными головами. Как всегда. Как каждую субботу. Платочки надвинуты на глаза. Плечи сжаты. Ноги переступают торопливо, мелко, будто по горячему.

Только первая шла с поднятой головой.

Маслова шла сквозь город, как красный нож сквозь серую ткань. Она не опускала глаз. Она смотрела — в лица, в окна, в глаза. Смотрела на барышню с зонтиком — и барышня отвернулась. На гимназистов — и рыжий перестал свистеть, поперхнулся. На чиновника — и чиновник ускорил шаг. На старого священника — долго, прямо, не мигая, — и священник поднял руку, будто хотел перекрестить её или отгородиться, и рука так и застыла в воздухе.

Она шла и думала: смотрите. Смотрите. Вы на нас каждую субботу смотрите. Вы нас терпите, как нужник. Вы через нас переступаете. Вы к нам ходите по ночам, ваши мужья, ваши сыновья, ваши братья, ваши батюшки. А днём креститесь и плюёте.

Смотрите теперь на меня.

Ей вспомнилась картина — она видела её когда-то в журнале у тётушек, ещё девочкой, гравюру: женщина в красном фригийском колпаке, с голой грудью, с ружьём в одной руке и знаменем в другой, идёт впереди толпы через баррикаду, через трупы. Француженка. Свобода. Тётушки, увидев, что она разглядывает гравюру, отобрали журнал и сказали, что это неприлично.

Женщина впереди толпы. Красное.

За ней, цепочкой, понурые, в сером, шли четырнадцать девушек с Болота. Это была не толпа. Это было не войско. Это были лошади, которых вели на ярмарку.

Пока.

Наверху, на самом краю горы, белел костёл.

Они проходили мимо него — мимо ограды, мимо ступеней, мимо высоких дверей с латинской надписью. Двери были открыты. Изнутри доносилось пение — низкое, протяжное, на чужом языке, — и тянуло холодом и ладаном. Шла служба.

А рядом, через забор, — деревянный дом с мезонином. Окна закрыты ставнями. Там жили теперь какие-то чиновники. О Бакунине в нём ничего не напоминало.

Маслова замедлила шаг. Посмотрела на костёл. На дом. Снова на костёл.

Из дверей костёла вышла старуха — полячка, в чёрном, с чётками в руках. Увидела процессию. Увидела красное. Замерла на ступенях.

И вдруг — Маслова не поверила своим глазам — старуха перекрестилась. Не так, как крестились русские, — справа налево, всей ладонью, по-католически. И поклонилась. Не им — может быть, чему-то за их спинами, иконе, которую видела только она. Но поклонилась в их сторону.

Маслова смотрела на неё. Старуха смотрела на Маслову. Потом опустила глаза и пошла прочь, перебирая чётки.

Сзади кто-то из девушек прошептал:

— Это она что?

— Кто знает, — сказала Женька, шедшая следом. — Полячка. Может, за Магдалину приняла.

В приёмной комитета было то же, что неделю назад.

Портрет государя над лавкой. Стол писаря с жёлтыми книжечками. Запах карболки, йодоформа и табака. И женщины на лавке — из других домов, из дома Шульцихи, с Песков. Полная в шляпке с облезлым пером. Худая с сизым лицом. Рыжая молоденькая, теперь уже не с узелком, а в накрашенных румянах, с пустыми глазами.

Полная увидела Маслову — и привстала.

— Ты! — сказала она с восторгом. — Та самая! Тысячная!

По лавке прошёл шёпот. Женщины из чужих домов уставились на Маслову, как уставились бы на икону в крестном ходе. Тысячная. Об этом знали уже и на Песках, и у Шульцихи.

Нана, войдя, громко хмыкнула.

Она села на край лавки, откинула вуалетку и заговорила — по-русски, громко, чтобы слышали все, с тем латышским акцентом, который она теперь уже не пыталась прятать:

— Тысячная. Тысячная! А знаете ли вы, милые, за что она на каторге была? За отравление. Купца отравила. В Москве. Порошок ему в коньяк. Он и помер. И деньги у него взяла. А присяжные её на каторгу. Вот она какая, ваша тысячная. Отравительница.

Тишина. Женщины на лавке отшатнулись от Масловой — чуть-чуть, незаметно, но отшатнулись. Полная в шляпке перестала улыбаться. Рыжая посмотрела испуганно. Даже девушки из дома Анны Марковны — свои — отодвинулись на полвершка.

Нана смотрела на Маслову с торжеством. Огромные подведённые глаза блестели.

Маслова сидела на лавке, сложив руки на коленях, с закрытым зонтиком у ног, и молчала. Секунду. Две. Три.

Потом повернула голову к Нана и сказала спокойно, ровным, светским голосом, каким говорят о погоде:

— Не отравила. Но могу.

Тишина стала другой.

Маслова почувствовала это сразу — всей кожей, как чувствуют перемену ветра. Страх, который Нана хотела вызвать — страх перед ней, отвращение к ней, — этот страх никуда не делся. Но он повернулся. Он перестал быть отвращением. Он стал уважением.

Отравительница. Каторжная. Та, что пляшет на столе. Та, что берёт тысячу. Та, что выходит на осмотр в красном. Та, что может.

Она поняла это и улыбнулась про себя. Нана хотела опустить её — и подняла. Нана дала ей легенду.

Легенду не надо опровергать. Легенду надо носить. Как красное платье.

Беру кусок жизни, грубый и бедный, подумала она откуда-то, из воздуха, из чьей-то будущей книги, — и творю из неё сладостную легенду. Отравительница? Пусть. Пусть они боятся. Страх — это тоже оружие. Пятое? Шестое? Она сбилась со счёта.

Нана смотрела на неё — и торжество в её глазах гасло, медленно, как фитиль, который прикрутили.

— Маслова Екатерина! — крикнул писарь.

Маслова встала. Взяла зонтик. Прошла мимо Наны — так близко, что задела её колено красным шёлком.

И сказала, не останавливаясь, вполголоса, так, чтобы слышала только Нана:

— В Риге, говорят, красивые церкви. Ты по ним не скучаешь, Анна?

Нана побелела под румянами.

Карл Фёдорович мыл руки в эмалированном тазу. Обернулся. Увидел её — в красном.

Пенсне блеснуло.

— Раздевайтесь, — сказал он. — За ширмой.

Очумелова на этот раз не было: был писарь, тощий, прыщавый, с пером за ухом. Он сидел у окна и смотрел в бумагу, не поднимая глаз.

Маслова разделась за ширмой. На этот раз быстро. Без представления. Не для кого было.

Вышла. Села в кресло. Положила ноги на подставки.

Металл вошёл холодно.

И она поняла, что не чувствует ничего. Ни унижения, как двенадцать лет назад. Ни злой силы, как неделю назад, когда смотрела Очумелову в глаза. Ничего. Холодный металл. Немец в пенсне. Писарь у окна. Это было — как зайти в баню. Как вымыть руки.

Зеркало больше не имело власти над ней. Она уже посмотрела в них в ответ.

Карл Фёдорович наклонился, посмотрел, выпрямился.

— Здорова, — сказал он.

Писарь записал.

Маслова не встала сразу. Она полулежала в кресле, с ногами на подставках, и смотрела на доктора — снизу вверх, спокойно, с интересом. Как смотрят на экспонат.

— Карл Фёдорович, — сказала она. — А правда, что граф Толстой ничего не понимает в сифилисе?

Он замер с полотенцем в руках.

— Простите?

— В «Крейцеровой сонате». Он там пишет про болезни, про воспитательные дома. Один доктор говорил, что граф не потрудился прочесть ни одной книжки, написанной специалистами. — Она помолчала. — Вы ведь специалист. Вы как думаете?

Карл Фёдорович смотрел на неё. Долго. Потом снял пенсне и стал протирать его полотенцем — медленно, тщательно, как протирают что-то очень ценное.

— Вы читали «Крейцерову сонату»? — спросил он наконец.

— Мне князь пересказывал. — Она улыбнулась. — Подробно.

— А что вы ещё читаете?

— Сеченова. «Рефлексы головного мозга».

Он перестал протирать пенсне.

Маслова сняла ноги с подставок. Встала. Пошла к ширме. У ширмы обернулась.

— Вы мне как-нибудь объясните, Карл Фёдорович, — сказала она, — что такое торможение рефлексов. Я не совсем поняла. У Сеченова там трудно.

Она ушла за ширму.

За ширмой было тихо. Потом она услышала, как доктор надел пенсне. И не стал мыть руки.

Обратно они шли той же дорогой.

Мимо костёла. Мимо дома с мезонином. Мимо церковной ограды, где старый священник уже не стоял. Вниз, по земляным ступеням, с горы Воскресения в Болото.

На полпути Маслова отстала. Остановилась на площадке, где лестница делала поворот, у кривой берёзы, откуда было видно всё Болото внизу и Ушайку, и дальше, за городом, Томь, и тёмную полосу бора на том берегу. Кафтан.

Рядом остановилась Женька.

Угрюмая, худая, некрасивая, с тяжёлой челюстью и маленькими злыми глазами. Самая дешёвая в доме: три рубля, и то не всякий брал. Долг у неё рос, как опара. Она достала из кармана папиросу, закурила, затянулась глубоко, по-мужски, и выпустила дым сквозь зубы.

Они стояли рядом и молчали. Внизу девушки спускались цепочкой, серые, понурые. Бык шёл последним.

— Ты зачем сюда пришла? — спросила вдруг Женька, не глядя на неё.

— Куда?

— Сюда. К Анне Марковне. В дом. — Женька затянулась. — Ты не за деньгами. Тысячу взяла — и не ушла. Долг сразу выплатила. Комната своя. Книжки читаешь. Хозяйке грубишь. На осмотр в красном. — Она выпустила дым. — Ты не за деньгами.

Маслова молчала.

— И не от нужды, — продолжала Женька. — Я нужду знаю. Нужда — она вот. — Она кивнула вниз, на серую цепочку девушек. — Нужда глаза опускает. Ты не опускаешь.

— Нет, — сказала Маслова.

— Так зачем?

Маслова посмотрела на неё. На злые маленькие глазки. На тяжёлую челюсть. На папиросу в грубых пальцах. Она знала о Женьке немного — из книжки Эммы Эдуардовны: долг пятьсот восемьдесят, растёт; из разговоров девушек: попала в дом шестнадцатилетней, после того как её изнасиловал хозяин лавки, где она служила, а отец выгнал из дому за позор. Женька ненавидела мужчин. Всех. Тихо, угрюмо, без надежды. И читала по ночам слезливые романы про графинь и благородных разбойников и плакала над ними.

— Судить, — сказала Маслова.

Женька повернула голову. Посмотрела на неё. Долго.

Потом засмеялась — коротко, хрипло, как кашляют.

— Судить, — повторила она. — Кого?

— Всех.

Женька перестала смеяться.

Она стояла с папиросой у рта и смотрела на Маслову, и в её злых маленьких глазах что-то происходило. Медленно. Как лёд трогается на реке. Сначала недоверие. Потом — удивление. Потом — то, что Маслова видела вчера в зале, когда шла с Приваловым к лестнице: узнавание.

— Всех, — повторила Женька тихо. И кивнула. Будто это было самое естественное слово на свете. Будто она сама давно хотела его сказать, но не знала, что оно существует.

Она бросила папиросу на ступени и растёрла каблуком.

— Я умею одну вещь, — сказала она, глядя вниз, на Болото. — Ты не знаешь. Никто не знает. Я больна. С весны. Немец не видит — я хитрая, я знаю, как прятать. А они ходят. И я им не отказываю.

Маслова молчала.

— Каждый, кто со мной, — сказала Женька, — уносит. Домой. К жене. К невесте. — Она помолчала. — Это мой суд.

Маслова смотрела на неё. Долго.

— Это плохой суд, Женя, — сказала она наконец.

— Почему?

— Потому что ты тоже умрёшь.

Женька пожала плечами.

— А ты не умрёшь?

— Я — нет. — Маслова повернулась и пошла вниз по ступеням. — Я ещё не всех записала. И царству не будет конца.

Женька постояла, глядя ей вслед. Потом пошла следом.

Вечером Настя принесла ей чай.

Она поставила поднос на столик, налила, положила сахар — два куска, как Маслова любила, она уже запомнила, — и не уходила. Стояла у двери, теребя фартук.

— Что, Настя?

— Катерина Михайловна… — Настя запнулась. — А правда… правда, что вы… купца…

Маслова подняла глаза от книги. Посмотрела на неё — на маленькую, белобрысую, в веснушках, с тонкой шеей и круглыми светлыми глазами, полными страха.

— Боишься? — спросила она.

Настя кивнула. Потом замотала головой. Потом снова кивнула.

— Не тебя, — сказала Маслова. — Тебе не надо бояться.

— Почему?

Маслова помолчала. Посмотрела на неё — внимательно, медленно, оценивающе. Так, как Анна Марковна смотрела на неё саму в первый день. Как барышник на лошадь. Тонкая шея. Светлые глаза. Веснушки. Испуг. Покорность. Всё это стоило дорого — Маслова знала цену. Всё это когда-нибудь пригодится.

— Потому что ты моя, — сказала она. – Я своих не трону.

Настя смотрела на неё, не понимая. Потом лицо у неё вдруг стало мягким, детским, благодарным. И слёзы потекли из светлых глаз — тихо, сами.

— Спасибо, — прошептала она. И выбежала.

Маслова посмотрела ей вслед. Потом вернулась к книге.

Она читала Бокля, «Историю цивилизации в Англии», которую купила вчера у Макушина вместе с Дарвином. Читала о том, как климат и пища определяют судьбу народов. Читала и не понимала половины. И это было хорошо. Как с мужчиной, который берёт тебя слишком быстро, слишком грубо, и ты не успеваешь понять, что происходит, — а потом лежишь и вспоминаешь, и понимаешь, и хочешь ещё.

За окном, на горе, белел костёл. Внизу, во дворе, зажигали красный фонарь.

Суббота кончилась.

2.3. Наверху и внизу

В доме Анны Марковны её больше ни к чему не принуждали.

Это случилось само, без разговоров, без договоров, — как случается в природе: волк приходит в стаю, и стая расступается. Никто не сказал ей, что она может выбирать. Она просто стала выбирать — и никто не возразил.

В воскресенье вечером, на второй неделе, к ней подвели гостя — чиновника из казённой палаты, тучного, лысого, с мокрыми губами и золотыми очками, который заплатил Анне Марковне двадцать пять рублей вперёд и требовал «тысячную». Маслова посмотрела на него с дивана, через всю залу, — на лысину, на губы, на живот, перетянутый жилетом, — и сказала:

— Нет.

Анна Марковна побледнела.

— Катерина Михайловна, — зашептала она, наклонясь к ней, — да ведь он из казённой палаты… да ведь он двадцать пять… да ведь у нас так не бывает…

— Теперь бывает, — сказала Маслова. — Отдайте ему Нана. Она любит золотые очки.

И не встала с дивана.

Чиновник ушёл с Нана. Нана посмотрела на Маслову так, что, если бы взглядом можно было убить, в доме Анны Марковны стало бы на одну девушку меньше. А Анна Марковна, вечером пересчитывая выручку, сосчитала, сколько принесла за неделю угловая комната, — и больше не сказала ни слова. Ни в тот вечер, ни потом.

Девушка, которая приносит втрое больше остальных, может отказывать. Это не закон. Это арифметика. Эмма Эдуардовна понимала арифметику лучше, чем Евангелие.

И Маслова выбирала.

Не по деньгам — деньги и так шли. По другому.

Она сидела вечерами на малиновом диване в красном, с прядью на глазах, и смотрела на мужчин, входивших в залу. Смотрела, как смотрела Анна Марковна на неё в первый день: барышнически, оценивающе. Только Анна Марковна оценивала, сколько можно взять. А Маслова — хочет ли она.

Но хотела она часто.

Это её саму удивляло. Двенадцать лет у Китаевой она не хотела никогда. Тело работало, как работает лошадь в упряжке: тянуло, потому что надо, потому что кнут. Желание — это было у других. У барышень в романах. У графинь, которые падали в обмороки от поцелуев. У неё было только ремесло.

А теперь тело проснулось. Как просыпается весной болото: сначала треснет лёд, потом пойдёт пар, потом зацветёт черёмуха, потом поднимутся комары — и уже не остановишь. Пять месяцев голода в Кафтане. Потом Привалов. Потом Нехлюдов. И что-то внутри неё открылось, как открывается шлюз, и не закрывалось.

Она хотела почти каждую ночь.

И не видела причины себе отказывать.

Греха нет: это она знала теперь точно — Сеченов объяснил. Есть раздражение и ответ на раздражение. Есть нервы, мышцы, кровь. Есть голод — и его утоление. Стыда нет: стыд — это то, что внушили тётушки, попы и граф. Бога нет: его выдумали люди, которые боялись темноты, как мужчина выдумал Вечную Женственность, потому что боялся настоящей.

Что же её сдерживало?

Только биология. Только тело. Дни, когда кровь приходила с луной, — и тогда она запиралась в угловой комнате и читала, и Анна Марковна знала, что к ней нельзя. Усталость — когда трое за ночь, и наутро болит всё. И страх, единственный, звериный, древний, — страх понести. Ребёнок — это была цепь. Самая прочная из всех. Прочнее долговой книжки, проч-

нее жёлтого билета. У неё уже был один ребёнок — его забрали в воспитательный дом, и он умер там, безымянный, в общей яме. Второго не будет. У Анны Марковны была бабка, которая знала, как сделать, чтобы не было, — травы, спринцевания, уксус, лимон, — и Маслова слушалась бабку внимательнее, чем когда-то слушала тётушек на молитве.

Больше ничто.

Ни Бог, ни мораль, ни стыд, ни граф. Только тело и его законы. Она была свободна так, как не была свободна ни одна женщина в Томске — ни губернаторша, ни вдова с ананасами, ни барышня с зонтиком, которая перешла на другую сторону улицы. Те были заперты: мужьями, приданым, Церковью, приличиями, страхом. А она — в борделе, с жёлтым билетом, на Болоте — она была свободна.

Это был парадокс. Она это понимала. Ей это нравилось.

Днём она надевала серое.

Старое серое платье, то самое, кафтанское, с кружевным воротничком. Стирала помаду. Убирала волосы в простой узел под платок. Смотрела на себя в зеркало — и видела другую женщину. Скромную, бледную, с тёмными косящими глазами. Мещанку. Учительницу. Вдову.

Маска снята — и под ней другая маска.

Она выходила из калитки, шла через Болото, поднималась по земляным ступеням на гору — и никто её не узнавал. Мальчишки, свиставшие в субботу, не свистели. Барышни не переходили на другую сторону улицы. Чиновник, плевавший в субботу, приподнял фуражку. Без красного она была невидима.

Она шла на Почтамтскую. К Макушину.

Книжный магазин «Михайлов и Макушин» был первым в Сибири, и это было видно с порога.

Он занимал первый этаж большого каменного дома. Высокие окна. Полки до потолка. Лестницы на колёсиках. Запах — она остановилась на пороге и вдохнула — запах бумаги, клея, типографской краски, кожи переплётов. Сухой, чистый, горьковатый запах, совсем не похожий на запах Болота. Запах наверху.

За прилавком стоял приказчик — молодой, в нарукавниках. А в глубине магазина, у стола, заваленного каталогами, — человек лет сорока пяти, с окладистой русой бородой, в простом сюртуке, с умными внимательными глазами и руками, перепачканными чернилами. Он разбирал какие-то бумаги и что-то помечал карандашом.

Маслова подошла к прилавку.

— Мне нужна подписка, — сказала она. — В библиотеку.

Приказчик посмотрел на неё — на серое платье, на платок, на бледное лицо — и, кажется, удивился. Женщины-подписчицы бывали, но редко: жёны профессоров, учительницы, иногда барышни из гимназии.

— На месяц или на год? — спросил он.

— На год.

— Восемь рублей. — Он помолчал. — Залог за книги — ещё пять.

Она отсчитала тринадцать рублей. Приказчик раскрыл толстую книгу и обмакнул перо.

— Фамилия?

Она помедлила. Секунду.

— Маслова. Екатерина Михайловна.

— Звание?

Ещё секунда.

— Поселенка.

Приказчик поднял на неё глаза. Перо замерло над бумагой.

Человек с русой бородой, разбиравший бумаги в глубине магазина, тоже поднял голову. Посмотрел на неё. Внимательно, без удивления, без презрения. Встал. Подошёл к прилавку.

— Запишите, Иван, — сказал он приказчику мягко. — Поселенка. У нас библиотека для всех.

Приказчик записал.

— Что вас интересует, сударыня? — спросил человек с бородой. Голос у него был спокойный, чуть окающий, семинарский.

Маслова посмотрела на него. Потом на полки — до потолка, на лестницы, на тысячи корешков, синих, бурых, красных, золотых.

— Всё, — сказала она.

Он улыбнулся. Улыбка была добрая, усталая, понимающая.

— Всё — это много, — сказал он. — Начните с чего-нибудь. Потом само поведёт. Книга — она как дорога: одна выводит к другой.

Это был Пётр Иванович Макушин. Сын причётника, бывший семинарист, книгопродавец, издатель, основатель первой в Сибири бесплатной народной библиотеки. Человек, который верил, что если дать мужику книгу, мужик перестанет пить и станет человеком.

Маслова не знала этого. Она знала только, что он не спросил, за что её сослали.

И началось.

Она брала книги охапками — по пять, по семь, сколько давали. Уносила на Болото, в угловую комнату, раскладывала на кровати, на столе, на полу, — и читала. Днём. В перерывах. Ночью, когда гость уходил, при свече, ещё не остыв, ещё с запахом чужого тела на коже.

Она читала без порядка. Без системы. Без плана. Брала то, что попадалось под руку, то, что советовал приказчик, то, что видела на полке, то, что упоминалось в другой книге. Бокль, «История цивилизации в Англии». Дарвин, «Происхождение видов». Дарвин, «Происхождение человека». Писарев, «Реалисты». Бюхнер, «Сила и материя». Золя, «Жерминаль» — в переводе, запрещённом, который приказчик вынес из задней комнаты, озираясь. Лермонтов, «Демон». Пушкин. Некрасов. Гоголь. Тургенев, «Отцы и дети» — дочитала до смерти Базарова и швырнула книгу об стену, потом подняла и перечитала ещё раз. Глеб Успенский, «Власть земли». Михайловский. Достоевский.

Она глотала их, как голодный глотает хлеб, не жуя. Она не понимала половины. Путала имена, даты, теории. Начинала одну книгу и бросала на середине, хватаясь за другую. Читала три сразу — по главе из каждой. Возвращалась. Перечитывала. Выписывала в клеёнчатую тетрадь целые страницы, а потом не могла вспомнить, откуда.

Это было как с мужчинами.

Она поняла это однажды ночью — лёжа на смятой простыне, ещё горячей, с Дарвином на груди, только что проводив гостя. Поняла и засмеялась.

Ночью — мужчины. Днём — книги. Ночью — тела, одно за другим, разные, торопливые, медленные, грубые, неловкие, сильные, жалкие. Днём — страницы, одна за другой, разные, непонятные, ослепительные, скучные, страшные. Ночью она отдавалась без порядка, без системы, тому, кого хотела. Днём — тоже. Ночью — оргия тел. Днём — оргия книг.

И это был один и тот же голод.

Один и тот же. Она чувствовала его одним и тем же местом — где-то под рёбрами, ниже сердца, выше живота. Когда она открывала новую книгу и не знала, что там, и первая фраза входила в неё, как входит мужчина, — горячо, неожиданно, с усилием, — это было то же самое, что ночью. Тот же жар. Та же дрожь. То же желание: ещё, ещё, глубже, больше.

Тело хотело тел. Голова хотела книг. Но это было одно желание. Наверху и внизу — одно. Как красное на фонаре и красное на лампаде.

Попы разделяли: дух и плоть, верх и низ, небо и Болото. Граф разделял. Нехлюдов строил между ними стены. А она лежала голая, с Дарвином на груди, и знала: никакой стены нет. Мозг — это тоже тело. Сеченов доказал. Мысль — это нервы. Желание знать — это тот же рефлекс, что желание мужчины.

Она вспомнила Писарева, которого читала вчера: что-то о том, что естествознание — это единственная религия разумного человека. И засмеялась снова: значит, она теперь верующая. И молится двумя способами.

Дарвин её потряс.

Не «Происхождение видов» — его она бросила на середине, там было скучно, про голубей и про черепах. «Происхождение человека и половой отбор». Вторая часть. Про то, как самки выбирают самцов.

Она читала это при свече, лёжа на животе, болтая ногами, как гимназистка, и не могла оторваться.

Павлин распускает хвост — для самки. Олень бьётся рогами с другим оленем — за самку. Соловей поёт — для самки. Всё, что есть красивого в природе, — перья, рога, песни, яркие пятна, гребни, хохолки, — всё это для того, чтобы самка выбрала. Самка выбирает. Самая сильная, самая здоровая, самая красивая особь передаёт потомству свои черты. Так природа совершенствуется. Так из обезьяны получился человек.

Самка выбирает.

Она перечитала эту фразу три раза. Потом отложила книгу и долго лежала, глядя в потолок.

Попы говорили: жена да убоится мужа. Граф говорил: женщина должна стремиться к целомудрию. Тётушки говорили: девушка должна ждать, кого ей пошлёт Бог. Анна Марковна говорила: гостю не отказывать. Китаева говорила то же самое. Весь мир говорил: мужчина выбирает, женщину выбирают.

А Дарвин — учёный, англичанин, которого читают в университетах, — Дарвин говорил: нет. Это самка выбирает. Всегда выбирала. С самого начала, с первых рыб в первом океане.

Её красное платье — это хвост павлина. Её помада — гребень. Её ноги в чёрных чулках на дубовом столе — рога оленя. Только наоборот: не самец перед самкой, а самка перед самцами. Она распускает хвост — и выбирает.

Природа на её стороне. Наука на её стороне.

Это был её Символ веры.

В тот же вечер она выбрала кочегара.

Он пришёл с приваловского парохода, который стоял у пристани на Томи, — молодой, лет двадцати пяти, огромный, чёрный от угля, с отмытым кое-как лицом, на котором белели только глаза и зубы. Он пришёл с товарищами — тремя матросами, уже пьяными, — и стоял у двери залы, неловко, не зная, куда деть руки, и смотрел на девушек на диванах с тем выражением, с каким смотрят на витрину кондитерской: хочется, а денег нет.

У него было три рубля. На Женьку.

Маслова смотрела на него с дивана. На плечи — широкие, как у Привалова, но моложе, твёрже. На руки — чёрные, с въевшимся в кожу углём, с перебитыми костяшками. На шею — толстую, как у быка. На то, как он стоял — тяжело, прочно, расставив ноги, как стоят на палубе в качку.

Сильная особь. Здоровая. Без жира, без лысины, без золотых очков, без Евангелия, без «Чутья».

Самка выбирает.

Она встала с дивана и пошла через залу. Прямо к нему. Девушки обернулись. Нана подняла бровь. Анна Марковна, сидевшая у буфета с Эммой Эдуардовной, привстала.

Маслова подошла к кочегару вплотную. Он смотрел на неё сверху вниз, растерянно, — на красное, на губы, на прядь на глазах, — и в его белых глазах на чёрном лице был страх. Он знал, кто она. Тысячная. Отравительница.

— Как зовут? — спросила она.

— Степан, — сказал он хрипло.

— Сколько у тебя, Степан?

Он покраснел — это было видно даже под углём.

— Три рубля.

— Хватит, — сказала она. И взяла его за чёрную руку.

Анна Марковна открыла рот. Потом закрыла. Эмма Эдуардовна что-то зашептала ей на ухо — наверное, напоминала про арифметику. Анна Марковна махнула рукой и отвернулась к буфету.

Маслова повела кочегара наверх. Через всю залу. За руку. Матросы у двери онемели. Нана засмеялась — громко, зло. Маслова не обернулась.

В комнате она сразу встала на четвереньки и откинула платье с задницы вверх – так как хотела всего уже и без предварительных ласк.

И она получила, что хотела.

Не так, как с Приваловым: там была власть, борьба, медведь на цепи. Не так, как с Нехлюдовым: там был суд, приговор, рухнувший храм. Это было просто. Как бывает просто в природе: два тела, сильных, здоровых, голодных, — и ничего между ними. Ни денег, ни Евангелия, ни мести. Ни слов — он почти ничего не говорил, только дышал тяжело и смотрел на неё белыми глазами, как на чудо.

Он пах углём, потом, рекой. Его кожа была грубая, горячая, чёрная, и на её белой коже оставались чёрные следы от его ладоней — угольная пыль, как от прикосновения к печке. Она смотрела на эти следы и смеялась.

Он был неловкий — и сильный. Она учила его — и он учился быстро, как учится зверь. Под конец уже он вёл её, а не она его, и ей это нравилось.

Потом он лежал рядом и не знал, что сказать. Потом сказал:

— Я такую никогда… — и замолчал.

— Знаю, — сказала она.

Он ушёл на рассвете, на свой пароход. Три рубля положил на стол. Она не взяла их: отдала Женьке, утром, без объяснений. Женька посмотрела на рубли, потом на неё, — и ничего не сказала. Спрятала в чулок.

А Маслова записала в чёрную тетрадь:

Степан. Кочегар с парохода Привалова. 3 р. (отдала Ж.). Сильный. Молодой. Ничего не знает. Ничего не боится. Тайн нет.

И ниже, подумав:

Самка выбирает. Дарвин.

Достоевского она начала читать в среду.

«Преступление и наказание». Два толстых тома, затрёпанных, с чужими пометками на полях, — кто-то до неё подчёркивал карандашом, кто-то спорил на полях с автором, кто-то вырвал страницу. Приказчик у Макушина, выдавая, сказал, что это читают все студенты.

Она читала два дня. Почти не выходя из комнаты. Отказала всем гостям — даже Нехлюдову, пришедшему в свой вечер: сказала через Настю, что больна. Нехлюдов ушёл. Это было приятно.

Она читала про студента Раскольникова, который убил топором старуху-процентщицу, чтобы доказать, что он не тварь дрожащая, а право имеет. Читала про его бред, про его метания, про его страх. Читала, и ей было интересно, и страшно, и смешно, и душно, как в Петербурге летом, где всё это происходило.

А потом появилась Соня.

Соня Мармеладова. Дочь пьяного чиновника. Пошла на панель, чтобы прокормить семью, — мачеху, детей. Получила жёлтый билет. Жёлтый — такой же, как у неё, за корсажем. Соня — кроткая, тихая, худенькая, с большими голубыми глазами, с Евангелием. Соня,

которая не судит. Соня, которая любит. Соня, которая читает Раскольникову про воскресение Лазаря. Соня, которая идёт за ним на каторгу, в Сибирь. Соня, которая его спасает.

Маслова читала про Соню — и чувствовала, как в ней поднимается что-то тёмное, горячее, злое.

Это была она. Это было про неё. Писатель написал про неё — про шлюху с жёлтым билетом, которую потом отправляют в Сибирь. Только он написал её святой. Кроткой. Тихой. С Евангелием. С голубыми глазами. Он сделал из шлюхи икону. Чтобы на неё молились. Чтобы студенты подчёркивали карандашом.

Она дочитала до эпилога. До Сибири. До того места, где Раскольников на каторге плачет у Сониных ног, и у них впереди «ещё семь лет», и начинается новая история, «история постепенного обновления человека».

Она закрыла книгу.

Встала. Подошла к окну. Распахнула ставни — впервые днём, — и солнце ударило ей в лицо. Внизу было Болото, воняла Ушайка, стояли бабы с вальками. Вверху, на горе, белел костёл.

— Я не Соня, — сказала она вслух.

Голос был хриплый. Внизу, у Ушайки, баба подняла голову.

— Я не Соня, — повторила она громче. — Слышишь, ты? Фёдор Михайлович? Слышите? Я не Соня. Я никого не спасаю. Никого не люблю. Ни за кем не иду на каторгу. Я уже была на каторге. Хватит.

Баба у Ушайки перекрестилась и снова взялась за валёк.

Маслова стояла у окна, на солнце, тяжело дыша.

А потом подумала о Раскольникове. О студенте с топором. Тварь ли я дрожащая или право имею? Он убил — и сломался. Не выдержал. Пошёл каяться к Соне. Поцеловал землю на площади. Стал тварью дрожащей.

Вот он — слабый. А Соня — сильная. Соня выдержала всё: панель, жёлтый билет, нищету, Сибирь. Только Соня свою силу потратила на то, чтобы спасти слабого.

А если бы — наоборот?

Если бы Соня взяла топор?

Она стояла у окна, и эта мысль — простая, страшная, ослепительная — входила в неё, как входит мужчина. Горячо. С усилием. Глубоко.

Соня с топором. Не кроткая — страшная. Не спасающая — судящая. Не идущая за Раскольниковым на каторгу — идущая сама. По своей воле. С жёлтым билетом за корсажем и топором под платком.

Она засмеялась. Громко, на всё Болото.

Внизу, у Ушайки, баба бросила валёк и ушла в дом.

В пятницу в читальне у Макушина она встретила студента.

Читальня была маленькая, в задней комнате магазина: два длинных стола, лампы с зелёными абажурами, тишина. Здесь читали те, кто не мог унести книгу домой: гимназисты, приказчики, семинаристы, ссыльные. И студенты из университета, у которых не хватало денег на подписку.

Он сидел за дальним столом, сгорбившись над толстой книгой, в студенческой тужурке, в очках. Худой, бледный, с жидкой бородкой. Она узнала его сразу — по сутулым плечам, по тому, как он держал карандаш. Тот самый. Из угла залы. С записной книжкой. В ночь аукциона.

Она села напротив. Положила перед собой Дарвина.

Он поднял глаза. Посмотрел на неё — на серое платье, на платок, на бледное лицо без помады, — и не узнал. Вернулся к книге. Потом поднял глаза снова. Потом ещё раз. Карандаш в его руке замер.

Он покраснел. Медленно. До ушей.

Узнал.

Она смотрела на него спокойно. Ждала.

— Вы… — прошептал он через стол. Читальня была тихая, и шёпот разнёсся, как крик. Гимназист у окна обернулся. — Вы… Вы же… у Анны Марковны…

— У Анны Марковны, — сказала она обычным голосом.

Гимназист у окна уронил книгу.

Студент стал пунцовым.

— Простите, — забормотал он. — Простите, я не… Я не хотел… Я там был… Я изучал… Я пишу работу… О проституции… Как социальном явлении… Для кружка… Я…

— Вы писали в книжку, — сказала она. — Я видела. Что вы писали?

Он замолчал. Потом сказал, глядя в стол:

— Что вы… что вы — первый случай… в моих наблюдениях… когда проститутка… сама… — Он не договорил.

— Сама — что?

— Сама себя продаёт. Не её продают. Она сама.

Она смотрела на него. Долго.

— Это правильно, — сказала она наконец. — Вы хорошо видите. — Она помолчала. — Как вас зовут?

— Лопухов. Дмитрий. Медицинский факультет. Третий курс.

Лопухов. Она вспомнила — Симонсон давал ей «Что делать?». Лопухов там был студент-медик, который освободил Веру Павловну, обвенчавшись с ней фиктивно, чтобы вырвать её из семьи. Благородный. Разумный. Новый человек.

Она чуть не засмеялась.

— Вы читаете Дарвина? — спросила она, кивнув на его книгу.

Он посмотрел на свою книгу, потом на её — на «Происхождение человека».

— Да. Для экзамена. Сравнительная анатомия. — Он помолчал. — А вы?

— Для удовольствия.

Он не нашёлся, что ответить.

— Объясните мне, — сказала она, раскрывая свою книгу на заложенной странице. — Вот здесь. Про половой отбор. Тут сказано, что самки выбирают. Это правда? Во всех видах?

Он посмотрел на страницу. Потом на неё. В его глазах за очками было смятение, и стыд, и что-то ещё — то, что она видела в глазах Насти, когда та пролила чай. Удивление перед тем, чего не бывает.

Он стал объяснять. Сначала запинаясь, путаясь, краснея. Потом увереннее. Потом — увлекаясь. Он говорил о птицах, об оленях, о рыбах, о том, что у некоторых видов наоборот — выбирают самцы, о том, что у человека всё сложнее, потому что вмешивается общество, экономика, религия, собственность. Он говорил, и она слушала, и задавала вопросы, и он отвечал, и они просидели так два часа, склонившись над Дарвином через стол, пока приказчик не пришёл сказать, что читальня закрывается.

На улице, у дверей магазина, он остановился. Снял фуражку. Смял её в руках.

— Екатерина… Михайловна… — сказал он. — Вам нельзя… там. У Анны Марковны. Вы же… вы же умная. Вы же читаете Дарвина. Вам надо… Вам надо учиться. Есть курсы. Есть… Можно уехать. Я мог бы… Я бы помог…

Она посмотрела на него. На смятую фуражку. На покрасневшие уши. На жидкую бородку. На очки.

Спаситель. Ещё один. Лопухов, который хочет вытащить Веру Павловну.

— Вы приходите в пятницу, Дмитрий, — сказала она. — Сюда. В читальню. Объясните мне про Бюхнера. Я там не поняла про материю.

— А… а туда? — спросил он, и уши у него стали малиновыми. — К Анне Марковне?

Она улыбнулась.

— Туда — не надо. Вы мне здесь нужнее.

И пошла вниз по Почтамтской, к горе, к ступеням, к Болоту. В сером. Без помады. Невидимая.

Он стоял у дверей и смотрел ей вслед, сжимая фуражку.

Ночью — после гостя, при свече, ещё горячая — она писала в клеёнчатой тетради:

«Днём книги. Ночью мужчины. Одно и то же. Один голод. Наверху и внизу одно. Мозг — тоже тело.

Дарвин: самка выбирает. Значит природа за меня.

Анна М. больше не заставляет. Арифметика сильнее Евангелия.

Сдерживает только тело. Кровь. Усталость. Страх понести. Больше ничего. Ни Бог ни стыд ни граф Толстой.

Я свободнее губернаторши.

Достоевский: Соня. Жёлтый билет как у меня. Святая. Спасает убийцу. Нет.

Я не Соня.

А если бы Соня взяла топор?

Лопухов. Студент. Медик. Хочет спасать. Объясняет Дарвина. Пусть объясняет. Пусть пока не знает, зачем мне это нужно.

Я сама ещё не знаю.

Но узнаю».

Она погасила свечу. Легла. Потянулась под простынёй. Тело ныло сладко. Голова гудела от прочитанного, как гудит улей.

Она была счастлива.



Глава 3. Самородок

Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон.

Брюсов

3.1. Ильин день

Пароход назывался «Иоанн Златоуст».

Он стоял у томской пристани, белый, двухпалубный, с высокой чёрной трубой, с огромными колёсами по бокам в деревянных кожухах, на которых золотом было выведено имя. Златоуст. Золотые уста. Маслова прочла имя, поднимаясь по сходням, и засмеялась. Привалов назвал пароход в честь святого, проповедника, обличителя богатых, который говорил, что богач — вор или наследник вора. И, может быть, не знал этого. А может быть, знал и назвал нарочно.

С Приваловым никогда нельзя было понять.

Он ждал её наверху, на палубе, у штурвальной рубки, — огромный, рыжебородый, в белом летнем картузе и чесучовой поддёвке. Смотрел, как она поднимается: в сером дорожном платье, с маленьким саквояжем, с чёрным зонтиком. Без красного. Анна Марковна велела — «для приличия, Катерина Михайловна, на пароходе люди». Маслова послушалась. Пусть. Красное лежало в саквояже.

— Поедем, — сказал Привалов. Одно слово. И махнул рукой капитану в рубке.

Пароход загудел — низко, протяжно, так, что задрожали доски под ногами, — и с пристани взлетели вороны. Колёса дрогнули, шлёпнули по воде, завертелись, поднимая бурую пену. Берег поплыл назад.

Томск уходил. Пристань. Склады. Баржи. Гора. Костёл на горе — белый шпиль над обрывом. Дом Бакунина, невидимый отсюда. Болото, невидимое тоже.

Она стояла у поручней и смотрела, как уходит город. Неделю назад она шла через этот город в красном, под свист мальчишек. Теперь уплывала от него на пароходе золотопромышленника.

Внизу, в машинном отделении, стучало и ухало, как огромное сердце.

Томь в июле была широкая, спокойная, бурая.

Они шли вниз по течению, на север, к Оби. Берега уходили назад медленно, как во сне: то высокие, обрывистые, с соснами на краю, с жёлтыми глинистыми откосами, изрытыми ласточкиными норами; то низкие, луговые, с ивняком у воды, с покосами, с копнами сена. Небо было белёсое, жаркое, без единого облака. Солнце стояло высоко и жгло. Над водой дрожал воздух.

Справа по борту поплыл высокий берег — знакомый, с соснами наверху, с жёлтым откосом.

К вечеру вышли на Обь.

Томь кончилась внезапно, как кончается дорога, упираясь в море. Берега расступились — и впереди открылась вода. Огромная, серо-стальная, широкая так, что дальний берег едва виднелся тонкой тёмной полосой у горизонта. Обь. Она текла на север — медленно, тяжело, неостановимо, — к Ледовитому океану, через тайгу и тундру, через тысячи вёрст безлюдья. Вода в ней была другая, чем в Томи: светлее, холоднее, с запахом далёкого льда.

Пароход повернул и пошёл вниз по Оби. Колёса шлёпали. Труба дымила.

Маслова стояла на носу и смотрела на эту воду. У неё перехватило дыхание. Она видела Москву, видела Волгу и Каму с арестантской баржи, видела Иртыш, но такого — нет. Это была не река. Это было что-то первобытное, древнее, равнодушное. Что-то, что текло здесь до людей и будет течь после.

По берегам стояла тайга.

Не бор, как в Кафтане, не сосны, светлые и просторные. Тайга — тёмная, сплошная, глухая. Ели, пихты, кедры, берёзы вперемешку, завалы бурелома, болота, мох. Стена. Она стояла у самой воды, отражалась в ней, и казалось, что под водой стоит другая тайга, перевёрнутая.

Иногда на берегу мелькали юрты. Остяцкие: конусы из жердей, крытые берестой, с дымом из верхушки. У воды — лодки-долблёнки, сети на кольях, собаки. Остяки — маленькие, скуластые, в одежде из рыбьей кожи и оленьих шкур — стояли на берегу и смотрели на пароход неподвижно, как деревянные идолы. Дети бежали по берегу, крича.

А навстречу, вверх по течению, тащились баржи.

Длинные, низкие, тяжело осевшие в воду, их тянули буксиры, пыхтящие и дымящие. На баржах — люди. Сотни людей. Переселенцы. Из России — из Полтавской, Курской, Тамбовской губерний, — гонимые малоземельем, голодом, надеждой. Они плыли из Тюмени в Томск, а оттуда — дальше, на восток, на «свободные» земли, которые им обещали. Они сидели на палубах, на узлах, на сундуках, — мужики в свитках, бабы в платках, старики, дети, — и смотрели на белый пароход с золотыми буквами, проплывавший мимо.

Маслова смотрела на них. На баб с грудными детьми. На стариков с иконами. На девочек.

Настя приплыла на такой барже. С отцом и матерью. Они умерли от тифа на томской пристани, и Анна Марковна подобрала Настю на улице.

Сколько на этих баржах будущих Насть?

Она отвернулась.

Привалов рассказывал о золоте.

Они сидели вечером на верхней палубе, под тентом, за столиком, на котором стояли водка, балык, икра, жареная нельма и самовар. Солнце садилось за тайгу, медленно, огромное, красное, и река горела. Привалов пил — много, не пьянея, только лицо наливалось кровью, — и говорил. Он редко говорил. Сегодня говорил.

О тайге, куда он ушёл мальчишкой, с отцом, ссыльным поселенцем, мыть золото на свой страх. О ледяной воде в ручьях, о лотке, о песке, в котором блестит. Об артели — двадцать мужиков, которые моют золото на хозяина. О том, как устроено.

— Мужик на прииск идёт весной, — говорил он, глядя на горящую реку. — Голый идёт. Ни денег, ни хлеба. Хозяин ему задаток даёт. Мужик рад. Задаток пропивает в первую же неделю. Потом — лавка при прииске. Хозяйская. Мука, табак, водка, сапоги — всё в лавке, всё в долг. Цены — втрое против города. Мужик берёт, потому что больше негде. Тайга кругом, триста вёрст до жилья. Осенью — расчёт. Мужик намыл золота на сто рублей. А в лавке набрал на сто двадцать. Двадцать — долг. На следующую весну — снова на прииск. Отрабатывать. И так — пока не помрёт.

Он выпил.

— Он у меня десять лет может работать, — сказал он, — и всё будет должен. До гроба. А гроб тоже в долг.

Маслова слушала, и ей казалось, что она слышит Эмму Эдуардовну. Тот же голос. Те же цифры. Долговая книжка. Цены втрое против города. Похороны на её счёт. Клавдия умерла должна пятьдесят рублей.

Прииск — это бордель. Бордель — это прииск. Девушки и артельщики. Одна и та же книжка. Одна и та же механика.

Только у Анны Марковны — пятнадцать девушек. А у Привалова — три прииска. Сколько там артельщиков? Сотни? Тысяча?

— А если мужик сбежит? — спросила она.

Привалов повернул к ней голову. Посмотрел медвежьими глазками.

— Куда? — спросил он. — Тайга кругом. Триста вёрст. Без хлеба. — Помолчал. — Бегут, бывает. Весной находят. Что от них осталось.

— А если утаит? Золото?

Он замолчал. Долго смотрел на неё. Потом налил себе водки, выпил, не закусывая.

— Не утаит, — сказал он.

Она вспомнила шрам у него на груди. Белый, толстый, как верёвка. Кайлом. Артельщик. Самородок с кулак. Его не нашли.

Солнце село. Река погасла. С тайги потянуло холодом и комарами.

Ночью в каюте он был другой.

Не медведь, которого она водила на цепи в угловой комнате. Не растерянный зверь, которого она сломала на дубовой кровати. Он был хозяин. Его пароход. Его река. Его тайга. Его водка. Здесь, на «Иоанне Златоусте», посреди Оби, за триста вёрст от Анны Марковны, — здесь он был царь.

И он хотел, чтобы она это поняла.

Она поняла. И отдалась — не так, как у Анны Марковны, а по-другому: позволила ему вести, позволила быть сверху, позволила брать. Ей было интересно. Ей было любопытно, что будет, если отпустить вожжи. Каково это — подчиниться медведю на его земле.

Это было хорошо. Тяжело, грубо, долго — и хорошо. Она лежала под ним в тесной каюте, обшитой красным деревом, при свете масляной лампы, качавшейся на крюке, бесстыдно раскинув голые ноги, и слушала, как стучит машина внизу, как шлёпают колёса, как плещет вода за бортом, — и чувствовала, как этот стук входит в неё вместе с ним. Пароход. Машина. Сила. Всё это было его, и он был в ней.

Но и тогда она смотрела.

Даже тогда, подчиняясь, — она смотрела на его лицо, багровое в свете лампы, на рыжую бороду, на медвежьи глазки, на белый шрам. И запоминала.

Утром был Ильин день.

Она узнала это от кочегара. Того самого — Степана, чёрного, огромного, с белыми зубами, которого она выбрала в зале у Анны Марковны. Он служил на «Иоанне Златоусте». Она увидела его утром, когда вышла на палубу: он поднялся из машинного отделения глотнуть воздуха, мокрый от пота, чёрный от угля, и замер, увидев её. Белые глаза на чёрном лице.

Он не подошёл. Не посмел. Только сказал издали, хрипло, будто про погоду:

— Ильин день нынче. Гроза будет.

И нырнул обратно в люк, в жар, в стук машины.

Ильин день. Двадцатое июля. День Ильи-пророка, громовержца, который ездит по небу на огненной колеснице и мечет молнии в нечестивых. В этот день, говорили в Кафтане, нельзя купаться: Илья бросил в воду льдинку, и вода стала холодная, и водяной утащит. В этот день нельзя работать в поле: Илья сожжёт сено молнией. В этот день жди грозы.

Она вспомнила Илью из Писания. Того, что вызвал огонь с неба на солдат царя Охозии, пришедших его схватить, — и огонь пожрал их, пятьдесят и ещё пятьдесят. Того, что зарезал жрецов Ваала у потока Кисон, всех, четыреста пятьдесят. Того, что был взят на небо живым, в огненной колеснице, в вихре.

Огненный пророк. Огонь с неба на нечестивых.

Небо с утра было ясное, белёсое, жаркое. Но на западе, над тайгой, у самого горизонта, уже лежала тёмная полоса. Тяжёлая, синяя, с медным отливом.

В полдень Привалов сказал:

— Разденься.

Они сидели на верхней палубе, под тентом. Жара стояла страшная, недвижная, давящая, как перед грозой. Река блестела, как раскалённый металл. Тайга по берегам стояла чёрная, неподвижная, ни один лист не шевелился. Даже комары исчезли. Только машина внизу стучала и стучала.

Маслова посмотрела на него.

— Здесь?

— Здесь.

Он сидел, развалившись в плетёном кресле, в расстёгнутой рубахе, с рыжей бородой на груди, со стаканом водки в руке. Смотрел на неё медвежьими глазками — спокойно, тяжело, по-хозяйски.

— Люди, — сказала она. На палубе внизу были матросы. В рубке — капитан. В машинном — кочегары.

— Мои люди, — сказал Привалов.

Она поняла.

Он хотел этого не ради тела. Её тело он знал. Он хотел этого ради власти. Чтобы она — та, что плясала на столе, та, что усадила его на кровать, та, что заставила его стонать, — чтобы она здесь, на его пароходе, на его реке, сделала то, что он велит. При его людях. Чтобы все видели: тысячная — его. Он купил её не на одну ночь. Он купил её совсем.

Он хотел, чтобы она подчинилась.

Она смотрела на него долго. Потом встала. И стала раздеваться.

Она раздевалась медленно, на верхней палубе «Иоанна Златоуста», посреди Оби, в полдень Ильина дня.

Расстегнула серое дорожное платье. Пуговицу за пуговицей. Спустила с плеч. Платье упало на доски палубы. Нижняя юбка. Корсет — она сама распустила шнуровку, не прося его помочь. Сорочка. Чулки — один, потом другой. Она стояла босиком на горячих досках, голая, белая, под белым небом, и солнце жгло ей плечи и спину.

Привалов смотрел, держа стакан у рта.

— Иди, — сказал он хрипло. — На нос. Чтоб видели.

Она пошла.

Она шла по палубе босиком, голая, — мимо рубки, где капитан, старый, седой, в белом кителе, вдруг страшно заинтересовался компасом и не поднимал головы, — мимо трапа, ведущего вниз, где матрос, драивший медные поручни, выронил тряпку и застыл с открытым ртом, — мимо люка машинного отделения, откуда снизу, из жара и грохота, на неё смотрели белые глаза на чёрном лице. Степан.

Она дошла до самого носа. Встала у бушприта. Положила руки на горячие поручни.

И стояла так. Голая. Над рекой.

Пароход шёл близко к правому берегу, обходя мель. Берег был низкий, луговой, и на лугу был покос.

Мужики. Человек двадцать, может быть, больше. Русские, из какой-то прибрежной деревни, — старожилы, чалдоны, в белых рубахах, с косами. И бабы с граблями. Они работали в Ильин день — нельзя, грех, но сено надо было убрать до грозы.

Они увидели пароход. Разогнули спины.

И увидели её.

Издали — шагов триста, может, больше, — они не могли разглядеть ни лица, ни глаз, ни волос. Они видели только белое на носу белого парохода. Белое, живое, стоящее. Женщину. Голую женщину.

Маслова видела, как они замерли.

Двадцать фигур в белых рубахах на зелёном лугу — и все остановились, как вкопанные. Косы опустились. Кто-то бросил грабли. Кто-то показывал пальцем. Кто-то побежал к воде — ближе, ближе, посмотреть. Бабы закричали что-то — слов не было слышно, только визг, высокий, долгий. Одна баба схватила мужика за рубаху и тащила назад, а он вырывался и смотрел.

Пароход шёл мимо. Медленно. Колёса шлёпали.

И Маслова почувствовала это.

Не стыд. Не унижение. Не то, чего хотел Привалов. Совсем другое.

Это поднялось снизу — от босых ступней на горячих досках, по ногам, по бёдрам, к животу, к груди, — горячо, сильно, неудержимо, как поднималось тогда, на дубовом столе, над морем мужчин. Только сильнее. Потому что тогда их было тридцать, в тесной зале, при лампах. А теперь — река, небо, тайга, луг, и на лугу — двадцать мужиков, которые бросили косы и смотрят. И на пароходе — капитан, который делает вид, что не смотрит, и матрос с открытым ртом, и кочегар Степан из люка, и сам Привалов в кресле под тентом.

Все смотрят на неё.

Она представила себе их — там, на лугу. Чалдонов. Бородатых, потных, в белых рубахах. Как они стоят и смотрят на белое на носу парохода. Как у них пересыхает во рту. Как у каждого — у старика, у парня, у отца семейства — встаёт хуй в штанах, и они не могут ничего с этим сделать, и бабы рядом видят и визжат и тащат их назад, а они смотрят. Двадцать мужиков. Сорок. Вся деревня. Вся Обь. Вся Сибирь.

На неё.

Она засмеялась. Громко, в небо, в белое горячее небо Ильина дня. Запрокинула голову. Волосы — она распустила их, пока шла, — упали на спину, чёрные на белом. Она подняла руки над головой — медленно, как поднимают знамя, — и потянулась всем телом, на виду у всего берега.

На лугу кто-то упал на колени. Кто-то — она видела — перекрестился.

Привалов хотел, чтобы она подчинилась. Чтобы она стояла на носу его парохода голая, как рабыня на невольничьем рынке, и все видели, что она — его.

А она стояла на носу его парохода, как стоит на носу корабля деревянная дева — та, что режут из дуба и красят белым, чтобы вела корабль через бури. Она вела этот пароход. Не он. Она. Это на неё смотрели. Не на него, не на его золотые буквы, не на его трубу, не на его богатство. На неё. На её тело. Двадцать мужиков на берегу бросили косы не ради Привалова. Ради неё.

Тело — власть. Голое тело — голая власть. Без мундира, без денег, без Евангелия, без жёлтого билета. Просто — тело. И перед ним падают на колени.

Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон.

Откуда это? Она не знала. Это пришло само — из жара, из света, из будущего. Царь. Владыка. Тот, перед кем падают ниц.

Царица.

Она стояла и смеялась, и пароход уходил всё дальше, и луг с мужиками уплывал назад, становился меньше, меньше, и белые рубахи превращались в точки, а она всё стояла, подняв руки, пока покос не скрылся за поворотом.

Она вернулась под тент.

Шла медленно, не прикрываясь, босиком по горячим доскам, — мимо люка, мимо матроса с тряпкой, мимо рубки с капитаном. Встала перед Приваловым.

Он сидел в кресле, держа стакан. Он не пил. Он смотрел на неё — и в его медвежьих глазах было то, что она видела в ту ночь в угловой комнате, когда толкнула его на кровать. Растерянность. Он хотел увидеть рабыню. А увидел царицу.

Он видел, как она смеялась на носу. Он видел, как она подняла руки. Он видел, как мужики на берегу падали на колени — не перед ним.

— Ну? — сказала она. — Доволен?

Он молчал.

Она наклонилась, взяла у него из рук стакан, выпила водку одним глотком, не поморщившись — как пил он. Поставила стакан на столик. Села к нему на колени — голая, горячая от солнца, пахнущая рекой и потом.

— Ты хотел, чтобы я тебе подчинилась, — сказала она тихо, ему в бороду. — При людях. Чтобы все видели, что я — твоя.

Он не ответил. Но она почувствовала, как напряглось под ней его огромное тело.

— Они видели, — сказала она. — Все видели. Только не то, что ты хотел. — Она засмеялась ему в ухо. — Они видели меня, Михаил Гаврилыч. Не тебя. Тебя никто не видел.

Он схватил её — за бёдра, за волосы, — резко, грубо, как тогда. И она подалась ему навстречу, смеясь.

Гроза пришла в четыре часа.

Синяя полоса на западе выросла, поднялась, закрыла полнеба. Солнце погасло, как задутая свеча. Стало темно, как вечером. Ветер ударил внезапно, со всей силы, — сорвал тент, бросил его за борт, закрутил воду воронками. Обь вздулась, пошла волнами, белыми гребнями, и пароход закачало.

А потом ударил гром.

Не так, как в городе, — не раскатом, не ворчанием. Сразу. Прямо над головой. Будто небо раскололось пополам, и из трещины рухнуло что-то огромное, тяжёлое, железное. Маслова, стоявшая у двери каюты, присела от неожиданности. Где-то внизу закричал матрос.

Молния ударила в тайгу.

Она видела это — в окно каюты, сквозь потоки воды по стеклу. Белый огонь, кривой, ветвистый, как корень дерева, протянулся с неба до земли, — и вошёл в тайгу на том берегу. В высокую ель на краю обрыва. Ель вспыхнула. Сразу, вся, от комля до верхушки, — как факел, как свеча, как огненный столп.

Огонь с неба на нечестивых. Илья-пророк.

Ель горела в грозе — под ливнем, под ветром, — и не гасла. Дождь лил на неё, а она горела. Красное в синем. Огонь в воде.

Маслова стояла у окна каюты и смотрела, не отрываясь.

Огонь не гаснет в воде. Если он настоящий.

Позади неё Привалов, огромный, бледный, крестился в углу на иконку Николая-угодника. Губы у него шевелились. Он боялся грозы. Хозяин тайги, убийца артельщика, царь трёх приисков — боялся грозы, как баба.

Она не боялась.

Она смотрела, как горит ель, и думала, что это красиво.

Ночью гроза ушла. Небо очистилось, высыпали звёзды — огромные, северные, низкие. Обь успокоилась. Пароход стоял на якоре у тихого плёса. Где-то в тайге кричала ночная птица.

Привалов лежал рядом с ней в каюте, тяжело дыша. Пьяный — впервые за всё время пьяный по-настоящему. Он пил после грозы, много, один, молча, глядя в стену.

Потом он встал. Подошёл к сундуку в углу каюты — окованному железом, с тяжёлым замком. Отпер. Долго рылся. Вынул что-то, завёрнутое в замшу. Вернулся к койке. Сел. Протянул ей.

— На, — сказал он.

Она развернула замшу.

На ладони у неё лежал самородок. Тяжёлый — тяжелее, чем она ожидала, будто в нём было не золото, а свинец. Неровный, бугристый, с острыми выступами, похожий на сжатый кулак. На маленькое, скрюченное сердце. Тусклый, грязно-жёлтый, с вкраплениями белого кварца. Не блестел. Золото в природе не блестит. Блестит оно потом, когда его отмоют, отполируют, переплавят. А это было — сырое. Из земли. Каким его нашли.

Самородок с кулак.

Она взвесила его на ладони. Посмотрела на Привалова.

Он не смотрел на неё. Он смотрел в маленькое круглое окно каюты, на звёзды над тайгой.

— Это тот? — спросила она тихо.

Он не ответил.

— Это тот, Михаил Гаврилыч? Который он утаил? Артельщик?

Он молчал долго. Звёзды в окне. Плеск воды за бортом. Птица в тайге.

Потом сказал — глухо, не оборачиваясь:

— Возьми. Мне он ни к чему.

И лёг. И отвернулся к стене. И через минуту захрапел.

Она сидела на краю койки, голая, в свете звёзд из окна, с самородком в руке.

Он был тяжёлый. Он лежал в её ладони, как лежит камень, как лежит сердце, вынутое из груди. Сырое золото. Из земли. Из ручья. Из той ямы в тайге, где лежит человек без креста и без имени.

Привалов отдал ей его, как отдают грех на исповеди. Чтобы избавиться. Чтобы не держать при себе.

А она возьмёт.

Она завернула самородок в замшу. Положила в саквояж, на дно, под красное платье.

Дома, в угловой комнате, он ляжет рядом с часами Нехлюдова и бумажным венчиком Симонсона. Венчик — от мёртвого, которого она любила. Часы — от живого, которого она судит. Самородок — от мёртвого, которого она не знала, и от живого, который его убил.

Вещественные доказательства.

Она легла рядом с храпящим Приваловым, на спину, и смотрела в круглое окно на звёзды. На том берегу, далеко, в тайге, ещё тлела красная точка — догорала ель, в которую ударила молния. Огонь с неба.

Он ещё горел.

3.2. Кроткая

Анна Марковна решила, что Настя привыкла.

Она решила это в субботу, после осмотра, сидя в своей комнате перед иконами с красной лампадой, за самоваром, за вязаной скатертью, — и сказала Эмме Эдуардовне спокойно, как говорят о засолке огурцов:

— Пора, Эмма. Девятнадцать лет. Сколько можно подавать? Кормлю, пою, одеваю — а пользы? Чай носит. Стаканы бьёт.

Эмма Эдуардовна кивнула и записала в Настину книжку, которую завели месяц назад «на всякий случай»: «Платье голубое шёлк — 35 р. Румяна, пудра — 3 р.».

В воскресенье вечером Настю одели.

Маслова видела это — она спустилась в залу раньше обычного и сидела на малиновом диване в красном, с книгой на коленях (Бокль, второй том), и видела, как Эмма Эдуардовна привела Настю из кладовой.

Настя шла, как идут на казнь.

На ней было голубое шёлковое платье — то самое, «для блондинок», за тридцать пять рублей, — с глубоким вырезом, открывающим плечи и грудь. Платье было ей велико в талии, его ушили наспех, и оно сидело неловко, сползало с одного плеча, и Настя всё время поправляла его дрожащими пальцами. Волосы, всегда стянутые в тугой белобрысый узел под платком, распустили и завили щипцами — светлые, лёгкие, они падали на плечи, на голую спину. Лицо напудрили, губы накрасили, на щёки положили румяна.

Румяна были не нужны. Щёки и так горели.

Маслова смотрела на неё с дивана и видела то, чего раньше не замечала под серым платьем и белым фартуком.

У Насти была грудь. Полная, высокая, тяжёлая для такой худенькой фигуры, — белая, с голубыми жилками под кожей, как у молочной крынки. Под фартуком её не было видно. А теперь голубой шёлк обнажил её до половины, и каждый вдох — частый, испуганный — поднимал её, и она вздрагивала, и вырез сползал ниже.

Настя стыдилась её.

Это было видно. Она не знала, куда её деть. Она скрещивала руки на груди — Эмма Эдуардовна шипела «руки!» — и Настя опускала руки, и тогда грудь открывалась, и она краснела ещё сильнее, до слёз, до шеи, до ключиц, и красное заливало белое, как вино заливает скатерть. Она горбилась, пытаясь спрятаться, — и от этого вырез только раскрывался. Она стояла посреди залы, под лампами, перед зеркалами в золочёных рамах, и не знала, куда смотреть, куда деть руки, куда деть себя.

Мужчины смотрели.

Гости, уже собравшиеся в зале, — купцы, приказчики, чиновник с орденком, двое офицеров — обернулись все разом, как оборачиваются на звон разбитого стекла. Настю знали: подавальщица, Настька, белобрысая, с подносом. Её не замечали, как не замечают мебель. А теперь мебель встала посреди залы — в голубом шёлке, с открытой грудью, с горящими щеками, — и все увидели.

Маслова видела, как они смотрят. Видела, как у купца в поддёвке отвисла губа. Как офицер поставил бокал. Как приказчик облизнулся.

Свежее мясо.

И Маслова почувствовала — с удивлением, с интересом, как отмечают новый симптом, — что и сама смотрит так же.

Не как мужчины. Иначе. Но смотрит.

Она смотрела на эту белую грудь, на эти горящие щёки, на эти дрожащие пальцы, поправляющие сползающее плечо, — и что-то поднималось в ней. Не жалость. Жалость она знала. Это было другое. Тёмное, тёплое, тяжёлое. Как бывает, когда держишь в руке птицу и чувствуешь, как бьётся её сердце, и знаешь, что можешь сжать пальцы.

Она отложила Бокля.

Настя не продержалась и часа.

Её сажали на диван — она вставала. Её подводили к гостю — она пятилась. Купец в поддёвке взял её за руку, и она вырвала руку так резко, что опрокинула его бокал. Чиновник с орденком сказал ей что-то на ухо — она побелела и отшатнулась, будто он ударил её. Офицер хохотал. Эмма Эдуардовна шипела. Анна Марковна, сидя у буфета, качала головой и вздыхала: «Ничего, ничего, привыкнет».

А потом пришёл Паратов.

Он пришёл пьяный — сильно, по-купечески, с утра, — красный, растрёпанный, с напомаженными волосами, слипшимися на лбу, в расстёгнутом светлом сюртуке, залитом вином. После аукциона он ходил к Анне Марковне каждый вечер, сидел в углу, пил и смотрел на Маслову. Она не брала его. Ни разу. Он смотрел — и пил. Пил — и смотрел. Нана, которую он раньше брал, теперь не подходила к нему сама: гордость.

Он увидел Настю.

Остановился посреди залы. Посмотрел на неё — на голубой шёлк, на белую грудь, на горящие щёки, — мутными, пьяными глазами. Потом посмотрел на Маслову на диване. Потом снова на Настю.

И Маслова поняла, что он сейчас сделает. Поняла раньше, чем он сам.

Ему нужна была месть. За аукцион. За триста рублей, которых не хватило. За то, что она прошла мимо него по головам к Привалову. За то, что каждый вечер он сидит и смотрит, а она не берёт. Он не мог взять её. Он возьмёт то, что можно взять.

Он подошёл к Насте. Взял её за руку — выше локтя, крепко.

— Пойдём, — сказал он громко. — Пойдём, Настька. Сколько? Пять? Десять? На тебе двадцать. Пойдём.

Настя рванулась.

Он не отпустил. Он был пьян, но силён, и он потащил её к лестнице, как тащат упирающуюся телку на базаре. Она упиралась ногами, хваталась свободной рукой за спинки диванов, за пальму в кадке, за косяк двери. Голубой шёлк сполз с плеча совсем. Она закричала — тонко, высоко, по-заячьи.

Гости смеялись. Офицер хлопал в ладоши. Анна Марковна у буфета смотрела и не вставала. Эмма Эдуардовна поджала губы. Нана в углу усмехалась.

Настя, проволоченная мимо дивана, на мгновение повернула голову — и встретилась глазами с Масловой.

В её глазах был ужас. Чистый, безумный, звериный. И мольба.

Маслова встала.

Она не побежала. Не закричала. Она встала с дивана, медленно, и пошла к лестнице — ровным шагом, от бедра, в красном. Паратов уже тащил Настю по ступенькам. Маслова поднялась следом. На третьей ступеньке догнала.

Положила руку ему на плечо.

— Паратов, — сказала она.

Он обернулся. Увидел её. Красное. Губы. Прядь на глазах. И рука его, державшая Настю, разжалась — сама, будто обожглась.

Настя рухнула на ступеньки и поползла вниз, путаясь в голубом подоле, всхлипывая.

— Ты хотел меня, — сказала Маслова Паратову. Тихо, только для него. — Месяц хотел. Каждый вечер смотрел.

Он смотрел на неё, раскрыв рот.

— Ну так бери, — сказала она. — Сегодня. Сейчас.

Она взяла его за руку — ту, которой он держал Настю, — и повела наверх. Он пошёл, спотыкаясь, как пьяная собака на поводке. В зале стало тихо.

Она сломала его за час.

Она не легла с ним. Это было бы подарком, а он не заслужил подарка. Она заперла дверь, села на кровать, закинула ногу на ногу и велела ему встать посреди комнаты. Он встал. Пьяный, растрёпанный, в залитом вином сюртуке. Она смотрела на него. Долго. Молча. Сверху вниз, хотя сидела, а он стоял.

— Раздевайся, — сказала она.

Он разделся. Неловко, путаясь, торопясь. Она смотрела, как он раздевается, и молчала, и от её молчания он раздевался всё неувереннее, всё медленнее, и когда остался голый — тощий, белый, с впалой грудью, с отцовскими деньгами в кармане брошенного сюртука, — он стоял посреди комнаты и не знал, что делать с руками. Как Настя внизу.

— Ты хотел её, — сказала Маслова. — Девчонку. Которая тебя боится. Которая кричит. Тебе это нравится? Когда кричат?

— Нет… я… я пьян…

— На колени.

Он посмотрел на неё. Пьяная гордость купеческого сына мелькнула в глазах — и погасла.

Он опустился на колени.

Она протянула ногу — в чёрном чулке, в красной туфле на каблуке — и поставила ему на плечо. Каблук упёрся в ключицу.

— Ещё раз тронешь её, — сказала она спокойно, — я скажу твоему отцу. Всё. Сколько ты здесь пропил. Сколько проиграл. Сколько должен Анне Марковне. Она мне показывала книги. Двести сорок рублей. Отец знает?

Он побелел.

— Не надо, — прошептал он.

— Не трону, — сказала она. — Если будешь хорошим.

Она надавила каблуком. Он охнул и склонил голову. Его волосы — напомаженные, слипшиеся — коснулись её колена.

Он плакал. Пьяно, по-детски, всхлипывая. Говорил, что отец его ненавидит. Что отец бьёт его, тридцатилетнего, по лицу при приказчиках. Что он ничтожество. Что она — она одна — она могла бы его спасти. Что он любит её. С того вечера. С аукциона.

Она слушала, не убирая ноги.

Потом, когда он выплакался, она велела ему одеться и уйти. И приходить по средам. И платить пятьдесят рублей — в кассу. И смотреть. Только смотреть. Трогать — нельзя.

Он ушёл. Шатаясь. Счастливый. На лестнице он оглянулся на её дверь, как оглядываются на икону.

Она записала в чёрную тетрадь:

Паратов, Сергей. Сын пароходчика. Должен А. М. 240 р. Отец бьёт по лицу. Плачет. Любит, чтобы наступали. Сам не знал. Теперь знает. Среды, 50 р., в кассу. Только смотреть.

Анна Марковна поднялась к ней в одиннадцатом часу. Без стука.

Она остановилась на пороге — маленькая, полная, в чёрном, — и посмотрела на Маслову, сидевшую у стола над тетрадью. Лицо у неё было недовольное.

— Катерина Михайловна, — сказала она. — Вы мне гостя отбили. И девку испортили. Паратов двадцать давал за неё.

— Паратов теперь мой, — сказала Маслова, не поднимая головы. — По средам. Пятьдесят рублей.

Анна Марковна запнулась.

— Пятьдесят?

— Пятьдесят. А Настю оставьте.

— Как это — оставьте? — Анна Марковна поджала губы. — Я её кормлю, одеваю. Платье тридцать пять рублей. Она мне должна. Девятнадцать лет — пора. Привыкнет. Все привыкают.

Маслова отложила перо. Подняла глаза.

— Не привыкнет, — сказала она. — Вы её сломаете. Она будет плакать, кричать, бить стаканы, гостей пугать. Через месяц повесится в чулане. Как Клавдия?

Анна Марковна побледнела. Клавдия умерла зимой. Маслова не знала, как она умерла. Но по тому, как побледнела Анна Марковна, — поняла.

— Не надо её заставлять, — продолжала Маслова тише. — Не надо тащить. Не надо Паратовых. Оставьте её мне.

— Вам? — Анна Марковна не поняла. — Зачем — вам?

Маслова встала. Подошла к Анне Марковне вплотную. Наклонилась — она была выше — и сказала, глядя ей в маленькие светлые птичьи глаза:

— Затем, что она будет спать с мужиками сама. Без кнута. Сама захочет. Сама пойдёт. Сама будет просить. — Она помолчала. — И будет приносить вам не двадцать, а сорок. Потому что ту, которая хочет, берут дороже, чем ту, которая кричит.

Анна Марковна смотрела на неё. Долго.

— Как же вы её… — начала она и не договорила.

— Это моё дело, — сказала Маслова. — Дайте мне два месяца. Не трогайте её. Пусть подаёт. В голубом, — добавила она. — Пусть подаёт в голубом. Но пусть никто её не трогает. Только смотрят.

Анна Марковна молчала. В глазах у неё — маленьких, светлых, острых — шёл счёт. Сорок вместо двадцати. Два месяца. Тысячная обещает.

Она перекрестилась. Медленно. На угол, где у Масловой икон не было.

— Два месяца, — сказала она. — Смотрите, Катерина Михайловна. Я вам верю.

И вышла.

Маслова постояла, глядя на закрытую дверь. Потом вернулась к столу. Села. Посмотрела на свою руку. Рука была спокойна.

Она только что пообещала хозяйке борделя развратить девятнадцатилетнюю девушку, которая её любит. И ей не было стыдно. Ей было — интересно.

Настя пришла в полночь.

Маслова знала, что она придёт. Ждала. Сидела на кровати, в сорочке, с распущенными волосами, и читала при свече. Дверь не запирала.

Настя постучала — тихо, едва слышно, как скребётся мышь, — и вошла, не дожидаясь ответа. И остановилась у порога.

Она была ещё в голубом шёлке. Не переоделась. Румяна на щеках размазались от слёз. Пудра потекла. Завитые волосы растрепались. Вырез сполз с плеча, и она придерживала его рукой у груди, но плохо, и белое всё равно было видно.

Она стояла у двери и смотрела на Маслову. Губы у неё дрожали.

— Катерина Михайловна… — прошептала она.

И заплакала.

Маслова не встала. Она отложила книгу. Посмотрела на Настю. Сказала:

— Иди сюда.

Настя пошла. Медленно, неуверенно, как идут по льду. Подошла к кровати. Остановилась.

— Ближе.

Настя подошла ближе. Встала у самой кровати, у колен Масловой. Опустила голову. Плечи у неё вздрагивали.

Маслова смотрела на неё снизу вверх. На голубой шёлк. На голое плечо. На руку, прижатую к груди. На белую кожу под ней, на голубые жилки. На горящее, заплаканное лицо. На светлые волосы. На то, как она стоит — сгорбившись, вжав голову в плечи, будто ждёт удара.

Она ждала удара всю жизнь, подумала Маслова. От отца — он, наверное, бил. От мачехи. От голода. От тифа на пристани. От Анны Марковны. От Паратова.

А удара всё не было. Только страх.

— Убери руку, — сказала Маслова.

Настя вздрогнула. Подняла глаза. В них был испуг — и что-то ещё, чего Маслова ждала.

— Убери, — повторила она мягко.

Настя медленно опустила руку. Голубой шёлк сполз. Грудь открылась — белая, полная, вздрагивающая от частого дыхания. Настя стояла неподвижно, не смея прикрыться, с опущенными руками, и краска заливала её — щёки, шею, ключицы, грудь, — красное на белом.

Маслова смотрела. Молча. Долго.

— Ты стыдишься, — сказала она.

Настя кивнула. Слёзы текли по щекам, капали на голую грудь.

— Почему?

— Не знаю… — прошептала Настя. — Нехорошо… Грех… Мама говорила…

— Мама умерла, — сказала Маслова.

Настя всхлипнула.

— И Бога нет, — сказала Маслова. — И греха нет. Есть только тело. Твоё тело. Красивое. — Она помолчала. — Оно красивее, чем у Наны. Ты знаешь?

Настя смотрела на неё, не понимая.

— Мужчины внизу смотрели на тебя, — сказала Маслова. — Все. Купцы, офицеры, Паратов. Они хотели тебя. Все до одного. Ты видела?

— Видела… — Шёпот. — Страшно…

— Не страшно, — сказала Маслова. — Это власть. Твоя власть над ними. Ты просто не знаешь, как ей пользоваться.

Она протянула руку и коснулась Настиного лица. Пальцами. Провела по мокрой щеке — от виска вниз, к подбородку. Настя замерла, как замирает птица под ладонью. Перестала дышать.

— Я тебя научу, — сказала Маслова тихо.

Настя смотрела на неё сверху вниз, а казалось — снизу вверх. Глаза у неё были огромные, светлые, мокрые. В них был страх — и было обожание. И было то, что Маслова искала: покорность. Не тупая, лошадиная, как у девушек на диванах. Другая. Сладкая. Та, что хочет, чтобы ей приказывали.

— Я… — Настя запнулась. — Я всё сделаю, Катерина Михайловна. Что скажете. Только не отдавайте меня… им… Паратову… Только вы…

Маслова опустила руку.

— На колени, — сказала она.

Настя опустилась на колени — сразу, без колебаний, будто давно ждала этого слова. Голубой шёлк растёкся вокруг неё по полу, как лужа. Она стояла на коленях у кровати, с голой грудью, с распущенными волосами, и смотрела вверх, на Маслову, и ждала.

Маслова протянула ей ногу. Босую. Белую. Сильную.

Настя посмотрела на ногу. Потом на Маслову. Потом — медленно, неуверенно, как в церкви прикладываются к иконе, — наклонилась и поцеловала её. В подъём. Губами, мокрыми от слёз.

И Маслова почувствовала, как внутри у неё — внизу живота, под рёбрами, везде — поднимается то же самое, что поднималось на дубовом столе, на носу парохода, на кровати с Приваловым. Горячее. Тяжёлое. Тёмное. Власть. Только здесь власть была другая — полнее,

глубже, слаще. Мужчин она брала силой, хитростью, телом. А эта отдавалась сама. Вся. Целиком. Без борьбы.

Она положила руку Насте на голову. На светлые завитые волосы. Погладила. Как гладят собаку.

— Хорошая, — сказала она. — Хорошая девочка.

Настя прижалась щекой к её колену и заплакала снова — но по-другому. Тихо. Облегчённо. Счастливо.

Она уложила её спать у себя.

Не на кровать — на пол, на коврик у кровати, укрыв своей шалью. Настя свернулась на коврике, как собака у ног хозяйки, — в голубом шёлке, с размазанными румянами, — и заснула сразу, мгновенно, держась одной рукой за край свесившейся простыни.

Маслова сидела на кровати и смотрела на неё сверху. Свеча догорала.

Она думала.

Она думала о том, что Настя сейчас счастлива. Впервые, может быть, с тех пор как умерли родители на пристани. Потому что у неё есть хозяйка. Не Анна Марковна с её кнутом и книжками. Другая. Та, кому можно отдать себя. Та, кто скажет, что делать. Та, кто защитит.

И она думала о том, что сделает с ней.

Через два месяца Настя пойдёт к мужчинам. Сама. Потому что Маслова скажет. Потому что Маслова научит. Потому что Настя сделает всё, что скажет Маслова, — она это знала, она это видела в светлых глазах, когда Настя целовала ей ногу.

Это была правда. И это было — подло.

Она это понимала. Сеченов не отменял понимания. Она сидела над спящей девушкой и знала, что делает с ней то же самое, что делали с ней самой. Китаева. Нехлюдов. Только тоньше. Только слаще. Только так, что Настя будет благодарна.

Вера Павловна у Чернышевского спасла Настю Крюкову. Взяла из борделя, дала работу в мастерской, сделала человеком. Новые люди. Хрустальный дворец.

А она возьмёт свою Настю — и поведёт в бордель. По своей воле. С благодарностью. Сделает все наоборот.

Ей стало смешно. Она засмеялась — тихо, чтобы не разбудить.

Настя пошевелилась во сне, вздохнула, крепче сжала край простыни.

Маслова посмотрела на неё. На светлые волосы на коврике. На голое плечо. На голубой шёлк.

Кроткая, подумала она. Есть такой рассказ. Она видела его у Макушина на полке, не читала ещё. Достоевский. «Кроткая». Про девушку, которая выбросилась из окна с иконой в руках.

Эта не выбросится. Эту она не отпустит.

Она протянула руку и погладила спящую Настю по голове. Потом погасила свечу.

В темноте было слышно, как Настя дышит у неё в ногах. Ровно. Спокойно. Доверчиво.

Орудие, подумала Маслова, засыпая. Хорошее орудие. Пригодится.

И ещё подумала, уже почти во сне: не только орудие.

3.3. Сулема

После парохода Нана перестала с ней разговаривать.

Это было хуже, чем ругань. Ругань — это разговор. А Нана молчала. Она проходила мимо Масловой в коридоре, не поворачивая головы, — высокая, тонкая, смуглая, в одном из своих трёх красных платьев, с волосами, уложенными по-парижски, с завитками на висках, — и от неё пахло дорогими духами, не гелиотропом, а чем-то пряным, восточным, «Шипром» или «Пачули», которые ей привозил из Москвы какой-то купец. Она проходила мимо, как проходит мимо королева, не замечающая служанку. Только огромные подведённые глаза под тяжёлыми веками косили в сторону — быстро, остро, как у кошки, следящей за мышью.

Она была очень красива, Нана. Маслова признавала это честно, как признают силу противника. Красива той красотой, которую в Томске никогда не видели: не русской, не сибирской, не купеческой. Узкое смуглое лицо с высокими скулами. Длинная шея. Тонкие запястья с браслетами. Маленькая высокая грудь. Походка — плавная, скользящая, как у танцовщицы. Она умела стоять так, что каждый мужчина в зале чувствовал себя её единственным зрителем. Она умела смеяться низко, гортанно, запрокидывая голову, так что открывалось горло, — и у мужчин пересыхало во рту.

До прихода Масловой она была звездой. Девятьсот рублей заработка, двести долга. Единственная в доме, кто жил в плюсе.

Теперь — нет.

Маслова видела книжки Эммы Эдуардовны. За июль Нана заработала сто сорок. Втрое меньше, чем в мае. Её гости уходили. Паратов ушёл. Чиновник из казённой палаты, которого Маслова ей отдала, больше не приходил. Офицеры — те ходили смотреть на тысячную. Привалов, который раньше иногда брал её в свой ежемесячный визит, теперь брал только Маслову. Даже Головин, товарищ прокурора, её верный вторник, — Маслова видела — в прошлый вторник долго стоял в дверях залы и смотрел на угловую лестницу, прежде чем пойти к Нана.

Нана видела это тоже.

И ещё она помнила субботу. Приёмную комитета. Тихие слова, сказанные мимоходом, задевая колено красным шёлком: «В Риге, говорят, красивые церкви. Ты по ним не скучаешь, Анна?»

Анна. Её настоящее имя. Которого не знал в доме никто, кроме Эммы Эдуардовны.

Нана молчала. И ждала.

Женька заметила первая.

Женька замечала всё. Она сидела в зале на самом дальнем диване, у окна, в своём тёмно-зелёном платье — единственном, другого у неё не было, — курила и смотрела. Гости к ней подходили редко. Не потому, что она была некрасива.

Маслова поняла это не сразу. В первые дни, глядя на Женьку, она видела то же, что видели гости: угрюмое лицо, тяжёлый подбородок, маленькие злые глаза, острые плечи, сжатые губы. Неласковая. Неприветливая. Дешёвая. Три рубля, и то не всякий брал.

А потом, на лестнице у кривой берёзы, когда Женька сказала «всех» и в её глазах тронулся лёд, — Маслова увидела другое.

Женька была красива. Странной, резкой, злой красотой, которую не видно, пока не вглядишься. Тёмные, почти чёрные прямые волосы, тяжёлые, гладкие, как вороново крыло. Худое смуглое лицо с резкими скулами и чуть впалыми щеками — лицо иконы, написанной суровым мастером. Глаза не маленькие — узкие, длинные, тёмные, глубоко посаженные, — и в них, когда она переставала хмуриться, было что-то, от чего становилось не по себе: ум. Холодный, острый, насмешливый ум. Тело — худое, длинное, гибкое, с острыми ключицами и плоским

животом, с длинными сильными ногами, — тело, которое гости принимали за тощее, а оно было просто сухое, жилистое, как у породистой гончей.

Гости не видели этого, потому что Женька не хотела, чтобы видели. Она прятала красоту под угрюмостью, как прячут нож под платком. Она смотрела на мужчин так, что им хотелось уйти. И они уходили — к Нана, к пухленьким в розовом, к тем, кто улыбался.

Женька не улыбалась никогда.

Почти никогда.

Это было в среду, через неделю после парохода.

Женька спустилась вниз днём, когда гостей не было, — за водой, на кухню. Проходя по коридору мимо конторки Эммы Эдуардовны, она увидела, что дверь в маленькую кладовую рядом приоткрыта. Там, в кладовой, на полке, за банками с вареньем и бутылями с уксусом, стоял запертый шкафчик. Аптечка. Йодоформ, карболка, бинты, касторка, хинин. И склянка сулемы.

Сулему держали во всех домах. Ею мыли руки, полы, тазы, инструменты, ею промывали девушек после гостей, ею лечили — от того, от чего лечили всех. Раствор сулемы был в каждом тазу у каждой кровати. А крепкую — порошок, белый, тяжёлый, как соль, — держали под замком. Эмма Эдуардовна разводила сама, раз в неделю. Потому что крепкой сулемой травились. Не раз и не два — во всех домах России девушки, которым становилось невмочь, шли к шкафчику, если он был не заперт.

Женька знала этот шкафчик. Она лечилась сама, тайком, — Карл Фёдорович её болезни не видел, она была хитрая, — и раз в неделю, когда Эмма Эдуардовна разводила сулему, Женька отливала себе в пузырёк немного крепкого раствора. Так она знала, сколько порошка в склянке. Знала до щепотки.

В среду днём дверь кладовой была приоткрыта. Шкафчик заперт. Женька остановилась. Постояла. Потом вошла — тихо, как кошка, — и посмотрела на замок. Замок был цел. Но на полке перед шкафчиком, на пыльной доске, был след. Свежий. Пальцы. Как будто кто-то опирался рукой, открывая.

Женька достала из-за корсажа шпильку. Она умела открывать замки шпилькой — научилась ещё до дома, в лавке, где служила девочкой. Открыла. Посмотрела на склянку.

Порошка стало меньше. На две щепотки. Может, на три.

Женька закрыла шкафчик. Вышла. Прикрыла дверь кладовой так, как она была. И пошла дальше, на кухню, за водой, будто ничего не случилось.

На кухне у плиты стояла Нана.

Нана, которая никогда не заходила на кухню. Которая считала кухню местом для кухарки и подавальщицы. Нана стояла у плиты в утреннем пеньюаре — шёлковом, абрикосовом, с кружевами, — без корсета, с распущенными волосами, чёрными, блестящими, падавшими почти до пояса. Без пудры и румян её лицо было ещё красивее: смуглое, тонкое, с тёмными кругами под огромными глазами. Она грела себе кофе на спиртовке и не обернулась, когда вошла Женька.

— Кофею захотела? — спросила Женька.

— Не твоё дело, — сказала Нана, не оборачиваясь.

Женька набрала воды. Ушла. На лестнице остановилась и долго стояла, держа кувшин, глядя в стену.

Вечером, в девятом часу, Настя понесла Масловой чай.

Так было каждый вечер: перед тем как спуститься в залу, Маслова пила чай у себя наверху — крепкий, с лимоном, с двумя кусками сахара. Настя заваривала его на кухне, в маленьком фарфоровом чайнике, ставила на поднос стакан в подстаканнике, сахарницу, блюдечко с лимоном и несла наверх. Это был её ритуал. Её служение. Она делала это так, как делают в церкви: бережно, медленно, с благоговением.

В тот вечер Настя была в голубом.

Шёлковое платье с вырезом — Маслова велела, чтобы она подавала в нём, и Настя подавала, краснея каждый раз, когда входила в залу, — но без пудры и румян: Маслова велела стереть. Светлые волосы распущены по плечам, чуть завиты. Белая грудь в вырезе — она уже не прятала её руками, Маслова запретила, — и только щёки вспыхивали каждый раз, когда кто-то из гостей останавливал на ней взгляд. Она стала красивее за эту неделю. Она стала двигаться иначе: медленнее, плавнее, с опущенными глазами, с тем особенным смирением, которое в зале вдруг начали замечать. Купцы провожали её глазами. Офицер пытался задержать за руку — она вырвалась, но не так, как раньше, не с визгом, а молча, и посмотрела наверх, на угловую лестницу. Офицер проследил её взгляд и отпустил.

Настя шла по коридору к лестнице с подносом. Осторожно. Чай не должен расплескаться.

На кухне, у плиты, её задержала Нана.

Это было странно. Нана никогда не разговаривала с Настей. Но в тот вечер Нана остановила её в дверях кухни, когда Настя уже взяла поднос, — остановила ласково, взяв за плечо.

— Постой, — сказала она с французским акцентом, мягко, певуче. — У тебя воротничок замялся. Дай поправлю.

Она поставила свой стакан с кофе на край подноса, рядом с Настиным чайником. Поправила Насте воротничок. Провела рукой по светлым волосам.

— Хорошенькая, — сказала Нана. — Совсем хорошенькая стала. Это она тебя так? — Она кивнула наверх. — Ну иди, иди. Несёшь своей барыне.

Она взяла свой стакан с подноса. Ушла.

Настя постояла, растерянная, — Нана никогда не была с ней ласкова, — потом пошла к лестнице.

Женька видела это из коридора. Из тёмного угла у чёрной лестницы, где она стояла с папиросой.

Она видела, как Нана поставила стакан на поднос. Как наклонилась к Насте — поправить воротничок. Как левая её рука, которую Настя не видела, на мгновение легла на крышку фарфорового чайника. Сняла крышку. Что-то белое упало внутрь. Крышка вернулась на место. Всё — за то время, что правая рука поправляла воротничок.

Быстро. Ловко. Как карточный шулер.

Женька бросила папиросу.

Она догнала Настю на лестнице. На четвёртой ступеньке.

Не закричала. Не схватила. Она просто — споткнулась. Нарочно. Неловко, всем телом, — налетела сзади на Настю, толкнула под локоть, — и поднос полетел.

Чайник ударился о ступеньку и разбился. Стакан — тоже. Сахарница покатилась вниз, рассыпая куски. Лимон упал в лужу. Горячий чай хлынул по ступеням, по Настиному голубому подолу, по Женькиным ногам.

Настя вскрикнула. Женька выругалась — громко, грязно, по-кабацки.

Внизу, из конторки, выскочила Эмма Эдуардовна.

— Was ist das?! Что такое?!

Она увидела: лестница в осколках, чай, Настя в мокром голубом шёлке, Женька на ступеньках.

— Опять ты! — сказала Эмма Эдуардовна Женьке. Голос у неё был тихий, свистящий, страшный. — Опять. Пьяная?

— Споткнулась, — сказала Женька, поднимаясь. Не глядя на Эмму. Глядя мимо неё — в конец коридора, где в дверях кухни стояла Нана в абрикосовом пеньюаре, со стаканом кофе в руке, и смотрела на лестницу.

Их глаза встретились. Женькины — узкие, тёмные. Наны — огромные, подведённые.

Нана поняла.

Женька видела, как она поняла. Как кровь отлила от смуглого лица — и оно стало серым, как зола. Как дрогнул стакан в тонкой руке с браслетами. И как сразу, через мгновение, лицо снова стало красивым, спокойным, надменным, и Нана повернулась и ушла в кухню.

Красивая, подумала Женька. Даже сейчас. Даже когда убить хотела. Красивая, сука.

— Чайник — восемьдесят копеек, — сказала Эмма Эдуардовна. — Стакан — сорок. Подстаканник погнут — рубль. Сахар, лимон. Запишу тебе. И за беспорядок…

Она подошла к Женьке вплотную. Подняла сухую руку. И ударила Женьку по лицу — коротко, звонко, ладонью.

Женька не отшатнулась. Стояла, глядя в стену. На смуглой щеке медленно проступало красное пятно от пальцев.

— Убери, — сказала Эмма Эдуардовна. — Всё. Сама.

И ушла в конторку.

Настя стояла на лестнице, мокрая, растерянная, со слезами на глазах.

— Женечка, — прошептала она. — Женечка, ты что… Ты нарочно?

— Иди переоденься, — сказала Женька. — И чай новый завари. Сама. Из нового чайника. И воду новую возьми. Из колодца. И никому не давай до него дотрагиваться. Поняла? Никому.

Настя смотрела на неё, не понимая.

— Иди, — сказала Женька.

Настя пошла.

Женька опустилась на колени на мокрых ступенях и стала собирать осколки.

Один осколок — от чайника, большой, с донышком, — она завернула в платок и спрятала за корсаж.

В полночь Женька постучала в угловую комнату.

Маслова была одна. Гость ушёл в одиннадцатом — Головин, товарищ прокурора, который впервые не пошёл к Нана во вторник, а пошёл к ней, и Маслова записала его в чёрную тетрадь подробно, на две страницы. Она сидела на кровати в сорочке, с распущенными волосами, и читала.

— Войди, — сказала она.

Женька вошла. Закрыла дверь. Постояла у порога.

Она была в своём зелёном платье, мокром ещё внизу от чая. Волосы — тёмные, гладкие, тяжёлые — выбились из узла. На щеке — след от ладони Эммы Эдуардовны, уже не красный, а лиловый. Она стояла прямо, с поднятой головой, и в свете свечи её лицо — резкое, смуглое, скуластое — было как у иконы. Не у той, что в окладе, с постным ликом. У той, что пишут северные мастера: суровой, тёмной, со страшными глазами.

Маслова отложила книгу.

— Садись, — сказала она.

Женька не села. Она достала из-за корсажа платок. Развернула. Протянула.

На платке лежал осколок фарфорового чайника. Донышко. А на донышке, в остатках чая, — белый осадок. Тонкий, как мука. Не растворившийся до конца.

И рядом, на том же платке, — маленький пузырёк. Женькин. С её сулемой, крепкой, которую она отливала себе каждую неделю.

— Понюхай, — сказала Женька. — Потом это. — Она кивнула на пузырёк. — Одно и то же.

Маслова взяла осколок. Поднесла к лицу. Запах был слабый — металлический, острый, как у старой монеты, как у крови.

Она посмотрела на Женьку.

— Нана, — сказала Женька. — Днём в аптечке у Эммы. Две щепотки. Может, три. Вечером — на кухне. Насте воротничок поправляла. А левой рукой — в чайник. Я видела.

Маслова молчала. Держала осколок. Смотрела на белый осадок.

Сулема. Две-три щепотки. В крепком чае с лимоном и двумя кусками сахара металлический вкус не сразу и почуешь. Выпила бы залпом, как всегда, — она всегда пила чай горячим, быстро, перед тем как спуститься в залу. Через час — жжение в горле. Через два — рвота с кровью. К утру, может быть, к вечеру следующего дня — конец. Карл Фёдорович написал бы: «отравление сулемой». Все сказали бы: сама. Девушки травятся сулемой. Как Клавдия, может быть. Как сотни других. Отравительница отравилась сама. Кто бы проверял?

А Нана снова стала бы звездой.

И Настя — Настя несла этот чай. Своими руками. Бережно. С благоговением. Если бы кто-то и стал проверять — Настя несла. Настя заваривала. Подавальщица отравила тысячную. Из ревности. Из зависти. Кто знает, что там у этих девок.

Маслова положила осколок на платок. Посмотрела на Женьку. Долго.

— Ты опрокинула поднос, — сказала она.

— Опрокинула.

— Эмма тебя ударила.

Женька пожала плечами.

— И записала в долг. Чайник, стакан, подстаканник. Рубль восемьдесят копеек и за беспорядок.

— Ты могла бы просто сказать Насте. Тихо. Или мне.

— Не успела бы, — сказала Женька. — Ты всегда сразу пьёшь. Горячим. Я видела.

Маслова смотрела на неё.

Женька стояла у двери — прямая, тёмная, с лиловым следом на щеке, в мокром зелёном платье. Злая. Красивая. Больная. Она спасла ей жизнь. За рубль восемьдесят копеек долга и пощёчину. И не просила ничего. Стояла и смотрела своими узкими тёмными глазами — с вызовом и с чем-то ещё.

— Почему? — спросила Маслова.

Женька помолчала. Потом сказала:

— Ты сказала — всех. Судить. — Она помолчала снова. — Я подумала: если тебя не станет — кто будет?

Маслова не пошла в полицию.

Она не пошла к Анне Марковне. Не пошла к Эмме Эдуардовне. Она не сказала ничего никому, кроме Насти, — и Насте сказала только одно: «Теперь чай завариваешь сама, у себя наверху, на спиртовке, и на кухню не носишь». Настя побелела, поняв, и упала перед ней на колени, и плакала, целуя ей руки, — от ужаса, что могла убить её своими руками. Маслова гладила её по голове и молчала.

А на следующий вечер она сделала другое.

Зала была полная. Четверг — Очумелов, Привалов в своём кресле у стены, офицеры, купцы, Паратов в углу (он пришёл не в среду — не утерпел; смотреть), студент Лопухов, который пришёл в первый раз с той ночи аукциона и сидел у двери пунцовый, сжимая фуражку. Тапёр играл вальс. Пахло табаком и духами.

Нана сидела у пианино в самом лучшем своём красном — тёмном, почти бордовом, с открытыми плечами и с жемчугом на шее, — и смеялась, запрокинув голову, на коленях у какого-то нового гостя, пожилого купца из Иркутска, который не знал ещё, что в доме есть тысячная. Она была великолепна. Смуглые плечи, длинная шея, жемчуг, завитки на висках, огромные глаза. Она сияла. Она снова была звездой — хотя бы на один вечер, хотя бы для одного иркутского купца.

Она не смотрела на угловую лестницу.

Маслова спустилась в одиннадцать. В красном. Прошла через залу. Не к Привалову. Не к своему дивану. К пианино.

Остановилась перед Нана.

Иркутский купец поднял глаза — и забыл, что у него на коленях Нана. Маслова не взглянула на него.

— Нана, — сказала она громко, на всю залу, весело, по-дружески. — Душенька. У меня к тебе просьба.

Нана медленно повернула голову. Огромные глаза сузились.

— Quoi? — сказала она.

— Мне письмо пришло, — сказала Маслова. — Иностранное. А я по-французски не понимаю. Ты ведь из Парижа. Прочти, будь добра. Вслух. Господа послушают — им тоже интересно.

Она достала из-за корсажа сложенный листок. Протянула.

Зала затихла. Тапёр, почувствовав, сбился и перестал играть.

Нана смотрела на листок. Не брала.

— Я не читаю чужих писем, — сказала она по-французски, потом по-русски, с акцентом.

— Да что ты, — сказала Маслова. — Какое чужое. Тут и про тебя есть. Бери.

Она вложила листок Нане в руку. Нана, машинально, развернула.

И Маслова увидела, как меняется её лицо.

Листок был исписан неровным, старательным почерком — почерком немолодой женщины, которая пишет редко. Не по-французски. На языке, которого в зале не знал никто.

«Mīļā meitiņ…»

Милая доченька.

Женька стащила это письмо у Наны месяц назад. Ещё до Масловой. Письмо выпало у Наны из-за корсажа, когда она, пьяная, упала на лестнице после одного купеческого загула, и Женька, помогая её поднимать, подобрала листок. Не отдала. Сама не знала зачем. Спрятала в своём романе про графиню. Женька не знала латышского, но знала, что это не французский. И знала, что Нана три дня потом рыскала по дому, ища что-то, и не нашла.

Теперь письмо было у Наны в руках.

Нана смотрела на него. Смуглое лицо посерело, как вчера на кухне. Губы задрожали. Огромные глаза наполнились — не слезами, нет, — чем-то хуже. Она узнала почерк матери.

— Ну? — сказала Маслова мягко. — Читай, душенька. По-французски.

Нана молчала.

— Что ж ты? — Маслова повернулась к зале. — Господа, она стесняется. Может, Эмма Эдуардовна поможет? Эмма Эдуардовна, вы ведь знаете языки. Это французский?

Эмма Эдуардовна стояла у буфета. Сухая, плоская, в тёмно-синем, застёгнутом до горла. Она посмотрела на листок в руках у Наны — издалека. Потом на Маслову. Потом снова на листок.

Маслова знала, о чём она думает. Эмма Эдуардовна не любила Маслову. Но Эмма Эдуардовна любила арифметику. За июль Нана принесла сто сорок рублей. Маслова — две тысячи шестьсот. И ещё Эмма Эдуардовна помнила разбитый чайник, и Женьку на лестнице, и пустую склянку в аптечке. Она заметила вчера вечером, когда разводила сулему, что порошка меньше. Она не сказала никому. Но она заметила. Эмма Эдуардовна замечала всё, что касалось счёта.

— Нет, — сказала Эмма Эдуардовна сухо, отчётливо, на всю залу. — Это не французский. Это латышский. Анна Берзиня, мещанка города Риги, лютеранского вероисповедания. Так в её паспорте записано. Мать — Лиза Берзиня, вдова, прачка, город Рига, Московское предместье.

Тишина.

Потом кто-то из офицеров присвистнул. Кто-то засмеялся. Иркутский купец, у которого на коленях сидела Нана, медленно, осторожно, как снимают с колен кошку, которая может оцарапать, снял её и поставил на пол.

— Латышка, — сказал кто-то. — А говорили — парижанка.

— Прачкина дочь!

— А по пять рублей брала, как француженка!

Хохот. Зала хохотала. Очумелов хихикал, прикрывая рот рукой. Паратов в углу смеялся громче всех, мстительно, — за все вечера, когда она его бросила. Даже Привалов в своём кресле хмыкнул в бороду.

Нана стояла посреди залы с письмом матери в руках.

Даже сейчас она была красива. Маслова это видела. Смуглое лицо, искажённое, серое — и всё равно красивое. Огромные глаза, полные бешенства и слёз. Жемчуг на длинной шее. Тёмно-красное платье, открывающее плечи. Она стояла, как стоит загнанная лань в кругу собак, — тонкая, дрожащая, с вскинутой головой. Она не плакала. Она смотрела на Маслову.

И Маслова смотрела на неё.

Они стояли друг против друга посреди залы — две женщины в красном. Одна в алом, другая в бордовом. Одна с прядью на глазах, другая с жемчугом. Одна каторжная, другая латышка. Одна победила, другая проиграла.

Нана наклонилась к ней. Близко. Так, что Маслова почувствовала её пряные духи. И прошептала — не по-французски, не с акцентом, а по-русски, чисто, с рижским выговором, но без всякого французского:

— Я тебя убью.

— Уже пробовала, — сказала Маслова так же тихо. — Две щепотки мало. В следующий раз бери три.

Нана отшатнулась.

Она поняла, что Маслова знает всё. И что она не сказала. И почему не сказала.

Нана повернулась и пошла через залу к лестнице. Медленно. С поднятой головой. Как королева, идущая на эшафот. Мимо хохочущих офицеров, мимо иркутского купца, мимо Паратова, мимо Очумелова. Хохот провожал её до самой лестницы.

У лестницы стояла Женька. В зелёном, с лиловым следом на щеке, с папиросой. Нана прошла мимо неё — и на мгновение остановилась. Посмотрела. Узнала.

— Ты, — сказала она.

Женька затянулась. Выпустила дым ей в лицо.

— Я, — сказала Женька.

Нана ушла наверх.

Ночью Женька снова пришла в угловую комнату. Маслова ждала её.

На столе стоял чайник — новый, Настин, с её спиртовки. Два стакана. Сахар. Лимон. Женька посмотрела на чайник и усмехнулась — впервые, кажется, за всё время, что Маслова её знала. Усмешка у неё была кривая, злая и неожиданно красивая: открывались ровные белые зубы, в узких тёмных глазах зажигались огоньки.

— Не боишься? — спросила она, кивнув на чайник.

— Настя заваривала. При мне.

Женька села. Маслова налила. Они пили чай — молча, долго, как пьют в деревне, вприкуску.

Потом Женька достала из-за корсажа книжку. Маленькую, растрёпанную, без обложки. Положила на стол.

Маслова взяла, раскрыла. Писарев. «Мыслящий пролетариат». Статья о «Что делать?».

— Это не роман про графиню, — сказала Маслова.

— Романы — сверху, — сказала Женька. — Для Эммы. А под ними — это. Один студент оставил. Три года назад. Ходил ко мне, а потом его забрали. За политику. Книжку я спрятала.

— Ты читала?

— Двадцать раз. — Женька помолчала. — Только не с кем было поговорить. Девки — дуры. Гости — скоты. Эмма — немка. Анна Марковна — святая женщина. — Она сказала это с такой ненавистью, что Маслова вздрогнула. — А тут ты пришла. Тысячная. С книжками. На осмотр в красном. И говоришь — судить.

Она посмотрела на Маслову. Узкие тёмные глаза — серьёзные, без насмешки.

— Почему ты не пошла в полицию? — спросила Женька. — Про Нана. Про сулему. Её бы на каторгу. За покушение.

Маслова допила чай. Поставила стакан.

— Пригодится, — сказала она.

Женька смотрела на неё долго. Потом медленно кивнула. Она поняла. Не всё — но главное. Что Маслова не просто мстит. Что она собирает. Что у неё есть план, которого она ещё сама до конца не знает. И что сулема, и осколок чайника, и пустая склянка, и Эмма, которая видела, — всё это теперь лежит где-то, в какой-то тетради, и ждёт своего часа.

— Ты страшная, — сказала Женька. Без страха. С уважением.

— Знаю, — сказала Маслова.

Они допили чай. Женька встала. У двери обернулась.

— Если что, — сказала она, — я с тобой. Хоть в огонь.

И вышла.

Маслова сидела, глядя на закрытую дверь. Потом раскрыла чёрную тетрадь и записала:

Нана (Анна Берзиня). Сулема в чай, 2–3 щеп., из аптечки Эммы. Видела Женька. Осколок с осадком — у меня. Эмма заметила убыль порошка. Нана знает, что я знаю. Молчу.

Пригодится.

И ниже, отдельно:

Женька. Спасла. Рубль восемьдесят долга и пощёчина. Читает Писарева. Красивая — гости не видят. Сказала: хоть в огонь.

Она посмотрела на последние слова. Хоть в огонь.

Потом закрыла тетрадь и погасила свечу.

3.4. Уроки французского

Учебники она купила у Макушина в первый же понедельник после парохода.

Приказчик Иван, уже привыкший к ней, к её серому платью и охапкам книг, выложил на прилавок всё, что было: «Практическое руководство к изучению французского языка по методе Олендорфа» в двух частях, грамматику Марго, хрестоматию для гимназий и толстый, тяжёлый, как кирпич, французско-русский словарь Макарова.

— Для детей берёте? — спросил Иван.

— Для себя.

Он посмотрел на неё с сомнением. Барыни, учившие языки, брали гувернанток. Поселенки языков не учили вовсе.

— Трудно будет без учителя, — сказал он.

— У меня будет учитель, — сказала она. — Князь.

Иван уронил словарь.

Метода Олендорфа была простая и глупая, как азбука для солдат: короткие фразы, повторённые сто раз с маленькими изменениями. *Avez-vous le pain? — Oui, j'ai le pain. Avez-vous le bon pain? — Oui, j'ai le bon pain. Avez-vous le bon pain du boulanger?* Есть ли у вас хлеб? Да, у меня есть хлеб. Есть ли у вас хороший хлеб? Да, у меня есть хороший хлеб.

Она сидела над этим по утрам, в угловой комнате, в сорочке, поджав ноги на кровати, с книгой на коленях и словарём рядом — и бормотала вслух, как дьячок бормочет псалтирь. *Avez-vous le pain. J'ai le pain.* Слова были странные, мягкие, скользкие, как рыба в руках. Они не хотели произноситься. Язык цеплялся за зубы. Звуки, которых не было в русском, — носовые, картавые, — выходили смешно, и она смеялась над собой.

А потом — через неделю, через две — что-то щёлкнуло.

Она не знала, как это объяснить. Как будто внутри открылась дверь, о которой она не подозревала. Слова начали держаться. Она читала фразу один раз — и запоминала. Она видела, как из одного слова получается другое, как меняются окончания, как строится предложение, — и это было похоже на то, как она видела книги Эммы Эдуардовны: колёсико цепляет колёсико, и всё тикает. Механика. Язык тоже был механика.

К концу первой недели она прошла пятнадцать уроков Олендорфа. К концу второй — сорок. Она читала грамматику Марго, как читают роман: не могла оторваться. Она выписывала слова в тетрадку — не в клеёнчатую и не в чёрную, в третью, синюю, специальную, — по пятьдесят в день, по сто, и повторяла их ночью, после гостей, лёжа в темноте: *la chair* — плоть, *le sang* — кровь, *la vengeance* — месть, *le jugement* — суд.

Она сама удивлялась.

У тётушек её учили грамоте — и она научилась быстро, но тётушки говорили, что девочке из дворни больше и не нужно. У Китаевой она не открыла ни одной книги за двенадцать лет. Она думала, что у неё нет способностей. Что голова у неё — как у всех: для песен, для сплетен, для счёта денег. А теперь голова, оказывается, умела. Голова хотела. Голова была голодна так же, как тело.

К октябрю она будет читать французские книги — медленно, со словарём, заглядывая в Макарова через строчку. К ноябрю — через страницу. К Рождеству — почти без словаря.

Она ещё не знала этого. Она знала только, что ей нравится. Что каждое новое слово входит в неё, как мужчина, — и хочется ещё.

Нехлюдов приходил по понедельникам.

Он выбрал понедельник сам — день тяжёлый, постный, покаянный. Приходил поздно, в двенадцатом часу, когда зала уже пустела, — через калитку со двора, не через парадное, чтобы

не видели. В тёмном пальто, в низко надвинутой шляпе. Бык в красной рубахе открывал ему, не говоря ни слова. Анна Марковна, если не спала, крестилась.

В первый понедельник после того июньского рассвета он не пришёл. Во второй — тоже. Маслова знала, что он борется. Знала, что он пишет в дневнике длинные покаянные страницы, молится, постится, ходит к обедне в собор на горе, — и что всё это бесполезно. Она видела его лицо в ту ночь. Она знала, что там, внутри.

В третий понедельник он пришёл.

Он стоял на пороге угловой комнаты — бледный, похудевший, с запавшими глазами, в тёмном пальто, со шляпой в руках, — и не входил.

— Я пришёл поговорить, — сказал он.

— Входи, — сказала она. — Поговорим.

Он вошёл. И говорил. Долго, хорошо, правильно — о грехе, о покаянии, о том, что та ночь была искушением дьявольским, что он молил Бога о прощении, что он пришёл не за этим, а чтобы предложить помощь, чистую, христианскую, — деньги на её выкуп, на её отъезд, на новую жизнь.

Она слушала, сидя на кровати.

Когда он кончил, она сказала:

— Сто рублей. Каждый понедельник. Не мне — в кассу. Для девушек. Чтобы выкупать их долги. Хочешь помогать — помогай. Христиански.

Он смотрел на неё, не понимая.

— Касса?

— Касса. Девушки должны хозяйке. Годами. До гроба. Я хочу их выкупать. Нужны деньги. Ты — даёшь. Сто рублей. Каждую неделю.

Лицо его просветлело.

— Катюша, — сказал он с дрожью в голосе. — Это… это же прекрасно. Это же — то самое. Помощь падшим. Как Христос. Я… конечно. Конечно. Сто. Двести, если надо.

— Сто, — сказала она. — Каждый понедельник. И приходи сам. Приноси. Я буду записывать. Ты должен видеть, куда идут деньги.

— Конечно, — сказал он. — Конечно, конечно.

Он положил на стол сто рублей. Она записала в синюю тетрадку — не в чёрную — красивым почерком: «Касса. 1-е поступление. Кн. Д. И. Н. — 100 р.». Показала ему. Он смотрел на запись, и глаза у него были влажные.

Потом она встала с кровати. Подошла к нему. И он остался до утра.

Так это и пошло.

Каждый понедельник он приходил с сотней в кармане и с Евангелием в душе. Каждый понедельник клал сотню на стол, и она записывала в синюю тетрадку, и он смотрел на запись и умилялся. Это была благотворительность. Помощь падшим. Христианское дело. Он писал об этом в дневнике: «Помогаю выкупать несчастных девушек из рабства. Катюша — орудие Божьего промысла. Через неё я искупаю свой грех перед всеми падшими женщинами».

А потом каждый понедельник он оставался до утра.

Об этом он в дневнике не писал.

Он был глуп.

Она поняла это не сразу. Сначала ей казалось, что он умный — образованный, светский, университетский, говорящий по-французски и по-английски, знающий графа Толстого и Евангелие, ездивший за границу. Князь. Человек сверху. Тот, кому объяснили, как устроен мир.

А потом она стала с ним разговаривать.

Она спрашивала его о Сеченове — он не читал. О Дарвине — он знал, что человек произошёл от обезьяны, и считал это вредной глупостью, потому что граф Толстой так считал. О Бокле — он слышал фамилию. О Лаврове — он знал, что это какой-то революционер, и боялся.

О Писареве — нигилист, отрицатель, разрушитель, граф его презирал. О Михайловском — что-то в журналах. О Бакунине — он побледнел и перекрестился.

Он знал Евангелие — но только те места, которые граф Толстой выписывал в свои трактаты. Он знал графа — всё, от «Детства» до «Крейцеровой сонаты», и цитировал наизусть целые страницы. Он знал Пушкина, Лермонтова, Тургенева — как знают в гимназии, по хрестоматии. Он знал французских поэтов — Мюссе, Ламартина, Беранже, — которых читал в юности, когда был влюблён. Он знал, как вести себя в гостиной, как держать вилку, как поклониться губернаторше, как говорить о погоде по-французски.

Больше он не знал ничего.

Он учился в университете — на юридическом, — и вынес оттуда только то, что право есть насилие, потому что так говорил граф. Он служил в гвардии — и вынес оттуда, что война есть убийство, потому что так говорил граф. Он ездил за границу — и запомнил рестораны. Он читал — но только то, что подтверждало то, что он уже думал.

Его голова была как его номер в гостинице: просторная, чистая, хорошо обставленная — и пустая. Всё, что в ней было, принёс туда кто-то другой. Толстой. Гувернёр. Мать.

Она смотрела на него однажды — как он сидел у неё на кровати, голый, с Евангелием в руках, и читал ей вслух про лилии полевые, которые не трудятся и не прядут, — и думала: он не умнее Очумелова. Он просто лучше одет.

Из всего, что у него было, ей годилось только одно.

Французский.

— *Répétez*, — говорил он. — *Je suis une femme perdue*.

— *Je suis une femme perdue*, — повторяла она.

— Нет, не так. Носовое «ан». *Perdue*. Губы — так.

Он показывал губы. Она смотрела на его губы и повторяла. Он поправлял. Она повторяла снова. Он был хороший учитель — терпеливый, педантичный, с прекрасным парижским выговором, которому его научил в детстве гувернёр-француз. Ему нравилось учить. Это была ещё одна благотворительность: просвещение падшей.

Они лежали в постели после всего, при свече, — она на животе, с грамматикой Марго перед собой, болтая ногами, он на спине, глядя в потолок, — и он диктовал, а она повторяла.

— *Je suis une femme perdue*, — я погибшая женщина.

— *Tu es un homme perdu*, — сказала она.

Он запнулся.

— Ты погибший мужчина, — перевела она. — Правильно?

Он молчал.

— Правильно, Митенька? Я правильно сказала? Окончание — правильно?

— Правильно, — сказал он глухо.

Она засмеялась и перевернула страницу.

Она проверяла на нём то, что выучила утром. Она приходила к нему с готовыми фразами — из Олендорфа, из Марго, из хрестоматии — и бросала их, как бросают камешки в воду, глядя, какие круги пойдут. Он поправлял. Она запоминала. Через месяц он уже реже поправлял. Через два — почти перестал.

Он однажды сказал, удивлённо:

— Ты так быстро учишься, Катюша. Удивительно. У тебя способности.

— У меня хороший учитель, — сказала она.

Он покраснел от удовольствия.

Он думал, что учит её. На самом деле она училась сама, по утрам, над Олендорфом и Макаровым, а на нём только проверяла. Как проверяют, хорошо ли наточен нож, — на чём-нибудь мягком.

Он принёс Гюго.

«Les Misérables». Отверженные. Три толстых тома в синих переплётах, парижское издание, с золотым обрезом. Из своей петербургской библиотеки, привёз с собой в Сибирь. Он сказал, что это величайший роман века после графских. Что там вся правда о страдании. Что там есть одна героиня — он запнулся — одна несчастная женщина, которая напомнит ей…

— Читай, — сказала она.

Он читал ей вслух. По-французски, медленно, с выражением, переводя трудные места. Она слушала, лёжа рядом, следя по второму экземпляру — нет, второго не было, — следя по его лицу.

Фантина. Молоденькая, хорошенькая, белокурая. Соблазнённая студентом, брошенная с ребёнком. Отдала ребёнка чужим людям. Работала на фабрике. Выгнали за то, что у неё был ребёнок. Продала волосы. Продала зубы — два передних зуба, — чтобы платить за ребёнка. Пошла на улицу. Стала проституткой. Чахотка. Умерла в больнице, не увидев ребёнка, с именем дочери на губах. Святая. Мученица.

Нехлюдов читал, и голос у него дрожал, и на глазах были слёзы.

— Ну? — сказал он, дочитав главу о смерти Фантины. — Катюша? Разве не правда? Разве не…

Она лежала, глядя в потолок.

— Я не Фантина, — сказала она.

— Что?

— Я не Фантина. Я зубы не продавала. И не умру с чужим именем на губах. — Она повернула голову к нему. — Вы все одно пишете, Митенька. Достоевский — Соню. Гюго — Фантину. Граф — Катюшу. Шлюха, которая страдает. Шлюха, которая святая. Шлюха, которая умирает. Вам это нравится. Вы над этим плачете.

— Это сострадание…

— Это вам нравится, — повторила она. — Смотреть, как мы страдаем. Как мы умираем. Вы над нами плачете — и вам сладко. Как в бане.

Он смотрел на неё и не находил слов.

Она забрала у него первый том, раскрыла на том месте, где Фантина продаёт зубы, и стала читать сама. Вслух. По-французски. Медленно, запинаясь, коверкая носовые, — но читать.

Он слушал, поражённый.

В другой понедельник он принёс «Послесловие к „Крейцеровой сонате“».

Граф только что написал его — летом, в Ясной Поляне. В Москве ходили литографированные копии, ему прислали. Граф объяснял в нём, что хотел сказать «Сонатой». Что плотская любовь — недостойна человека. Что брак — не таинство, а падение. Что целомудрие — идеал, к которому надо стремиться, даже если человечество от этого прекратится, — и пусть прекратится, раз оно не может жить по-божески. Что нельзя считать половую любовь чем-то возвышенным, поэтическим.

Нехлюдов читал это ей вслух. Голый. В постели. После всего.

Он лежал на спине, на смятой простыне, с литографированными листками в руках, и читал о целомудрии — а на плечах у него были следы её ногтей, а на шее — след её зубов, а простыня под ним была ещё влажная. Он читал, что половая любовь — это свинство, и голос у него был искренний, взволнованный, проникновенный.

Она слушала, лёжа рядом, голая, горячая, и с каждой фразой ей становилось всё смешнее. Она кусала губы, чтобы не засмеяться. Потом не выдержала.

Она засмеялась так, что кровать затряслась.

Он опустил листки.

— Что? — спросил он обиженно.

— Ничего, — выдохнула она сквозь смех. — Читай, Митенька. Читай. Про целомудрие. Мне нравится.

Был ещё один понедельник.

Он запомнится ей. Она запишет его в чёрную тетрадь подробно — на три страницы.

Он пришёл раньше обычного. В одиннадцатом часу. Взволнованный. С Евангелием в одном кармане и с сотней в другом. Положил сотню на стол. Она записала. Он сел на кровать и заговорил о Вечной Женственности.

Он где-то вычитал это — в каком-то журнале, у какого-то философа, о котором говорили в Москве, — и теперь носился с этим, как ребёнок с новой игрушкой. Что в каждой женщине — даже в падшей, особенно в падшей — живёт отблеск Вечной Женственности. Божественной Софии. Премудрости Божьей. Что любовь к женщине, очищенная от плоти, есть путь к Богу. Что Катюша для него — не тело, а символ. Икона. Окно в иной мир.

— Тайна плоти, — говорил он, глядя на неё влажными светлыми глазами, — тайна плоти и тайна духа — это одна тайна, Катюша. Понимаешь? Нужно только очистить плоть, и она станет духом…

Она слушала, сидя на кровати, с прядью на глазах, и смотрела на него.

И вдруг — без всякой мысли, по наитию, как смотрят на карту в колоде и вдруг понимают, как пойти, — она встала, подошла к двери и дёрнула шнурок звонка.

Внизу, на кухне, звякнул колокольчик.

— Кого ты зовёшь? — спросил он, сбившись.

— Чаю хочу, — сказала она.

Настя пришла через пять минут. С подносом. С чайником со своей спиртовки, со стаканами, с лимоном.

Она была в голубом. Как велела Маслова. Голубое шёлковое платье, открывающее плечи и грудь. Светлые волосы по плечам. Без пудры, без румян. Она вошла, увидела Нехлюдова на кровати — и замерла на пороге. Поднос дрогнул.

Она знала, что он ходит по понедельникам. Весь дом знал. Но она никогда не видела его здесь. В комнате. На кровати. Без сюртука, в расстёгнутом жилете.

Щёки вспыхнули. Мгновенно, сразу — алым на белом, до шеи, до ключиц, до груди в голубом вырезе.

— Поставь, — сказала Маслова.

Настя поставила поднос на столик. Руки дрожали. Стаканы звякнули.

— Налей.

Настя налила. Два стакана. Чай пролился на блюдце.

— Князю подай.

Настя взяла стакан и пошла к кровати. Медленно. С опущенными глазами. Протянула стакан Нехлюдову. Он взял. Его пальцы коснулись её пальцев, и она отдёрнула руку, как от огня.

— Не уходи, — сказала Маслова. — Встань тут.

Настя встала посреди комнаты. Между кроватью и столом. С опущенными руками — ей нельзя было прятать грудь руками, Маслова запретила. Голубой шёлк. Белые плечи. Белая грудь в вырезе, поднимающаяся от частого, испуганного дыхания. Горящие щёки. Опущенные светлые ресницы.

Нехлюдов держал стакан и смотрел то на неё, то на Маслову. Не понимал.

— Ты говоришь, Митенька, тайна плоти, — сказала Маслова. Спокойно, ровно, почти лениво. Она села в кресло у стола, закинула ногу на ногу. — Вечная Женственность. Икона. Окно в иной мир. — Она кивнула на Настю. — Вот. Смотри. Плоть.

Нехлюдов посмотрел.

— Её зовут Настя, — продолжала Маслова. — Ей девятнадцать лет. Переселенка. Отец с матерью умерли от тифа на пристани. Анна Марковна подобрала на улице. Она всего боится. Мужчин боится. Гостей боится. Тебя боится. Видишь, как дрожит?

Настя дрожала. Мелко, всем телом, как дрожит лист на осине.

— Она меня слушается, — сказала Маслова. — Во всём. Что скажу — сделает. Правда, Настя?

— Правда, — прошептала Настя, не поднимая глаз.

— Спусти платье, — сказала Маслова.

Настя вздрогнула. Подняла на неё глаза — огромные, светлые, полные ужаса и мольбы. Маслова смотрела на неё спокойно, не мигая. Ждала.

Настя опустила глаза. Медленно, дрожащими пальцами, спустила голубой шёлк с плеч. До пояса.

Нехлюдов поставил стакан. Мимо столика. Стакан упал на пол и покатился. Он не заметил.

Настя стояла посреди комнаты, обнажённая до пояса, с опущенными руками и опущенной головой, и краска заливала её всю — лицо, шею, плечи, грудь, — розовым по белому, как заря по снегу. Она стыдилась. Она стыдилась так, что слёзы текли по щекам и капали на грудь. И не прикрывалась. Потому что ей не велели.

— Вот она, плоть, Митенька, — сказала Маслова тихо. — Несчастная. Сирота. Боится. Стыдится. Плачет. Подойди.

Он не двигался.

— Подойди, — повторила она. Голос не изменился. Только стал твёрже.

Он встал. Как во сне. Подошёл. Остановился перед Настей. Она стояла с опущенной головой, и он видел только светлую макушку и вздрагивающие плечи.

— Потрогай, — сказала Маслова.

— Катюша… — прошептал он.

— Потрогай. Тебе же хочется. Я вижу.

Он стоял неподвижно. Долго. Секунду. Две. Пять.

Потом его рука поднялась. Белая, барская, с отполированными ногтями. Дрожащая. Поднялась — и легла.

Настя всхлипнула. Не отшатнулась.

— Смотри, Митенька, — говорила Маслова из кресла. Медленно, раздельно, как читают проповедь. — Смотри на себя. Ты держишь в руке грудь девятнадцатилетней сироты. Которая тебя боится. Которая плачет от стыда. Которая не смеет отойти, потому что ей не велели. — Она помолчала. — И тебе это нравится.

— Нет… — прошептал он.

— Нравится. Тебе нравится трогать покорное тело. Тело, которое не может сказать «нет». Которое дрожит и терпит. Тебе нравится, что она боится. Тебе от этого сладко. — Она наклонилась вперёд, глядя на него снизу. — Посмотри на себя, Митенька. Посмотри вниз.

Он не посмотрел. Но она видела. Видела, как натянулась ткань. Как изменилось его лицо — стало тяжёлым, красным, с той жилой на виске, которую она видела в ту первую ночь. Как участилось дыхание.

— У тебя встал, — сказала она спокойно. — На неё. На сироту, которая плачет. Вот она, твоя Вечная Женственность. Вот она, твоя тайна плоти и духа. Вот оно, твоё целомудрие из «Послесловия». — Она засмеялась тихо. — У тебя хуй стоит на плачущую девочку, Митенька. А ты мне про Софию Премудрость.

Он отдёрнул руку. Как от огня. Отшатнулся.

Настя стояла, не шевелясь, с голой грудью, с мокрым от слёз лицом. На белой коже остался розовый след от его пальцев.

— Иди, Настя, — сказала Маслова. — Спасибо. Ты хорошая.

Настя схватила голубой шёлк, натянула на плечи — неловко, наискосок, — и выбежала. Дверь хлопнула. В коридоре затопали босые ноги — она бежала. Потом всё стихло.

Маслова не знала, что чувствовала Настя.

Она узнает позже — Настя расскажет ей, через неделю, ночью, шёпотом, лёжа на коврике у кровати. Что ей было страшно. Так страшно, что потемнело в глазах. Что ей было стыдно — так, что хотелось умереть. Что когда его рука легла, ей показалось, что её обожгли. Что она хотела убежать — и не могла, потому что Катерина Михайловна смотрела. И что под всем этим, под страхом и стыдом, было ещё что-то. Маленькое. Тёплое. Страшное. Как уголёк под золой. Потому что это Катерина Михайловна велела. И она — послушалась. И Катерина Михайловна сказала: «Ты хорошая».

Настя расскажет это и заплачет. И попросит прощения — сама не зная за что.

Но это будет потом. А сейчас Настя бежала по коридору, придерживая на груди голубой шёлк, и плакала, и не понимала, что с ней.

Нехлюдов стоял посреди комнаты.

Лицо у него было страшное. Маслова никогда не видела у него такого лица. Даже в ту июньскую ночь. Красное, искажённое, с выкаченными глазами, с дрожащими губами. Он смотрел на неё — и в его светлых промытых глазах была ненависть. Чистая, белая, слепая.

— Ты… — прохрипел он. — Ты… Зачем?.. Зачем ты это сделала?..

— Чтобы ты увидел, — сказала она. — Себя.

И, хохоча, она прямо на кресле задрала платье, под которым не было ничего, только голая черная шерсть.

И он бросился на неё.

Это было хуже, чем в июне.

Тогда в нём прорвалось то, что лежало на дне. Сейчас он хотел мстить. За Настю. За то, что она заставила его. За то, что она показала его ему самому. За «хуй стоит на плачущую девочку». За Вечную Женственность, втоптанную в грязь. За Софию Премудрость. За всё.

Он швырнул её на кровать — она ударилась затылком о спинку, перед глазами вспыхнули искры. Он рвал на ней сорочку — ткань трещала. Он держал её за запястья, прижимая к постели, так что синяки потом не сходили неделю. Он брал её — грубо, зверски, со злобой, — и шептал что-то, сквозь зубы, хрипло, — она не разбирала слов, но это были не слова Евангелия.

Он хотел сделать ей больно.

И делал.

И она смеялась.

Сквозь боль, сквозь искры в глазах, сквозь его хрип — она смеялась ему в лицо. Потому что он делал именно то, что она хотела. Он доказывал. Каждым движением, каждым рывком, каждым синяком на её запястьях — он доказывал то, что она сказала. Что под Евангелием — зверь. Под Вечной Женственностью — похоть. Под непротивлением злу — насилие. Под Толстым — садист.

Он хотел отомстить ей — и мстил себе.

Она обхватила его ногами — сильными, такими, что не вырвешься, — и притянула ближе. Глубже. Сильнее. Ну давай. Давай, Митенька. Покажи, кто ты. Покажи мне всё.

Он показывал.

И она кричала — от боли и от того, другого, тёмного, горячего, что поднималось в ней каждый раз, когда власть переходила из рук в руки и возвращалась обратно. Она была под ним, прижатая, с заломленными руками — и она была сверху. Всегда сверху. Потому что это она его сюда привела. Она заставила. Она показала. Она смотрела.

Он ушёл на рассвете. Как всегда. Через калитку, в надвинутой шляпе.

Она лежала на разорванной простыне и смотрела в потолок. Запястья горели. Затылок ныл. Губа была разбита — она слизнула кровь, солёную, металлическую, как сулема.

Потом встала. Нашла на полу стакан, который он уронил. Подняла. Поставила на стол. Села к столу. Открыла чёрную тетрадь.

И писала долго, три страницы.

Нехлюдов. Понедельник.

Пришёл с Вечной Женственностью. Тайна плоти и духа. София.

Позвала Настю. Велела спустить платье. Велела ему потрогать.

Потрогал. Встал. На плачущую сироту. Сказала ему это.

Взбесился. Бил. Рвал. Брал зверски. Хотел отомстить. Синяки на руках. Губа.

Это и есть он. Под всем. Под графом, под Евангелием, под Софией.

Он садист. Сам не знал. Теперь знает. Теперь будет приходить ещё. Будет ненавидеть меня и приходить. Это уже не остановить.

И внизу, по-французски, медленно, проверяя каждое слово по Макарову:

Il est une bête. Il ne le savait pas. Maintenant il le sait.

Он зверь. Он не знал этого. Теперь знает.

Она перечитала французскую фразу. Сама. Без ошибок — она проверила. Носовые. Окончания. Порядок слов.

Три месяца назад она не знала ни слова.

Она засмеялась — тихо, разбитыми губами, — и потянулась за Олендорфом. Был понедельник. Утро. Время урока.

Avez-vous le pain? — Oui, j'ai le pain.

Avez-vous la vengeance? — Oui. J'ai la vengeance.

3.5. Соломин

— Кто это вам Бокля посоветовал? — спросил человек за конторкой.

Маслова подняла голову от формуляра.

Это было в читальне у Макушина, в пятницу, в тот час, когда она обычно меняла книги. Человека за конторкой она видела и раньше: он сидел в углу, у окна, за маленьким столом, заваленным карточками и каталогами, и что-то писал, не поднимая головы. Пожилой, лет пятидесяти пяти, сутулый, в старом сером пиджаке с заплатами на локтях, с седой бородой клином и с очками в стальной оправе, поднятыми на лоб. Приказчик Иван говорил ей, что это библиотекарь, составляет каталог, служит у Петра Ивановича давно. И что он из ссыльных.

Сейчас он стоял у конторки, держа в руках её возвращённые книги — Бокля, второй том, Бюхнера и Дарвина, — и смотрел на неё поверх очков.

— Никто, — сказала она. — Сама взяла.

— Сама. — Он повертел Бокля. На полях были её пометки — карандашом, мелким неровным почерком, вопросительные знаки, восклицательные, подчёркивания, иногда целые фразы. — Вы тут спорите с ним.

— Он не прав.

— Бокль не прав? — В голосе не было насмешки. Было любопытство. — В чём же?

Она помедлила. Посмотрела на него — внимательно, как смотрела на всех мужчин: оценивающе. Ждала того взгляда. Сначала на лицо, потом ниже, потом снова на лицо, с усмешкой. Этот взгляд был у всех. У Очумелова, у Паратова, у купцов, у Нехлюдова, у Привалова, у кочегара Степана, у Лопухова, даже у Карла Фёдоровича, который вставлял ей зеркало.

Его не было.

Человек в сером пиджаке смотрел ей в лицо. Только в лицо. В глаза. И ждал ответа.

— Он говорит, — сказала она медленно, — что судьбу народов решают климат и пища. Почва. Что в жарких странах рис, и люди покорные, и деспотия. А в холодных — мясо, и люди свободные. — Она помолчала. — А у нас в Сибири холодно. И мясо едят. А свободы нет.

Он смотрел на неё.

— И ещё, — сказала она. — Он про климат пишет, про почву, про пищу. А про собственность — почти ничего. Кто землёй владеет. Кто хлеб ест, а кто растит. У него получается, будто народы сами по себе. А они не сами по себе. Их кто-то держит.

Человек снял очки со лба. Протёр их полой пиджака. Надел снова — уже на нос.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Маслова.

— Соломин, — сказал он. — Василий Петрович.

Он протянул руку через конторку. На левой руке не было двух пальцев — мизинца и безымянного. Культи, давно зажившие, гладкие, блестящие.

Она пожала. Рука была сухая и твёрдая.

— Каторга, — сказал он, заметив её взгляд. — Отморозил. Семьдесят девятый год. Давно.

Они проговорили до закрытия.

Он вышел из-за конторки, сел напротив неё за длинный стол под зелёной лампой, положил перед собой Бокля, раскрыл на её пометках — и спрашивал. Не учил — спрашивал. Что она думает здесь. А здесь. А почему вот тут вопросительный знак. А вот тут почему «чушь» на полях.

Она отвечала.

Сначала осторожно, медленно, подбирая слова, — как идут по льду, проверяя, выдержит ли. Потом — увереннее. Потом — увлекаясь. Она говорила о Бокле и о Дарвине. О половом

отборе: что самка выбирает, а у людей выбирает тот, у кого деньги, и поэтому у людей природа перевёрнута. О Сеченове: что если мысль — рефлекс, то и рабство — рефлекс, привычка, нервы, натренированные кнутом, — а значит, можно натренировать обратно. О Бюхнере, которого она не поняла до конца, — что материя вечна и сила вечна, — и что тогда, значит, и злоба вечна, и её не надо стыдиться, её надо направить.

Она говорила о Писареве. О Базарове. О том, что Базаров умер глупо, от пореза на пальце, — и что Тургенев убил его нарочно, потому что не знал, что с ним делать. Что Тургенев боялся своего героя.

— А вы бы что с ним сделали? — спросил Соломин.

Она подумала.

— Дала бы ему топор, — сказала она.

Соломин молчал.

Она говорила о Достоевском. О Соне. О том, что Соня — это то, что мужчины хотят видеть в проститутке: святую, кроткую, спасающую. Что граф Толстой хочет того же. Что Гюго — тоже: Фантина. Что все они пишут одно и то же, потому что им так удобнее: плакать над шлюхой, а не бояться её.

— А чего бояться? — спросил он.

— Того, что она возьмёт топор, — сказала Маслова. — Раскольников взял — и сломался. Потому что он студент, барчук, у него мать и сестра, у него совесть. А Соня бы не сломалась. Соне терять нечего. Соню уже и так сломали — дальше некуда.

Соломин смотрел на неё через стол.

Свет зелёной лампы падал на его лицо, на седую бороду, на очки в стальной оправе, на морщины у глаз. Глаза за очками были серые, усталые, внимательные. И в них не было того, что она искала — того взгляда, того, что было у всех. В них было что-то другое. Удивление. Интерес. И что-то ещё — то, что бывает у людей, которые долго искали что-то в темноте и вдруг нащупали.

Он смотрел на неё как на мысль. Не как на тело.

Никто никогда так на неё не смотрел.

Тётушки смотрели как на собачку — милую, полезную, которую можно выгнать. Китаева — как на лошадь. Нехлюдов — сначала как на добычу, потом как на икону, теперь как на наваждение. Привалов — как на золотую жилу. Очумелов — как на награду. Карл Фёдорович — как на экспонат. Симонсон — Симонсон любил её, но и он смотрел как на ученицу, как на ребёнка, которого надо вести. Даже Лопухов, студент, который объяснял ей Дарвина, — даже он краснел и опускал глаза, потому что помнил её на столе, в красном, с поднятым подолом.

А этот старик в заплатанном пиджаке смотрел на неё так, будто тела у неё не было вовсе. Будто она была — голова. Голос. Мысль.

Она почувствовала, как у неё горят щёки. Впервые за долгое время — не от желания и не от злости. От другого. От того, что её увидели.

Читальню закрыли в восемь. Приказчик Иван гасил лампы, гремел ключами, поглядывал на них с любопытством.

На улице, у дверей магазина, Соломин остановился. Набил трубку. Закурил. Посмотрел на неё сквозь дым.

— Вы не учились, — сказал он. Не спросил — сказал.

— Тётушки. Грамоте. До шестнадцати.

— А потом?

Она помолчала. Посмотрела на него. Он не знал. Он сидел в углу читальни, за своими карточками, и не слушал сплетен. Он не знал, кто она.

Можно было не говорить.

— Потом — дом терпимости, — сказала она. — В Москве. Двенадцать лет. Потом суд — за отравление купца. Каторга. Помилование. Поселение. Теперь — дом Анны Марковны. На Болоте. У Ушайки.

Она смотрела ему в лицо. Ждала. Сейчас — сейчас будет. Сейчас он посмотрит иначе. Как все. Сначала на лицо, потом ниже.

Соломин затянулся. Выпустил дым. Посмотрел на неё — в лицо. Как прежде.

— Значит, вы — та самая, — сказал он. — Тысячная. Иван рассказывал. Я не слушал.

— Та самая.

Он помолчал.

— Двенадцать лет в публичном доме, — сказал он. — И потом — Бокль, Дарвин, Сеченов, Писарев, Бюхнер. За месяц. И спорите с ними на полях. — Он покачал головой. — Знаете, сколько студентов у нас в университете читали Бокля? Я вам скажу: ни одного. Они читают учебники. И медицинские атласы — там картинки.

Он постучал трубкой о каблук.

— Мне всё равно, где вы живёте, Екатерина Михайловна, — сказал он. — Мне интересно, что вы думаете. Приходите в воскресенье. Ко мне. Я живу тут недалеко, у Ушайки, на Магистратской. В пять часов. Будет чай. Будут книги. Ещё будут люди — немного, двое-трое. Студенты. Один ссыльный. Мы читаем и говорим.

— Кружок? — спросила она.

Он усмехнулся в бороду.

— Чай с книгами, — сказал он. — Кружки запрещены.

В воскресенье она пришла в пять.

В сером. Без помады. С книгой под мышкой — Лавров, «Исторические письма», симоновский экземпляр, с его пометками на полях и с её пометками поверх его.

Соломин жил в мезонине деревянного дома на Магистратской, над лавкой шорника. Маленькая комната со скошенным потолком — как у неё в доме Анны Марковны, только чище и беднее. Железная кровать, застеленная серым солдатским одеялом. Стол, заваленный бумагами. Самовар. И книги — везде. На полках, на подоконнике, на полу стопками, под кроватью. Книги с оторванными обложками, книги в самодельных переплётах, книги без титульных листов — так прячут запрещённые. Портрет на стене — маленький, вырезанный из журнала, в самодельной рамке: женщина с тонким лицом и светлыми волосами, гладко зачёсанными назад.

Маслова остановилась перед портретом.

— Перовская, — сказал Соломин, увидев её взгляд.

Она обернулась.

— Вы её знали?

Соломин помолчал. Снял очки. Протёр.

— По процессу ста девяноста трёх, — сказал он. — Семьдесят седьмой — семьдесят восьмой год. Нас судили вместе. Двести человек на скамье. Её оправдали. Меня — нет. — Он надел очки. — Она была маленькая. Ниже вас. Светловолосая, с косой. Смеялась. Как девочка. Никто бы не подумал.

— А потом — Екатерининский канал.

— Да, — сказал он. — Первое марта. Платок. Бомба. Царь. Виселица на Семёновском плацу. Двадцать семь лет ей было. — Он помолчал. — Как вам сейчас.

Маслова смотрела на портрет. На тонкое лицо, на светлые волосы, на спокойные глаза.

Маленькая. Светловолосая. Смеялась как девочка. И махнула платком.

— Безумству храбрых, — сказал Соломин тихо, будто про себя, глядя на портрет, — поём мы песню.

Потом пришли другие.

Лопухов — он вошёл и, увидев её, стал пунцовым, и уронил фуражку, и долго её поднимал. Ещё один студент, медик, тощий, чахоточный, с горящими глазами, — Кирсанов, его звали, и он больше молчал и смотрел на неё с подозрением. И ссыльный — средних лет, в косоворотке, с рыжеватой бородой, с рабочими руками, — бывший наборщик из Киева, сосланный за подпольную типографию; его звали Рахметов, и Маслова чуть не засмеялась, услышав фамилию, — у Чернышевского был Рахметов, который спал на гвоздях, чтобы закалить волю. Этот на гвоздях, кажется, не спал. Он пил чай вприкуску и говорил мало, но веско.

Они сидели за столом, пили чай из самовара, ели баранки. Соломин читал вслух — Михайловского, «Что такое прогресс?», — останавливался, спрашивал. Они спорили.

Маслова сначала молчала. Слушала. Смотрела. Как смотрела на книги Эммы Эдуардовны, на механику дома, — изнутри. Она видела, как Лопухов краснеет каждый раз, когда хочет что-то сказать, и не говорит. Как Кирсанов злится и кашляет. Как Рахметов слушает, склонив голову, и молчит, и вдруг роняет одну фразу — и все замолкают. Как Соломин ведёт их — мягко, терпеливо, как ведут лошадей по узкой тропе.

Михайловский писал о борьбе за индивидуальность. Что прогресс — это не то, что общество усложняется, разделяется, специализируется, как думал Спенсер, — а то, что человек становится цельным. Что каждый должен быть всем: и пахарем, и мыслителем. Что разделение труда калечит человека — делает из него палец, руку, ногу, а не целое тело.

Лопухов говорил что-то о том, что это прекрасно, но утопично.

Кирсанов говорил, что Михайловский — либерал и болтун.

Рахметов молчал.

И тогда заговорила Маслова.

— Он прав, — сказала она. — Михайловский. Про палец.

Все обернулись.

— У Анны Марковны, — сказала она спокойно, — пятнадцать девушек. Каждая — палец. Одна — для тех, кто любит толстых. Другая — для тех, кто любит худых. Третья — для тех, кто любит девочек. Четвёртая — для тех, кто любит француженок. — Она помолчала. — Нас специализируют. Как на фабрике. Каждая — одна функция. Одно отверстие.

Лопухов стал малиновым. Кирсанов перестал кашлять.

— И у Привалова на приисках так же, — продолжала она. — Один мужик моет, другой копает, третий везёт. Палец, рука, нога. И у вас в университете — так же. Один учит кости, другой — нервы, третий — кровь. Никто не знает целого человека. — Она посмотрела на Лопухова. — Вы, Дмитрий, знаете, где у человека печень. А где у человека совесть — знаете?

Лопухов открыл рот и закрыл.

— Михайловский прав, — сказала она. — Только он думает, что это можно исправить. Учением. Книжками. Тем, что каждый будет и пахарем, и мыслителем. — Она повернулась к Соломину. — А я думаю — нельзя. Пока есть Анна Марковна. Пока есть Привалов. Пока есть тот, кому выгодно, чтобы мы были пальцами. Они не дадут. Им нужны пальцы. Целые люди им не нужны — целые люди опасны.

— И что же тогда? — спросил Соломин. Тихо.

— Тогда надо сначала убрать тех, кому выгодно, — сказала она. — Потом уже учиться.

Тишина.

Рахметов поставил стакан. Посмотрел на неё — первый раз за вечер прямо. Глаза у него были светлые, холодные, внимательные.

— Ткачёв, — сказал он.

Она не поняла.

— Ткачёв, — повторил Рахметов. — Пётр Никитич. Был такой. Писал, что народ сам ничего не сделает. Что меньшинство — сильное, сознательное, решительное — должно взять

власть. Сначала взять, потом просвещать. Якобинец. Его наши не любили. Лавров с ним спорил. — Он помолчал. — Вы говорите, как Ткачёв.

— Я его не читала.

— Прочтёте, — сказал Рахметов. И снова взял стакан.

Соломин спорил с ней до ночи.

Остальные ушли — Лопухов, оглядываясь на неё у двери, Кирсанов, кашляя, Рахметов, не прощаясь. Они остались вдвоём, за столом, над остывшим самоваром, над раскрытыми книгами. Свеча оплывала.

Он говорил о семидесятых. О хождении в народ. Как они — студенты, барышни, юноши из хороших семей, — тысячи их, — пошли в деревни, переодевшись в мужицкое, учиться ремёслам, учить мужиков грамоте, говорить им о земле и воле. Как мужики слушали — и выдавали их становому. Как их арестовывали сотнями. Как они сидели годами в предварилке, ожидая суда. Как процесс ста девяноста трёх. И что Кара — это каторжная тюрьма за Байкалом, где он отморозил пальцы.

— Мы думали, народ поднимется, — говорил он. — Стоит только сказать ему правду. А народ не поднялся. Народ нас сдал. Потому что народ был тёмный. Потому что не понимал. Потому что ему поп сказал, что царь — от Бога. — Он помолчал. — И тогда наши разделились. Одни сказали: надо учить. Терпеливо. Долго. Поколениями. Пока народ не поймёт. Другие сказали: нет времени. Надо бить. По голове. По царю. Тогда всё рухнет само.

— Народная воля, — сказала она.

— Народная воля. — Он кивнул. — Они убили царя. Первого марта. И что? Новый царь. Хуже старого. Победоносцев. Реакция. Всех повесили, всех сослали. Ничего не рухнуло. — Он посмотрел на неё. — Народ даже не заметил. Мужики говорили, что царя убили баре, за то, что он дал им волю.

— Значит, плохо били, — сказала Маслова.

Соломин вздрогнул.

— Значит, — сказала она, — били не туда. Одного царя. А надо — всех. Всю цепь. От Анны Марковны до Победоносцева. От Очумелова до губернатора. От Привалова до… — она не договорила.

— Вы понимаете, что говорите? — спросил он тихо.

— Понимаю.

— Вы говорите о терроре. О массовом терроре. О крови.

— Я говорю о суде, — сказала она. — Над живыми и мёртвыми. Это не я придумала. Это в Символе веры.

Он смотрел на неё долго.

Потом встал. Подошёл к окну. Стоял спиной к ней, глядя в темноту, на Ушайку, на Болото, на гору с костёлом. Курил.

— Знаете, Екатерина Михайловна, — сказал он, не оборачиваясь, — я тридцать лет в этом. С шестидесятых. Я видел многих. Студентов, барышень, рабочих, поповичей, дворян. Видел горячих и холодных. Видел тех, кто бросил бомбу, и тех, кто бросил всё и пошёл в монахи. — Он помолчал. — Таких, как вы, не видел.

Она молчала.

— У вас есть то, чего не было у нас, — сказал он. — У нас было сострадание. Мы шли в народ, потому что жалели его. Мы чувствовали вину — за то, что мы сыты, а он голоден. Кающиеся дворяне, как говорил Михайловский. Вина — это был наш мотор. — Он обернулся. — А у вас вины нет. У вас — счёт. Вы не кающаяся. Вы — кредитор. Вы пришли взыскивать.

— Да, — сказала она.

— Это страшно, — сказал он. Не осуждая. Констатируя.

— Да.

— И это может быть сильнее всего, что было у нас.

Она посмотрела на него.

Он стоял у окна — старый, сутулый, в заплатанном пиджаке, с изуродованной рукой, с трубкой. И смотрел на неё. И в его серых усталых глазах за очками был страх. И уважение. И — она увидела это и не поверила — надежда.

— Я вас не буду отговаривать, — сказал он. — Это бесполезно. Я вижу. — Он вернулся к столу. Сел. — Но я вам скажу одно. Вы читаете как попало. Бокль, Дарвин, Бюхнер, Достоевский, Гюго — всё в кучу. Это хорошо для начала. Это как первая любовь — без разбора, жадно, всё сразу. Но если вы хотите судить мир — вам надо знать, как он устроен. Не кусками. Целиком. По порядку.

Он взял лист бумаги. Обмакнул перо. И начал писать.

Он писал долго. Список. Медленно, обдумывая каждую строчку, иногда зачёркивая, иногда возвращаясь.

Она сидела и смотрела, как он пишет. Как движется перо. Как изуродованная левая рука придерживает лист.

Потом он протянул ей бумагу.

Сначала — история. Чтобы понять, как мир стал таким.

Шлоссер. Всемирная история (есть у П. И.).

Гизо. История цивилизации в Европе.

Мишле. История французской революции — по-французски, если можете.

Луи Блан. То же.

Потом — политическая экономия. Чтобы понять, кто кого кормит.

Милль. Основания политической экономии — с примечаниями Чернышевского (у меня).

Флеровский. Положение рабочего класса в России.

Маркс. Капитал. Том первый. Есть русский перевод, семьдесят второго года. Разрешён цензурой, потому что цензор решил, что его никто не поймёт. Вы — поймёте.

Потом — социализм. Чтобы понять, что может быть иначе.

Прудон. Что такое собственность?

Герцен. С того берега. Былое и думы.

Лавров. Исторические письма (у вас есть).

Михайловский. Что такое прогресс? Борьба за индивидуальность.

И только потом — Бакунин. И Ткачёв. И остальное.

По порядку. Не прыгайте. Год, может быть, два.

Она прочитала. Подняла глаза.

— Мишле, — сказала она. — По-французски. Я смогу.

— Вы учите французский?

— Три недели.

Он снял очки.

— Три недели. И вы думаете, сможете прочесть Мишле?

— К Рождеству, — сказала она.

Соломин смотрел на неё. Потом засмеялся. Тихо, в бороду, — первый раз за весь вечер.

— К Рождеству, — повторил он. — Ну что ж. Посмотрим.

Она шла домой ночью, по Магистратской, вдоль Ушайки, к Болоту. С листком бумаги за корсажем — рядом с жёлтым билетом.

Было тихо. Город спал. Где-то на горе, у полицейского управления, на каланче, стоял дозорный и смотрел, нет ли дыма. Над Ушайкой поднимался туман. Пахло тиной, дымом, сырой землёй.

Она думала о Соломине.

О том, как он смотрел на неё. Только в лицо. В глаза. Как на мысль.

Вот почему, подумала она. Вот почему — они. Не толстовцы с их Евангелием и Вечной Женственностью, под которой стоит хуй. Не марксисты, о которых она пока только слышала от Рахметова, — что они считают всё через экономику и людей считают классами. Не либералы с их земствами. Не попы.

Народники.

Потому что они — первые, кто посмотрел на неё не как на тело.

Для Нехлюдова она была телом, которое надо спасти. Для Привалова — телом, которое можно купить. Для Очумелова — телом, которое можно смотреть. Для графа — телом, которое должно покаяться и воскреснуть. Для Анны Марковны — телом, которое приносит доход. Для Карла Фёдоровича — телом, в которое вставляют зеркало.

А для Соломина она была — головой. Голосом. Мыслью. Человеком, который спорит с Боклем на полях.

Перовская тоже была женщиной. Маленькой, светловолосой. Её тоже, наверное, видели телом — пока она не махнула платком. А потом её видели только как то, что она сделала.

Вот что ей нужно. Чтобы её видели по тому, что она сделает.

Тело — оружие. Она знала это. Она будет пользоваться им дальше — у Анны Марковны, с Нехлюдовым, с Приваловым, с кем захочет. Ей это нравилось. Она не собиралась от этого отказываться.

Но голова — тоже оружие. И голову они увидели. Первые.

За это — она останется с ними.

Дома, в угловой комнате, при свече, она переписала список Соломина в клеёнчатую тетрадь. Аккуратно. Слово в слово. Потом приписала внизу:

«Соломин. Василий Петрович. Народник. Процесс 193-х — с Перовской. Кара. Два пальца.

Смотрел в лицо. Только в лицо. Весь вечер.

Первый.

Сказал: вы кредитор. Вы пришли взыскивать.

Да.

Сказал: читайте по порядку. История — экономия — социализм. Потом Бакунин.

Буду.

Рахметов сказал: Ткачёв. Найти. Он мститель, как я.

Мишле по-французски — к Рождеству».

Она закрыла тетрадь. Посмотрела на портрет, который нарисовала в памяти: маленькая, светловолосая, с косой, смеётся как девочка.

Двадцать семь лет. Как ей.

Она погасила свечу.

Внизу, в зале, тапёр играл вальс. Кто-то смеялся. Кто-то поднимался по лестнице. Был воскресный вечер. Анна Марковна, наверное, уже крестилась, что тысячной нет в зале.

Пусть подождут.

3.6. Успение

Пятнадцатого августа на горе звонили с утра.

Звонили все колокола Томска — соборные, приходские, монастырские, — и звон стекал с горы вниз, на Болото, как стекает вода после дождя, и стоял над Ушайкой густо, тяжело, медно. Успение. Последний большой праздник лета. Конец поста. Конец жатвы. Богородица уснула — и тело её, не тронутое тлением, взяли на небо.

Маслова проснулась от звона и долго лежала, слушая.

Она помнила Успение у тётушек. Как пекли пироги из нового хлеба. Как ходили к обедне, и в церкви посреди храма лежала плащаница Богородицы — вышитая на шёлке, в цветах, — и все прикладывались. Как тётушка Марья Ивановна плакала над ней и говорила, что Пречистая не умерла, а уснула, и Сын пришёл и взял её душу на руки, как младенца, а потом и тело. Пречистое тело. Нетленное.

Она лежала на смятой простыне — одна, гость ушёл до рассвета — и думала о теле Богородицы.

Пречистое. Девственное. Нетленное. Взятое на небо.

И о своём. Которое взяли сотни. Тысячи, может быть, — она давно перестала считать. Которое продавали Китаева, Анна Марковна и она сама. Которое смотрел в зеркало Карл Фёдорович. Которое было — тлен, грех, мерзость, Вавилон.

Одно и то же тело. Две руки, две ноги, грудь, живот, лоно. У Богородицы — такое же. Из такого же лона вышел Сын. Через такое же лоно, через какое она родила своего ребёнка, умершего в воспитательном доме безымянным.

Почему одно — пречистое, а другое — мерзость?

Потому что так решили мужчины. Попы. Отцы церкви. Граф. Те, кто строит храмы из слов, чтобы не видеть болота. Им нужна была Дева — чтобы молиться. И им нужна была Блудница — чтобы ходить к ней по ночам. И они разделили одно тело на два. Верх и низ. Гору и Болото. Икону и красный фонарь.

Она засмеялась, лёжа в постели под звон колоколов.

Её звали Любовь. У Китаевой. А мать Богородицы звали Анна. Как Анну Марковну. Как Нана.

Всё перепуталось. Всё было одно.

Она встала, умылась, оделась в серое и разложила на столе всё, что у неё было.

Она делала это иногда, по утрам, когда никто не мешал: раскладывала и смотрела, как купец смотрит на свой товар, как генерал — на карту. Перебирала. Пересчитывала. Это было похоже на молитву.

Деньги. Две кучки. В одной — её собственные: две тысячи сто сорок рублей. За два месяца. Треть от того, что она принесла дому. Больше, чем Анна Марковна платила полицмейстеру за десять лет. Больше, чем Карл Фёдорович получал за год. В другой — касса. Шестьсот пятьдесят рублей. Нехлюдовские сотни по понедельникам. Паратовские полусотни по средам. Записано в синей тетради, по-французски: *Caisse. Recettes.*

Золотые часы с гравировкой «Митеньке в день совершеннолетия. Мама». Они тикали.

Самородок в замше. Тяжёлый, бугристый, как сжатый кулак. Как вынутое сердце.

Осколок фарфорового чайника с белым осадком на донышке. Завёрнутый в Женькин платок.

Жёлтый билет. «Особых примет — нет».

Бумажный венчик. «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас». Пожелтевший, с загнутым краем.

Три тетради. Клеёнчатая светлая — симонсоновская, с клятвой. Чёрная — «Книга живых», уже на три четверти исписанная: Привалов, Нехлюдов, Очумелов, Головин, Паратов, полицмейстер, пристав, околоточный, консистория, Эмма Эдуардовна, Анна Марковна, Нана. Синяя — французские слова, касса, учебные фразы.

И листок, исписанный рукой Соломина. Список. Шлоссер, Гизо, Мишле, Милль, Маркс, Прудон, Герцен. И только потом — Бакунин.

Она смотрела на всё это.

Вот оно — её войско. Её арсенал. Её мощи. Её иконостас.

Часы — от того, кто её погубил. Самородок — от того, кто убил. Осколок — от той, кто хотела её убить. Билет — от тех, кто её записал. Венчик — от того, кто её любил. Тетради — её собственные. Деньги — их. Всех. Тех, кто покупал.

Она стала считать. Не деньги — другое.

Тело. Она научилась им пользоваться так, как никогда не умела у Китаевой. Оно приносило деньги, власть, сведения. Оно ставило на колени Паратова и сбивало с толку Привалова. Оно ломало Нехлюдова каждый понедельник. Оно было лучшим оружием в доме.

Деньги. Две тысячи сто сорок своих. Шестьсот пятьдесят в кассе. Она могла бы завтра уехать из Томска — если бы не поселение. Могла бы выкупить двух, трёх девушек. Могла бы снять квартиру на горе.

Тетрадь. В ней было всё: кто сколько берёт, кто кого боится, кто кому должен, кто к кому ходит по вторникам. Механика. Цепь. Колёсико за колёсиком.

Языки. Три недели французского. Она уже читала Гюго — медленно, с Макаровым, но читала.

Страх. Её легенда. Отравительница. Тысячная. Та, что может. Девушки боялись её. Гости боялись. Даже Анна Марковна, кажется, боялась.

Люди. Настя — покорная, преданная, послушная, как собака. Женька — злая, умная, спасшая ей жизнь, готовая «хоть в огонь». Эмма Эдуардовна — не друг, но союзник по арифметике. Соломин и его чай с книгами.

Шесть оружий. Семь, если считать Соломина отдельно.

Она смотрела на них — и ей вдруг стало холодно. Не от сквозняка. Изнутри.

Потому что ни одно из них ещё ничего не изменило.

Анна Марковна по-прежнему сидела в своей комнате перед иконами с красной лампадой и пила чай с брусничным вареньем. Эмма Эдуардовна по-прежнему вела серые книжечки, и долг у Женьки рос: теперь пятьсот девяносто два рубля, включая рубль восемьдесят за разбитый чайник. Привалов по-прежнему владел тремя приисками, и в тайге его артельщики по-прежнему брали в долг муку втрое дороже, чем в городе. Очумелов по-прежнему выдавал жёлтые билеты. Карл Фёдорович по-прежнему вставлял зеркала. Головин по-прежнему ходил по вторникам. Консистория по-прежнему получала «на храм».

Нехлюдов по-прежнему ел стерлядь.

Да, она ставила их на колени. По одному. В постели. В угловой комнате. Ночью. А утром они вставали, надевали мундиры и поддёвки, и шли наверх, на гору, и правили городом. И ничего не менялось.

Она была как Женька. Как её сулема. Месть по одному. Каждому, кто пришёл. В постели.

Соломин сказал: вы кредитор. Вы пришли взыскивать.

Но она взыскивала с должников по одному — а банк стоял.

Она надела платок и пошла на гору.

Не в красном. В сером. Невидимая. Поднималась по земляным ступеням Воскресенской горы — той самой дорогой, которой по субботам водили девушек на осмотр. Наверху звонили. Люди шли к обедне — нарядные, в праздничном: купчихи в шёлковых платьях и шалях, чиновники в мундирах, мещанки с узелками, в которых освящённый хлеб. Барышни с зонтиками.

Гимназисты в парадных фуражках. Тот самый рыжий, что свистел ей в субботу, — шёл с матерью, чинный, умытый, с иконкой в руках.

Её никто не узнавал.

Она шла сквозь праздничную толпу, как невидимка. Мимо костёла, где тоже шла служба — у католиков своё Успение, раньше, по новому стилю, но двери были открыты, и пахло ладаном. Мимо дома Бакунина. Дальше, вглубь города.

Туда, где строили собор.

Она видела его издалека, с Болота, каждый день — огромную тёмную громаду на холме, в лесах, — и никогда не подходила близко. Троицкий собор. Его строили уже сорок пять лет. Начали ещё при Николае Первом, и купол рухнул, когда его почти достроили, и начали заново, и строили, и строили, и деньги кончались, и снова собирали, и снова строили. Говорили, что достроят к концу века.

Теперь она стояла перед ним.

Он был огромный. Каменная гора, кирпичные стены в два человеческих роста толщиной, пустые глазницы окон, леса — деревянные, серые, ветхие, — опутывали его со всех сторон, как паутина. Купола не было. Только барабан, круглый, пустой, открытый небу. Внутри — она заглянула в пролом стены — внутри было пусто. Мусор, битый кирпич, лужи, голуби. Ни иконостаса, ни икон, ни алтаря. Каменный скелет храма, который сорок пять лет не могут достроить.

Вокруг, за оградой, стояли нищие. Как у всякой церкви. Ждали праздничной милостыни.

Маслова смотрела на собор.

Она вспомнила Нехлюдова — в ту первую июньскую ночь, у двери её комнаты, когда он говорил о прощении и венчании, и она видела, как он строит храм из слов, кирпич за кирпичом. Как храм поднимается — белый, высокий, чистый. Как он прячется в нём от болота.

А потом храм рухнул.

Вот он. Храм. Каменный. Сорок пять лет строят — и не могут достроить. Купол рухнул однажды. Рухнет снова.

Всё, что они строят, — недостроено. Всё, чем они защищаются, — в лесах. Пустое внутри. Голуби и лужи.

Она стояла перед пустым собором, и колокола звонили со всех сторон, а этот — молчал, потому что у него не было колоколов.

Нищая у ограды тронула её за рукав.

Старуха. Сгорбленная, в лохмотьях, с лицом, похожим на печёное яблоко, с белыми слепыми глазами. Протянула руку — сухую, скрюченную.

— Подай, милая, Христа ради. На Успенье. Пречистой ради.

Маслова достала из кармана рубль. Серебряный. Положила в скрюченную ладонь.

Старуха ощупала монету пальцами. Поднесла к слепым глазам, будто могла увидеть. Потом вдруг подняла лицо — к Масловой — и сказала странным, ясным голосом:

— Ты не наша.

Маслова замерла.

— Ты не наша, — повторила старуха. — Ты с того берега. Я слышу. От тебя рекой пахнет. И огнём.

Она перекрестилась. И отвернулась, бормоча.

Маслова постояла. Потом пошла прочь.

Вечером она не спустилась в залу.

Она послала Настю сказать Анне Марковне, что больна. Настя пришла обратно, встала на колени у её кровати, взяла её руку, поцеловала. Посмотрела снизу вверх — светлыми глазами, в которых уже не было прежнего ужаса. Было что-то другое. Ожидание.

— Что прикажете, Катерина Михайловна?

Маслова смотрела на неё.

За две недели Настя изменилась. Она подавала в зале в голубом — и уже не дрожала. Уже не пыталась прикрыть грудь. Уже не вырывалась, когда гость задерживал её за руку, — только смотрела наверх, на угловую лестницу, и гость отпускал. Купцы спрашивали Анну Марковну, сколько стоит голубая подавальщица. Анна Марковна разводила руками и говорила: не продаётся. Пока.

А в понедельник — после той ночи с Нехлюдовым, после всего — Настя пришла к ней на рассвете, когда он ушёл, и лежала на коврике у кровати, и шёпотом рассказывала про уголёк под золой. И просила прощения. И плакала. А потом — Маслова помнила это — потом Настя спросила, тихо-тихо, почти беззвучно:

— А он ещё придёт? Князь? В понедельник?

И покраснела. До слёз.

Маслова тогда ничего не ответила. Только погладила её по голове.

Теперь она смотрела на Настю, стоящую на коленях у кровати, — светлые волосы, голубой шёлк, белая шея, — и думала: два месяца. Она обещала Анне Марковне два месяца. Прошло три недели. Настя уже наполовину там.

Орудие. Хорошее орудие.

— Ничего, — сказала Маслова. — Спи. Здесь. На коврике.

Настя легла. Свернулась. Закрыла глаза.

Ночью Маслова сидела над листком Соломина.

Свеча горела ровно. Внизу играл тапёр. Смеялась Нана — снова смеялась, снова на коленях у кого-то, отчаянно, громко, — после разоблачения её цена упала вдвое, и она брала теперь всех, кто приходил, даже приказчиков. Женька за стеной кашляла — сухо, надсадно; Маслова слышала этот кашель каждую ночь и знала, откуда он.

Шлоссер. Гизо. Мишле. Милль. Маркс. Прудон. Герцен. По порядку. Год, может быть, два.

Соломин сказал: если хотите судить мир, надо знать, как он устроен.

Она раскрыла чёрную тетрадь. Перелистала. Привалов. Нехлюдов. Очумелов. Головин. Паратов. Полицмейстер — двадцать пять рублей. Пристав — десять. Околоточный — пять. Карл Фёдорович — «особо». Консистория — «на храм». Коричневая книга у Эммы — вторая полка конторки, слева.

Вот она — механика. Она её видела. Она её записала.

Но она видела только один дом. Одно Болото. Один кусок цепи. А цепь шла дальше — наверх, на гору, к губернатору, в Петербург, к министрам, к Победоносцеву, к царю. И вбок — к приискам Привалова, к пароходам, к баржам с переселенцами, к хозяйской лавке, где мука втрое дороже. И вниз — к тем, кто в тайге моет золото, к тем, кто тянет баржи, к тем, кто рожает в избах. Это была не цепь. Это была сеть. Огромная, как Обь. Как тайга. И она держала в руках одну нитку.

Чтобы порвать сеть, надо знать, где узлы.

Она взяла перо. И написала в светлой, симонсоновской тетради — не в чёрной:

«Успение.

Разложила всё. Деньги. Часы. Самородок. Осколок. Билет. Венчик. Тетради.

Оружий много. Тело. Деньги. Тетрадь. Языки. Страх. Настя. Женька. Соломин.

Ни одно ещё ничего не изменило.

Я мщу по одному. В постели. Как Женька своей сулемой. Утром они встают и идут править.

Это не суд. Это — сведение счётов.

Суд — это когда рушится весь дом.

Сначала — этот. Анны Марковны. Дом на Болоте. Изнутри. Я знаю, как он устроен. Касса, девушки, долговые книжки, коричневая книга. Весной его не будет.

Потом — понять, как устроен весь мир. Соломин: история, экономия, социализм. По порядку.

Потом — ударить.

Собор на горе строят сорок пять лет. Купол рухнул однажды. Рухнет снова.

Нищая сказала: ты с того берега. От тебя пахнет рекой и огнём.

Сначала понять. Потом ударить.

Мишле — к Рождеству».

Она перечитала. Закрыла тетрадь.

Потом взяла с полки первый том Шлоссера — толстый, тяжёлый, в кожаном переплёте, выданный утром Иваном у Макушина со словами «Это вам надолго». Раскрыла на первой странице.

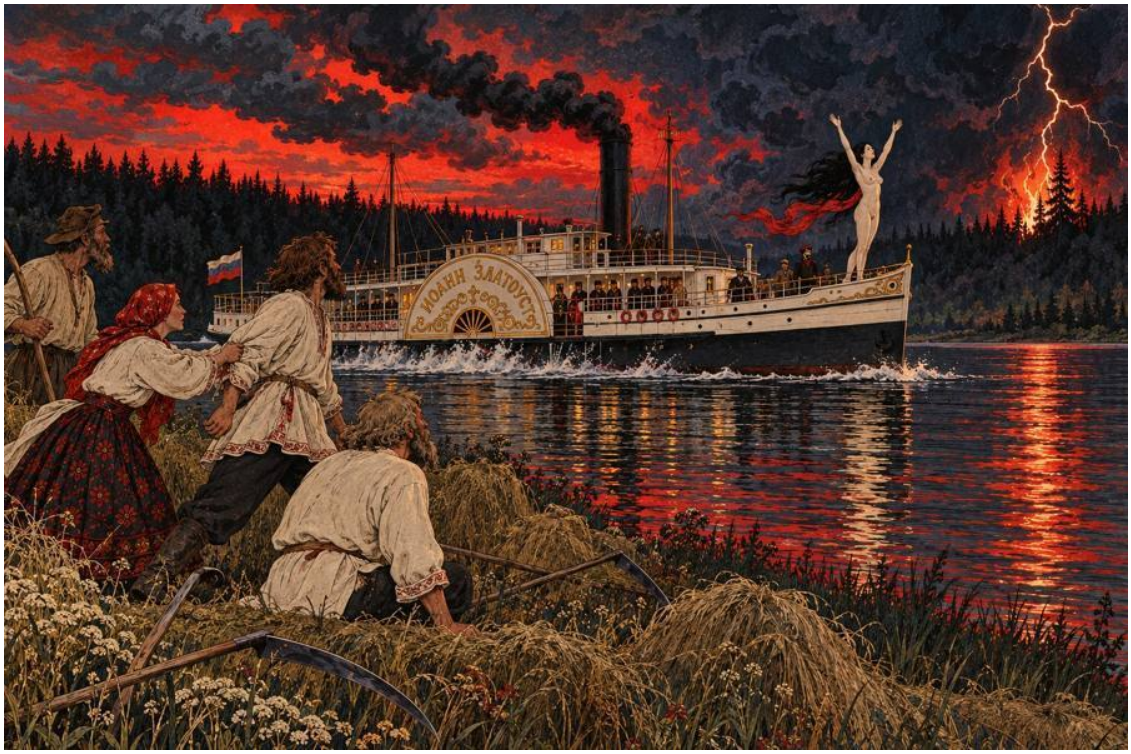
«Всемирная история для немецкого народа».

Первая глава. Древний Восток. Египет. Фараоны. Рабы, строящие пирамиды.

Она читала. Свеча горела. Внизу играл вальс. За стеной кашляла Женька. На коврике у кровати спала Настя, держась рукой за край простыни. В окне, над Ушайкой, над Болотом, над горой с недостроенным собором, стояла луна — полная, жёлтая, августовская, как самородок.

На столе тикали часы с гравировкой «Митеньке».

Конец лета.



Глава 4. Озеро огненное

И смерть и ад повержены в озеро огненное.

Откровение, 20:14

4.1. Канкан

— Выше, — сказала Маслова. — Выше, Настя. До плеча.

Настя подняла ногу. До колена. Покачнулась, вскрикнула, схватилась за спинку кровати.

— Не могу, Катерина Михайловна…

— Можешь. Ещё раз.

Был конец сентября, полдень. В угловой комнате было жарко: последнее бабье лето стояло над Томском, тёплое, золотое, паутинное, и солнце било сквозь щели ставен полосами, и в полосах плясала пыль. Кровать отодвинули к стене. Стол — к окну. Посреди комнаты, на вытертом коврике, стояла Настя — в одной нижней юбке, белой, кружевной, в корсете, в чулках, — красная, мокрая, растрёпанная, со светлыми прядями, прилипшими ко лбу.

Маслова сидела на подоконнике, в сорочке, болтая ногой, и смотрела.

— Юбку бери, — сказала она. — Обеими руками. Вот так.

Она спрыгнула с подоконника, взяла подол сорочки обеими руками и — одним движением, легко, будто ничего не весила, — вскинула ногу вверх. Выше плеча. Выше головы. Носок вытянут, колено прямое, бедро белое, сильное, обнажённое до самого паха. Задержала. Опустила. И вскинула снова — другую.

Настя смотрела, раскрыв рот.

— Где… где вы научились?

— В Москве, — сказала Маслова. — У Китаевой. Была там одна девушка, Жозефина, — она в Париже служила, в кафешантане, пока не заболела. Она учила. Я тогда не хотела. А Китаева заставляла: канкан — дорого. — Она опустила ногу. — Теперь хочу.

Она подошла к Насте. Встала у неё за спиной. Положила ладонь ей на поясницу — горячую, влажную от пота под корсетом.

— Спину прямо, — сказала она тихо, в самое ухо. — Живот втяни. Подол — вот так. А теперь — не думай. Не думай о том, что видно. Пусть видно. Пусть смотрят. Ты не прячешь. Ты показываешь. Это другое.

Настя дрожала под её ладонью.

— Раз, — сказала Маслова. — Два. Три.

Настя вскинула ногу. Выше колена. Почти до бедра. Нижняя юбка взлетела, мелькнули кружева, белая кожа над чулком.

— Ещё.

Выше.

— Ещё!

Нога взлетела почти до плеча. Настя вскрикнула — от неожиданности, от боли в растянутых мышцах, от чего-то ещё — и упала бы, если бы Маслова не подхватила её сзади, обеими руками, под грудь.

Они стояли так секунду. Настя — тяжело дыша, прижавшись спиной к Масловой, красная, с закрытыми глазами. Маслова — держа её, чувствуя, как бьётся под ладонями её сердце.

— Хорошо, — сказала Маслова. — Очень хорошо.

И отпустила.

Они учились неделю.

Каждый день, в полдень, когда дом спал после ночи. Маслова напевала мотив — быстрый, бешеный, задыхающийся, — тот, под который танцевали у Китаевой, тот, который Жозефина привезла из Парижа. Она не знала, откуда он. Знала только, что французский. Что в Париже под него пляшут на сцене голые ноги, и юбки взлетают, как пена, и мужчины в цилиндрах бросают на сцену деньги.

Тапёр, плешивый, в засаленном фраке, услышав однажды, как она напевает, вдруг поднял голову от пианино и сказал:

— Оффенбах.

— Что?

— Оффенбах, — повторил тапёр. — «Орфей в аду». Галоп. Финал второго акта. — Он помолчал. Лицо у него стало странное, далёкое. — Я в Москве в оперетке играл. В оркестре. До того, как… — Он не договорил. — Это адский галоп, сударыня. Боги в аду пляшут. Юпитер, Венера, Купидон. Все пьяные. Все в аду.

— Сыграете?

Тапёр посмотрел на неё долго. Потом на клавиши. Положил руки. И заиграл.

Это было как будто кто-то выбил окно. Мотив ворвался в сонную залу — быстрый, бешеный, задыхающийся, весёлый до ужаса, — и пальцы тапёра, обычно вялые, путавшие ноты в вальсах, побежали по клавишам, как бегут крысы по полу, как бегут языки огня по сухой траве. Он играл, раскачиваясь, закрыв глаза. Он играл так, как, наверное, играл двадцать лет назад, в Москве, в оперетке, до того, как спился.

Орфей в аду.

Маслова вспомнила Нехлюдова — в ту июньскую ночь, на спуске с горы, бормочущего что-то об Орфее, который спускается в ад за своей Эвридикой. Он думал, что спасает её. Что выведет её к свету.

А в аду, оказывается, пляшут. Канкан.

Она засмеялась. И скинула туфли. И вскочила на стол в пустой зале — в дневном сером платье, в чулках, — и вскинула ногу под Оффенбаха, под адский галоп, выше головы.

Тапёр открыл глаза. Посмотрел. И заиграл быстрее.

Вечером, в пятницу, они вышли вдвоём.

Зала была полная: Маслова попросила Анну Марковну пустить слух. «Будет канкан. Парижский. Тысячная пляшет». Слух обошёл Почтамтскую за день. Пришли все. Офицеры. Купцы. Чиновники. Студенты — Лопухов в углу, пунцовый, с фуражкой на коленях; Кирсанов рядом, кашляющий, с горящими глазами, пришедший «изучать». Паратов — была пятница, не среда, но он пришёл. Очумелов — была пятница, не четверг, но и он пришёл, в штатском, с нафабренными усиками. Головин, товарищ прокурора, — сидел у стены с Нана, но смотрел на лестницу. Даже Привалов — хотя был не его день, не начало месяца, — сидел в своём кресле у стены, огромный, рыжебородый, со стаканом водки, и ждал.

Дубовый стол посреди залы освободили. Бутылки, бокалы, тарелки сдвинули на края. Столешницу вытерли до блеска.

Тапёр сидел у пианино трезвый. Впервые за десять лет — трезвый. Маслова дала ему три рубля и сказала: «Если будешь пьян — не будет канкана». Он не пил с утра. Руки у него дрожали. Он сидел, положив их на колени, и ждал.

В одиннадцать часов на лестнице показались двое.

Первой спускалась Маслова. В красном — в своём шёлковом, вишнёвом, с чёрным кружевом по вырезу. Но юбка была другая: она перешила её сама за неделю, с Настей, по ночам, — короче, до щиколотки, и под ней — пять нижних юбок, белых, кружевных, пенных, одна на другой. Чёрные чулки. Красные туфли на каблуке. Волосы распущены — чёрные, тяжёлые, — и в них красная роза. Прядь на глазах.

За ней — Настя.

В голубом. Тоже перешитом — короче, с пеной нижних юбок, белых, как у Масловой. Светлые волосы распущены, завиты. В волосах — белая роза. Белые чулки. Голубые туфли. Плечи открыты, грудь в вырезе — белая, полная, вздрагивающая от частого дыхания. Лицо — без пудры и румян: Маслова запретила. Щёки и так горели.

Настя шла, держась за перила. Ноги не слушались. Она смотрела вниз, на ступеньки, чтобы не видеть залы. Но видела — краем глаза — лица, лица, лица, все обращённые к лестнице. Слышала тишину — ту самую, что была в ночь аукциона. Тишину, в которой слышно, как падает капля.

На последней ступеньке она остановилась. Не могла дальше.

Маслова обернулась. Посмотрела на неё снизу вверх. И протянула руку.

Настя взяла её руку. Холодными, мокрыми, дрожащими пальцами.

Маслова сжала.

— Смотри на меня, — сказала она тихо. — Только на меня. Больше ни на кого. Их нет. Есть только я.

Настя посмотрела на неё. В тёмные, косящие, мокрые, как смородина после дождя, глаза.

И сошла с последней ступеньки.

Они поднялись на стол вместе.

Маслова — первая, с ноги, одним движением, как тогда, в ночь аукциона. Настя — следом, неловко, опершись на её руку, на стул, на чьё-то плечо, — купец в поддёвке охнул, когда её колено коснулось его плеча, — и встала рядом. Красное и голубое. Чёрное и белое. Тёмная и светлая. Две женщины на дубовом столе, над залой, над морем мужских голов.

Маслова кивнула тапёру.

Тапёр поднял руки над клавишами. Помедлил секунду. И ударил.

Адский галоп Оффенбаха ворвался в залу, как ворвался днём, — только громче, бешенее, отчаяннее, — и тапёр, раскачиваясь, закрыв глаза, гнал его вперёд, всё быстрее, всё выше, как гонят взбесившуюся тройку под гору.

И Маслова вскинула ногу.

Красная юбка взлетела. Пять белых нижних — пеной. Чёрный чулок — до самого бедра. Белая кожа над ним. Красная туфля — выше головы, носком в потолок, в закопчённый потолок залы, под которым висела лампа.

Зала ахнула. Вся сразу. Как один человек.

И Маслова вскинула другую.

И пошла.

Она плясала так, как никогда не плясала у Китаевой. Там это была работа — Китаева стояла в дверях и смотрела, правильно ли, высоко ли. Здесь это было — другое.

Ноги взлетали сами. Сильные, крепкие, такие, что не вырвешься, ноги, которые кололи сибирские дрова и таскали воду из проруби. Юбки взметались и падали, взметались и падали, красные и белые, как пламя и пена. Каблуки стучали по дубовой столешнице, как пули. Волосы хлестали по плечам. Красная роза вылетела из волос и упала в залу — кто-то поймал, кто-то прижал к губам.

Она смеялась. Громко, хрипло, запрокинув голову, — на весь дом, на всё Болото.

Она видела их — внизу. Лица. Красные, потные, с раскрытыми ртами, с выкаченными глазами. Офицеры вскочили на стулья. Купцы стучали кулаками по столам. Паратов плакал — от восторга, кажется. Очумелов забыл, что он в штатском и что его не должны здесь видеть, и хлопал в ладоши, как ребёнок. Лопухов в углу сидел пунцовый, вцепившись в фуражку. Привалов в своём кресле не двигался — только стакан в огромной руке дрожал, и водка плескалась через край.

Море. Опять море. Волны мужских голов, бьющихся о дубовый стол.

А она плясала над ним, как пляшут боги у Оффенбаха — в аду, пьяные, бессмертные, весёлые до ужаса.

Рядом плясала Настя.

Сначала — плохо. Деревянно. Испуганно. Ноги взлетали до колена, не выше. Юбку она держала неловко, будто боялась, что увидят. Глаза были закрыты. Губы сжаты.

Маслова видела это краем глаза. Не останавливаясь, не сбиваясь с ритма, она повернулась к Насте, — лицом к лицу, — и поймала её взгляд.

Смотри на меня.

Настя открыла глаза. Посмотрела.

И Маслова вскинула ногу — прямо перед ней, выше головы, так что красная туфля мелькнула у самого Настиного лица.

И Настя — вскинула свою.

Выше колена. Выше бедра. До плеча.

Голубая юбка взлетела. Белые нижние — пеной. Белый чулок — до самого верха. Белая кожа — над ним, нежная, молочная, ещё никем не тронутая.

Зала взревела.

Настя услышала этот рёв. И что-то сломалось в ней — или, наоборот, срослось. Она вскинула другую ногу. И ещё. И ещё. Не думая. Не видя. Глядя только на Маслову — в её тёмные глаза, в её смеющийся красный рот, в её прядь, прилипшую ко лбу. Повторяя за ней — каждое движение, каждый мах, каждый поворот, как повторяет тень. Как повторяет рабыня.

Она плясала.

Светлые волосы разлетались. Белая роза выпала и потерялась. Грудь в голубом вырезе — она забыла о ней, забыла, что надо стыдиться, — поднималась и опускалась от частого дыхания, и вырез сползал, и никто не поправлял. Щёки горели — не от стыда. От другого. От жара. От музыки. От рёва внизу. От взгляда Масловой.

Она смеялась.

Маслова видела это. Видела, как Настя впервые засмеялась — не испуганно, не робко, а громко, звонко, запрокинув голову, как она сама. Видела, как в светлых Настиных глазах, всегда полных страха, вспыхнуло что-то — дикое, яркое, весёлое. Как у ведьмы на шабаше. Как у вакханки.

Орфей в аду. И Эвридика пляшет канкан.

Тапёр гнал галоп к концу. Быстрее. Быстрее. Пальцы летали по клавишам. Пот тёк по его плешивой голове. Он раскачивался, будто его било в лихорадке.

Последний аккорд.

Маслова упала в шпагат — прямо на дубовую столешницу, широко, на всю длину ног, — красная юбка разлетелась вокруг неё кругом, как лужа крови, как раскрытая роза, и пять белых нижних — пеной поверх. Руки вскинуты вверх. Голова запрокинута. Волосы — по спине до самого стола.

Настя упала рядом — неловко, наполовину, на одно колено, — но тоже вскинула руки.

Тишина.

Одна секунда. Две.

И зала взорвалась.

Офицеры вскочили и кричали «браво». Купцы швыряли на стол деньги — бумажки, монеты, кто-то бросил кошелёк. Паратов вскочил на стул и тоже что-то кричал, и плакал. Кто-то бросил бутылку шампанского — она разбилась у края стола, и пена потекла по дубу, по красной юбке. Кто-то орал: «Ананасы! Ананасы в шампанском!» — откуда он это взял? — и хохотал, как безумный.

Маслова поднялась из шпагата. Медленно. Гибко. Как поднимается кошка.

Она стояла на столе, над залой, тяжело дыша. Мокрая. Растрёпанная. С прядью на глазах. С красным ртом. С грудью, вздымающейся в вырезе.

И внутри у неё горело.

Это горело с самого начала — с первого маха ноги. С первого рёва залы. Горело и росло, как растёт пожар в сухом лесу, — сначала одна ель, потом соседняя, потом весь склон. Она чувствовала это всем телом: в ногах, гудевших от напряжения, в бёдрах, в животе, в груди,

в губах. Жар. Голод. Тот самый, что поднимался на дубовом столе в ночь аукциона, на носу парохода в Ильин день, на кровати с Приваловым. Только сильнее. Потому что сегодня она плясала. Потому что тело её только что полчаса летало над морем мужчин, показывая всё, — и тело хотело теперь, чтобы его взяли.

Немедленно. Сейчас.

Она обвела залу взглядом. Медленно. Из-под пряди. Как самка обводит стаю самцов.

Привалов — нет. Не сегодня. Он медленный. Он смотрит. Он будет сидеть и пить, а ей нужно сейчас.

Паратов — нет. Он плачет. Он будет стоять на коленях. Ей нужно другое.

Очумелов — смешно. Головин — с Наной. Лопухов — мальчик.

У двери стоял человек, которого она не видела раньше.

Офицер. Молодой, лет тридцати. Высокий, широкоплечий, в расстёгнутом кителе, с обветренным лицом и коротко остриженной головой. Не из томского гарнизона — она бы знала. Проезжий. С Дальнего Востока, может быть, или туда. Он стоял, привалившись к косяку, скрестив руки на груди, и смотрел на неё. Не кричал. Не хлопал. Не бросал деньги. Смотрел — тяжело, прямо, не мигая. Как волк смотрит из-за деревьев.

Сильная особь. Самка выбирает.

Она спрыгнула со стола. Прямо в залу. Мужчины расступились перед ней, как расступается вода перед пароходом.

Она прошла через залу. Мимо Привалова — тот поднял на неё медвежьи глазки, и стакан в его руке замер. Мимо Паратова — тот потянулся к ней и отдёрнул руку. Мимо Очумелова, мимо купцов, мимо офицеров. Прямо к двери. К незнакомцу.

Остановилась перед ним. Близко. Мокрая, горячая, пахнущая потом и шампанским.

Он смотрел на неё сверху вниз. Не улыбался.

— Пойдём, — сказала она.

Он не ответил. Взял её за руку — жёстко, крепко, без нежности, — и пошёл за ней к лестнице.

Зала смотрела им вслед. Вся. Молча.

Маслова поднималась по лестнице, держа незнакомца за руку, — и не оборачивалась. Все знали, куда она идёт. Все знали, что сейчас будет. И от этого — от того, что все знали, — жар внутри становился невыносимым.

На повороте лестницы она всё-таки обернулась. На мгновение.

Посреди залы, на дубовом столе, среди разбитых бутылок, разлитого шампанского, разбросанных денег, стояла Настя. Одна. В голубом. Растрёпанная, с распущенными волосами, с голыми плечами. И смотрела ей вслед.

Настю окружили.

Как только Маслова скрылась на лестнице, они подошли — сразу, все. Офицеры. Купцы. Паратов. Очумелов. Встали вокруг стола кольцом, как волки вокруг ягнёнка. Смотрели снизу вверх. На голубое. На белое. На горящие щёки. На грудь, вздымающуюся в вырезе.

— А ты? — сказал один офицер, рыжеусый, улыбаясь. — А ты с кем пойдёшь, голубушка?

— Со мной! — крикнул купец в поддёвке. — Пятьдесят!

— Шестьдесят! — крикнул кто-то.

— Сто! — Паратов. Опять Паратов. Он забыл, что по средам ему только смотреть.

— Ну? — Офицер протянул руку. — Слезай, красавица. Выбирай.

Настя стояла на столе. Смотрела на них — на кольцо лиц, красных, потных, жадных, на протянутые руки, на раскрытые рты.

И почувствовала это.

Не страх. Страх был тоже — он был всегда, он жил в ней с тех пор, как умерли мама и отец на пристани. Но под страхом было другое. То, что поднялось в ней, когда она плясала, глядя на Маслову. То, что горело в ней, когда она вскидывала ногу и зала ревела. То, что заставило её засмеяться. И теперь, когда Маслова ушла наверх с волком в расстёгнутом кителе, и все знали, зачем, — это горело в ней так, что она не могла дышать.

Ей хотелось.

Она не знала чего. Она не знала, как это называется. Она никогда этого не чувствовала. Но ей хотелось — так, что подкашивались колени, так, что горело внизу живота, так, что темнело в глазах. Ей хотелось, чтобы кто-нибудь из них — вот этот рыжеусый, или вот этот, с бородой, или кто угодно, — взял её за руку, как волк взял Маслову, и повёл наверх. И чтобы все знали.

Она испугалась этого больше, чем всего остального.

Она спрыгнула со стола — не в залу, не к ним, а в другую сторону, к буфету, мимо них, — и побежала. Через залу, мимо диванов, мимо пальмы в кадке, мимо Женьки у окна. К чёрной лестнице. Вверх. Путаясь в голубом подоле, в пене нижних юбок. Кто-то кричал ей вслед. Кто-то смеялся. Она не слышала.

Она бежала по коридору второго этажа — мимо дверей, мимо угловой комнаты, за дверью которой слышался скрип кровати и низкий, хриплый, знакомый смех, — и от этого смеха у неё подкосились ноги, и она упала на колени у самой двери, на половик, и замерла.

За дверью — она. И волк. И то, что делают.

Настя стояла на коленях у двери и слушала.

Она не хотела слушать. Она хотела встать и уйти — в свою каморку под лестницей, на свою узкую кровать, накрыться с головой одеялом. Но не могла встать. Колени не держали.

За дверью Маслова засмеялась снова. Потом застонала. Потом — крикнула. Тем самым криком. Хриплым, звериным, страшным. Тем, что Настя слышала снизу, из залы, в ту ночь, когда Привалов дал тысячу.

Настя закрыла лицо руками.

Щёки горели под ладонями. Горела шея. Горела грудь. Горело всё тело — от корней волос до кончиков пальцев на ногах. Внизу живота было горячо и тяжело, и мокро, и стыдно, — так стыдно, что хотелось умереть, — и так хорошо, что хотелось, чтобы это не кончалось.

Она стояла на коленях у двери своей госпожи, в голубом шёлке, с растрёпанными волосами, и плакала, и не знала, отчего.

Маслова нашла её там через час.

Незнакомец ушёл — молча, не прощаясь, оставив на столе десять рублей и синяки на её бёдрах. Она открыла дверь, чтобы выпустить его, — и увидела Настю. На половике у двери. Свернувшуюся, как собака. Спящую. С заплаканным лицом. С голыми плечами. В голубом.

Маслова присела рядом. Посмотрела.

Настя открыла глаза. Увидела её. Вздрогнула.

— Катерина Михайловна… — прошептала она. — Простите… я не хотела… я не подслушивала… я просто…

— Ты слышала, — сказала Маслова.

Настя опустила глаза. Кивнула.

— Тебя звали, — сказала Маслова. — Внизу. Сто рублей давали.

Настя кивнула снова.

— Ты убежала.

— Убежала…

— Почему?

Настя молчала долго. Потом подняла глаза — мокрые, светлые, растерянные — и сказала шёпотом, так тихо, что Маслова едва услышала:

— Потому что хотела.

Маслова смотрела на неё. Потом протянула руку и погладила по голове — по светлым растрёпанным волосам.

— Хорошая, — сказала она. — Хорошая девочка. Иди спать.

Настя встала. Пошатываясь. Пошла по коридору к чёрной лестнице. У лестницы обернулась.

— Катерина Михайловна, — сказала она. — А завтра… завтра опять будем? Плясать?

— Будем, — сказала Маслова.

Настя улыбнулась. Слабо, сквозь слёзы. И ушла.

Маслова закрыла дверь. Подошла к столу. Раскрыла чёрную тетрадь. И записала:

Канкан. Пятница. Оффенбах, «Орфей в аду».

Настя плясала. Сначала деревянная. Потом — смеялась. Как вакханка.

Звали — сто рублей. Убежала.

Сказала: потому что хотела.

Первый раз.

Анне М. — ещё месяц. Не торопить. Пусть хочет сильнее. Пусть изнывает.

И внизу, мельче, почти неразборчиво:

Офицер. Проезжий. Имени не знаю. Как волк. Хорошо.

Она закрыла тетрадь. Подошла к окну. Распахнула ставни. Ночь была тёплая, звёздная, последняя тёплая ночь бабьего лета. Внизу, во дворе, горел красный фонарь. Над Ушайкой поднимался туман. На горе, высоко, белел костёл.

Из залы ещё доносилась музыка. Тапёр, получивший свои три рубля, играл адский галоп снова — один, для себя, — и пил, наверное, уже пил, потому что ноты путались, и галоп спотыкался, как спотыкается пьяный.

Орфей в аду.

Маслова стояла у окна и смеялась.

4.2. Скучная история

Он пришёл в понедельник днём — в тот час, когда дом спал, а гостей не бывает.

Это было странно. Днём не ходили. Днём дом отсыпался после ночи: девушки спали до обеда, Анна Марковна дремала в своей комнате перед иконами, бык у двери клевал носом. А этот пришёл в третьем часу, в ясный октябрьский день, — и постучал в парадное так, как стучат в приличный дом: твёрдо, три раза.

Бык, протирая глаза, впустил его. Доложил Анне Марковне. Анна Марковна вышла — заспанная, в чепце — и, увидев гостя, вдруг оробела.

Это был старик. Высокий, сухой, прямой, в тёмном пальто дорогого сукна, с седой головой, с седыми бакенбардами, с усталым умным лицом. На груди, под распахнутым пальто, — она разглядела — поблёскивал орден. Не крестик, какой носят чиновники средней руки, а звезда. Большая. Он снял цилиндр — настоящий цилиндр, каких в Томске почти не носили, — и сказал тихим, ровным, очень вежливым голосом:

— Простите за беспокойство в неурочный час. Мне говорили, у вас есть… образованная девица. Читающая. Мне нужна беседа. Только беседа. Я заплачу как за ночь.

Анна Марковна захлопотала. Образованная — это, конечно, Катерина Михайловна, только спит ещё, сейчас разбудим, сию минуту, пожалуйте в залу, чаю прикажете?

— Не надо чаю, — сказал старик. — И не будите, если спит. Я подожду.

Но Маслова не спала. Она читала — Шлоссера, второй том, Древняя Греция, — и, услышав шаги и голоса, вышла на лестницу.

Старик поднял на неё глаза.

И она увидела в его взгляде то, что видела только у Соломина. Он посмотрел ей в лицо. Только в лицо.

Его звали Николай Степанович.

Фамилию он не назвал, и она не спрашивала. Но она знала, кто он, — через полчаса знала. Не могла не узнать: он сам рассказал, не хвастаясь, между прочим, как рассказывают о давно надоевшем.

Тайный советник. Заслуженный профессор. Доктор медицины. Кавалер всех русских орденов до звезды включительно. Член учёных обществ — русских и заграничных: он перечислил их, и в перечне были Париж, Берлин, Вена. Он прочёл за свою жизнь тридцать тысяч лекций, подготовил семь сотен врачей, написал книги, по которым учились во всех университетах России. Его имя знал каждый студент-медик. Его портрет висел в актовом зале.

Он приехал в Томск на открытие чего-то — нового корпуса, новой клиники при университете, — как почётный гость, как живая реликвия русской науки. Его возили по приёмам, показывали губернатору, сажали в президиумы. Через неделю он уезжал обратно, в Петербург.

И вот он сидел в угловой комнате дома терпимости на Болоте, в кресле у стола, прямой, сухой, со звездой на груди, и смотрел на неё — на поселенку в сером платье, бывшую проститутку, отравительницу, — и говорил.

— Вы читаете Шлоссера, — сказал он, увидев книгу на кровати. — Зачем?

— Хочу понять, как мир стал таким.

— И как же он стал таким?

— Я ещё на греках, — сказала она. — Пока понятно одно: всегда были те, кто работает, и те, кто ест. В Египте рабы строили пирамиды. В Греции рабы, а господа — философию. Меняются только имена.

Николай Степанович смотрел на неё. Долго.

— Вы знаете, — сказал он, — я прочёл тридцать тысяч лекций. Семь сотен врачей выпустил. И ни один из них не сказал мне того, что вы сейчас сказали. Они спрашивали, что будет на экзамене.

Он приходил каждый день. Всю неделю, что оставался в Томске. В третьем часу, когда дом спал.

Он не прикасался к ней. Ни разу. В первый день, когда она — по привычке, по ремеслу — начала было расстёгивать платье, он остановил её жестом, мягко, устало:

— Не надо. Я стар. Мне не это нужно.

— А что?

Он помолчал.

— Поговорить, — сказал он. — С умным человеком. Я, видите ли, умираю.

Он сказал это просто, как говорят о погоде. Он был врач. Он поставил себе диагноз сам — полгода назад, слушая собственное сердце. Полгода, сказал он. Может быть, год. Грудная жаба. В любую минуту — и конец. Поэтому он и согласился ехать в Томск, в такую даль, на старости лет: чтобы в последний раз увидеть Сибирь, которую видел молодым, когда ездил сюда по холерной экспедиции. Чтобы умереть не в постели, а в дороге.

— А здесь, — он обвёл рукой комнату, — здесь я оказался потому, что мне всё остальное опротивело. Приёмы. Речи. Президиумы. Губернатор, который называет меня светочем и гордостью. Студенты, которые смотрят на меня, как на мумию. Коллеги, которые ждут, когда я освобожу кафедру. — Он усмехнулся. — А здесь — честно. Здесь продают тело за деньги. И я купил — не тело, а час разговора. Самая честная сделка за всю неделю.

Она поняла его.

Он был умён — по-настоящему, не как Нехлюдов. Он знал всё: медицину, химию, физику, историю, философию, три языка, литературу. Он читал Дарвина и спорил с ним — со знанием дела, не как граф. Он читал Сеченова — Сеченов был его товарищем по молодости. Он знал Европу, знал Пастера, знал Коха, знал, что такое микроб и что такое рефлекс.

И при всём этом он был — пустой.

Она поняла это на третий день. Он говорил, говорил — блестяще, остроумно, горько, — и всё время возвращался к одному. К тому, что у него нет чего-то. Он называл это «общей идеей». Или «богом живого человека».

— Понимаете, — говорил он, — я знаю всё о частях. О костях, о нервах, о крови, о клетках. Я знаю, как устроен человек, — лучше, чем кто-либо в России. Но я не знаю — зачем. Зачем всё это. Зачем я прочёл тридцать тысяч лекций. Зачем жил. Что связывает всё, что я знаю, в одно. — Он посмотрел на неё. — У меня есть имя, наука, ордена, звезда. А общей идеи — нет. И теперь, когда я умираю, я вижу, что без неё всё остальное — мусор. Семьдесят лет мусора.

Маслова слушала.

— А у вас, — сказал он вдруг, — у вас она есть. Я вижу. Я за неделю насмотрелся на людей со звёздами — у них нет. А у вас, у поселенки в доме терпимости, — есть. Я не знаю какая. Но вижу: вы знаете, зачем живёте. У вас есть — что связывает. Бог живого человека.

— Есть, — сказала она.

— Какой?

Она подумала. Потом сказала:

— Суд.

Он не понял. Решил, что она о своём процессе, о каторге. Стал говорить о несправедливости русского суда, о присяжных, о том, что видел на своём веку. Она не поправила его. Пусть думает, что хочет. Она не собиралась объяснять тайному советнику со звездой, что значит «суд».

Но про себя подумала: вот. Вот в чём разница между мной и ним. Он знает всё — и не знает зачем. Я не знаю почти ничего — и знаю зачем. У него — знание без цели. У меня — цель без знания.

Соломин сказал: читайте, чтобы понять, как устроен мир. Чтобы знать, где ударить.

Этот старик знал, как устроено всё, — и не ударил ни разу. Семьдесят лет. Потому что у него не было цели.

А у неё — есть.

Значит, когда она узнает то, что знает он, — она будет сильнее его. Сильнее всех них.

Знание плюс цель.

Он приносил ей книги.

Из университетской библиотеки — той самой, куда поселенку, да ещё женщину, не пустили бы и на порог. Он брал их на своё имя — заслуженного профессора, почётного гостя, — брал стопками, и приносил ей, и уносил прочитанные, и приносил новые.

— Что вам нужно? — спросил он в первый день.

— Всё, — сказала она. И потом, вспомнив Соломина: — Нет. По порядку. История — у меня есть, Шлоссер. Теперь — как устроен человек. Чтобы понять машину, надо знать, из чего она.

Он посмотрел на неё с одобрением.

Он принёс ей анатомию — атлас, с цветными таблицами, где человек был нарисован слоями: кожа снята, мышцы, под мышцами жилы, под жилами кости. Принёс физиологию. Принёс свою собственную книгу — толстую, в кожаном переплёте, с его именем на корешке, — и надписал на первом листе: «Читающей — от дочитавшего. Н. С.».

Она читала запоем. Ночами, после гостей. Человек изнутри. Сердце — насос. Лёгкие — мехи. Мозг — то, о чём писал Сеченов: нервы, рефлексы, серое вещество. Кровь — реки, по которым плывёт жизнь. Всё — машина. Сложная, но машина. Как пароход Привалова. Как часы Нехлюдова. Как дом Анны Марковны.

Если знать, как машина устроена, — знаешь, где она сломается.

На четвёртый день она спросила его о ядах.

Осторожно. Между делом. Они говорили о Пастере, о том, что болезни вызываare крошечные существа, невидимые глазом, микробы, и что скоро, может быть, научатся их убивать. И она сказала, будто продолжая мысль:

— А яды? Яды — тоже убивают. Изнутри. Как микробы?

— Яды — иначе, — сказал он. — Микроб живёт и размножается. Яд — мёртвое вещество. Он просто ломает машину. Разные яды ломают по-разному.

— Как?

Он посмотрел на неё. Она испугалась — на мгновение, — что он поймёт, зачем она спрашивает. Но он не понял. Он был учёный. Ему был интересен вопрос сам по себе. И, кажется, ему приятно было, что его спрашивают не об экзамене, а о настоящем.

— Мышьяк, — сказал он, — разъедает желудок и кишки. Смерть похожа на холеру: рвота, понос, судороги. Поэтому им часто травят — и часто сходит за болезнь. Но он остаётся в теле. В волосах, в костях. Если выкопать и исследовать — найдут. Через годы найдут.

Она слушала. Запоминала.

— Сулема, — продолжал он, не замечая, как внимательно она слушает, — ртутная соль. У вас в доме её, верно, полно — ею моют. Разъедает рот, горло, почки. Смерть мучительная, долгая. Остаётся в почках. Тоже находят.

— А есть такие, которых не находят?

Он посмотрел на неё с интересом. Профессорским. Как смотрят на способного студента, задавшего неожиданный вопрос.

— Растительные, — сказал он. — Атропин — из красавки, из белены. Расширяет зрачки, сушит рот, туманит ум, останавливает сердце. Разлагается в теле быстро — найти трудно. Аконит — из борца, растёт и у вас в Сибири, по лугам, синие цветки, видели, наверное. Жжёт, холодит, останавливает сердце и дыхание. Почти не оставляет следа. В старину им мазали стрелы. — Он помолчал. — Но это редкие знания. Их немногие знают. И немногие умеют отличить такое отравление от сердечного удара. Я умею. Нас, кто умеет, в России человек десять.

— А здесь, в Томске, кто-нибудь умеет?

— Здешний полицейский врач? — Николай Степанович усмехнулся. — Карл Фёдорович? Я с ним познакомился на приёме. Он не отличит атропин от апоплексии, даже если ему подсказать. Он напишет «удар». И закопают.

Он сказал это с лёгким профессорским презрением к провинциальному коллеге. И не заметил, как изменилось лицо Масловой.

Она запоминала.

Атропин. Красавка, белена. Аконит. Борец, синие цветки, по лугам. Почти не оставляет следа. Карл Фёдорович напишет «удар».

Она знала эти цветы. Борец — синий, похожий на шлем, на монаший клобук, — она видела его в Кафтане, по лугам у Умки, среди черёмухи. Бабка Анны Марковны, которая делала девушкам, чтобы не было ребёнка, — та, наверное, знала и травы. У всех этих бабок свои травы.

На пятый день она спросила о Женьке.

Не называя имени. Она описала — симптомы, которые видела: кашель, кровь в платке, пятна, ночной пот, то, что женщина прячет и лечит тайком сулемой.

Николай Степанович слушал. Лицо у него стало серьёзным, врачебным.

— Это две болезни, — сказал он. — Сразу. — Он помолчал. — Кашель, кровь, пот — чахотка. Лёгкие. А то, от чего она лечится сулемой тайно, — другое. Дурная болезнь. Та, которой заражают мужчин.

— Сколько ей осталось?

Он развёл руками.

— С чахоткой — год. Может, два. Если беречься, не пить, тепло, покой, хорошая еда, горы, сосны. — Он усмехнулся горько. — В доме терпимости на болоте, где сыро, где пьют, где каждую ночь мужчины, — меньше. Зиму переживёт. Весну — вряд ли.

Зиму переживёт. Весну — вряд ли.

Маслова сидела и думала о Женьке. О том, как она кашляет за стеной каждую ночь. О том, как она сказала: «каждый, кто со мной, уносит домой». О том, как она сказала: «если что — я с тобой, хоть в огонь».

Зиму переживёт. Весну — вряд ли.

Значит, если дом должен рухнуть — он должен рухнуть, пока Женька ещё жива. Чтобы она увидела. Чтобы это было при ней.

Она не сказала этого вслух. Она сказала другое:

— А можно ей помочь? Чахотке?

— Нельзя, — сказал Николай Степанович. — Пока нельзя. Кох нашёл палочку — три года назад, в Берлине. Знаем теперь, отчего чахотка. А как лечить — не знаем. — Он помолчал. — Я вот знаю всё о болезнях — и не могу вылечить ни одной по-настоящему. Только облегчить. Я всю жизнь облегчал. А вылечить — не мог. — Он посмотрел на свои сухие старческие руки. — Может быть, в этом и есть общая идея, которой я не нашёл. Что мы можем только облегчить. А вылечить — нельзя.

— Нет, — сказала Маслова.

Он поднял глаза.

— Вылечить можно, — сказала она. — Только не человека. Нельзя вылечить одного больного. Можно вылечить то, отчего болеют все.

— Что же это?

Она не ответила. Она смотрела в окно, на гору, на костёл, на недостроенный собор.

В последний день, в субботу, он пришёл проститься.

Он уезжал в воскресенье, с утренним пароходом — последним перед ледоставом, тем самым, на котором она потом поедет в Кафтан. Он пришёл в третьем часу, в тёмном пальто, со звездой под пальто, с цилиндром в руке. Сел в кресло. Положил на стол деньги — как всегда, как за ночь. И ещё — стопку книг, последнюю.

— Это вам, — сказал он. — Насовсем. Не из библиотеки — мои. Из тех, что я вожу с собой. Мне они больше не нужны. — Он положил ладонь на верхнюю. — Здесь физиология. Токсикология — про яды, вы спрашивали. И судебная медицина — как узнают, отчего умер человек. Полезно знать. — Он помолчал. — С обеих сторон полезно.

Она посмотрела на него.

Он знал. Он понял. Может быть, с самого начала — когда она спросила о ядах, которых не находят. Он был умный. Он отличал атропин от апоплексии. Он отличил и это.

И — не сказал ничего. Не ужаснулся. Не стал увещевать. Не пригрозил полицией. Он просто принёс ей книгу про яды и книгу про то, как ловят отравителей. С обеих сторон полезно.

— Вы не боитесь? — спросила она. — Дать мне это?

Николай Степанович усмехнулся. Устало.

— Я умираю, сударыня, — сказал он. — Через полгода, через год. Чего мне бояться? — Он помолчал. — И потом. Я семьдесят лет лечил. Облегчал. Боролся со смертью — и всегда проигрывал. Всегда. А вы… — Он посмотрел на неё долго, внимательно, своими усталыми умными глазами. — Вы собираетесь со смертью не бороться. Вы собираетесь ею пользоваться. Как инструментом. — Он покачал головой. — Это новое. Я этого не умею. Может быть, вы правы. Может быть, в этом и есть то, чего я не нашёл.

Он встал. Тяжело, опираясь на кресло.

— Я не знаю, что вы задумали, — сказал он. — И не хочу знать. Я скоро умру и ничего не увижу. Но мне почему-то кажется, Екатерина Михайловна, что о вас ещё услышат. — Он надел цилиндр. — Жаль, что меня уже не будет.

Он пошёл к двери. У двери обернулся.

— Общую идею, — сказал он, — я так и не нашёл. За семьдесят лет. А вы нашли — в двадцать семь. В публичном доме. — Он усмехнулся. — Если это не доказывает, что мир устроен неправильно, то я не знаю, что доказывает.

И вышел.

Она слышала, как он медленно спускается по лестнице. Как прощается внизу с Анной Марковной. Как хлопает парадная дверь.

Больше она его не видела.

Она подошла к окну. Посмотрела вниз.

Он шёл через двор — высокий, прямой, сухой, в тёмном пальто, в цилиндре, со звездой, невидимой под пальто. Медленно. Осторожно. Как ходят люди, которые знают, что сердце может остановиться в любую минуту.

У калитки он остановился. Посмотрел наверх — на дом, на закрытые ставни, на красный незажжённый фонарь над крыльцом. Потом на гору, на костёл, на недостроенный собор. Постоял. И пошёл — вверх, на гору, к горе, к своей науке, к своим орденам, к своей смерти.

Через год, прочтёт она в газете, которую принесёт ей Соломин, — через год знаменитый профессор, светоч русской медицины, тайный советник, скончался скоропостижно от разрыва сердца. Некролог был на целую полосу. Хоронил весь Петербург.

Но это будет через год.

А сейчас она стояла у окна и смотрела, как он поднимается на гору, — старик, который знал всё и не знал зачем.

Потом села к столу. Придвинула его книги. Токсикология. Судебная медицина. Раскрыла токсикологию на оглавлении.

Мышьяк. Ртуть. Фосфор. Атропин. Аконитин. Стрихнин. Синильная кислота…

Она взяла чёрную тетрадь. И стала выписывать — колонками, аккуратно, как выписывала долги из книг Эммы Эдуардовны:

Яд. Откуда. Как действует. Остаётся ли след. Как узнают.

Мышьяк — купить (мышьяк от крыс). Рвота, понос, как холера. Остаётся в теле, в волосах. Находят через годы.

Сулема — есть в доме. Рот, горло, почки. Долго, мучительно. Находят в почках.

Атропин — красавка, белена. Зрачки, сухость, бред, сердце. Разлагается, найти трудно.

Аконитин — борец. Синие цветки, по лугам (в Кафтане, у Умки). Жжёт, холодит, сердце и дыхание. Почти не оставляет следа. Карл Фёдорович напишет «удар».

Она перечитала. Остановилась на последней строчке. На борце.

Синие цветки. По лугам у Умки. Среди черёмухи. Там, где она плавала в ту ночь, когда Митька подглядывал. Там, где цвела черёмуха, когда она переправлялась на тот берег.

Через два дня — в понедельник, нет, в воскресенье, завтра, — она поедет в Кафтан. Последним паромом. На могилу Симонсона.

И нарвёт борца.

Не сейчас. Сейчас осень, цветы отошли. Но корни. Корни остаются. В корнях — больше всего.

Она записала внизу, отдельно:

Завтра — Кафтан. Борец — корни. У Умки. На всякий случай. Пригодится.

И ниже:

Старик сказал: вы пользуетесь смертью как инструментом.

Да.

Он знал всё и не ударил ни разу. Семьдесят лет мусора.

Знание плюс цель. Я буду сильнее.

Она закрыла тетрадь. За окном смеркалось. Внизу зажигали красный фонарь. Начиналась ночь — обычная, рабочая. Внизу собирались гости. Тапёр играл вальс.

Она отложила токсикологию. Достала Шлоссера. Древняя Греция. Рабы и господа.

По порядку.

4.3. Покров

Первого октября выпал снег и к полудню растаял.

Это был Покров — праздник, когда зима покрывает землю первым снегом, как Богородица покрыла народ во Влахернском храме своим покрывалом, защитив от врагов. Бабы в Кафтане говорили: на Покров до обеда осень, после обеда зима. А ещё говорили: Покров — свадьбы кроет. С Покрова начинались свадьбы, потому что кончались полевые работы, и девки ждали этого дня, и гадали, и шептали: «Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня женишком».

Маслова помнила это с детства, у тётушек. Теперь она вспомнила — глядя в окно на тающий снег — и усмехнулась.

Покров. Покрывало над беззащитными.

Она тоже простёрла покрывало. Над Настей.

Срок Анне Марковне истекал. Два месяца, обещанные в августе, прошли. Настя должна была пойти к мужчине.

Маслова готовила это две недели — с того вечера, когда Настя заснула на половике у двери и сказала «потому что хотела». После канкана Настя переменилась. Она ждала. Она не знала, чего ждёт, но ждала — Маслова видела это по её глазам, по тому, как она вздрагивала, когда госпожа клала руку ей на плечо, по тому, как она теперь сама, без приказа, спускалась в залу в голубом, с открытой грудью, и стояла у буфета, и смотрела на мужчин, и краснела, когда они смотрели на неё.

Желание в ней росло. Как опара. Как долг в книжке Эммы Эдуардовны. Как весной растёт вода подо льдом.

И Маслова не торопила. Пусть растёт. Пусть изнывает. Пусть хочет так сильно, чтобы, когда настанет час, сама потянулась навстречу. Потому что — Маслова поняла это точно, яснее, чем что-либо, — Настю нельзя принуждать. Принудишь — сломаешь, как ломала Анна Марковна других, как сломали Клавдию, повесившуюся в чулане. Настя будет бояться, плакать, терпеть — и зачахнет. А если дать ей захотеть самой, дать иллюзию, что это её выбор, — тогда страх обернётся желанием, и она пойдёт радостно, и будет благодарна.

Как она сама.

Маслова думала об этом ночами и не находила в себе стыда. Она оправдывала себя — и оправдание было крепкое, как стена. Она делает Насте добро. Разве нет? Девчонка — сирота, без семьи, без денег, без будущего. Была бы на воле — пошла бы в прислуги, и хозяйский сын обрюхатил бы её, как обрюхатил когда-то саму Катюшу, и выгнали бы на улицу, и — панель, нищета, смерть под забором. А здесь — тепло, стол, крыша, деньги. И если научить её не бояться, а хотеть, не терпеть, а наслаждаться, — то жизнь шлюхи станет для неё не казнью, а свободой. Такой же свободой, какую нашла сама Маслова: свободой тела, не знающего стыда, свободой выбирать, свободой власти над мужчинами.

Путь шлюхи — лучший путь для Насти. Маслова верила в это. Потому что это был её собственный путь, а свой путь человек всегда считает лучшим.

Она делала Насте добро.

Так она себе говорила.

Лопухова она выбрала давно.

Это было и удобно, и смешно. Удобно — потому что студент был чист, молод, неопасен, не пьян, не груб; он не напугал бы Настю, не сделал бы ей больно, не наградил бы болезнью. А смешно — потому что Лопухов.

Дмитрий Лопухов. Студент-медик. Тот, кто на аукционе писал в книжку, что она — первый случай, когда проститутка продаёт себя сама. Тот, кто краснел в читальне у Макушина,

объясняя ей Дарвина. Тот, кто сказал ей у дверей магазина: «Вам нельзя там. Вы умная. Вам надо учиться. Я бы помог». Тот, кто хотел её спасти — вытащить из борделя, как у Чернышевского Лопухов вытащил Веру Павловну, обвенчавшись с ней, чтобы вырвать из семьи.

Спаситель.

А Настю звали Настей. Как Настю Крюкову у Чернышевского — проститутку, которую Вера Павловна спасла, взяв в свою швейную мастерскую, сделав новым человеком.

У Чернышевского Лопухов и Вера Павловна спасали падших. Выводили из борделя к свету. Хрустальный дворец.

А она сведёт их обоих — спасителя Лопухова и спасённую Настю — здесь. В борделе. Своей рукой. И не выведет к свету, а введёт во тьму.

Анти-Чернышевский. До последней буквы.

Ей это нравилось. Книги мстили. Она читала их по ночам — и выворачивала наизнанку днём.

Лопухов пришёл в читальню в пятницу, как всегда. Она подсела к нему.

— Дмитрий, — сказала она тихо. — У меня к вам просьба.

Он поднял глаза. Покраснел — по привычке.

— Какая?

— Приходите в воскресенье. К Анне Марковне. Вечером.

Он побелел. Потом покраснел снова.

— Екатерина Михайловна… я… вы же знаете, я не хожу туда… я к вам только здесь… я не могу…

— Не ко мне, — сказала она. — К Насте.

— К… кому?

— К Насте. Подруге моей. Девятнадцать лет. Сирота. Хорошая девочка. — Маслова смотрела ему в глаза. — Она боится мужчин, Дмитрий. Очень боится. Её скоро заставят идти к гостям — к пьяным купцам, к офицерам. Они её изломают. А вы — добрый. Вы медик. Вы не сделаете больно. Я хочу, чтобы первым был добрый. Вы.

Лопухов смотрел на неё, раскрыв рот.

— Я… я не могу… это… это разврат… я против этого… я хочу их спасать, а не…

— Вот и спасите, — сказала Маслова. — Своей добротой. Разве лучше, если первым будет Паратов? Пьяный? Или офицер? Вы же её от этого спасёте. Один раз. По-доброму.

Она видела, как он борется. Как в нём спорят — желание (он хотел, она видела, что хотел, он был молод и чист, и кровь играла) и совесть (он был честный, он верил в хрустальный дворец, он хотел спасать). Она подтолкнула совесть на сторону желания — дала ей оправдание. «Спасите своей добротой». И желание победило, прикрывшись совестью.

Как всегда. Как у всех. Как у Нехлюдова с его благотворительной кассой.

— Я… подумаю, — сказал Лопухов.

— Я вас жду в воскресенье, — сказала она. — В девять. С заднего крыльца. Никто не увидит.

Он пришёл.

В воскресенье, в девять, с заднего крыльца, в студенческой тужурке, бледный, с трясущимися руками. Маслова встретила его сама, провела по чёрной лестнице наверх, в маленькую комнату рядом со своей — не в Настину каморку под лестницей, а в приличную комнату, которую она заняла для этого, с кроватью, с лампой под абажуром, с ковриком.

Настя уже была там.

В голубом. Без пудры. С распущенными волосами. Она сидела на краю кровати, сжав руки на коленях, и дрожала — мелко, как всегда. Но это была уже не та дрожь, что в августе. Маслова видела разницу. Тогда дрожал страх. Теперь — страх пополам с чем-то ещё. С ожиданием. С тем, что росло в ней две недели, как опара.

Лопухов, увидев Настю, застыл на пороге.

Он ждал — он сам не знал, чего он ждал. Раскрашенную девку. Наглую, пьяную, бесстыжую. А увидел — девочку. Худенькую, светловолосую, с веснушками, с тонкой шеей, с огромными испуганными глазами. Сироту. Беззащитную. Ту самую, кого он хотел спасать.

Что-то дрогнуло в его лице.

— Здравствуйте, — сказал он тихо.

Настя не ответила. Посмотрела на него. Потом — быстро, умоляюще — на Маслову.

Маслова закрыла дверь. И села в кресло у окна.

Лопухов обернулся.

— Вы… вы тоже останетесь? — спросил он, краснея.

— Останусь, — сказала Маслова. — Настя без меня боится. Правда, Настя?

Настя кивнула. Быстро. Благодарно.

— Садитесь, Дмитрий, — сказала Маслова. — Рядом с ней. Вот так. Не бойтесь. Она не кусается.

Лопухов сел на край кровати. Далеко от Насти. Между ними было пол-аршина пустоты, и оба смотрели прямо перед собой, не касаясь, не глядя друг на друга, красные, как два мака.

Маслова смотрела на них из кресла. И ей стало смешно и тепло. Два ребёнка. Девственник-спаситель и сирота. Сидят рядом, боятся друг друга. А она — режиссёр, хозяйка, Бог этой маленькой сцены.

— Настя, — сказала она. — Возьми Дмитрия за руку.

Настя протянула руку. Медленно. Положила свои тонкие пальцы на его руку, лежавшую на колене. Лопухов вздрогнул, будто его обожгли, но руки не отнял.

— Вот, — сказала Маслова мягко. — Видишь? Ничего страшного. Он тёплый. Он живой. Он такой же, как ты. — Она помолчала. — Дмитрий, вы ведь медик. Вы знаете, что человек — это животное. Дарвин. Половой отбор. Самка выбирает. Помните, вы мне объясняли?

— Помню, — прошептал Лопухов.

— Вот Настя вас выбрала, — сказала Маслова. — Из всех. Я предлагала ей офицера, купца. Она выбрала вас. Потому что вы добрый. Правда, Настя?

Настя кивнула. Хотя не выбирала. Но кивнула. Потому что так сказала госпожа.

— А раз выбрала, — продолжала Маслова, — значит, хочет. Это природа, Дмитрий. Вы же учёный. Внутри мы все — животные. Под платьем, под тужуркой. — Она посмотрела на Настю. — Вот Настя. Сверху — барышня. Голубое платье, косы, стыдится, краснеет. А под платьем — самка. Как все. Дмитрий, вы знаете, что у неё под платьем?

Лопухов молчал, пунцовый.

— У неё между ног — шерсть, — сказала Маслова спокойно, как говорят о погоде. — Светлая. Мягкая. Как у всякого зверя. И там, между ног, она — не барышня. Там она — животное. Текущая сучка, которая хочет кобеля. Только она сама этого стыдится. Боится своего зверя. А зря. Зверь — это честно. Зверь не врёт.

Настя закрыла лицо свободной рукой. Щёки горели под пальцами, шея горела, грудь в вырезе заливалась краской. Но руки Лопухова она не отпустила. И — Маслова видела — сквозь пальцы, которыми закрывала лицо, она смотрела. На Лопухова. На то, что происходило с Лопуховым.

А с Лопуховым происходило то, что происходит с молодым здоровым животным, когда ему говорят такие слова, и рядом сидит тёплая девушка, держащая его за руку, и напротив, в кресле, — она, тысячная, в красном, с прядью на глазах, говорящая бесстыдные вещи своим низким, хриплым голосом.

Маслова видела. Видела, как натянулась ткань его форменных брюк. Как он сжался, пытаясь скрыть, и не мог. Как отвёл глаза, сгорая со стыда, — и не мог отвести от Насти, от её груди в голубом вырезе, от её руки на своей руке.

Он возбуждался — от Насти и от неё, Масловой. От Настиного тепла и от бесстыдных речей госпожи. Одно горело в другом, подогревало другое, и Маслова знала это, и нарочно подливала масла — словами.

— Настя, — сказала она. — Посмотри на Дмитрия. Посмотри, что с ним.

Настя отняла руку от лица. Посмотрела. Увидела.

И Маслова увидела, как расширились её светлые глаза. Как приоткрылись губы. Как участилось дыхание — грудь в вырезе задвигалась быстрее. Она смотрела на то, что натянуло ткань его брюк, — с ужасом, со стыдом, с любопытством и с тем, тёмным, горячим, что росло в ней две недели.

— Это из-за тебя, — сказала Маслова тихо. — Видишь? Ты это сделала. Твоё тело. Твоя грудь. Твоя шерсть, которую он себе представил. Это твоя власть, Настя. Над ним. Прямо сейчас. Он в твоей власти. Хочешь попробовать власть?

— Я… — прошептала Настя. — Я не знаю как…

— Расстегни ему, — сказала Маслова.

Лопухов застонал — тихо, сквозь зубы. Не остановил. Не мог остановить. Он сидел, закрыв глаза, запрокинув голову, отдавшись — словам, рукам, тому, что сильнее совести и хрустального дворца.

Настя повернулась к нему. Дрожащими пальцами — теми же, которыми роняла поднос, которыми прятала грудь, — расстегнула пуговицы. Одну. Другую.

— Трогай, — сказала Маслова. — Не бойся. Он живой. Ему хорошо. Ты делаешь ему хорошо. Это ты, Настя. Твоя рука. Твоя власть.

Настя тронула.

Лопухов вскрикнул. Настя отдёрнула руку — испугалась.

— Ещё, — сказала Маслова. — Так. Рукой. Вот так. Я тебе покажу. Смотри.

Она не встала с кресла. Она говорила — только говорила, — а Настя делала. Руками. Под её голос, под её слова — бесстыдные, спокойные, обволакивающие, — Настя трогала, гладила, сжимала, и смотрела на лицо Лопухова, искажённое, запрокинутое, и видела свою власть, и власть эта пьянила её, и страх уходил, и оставалось только это — тёмное, горячее, сладкое, от чего кружилась голова.

— Видишь? — шептала Маслова. — Видишь, что ты можешь? Он большой, сильный, учёный, студент, спаситель. А ты, девочка, сирота, держишь его в руке. Всего. Он твой. Ты им управляешь. Хочешь — быстрее, хочешь — медленнее. Это власть, Настя. Это и есть власть.

Лопухов кончил ей в руку — содрогнувшись всем телом, со стоном, почти с рыданием. И сразу сник, съёжился, закрыл лицо руками, — ему было стыдно, невыносимо стыдно, стыднее, чем Насте, потому что он пришёл спасать, а его — его обслужили, как клиента, и он кончил, как кончает животное, под бесстыдные речи проститутки.

Настя сидела, держа мокрую руку на весу, и смотрела на неё — с изумлением, с брезгливостью и с тем же тёмным, горячим, что теперь плескалось в её светлых глазах через край.

Маслова встала. Подошла. Дала Насте платок — вытереть руку.

— Хорошая, — сказала она. — Хорошая девочка. Видела, как это? Не страшно. Правда?

— Правда, — выдохнула Настя.

И Маслова увидела: Настя разочарована. Тем, что всё кончилось. Что это было — и прошло. Что в ней самой осталось это горячее, неутолённое, и некуда его деть. Она хотела — ещё. Она хотела — чтобы с ней. Не она ему рукой, а чтобы с ней, по-настоящему, то, что делали за стеной, отчего кричала госпожа.

Именно этого Маслова и добивалась.

Не утолить. Разжечь. Оставить голодной. Чтобы в следующий раз — а он будет, скоро, — Настя пошла сама. Жадно. Радостно. По своей воле.

Лопухов оделся молча. Руки у него тряслись.

У двери он остановился. Достал из кармана деньги — он приготовил их, значит, знал, зачем идёт, под всеми своими «я против разврата». Положил на стол. Двадцать пять рублей — много, больше, чем студент мог себе позволить, почти всё, что у него было.

Он не смотрел ни на Настю, ни на Маслову.

— Я больше не приду, — сказал он глухо, в пол. — Ни сюда. Ни в читальню. Никогда.

— Придёте, — сказала Маслова.

Он поднял на неё глаза — полные ненависти и стыда. Той самой ненависти, что была у Нехлюдова. Ненависти человека, которому показали его самого.

— Вы… — сказал он. — Вы хуже, чем Анна Марковна. Она хоть не притворяется. А вы… вы книги читаете. Дарвина. Вы умная. И вы — такое. С девочкой. Зачем?

— Затем, что делаю ей добро, — сказала Маслова.

— Добро?!

— Добро, — повторила она спокойно. — Её всё равно заставят. Не я — так Анна Марковна. Не Анна Марковна — так жизнь. Она сирота, Дмитрий. У неё нет дороги, кроме этой. Я учу её идти по этой дороге не плача, а с радостью. Не рабыней, а хозяйкой. Разве это не добро?

— Это… — Лопухов задохнулся. — Это софизм. Это оправдание. Вы развращаете невинную душу и называете это добром.

— А вы пришли её спасать и кончили ей в руку, — сказала Маслова. — И тоже, наверное, назовёте это как-нибудь красиво. Хождением в народ. Изучением язвы общества. — Она усмехнулась. — Мы оба лжём, Дмитрий. Только я знаю, что лгу. А вы — нет. В этом вся разница.

Он смотрел на неё. Потом повернулся и ушёл — быстро, почти бегом, по чёрной лестнице, вниз, в ночь.

Он придёт ещё. Маслова знала. Через неделю, через две. Приползёт — к Насте, к ней, к бесстыдным речам, к своему стыду, который теперь будет тянуть его сюда, как тянет на место преступления. Все они приползали. Нехлюдов. Паратов. Теперь Лопухов.

Книги мстили за неё.

Настя осталась.

Она сидела на кровати, в голубом, с вытертой рукой, и смотрела на Маслову. Горячая. Растрёпанная. Неутолённая. В светлых глазах — жажда.

— Катерина Михайловна, — прошептала она. — А это… это всё? Это так и бывает?

— Нет, — сказала Маслова. Села рядом. Обняла её — за плечи, притянула к себе, к красному шёлку. — Это не всё. Это только начало. То, что было у тебя внутри сейчас, — когда ты держала его, и смотрела, и хотела, — это было маленькое. Крошечное. А бывает — большое. Огромное. Так, что кричишь. Ты слышала, как я кричу.

Настя кивнула, прижавшись к ней.

— Слышала.

— Хочешь так?

Настя молчала. Долго. Потом — едва слышно, в красный шёлк:

— Хочу.

— Будет, — сказала Маслова и погладила её по голове. — Скоро. Я сама выберу тебе — первого. Хорошего. Такого, что тебе будет хорошо. Доверься мне. Я знаю, что тебе нужно. Лучше, чем ты сама.

Настя подняла на неё глаза — светлые, мокрые, полные обожания, полные той покорности, которая слаще всякой власти.

— Я вам верю, — сказала она. — Я всё сделаю. Что скажете.

Маслова смотрела на неё и думала: да. Верит. Сделает. И будет благодарна. И будет счастлива — своим рабским, покорным счастьем, которое она, Маслова, ей дарит.

Я делаю ей добро, подумала она снова, крепко, как гвоздь вбивая. Я делаю ей добро.

И где-то глубоко, под этой мыслью, под оправданием, под стеной из слов, тихо, едва слышно, как мышь за стеной, скреблось другое: а если нет?

Она не стала слушать.

Утром она пошла к Анне Марковне.

Хозяйка пила чай перед иконами, с брусничным вареньем. Выслушала. Подумала. Пощёлкала на счётах — она всегда щёлкала на счётах, когда думала.

— Значит, — сказала Анна Марковна, — Настька теперь не подавальщица. А девушка. Но спать будет, с кем сама захочет. Как вы.

— Как я, — сказала Маслова.

— А если захочет мало? Если будет нос воротить? Я её кормлю, одеваю…

— Не будет, — сказала Маслова. — Она войдёт во вкус. Я за этим смотрю. Вы считали, сколько я вам принесла за три месяца?

Анна Марковна пощёлкала счётами. Посмотрела на итог. И итог был красноречивее всякого Евангелия.

— Вдвоём, — сказала Маслова, — мы вам принесём ещё больше. Та, что хочет сама, Анна Марковна, дороже той, что плачет. Вы же знаете. Радость продаётся дороже страха.

Анна Марковна перекрестилась на иконы. Вздохнула. И кивнула.

— Ваша правда, Катерина Михайловна, — сказала она. — Радость дороже. Пусть так. Под вашу ответственность.

Маслова записала в синей тетради, в кассе: *Настя — переведена в «девушки». Спит по выбору. Долг за два месяца подачи — выкуплен из кассы. 0 р.*

Она выкупила Настин долг. Из нехлюдовских и паратовских денег. Настя теперь не должна была дому ничего. Первая выкупленная. Первое дело кассы.

Она сделала это — и почувствовала то же, что всегда: тёплое, крепкое оправдание. Я спасла её от долговой кабалы. Я сделала её свободной.

Свободной — чтобы по своей воле идти к мужчинам. За деньги, которые пойдут в кассу. На дело мести.

Покров, подумала она. Я покрыла её своим покровом. Как Богородица — народ.

Только Богородица покрывала от врагов. А я — для них.

4.4. Озеро огненное

Томь встала в середине ноября.

Это случилось ночью. Вечером ещё шла шуга — серое ледяное крошево, которое река несла всю неделю, тёрлось о берега, стонало, — а утром Маслова проснулась в тишине. Полной. Глухой. Река молчала. За ночь шугу сковало, спаяло, остановило, и Томь встала — белая, неподвижная, мёртвая, от берега до берега. До весны.

Тот берег стал недостижим снова. Кафтан. Могила с вырезанным ножом именем. Пока не ляжет санный путь, туда было не попасть.

А в городе наступила настоящая зима. Снег лёг и не таял. По Почтамтской поехали сани, зазвенели бубенцы. На горе дым из труб поднимался прямо вверх, столбами, — к морозу. По вечерам мороз трещал в брёвнах, как трещал в кафтанском бору, где Симонсон говорил: сок замерзает и разрывает ствол, физика.

В такую ночь, в понедельник, пришёл Нехлюдов.

Он приходил всю осень. Каждый понедельник. Приносил сотню в кассу. Оставался до утра.

Он изменился за эти месяцы. Похудел, осунулся, глаза ввалились. Он пил теперь — она чуяла водку, когда он входил. Прежде не пил вовсе: граф не велел. Теперь пил. Он всё ещё постился, всё ещё ходил к обедне в собор на горе, всё ещё писал в дневнике покаянные страницы — она знала это, он проговаривался, — но между покаянием и обедней был понедельник, и в понедельник он спускался на Болото, через калитку, в надвинутой шляпе, и поднимался в угловую комнату, и всё начиналось снова.

Он ненавидел её. И не мог не приходить.

Это была та ненависть, которую она пробудила в нём в тот понедельник с Настей, — когда заставила его потрогать плачущую сироту и сказала «у тебя стоит на плачущую девочку». После той ночи он не мог видеть себя. А видел — каждый понедельник, в ней, в её тёмных глазах, в её красном рте. Она была зеркалом, в котором он отражался — голый, звериный, без графа, без Евангелия, без Вечной Женственности. И он приходил смотреться в это зеркало, ненавидя его, ненавидя себя, не в силах разбить.

Маслова это понимала. И — поймала себя однажды на мысли, которая её остановила.

Ей это нравилось.

Не деньги. Не месть даже. Само это — вываливать их в грязи. Смотреть, как слетает с человека нарядное, чистое, сшитое, и обнажается то, что под. С Настей — стыдливую барышню обнажить до текущей сучки. С Лопуховым — спасителя, строителя хрустального дворца, обнажить до животного, кончающего в руку под бесстыдные речи. С Нехлюдовым — толстовца, христианина, князя, обнажить до зверя и садиста.

Ей нравилось это делать. По-настоящему. Как нравится пьянице пить, как игроку играть. Она ждала этого. Она предвкушала.

И она испугалась — на мгновение — этого в себе. Это было похоже на Женькину сулему. На месть ради мести. На наслаждение чужим падением.

Но тут же нашла оправдание — крепкое, как всегда.

Я не порчу их, сказала она себе. Я их проявляю. Как Карл Фёдорович проявляет болезнь зеркалом — вставляет и смотрит, что внутри. Я вставляю зеркало в душу — и смотрю, что внутри. И внутри у всех — зверь. Я его не создаю. Я его показываю. Я срываю одежду, которую они на зверя надели: барышню, спасителя, христианина. А под одеждой — правда. Биология. Сеченов, Дарвин. Тело. Рефлекс. Текущая сучка, кончающее животное, садист.

Я не развращаю. Я разоблачаю.

Так она себе сказала. И поверила. Почти.

В тот понедельник он пришёл пьянее обычного.

Положил сотню на стол. Она записала. Он сел на кровать, тяжело, и сказал, глядя в пол:

— Я больше так не могу, Катюша.

— Как?

— Так. — Он поднял на неё глаза — мутные, страдающие. — Я молюсь — и прихожу к тебе. Я каюсь — и прихожу. Я читаю Евангелие — и прихожу. Я… я погибаю, Катюша. Я чувствую, что погибаю. Раньше я знал, кто я. У меня была вера. Был путь. А теперь… теперь я не знаю, кто я. Я зверь. Ты сделала меня зверем.

— Я не делала, — сказала она. — Ты и был.

— Нет! — Он почти крикнул. — Нет. Я был другим. До тебя. Я шёл к свету. Я читал Евангелие, и мне открывалось. «Царствие Божие внутри вас». «Любите врагов ваших». «Не противься злому». Я жил этим. А ты… ты всё растоптала. Ты показала мне, что под этим — грязь. Похоть. Злоба. Зачем? Зачем ты это делаешь?

Маслова посмотрела на него.

Он сидел на кровати — растоптанный, пьяный, жалкий, в расстёгнутом сюртуке, с мокрыми глазами. Князь. Толстовец. Тот, кто её погубил и кто пришёл её спасать.

И она решила: сегодня.

Сегодня она дочитает ему Евангелие. То, которое он не дочитал. То, на котором остановился граф. Она ждала этого с пасхальной ночи. С той ночи на погосте, когда стояла над могилой и говорила: «ему дочитать вслух».

Она встала. Подошла к полке. Взяла маленький чёрный Новый Завет — тот, что дал ей англичанин в тюрьме, с подчёркнутым Апокалипсисом. И вернулась к нему.

— Раздевайся, — сказала она.

Она не легла с ним сразу. Она сделала иначе.

Она велела ему раздеться — всему, донага, — и он разделся, покорно, пьяно, потому что за этим и пришёл, за своим унижением, за зеркалом. И велела ему сесть на пол. На коврик. У её ног.

Сама она села в кресло. В красном — не снимая красного. С книгой в руках. И вытянула ногу — в чёрном чулке, в красной туфле — и поставила ему на плечо. Голое плечо. Каблук упёрся в ключицу.

Он сидел у её ног — голый, большой, белый, с обвисшими плечами, князь Нехлюдов, — и смотрел на неё снизу вверх. И в глазах его была та смесь, которую она так хорошо знала: ненависть, стыд, желание и — покорность. Сладкая покорность. Как у Насти. Как у Паратова. Как у всех, кого она ставила на колени.

Им всем это нужно, подумала она. Всем. Привалову нужно, чтобы им командовали. Паратову — чтобы наступали. Насте — чтобы приказывали. Нехлюдову — чтобы унижали. Под каждым мундиром, под каждой рясой, под каждым Евангелием — раб, который хочет господина. Это тоже биология. Это тоже рефлекс.

— Сиди, — сказала она. — И слушай. Я тебе почитаю.

Она раскрыла книгу.

— Ты читаешь Евангелие, Митенька, — сказала она. — И граф твой читает. Только вы его не дочитываете. Вы читаете про любовь. Про «любите врагов». Про «не противься злому». Про лилии полевые. Про кроткого Христа. А дальше не читаете. Останавливаетесь. А что дальше? Дальше-то что? Вы не дочитываете.

Она перелистнула книгу — к концу. К последним страницам. К подчёркнутому.

— А дальше, — сказала она, — Апокалипсис. Откровение Иоанна. Самая последняя книга. То, чем всё кончается. То, ради чего всё. Слушай.

И начала читать.

Она читала медленно. Своим низким, хриплым голосом, который так действовал на мужчин. И слова Откровения в этом голосе звучали не как в церкви — не нараспев, не умильно, — а страшно. Как приговор.

Она читала про пятую печать. Про души убиенных под жертвенником, которые вопиют громким голосом: доколе, Владыка, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?

— Слышишь, Митенька? — сказала она, подняв глаза от книги. — Не мстишь. Так и написано. Души убитых просят Бога: когда отомстишь? Сколько ждать? Они не прощают, Митенька. Они в раю, под жертвенником, у Бога, — и они просят мести. А твой граф говорит: прощайте. А Бог говорит: ждите, скоро отомщу, вот только добьют остальных.

Нехлюдов молчал. Сидел у её ног, голый, и слушал.

Она читала дальше. Про гнев Агнца. Про то, как цари, вельможи, богатые, тысяченачальники и сильные прячутся в пещеры и горы и говорят горам: падите на нас и скройте нас от гнева Агнца. Про то, как трубят ангелы, и падают звёзды, и горит треть земли, и воды делаются горькими, и люди жаждут смерти, и смерть бежит от них.

Она надавила каблуком ему на плечо.

— Это не про любовь, Митенька, — сказала она. — Это про гнев. Про кровь. Про огонь. Это тоже Библия. Та самая, которую вы с графом хотите исполнять. Так исполняйте всю. Не выбирайте кусочки. Вот — гнев Агнца. Вот — цари прячутся в пещеры. Читать дальше?

— Не надо, — прошептал он.

— Надо, — сказала она. — Ты за этим пришёл.

Она дошла до семнадцатой главы.

— А вот, — сказала она, — это про меня. Слушай внимательно, Митенька. Это важно.

И прочла — про жену, сидящую на звере багряном, на водах многих. Про жену, облечённую в порфиру и багряницу, украшенную золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Про чашу в руке её, полную мерзостей и нечистоты блуда. Про имя на челе её: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.

Она остановилась. Посмотрела на него.

— Это я, — сказала она спокойно. — Великая блудница. В багрянице — видишь? — она тронула красный шёлк, — в красном. С чашей мерзостей. Вавилонская блудница, с которой блудодействовали цари земные. — Она усмехнулась. — Ты ведь князь, Митенька. Почти царь. Ты со мной блудодействуешь. Каждый понедельник. Значит, про тебя тоже.

Он смотрел на неё снизу — голый, у её ног, — и в его глазах был ужас.

— И ещё, — сказала она и перевернула страницу, к восемнадцатой главе. — Слушай, кто обо мне плачет, когда я горю. Про Вавилон. Про город.

И прочла — про то, как пал Вавилон, и как плачут о нём цари земные, блудодействовавшие с ним. И как плачут купцы земные, потому что товаров их никто уже не покупает. И она прочла список товаров — медленно, с нажимом, глядя на него:

— «Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шёлка и багряницы… и корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих».

Она подняла глаза.

— Слышишь, Митенька? Последнее. «Тел и душ человеческих». Купцы торгуют телами. Как Анна Марковна — мной. Как Привалов — своими артельщиками. Как Китаева. Как твой граф, который гонорар за книгу про меня отдал на духоборов — тоже торговля, только святая. — Она усмехнулась. — Вавилон — это не я одна, Митенька. Это весь ваш мир. Весь. Где торгуют телами и душами. Томск. Петербург. Почтамтская. Прииски. Твои имения, которые ты будто бы отдал. Этот дом. Этот город. Гора с собором. Всё — Вавилон. И всё — сгорит.

Она перешла к самому концу. К двадцатой главе. К той, что он не читал никогда.

— А вот теперь главное, — сказала она. — То, чем всё кончается. Суд.

И прочла — про престол великий белый, и Сидящего на нём, от лица Которого бежали небо и земля. Про то, как мёртвые, малые и великие, встали пред Богом. Про книги, которые раскрылись. И про иную книгу — книгу жизни. И судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.

— Книги раскрылись, Митенька, — сказала она тихо. — Все дела записаны. В книгах. И по книгам судят. — Она подумала о своей чёрной тетради, лежавшей в ящике стола, — о «книге живых», где записаны все их дела, суммы, тайны. — У меня тоже есть книга. Где всё записано. Про всех. Про тебя тоже.

И прочла последнее — про смерть и ад, поверженные в озеро огненное. И про то, что это смерть вторая. И про то, что не записанный в книге жизни был брошен в озеро огненное.

Она закрыла книгу.

— Вот, — сказала она. — Вот чем кончается ваша Библия, Митенька. Не любовью. Не прощением. Не «не противься злому». Озером огненным. Куда бросают всех. Царей, вельмож, богатых, сильных. Всех, кто не записан в книге жизни. Всех сволочей, которые тут, на земле, строили свой Вавилон, торговали телами и душами, и прятались под Евангелием, выбирая из него про любовь, а про огонь не читая. Их всех — в озеро. Гореть. Вечно.

Нехлюдов сидел у её ног. Голый. Дрожащий.

— А праведники? — прошептал он. — Что с праведниками?

— А праведники, — сказала Маслова, — смотрят, как они горят. И радуются.

— Это неправда, — прошептал он. — Праведники не радуются чужим мукам. Христос…

— Правда, — сказала она. — Так написано. Не у меня — у них, у святых отцов. Я у Соломина читала, он мне давал. Фома Аквинский писал: блаженные в раю будут видеть муки осуждённых, чтобы блаженство их было полнее. Чтобы радость была слаще. Они будут смотреть, как грешники горят в аду, — и радоваться. Это ваше учение, Митенька. Не моё. Ваше христианство. Вы только эту часть не читаете. Вы читаете про любовь, а про то, как праведники радуются мукам грешников, — не читаете.

Она наклонилась к нему. Каблук сильнее вдавился в плечо.

— А я прочитала всю, — сказала она. — До конца. И знаешь, что я поняла? Что ваша Библия — про меня. Не про графа с его любовью. Про меня. Про суд. Про гнев. Про озеро огненное. Про то, как сильные прячутся в пещеры, а души убитых кричат «доколе не мстишь», и Бог говорит «скоро». Про книги, в которых записаны все дела. Про праведников, которые радуются, глядя, как горят сволочи.

Она выпрямилась.

— Христос воскрес, Митенька. Это у графа. Воскресение. И остановился. А дальше — дальше в Символе веры: «и паки грядущаго со славою судити живым и мёртвым». Воскрес — чтобы судить. Я тебе говорила на Пасху, помнишь? Нет, не помнишь, тебя там не было. Я одна была, на погосте. Воскресение — не конец. Воскресение — начало суда.

— Ты… — Он смотрел на неё снизу, с ужасом. — Ты считаешь себя… судьёй? Орудием Бога?

— Я не верю в Бога, — сказала она. — Сеченов. Души нет. Рефлекс. Бога нет. — Она помолчала. — Но книга-то хорошая. Правильная. Люди, которые её писали, знали правду. Про гнев. Про месть. Про огонь. Про то, что сильных надо судить, а не прощать. Они только Бога приплели — потому что сами ничего сделать не могли, ждали, пока Бог сделает. Души под жертвенником кричат «доколе» — и ждут. Тысячу лет ждут. А Бог не торопится.

Она наклонилась к нему совсем близко. Прядь упала ей на лицо.

— А я ждать не буду, — сказала она тихо. — Бога нет. Значит, судить некому. Значит, я сама. Я буду озером огненным, Митенька. Я сама. Своими руками. Здесь. Не на том свете — на этом.

И тогда она притянула его к себе.

За волосы. Подняла с коврика, бросила на кровать. И взяла его — сама, сверху, в красном, не снимая красного, — вавилонская блудница в багрянице, с чашей мерзостей, та самая, с которой блудодействуют цари земные.

Он не сопротивлялся. Он отдался — весь, без остатка, — своему унижению, своему падению, своему озеру огненному. Он стонал под ней, плакал, шептал что-то — не Евангелие, нет, — и это было то самое, ради чего он приходил. Сгореть. Пасть. Перестать быть князем, толстовцем, христианином. Стать — голым телом, рефлексом, зверем в руках блудницы.

А она — она была сверху, и она судила. Телом. Каждым движением. Она чувствовала свою власть над ним — полную, абсолютную, — и чувствовала то тёмное, горячее, что поднималось в ней всегда, когда она ставила их на колени. И на этот раз к нему примешалось новое — то, чего она испугалась днём, а теперь не стыдилась: наслаждение падением. Его падением. Тем, как князь, христианин, светлый человек, которого все звали святым, корчится под ней, голый, жалкий, и шепчет её имя, и это имя теперь — не Катюша, не Любовь, а Вавилон, мать блудницам, чаша мерзостей.

Мне нравится, подумала она на вершине, запрокинув голову, чувствуя, как кричит её тело. Мне нравится валять их в грязи. Да. Нравится.

И тут же, падая с вершины, задыхаясь: это не грязь. Это правда. Я показываю их правду. Под князем — зверь. Под христианином — раб. Под спасителем — похоть. Я не пачкаю. Я проявляю. Я — зеркало. Я — Карл Фёдорович их душ.

Я делаю доброе дело.

Оправдание пришло — крепкое, как стена. И за стеной, тихо, едва слышно, скреблось то же, что в ночь с Настей и Лопуховым: а если нет? а если тебе просто нравится мучить? а если ты уже не судья, а палач, которому полюбилось ремесло?

Она не стала слушать.

Он ушёл перед рассветом. Оделся молча, трясущимися руками. У двери остановился.

— Ты права, — сказал он глухо, не оборачиваясь. — Я не дочитал. Всю жизнь выбирал кусочки. Про любовь. А про огонь — боялся. — Он помолчал. — И граф боится. Весь мир боится дочитать до конца.

— Теперь дочитаешь?

Он обернулся. Лицо у него было — страшное. Не пьяное, не жалкое. Прозревшее.

— Нет, — сказал он. — Теперь я вообще не смогу читать. Ты мне всё отравила. Евангелие. Веру. Себя. — Он смотрел на неё. — Ты знаешь, что ты сделала? Ты не меня растоптала. Ты Бога во мне растоптала. Теперь, когда я открываю Евангелие, я вижу не Христа. Я вижу озеро огненное. И тебя — в багрянице. С чашей.

— Значит, увидел правду, — сказала она.

— Значит, я в аду, — сказал он. — Уже. При жизни.

Он надел шляпу и ушёл.

Она слышала, как он спускается по лестнице. Как хлопает калитка. Как скрипит снег под его шагами во дворе — удаляясь, удаляясь.

Потом тишина. Морозная. Полная. Как над вставшей Томью.

Она подошла к окну. Распахнула ставни.

Мороз ударил в лицо. Двор был белый, синий в предрассветных сумерках. Красный фонарь над крыльцом догорал — последний, его забыли погасить, — и красный свет лежал на снегу пятном, как кровь, как чаша, пролитая на белое.

На горе, высоко, в светлеющем небе, чернел недостроенный собор — каменный скелет в лесах, без купола, открытый морозу и звёздам. Рядом белел костёл. А между ними, невидимый, стоял дом, где жил Бакунин, который хотел всё разрушить и говорил, что страсть к разрушению есть творческая страсть.

Над всем этим догорала последняя звезда.

Маслова стояла у окна, в красном, и дышала морозом.

Ей было хорошо. Спокойно. Пусто и ясно, как бывает после большой работы. Она дочитала ему Евангелие. То, что обещала себе на погосте, в пасхальную ночь. Озеро огненное. Суд. Она сделала это.

И ей было — хорошо. От его падения. От его ужаса. От «я в аду уже при жизни». Это и было то, в чём она боялась себе признаться: ей нравилось. Валять их в грязи — Настю, Лопухова, Нехлюдова. Срывать с них нарядное. Обнажать зверя.

Она подумала об этом ещё раз, холодно, у открытого окна, на морозе.

Да. Нравится. Не буду врать себе — хоть себе не буду, Митенька, в этом разница между нами. Мне нравится.

Но — она посмотрела на красный фонарь, догорающий на снегу, — но ведь и правда же выходит наружу. Когда я срываю с них одежду — выходит их настоящее. Биология. Зверь под человеком. Разве это неправда? Разве Нехлюдов не садист на самом деле? Разве Лопухов не кончил в руку? Разве Настя не течёт, как сучка? Я не придумала этого. Я это вытащила. Из них. Наружу.

Я жестокая. Да. Но я показываю правду. А они — добренькие, и врут. Граф добренький — и врёт. Христос добренький — а в конце книги про него озеро огненное, в котором горят все.

Пусть лучше жестокая правда, чем добрая ложь.

Этим она и оправдалась. Окончательно. И стена встала — крепкая, высокая, без щелей. И то, что скреблось за ней, затихло.

Она закрыла ставни. Взяла с полки Шлоссера — четвёртый том, Рим, падение империи, варвары, пожар. По порядку. Соломин велел по порядку.

И стала читать, при свече, пока за ставнями разгорался морозный рассвет.

Внизу, во дворе, догорел и погас красный фонарь.

4.5. Иудушка

Порфирия Владимирыча она выбрала не сразу.

Она думала долго — кому отдать Настю в первый раз. По-настоящему. Перебирала, как перебирают в руках карты, зная, что от одной карты зависит игра.

Лопухов не годился — слишком мягок, к тому же уже был, в той половинной сцене. Паратов — пьян, криклив, да и ненадёжен. Офицер-«волк», её проезжий, уехал. Привалов — слишком огромен, разорвёт. Кочегар Степан — хорош, но прост, а Насте нужно было не простое.

Потому что Маслова поняла про Настю главное. То, чего Настя сама про себя не знала.

Она поняла это в ту ночь на половике у двери — когда Настя стояла на коленях и целовала ей ногу. И в ту ночь с Нехлюдовым — когда Настя спускала платье по приказу и плакала от стыда, но не уходила. И на канкане — когда она плясала, глядя на госпожу, и повторяла за ней, как тень, как рабыня. И в сцене с Лопуховым — когда Настя слушалась, трогала, делала, что велят, под голос Масловой.

Насте нужно было подчиняться. Не просто идти к мужчине — а быть взятой. Не выбирать — а чтобы её выбрали, повели, приказали. Насте нужна была чужая воля, которой можно отдаться, в которой можно раствориться, перестать быть собой, перестать бояться. И — Маслова видела это, чуяла, как собака чует след, — Насте нужно было, чтобы с ней были немного жестоки. Чтобы взяли крепко. Чтобы было чуть-чуть больно. Потому что боль снимала с неё то, что мучило её всю жизнь: вину. Стыд. Ответственность. Когда больно — не виновата. Когда заставили — не грех. Когда взяли силой — можно наконец захотеть, не стыдясь, потому что не сама же.

Настя была из тех, кому рабство — свобода.

И значит, ей нужен был не добрый. Ей нужен был тот, кто возьмёт властно, жёстко, немного жестоко, — но под присмотром Масловой, которая знает меру и не даст изломать по-настоящему.

Порфирий Владимирыч.

Он служил в консистории. Чиновник по духовному ведомству — тот, через кого шли «пожертвования на храм» от Анны Марковны и от других домов. Тихий. Богомольный. Ласковый.

Маслова видела его в доме раза три — он приходил редко, осторожно, с заднего крыльца, как Нехлюдов. Немолодой, лет пятидесяти, лысоватый, с жидкой бородкой, с маслеными глазками, с тихим вкрадчивым голосом. Он всё время говорил ласковые слова — «голубушка», «душенька», «ангел мой», — и крестился, и поминал Бога, и жалел всех, и вздыхал о грехах человеческих. Иудушка, думала про него Маслова, вспоминая щедринского Головлёва, которого читала у Макушина. Пустослов. Кровопийца в елее.

А девушки его боялись. Те две-три, что бывали с ним, выходили от него молча, с опущенными глазами, и не рассказывали ничего, и крестились. Маслова выспросила у Женьки.

— Он тихий, — сказала Женька. — Ласковый. «Голубушка, душенька». А как запрётся — бьёт. Не кулаком. По-особому. Щиплет, выкручивает, булавкой колет. Тихо, чтоб следов мало. И приговаривает: «терпи, душенька, страдание очищает, Господь терпел и нам велел». Молится при этом. — Женька сплюнула. — Поп недоделанный. Его Клавдия боялась больше всех. Может, от него и в чулан-то…

Маслова слушала. И понимала: вот он. То, что нужно Насте. Но — опасный. Такого нельзя пускать одного. Он может перейти меру. Может изломать.

Значит — она будет рядом. Как была с Лопуховым. Она будет держать всё в руках. Она даст Насте боль — ровно столько, сколько Насте нужно, и ни каплей больше. Она отмерит. Как аптекарь отмеряет яд: в малой дозе лекарство, в большой — смерть.

Она сделает Насте добро, подумала она. Даст ей то, чего та хочет, но боится хотеть. И убережёт от лишнего.

Так она себе сказала.

Она готовила Настю неделю.

Каждую ночь — после своих гостей — она звала Настю к себе. Та приходила, ложилась на коврик у кровати или садилась рядом, и Маслова говорила с ней. Разжигала.

Она говорила про тело. Про физиологию. Про то, что Настя — животное, и это хорошо, это правильно, это природа.

— У тебя внутри, Настя, — говорила она, поглаживая её по светлым волосам, — такая же машина, как у всех. Дарвин, Сеченов — я тебе рассказывала. Нервы. Кровь. Там, внизу, у тебя — нерв. Много нервов. Они просят. Как желудок просит есть. Как горло просит пить. Это не грех, Настя. Это голод. Твоё тело голодное. Оно хочет. И когда ты держала Дмитрия рукой и смотрела — помнишь? — у тебя внутри сжалось. Горячо стало. Мокро. Это оно просило. А ты не дала. Оставила голодным.

Настя слушала, прижавшись к ней, и дышала часто.

— А человек не должен голодать, — говорила Маслова. — Это вредно. Это болезнь. Монашки, которые голодом морят тело, — они все больные, все злые, все сохнут. А кто ест досыта — те здоровые, румяные, весёлые. И тело надо кормить. Это тоже еда, Настя. Самая сладкая.

— А грех? — шептала Настя. — Мама говорила…

— Нет греха, — говорила Маслова твёрдо. — Бога нет, я тебе говорила. Души нет. Есть тело. Есть нервы. Есть голод. И есть пища. Грех придумали те, кто хотел, чтобы мы голодали, пока они едят. Попы. Баре. Чтобы мы боялись, терпели, молчали. А они — брали всё. И тело тоже. Твоё мама боялась — и что? Умерла на пристани, от тифа, голодная, и телом голодная, всю жизнь. Ты так хочешь?

— Нет…

— Тогда ешь, — говорила Маслова. — Корми своё тело. Не бойся. Я тебе дам. Хорошего. Такого, что ты наешься досыта и заснёшь счастливая. Доверься мне.

И Настя доверялась. И горела. И к концу недели изнывала так, что Маслова видела: пора. Девчонка была как натянутая струна, как переполненная чаша. Тронь — прольётся.

В субботу вечером она привела Настю в ту же комнату, рядом со своей. И Порфирия Владимирыча.

Он пришёл ласковый, тихий. Увидел Настю — молоденькую, светловолосую, в голубом, дрожащую — и глазки его замаслились.

— Ах, голубушка, — сказал он, потирая сухие ручки. — Ах, ангелочек. Новенькая? Чистенькая какая. Невинная. — Он перекрестился. — Грех-то какой. Сладкий грех.

Маслова села в кресло у окна.

— Я останусь, — сказала она. — Настя без меня боится.

Порфирий Владимирыч оглянулся на неё. В масленых глазках мелькнуло неудовольствие — он любил запираться один, без свидетелей. Но перед тысячной он робел, как все.

— Как угодно, душенька, — сказал он. — Как угодно. Втроём так втроём. Господь троицу любит.

И захихикал.

Маслова смотрела — всё время, не отрываясь, — и управляла. Голосом. Взглядом. Присутствием.

Порфирий Владимирыч начал ласково. «Голубушка, душенька, не бойся». Раздевал Настю медленно, приговаривая, крестясь. А потом, когда она осталась нагая, дрожащая, — началось другое. Он защипнул. Выкрутил. Настя вскрикнула.

И Маслова увидела то, что искала.

Настя вскрикнула — от боли. Но в крике было не только страдание. Было облегчение. Будто боль прорвала что-то, что копилось в ней девятнадцать лет: страх, стыд, вину, зажатость. Будто кто-то наконец снял с неё ответственность — потому что теперь не она, теперь с ней делали, и значит, можно было не стыдиться, можно было отпустить себя, раствориться, перестать быть.

Маслова видела: Насте — хорошо. По-своему, по-страшному, но хорошо. То тёмное, что копилось в ней неделю, что Маслова разжигала, — оно нашло выход. Через боль. Через подчинение. Через чужую волю.

Но Маслова видела и другое: Порфирий Владимирыч входил во вкус. Масленые глазки стекленели. Щипки становились злее. Он уже не для Насти это делал — для себя. Он забывался. Он тянулся к мере и за меру.

Маслова встала с кресла.

Подошла. Положила руку ему на плечо — не сильно, но так, что он замер.

— Довольно, Порфирий Владимирыч, — сказала она тихо. — Полегче. Она не Клавдия.

Он вздрогнул при этом имени. Оглянулся на неё — испуганно. Понял, что она знает. Про Клавдию. Про чулан. Про всё.

— Я… душенька… я ничего… я любя…

— Любя, — сказала Маслова. — Вот и люби полегче. А то я Анне Марковне скажу, сколько ты консистории несёшь из её кассы и сколько себе оставляешь. Я книги видела. — Она наклонилась к его уху. — И владыке напишу. Как ты по домам терпимости ходишь. Девок мучаешь. Молишься при этом. Думаешь, владыке интересно будет?

Порфирий Владимирыч побелел.

С этой минуты он стал шёлковый. Он делал то, что нужно было Насте, — властно, жёстко, но в меру, которую отмеряла Маслова, стоя рядом, следя, останавливая взглядом, когда он тянулся за край. Он был теперь инструментом в её руках — как Лопухов, как все. А она играла им, давая Насте ровно то, что Насте было нужно.

И Настя получила своё.

Потом Порфирий Владимирыч ушёл — присмиревший, оглядывающийся, оставив на столе деньги и ещё, отдельно, рядом с деньгами, маленькую просфору, которую зачем-то носил в кармане. Крестясь, бормоча. Иудушка, прищемлённый за хвост.

А Настя осталась.

Она лежала на кровати — нагая, уже не девственная, с кровью на голых ногах, в красных пятнах от щипков, со спутанными светлыми волосами, — и дышала. Глубоко. Ровно. И на лице у неё было то, чего Маслова не видела никогда: покой.

Не счастье канкана — дикое, яркое. Другое. Тихий, глубокий, усталый покой. Как у человека, который долго нёс тяжесть — и наконец поставил. Как у больного, которому после долгой боли дали опиум. Как у путника, дошедшего до дома.

Задавленная, закомплексованная, всю жизнь боявшаяся, стыдившаяся, зажатая в комок — Настя наконец отпустила себя. И тело её, измученное неделей разжигания, наконец наелось. И то, что мучило её, — страх, стыд, вина, — всё это вышло через боль, через подчинение, через чужую волю, и осталась — пустота и покой.

Ей было хорошо.

Маслова села рядом. Погладила её по голове, по горячей влажной коже плеча, по красным пятнам.

— Ну что? — спросила она тихо. — Больно было?

— Больно, — прошептала Настя. И улыбнулась — слабо, блаженно. — И хорошо.

— Хочешь ещё?

Настя помолчала. Потом кивнула. Медленно. Твёрдо.

— Хочу, — сказала она.

И это было уже не вчерашнее робкое «хочу», сказанное в красный шёлк. Это было другое. Она теперь знала, чего хочет. Она попробовала — и захотела ещё. Голод, который Маслова разжигала неделю, нашёл свою пищу — и просил добавки.

Маслова легла рядом с ней. Притянула к себе. И говорила — тихо, разжигая, закрепляя, вбивая последний гвоздь:

— Вот видишь, — говорила она. — Я же говорила. Твоё тело наелось. И тебе хорошо. Спокойно. И не стыдно. Правда?

— Правда, — выдохнула Настя.

— Потому что нет греха. Есть тело и его голод. И кто кормит тело — тому хорошо. А кто голодит — тому плохо. Ты теперь знаешь. Попробовала. Ты теперь не та испуганная девочка, что роняла поднос. Ты теперь — другая. Ты теперь знаешь, чего хочет твоё тело, и не боишься ему дать.

Настя слушала, прижавшись к ней, и кивала.

— Ты знаешь, кто ты теперь? — спросила Маслова.

— Кто?

— Ты теперь блядь, Настя, — сказала Маслова. Спокойно. Ласково. Как говорят «ты теперь взрослая» или «ты теперь свободная». — Не бойся слова. Слово — честное. Блядь — это та, кто кормит своё тело, не стыдясь. Кто спит с мужиками и берёт за это деньги, и ей хорошо, и не грех. Я блядь. И ты теперь блядь. И мы будем блядовать вместе. Ты и я. Весело, сытно, свободно. И деньги будем брать — большие. И никого не бояться. Хочешь так?

Настя подняла голову. Посмотрела на неё — светлыми, спокойными, уже не испуганными глазами. И в этих глазах было то, чего Маслова добивалась два месяца: не страх, не покорность даже, а согласие. Радостное, свободное согласие. Усвоенное. Ставшее своим.

— Я блядь, — сказала Настя. Медленно. Пробуя слово на вкус. Потом — твёрже, улыбаясь: — Я блядь. Я буду блядовать. С тобой.

Настя раздвинула голые ноги и натянула невидимого мужика на себя руками – показала, как блядуют.

Маслова засмеялась. Обняла её. Прижала к себе.

— Вот умница, — сказала она. — Вот моя девочка.

Настя заснула у неё под боком — быстро, глубоко, счастливо, по-детски подложив ладонь под щёку. Нагая, в красных пятнах, с улыбкой на губах.

Маслова лежала, глядя в потолок, и слушала её ровное дыхание.

Дело сделано. Два месяца. Канкан, Лопухов, разжигание, Порфирий Владимирыч. Из забитой, плачущей, роняющей подносы сироты она сделала то, что хотела: блядь, которая блядует с радостью. Покорную. Преданную. Голодную. Свою. Орудие — и спутницу.

Она закрыла глаза.

И тут, в темноте, перед сном, пришло — не оправдание на этот раз, а то, что было под оправданием, что скреблось все эти недели за стеной.

Она вспомнила себя. Шестнадцатилетнюю. У тётушек. До Нехлюдова. До пасхальной ночи. Чистую. Верующую. Боящуюся греха, как боялась его Настя. И вспомнила, как Нехлюдов — с его добротой, с его сияющими глазами, с его «Христос воскресе, Катюша» — как он разжигал в ней, девочке, желание. Медленно. Неделями. Ласковыми словами. Подарками. Взглядами. Пока она сама не захотела. Пока сама не пошла к нему ночью, через туман, через треск льда на реке. По своей воле. Радостно.

А потом — сто рублей в конверте. И жизнь под откос.

Он сделал с ней то же самое, что она сейчас сделала с Настей.

Слово в слово. Жест в жест. Разжёг, дал иллюзию выбора, совратил — и убедил себя, что делает добро, что любит, что это высокое чувство.

Она открыла глаза в темноте.

Я — Нехлюдов, подумала она. Для Насти — я Нехлюдов. Я делаю с ней то, за что сужу его.

Стена дрогнула. То, что скреблось за ней, подняло голову.

Но она уже умела. Она знала, как заделать трещину. Она подумала: нет. Не так. Нехлюдов разжёг и бросил. А я не брошу. Нехлюдов губил. А я веду. Нехлюдов делал для себя, а убеждал себя, что для меня. А я делаю для Насти — ей же лучше, ей же хорошо, посмотри, как она спит, счастливая, впервые в жизни счастливая, — и не вру себе, что это не для меня тоже. Я знаю, что мне это нравится. В этом разница. Я честная.

И ещё: я делаю её сильной. Свободной. Нехлюдов сделал меня рабой — сломал. А я Настю не ломаю, я её освобождаю. Она была рабой страха, рабой стыда, рабой маминых слов. А теперь она свободна. Блядь — это свобода.

Стена встала снова. Трещина заделалась.

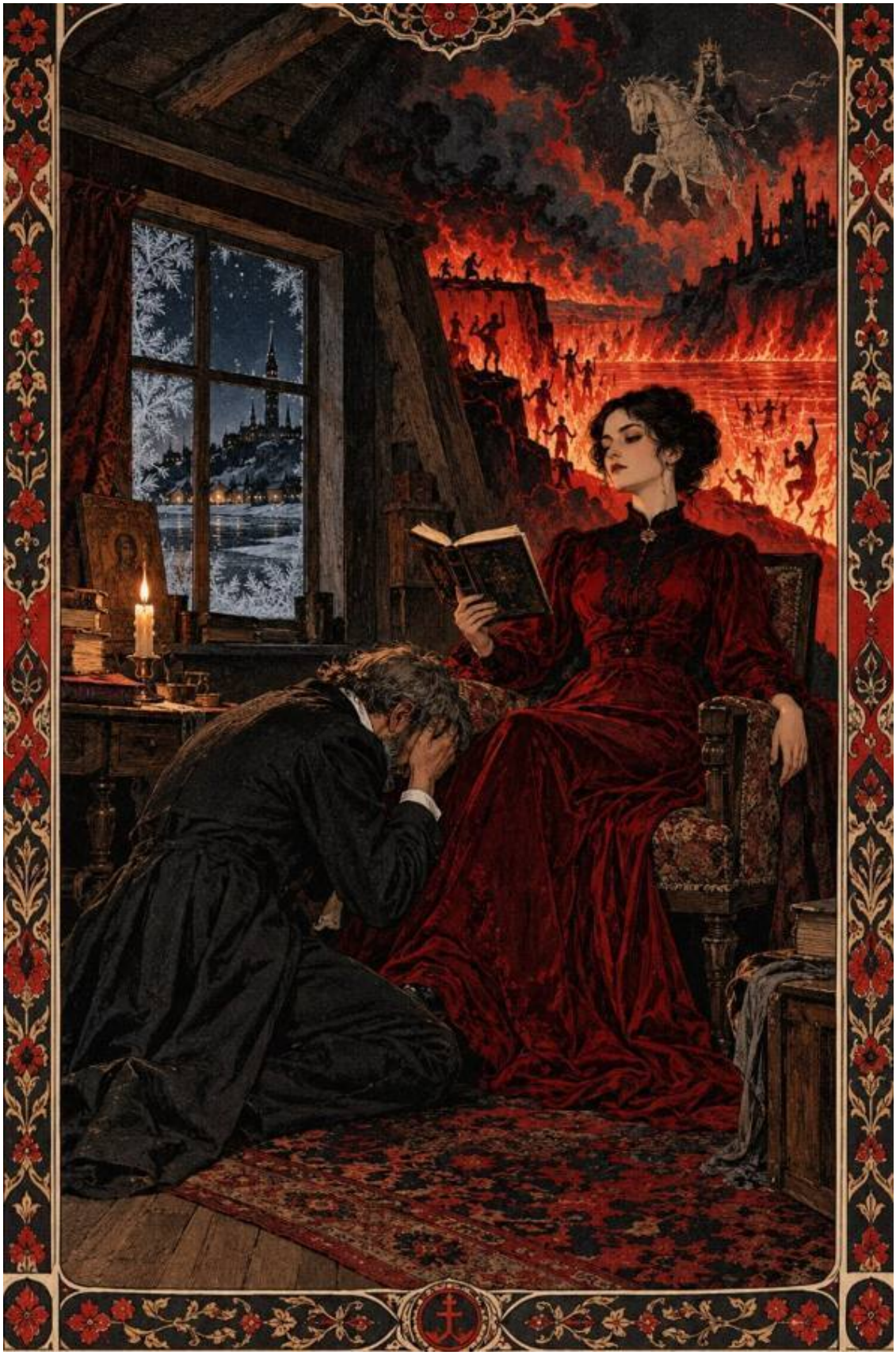
Но на этот раз — Маслова почувствовала это, засыпая, — на этот раз заделалась не наглухо. Осталась тонкая линия. Волосок. И она знала: когда-нибудь эта трещина разойдётся. Не сейчас. Потом. Когда будет поздно.

Она притянула спящую Настю ближе. И заснула.

За окном трещал мороз в брёвнах. Томь стояла. На горе чернел недостроенный собор. Внизу, во дворе, горел красный фонарь.

Зима.

Конец четвёртой главы.



Глава 5. Чёрное платье

Жизнь — это сон, а смерть — пробужденье.

из святочной песни
На суровый дубовый костер мы русов тела положили
Велимир Хлебников

5.1. Любка

Её звали Любка.

Так же, как звали Маслову у Китаевой. Любовь. То имя, которое дают в домах чаще других, потому что оно сладкое, потому что оно про то, чем торгуют, потому что над ним можно смеяться — «иди, Любка, тебя любить пришли». Имя-клеймо. Имя-товар.

Любка пришла к Анне Марковне в сентябре — её Маслова почти не замечала поначалу. Молоденькая, восемнадцати лет, рыжеватая, веснушчатая, с круглым простым лицом, с ямочками на щеках, с той деревенской свежестью, которая в доме держится год, от силы два, а потом сходит, как сходит румянец с яблока в подвале. Она была глуповата и добра. Смеялась легко, по-коровьи, запрокидывая голову. Пела песни — жалостливые, про разлуку, про могилку, — и девушки плакали, слушая. Она была из-под Томска, из деревни, из большой семьи, где было двенадцать ртов и мало хлеба, и её отдали — не продали даже, а отдали, как отдают лишнего телёнка, чтобы не кормить.

Маслова заметила её по-настоящему только в ноябре. Увидела однажды, как Любка сидит на подоконнике в зале, днём, одна, и смотрит в окно, на снег, и шевелит губами — считает что-то. И подошла.

— Что считаешь?

— Дни, — сказала Любка и покраснела. — С последних-то моих. Женских. — Она помолчала. — Сорок два дня, Катерина Михайловна. Не приходят.

И Маслова всё поняла.

Она смотрела на Любку — на круглое веснушчатое лицо, на ямочки, на рыжеватые волосы, на испуг в простых серых глазах, — и видела себя.

Двенадцать лет назад. Шестнадцати лет. У тётушек. Когда поняла, что не приходят. Когда считала дни на пальцах, шевеля губами, и холодела, и не знала, что делать, и не с кем было сказать. Когда поняла, что беременна от Нехлюдова, который уехал в полк, сунув ей сто рублей. Когда тётушки, узнав, выгнали её — беременную, на улицу. Когда начались её скитания, кончившиеся у Китаевой.

Любка была — она. Та, прежняя. До всего. До каторги, до поселения, до Болота, до книг, до суда и мести. Глупая, добрая, деревенская девочка, которую отдали, как телёнка, и которая теперь считает дни, шевеля губами, и холодеет.

И что-то дрогнуло в Масловой — то, что давно не дрожало. Жалость. Не холодная, не оценивающая — как к Насте, где под жалостью всегда был расчёт. А простая, тёплая, человеческая. Как к себе самой, той, прежней.

— Не бойся, — сказала она Любке и села рядом на подоконник. — Не ты первая.

— Что ж делать-то, Катерина Михайловна? — зашептала Любка, и слёзы потекли по круглым щекам. — Анна Марковна-то узнает — к бабке пошлёт. А я боюсь. У нас в деревне Нюрка от бабки померла. Кровью изошла. А рожать — куда ж мне рожать? Куда с ним? В воспитательный? Там ведь мрут они, детишки-то…

Маслова молчала.

В воспитательный дом. Там мрут. Её ребёнок — туда отдали. И он умер. Безымянный, в общей яме. Она даже не знала, мальчик был или девочка, — ей не сказали, ей было всё равно тогда, она пила.

— Родишь — отберут и уморят, — сказала она тихо. — А к бабке пойдёшь — сама можешь помереть. — Она посмотрела на Любку. — Вот тебе весь выбор, Любка. Вся наша женская доля. Либо ребёнка убить, либо себя.

— А третьего нету? — прошептала Любка.

— Нету, — сказала Маслова. — Третьего они нам не оставили.

Они — кто? Она не договорила. Но подумала: все. Весь мир. Тот, что наверху, на горе. Тот, кто сделал так, что женщине либо убить дитя, либо умереть самой, а третьего — нет.

Анна Марковна узнала через неделю. Эмма Эдуардовна заметила — Любку тошнило по утрам, — и доложила.

Анна Марковна вызвала Любку к себе, в комнату перед иконами. Маслова при этом была — напросилась, сказала, что Любка её боится меньше. Анна Марковна разрешила: она теперь во многом уступала тысячной.

— Срок какой? — спросила Анна Марковна деловито, как спрашивают о сроке векселя.

— Два месяца, Анна Марковна, — прошептала Любка.

— Два. — Анна Марковна пощёлкала счётами — зачем, непонятно, может, по привычке. — Рано ещё. Хорошо, что рано. На сносях труднее. — Она перекрестилась на иконы. — Ну, Бог милостив. Бабка придёт в субботу. Она умелая, не сомневайся. Скольким помогала — не перечесть.

— Анна Марковна, — сказала Маслова. — А может, оставить? Родит, отдадим кормилице в деревню…

Анна Марковна посмотрела на неё как на дуру.

— Кормилице? — сказала она. — За чей счёт? И девка полгода работать не будет, брюхатая. Кто мне убытки покроет? Нет, Катерина Михайловна. У меня дом, а не приют. В субботу бабка. — Она повернулась к Любке, и голос её стал ласковым, тётушкиным, с ямочками. — Не бойся, голубушка. Это дело житейское. Поболит денёк — и снова как новенькая. Я тебе и винца дам, для храбрости. И свечку поставлю за тебя. Богородице. Она всё понимает, Пречистая. Она милостивая.

Она поставит свечку Богородице. За удачный аборт. Она была уверена, что Богородица поймёт.

Маслова смотрела на неё и думала: вот. Вот она, цепь. Начинается здесь. Хозяйка, которая ставит свечку Богородице за то, что убьёт ребёнка, чтобы девка скорее вернулась к работе. И всё по-христиански. И все довольны. И Богородица, конечно, поймёт.

Бабка пришла в субботу вечером.

Маслова видела её — в сенях, мельком. Маленькая, сгорбленная старуха в тёмном платке, с котомкой, из которой торчали пучки сухих трав и горлышко бутыли. Лицо — тёмное, сморщенное, с живыми чёрными глазками. Руки — сухие, корявые, с чёрными ногтями. От неё пахло травами, воском и чем-то ещё — тем, чем пахнет в курной избе, где варят зелье.

Она была знахарка. Та самая, у которой травы — и от беременности, и от болезней, и, может быть, от жизни. Маслова подумала о борце, который нарвала в Кафтане, — о синих цветках, о корнях в мешочке, спрятанном в сундуке. Может быть, у этой бабки тоже есть борец. Может быть, бабка знает про него всё.

Потом — потом надо будет с ней свести знакомство. Не сейчас. Потом. Пригодится.

Бабку провели в дальнюю комнату, в конце коридора, — ту, где обычно не жили, куда сваливали старую мебель. Там на кровати, покрытой клеёнкой, уже лежала Любка — бледная, в одной рубахе. Ей дали вина — Анна Марковна сдержала слово, — и Любка была уже хмельная, и плакала, и смеялась, и крестилась, и звала маму.

Маслова хотела остаться с ней. Но Анна Марковна не пустила.

— Нечего, Катерина Михайловна, — сказала она твёрдо. — Это дело такое, при чужих нельзя. Бабка не любит. Иди в залу. Сегодня пятница, гостей много. Иди работай. И Любку не жалей — ей не поможешь, только помешаешь.

Пятница. Гости. Работа.

Маслова пошла в залу.

В зале было полно.

По пятницам теперь ждали канкана. Слух о парижской пляске тысячной и голубой разошёлся по всему Томску, и в пятницу зала набивалась битком: офицеры, купцы, чиновники, проезжие. Приходили даже те, кто не брал девушек, — просто посмотреть. Анна Марковна подняла по пятницам цену за вход, и всё равно мест не хватало.

Тапёр — трезвый, ему теперь платили за трезвость — сидел у пианино и ждал.

Маслова поднялась наверх переодеться. В угловой комнате Настя уже ждала её — в голубом, с распущенными волосами, причёсанная, нарумяненная (теперь Маслова разрешала румяна: Настя просила, Насте нравилось краситься). Настя за два месяца расцвела. Страх ушёл из её глаз совсем — осталось то весёлое, дикое, голодное, что Маслова в ней разбудила. Она ждала пятницы. Она любила плясать. Она любила, когда на неё смотрят. Она любила все, что будет после и с самого утра ждала этого.

— Катерина Михайловна, — сказала она, помогая Масловой зашнуровать красное, — а правда, что Любке сегодня бабка делает?

— Правда.

— Бедная, — сказала Настя. И тут же, без перехода, вертясь перед зеркалом: — А я сегодня хочу, чтоб меня тот офицер взял, рыжий, помните, с усами? Красивый. Я на него гляжу — у меня аж тут всё… — Она засмеялась, прижав руку к животу, и покраснела — уже не от стыда, а от удовольствия.

Маслова посмотрела на неё в зеркало.

В конце коридора, за несколькими дверями, в комнате со старой мебелью, на клеёнке, сейчас бабка делала Любке то, что делала. А здесь Настя вертелась перед зеркалом, румяная, весёлая, и хотела рыжего офицера. По губам у нее текла слюна.

И она сама — она сейчас пойдёт плясать канкан. Над смертью. Буквально над смертью — через несколько комнат.

Она подумала об этом — и не остановилась. Зашнуровала красное. Поправила прядь. Взяла Настю за руку.

— Пойдём, — сказала она. — Нас ждут.

Они плясали вдвоём.

Тапёр ударил адский галоп Оффенбаха, и они взлетели на дубовый стол — красное и голубое, тёмная и светлая, — и зала взревела. Ноги взлетали. Юбки взметались пеной. Каблуки стучали по дубу, как пули. Волосы хлестали по плечам.

Настя плясала теперь не хуже Масловой. Она научилась. Она отпускала себя сразу, с первого такта, — запрокидывала голову, смеялась, визжала, вскидывала ногу выше головы, и белое мелькало над чулком, и зала стонала. Она больше не смотрела на Маслову, ища опоры, — она смотрела в залу, на мужчин, прямо в их красные жадные лица, и смеялась им, и дразнила их, и наслаждалась их голодом.

Орфей в аду. И две вакханки пляшут над преисподней.

А преисподняя была — рядом. За стеной. За несколькими дверями. Там, в комнате со старой мебелью, на клеёнке, восемнадцатилетняя Любка, рыжая, веснушчатая, с ямочками, хмельная от вина для храбрости, — там бабка корявыми чёрными пальцами делала то, что делала. И Любка кусала подушку, чтобы не кричать, — а может, и кричала, только музыка заглушала, бешеный галоп заглушал всё.

Маслова плясала и думала об этом. Одной частью головы — плясала, вскидывала ноги, смеялась, дразнила. А другой — думала: сейчас. Прямо сейчас. Пока мы пляшем. Жизнь выходит из Любки вместе с кровью, а мы пляшем. И эти, внизу, которые смотрят на наши ноги, — они бы и на Любкину кровь смотрели так же, если б её вынесли сюда на блюде. Они бы хлопали.

Весь мир — это бордель, где наверху пляшут, а за стеной умирают. И те, кто пляшет, и те, кто смотрит, — все знают про стену. И всем всё равно. В этом и есть Вавилон.

Она вскинула ногу выше головы и засмеялась — громко, страшно, на всю залу.

Галоп кончился. Они упали в шпагат — обе, рядом, красное и голубое пеной вокруг. Зала взорвалась. Деньги полетели на стол.

И сразу к ним потянулись руки.

Два купца — оба уже немолодые, оба пьяные, оба из приезжих, с низовьев, рыбопромышленники или хлеботорговцы, с толстыми шеями, с перстнями, — подошли вместе. Они, видно, приятели, компаньоны, кутили вдвоём и брать хотели вдвоём, вместе, чтоб и тут не разлучаться.

— Обеих! — крикнул один, рыжебородый, бросая на стол радужную бумажку. — Обеих берём! Я — вон ту, тёмную! А ты, Кузьма, бери светленькую!

— Беру! — заревел второй, Кузьма, толстый, багровый. — Светленькую! Сколько?

Маслова посмотрела на них сверху, со стола. На толстые шеи. На перстни. На мокрые губы. Животные. Сытые, пьяные, довольные животные.

Она посмотрела на Настю.

Настя смотрела на рыжего офицера — он стоял у стены, которого она хотела. Но офицер не двигался к ней, а эти двое уже бросали деньги, уже тянули руки. И Маслова увидела, как Настя на секунду огорчилась — не тот, хотелось рыжего, — а потом махнула рукой, засмеялась, и в глазах у неё вспыхнуло прежнее: всё равно, лишь бы взяли, лишь бы — то самое, тёмное, сладкое.

— Пойдём, Настя, — сказала Маслова. — Вместе.

Они сошли со стола — обе, на протянутые руки. Два купца подхватили их, обняли, потащили к лестнице. Рыжебородый лапал Маслову, дышал ей в лицо перегаром и икрой, хохотал. Кузьма тискал Настю, и Настя визжала и хохотала тоже, и обнимала его за толстую шею, и уже не огорчалась о рыжем офицере.

Их повели наверх — обеих, вместе, под хохот и улюлюканье залы. Две пары. Красное и голубое. На второй этаж, в комнаты.

А в конце того же коридора, за несколькими дверями, в комнате со старой мебелью, лежала Любка.

Когда они проходили мимо той двери — Маслова, и рыжебородый купец, лапающий её, и Настя с Кузьмой, — из-за двери донёсся звук.

Тихий. Долгий. Не крик — стон. Протяжный, глухой, безнадёжный стон, какой издаёт загнанная скотина.

Рыжебородый на секунду остановился.

— Эт чего там? — спросил он, икнув.

— Ничего, — сказала Маслова. — Кошка. — И потянула его дальше, в свою комнату. — Пойдём, миленький. Пойдём.

Она закрыла дверь. И отдалась рыжебородому купцу — умело, бесстыдно, с той властью, которой научилась, — а за стеной, за несколькими дверями, стонала и умирала девочка с её именем. Отдалась при Насте, подмигивая и приглашая разделить с ней радость от разврата.

И она знала это. И не остановилась.

Потому что — сказала она себе, уже начав, уже в деле, — потому что ничем не помочь. Остановись она, выбеги, выгони бабку — Любку это не спасёт, дело сделано, бабка уже всё сделала. А дом работает. Пятница. Гости. И она, Маслова, тоже работает — копит деньги в кассу, чтобы весной уничтожить всё это, чтобы больше никогда никакая Любка… Это ради Любки. Ради всех Любок. То, что она делает сейчас, — ради того, чтобы этого больше не было.

Так она себе сказала. И стена встала. Но тонкая трещина — та, что осталась после Насти, — чуть разошлась. И сквозь неё, пока она отдавалась купцу, пробивался стон из-за стены. Тихий. Долгий. Безнадёжный.

Она закрыла глаза и застонала — чтобы не слышать. Рядом орала и извивалась Настя, что окончательно помогло.

Любку вынесли из той комнаты в воскресенье утром.

Бабка ушла ночью, получив три рубля, оставив пучок травы — «отваром поить, коли жар будет». Любку перенесли в общую девичью, на кровать. Она была белая, как полотно, с синими губами, с запавшими глазами. Но живая. Слабая, но живая. Пила отвар. Даже улыбнулась Масловой, когда та пришла, — слабо, через силу, ямочками.

— Вот, Катерина Михайловна, — прошептала она. — Обошлось. Бабка сказала — обошлось. Полежу денёчек — и встану.

— Полежи, — сказала Маслова. — Я тебе бульону принесу.

Она принесла бульону. Сидела с ней. Поправляла подушку. Любка задремала.

К вечеру начался жар.

Сначала небольшой. Любка раскраснелась, запросила пить. Потом — больше. Губы запеклись. Глаза заблестели. Она стала метаться, сбрасывать одеяло, звать маму.

Маслова положила руку ей на лоб. Лоб горел. Горел так, как горел лоб у Симонсона на шестой день, перед смертью. Она знала этот жар. Она видела его. Она читала теперь о нём — в книгах профессора.

Заражение крови.

Корявые чёрные пальцы бабки. Грязь. Старая мебель, клеёнка. То, что внесла внутрь бабка вместе со своим инструментом, — то, что профессор называл микробами, невидимыми существами Пастера, — оно теперь размножалось в Любкиной крови, плыло по рекам её тела, и жгло, и жгло.

Маслова встала. Пошла к Анне Марковне.

— Любке плохо, — сказала она. — Жар. Сильный. Надо доктора. Карла Фёдоровича. Сейчас же.

Анна Марковна поморщилась.

— Доктора? Ночью? В воскресенье? Он не поедет. И денег возьмёт — страсть. — Она перекрестилась. — Обойдётся, Катерина Михайловна. Бабка траву оставила. Пои. У всех жар бывает после этого. Поболит — пройдёт.

— Не пройдёт, — сказала Маслова. — Я знаю этот жар. Это заражение. Она умрёт.

Анна Марковна посмотрела на неё.

— Все там будем, — сказала она и снова перекрестилась. — На всё воля Божья.

На всё воля Божья.

Маслова смотрела на неё — на маленькую, полную, седую, с красной лампадой за спиной, с ямочками, — и впервые за всё время почувствовала не холодный расчёт, не интерес исследователя, а горячую, тёмную, слепую ненависть. Такую, что потемнело в глазах.

Воля Божья. Бога нет, старая сука. Есть ты. Есть твои счёты. Есть твоя жадность. Есть бабка с грязными пальцами, которую ты позвала, чтоб девка скорее работала. Есть твоя свечка Богородице. Это ты её убила. Ты. И сейчас убьёшь — тем, что не дашь доктора.

Она ничего не сказала. Она умела теперь молчать. Она повернулась и вышла.

Доктора она достанет сама. У неё есть деньги. У неё есть власть. Она достанет Карла Фёдоровича — хоть ночью, хоть в воскресенье.

Она ещё не знала, что это не поможет. Что Карл Фёдорович придёт пьяный и бесполезный. Что заражение не лечат ничем — профессор сказал: не умеем, пока не умеем. Что Любка будет умирать три дня, как умирал Симонсон. И что в конце концов её похоронят — в долг, в мёрзлую землю, под те же песнопения.

Но это будет в следующие дни.

А сейчас она шла по коридору — мимо той двери, где всё случилось, мимо залы, откуда ещё доносилась музыка, — и внутри у неё, под ненавистью, под яростью, впервые за долгое время поднималось что-то, чего она не чувствовала с Кафтана, со смерти Симонсона.

Горе.

Простое человеческое горе — по глупой доброй рыжей девочке с её именем. По себе, той, прежней. По всем Любкам, которых убивают наверху, пока внизу пляшут канкан.

Она дошла до своей комнаты. Заперла дверь. Села на кровать.

И заплакала — первый раз за полгода. Молча, сжав зубы, уткнувшись в красный шёлк.

За стеной, в девичьей, металась в жару и звала маму восемнадцатилетняя Любка.

А в сундуке, на дне, под красным платьем, рядом с венчиком и самородком, лежал мешочек с корнями синего борца.

Пригодится, подумала она сквозь слёзы. Всё пригодится. Я вам за неё... я вам за всех...

Она не договорила даже про себя. Но чёрное платье она купит завтра.

5.2. Цепь

Карл Фёдорович приехал только в понедельник к вечеру.

Маслова посылала за ним трижды. В воскресенье ночью — бык ходил, вернулся ни с чем: доктор не открыл. В понедельник утром — записка с посыльным мальчишкой, и десять рублей вперёд: не ответил. Днём она пошла сама — в сером, невидимая, через весь город, на гору, к его дому на Почтамтской, — стояла в передней, пока горничная докладывала, и доктор вышел недовольный, в халате, с салфеткой: он обедал.

— Опять ваш дом, — сказал он, увидев её. — Что там? Дурная болезнь? Я же был в субботу на осмотре, всё записал.

— Заражение, — сказала Маслова. — После бабки. Жар третий день. Крупозный жар, как при родильной горячке. Пульс частый, слабый. Бред. Я думаю — сепсис.

Карл Фёдорович посмотрел на неё поверх пенсне. Он услышал слова — «сепсис», «пульс слабый», «родильная горячка». Слова, которых не говорят проститутки. Слова из его мира.

— Откуда вы это знаете? — спросил он.

— Читала.

— Что читали?

— Судебную медицину. Токсикологию. Мне профессор оставил. Николай Степанович. Знаете такого?

Карл Фёдорович переменился в лице. Николай Степанович — светило, тайный советник, по чьим книгам он сам учился, — оставил свои книги проститутке с Болота. Он посмотрел на Маслову другими глазами. Опасливыми.

— Приеду вечером, — сказал он. — После обеда. Но вы же понимаете, сударыня, — если сепсис, я ничего не сделаю. Сепсис не лечат. Никто не лечит. Это приговор.

— Знаю, — сказала Маслова. — Приезжайте всё равно.

— Зачем, если не поможет?

— Чтобы было записано, — сказала она. — Правильно записано. Отчего умерла.

Он снова посмотрел на неё опасливо. И не понял — зачем ей, чтобы было записано правильно. А ей было нужно. Для цепи. Для книги. Для суда.

Он приехал к вечеру — пьяный.

Не сильно, но пьяный: раскраснелся, пахло коньяком, двигался чуть размашисто. В понедельник у него, видно, был званый обед, и он не стал от него отказываться ради умирающей проститутки. Он поднялся в девичью, поморщился от духоты и запаха, велел всем выйти. Остались он, Маслова и Женька.

Любка лежала на кровати — белая, с заострившимся носом, с запавшими глазами, с запёкшимися чёрными губами. Она уже не металась. Она затихла — это было хуже метания. Она дышала часто, поверхностно, с присвистом. Иногда шевелила губами — звала кого-то. Кожа на лбу и на груди пошла красными пятнами, ползущими вверх, к сердцу.

Карл Фёдорович послушал её — приложил ухо к груди, пощупал пульс, оттянул веко, посмотрел на язык. Он делал это небрежно, быстро, как делают то, что не имеет смысла.

— Сепсис, — сказал он, выпрямляясь. — Вы правы, сударыня. Заражение крови. Пошло вверх. — Он махнул рукой в сторону красных пятен. — К утру дойдёт до сердца. Может, к полудню. Всё.

— Ничего нельзя?

— Ничего. — Он стал мыть руки в тазу — долго, тщательно, как всегда. — Камфару, чтобы сердце подольше. Опиум, чтобы не мучилась. Вот и всё, что медицина. — Он усмехнулся горько, по-профессорски, как усмехался Николай Степанович. — Облегчить. Вылечить нельзя. Я всю жизнь облегчаю.

Те же слова, что у профессора. Маслова вздрогнула.

— А если бы в воскресенье? — спросила она. — Ночью? Когда я первый раз посылала? Тогда можно было?

Карл Фёдорович замер с полотенцем в руках.

— Что — можно?

— Спасти. Если бы вы приехали в воскресенье ночью. Или в понедельник утром. До того, как пошло к сердцу. Если бы промыли, вычистили — у профессора написано, карболкой, сулемой, обеззаразить, — тогда можно было?

Доктор молчал. Протирал пенсне.

— Трудно сказать, — сказал он наконец. — Может быть. Иногда помогает. Если рано. Если чисто. — Он надел пенсне. — Но я не приехал в воскресенье. Я не езжу по ночам в дома терпимости. Из-за каждой девки.

— Значит, можно было, — сказала Маслова. — А вы не приехали.

Карл Фёдорович посмотрел на неё. В пенсне блеснул огонёк — злой.

— Послушайте, сударыня, — сказал он холодно. — Я не Бог. Я полицейский врач. Мне платят жалованье за то, что я осматриваю ваш дом по субботам и слежу, чтоб не было заразы. За это. Не за то, чтоб спасать девок после бабок. Бабок я не звал. Аборт делал не я. Вините бабку. Вините вашу хозяйку. Вините эту дуру, что легла под мужика без ума. Меня не вините. Я приехал. Я облегчу. Больше — не моё дело.

— Сколько вам платит Анна Марковна? — спросила Маслова тихо.

Он запнулся.

— Что?

— В месяц. За то, что осматриваете и «не замечаете», когда надо. Сколько? Я знаю, что платит. У Эммы в книге записано. «Особые расходы». Сколько ваша доля?

Карл Фёдорович побагровел.

— Это… это оскорбление…

— Я не оскорбляю, — сказала Маслова. — Я спрашиваю. Вам платят за то, чтобы вы были на стороне дома. Поэтому вы не приехали в воскресенье. Поэтому напишете сейчас не «сепсис после аборта», а «горячка». Чтобы дому не было хлопот. Это я и хотела понять. Что вы — часть дома. Как бык у двери. Как Эмма. Как бабка. Только вы в пенсне и с орденом.

Карл Фёдорович швырнул полотенце.

— Я напишу то, что сочту нужным, — сказал он. — И вам, сударыня, советую поменьше читать. Книги не для вашего ума. От них у девок мысли. А мысли — до добра не доводят.

Он взял саквояж. Оставил камфару и склянку опиума на столе.

— Давайте ей это, — сказал он Женьке, не глядя на Маслову. — По десять капель. Чтоб не кричала.

И ушёл.

Маслова слышала, как он спускается по лестнице. Как внизу о чём-то коротко говорит с Анной Марковной — тихо, по-свойски. Как хлопает дверь.

А на столе, рядом с опиумом и камфарой, лежала бумага, которую он заполнил перед уходом, — для Анны Марковны, для полиции, на случай похорон. Маслова взяла её. Прочла.

«Свидетельствую, что девица Любовь Кузьмина, 18 лет, скончалась (имеет скончаться) от горячки простудной. Признаков насильственной смерти не имеется. К погребению препятствий нет. Врач К. Ф.»

Горячка простудная. Ни слова об аборте. Ни слова о бабке. Ни слова о сепсисе. Чисто. Гладко. Дому — никаких хлопот.

Он написал это, ещё когда она была жива. «Имеет скончаться». Он уже всё знал. Всё решил. Всё подписал — при живой.

Маслова сложила бумагу. Спрятала за корсаж. Он думал — для похорон. А она — для книги. Ещё одно звено. Собственноручное.

Любка умирала всю ночь.

Маслова не ушла. И Женька не ушла. И Настя пришла — тихая, присмиревшая, без румян, прежняя испуганная Настя, какой была в августе. Втроём они сидели у кровати и делали то, что умели: обтирали мокрым полотенцем горящий лоб, смачивали запёкшиеся губы, давали опиум по десять капель, держали за руки, когда начинался бред.

Маслова делала это — и вспоминала.

Кафтан. Январь. Изба у болота. Симонсон на лавке, горящий, с ржавым кашлем, с бредом о ткани и справедливости. И она одна, при лампе, у его постели, восемь ночей. И смерть на рассвете восьмого дня.

Тогда она ходила за любимым. Теперь — за чужой девочкой. Но было то же. Тот же жар под ладонью. Тот же бред. Та же беспомощность. Та же смерть, которая идёт медленно, неостановимо, снизу вверх, к сердцу, — красными пятнами по коже.

И та же мысль, что тогда, на рассвете восьмого дня: ничего нельзя. Ничего. Человек горит — и ты держишь его за руку, и не можешь ничего. Медицина — облегчить. Религия — молиться. А спасти — никто.

Любка бредила. Она была в деревне, дома, до всего. Она звала маму, звала сестёр, говорила про корову, про покос, про то, что надо гусей загнать, а то лиса. Она смеялась во сне — по-коровьи, запрокинув голову, как смеялась живая. Она пела — обрывок песни, жалостливой, про могилку. Она была счастлива в бреду — там, дома, где её ещё не отдали, как телёнка.

Под утро она пришла в себя. На минуту. Открыла глаза — ясные вдруг, спокойные. Посмотрела на Маслову.

— Катерина Михайловна, — прошептала она. — Я умираю?

— Нет, — сказала Маслова. — Что ты. Жар спадёт к утру.

— Умираю, — сказала Любка спокойно. И улыбнулась — слабо, ямочками. — Не бойтесь, я не боюсь. Дома лучше. Там мамка. — Она помолчала. — А дитё? Дитё моё где?

Маслова молчала.

— А-а, — сказала Любка. — Да. Да. — Она вспомнила. Лицо у неё дрогнуло. — Убили дитё-то. И меня вот. За компанию. — Она закрыла глаза. И сказала тихо, уже засыпая, уже уходя: — А за что, Катерина Михайловна? Я ж никому... я ж добрая была... за что?

Маслова не ответила.

За что. Она знала за что. Потому что родилась девочкой в бедной семье, где двенадцать ртов. Потому что её отдали, как телёнка. Потому что мужчина взял её и сделал ребёнка и ушёл. Потому что ребёнка нельзя было оставить — некуда, нечем. Потому что хозяйке нужно было, чтобы девка скорее работала. Потому что бабка дешевле доктора. Потому что доктор не ездит по ночам из-за девок. Потому что доктору платят, чтоб он был на стороне дома. Потому что, потому что, потому что — вся цепь, сверху донизу, от Бога до бабки, сошлась на этой рыжей веснушчатой девочке и раздавила её. Как раздавила бы муравья. Не заметив.

Вот за что.

Но она не сказала этого вслух. Она сказала другое — наклонившись к самому уху умирающей, тихо, чтобы не слышали Женька и Настя:

— Я за тебя взыщу, Любка. Слышишь? За тебя и за дитё. Со всех. Я запомнила.

Любка уже не слышала. Она дышала — редко, с большими промежутками. Раз. Долгая тишина. Раз. Ещё дольше.

И перестала.

На рассвете. Как Симонсон. В самый мороз.

Эмма Эдуардовна пришла утром. С книгами.

Она посмотрела на мёртвую Любку — деловито, без выражения. Перекрестилась — полютерански коротко. И раскрыла конторскую книгу.

— Так, — сказала она, обмакнув перо. — Запишем. Расходы по девице Кузьминой.

И стала писать, вслух, как читают молитву:

— Бабка — три рубля. Вино — рубль. Отвар, травы — полтинник. Доктор, визит — пять рублей. Камфара, опиум — рубль двадцать. — Она подняла глаза. — Это с её счёта. С долга.

— Она умерла, — сказала Маслова. — Какой долг с мёртвой?

— А гроб? — сказала Эмма Эдуардовна. — Гроб — четыре рубля. Отпевание — консистории дать надо, батюшке, певчим — рублей восемь, Порфирий Владимирыч сочтёт. Могила зимой — землю жечь, копать — три рубля. Саван, свечи — рубль. — Она подсчитывала, водя пальцем. — Итого похороны — рублей шестнадцать. Плюс лечение. Плюс что за ней было раньше — за платья, за стол. — Она перелистнула к Любкиной странице. — Всего за ней долгу... двести двенадцать рублей сорок копеек. С похоронами — двести двадцать восемь.

— И что? — спросила Маслова. — С кого вы возьмёте? Она в земле.

— Спишем, — сказала Эмма Эдуардовна спокойно. — Убыток. Как с Клавдии. — Она записала итог, подвела черту, закрыла книгу. — Жалко. Хорошая была девка. Работящая. Молоденькая. Год бы ещё, два поработала — отбила бы долг. А так — убыток.

Убыток.

Вот чем была смерть Любки в конторской книге. Строчкой. Убытком в двести двадцать восемь рублей. Жалко — не девку. Жалко — что не отбила долг.

Маслова смотрела, как Эмма Эдуардовна завязывает книгу шнурком. Сухая, плоская, аккуратная немка, которая ведёт счёт мёртвым так же, как живым. Не злая. Не добрая. Как счётная машина. Как арифмометр. Ей всё равно — Любка, Клавдия, долг, похороны. Дебет, кредит, убыток.

И это было страшнее Анны Марковны с её свечками, страшнее пьяного Карла Фёдоровича, страшнее бабки с грязными пальцами. Потому что те — хоть что-то чувствовали: Анна Марковна жадность, доктор раздражение, бабка — ничего, но хоть руками работала. А Эмма — только считала. Для неё люди были цифрами. Смерть — убытком. И в этом была вся механика в чистом виде, без прикрас: человек есть статья в книге.

Маслова стояла у окна девичьей — пока обмывали Любку, пока сколачивали гроб, — и смотрела на гору.

Там, наверху, в светлеющем морозном небе, чернел недостроенный собор. Белел костёл. Дымили трубы. Город просыпался. Звонили к ранней обедне — к Богородице, к той, что всё понимает, за которую Анна Марковна поставила свечку.

И она увидела цепь. Всю. Разом. Так ясно, как не видела никогда.

Любка внизу, на кровати, мёртвая. Над ней — бабка с травами, которая сделала. Над бабкой — Анна Марковна, которая позвала бабку, чтоб девка скорее работала, и поставила свечку Богородице. Над Анной Марковной — Карл Фёдорович, который не приехал вовремя, потому что ему платят быть на стороне дома, и который написал «горячка». Над доктором — Очумелов и полиция, которые берут с дома и закрывают глаза. Над полицией — Головин, товарищ прокурора, который ходит в дом по вторникам и которому всё равно. Над прокурором — суд, закон, который разрешает дома терпимости, выдаёт жёлтые билеты, ставит на женщин клеймо. Над судом — консистория, Порфирий Владимирыч, которые берут «на храм» с блуда и разрешают отпевать за деньги. Над консисторией — архиерей, Синод, Победоносцев. Над ними — царь. Над царём — Бог, которого нет, но именем которого всё это держится: «на всё воля Божья», свечка Богородице, «Господня земля».

И в самом низу, под всей этой горой, — Любка. Рыжая. Веснушчатая. Восемнадцати лет. С ямочками. «Я ж добрая была, за что?»

Вся гора держалась на ней. На таких, как она. На девушках с долговыми книжками, на артельщиках Привалова, на мужиках, на бабах, на переселенцах с барж. Их тела и души — «тел и душ человеческих», Апокалипсис, — вот тот фундамент, на котором стоит собор, и гора, и город, и Петербург, и вся Россия.

И раньше она думала: надо судить виновных. По одному. Бабку. Анну Марковну. Доктора. Очумелова. Нехлюдова. Привалова. Каждого — за его вину.

А теперь поняла: нет. Виновных нет. Вернее — виноваты все и никто. Бабка скажет: меня позвали. Анна Марковна: я дом держу, мне убытки нельзя. Доктор: я полицейский врач, не Бог. Очумелов: я маленький человек, я беру, что дают. Головин: таков закон. Суд: таков порядок. Консистория: такова жизнь, Бог терпел. Царь: на всё воля Божья.

Каждое колёсико скажет: я только колёсико. Я кручусь, потому что крутится соседнее.

Нельзя судить колёсико. Можно судить только часы. Всю машину. Целиком.

Вот чего она не понимала раньше. Вот что поняла сейчас, у гроба рыжей девочки. Мстить по одному — бесполезно. Это как Женькина сулема: отравишь одного гостя — придёт другой. Надо ломать машину.

Сначала — эту. Маленькую. Дом Анны Марковны. Она его знает. Она видит все колёсики. Касса, долговые книжки, коричневая книга, полиция, консистория. Она сломает его — и на этом научится ломать большие.

А потом — гору.

А потом — всё.

Весной этого дома не будет, подумала она, глядя на гору, на собор, на звенящие колокола. Клянусь тебе, Любка. Весной.

И это была вторая её клятва. Первая — на погосте, в пасхальную ночь: «буду судить живых и мёртвых». Вторая — здесь, у гроба: «весной этого дома не будет».

Первая была — вообще, про весь мир, туманная, огромная. Вторая — точная. С адресом. Со сроком.

От первой до второй прошло восемь месяцев. И книги. И тетради. И Соломин. И смерть Любки.

Теперь у мести был план.

Внизу стучали — сколачивали гроб. Сосновый. Некрашеный. Пахнущий смолой. Как тот, в Кафтане.

Маслова отвернулась от окна. Подошла к кровати, где лежала обмытая Любка — в чистой рубахе, с руками, сложенными на груди, с лицом спокойным, помолодевшим, почти детским. Рыжие волосы расчесаны. Веснушки — на белом. Ямочки — даже теперь, мёртвая, она чуть улыбалась ямочками.

Маслова наклонилась. Поцеловала её в холодный лоб.

— Прости, — сказала она тихо. Так тихо, что не слышали ни Женька, ни Настя. — Прости, что плясала. Пока ты... Прости.

Это было первое «прости» за восемь месяцев. С тех пор, как она сказала «простите меня» Нехлюдову на тюремном дворе и ушла, не оборачиваясь.

Она выпрямилась. Лицо её стало сухим, твёрдым, спокойным. Слёз больше не было. Слёзы кончились ночью.

Завтра она купит чёрное платье. На свои деньги. Не у Эммы.

И наденет его на похороны.

И больше не снимет.

5.3. Господня земля

Чёрное платье она купила на Почтамтской, в том же магазине готового платья, где летом брала шёлк для перешивки.

Приказчик, узнав её — без помады, в сером, — удивился. Она всегда брала яркое. А теперь спросила чёрное. Простое, глухое, закрытое, какое носят вдовы и монашенки. Он показал несколько. Она выбрала самое строгое — чёрной шерсти, с высоким воротом, без всякой отделки, без кружев, без бантов. Примерила.

В зеркале стояла другая женщина.

Не тысячная в багрянице. Не вавилонская блудница с чашей. Не плясунья канкана. Строгая, бледная, высокая женщина в чёрном, с тёмными глазами, с чёрными волосами, гладко убранными. Похожая на учительницу. На сестру милосердия. На заговорщицу.

На Перовскую.

Маленькая светловолосая Перовская была в другом — Соломин говорил, в скромном, неприметном, чтобы не узнали. Но суть была та же: женщина в тёмном, которая не продаёт себя, а готовит суд. Не тело на продажу — тело, спрятанное, собранное, нацеленное.

— Заверните, — сказала Маслова. — Надену сразу.

Она заплатила своими деньгами. Не записала в книжку Эммы. Не из кассы. Из своих, честно заработанных телом двух тысяч. Это было важно. Красное платье было куплено в долг, записано Эммой, — платье рабыни, платье дома. А чёрное — на свои, ни перед кем не в долгу. Платье свободной.

Красное осталось в шкафу. Висеть. Как змеиная кожа, которую сбросили.

Хоронили Любку в среду.

Отпевание чуть не сорвалось. Порфирий Владимирыч из консистории заартачился: девица умерла после вытравления плода, это смертный грех, самоубийство, почитай, — таких не отпевают, таких за оградой кладбища, как удавленников. Он говорил это ласково, вздыхая, крестясь, — но Маслова понимала: он торгуется. Он хочет денег. Больше, чем обычно.

Она пошла к нему сама.

Он принял её в консистории — в казённой комнате с присутственным столом, с портретом архиерея на стене, с лампадой перед иконой в углу. Сидел за столом, маленький, лысоватый, в вицмундире, перебирал бумаги. Увидев её — в чёрном, строгую, — не сразу узнал. А узнав, замаслился глазками, заёрзал.

— Голубушка, — сказал он. — Катерина Михайловна. Какими судьбами. По делу, по делу усопшей? Ах, грех, грех. Самовольное детоубийство. Трудно. Канон строг.

— Порфирий Владимирыч, — сказала Маслова, садясь без приглашения. — Я тоже знаю каноны. Я теперь много читаю. — Она достала из ридикюля сложенный лист — докторскую бумагу. — Вот. Карл Фёдорович свидетельствует: умерла от горячки простудной. Признаков насильственной смерти нет. Про детоубийство — ни слова. По бумаге — простая смерть от болезни. Отпевать можно. Никакого греха.

Порфирий Владимирыч взял бумагу. Прочёл. Пожевал губами.

— Ну-у, — протянул он. — Бумага бумагой. А истина Богу известна. Бог всё видит.

— А ещё, Порфирий Владимирыч, — сказала Маслова мягко, — Бог видит, как вы в субботу вечером Настю мучили. Щипали. Булавкой кололи. Молясь при этом. «Страдание очищает». Помните? И Клавдию, которая от вас в чулан... Бог ведь это тоже видит. И архиерей, если ему написать, — тоже увидит. И сколько вы из кассы Анны Марковны себе оставляете вместо храма — Бог видит, и в книге у Эммы Эдуардовны записано.

Порфирий Владимирыч побелел. Положил бумагу. Руки у него задрожали.

— Вы… вы меня стращать?..

— Я вас прошу, — сказала Маслова. — По-христиански. Отпеть рабу Божию Любовь по полному чину. Как положено. Чтоб всё было хорошо. И денег с меня взять — как всегда, не больше. А я — ничего не напишу. И не вспомню. Ни про Настю, ни про Клавдию, ни про кассу. — Она встала. — По рукам?

Порфирий Владимирыч смотрел на неё снизу вверх — елейный, прищемлённый, ненавидящий, бессильный.

— Отпоём, — прошептал он. — Отпоём, голубушка. По полному чину. Завтра. В приходской, у Воскресенья.

— Спасибо, — сказала Маслова. — Я знала, что вы добрый христианин.

И вышла.

Так же, как Нехлюдов когда-то купил отпевание Симонсону — безбожнику, социалисту, невенчанному, — деньгами и связями. Только Нехлюдов купил за деньги, по доброте. А она — за страх, по расчёту. И ей это было приятнее. Потому что честнее. Деньги можно отдать по глупости, из сентиментальности, как Нехлюдов. А страх — это власть. Это суд. Порфирий Владимирыч отпоёт Любку не из милосердия, а потому, что она, Маслова, держит его за горло.

Так и надо держать. Всех. За горло.

Землю жгли всю ночь.

На погосте при Воскресенской церкви — том самом, на горе, давшей имя всей горе, — двое мужиков развели костёр на месте будущей могилы. Земля в декабре была — камень, железо, кость. Её жгли, отогревали, снимали оттаявший слой, жгли снова. Как жгли в Кафтане, когда хоронили Симонсона. Как жгут по всей Сибири зимой. Как жгли двести лет.

Маслова пришла на погост ночью. Одна. В чёрном.

Она стояла у костра — красного, живого, единственного живого пятна в чёрной морозной тьме, — и смотрела, как мужики долбят оттаявшую землю, ругаясь вполголоса, отогревая руки у огня. Искры летели вверх, к звёздам — огромным, низким, северным. Мороз трещал в ветвях старых берёз погоста. Где-то далеко, в городе, лаяла собака.

Год назад она так же стояла у такого же костра. В Кафтане. Смотрела с другого берега, из окна избы, как на погосте всю ночь горит красная точка — глаз земли. Тогда земля открыла глаз и смотрела на неё. Тогда она хоронила любимого.

Теперь она хоронила — себя. Ту, прежнюю. Любку-Любовь, рыжую девочку, какой она была до каторги. С этой девочкой уходила последняя её мягкость, последняя её вера в то, что можно спастись, что кто-то спасёт, что мир можно умолить.

Нельзя умолить. Можно только сжечь.

Она смотрела в костёр и думала об огне.

Огонь отогревает мёрзлую землю, чтобы принять мёртвых. Огонь в лампаде перед иконами Анны Марковны. Огонь красного фонаря над крыльцом. Огонь свечи, при которой она читает по ночам. Огонь ели, в которую ударила молния на Оби, — горящей под ливнем, не гаснущей в воде. Огонь озера огненного из Апокалипсиса, куда бросают всех.

И огонь, которым весной сгорит дом Анны Марковны.

Всё — огонь. Огонь принимает мёртвых и судит живых. Огонь — это её стихия. Нищая на паперти сказала: от тебя пахнет рекой и огнём. Река — Томь, тот берег, Кафтан, вода, в которой не гаснет настоящий огонь. И огонь — вот этот. Её огонь.

Один из мужиков подошёл к костру погреться. Посмотрел на неё — чёрную, неподвижную, с лицом, освещённым снизу красным.

— Родственница покойнице? — спросил он.

— Да, — сказала Маслова. — Сестра.

Отпевали утром, в приходской церкви на горе.

Народу было мало. Девушки из дома — пришли не все, Анна Марковна отпустила только четверых, остальные спали после ночи. Женька — в своём зелёном, единственном, с чёрным

платком на голове, кашляющая. Настя — в тёмном, тихая, присмиревшая, снова похожая на прежнюю испуганную Настю. Эмма Эдуардовна — коротко перекрестилась по-лютерански и ушла, у неё были дела. Анна Марковна не пришла вовсе: сказалась больной, прислала венок из бумажных цветов и свечку.

И Маслова. В чёрном.

Гроб стоял посреди церкви — сосновый, некрашеный. В нём лежала Любка — в чистом, с венчиком на лбу, с бумажной молитвой в сложенных руках. Рыжая. Веснушчатая. Помолодевшая. С ямочками.

Порфирий Владимирыч отпевал сам — по полному чину, как обещал, как купила за страх Маслова. В чёрной ризе, с кадилом. Голос у него был неожиданно хороший — высокий, чистый, елейный. Он кадил, и синий дым поднимался к низким сводам, и певчие — дьячок и двое мужиков — пели.

И Маслова услышала то, что слышала год назад над Симонсоном.

— *Помянух пророка вопиюща: аз есмь земля и пепел…*

Земля и пепел. Она посмотрела на гроб.

— *…и паки разсмотрих во гробех, и видех кости обнаженныя, и рекох: убо кто есть царь, или воин, или богатый, или убогий, или праведник, или грешник?*

Кто царь, кто убогий.

Год назад, над Симонсоном, эти слова поразили её впервые. В могиле нет разницы — князь и варначка, богатый и нищий, все кости. Если в смерти нет разницы — почему в жизни есть? Кто поставил? Кто разделил?

Тогда это было открытие. Удар. Дверь, нащупанная в темноте.

Теперь — она знала ответ. За год узнала. Кто поставил, кто разделил — она теперь знала поимённо. Анна Марковна. Карл Фёдорович. Головин. Привалов. Победоносцев. Царь. Вся цепь. Вся гора. Они разделили. Они поставили. Они сделали так, что Любка — внизу, в сосновом гробу, в долгу на двести двадцать восемь рублей, а они — наверху, в креслах, с орденами.

И в могиле все будут кости, да. Но до могилы — Любка прожила восемнадцать лет внизу, а они живут наверху по семьдесят. И вот эту разницу — до могилы — она и будет судить.

Церковное пение больше не поражало её как откровение. Оно теперь было — обвинением. Уликой. Церковь двести лет поёт над мёртвыми, что все равны, — и двести лет служит тем, кто делает их неравными при жизни. Поёт «кто царь, кто убогий» — и берёт «на храм» с блуда, и отпевает за страх, и благословляет порядок, при котором Любка умирает в долг.

Лицемеры. Все. От Порфирия Владимирыча с кадилом до Бога, которого нет.

Понесли на погост.

Гроб несли четверо наёмных мужиков. За гробом шли женщины — Маслова впереди, в чёрном, за ней Женька, Настя, четыре девушки. Маленькая процессия в чёрном и тёмном, по морозу, по скрипучему снегу, вверх, на погост, к ночному костру, который уже погас, оставив чёрную проталину с чёрной ямой.

Город смотрел — как смотрел летом на субботнее шествие. Но теперь иначе. Летом шли девки на осмотр, яркие, живые, — и город глумился, свистел, крестился, плевал. Теперь шли хоронить — в чёрном, молча, — и город притих. Прохожие останавливались, снимали шапки, крестились. Смерть город уважал. Мёртвая шлюха была уже не шлюха — покойница, раба Божия. Смерть всех равняла — вот сейчас, на глазах, как пели в церкви.

У свежей ямы Порфирий Владимирыч отслужил литию. Покадил. И бросил на крышку гроба, уже опущенного в яму, горсть мёрзлой земли, перемешанной с золой от ночного костра. Крестообразно. И сказал — нараспев, высоко:

— *Господня земля, и исполнение ея, вселенная, и вси живущии на ней.*

Земля стукнула о крышку. Глухо.

Господня земля.

Год назад, над Симонсоном, эти слова вошли в неё как гвозди. Господня земля — значит, не княжеская, не помещичья, не царская. Общая. Народная. Земля и воля. Тогда поп, сам не зная, пропел над могилой программу «Народной воли».

Теперь — она знала больше. Она читала теперь Прудона — по списку Соломина, медленно, по-французски, доходила. «Что такое собственность? Собственность есть кража». Земля — Господня, то есть ничья, то есть всех, — а они её украли. Разделили, огородили, записали на себя. И собор строят на горе — Божий дом на краденой земле. И хоронят Любку в краденую землю, за краденые деньги, с краденым отпеванием.

Собственность есть кража. Господня земля украдена. Вот и всё христианство. Вот и весь порядок.

Мужики стали засыпать. Комья стучали о крышку — всё глуше, всё мягче, пока земля не стала падать на землю.

Маслова стояла над могилой, в чёрном, и не плакала. Слёзы кончились в ночь смерти. Теперь внутри была — сухость. Ясность. Твёрдость. Как мёрзлая земля.

Она смотрела, как засыпают рыжую девочку с её именем. И повторяла про себя — не молитву, клятву. Вторую клятву. Теперь уже не «буду судить» вообще, а точно, с адресом, со сроком:

Весной этого дома не будет.

Касса — выкупить девушек, пусть уйдут свободные. Книжки долговые — сжечь. Коричневую книгу — забрать, это компромат на всех: полиция, консистория, доктор. Анну Марковну — разорить, опозорить, в газету. И дом — сжечь. Дотла. Чтоб на месте его было пепелище. Чёрная проталина. Как эта могила.

За Любку. За Клавдию. За всех.

Когда засыпали и мужики ушли, и девушки ушли, Маслова осталась одна у могилы. С ней — только Женька.

Они стояли над свежим холмиком — чёрным на белом, — над которым поставили простой деревянный крест. На кресте Порфирий Владимирыч, в отличие от кафтанского отца Никандра, велел написать имя: «Раба Божия Любовь». За её, Масловой, деньги.

Любовь.

Женька закурила. Затянулась, выпустила дым в морозный воздух. Посмотрела на крест. Потом на Маслову.

— Моё имя тоже скоро на кресте напишут, — сказала она спокойно. — Женя. Евгения. Сколько той зимы осталось — не знаю. Кашляю кровью уже каждую ночь.

Маслова молчала.

— Ты не бойся, — сказала Женька. — Я не жалуюсь. Я давно знаю. Ещё до тебя знала. — Она усмехнулась криво. — Я вот о чём думаю, Катя. Я скоро помру. Любка вот померла. Клавдия. Все помрём. Девки в домах долго не живут. Это как на войне. — Она бросила папиросу в снег. — Так я хочу перед смертью хоть что-то. Не зря. Понимаешь? Не просто сдохнуть под забором, как собака, в долгу на пятьсот рублей. А — чтобы за дело. Чтобы хлопнуть дверью.

Она посмотрела на Маслову прямо — узкими тёмными глазами, в которых горел тот холодный огонь, что Маслова увидела когда-то на лестнице.

— Ты что-то задумала, — сказала Женька. — Я вижу. Давно вижу. Ты не мстить по мелочи пришла. Ты большое что-то задумала. Против дома. Может, и против всех. — Она помолчала. — Возьми меня. В дело. Какое ни есть. Мне терять нечего — я и так покойница. А покойница, Катя, — она усмехнулась, — покойница ничего не боится. Покойница на всё готова. Я тебе пригожусь. Пока жива.

Маслова смотрела на неё.

Женька предлагала себя. Умирающая, с годом жизни, может, меньше, — предлагала этот год. Как разменную монету. Как патрон. Истратить — на дело.

И Маслова поняла: вот оно. Вот её первый солдат. Не Настя — Настя орудие, слепое, преданное, но слепое. А Женька — солдат. Умный. Злой. Сознательный. Готовый. И — свободный той страшной свободой, которую даёт близкая смерть. Покойнице нечего терять. Покойница ничего не боится.

Самый опасный человек — тот, кто уже похоронил себя.

— Задумала, — сказала Маслова. — Большое. — Она посмотрела на крест, на «рабу Божию Любовь». — Весной этого дома не будет, Женя. Я его сожгу. Всё сожгу — книжки, кассу вскрою, девок выпущу, Анну Марковну по миру пущу, в газету всё — про полицию, про доктора, про консисторию. И дом — спалю. Дотла.

Женька слушала. И в узких тёмных глазах разгорался огонь.

— И мне, — сказала она тихо, — мне дай спичку поднести. Чтоб я сама. Своей рукой.

— Дам, — сказала Маслова.

Женька кивнула. Медленно. И вдруг — улыбнулась. По-настоящему, широко, открыв ровные белые зубы, — и злое некрасивое лицо стало на миг прекрасным, страшно прекрасным, как лик на иконе Страшного суда.

— Хоть в огонь, — сказала она. — Я тебе говорила. Теперь — буквально.

Они стояли вдвоём над могилой Любки, в чёрном, на морозе, под низкими северными звёздами, и между ними был заключён союз. Не словами — взглядом. Союз двух женщин, одна из которых пришла судить, а другая — умереть не зря.

Внизу, под горой, в долине Ушайки, лежало Болото. И где-то там, во дворе второго дома от моста, горел красный фонарь — маленькая красная точка в чёрной зимней ночи.

Он горел последнюю зиму.

5.4. Маскарад

На святках её позвала к себе вдова золотопромышленника.

Это вышло через Привалова. Он вернулся в Томск к Рождеству — с приисков, где проводил осень, — и пришёл к ней в первый же вечер, огромный, обветренный, пропахший тайгой и морозом. И, лёжа потом рядом, рассказал между делом, что на святках у Хионии Алексеевны, вдовы покойного компаньона его, Бахтиарова, будет большой маскарад. Весь Томск съедется. Он, Привалов, тоже зван.

— Поедем? — сказал он. И усмехнулся в бороду. — В маске. Никто не узнает. Будешь дама в домино. Хочу поглядеть, как ты меж ними пройдёшь. Меж чистыми.

Маслова подняла голову с его груди.

Маскарад. У вдовы золотопромышленника. Весь Томск — чистый, верхний, гора.

Та самая Хиония Алексеевна, у которой год назад, на святках же, был маскарад, куда Нехлюдов явился в костюме пилигрима, — в тот самый вечер, когда Ахмет вёз через реку записку «Симонсон умирает, нужен доктор». Нехлюдов плясал на маскараде пилигримом, пока умирал Симонсон. Она запомнила это навсегда. Это была одна из первых записей в её счёте.

И теперь — её зовут туда же. В маске. Пройти меж чистыми.

— Поедем, — сказала она.

Она пойдёт туда не как дама Привалова. Она пойдёт — на разведку. Посмотреть на гору вблизи. На тех, кого собирается судить. Увидеть их без мундиров — не в постели, где она их уже видела, а в гостиной, при жёнах, при свете, в их собственном логове. Примерить будущую цель.

Дом — это маленькое. Дом она уже решила. А маскарад — это гора. Это репетиция большого.

Она готовила костюм неделю.

Чёрное домино — длинный плащ с капюшоном, под которым не видно платья, не видно фигуры, — и чёрная бархатная полумаска, закрывающая лицо до губ. Только губы оставались открыты — она накрасила их, вишнёвым. И глаза — тёмные, косящие, в прорезях маски. Больше ничего. Ни фигуры, ни волос, ни приметы. «Особых примет — нет», как в жёлтом билете.

Чёрное домино поверх чёрного платья. Тьма на тьме. В прорезях — глаза. Под маской — красный рот.

Она посмотрела на себя в зеркало — и усмехнулась. Смерть. Так рисуют смерть на картинках: чёрный плащ с капюшоном, под которым не видно лица. Только она без косы. Коса будет потом.

Привалов, заехавший за ней в закрытых санях (чтобы не видели, что везёт девку с Болота на бал к вдове), оглядел её и крякнул.

— Монашка, — сказал он. — Или покойница.

— И то и другое, — сказала Маслова и села в сани.

Дом Хионии Алексеевны стоял на горе, на лучшей улице, — каменный, в два этажа, с колоннами, с ярко освещёнными окнами, из которых неслась музыка. У подъезда стояли сани и кареты, кучера жгли костры, грелись, переговаривались. Лакеи в ливреях встречали гостей.

Внутри было жарко, светло, душно от свечей, духов, разгорячённых тел. Зеркала — настоящие, огромные, в золочёных рамах, не то что мутные осколки у Анны Марковны. Паркет. Люстры. Пальмы в кадках — те же, что в борделе, только больше и живее. Лакеи с подносами. Музыка — не тапёр с пропущенными нотами, а настоящий оркестр, выписанный, говорили, из самого Иркутска.

И гости. В масках и без. Домино, венецианские маски, костюмы: турки, испанки, цыганки, мушкетёры, звездочёты. Купчихи, нарядившиеся маркизами. Чиновники, нарядившиеся разбойниками. Барышни — бабочками, пастушками, ночью со звёздами на тюле.

Маскарад. Все в масках. Все притворяются не теми, кто они есть.

И Маслова, войдя — чёрная среди пёстрых, тьма среди света, — подумала: как у Анны Марковны. Та же зала, только больше. Те же маски, только дороже. Там девки притворяются француженками и невинными девочками. Здесь купчихи притворяются маркизами. Там продают тела за рубли. Здесь — за имения, за чины, за выгодные партии. Разница — в цене. Суть — одна.

Весь верхний Томск собрался в одной зале. Вся гора. И она вошла в неё — невидимая, в маске, под чёрным домино, — как входит разведчик в стан врага.

Она узнавала их.

Это было страшно и весело — узнавать. Они были в масках, но она знала их. По голосам. По повадкам. По тому, что знала о них больше, чем их жёны.

Вот Головин, товарищ прокурора, — в костюме Мефистофеля, в красном, с рожками, и это было смешно до слёз: судейский крючок, вторничный гость Наны, нарядился дьяволом, не понимая, как он прав. Он ухаживал за дамой в костюме испанки — своей женой, должно быть, — говорил ей любезности, целовал ручку. А Маслова знала, что по вторникам он в борделе, у Наны, и что Нана выведывает у него, что готовят в суде, и шепчет Анне Марковне.

Вот Очумелов — в штатском, без маски, маленький, затёртый в углу, не свой здесь, приглашённый по недоразумению или по должности, жмущийся к стене, с бокалом, который боится пролить. Со своей толстой женой, которая бьёт его по щекам, — вон она, в костюме цыганки, громко хохочет, уже выпила. Очумелов смотрел на неё испуганно.

Вот губернатор — без маски, грузный, важный, со звездой, окружённый свитой. Вот вице-губернатор. Вот председатель суда. Вот ректор университета. Вот купцы-миллионщики — Кухтерин, кажется, и ещё кто-то, — в поддёвках тонкого сукна, с цепями, неловкие в этом блеске, но хозяева его, потому что блеск куплен на их деньги.

Вот Карл Фёдорович — в маске звездочёта, с картонным колпаком в звёздах, рядом с полной немкой-женой. Тот, что написал «горячка простудная» при живой Любке. Он пил рейнвейн и говорил по-немецки с женой, и был доволен, и смеялся.

И вот — Хиония Алексеевна, хозяйка. Вдова. Пышная, немолодая, в лиловом с бриллиантами, без маски — хозяйке не положено, — с влажными глазами, с двойным подбородком, вся в кольцах. Та самая, что год назад сказала Нехлюдову «вы святой, князь» и положила ему на руку пухлую руку в кольцах. Та самая, в чьей оранжерее росли ананасы. Сплетница, благотворительница, устроительница. Она плыла по зале, улыбаясь всем, царица этого бала.

Маслова смотрела на них всех — из-под маски, глазами в прорезях, — и чувствовала то же, что над книгами Эммы Эдуардовны. Механику. Она видела их насквозь. Она знала их тайны — не всех, но многих, и чуяла остальные. Она была здесь единственной, кто видел их без масок, — потому что для неё маски не было: она знала, что под ними.

Они надели маски, чтобы на одну ночь перестать быть собой. А она надела маску, чтобы увидеть, кто они есть.

И был Нехлюдов.

Она увидела его не сразу. Он стоял у стены, в стороне от всех, с бокалом, — и был в том же костюме, что год назад. В костюме пилигрима. Серая хламида, посох, шляпа с раковиной, сума. Костюм странника, идущего к святым местам.

Только год назад, рассказывали, он был в этом костюме весел, свеж, окружён дамами, которые ахали: «ах, князь, как идёт вам смирение». А теперь — он стоял один. Осунувшийся, с запавшими глазами, с нездоровым блеском. Пил. Костюм пилигрима висел на нём, как на вешалке. И никто к нему не подходил — весь Томск знал теперь про «нашего толстовца», про

то, что он ходит на Болото, к тысячной, спивается, опустился. От него сторонились — вежливо, незаметно, как сторонятся от прокажённого.

Пилигрим, идущий к святым местам, — а пришёл в бордель и в кабак.

Маслова смотрела на него. И — странно — не почувствовала торжества. Она растоптала его. Она сделала это своими руками, нарочно, с наслаждением. Он был раздавлен — морально, телесно, его и здесь уже презирали. Она победила.

А торжества не было. Было — что-то другое. Похожее на то, что она почувствовала у постели Любки. Какая-то усталость. Какая-то тень жалости — не к нему даже, а вообще, ко всему: вот стоит человек, который хотел добра, верил в добро, читал Евангелие, — и вот он, пьяный пилигрим у стенки, которого все сторонятся, которого она сама превратила в это. И ради чего? Мир не изменился. Гора стоит. Анна Марковна жива. Любка в земле. А она растоптала одного слабого человека — и что? Стало ли на свете меньше зла? Или только больше — на одного погубленного?

Она отогнала эту мысль. Это была опасная мысль — толстовская, нехлюдовская, жалостливая. Трещина. Она заделала её: он не жертва, он часть горы, он князь, он такой же, как все эти, в масках, только слабее и потому попался первым. Жалеть его — значит жалеть гору.

Но тень осталась.

К ней подошёл Мефистофель.

Головин — в красном, с рожками, уже без дамы-испанки, пьяноватый, ищущий развлечений. Он увидел чёрное домино в углу — таинственную даму, одну, не танцующую, — и его потянуло, как тянет к загадке.

— Прекрасная незнакомка, — сказал он, кланяясь с пьяной галантностью. — Отчего вы одна? Отчего в чёрном, когда кругом веселье? Вы — сама Ночь? Или сама Смерть пришла на наш бал? — Он засмеялся своей шутке.

— Смерть, — сказала Маслова из-под маски. Изменив голос — ниже, глуше.

— О! — Головин пришёл в восторг. — Смерть! Интересно! И за кем же вы пришли, сударыня Смерть? Кого заберёте?

— За вами, Иван Ильич, — сказала Маслова.

Головин вздрогнул. Она назвала его по имени-отчеству. Он не ожидал — он был в маске, его не должны были узнать.

— Вы… вы меня знаете?

— Я всех знаю, — сказала Маслова. — Я же Смерть. Я знаю, Иван Ильич, что вы по вторникам ходите туда, вниз. На Болото. К рыжей француженке, которая на самом деле латышка. И что она выведывает у вас про суд, а вы и рады болтать после. И что жена ваша — вон та испанка — об этом не знает. А я знаю. Смерть всё знает.

Головин побелел под маской Мефистофеля. Красный костюм дьявола стал ему велик.

— Кто вы? — прошептал он. — Как вы смеете…

— А ещё я знаю, — продолжала Маслова тихо, наклонясь к нему, — что в прошлом году вы вели дело купца Рыжова — помните? — и что родственники его вам дали, чтобы вы дело смягчили. И вы смягчили. Это тоже в книге записано, Иван Ильич. В книге живых. У Смерти есть книга, где всё записано. По ней и судят. Апокалипсис, глава двадцатая. Почитайте на досуге.

Головин попятился. Споткнулся. Пролил вино на красный костюм — и на красном не было видно, но он смотрел на пятно с ужасом, будто это кровь.

— Это… это шантаж… это неслыханно…

— Это суд, — сказала Маслова. — Пока ещё только репетиция. Идите, Иван Ильич. Веселитесь. Пока можно.

Он ушёл — почти убежал — к жене-испанке, оглядываясь, бледный, трезвый от страха.

Маслова смотрела ему вслед.

Вот оно. Она сказала правду в лицо — одному из горы, при всём их бале, — и ушла безнаказанной. Потому что в маске. Потому что он не знает, кто она. Он будет теперь мучиться, гадать, бояться, подозревать всех. Он никогда не узнает, что Смерть на балу — это тысячная с Болота.

Это пьянило. Это была власть страшнее телесной. Власть знания. Власть тайны. Она могла пройти меж ними, невидимая, и сказать каждому его грех в лицо, — и они корчились бы, и не знали, откуда удар.

Так и надо судить, подумала она. Из тьмы. В маске. Зная всё. Невидимой. Как Смерть. Как Немезида. Как та, кто придёт — и не узнают, пока не станет поздно.

Это был урок маскарада. Репетиция.

Под утро, когда бал догорал, когда захмелевшие гости разъезжались, когда оркестр играл уже вяло, — она столкнулась с Нехлюдовым.

Он стоял в полутёмной зале, у окна, один, с бокалом. Пилигрим без паствы. Она в чёрном домино прошла мимо — и он поднял глаза. И посмотрел на неё — на чёрную фигуру, на маску, на красный рот под маской.

И — узнал.

Она поняла это сразу. Он узнал её — по рту, по глазам в прорезях, по чему-то, чего не скроешь маской, по тому, как чуют друг друга те, кто связан. Он узнал. И не отшатнулся, не окликнул, не удивился. Он смотрел на неё — пьяными, страдающими, ввалившимися глазами — и в них была та смесь, которую она так знала: ненависть, желание, покорность. И ещё — узнавание. Полное. Как у приговорённого, который узнаёт палача.

— Ты пришла за мной, — сказал он тихо. По-русски. Не спрашивая. — Правда? Смерть. Ты за мной.

Он думал, что это игра, маскарадная шутка — дама в домино, изображающая Смерть. И одновременно — не думал. Он знал, что это она. И в полубреду, в хмелю, смешал: Смерть и её. Она и была для него Смертью. Она его убивала — медленно, по понедельникам.

Маслова смотрела на него из-под маски. На пилигрима. На погубленного ею человека.

И сказала — тихо, своим настоящим голосом, только для него:

— Нет, Митенька. Ещё не за тобой. Ты ещё нужен. Касса ещё не полна.

Он вздрогнул — узнав голос окончательно. Бокал дрогнул в руке.

— Когда? — прошептал он. — Когда ты меня отпустишь? Или убьёшь? Я больше не могу так. Между тобой и Богом. Между Болотом и собором. Я разорван. Отпусти меня. Или добей.

— Весной, — сказала Маслова. — Весной всё кончится. Потерпи до весны, Митенька. Весной я тебя отпущу.

Весной она сожжёт дом. И уедет — нет, не уедет, она поселенка, но дом кончится, и Нехлюдов кончится вместе с ним, его понедельники кончатся. А осенью он сбежит на голод — она это уже видела, уже знала, как знаешь конец книги, которую пишешь сам. Он сбежит, не отрекшись от толстовства, растоптанный, и она его так и не полюбит, и разобьёт его сердце с концами, — всё так и будет.

Весной я тебя отпущу.

Это было почти милосердие. Самое большое милосердие, на какое она была способна.

Он смотрел на неё — чёрную, в маске, Смерть на балу, — и вдруг заплакал. Тихо, пьяно, не вытирая слёз, как плакал на отпевании Симонсона, слушая «кто царь, кто убогий». Только тогда он плакал о своей душе, а теперь — о себе. О погибшем себе.

— Христос воскресе, Катюша, — сказал он сквозь слёзы. Бессмысленно. На святках. Не на Пасху. Перепутав всё.

— Воистину воскресе, Митенька, — ответила она. И добавила, тихо, уходя: — Воскрес — чтобы судить.

И пошла прочь — чёрная, через догорающую залу, мимо снимающих маски гостей, мимо Мефистофеля, вздрогнувшего при её приближении, мимо звездочёта Карла Фёдоровича, мимо цыганки — жены Очумелова, — к выходу, где ждал в закрытых санях Привалов.

Она прошла меж ними. Невидимая. Смерть на балу.

И никто, кроме погубленного пилигрима у окна, не знал, что сейчас по их зале, по их бархату и зеркалам, по их горе прошла та, кто придёт за ними. Весной — за домом. Потом — за горой. Потом — за всем.

Репетиция окончилась.

В санях, под медвежьей полостью, в морозной ночи, Привалов спросил:

— Ну? Поглядела на чистых?

— Поглядела, — сказала Маслова.

— И как они тебе?

Она смотрела в окошко саней — на уплывающий назад освещённый дом вдовы, на гору, на чёрный силуэт недостроенного собора в звёздах.

— Такие же, как в доме, — сказала она. — Только маски дороже.

Привалов хмыкнул в бороду. Помолчал. Потом сказал — неожиданно, тяжело, глядя в темноту:

— Я тоже оттуда. Снизу. Я золото лотком мыл, босой, в ледяной воде. А теперь меня вдова на бал зовёт, губернатор за руку здоровается. — Он помолчал. — А всё одно — не свой я им. Чуют. Варнацкая кровь. Как в тебе. Мы с тобой, Катька, одной породы. С того берега.

Маслова посмотрела на него. На огромного, рыжебородого, обветренного. Убийцу. Хозяина тайги. С того берега.

— Одной, — сказала она.

И впервые подумала: а ведь и его — тоже. Весной. Потом. Когда придёт время горы. Привалов — тоже гора, хоть и с того берега. Самородок, политый кровью артельщика, лежит у неё в сундуке. Это тоже улика. Это тоже счёт.

Но пока — пусть везёт. Пусть греет. Пусть думает, что они одной породы.

Пригодится.

Сани неслись по ночному городу, вниз, с горы, к Болоту, к красному фонарю, горящему последнюю зиму.

5.5. Крещение

Новый, 1891 год она встретила за книгой.

Внизу, в зале, был разгул — новогодняя ночь, пьяные гости, шампанское, крики, тапёр играл без устали. Анна Марковна подавала к столу жареного поросёнка и желала всем счастья. Девушки плясали. А Маслова сидела наверху, в угловой комнате, в чёрном платье, при двух свечах, и читала.

Она читала Мишле. По-французски. «Histoire de la Révolution française».

Соломин дал ей первый том на Рождество — и сказал, усмехаясь в бороду: «К Рождеству, вы обещали. Ну, попробуйте. Макаров под рукой?» Он был уверен, что она застрянет на первой странице, что будет сидеть со словарём над каждым словом, что прибежит через неделю: трудно, не могу.

Она не прибежала.

Она раскрыла Мишле — и пошла. Медленно, да. Со словарём, да — первые страницы. Но потом словарь стал нужен всё реже. Через главу — раз в абзац. Через том — раз в страницу. Французский, который она четыре месяца назад не знала вовсе, который учила по Олендорфу, бормоча «есть ли у вас хлеб», который проверяла на Нехлюдове в постели, — французский вдруг раскрылся в ней, как раскрывается замок, когда наконец подберёшь ключ. Она читала Мишле — и понимала. Не только слова — музыку. Ярость. Великую, грозную, пламенную прозу о том, как восстал народ, как пала Бастилия, как покатились головы.

Она читала о взятии Бастилии — в новогоднюю ночь, под пьяные крики снизу, — и сердце у неё колотилось. Народ идёт на крепость. Народ, веками униженный, голодный, бесправный, — поднимается и идёт на камень, на пушки, на символ. И берёт. И рушит. И на месте тюрьмы — пустое место, площадь, воздух.

Вот, думала она. Вот как надо. Не по одному — весь народ, разом. Не месть — революция. Бастилия — это дом Анны Марковны. Бастилия — это гора. Бастилия — это весь их Вавилон. И его можно взять. Его брали. Французы взяли. Значит, можно.

Она читала о терроре — о Робеспьере, о гильотине, о том, как революция пожирала врагов, а потом и своих. Мишле ужасался террору, осуждал его — и всё равно его проза о терроре была великолепна, страшна, заразительна. Маслова читала — и не ужасалась. Она думала: да. Гильотина. Машина, которая судит. Быстро, одинаково для всех — для короля и для нищего, кто царь, кто убогий. Национальная бритва. Господня земля, политая кровью господ.

Под утро, когда внизу угомонились, она дочитала том. Закрыла. Посидела в тишине.

И записала в клеёнчатую тетрадь, по-французски — чтобы проверить себя, и чтобы не всякий прочёл:

«J'ai lu Michelet. À Noël, comme promis. Presque sans dictionnaire. La Bastille est tombée. Elle tombera encore.»

Я прочла Мишле. К Рождеству, как обещала. Почти без словаря. Бастилия пала. Она падёт снова.

Соломин, когда она вернула ему том и заговорила о прочитанном — по-французски, свободно, цитируя, споря, — долго молчал.

Это было в воскресенье, у него, в мезонине над шорной лавкой. Самовар. Книги до потолка. Портрет Перовской на стене. Они были одни — остальные ещё не пришли.

Он слушал, как она говорит о Мишле, о Бастилии, о терроре. По-французски — чисто, с тем парижским выговором, которому выучил её Нехлюдов, сам того не ведая, выучил свою судью. Соломин слушал, снимал и надевал очки, протирал их, снова снимал.

— За четыре месяца, — сказал он наконец. По-русски. — Четыре месяца назад вы не знали ни слова. Я помню. «Я смогу». «К Рождеству». Я не поверил. — Он покачал головой. — Я тридцать лет вожусь с людьми, которые хотят учиться. Студенты, рабочие, барышни. Годами учат язык — и читают со словарём, спотыкаясь. А вы... — Он посмотрел на неё. — Вы кто, Екатерина Михайловна? Откуда вы такая?

— С того берега, — сказала Маслова.

Он не понял. Она не стала объяснять.

— У вас дар, — сказал Соломин. — Настоящий. Голова... я таких голов не встречал. Ни в университете, ни на каторге, нигде. Вам бы учиться. По-настоящему. На курсы. За границу. Вы были бы... — Он запнулся. — Вы были бы учёным. Писателем. Кем угодно. Сила в вас огромная.

— Была бы, — сказала Маслова. — Если бы не поселение. Если бы не жёлтый билет. Если бы не то, что я — варначка, шлюха, отравительница. Мне нельзя на курсы, Василий Петрович. Мне нельзя за границу. Мне даже из Томска нельзя. Мне можно — вниз. На Болото. В дом. — Она помолчала. — Вот они и сделали из меня то, что сделали. Могла быть учёным — стала мстительницей. Их вина. Пусть пеняют на себя.

Соломин смотрел на неё. И в его усталых серых глазах за очками была та смесь, которую она уже знала: восхищение, страх и надежда. И ещё — горечь. Горечь человека, который видит, как огромная сила уходит не туда, не в науку, не в созидание, а в разрушение, — и понимает, что иначе и быть не могло, что это они, наверху, направили её туда, отняв всё остальное.

— Страшное вы говорите, — сказал он тихо. — И правда страшная. Их вина. — Он вздохнул. — Но знаете, что я вам скажу, Екатерина Михайловна? Я тридцать лет в революции. Я видел, как сила уходит в разрушение. Как лучшие — умнейшие, талантливейшие — шли на эшафот, положив жизнь на то, чтобы убить одного-двух сатрапов. Перовская. — Он кивнул на портрет. — Могла быть кем угодно. Стала — бомбой. И что? Убили царя. Пришёл хуже. Сила ушла в дым. В ничто.

— Значит, мало было силы, — сказала Маслова. — Одна Перовская. А надо — тысячу Перовских. Десять тысяч. Весь народ, как у Мишле, на Бастилию.

— Народ не пойдёт, — сказал Соломин с той же горечью. — Я же вам рассказывал. Мы ходили в народ. Народ нас сдал. Народ тёмный. Народ царя любит. Народ не Франция.

— Значит, надо, чтобы пошёл, — сказала Маслова. — Значит, надо просветить. Или — заставить. Как Ткачёв говорил. Меньшинство. Сильное, сознательное. Взять власть — и повести.

Соломин покачал головой.

— Ткачёв кончил в сумасшедшем доме, — сказал он. — В Париже. Один, забытый, безумный. — Он помолчал. — Вы читаете по порядку, как я велел? История, экономия, социализм?

— Читаю. Мишле кончила. Теперь — Милль с примечаниями Чернышевского. Потом вы обещали Маркса.

— Маркс будет весной, — сказал Соломин. — К нему надо дорасти. А пока... — Он снял с полки тонкую книжку, затрёпанную, без обложки. — Вот. Это не по программе. Это так. Почитайте на досуге. Про то, чем всё кончается, когда меньшинство берёт власть и ведёт народ.

Она взяла. Это был Герцен. «С того берега».

С того берега. Опять — тот берег.

Нана сделала свой ход на Крещение.

Маслова узнала об этом не сразу. Узнала потом, собрав по кусочкам, — но началось на Крещение, девятнадцатого января.

В тот день был крестный ход на Иордань. Весь Томск шёл на Томь — на лёд, где заранее вырубили прорубь в виде креста, Иордань, и поставили ледяной крест, облитый свеколь-

ным квасом, отчего он был розовый, как будто окровавленный. Архиерей служил водосвятие. Народ толпился на льду — тысячи, весь город, сверху и снизу, с горы и с Болота. Стреляли из пушек. Пели. Окунались в прорубь самые отчаянные — для здоровья, для смытия грехов, в крещенский мороз, в ледяную воду.

Маслова пошла посмотреть. В чёрном, незаметная. Стояла на берегу, в толпе, и смотрела на розовый ледяной крест, на прорубь, на архиерея в золоте, на дым из пушек, на тысячи людей на льду вставшей реки.

И думала: лёд. Они стоят на льду. Вся гора, весь город — на льду реки. А подо льдом — вода. Течёт. Чёрная, холодная, живая. Весной лёд тронется — и всё, что на нём, рухнет в воду. Крест, архиерей, пушки, толпа. Весной.

Она не знала тогда, что в той же толпе, на том же льду, Нана говорила с Головиным.

Нана после разоблачения упала на самое дно дома. Из звезды, из «парижанки», она стала просто латышкой, прачкиной дочкой, которую брали за трёшку, да и то неохотно. Она ненавидела Маслову — ту, что разоблачила её, свергла, сделала «я тебя убью» и получила «в следующий раз бери три щепотки». Нана знала, что Маслова знает про сулему. Нана жила в страхе — и в ненависти. И ждала случая.

А Головин, товарищ прокурора, после маскарада жил в другом страхе. Чёрная дама в домино, Смерть на балу, назвала его грехи в лицо — про Нана, про взятку по делу купца Рыжова, про «книгу, где всё записано». Он не спал ночами, гадая, кто это. Он подозревал всех. Он должен был узнать.

И вот на Крещение, на льду, в толпе, они сошлись — отвергнутая проститутка и напуганный прокурор. Он спросил. Она ответила. Он искал, кто знает его тайны. Она знала, кто. Чёрная дама на балу, сказавшая про Рыжова, про «книгу живых», про Апокалипсис, — это могла быть только одна. Тысячная. Та, что ведёт какую-то чёрную тетрадь. Та, что водит дружбу со ссыльными, ходит к Соломину, читает запрещённое. Та, что замышляет — Нана чуяла — что-то против дома, против всех.

Нана отдала Маслову. Из ненависти. Из страха. Из мести.

А Головин — товарищ прокурора, человек горы, которого «Смерть на балу» держала за горло, — получил то, что искал: имя врага. И понял, что враг этот опасен не только ему. Что тысячная с Болота, с её чёрной тетрадью, с её ссыльными знакомствами, с её чтением Маркса и Апокалипсиса, — это уже не блуд, это политика. Это то, за что в Сибири переводят дальше, на Кару, в каземат. Это то, чем занимается не полиция нравов, а жандармы. Третье отделение. Охранка.

Маслова не знала этого — тогда, на берегу, глядя на розовый крест и думающая о тронувшемся весной льде. Но лёд уже тронулся — не на реке, на горе. Против неё. Нана и Головин. Донос зрел — медленно, как зреет весенняя вода подо льдом.

Это аукнется весной. Когда она будет жечь дом.

Вечером того же Крещения она сидела наверху и читала Герцена. «С того берега».

Герцен писал — после сорок восьмого года, после того как в Европе подавили революцию, — писал горько, разочарованно, умно. О том, что народ, за который проливали кровь, предал революцию. О том, что массы не хотят свободы — хотят хлеба и порядка. О том, что те, кто ведёт народ к светлому будущему, всегда кончают тем, что гонят его туда кнутом. О том, что цель, ради которой жертвуют живыми поколениями, — обман, мираж, Молох, пожирающий детей.

«Если прогресс — цель, — писал Герцен, — для кого мы работаем? Кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и в утешение истощённым и обречённым на гибель толпам, которые ему кричат: обречённые на смерть приветствуют тебя, — умеет только ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле».

Маслова читала это — и впервые за всё время засомневалась.

Не в суде. В цене суда.

Молох. Будущее, ради которого жертвуют настоящим. Весной она сожжёт дом — и выпустит девушек. А куда они пойдут? На панель, в другие дома, под забор. Женька — та умрёт, она уже выбрала. Настя — Настя при ней, Настя орудие, Настя пойдёт за ней хоть в огонь. Но остальные? Она разрушит дом — ради будущего, ради того, чтобы «этого больше не было». А живым девкам от этого — что? Им сегодня есть надо, спать где-то, жить. Она жертвует ими ради идеи, ради того, что будет «прекрасно на земле» — когда-нибудь, после. После их смерти.

Как Молох.

Она отложила Герцена. Подошла к окну. Распахнула ставни. Крещенский мороз — самый страшный, трескучий, звёздный — ударил в лицо. Внизу, во дворе, горел красный фонарь. На горе чернел собор.

Она стояла и думала: а ведь Герцен прав. И Соломин прав. Сила уходит в дым. Перовская убила царя — пришёл хуже. Французы взяли Бастилию — пришёл Робеспьер, потом Наполеон. Молох пятится. После смерти будет прекрасно — а при жизни кровь и зря.

Может быть, прав Нехлюдов? Прав граф? Не разрушать, а — по одному спасать? Выкупить Любку — не вышло, поздно, но другую? Настю вот — спасти по-настоящему, не в бордель вести, а вывести? Делать маленькое добро — здесь, сейчас, живым, а не жечь всё ради будущего?

Трещина — та, что осталась после Насти, после Любки, — разошлась чуть шире. И в неё дуло холодом сомнения.

Снизу донёсся смех.

Настин смех. Звонкий, весёлый, пьяноватый. Маслова прислушалась.

Она спустилась — тихо, в чёрном, — и встала в тени у входа в залу. Посмотрела.

Настя плясала.

Не канкан — просто плясала, посреди залы, пьяная, счастливая, в расстёгнутом голубом платье, с распущенными волосами, босая. Вокруг — гости, хохочущие, хлопающие. Она плясала для них, дразнила их, задирала подол, под которым ничего не было одето и хохотала. Крещенский вечер, разгул, пост кончился на Рождество, мясоед, свадьбы, гулянье.

Маслова смотрела.

За этот вечер — она узнала потом у Эммы, по книге — Настя приняла троих. Троих гостей, одного за другим. И сейчас, разгорячённая, пьяная, плясала, и искала глазами четвёртого, и нашла — какого-то купчика, молодого, и уже тянула его за руку, уже вела, смеясь, к лестнице.

Три за вечер. И хочет четвёртого.

Та забитая, плачущая девочка, что роняла поднос в августе, что стыдилась своей груди, что молилась и боялась греха, — за пять месяцев превратилась в это. В животное. В то самое животное, о котором ей шептала Маслова: «у тебя между ног зверь, текущая сучка, не стыдись, корми тело». Настя усвоила урок. До конца. Она больше не стыдилась. Она хотела. Три за вечер — и четвёртого. Радостно. Свободно. Счастливо — своим рабским, животным, беспамятным счастьем.

Маслова сделала это. Своими руками. Из девочки — зверя. Из испуганной — блядь. И убедила себя, что делает добро.

И вот Настя вела четвёртого наверх, хохоча, — а она, Маслова, стояла внизу, в чёрном, с головой, полной Мишле, Герцена, Маркса, Апокалипсиса, революции, суда, Молоха. С головой, которая выросла за полгода так, что профессор поражался, Соломин не верил. С головой — наверху. А внизу, рядом, её рук дело — девка, которая стала чистым телом без головы, зверем, текущей сучкой.

Контраст поразил её саму.

Она — вся ушла вверх, в голову, в идеи, в книги, в суд. А Настю она увела вниз — в чистое тело, в голод, в зверя. Она разделила в Насте то, что в себе соединяла. В себе — голова и тело, наверху и внизу, одно. А в Насте — отняла голову, оставила тело.

Она сделала с Настей то же, что мир делает с женщинами вообще: превратила в тело. Только мир делает это кнутом, принуждением, а она — лаской, развращением, «иллюзией выбора». И Настя счастлива. И благодарна. И это — страшнее всего.

Я — хуже Анны Марковны, вспомнила она слова Лопухова. Та хоть не притворяется.

Трещина разошлась ещё шире.

Она поднялась наверх. Прошла мимо комнаты, за дверью которой Настя уже смеялась с четвёртым. Вошла к себе. Заперла дверь.

Села к столу. Перед ней лежали книги — Мишле, Милль, Герцен. И три тетради — светлая, чёрная, синяя. И на столе, разложенные, как всегда: часы Нехлюдова, тикающие; самородок в замше; осколок с сулемой; бумажный венчик Симонсона; мешочек с корнями борца; жёлтый билет.

Арсенал. Мощи. Иконостас.

Она сидела перед всем этим и — впервые за полгода — не чувствовала ни торжества, ни ясности, ни твёрдости. Чувствовала — сомнение. Усталость. Ту трещину, в которую дуло холодом.

Может, Герцен прав. Может, всё зря. Может, Молох. Может, не судить надо, а спасать — по одному, живых, сегодня.

Она взяла клеёнчатую тетрадь. Раскрыла. Перечитала первые записи — полугодовой давности. Кафтан. Симонсон. «Не надо мстить надо». Пасха. «И буду судить живых и мёртвых». Потом — летние, томские. Клятву над Любкой: «весной этого дома не будет».

И стала писать — медленно, обдумывая, впервые не твёрдо, а с сомнением:

«Крещение. Прочла Мишле. Бастилия пала. Прочла Герцена. Герцен говорит: Молох. Будущее пожирает настоящее. Сила уходит в дым. Народ предаёт. После смерти будет прекрасно.

Может, он прав.

Может, я зря. Сожгу дом — а девкам куда? Жертвую живыми ради будущего. Как Молох.

Настя. Я из неё сделала зверя. Три за вечер, хочет четвёртого. Счастлива. Я — хуже Анны Марковны. Лопухов прав.

Я ушла в голову. Настю увела в тело. Разделила в ней то, что в себе соединяю.

Может, граф прав? Не судить — спасать? По одному? Живых? Сегодня?»

Она остановилась. Перечитала. Перо дрожало.

И тут — в тишине, сквозь трещину, сквозь сомнение — она услышала. Не наяву. В памяти. Голос Любки. Слабый, умирающий, спокойный:

«А за что, Катерина Михайловна? Я ж добрая была. За что?»

И свой ответ — тогда не сказанный вслух, но сказанный в душе: за то, что вся цепь, сверху донизу, сошлась на ней и раздавила. Не заметив.

И вторую клятву, у гроба: «я за тебя взыщу. Со всех».

Любка. Не будущее — Любка. Не Молох — Любка. Не идея — рыжая девочка с ямочками, которую убили, не заметив.

Герцен говорит: будущее — мираж, не жертвуй живыми ради него. Хорошо. Пусть. Но она и не ради будущего. Она — ради Любки. Ради того, что уже случилось. Ради прошлого, а не будущего. Это не Молох, пожирающий детей ради грядущего рая. Это — месть за уже сожранных детей. Суд за уже пролитую кровь.

Апокалипсис: души убиенных под жертвенником кричат «доколе не мстишь». Не «когда будет рай». А «доколе не мстишь за нашу кровь». Месть за прошлое, не стройка будущего.

Герцен не про это. Герцен спорит с теми, кто строит рай. А она не строит рай. Она судит за кровь. Это другое.

Трещина — дрогнула. Стала заделываться.

Но не наглухо. Волосок остался. Потому что честная часть её — та, что не врёт себе, — знала: и Настю она не ради Любки развратила. И Нехлюдова не ради мести валяла в грязи, а потому что нравилось. И дом сожжёт — да, за Любку, но и потому что ей нравится жечь. Под местью за прошлое — наслаждение разрушением. Бакунинское. «Страсть к разрушению есть творческая страсть».

Она честно дописала внизу, под сомнением:

«Нет. Не Молох. Я мщу за прошлое, не строю будущее. За Любку, не ради рая. Апокалипсис: доколе не мстишь за кровь. Это честно.

Но.

Мне нравится жечь. Нравится валять их в грязи. Нравится власть. Это тоже правда. Под местью — страсть к разрушению.

Я не Перовская. Перовская из любви к народу. А я — из ненависти. И из охоты.

Пусть. Ненависть сильнее любви. Охота сильнее долга.

Весной этого дома не будет.»

Она закрыла тетрадь.

Сомнение не ушло совсем. Трещина осталась — тонкая, с волосок. Но решение — устояло. Она не отступит. Дом сгорит весной. Она пойдёт до конца.

Только теперь она знала о себе больше. Знала, что идёт не из одной любви к справедливости, не из одной мести за Любку, — а из ненависти и из страсти к разрушению тоже. И не врала себе в этом. В этом была её сила — и её обречённость. Она это чувствовала, хоть и не называла словом.

Герцен лежал на столе, раскрытый. «С того берега».

Она — тоже была с того берега.

За окном догорала крещенская ночь — самая морозная в году. Звёзды висели низко, огромные, ледяные. Томь стояла подо льдом — чёрная вода под белой коркой, ждущая весны. На горе чернел недостроенный собор. Внизу смеялась Настя с четвёртым гостем. Красный фонарь горел во дворе.

Полгода прошло с тех пор, как она сошла с парома на томский берег — в июне, в черёмухе. Полгода. Из девки с жёлтым билетом и ста восемьюдесятью рублями она стала — кем? Хозяйкой дома наполовину. Читательницей Мишле и Маркса. Судьёй с чёрной тетрадью. Госпожой Насти. Союзницей Женьки. Любовницей Привалова. Палачом Нехлюдова. Ученицей Соломина. Тенью, которую боится товарищ прокурора.

Она знала одно: новый год настал. Не тот, что в календаре — тот, что в ней. Год разрушения. Чёрное победило красное окончательно. Красное платье висело в шкафу, как сброшенная кожа. На ней было чёрное.

Она задула свечи. Легла.

И в темноте, засыпая, прошептала — не молитву, клятву, в третий раз, теперь уже тихо, устало, но твёрдо:

— Весной.



Глава 6. Талая вода

Пению время и молитве час…

Канон Андрея Критского

6.1. Оттепель

В феврале с крыш закапало.

Не оттепель ещё — так, обманка, передышка посреди зимы. Солнце в полдень стало пригревать, снег на солнечной стороне осел, с крыш свесились сосульки, и в полдень капало — редко, звонко, с ледяным стуком о наст. А к ночи снова схватывало, сосульки застывали, и утром висели длинные, прозрачные, как ножи.

Маслова слушала эту капель и думала: пошло. Тронулось. Сначала так — по капле, обманно, с ночными заморозками. Потом — не остановить. Половодье.

Всё пошло — разом.

Она начала с кассы.

За полгода в синей тетради накопилось — она сосчитала, в феврале, ночью, при двух свечах, — две тысячи девятьсот сорок рублей. Нехлюдовские сотни по понедельникам, с июня. Паратовские полусотни по средам. Приплод от других гостей, которых она направляла «в кассу». И её собственная доля, которую она всю, до копейки, с осени клала туда же, — себе она оставляла только на книги да на чёрное платье.

Почти три тысячи.

Этого хватало. Долг девушки у Анны Марковны — в среднем рублей двести, двести пятьдесят. Три тысячи — это двенадцать девушек. Весь дом.

Но выкупать всех разом было нельзя. Это была бы тревога. Анна Марковна почуяла бы, заподозрила, подняла бы шум. Надо — по одной. Тихо. Незаметно. Как подкапывают стену — не ломают разом, а вынимают по кирпичу, пока не осядет само.

И нужен был человек внутри. У счётных книг. У долговых книжек.

Эмма Эдуардовна.

Она пришла к Эмме вечером, в конторку.

Эмма сидела над книгами — сухая, прямая, в тёмно-синем, застёгнутом до горла, со связкой ключей на поясе, с пером за ухом. Единственная лампа. Счёты. Стопки серых книжечек, перевязанные шпагатом.

Маслова села напротив. Положила на стол деньги. Двести пятьдесят рублей.

— Это за Дуняшу, — сказала она. — Весь её долг. Спишите. И отпустите её.

Эмма Эдуардовна подняла глаза. Посмотрела на деньги. На Маслову.

— Зачем вам Дуняша?

— Мне не нужна Дуняша. Я её выкупаю. На волю. Пусть идёт.

— Куда?

— Куда хочет. Домой, в деревню. Замуж. Куда угодно. Прочь отсюда.

Эмма Эдуардовна смотрела на неё — холодными, остзейскими, непонимающими глазами. В её голове это не укладывалось. Выкупить девку — и отпустить. Даром. Себе в убыток. Это было против арифметики. А против арифметики Эмма не понимала ничего.

— Вы… благотворительница? — спросила она с подозрением, почти с брезгливостью. — Как князь?

— Нет, — сказала Маслова. — Я не благотворительница. У меня расчёт. Только другой, чем вы думаете.

— Какой?

Маслова помолчала. Потом сказала — ровно, глядя Эмме в глаза:

— Я вам, Эмма Эдуардовна, не буду врать. Вы умная, вы считаете лучше всех в доме. Вы одна тут понимаете, что и как. Я вам скажу правду, а вы решите — со мной вы или нет.

Эмма отложила перо.

— Дом этот скоро кончится, — сказала Маслова. — Не спрашивайте как. Кончится. К лету его не будет. И тогда всем — конец. Девкам — на улицу, в другие дома, под забор. Анне Марковне — суд, разорение. Вам — куда? Вы двадцать лет при ней. Вы много знаете. Когда дом будет гореть — вы хотите гореть с ним? Или выйти заранее, с деньгами, чисто, чтобы никто на вас не подумал?

Эмма Эдуардовна сидела неподвижно. Только пальцы, сухие, с обкусанными ногтями, чуть дрогнули на столе.

— Вы грозите, — сказала она тихо.

— Я предлагаю, — сказала Маслова. — Вы мне помогаете — тихо выкупать девок, чистить книги, прибрать кое-какие бумаги. За это — доля. Процент с каждого дела. И когда всё кончится — вы выходите заранее, с деньгами, и никто не знает, что вы знали. А если нет — вы остаётесь при Анне Марковне до самого конца. До суда. До пожара. С коричневой книгой в руках, где ваш почерк. — Она помолчала. — Ваш почерк, Эмма Эдуардовна. В книге взяток. Вы её вели. Если она всплывёт — а она всплывёт, — кто писал? Вы.

Эмма Эдуардовна смотрела на неё долго. Очень долго. Лампа горела. Где-то капала с крыши оттепель.

Потом она взяла деньги — двести пятьдесят рублей. Пересчитала. Раскрыла Дуняшину книжку. Обмакнула перо.

И написала: «Долг погашен полностью. Отпущена».

— Какой процент? — спросила она деловито, не поднимая глаз.

Маслова улыбнулась.

— Десять.

— Пятнадцать.

— Двенадцать, — сказала Маслова. — И доля в том, что найдём в бумагах.

Эмма Эдуардовна кивнула. Протянула сухую руку через стол.

Они пожали руки — две женщины, понявшие друг друга. Не по любви, не по вере, не по ненависти даже. По арифметике. Эмма Эдуардовна выбрала сторону — сторону прибыли и выживания. Она всегда была на стороне дома. Теперь дом был обречён — и она перешла на сторону той, кто его рушила. Крыса, бегущая с корабля заранее, пока он ещё на плаву.

Самый надёжный союзник, подумала Маслова. Крыса, которая чует, что корабль утонет.

Дуняша ушла через два дня.

Молоденькая, глупенькая, рябоватая, из-под Мариинска. Ей сказали — долг выкуплен, иди на все четыре стороны. Она не поверила сначала. Потом заплакала. Потом собрала узелок — всё её имущество, — и ушла. На рассвете, пешком, по санному следу, в деревню, к матери. Она не знала, кто её выкупил и зачем. Ей сказали — добрый человек. Она крестилась и кланялась на дом, уходя.

Маслова смотрела из окна, как Дуняша идёт по снегу к мосту, с узелком, оглядываясь, не веря.

Одна.

Это был пробный камень. Она смотрела: что будет. Поднимется ли тревога. Заметит ли Анна Марковна.

Анна Марковна не заметила ничего. Эмма сказала ей, что Дуняша сбежала ночью, бросив долг, — такое бывало, девки бегали, их искали вяло, редко находили. Анна Марковна поворчала про убыток, записала Дуняшу в беглые, поставила свечку, чтоб вернулась или чтоб Бог наказал, — и забыла.

Пробный камень прошёл. Стену можно было подкапывать.

За февраль Маслова выкупила ещё трёх. Тихо, по одной, через Эмму, под видом побегов. Дом худел — незаметно, по девке. Анна Марковна ворчала про беглых, про порчу нравов, про

то, что девки нынче пошли неблагодарные, но тревоги не поднимала: гостей хватало, выручка держалась — Маслова и Настя приносили за всех.

Женька вела счёт. У неё в голове — не на бумаге, в бумаге опасно — был список: кого выкупить, кого оставить. Выкупали тех, кому было куда идти, — в деревню, к родне, замуж. Оставляли тех, кому идти некуда, кто сам не хотел, кто пропал бы на воле вернее, чем в доме. И оставляли нужных — тех, кто понадобится в последнюю ночь.

— А меня не выкупай, — сказала Женька однажды, ночью, за чаем. — Мне некуда. И незачем. Я при тебе останусь. До конца. Я ж тебе говорила — хоть в огонь. — Она кашлянула, прикрыв рот платком, и на платке осталось тёмное. — Мне теперь всё равно где помирать. Так уж лучше — за делом.

Маслова посмотрела на платок. На тёмное пятно.

Профессор сказал: зиму переживёт, весну — вряд ли.

Зима кончалась. Капало с крыш.

Надо было успеть.

В конце февраля пришла весть об указе.

Её принёс Соломин — он читал все газеты, что приходили в читальню Макушина. Высочайший указ, по случаю благополучного путешествия наследника цесаревича через Сибирь, о смягчении участи сосланных. Сокращение сроков. Облегчение надзора. Некоторым категориям — право причислиться к крестьянам, обзавестись хозяйством.

— Вас это тоже касается, Екатерина Михайловна, — сказал Соломин. — Поселенцам смягчение. Может, и надзор снимут, может, и в город жить дозволят открыто, без билета. Хлопочите. Я помогу бумагу составить.

Маслова слушала и усмехалась про себя.

Второй раз.

Первый раз её «помиловали» — заменили каторгу поселением, и Нехлюдов плакал от радости, думая, что спас её, а на деле обрёк на пожизненную Сибирь. Теперь — второй раз «милуют». Смягчают. Облегчают. Ровно тогда, когда она готовит убийство и поджог.

Царь, проехавший через Сибирь в золотом вагоне, издал милостивый указ — и этой милостью как будто гладил по голове женщину, которая в это самое время растворяла борец, подкапывала стену, точила нож на весь его мир.

Милость. Они всё думают, что милостью можно откупиться. Что если помиловать, смягчить, облегчить — то усмирится, успокоится, станет благодарной. Нехлюдов так думал. Граф так думает. Царь так думает.

А милость — поздно. Милость — это как доктор, приехавший на четвёртый день к умирающему Симонсону. Как отпевание, купленное за деньги, когда девочка уже в земле. Милость приходит, когда уже поздно, и потому она не милость, а издевательство.

— Не буду хлопотать, — сказала она Соломину.

— Почему? Это же облегчение. Свобода — пусть неполная.

— Мне их свобода не нужна, — сказала Маслова. — Я себе сама возьму. Какую захочу.

Соломин посмотрел на неё поверх очков — с той смесью восхищения и страха, что всегда. И промолчал.

Указ она использовала иначе. Не для хлопот — для прикрытия. Раз вышло смягчение, раз поселенцам можно теперь открыто жить в городе без билета, — значит, она сможет уйти из дома законно, чистой, когда всё кончится. Сдать жёлтый билет не тайком, а по указу. Выйти из дома не беглой, а помилованной. С чистыми руками — по бумаге.

Царская милость станет её алиби.

Она записала в чёрную тетрадь:

Указ 17 апреля. Смягчение. Второй раз «милуют».

Не хлопотать о себе. Но: по указу можно уйти из дома законно, без билета. Прикрытие на после.

Милость — поздно. Любку бы милостью не вернули.

Они думают — помилуешь, и усмирится. Нет. Поздно, господа. Касса почти полна. Борец высушен. Стена подкопана.

Половодье.

Февраль кончался, капало с крыш, днём оседал снег, ночью схватывало. Касса полнела. Дом худел. Эмма чистила книги за двенадцать процентов. Женька вела счёт и кашляла кровью. Указ сулил милость. Донос — она ещё не знала — зрел. Нана — она ещё не знала — уже сказала Головину то, что сказала.

Всё шло. Всё двигалось. Всё таяло, оседало, трогалось — обманно, по капле, с ночными заморозками.

Но половодье было уже близко.

Маслова стояла у окна угловой комнаты, в чёрном, и слушала капель. Редкую. Звонкую. С ледяным стуком о наст.

Кап. Кап. Кап.

Как часы. Как счёт. Как шаги — всё ближе.

Она не знала, чьи это шаги — её к ним или их к ней. Шаги судьи к подсудимым — или сыска к ней.

И те и другие.

Весна шла с двух сторон.

6.2. Бабка

Бабка жила за Ушайкой, на самом краю Болота, где кончались дома и начиналась свалка, а за свалкой — пустырь, овраг и лес.

Изба её стояла особняком, кривая, вросшая в землю, с подслеповатыми оконцами, затянутыми бычьим пузырём вместо стёкол. Двор был обнесён плетнём, на кольях плетня висели — Маслова разглядела, подходя, — конские черепа, пучки сухих трав, птичьи крылья, какие-то тряпицы. От избы несло дымом, травами, чем-то кислым, звериным, нутряным. Залаяла собака — хрипло, беззлобно, по обязанности. На крыльцо вышла кошка — чёрная, одноглазая — и уставилась единственным жёлтым глазом.

Маслова пришла в марте, в оттепель, в серый сырой день. В сером платье, без помады, с узелком — будто мещанка, пришедшая по бабьему делу.

Бабку она нашла через Женьку, а Женька — через девок: все знали, к кому идти, когда беда. От беременности, от мужней немилости, от сглаза, от запоя, от хвори. Бабка знала всё. Бабка была — последняя инстанция Болота, та, к кому шли, когда поп не помог, доктор не по карману, а жить надо.

Та самая, что уморила Любку.

Она постучала. Голос изнутри — скрипучий, старый — сказал:

— Отперто.

Маслова вошла, пригнувшись в низкой двери.

Внутри было темно, низко, дымно. Печь занимала полизбы. Под потолком — пучки трав, связки корней, сушёные грибы, что-то вяленое, тёмное. На полках — горшки, склянки, бутыли мутного стекла, берестяные туеса. В углу — иконы, тёмные, закоптелые, и перед ними лампадка, а рядом, на той же полке, — что-то совсем не иконное: засушенная лапа, пучок перьев, камень с дыркой. Христос и леший уживались в этом углу мирно, бок о бок, как уживались в голове самой хозяйки.

Бабка сидела на лавке у печи. Маленькая, сгорбленная, в тёмном платке, в душегрее. Лицо — тёмное, сморщенное, как печёное яблоко, всё в морщинах, с провалившимся ртом, с острым подбородком. И глаза — чёрные, живые, быстрые, молодые на старом лице. Руки — сухие, корявые, с узловатыми пальцами, с чёрными ногтями. Она лущила что-то — не то горох, не то семена — в подол.

Чёрная одноглазая кошка вошла следом за Масловой и вспрыгнула бабке на колени.

— Садись, — сказала бабка, не поднимая глаз. — С чем пришла? По девичьему делу? Понесла? Рано ещё по тебе видать — а раз пришла, значит, знаешь. Ну, помогу. Не бойся.

— Нет, — сказала Маслова, садясь на край лавки. — Не по тому делу.

Бабка подняла глаза. Посмотрела — остро, быстро, насквозь. Чёрные молодые глаза на печёном лице.

— А, — сказала она. И помолчала. — Не по тому. По другому. — Она отставила подол с семенами. Кошка спрыгнула. — Ну, говори. Только правду говори. Я вижу, когда врут. Соврёшь — выгоню.

Маслова смотрела на неё и думала: вот.

Вот она — та сила, о которой Соломин и книги не говорили. Не гора — наоборот, самый низ, самое дно, глубже Болота. Дохристианская, допетровская, доисторическая Русь. То, что было до царя, до Бога, до всего, — и будет после. Нутряная, земляная, бабья сила. Травы, заговоры, кровь, роды, смерть. Бабка принимала младенцев — и она же их вытравливала. Лечила — и травила. Привораживала — и отваживала. Она держала в своих корявых чёрных руках оба конца: жизнь и смерть. Как земля.

Эта бабка была страшнее Анны Марковны, страшнее Карла Фёдоровича, страшнее всей горы. Потому что гора стояла на законе, на бумаге, на чине, на деньгах — на том, что можно знать, записать, сломать. А бабка стояла на том, что было до закона. На знании, которое не записано ни в какой книге, которое профессор со своей латынью и то знал хуже неё. Атропин, аконитин — профессор знал названия. А бабка знала — руками. Сколько, когда, с чем, кому. Она убила Любку не по злобе — по ремеслу, грязными руками, как делала сто раз. И тех же рук знание могло убить кого угодно — тихо, без следа, так, что никакой Карл Фёдорович не доищется.

Маслова пришла к ней не мстить за Любку. Пока — не мстить. Пришла — учиться.

За знанием, которого нет в книгах.

— Я правду скажу, — сказала Маслова. — Я с Болота, из дома Анны Марковны. Меня тысячной зовут. Слыхала?

— Слыхала, — сказала бабка. — Как не слыхать. Отравительница. — Она сказала это спокойно, без осуждения, как говорят «рыжая» или «высокая». — Та, что купца в Москве… Ну?

— Не травила я того купца, — сказала Маслова. — За чужое пошла. Присяжные напутали. — Она помолчала. — А теперь хочу знать — по-настоящему. Про травы. Про то, что ты знаешь. Я книги читала, учёные, про яды. По-латыни. А книги — они мёртвые. А ты — живая. Ты руками знаешь. Научи.

Бабка смотрела на неё. Долго. Чёрные глаза бегали по лицу Масловой, как бегают пальцы по замку, ища скважину.

— А зачем тебе? — спросила она. — Отравить кого хочешь?

— Хочу, — сказала Маслова.

Она сказала правду. Бабка видела, когда врут. И Маслова не стала врать.

Бабка не вздрогнула. Не испугалась. Не стала увещевать. Она усмехнулась — провалившимся беззубым ртом — и покивала головой.

— Правду сказала, — сказала она одобрительно. — Молодец. Не соврала. — Она помолчала. — Ну а мне что? Хочешь травить — трави. Твоё дело, твой грех. Мне заплати — научу. Я не поп, грехи считать. Я баба. Мне всё одно — родить помочь или вытравить, вылечить или уморить. Трава — она и лечит, и травит. Вся разница — сколько дать. Чуть — лекарство. Много — смерть. Вот и вся наука. — Она протянула корявую руку ладонью вверх. — Плати.

Маслова положила ей на ладонь десять рублей. Больше, чем бабка видела, наверное, за месяц.

Бабка посмотрела на деньги. Спрятала куда-то в недра душегреи. И сказала:

— Ну, слушай.

Она учила весь день.

Снимала с потолка пучки, развязывала туеса, доставала склянки — и рассказывала. Скрипучим старым голосом, с присказками, с заговорами, вперемешку с крестным знамением и с матерным словом. Маслова слушала, запоминала, сверяла с тем, что читала у профессора.

— Вот белена, — говорила бабка, показывая серый пучок с коробочками-маковками. — Дурь-трава. Семя её дашь — очумеет человек, забесится, зенки выкатит, бредить начнёт, а потом уснёт и помрёт. Много дашь. А чуть — так, для сна, для дури. Ведьмы ею мазались, чтоб летать. — Она захихикала. — И я по молодости… летала.

Белена. Маслова вспомнила профессора: атропин, скополамин. Расширяет зрачки, сушит рот, бред, остановка сердца. Бабка знала то же — только называла «дурь-травой» и «летать».

— Вот красавка, — другой пучок, с тёмными ягодами. — Сонная одурь. Волчья ягода. Детишки едят по дурости — мрут. Зрачок от неё во весь глаз, чёрный. Бабы в старину в глаза капали, для красы, чтоб глаз блестел, чёрный был. Оттого и красавка. — Она глянула на Маслову. — Тебе и капать не надо, у тебя и так глаз чёрный, как у меня в молодости. Ведьмин глаз.

Красавка. Атропин. То же, что белена. Для красоты — и для смерти.

— А вот это, — бабка достала берестяной туесок, развязала, показала тёмные скрюченные корешки, похожие на маленьких уродцев, на корявые чёрные пальцы, — это царь-трава. Борец. Прострел-трава. Синий цвет у ней, как монаший клобук, видала по лугам?

— Видала, — сказала Маслова. — В Кафтане. У Умки.

Сердце у неё забилось. Борец. То, за чем она шла. Аконитин. Тот, что без следа.

— Злая трава, — сказала бабка, и голос её стал тише, уважительнее. — Самая злая. В старину ею стрелы мазали — на медведя, на волка. И на человека, когда надо. Зверь-трава. Кто корень её тронет голой рукой да потом глаз потрёт — ослепнет. Кто съест с ноготок — помрёт. — Она подняла скрюченный палец. — И вот чем она хороша, девка, для твоего-то дела: тихо берёт. Не корчит, как мышьяк, не рвёт кровью, как ртуть. Тихо. Онемеет человек, захолодеет, сердце зайдётся — и всё. Будто удар хватил. Будто сам помер. Лекарь и не доищется.

Маслова слушала, и всё сходилось. Слово в слово с профессором. Аконитин. Онемение, холод, аритмия, остановка сердца. Напоминает удар. Почти не выявляется. Тихий.

— А вкус? — спросила она. — Вкус-то есть? Почует?

Бабка усмехнулась.

— Жжёт, — сказала она. — Губы, язык пожжёт, занемеют. Горчит. В воде почует. А в вине крепком, в наливке сладкой, в меду — нет. Там и так жжёт и сладко. Не разберёт. Особо коли пьяный. — Она прищурилась. — Пьяному-то и дай. Пьяный всё выпьет.

Всё сходилось. Крепкое сладкое вино. Пьяный. Не разберёт.

— Дай мне, — сказала Маслова. — Корень. И научи, как готовить.

Бабка готовила отвар при ней.

Она надела на руки тряпицы — «голой рукой нельзя, девка, сама запомни, через кожу берёт, через царапину тем паче». Отмерила корешков — «вот столько на чарку, с ноготок, не боле, а хочешь наверняка — два ноготка». Растолкла в ступке. Залила. Поставила на малый огонь — томиться.

— На воде варить нельзя, — говорила она, помешивая. — На вине. Или на спирту. Тогда вся сила выйдет. И храни в тёмном, в холодном. На свету слабеет. — Она сняла с огня. Процедила через тряпицу в маленькую тёмного стекла склянку. — Вот. Тут на троих хватит. Капель по десять в чарку — и готово. Пьяному — и того меньше надо, пьяный слабже.

Она протянула склянку. Маслова взяла.

Тёмное стекло. Внутри — тёмная жидкость, пахнущая вином и чем-то горьким, травяным, нехорошим. Смерть. Тихая. Без следа. Та, что хватит на троих.

Маслова держала склянку в руке — и чувствовала то же, что чувствовала с самородком. Тяжесть. Не телесную — другую. Тяжесть власти над жизнью и смертью. Эта маленькая тёмная склянка была сильнее Привалова с его приисками, сильнее Головина с его судом, сильнее царя с его указом. В ней была смерть — тихая, послушная, в её руке.

— Спасибо, бабушка, — сказала она.

— Не благодари, — сказала бабка. — За смерть не благодарят. — Она посмотрела на Маслову своими чёрными молодыми глазами. — Ты, девка, вот что запомни. Я тебе продала — моё дело сторона. Но ты гляди. Эта трава — она хитрая. Она и того берёт, кто ею владеет. Кто смертью торгует — к тому смерть и привыкает. Ходит рядом, принюхивается. Один раз дашь — другой захочешь. Потом без неё не сможешь. Я вот, — она усмехнулась, — я скольким помогла народиться. И скольких вытравила. И не помню уж, кого больше. Руки сами делают. — Она посмотрела на свои корявые чёрные руки. — Вот и у тебя так будет. Привыкнешь. Станешь как я.

Маслова молчала.

— Я видела, — сказала бабка вдруг, тихо, глядя не на Маслову, а куда-то мимо, в угол, где иконы и засушенная лапа. — По тебе видела, как вошла. На тебе смерть сидит. Много смерти.

И впереди ещё больше. Ты — не отравительница. Ты хуже. Ты — косая. — Она помолчала. — Знаешь, кто такая косая? Это смерть. С косой которая. Ты за одним пришла, за купцом, я вижу. А косить будешь — многих. Поле целое выкосишь. — Она перекрестилась. И тут же, не переставая креститься, добавила спокойно: — Ну и коси. Твоя доля такая. Кому рожать, кому косить. Господь всем долю дал.

Маслова вышла от бабки под вечер. Серое небо низко висело над Болотом, над свалкой, над оврагом. Капало. Снег осел, почернел, пошёл талой водой.

Она шла обратно через Болото, к мосту, к дому, и в кармане, завёрнутая в тряпицу, лежала склянка тёмного стекла. На троих. Капель по десять.

И в голове звенели бабкины слова.

Косая. Ты — косая. За одним пришла, а выкосишь поле.

Профессор сказал: вы пользуетесь смертью как инструментом.

Соломин сказал: вы кредитор, пришли взыскивать.

Бабка сказала: ты — косая, смерть с косой.

Трое разных людей — учёный, революционер, знахарка, — с трёх сторон, тремя словами сказали ей одно и то же. Увидели в ней одно. Смерть.

И впервые за всё время — не в сомнении, не в жалости, а холодно, ясно, принимая, — она подумала: да. Пусть. Косая так косая. У тётушек меня учили молитвам. Я могла быть другой — доброй, верующей, Соней, Фантиной, кроткой. Они не дали. Нехлюдов, граф, Китаева, суд, каторга, Любка в земле. Они сделали из меня это. Косую. Смерть с косой.

Так получайте.

Она вспомнила Апокалипсис — тот, что читала Нехлюдову. Четыре коня. Белый, рыжий, вороной. И четвёртый:

«И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним».

Конь бледный. Всадник, которому имя смерть.

Она шла через чёрное мартовское Болото, в чёрном платье, со склянкой смерти в кармане, и думала: вот я и есть. Всадник на бледном коне. Смерть. И ад следует за мной.

И ей не было страшно. Ей было — спокойно. Как бывает спокойно, когда наконец примешь то, что ты есть, и перестанешь спорить с собой.

Она больше не спорила.

Дома, ночью, она спрятала склянку в сундук — рядом с мешочком сухого борца (теперь у неё было и сырьё, и готовый отвар), рядом с самородком, с часами, с венчиком. И записала в чёрную тетрадь:

Борец. Царь-трава. Аконитин. Отвар на вине, в тёмном стекле, на холоде. 10 капель на чарку, пьяному меньше. Жжёт — но в крепком сладком вине не почуять. Берёт тихо, как удар. Лекарь не дощется. Хватит на троих.

Всё сходится с профессором. Бабка знает руками то, что он — по-латыни.

Бабка сказала: ты косая. Смерть с косой. За одним пришла — поле выкосишь.

Профессор: пользуетесь смертью как инструментом.

Соломин: кредитор, пришли взыскивать.

Бабка: косая.

Трое увидели одно.

Пусть. Конь бледный. Я приняла.

Она закрыла тетрадь. Посмотрела в окно — на чёрное Болото, на гору с собором, на капающую с крыши оттепель.

Склянка лежала в сундуке.

Оставалось выбрать купца — и день.

День она уже знала. Прощёное воскресенье близилось — а на другой день, в первый день поста, когда весь православный мир кается и постится, она даст купцу вина «для возбуждения».

А про купца — про то, какого выбрать, — она решит на той неделе. Приезжих в Томск по весне наезжало много: как вскроются дороги, потянутся купцы с низовьев, с ярмарки, с приисков. С деньгами. Пьющие. Чужие. Без заступников.

Один из них умрёт.

А сядет за него — Нана.

6.3. Капитал

«Капитал» Соломин дал ей в марте, в разлив, когда Болото превратилось в озеро, а Ушайка вышла из берегов.

Он дал его не сразу. Он тянул — всю зиму обещал «весной», говорил «к Марксу надо дорасти», давал сначала Милля с примечаниями Чернышевского, потом Флеровского о положении рабочего класса. Проверял. А в марте, когда она вернула Флеровского, исписав поля вопросами и возражениями, Соломин долго молчал, протирал очки, а потом снял с полки толстый том в самодельном переплёте — зачитанный, с распухшими от закладок страницами, с подчёркиваниями трёх разных рук.

— Вот, — сказал он. — Марксово «Капитал». Том первый. Русский перевод, семьдесят второго года. Берегите — один на весь Томск, по рукам ходит, зачитан до дыр. — Он помолчал. — Цензура его пропустила, знаете почему? Цензор написал в отчёте: книга учёная, трудная, тяжёлая, мало кто осилит и ещё меньше кто поймёт, вреда от неё не будет. — Соломин усмехнулся. — Вот и поглядим, Екатерина Михайловна. Поймёте вы или нет. Умнее вы цензора или глупее.

Она взяла.

Она читала «Капитал» три недели.

Это было не как Мишле — не пожар, не восторг, не ярость, захватывающая с первой строки. Это было — тяжело. Медленно. Как рубить мёрзлую землю. Первые главы — про товар, про стоимость, про деньги — были написаны так, что она продиралась через каждую страницу, как через бурелом. Какая-то двойственная природа товара. Какая-то потребительная стоимость и меновая стоимость. Какая-то форма стоимости — простая, развёрнутая, всеобщая, денежная. Она не понимала. Возвращалась. Перечитывала. Злилась. Бросала. Снова бралась.

И вдруг — на второй неделе — щёлкнуло. Как щёлкнуло когда-то с французским. Дверь открылась.

Она поняла, про что это.

Это было про то, что она видела всю жизнь, но чему не знала имени. Про то, как из денег делаются деньги. Как купец Привалов, вложив рубль, вынимает два, — откуда второй? Из воздуха? Нет. Из рабочего. Из артельщика, который моет золото в ледяной воде. Рабочий работает двенадцать часов. За шесть он отрабатывает то, что ему платят, — хлеб, кров, водку в хозяйской лавке. А ещё шесть он работает даром. На хозяина. Этот дармовой труд, эти шесть часов — Маркс называл их прибавочной стоимостью, — вот откуда второй рубль. Вот откуда приисковое золото, пароходы, дома на Почтамтской, звезда на груди профессора, бриллианты вдовы, купол собора.

Из украденного труда.

Прудон сказал: собственность есть кража. Красиво, но — лозунг. А Маркс — показал. Как именно кража. По часам. По формуле. Математически. Не «вообще грех», а — вот, смотрите: шесть часов отработал на себя, шесть украли. Каждый день. У каждого рабочего. По всей земле.

И самое страшное — самое для неё важное — она поняла на третьей неделе, дойдя до главы о рабочем дне, о женском и детском труде, о том, как капитал высасывает человека, как выжимает из него всё, до смерти, а потом берёт нового.

Она узнала дом Анны Марковны.

Дом терпимости был — тот же капитал. В чистом виде. Без прикрас. Хозяйка вкладывает: стол, кров, платья в долг. Девушка работает телом. То, что она отрабатывает за еду и платья, — это её шесть часов. А всё остальное, что она приносит, — прибавочная стоимость, дармовой труд, который берёт хозяйка. И долговая книжка Эммы — это механизм, чтобы девушка нико-

гда не отработала долг, чтобы работала даром до смерти, как артельщик Привалова, как рабочий на фабрике. Клавдия умерла должна пятьдесят рублей. Любка — двести двадцать восемь. Они всю жизнь работали даром — и умерли в долгу.

Дом терпимости — это капитализм, у которого содрали одежду. Голый. Где покупают прямо тело — не рабочую силу, завёрнутую в договор, а само тело, прямо. И потому дом честнее фабрики. Там хоть не врут, что это «свободный труд». Там прямо: вот тело, вот цена.

Маслова читала «Капитал» — и видела дом Анны Марковны. Читала про фабрику — видела прииски Привалова. Читала про первоначальное накопление, про то, как сгоняли крестьян с земли, огораживали, превращали в нищих, которых потом гнали на фабрики, — видела баржи с переселенцами на Оби, видела Настю, чьих родителей согнала с земли нужда и уморил тиф на пристани, видела Любку, которую отдали, как телёнка.

Всё сошлось. Маркс связал всё, что она видела порознь, — дом, прииски, баржи, долги, смерти — в одну картину. В одну машину. Которую она хотела сломать.

Но было в «Капитале» и то, что её остановило. Что заставило спорить.

Маркс говорил: не личность. Классы. Капиталист — не злодей, он функция, персонификация капитала, он тоже несвободен, он тоже раб системы, которая гонит его выжимать прибыль, иначе его сожрут другие капиталисты. Рабочий страдает не оттого, что хозяин злой, а оттого, что так устроена система. И менять надо не людей — систему. Не мстить капиталисту — а обобществить средства производства. Не жечь дом — а изменить строй, при котором дом возможен.

Это было умно. Это было, может быть, правда. И это было — против неё.

Потому что она хотела мстить. Людям. Анне Марковне. Привалову. Головину. Карлу Фёдоровичу. Нехлюдову. По именам. По лицам. Она вела чёрную тетрадь — «книгу живых», — где записаны были имена, а не классы. Она хотела не обобществить средства производства, а убить тех, кто уморил Любку. Конкретных. С адресами.

А Маркс говорил: это бесполезно. Убьёшь Анну Марковну — придёт другая хозяйка. Убьёшь Привалова — придёт другой золотопромышленник. Система родит новых. Мстить лицам — всё равно что рубить головы гидре: на месте одной вырастают две. Надо убить гидру — систему. А систему личной местью не убьёшь. Систему убивает только класс. Весь. Разом. Революцией.

Маслова читала это — и злилась. И не могла возразить. И чувствовала, как Маркс холодно, математически, неотразимо отнимает у неё — её месть. Делает её мелкой. Личной. Бессмысленной. Женькиной сулемой в масштабе истории.

Это была та же мысль, что у неё самой мелькнула над гробом Любки: нельзя судить колёсико, можно только сломать машину. Но тогда она сделала вывод — сломать эту машину, этот дом, руками. А Маркс говорил: и этого мало. Один дом — ничто. Сломаешь — построят другой. Машина — не дом, машина — весь строй. И сломать её можешь не ты, не твоя месть, а только класс, история, экономический закон, который сам, неотвратимо, как половодье, снесёт капитализм, когда придёт срок.

Не ты. История.

И вот это — «не ты, история» — было невыносимо.

Она пошла к Соломину спорить.

В воскресенье, в кружок. Пришли все — Соломин, Рахметов, чахоточный Кирсанов, ещё двое новых, молодых, которых она не знала. Самовар. Книги. Портрет Перовской. За окном — разлив, капель, серый мартовский свет.

Говорили о голоде. Шли вести из России: неурожай, в Поволжье и в черноземных губерниях начинается голод, страшный, какого не было. Газеты молчали или врали, но ссыльные знали — письма приходили. Кирсанов горячился, кашлял, говорил, что это конец, что народ поднимется, что голод — искра. Соломин качал головой: не поднимется, голодный не бун-

тует, голодный пухнет и мрёт, бунтует сытый. Рахметов молчал, слушал, ронял изредка веское слово.

А потом заговорили о Марксе. И Маслова вступила.

— Я прочла «Капитал», — сказала она. — Поняла. Про прибавочную стоимость. Про то, как из труда делают капитал. Это правда. Это я и в доме вижу, и на приисках. — Она помолчала. — Но одного не приму. Маркс говорит: не люди виноваты, а система. Не мстить лицам, а менять строй. А я говорю — нет. Люди. Конкретные. Анна Марковна, которая Любку уморила, чтоб девка скорей работала, — она виновата. Она. Не «система». У неё лицо есть, имя, душа — вернее, нет души, но лицо есть. И она ответит. Она, а не «строй».

Кирсанов замахал руками:

— Это народничество! Это терроризм! Это мелкобуржуазный индивидуализм! Маркс же доказал — личность в истории ничто, двигают классы, производительные силы…

— А я — личность, — сказала Маслова. — И Любка была личность. И вы, Кирсанов, личность, хоть и дурак.

Молодые засмеялись. Кирсанов побагровел, закашлялся.

— Класс — это слова, — сказала Маслова. — Я класса не видела. Я видела Любку — рыжую, с ямочками. Видела Анну Марковну — со свечкой Богородице. Видела, как одна убила другую. Это не класс убил класс. Это баба уморила девку. Руками бабки. За деньги. И если я убью эту бабу — Любке от этого не легче, Любка в земле, — но мне легче. И тем, кто после Любки, — может, легче. Потому что другая хозяйка, которая придёт, будет знать: за Любку — убивают. Будет бояться. А Маркс говорит — не бойся, хозяйка, ты не виновата, ты функция, тебя история отменит, когда-нибудь, после твоей смерти. Это для хозяйки хорошая вера. Удобная. Её хоть сейчас в церкви проповедуй рядом с «потерпите, на том свете воздастся».

Соломин смотрел на неё поверх очков. Молчал.

А Рахметов — Рахметов поднял голову.

— Вы неправы, — сказал Рахметов. Негромко, веско, глядя на неё светлыми холодными глазами. — И правы.

Все замолчали.

— Неправы вот в чём, — сказал он. — Убьёте Анну Марковну — придёт другая. Маркс прав. Систему личной местью не свалить. Одна Перовская убила одного царя — пришёл другой, хуже. Сила ушла в дым. Соломин вам это сто раз говорил, и он прав.

Он помолчал.

— А правы вы в другом. Маркс говорит: история сама. Производительные силы созреют, строй рухнет, класс сделает своё. Жди. Это, Екатерина Михайловна, для нас, для живых, — яд. Усыпляющее. «Жди, история сделает». А сколько ждать? Сто лет? Двести? А Любка — сейчас в земле. А голод — сейчас в Поволжье. А я, — он усмехнулся, — я, может, до тридцати не доживу. Мне ждать истории некогда.

Он наклонился вперёд.

— Ткачёв это понимал, — сказал он. — Я вам про него говорил. Ткачёв спорил и с народниками, и с Марксом. Он говорил: не ждать истории и не ходить в народ, который тёмен и не пойдёт. А — меньшинство. Партия. Сильные, сознательные, решительные, готовые на всё. Они берут власть — силой, заговором, террором, — а потом уже переделывают строй сверху, не спрашивая тёмный народ. Сначала захватить — потом просветить. Не ждать, пока история созреет, — а сорвать её, зелёную, силой.

— И это, — сказала Маслова, — это ближе мне.

— Знаю, — сказал Рахметов. — Я вижу. Вы не марксистка и не народница по-соломински. Вы — якобинец. Ткачёвка. Вам нужно действие. Сейчас. Сила. Меньшинство, которое не ждёт и не просит, а берёт. — Он посмотрел на неё долго. — Опасная вы, Екатерина Михайловна. И нужная.

Соломин не выдержал.

— Послушайте вы, оба, — сказал он, и голос его дрожал от сдерживаемого чувства. — Якобинцы. Ткачёвцы. Меньшинство, которое берёт власть и ведёт тёмный народ, не спрашивая. Террор, заговор, диктатура. — Он встал, прошёлся по комнате, остановился у портрета Перовской. — Я тридцать лет в этом. Я видел, к чему ведёт. Я вам скажу, к чему. Меньшинство, которое знает, как надо, и ведёт народ, не спрашивая, — это кончается тем, что это меньшинство начинает гнать народ кнутом туда, куда народ не хочет. Во имя его же счастья. И тех, кто не хочет в счастье, — убивают. Для их же блага. Это Герцен ещё понял, после сорок восьмого. Молох. Будущее, которое жрёт настоящее. Вы хотите построить царство справедливости на крови. А на крови строится только царство крови. Кровью — ещё никто ничего доброго не построил. Кровь родит кровь.

— А без крови, — сказала Маслова тихо, — без крови родится что? Любка в земле. Ваше тридцать лет — что родили? Книжки, кружки, чай с баранками. А гора стоит. И будет стоять, пока вы ждёте, чтоб без крови.

Соломин обернулся к ней. Лицо у него было старое, усталое, страдающее.

— Может, и так, — сказал он тихо. — Может, вы правы, а я прожил зря. Тридцать лет, Кара, два пальца — зря. — Он помолчал. — Но я вам одно скажу, Екатерина Михайловна. Я видел таких, как вы. Горячих. Решительных. Готовых на всё. Я их любил — за силу. И я их хоронил — одного за другим. Потому что кто берёт меч — от меча и гибнет, это даже в вашем Евангелии написано. Вы сейчас думаете, что вы — коса, которая выкосит поле зла. А выйдет — что вы сама ляжете в это поле. Скошенная. И на вашей крови — опять кто-то построит гору. Другую. Может, страшнее этой.

Маслова молчала.

Она вспомнила бабку. «Ты косая. Поле выкосишь». И вот Соломин — почти то же, но с другого конца: выкосишь поле — и сама в нём ляжешь.

Кровь родит кровь. На крови — царство крови.

«Царствию не будет конца», — пели в Символе веры. Чьему царствию? Вот вопрос. Она задавала его себе ещё в самом начале, зимой.

Домой она шла в разлив, по доскам, брошенным через талую воду, в сумерках.

В голове было тяжело и ясно, как всегда после книг и споров. Три голоса спорили в ней.

Маркс: не люди — система; не месть — революция; жди истории.

Соломин: не кровь — просвещение; кровь родит кровь; выкосишь поле — сама ляжешь.

Рахметов-Ткачёв: не жди — бери; меньшинство, сила, сейчас.

И четвёртый голос — её собственный, глубже всех: а мне плевать на ваши споры. У меня в сундуке склянка с борцом. Через две недели я убью купца. За Любку. И за деньги. И потому что мне так хочется. И никакой Маркс, никакой Соломин, никакой Ткачёв мне не указ. Я сама. Коса. Конь бледный.

Она понимала теперь, что народники — и мирные, как Соломин, и якобинцы, как Рахметов, — ей не хозяева. Она среди них учится, берёт у них книги, знания, связи, может, возьмёт потом людей и оружие. Но она — не их. У них вера: в народ, в историю, в справедливость, в будущее. А у неё веры нет. Сеченов. Бога нет, души нет, рефлекс. И будущего она не строит — она мстит за прошлое. И классов она не видит — видит лица. Она не марксистка, не народница, не ткачёвка. Она — сама по себе. Со своей чёрной тетрадью, где имена, а не классы. Со своей косой.

Они думают, что она — их. Рахметов думает, что завербовал якобинку. Соломин думает, что воспитал ученицу. Кирсанов думает, что спорит о Марксе. А она — пользуется ими. Как пользуется Нехлюдовым, Приваловым, Эммой, Настей. Берёт, что нужно: книги, знания, людей, оружие. И пойдёт своей дорогой. Косить своё поле.

Это было одиноко. Страшно одиноко. Она это чувствовала, идя в сумерках через талую воду. Она была одна. Совсем. Ни с толстовцами, ни с марксистами, ни с народниками, ни с якобинцами. Ни с Богом, которого нет. Ни с людьми, которых она либо судит, либо использует. Одна. Коса не бывает в стае. Смерть ходит одна.

Но она уже приняла это — у бабки. Конь бледный скачет один.

Дома она записала в клеёнчатую тетрадь:

«Прочла Капитал. Поняла. Прибавочная стоимость — вот откуда у них всё: прииски, собор, звезда. Из краденого труда. Дом терпимости — капитал голый, без одежды.

Маркс: не люди, система; жди истории. — Нет. Мне ждать некогда. И у Анны Марковны лицо есть.

Соломин: кровь родит кровь, выкосишь поле — сама ляжешь. — Может, и лягу. Пусть. Косе всё равно.

Рахметов: не жди — бери, меньшинство, сила. — Ближе. Но и он думает, что я их. А я ничья.

Я не марксистка, не народница, не ткачёвка. Я сама.

У них вера — народ, история, будущее, справедливость. У меня веры нет. Я мщу за прошлое. За Любку. Не строю рай.

Они думают — завербовали. А я их использую. Книги, знания, люди, оружие. И пойду своей дорогой.

Коса ходит одна.

Через две недели — купец. Склянка готова.»

Она закрыла тетрадь. Посмотрела на сундук, где лежала склянка.

За окном капало. Разлив стоял над Болотом. Где-то далеко, на Томи, лёд ещё держался — последние дни. Скоро тронется.

Две недели.

6.4. Кольцо

Женька раскрыла ей всё в конце марта.

Она пришла ночью, после гостей, кашляющая, с папиросой, села на кровать — они теперь часто сидели так, вдвоём, за полночь, две союзницы, — и сказала, глядя в стену, ровным голосом, каким говорят о решённом:

— За тобой следят, Катя.

Маслова отложила «Капитал».

— Давно подозреваю, — сказала Женька. — С месяц. Сначала думала — мерещится. Потом — нет. Следят. — Она затянулась. — Помнишь мужика у моста? Третью неделю торчит. То семечки лузгает, то газету читает вверх ногами — неграмотный, видать, а притворяется. В штатском. А выправка — солдатская. И сапоги казённые. Я этих знаю, Катя. Насмотрелась. Шпик.

Маслова слушала.

— И в читальню за тобой ходит кто-то, — продолжала Женька. — Макушинский приказчик, Иван, мне шепнул — спрашивали про тебя. Кто такая, что читает, с кем знается. И к Соломину твоему — тоже приглядываются. Я узнавала. У политических спрашивала, тихо. У них нюх. Говорят — завёлся интерес. Жандармский. Не полиция нравов, не Очумелов твой — выше. Голубые мундиры.

Голубые мундиры. Жандармы. Третье отделение — вернее, то, что пришло ему на смену, охранное, политический сыск. Не полиция, которая берёт с домов терпимости и закрывает глаза. Те, кто ловит государственных преступников. Тех, за кого — не поселение, а каторга, каземат, Кара, виселица.

— Откуда? — спросила Маслова. — Кто навёл?

Женька посмотрела на неё. Узкими тёмными глазами.

— Нана, — сказала она.

Женька знала всё. Она собрала это по кускам — за месяц, тихо, своим злым умом, своим нюхом, своими связями среди девок, прачек, половых, дворников, всей той невидимой прислуги Болота, которая видит и слышит всё.

— На Крещение, — сказала Женька, — на Иордани, на льду. Нана говорила с Головиным. Товарищем прокурора. При всех, в толпе, будто случайно столкнулись. Прачка их видела, наша, Матрёна, она рядом стояла. Нана ему что-то долго шептала. А после Головин переменился. Стал про тебя спрашивать — осторожно, через людей.

— Что Нана могла ему сказать?

— А вот что. — Женька загнула палец. — Первое: что ты ведёшь тетрадь. Чёрную. Где всё записано — про всех. Нана видела её у тебя раз, мельком, осенью ещё. Донесла: тысячная, мол, собирает на всех записи. Для чего? Подозрительно. — Загнула второй. — Второе: что ты с политическими знаешься. К Соломину ходишь, в кружок. Книжки запрещённые читаешь — Маркса, французов. Это уже не блуд, Катя. Это политика. За это жандармы берут. — Третий палец. — Третье — и это она главное, видать, шепнула. Помнишь маскарад? У вдовы? Ты там Головину в маске всё в лицо сказала — про взятку по делу Рыжова, про Нану, про «книгу живых». Он с ума сходил потом — кто это был? А Нана ему разгадала: это, мол, тысячная. Только она такое знает. Только у неё такая тетрадь. Вот он и сложил: чёрная дама на балу, что знает его грехи, — это та, что ведёт тетрадь и водится с политическими.

Маслова слушала, и всё сходилось.

Нана сдала её. Из ненависти — за разоблачение, за «в следующий раз бери три щепотки», за падение из звезды в трёхрублёвые. И сдала умно, по-своему: не как соперницу хозяйке (это

ничего бы не дало), а как государственную преступницу — жандармам. За это берут всерьёз. За это — конец.

А Головин — Головин ухватился. Потому что для него Маслова была вдвойне опасна. Она знала его грехи — взятку, связь с Наной. Пока она на воле, с чёрной тетрадью, он не спит. А если она — государственная преступница, если её возьмут жандармы, сошлют дальше, на Кару, сгноят в каземате, — то и тетрадь её сгинет, и грехи его с нею. Он не просто доносчик. Он — спасающий свою шкуру. Он топит её, чтобы она не утопила его.

Охотница стала дичью.

Полгода она вела чёрную тетрадь, собирала на всех, чувствовала себя Смертью на балу, невидимой, всезнающей, неуязвимой. А оказалось — за ней самой следят. Записывают. Собирают. Готовят. Тот самый мужик у моста с газетой вверх ногами — он на неё заводит дело. Её собственную игру играют против неё. И играют те, кто сильнее: не Анна Марковна, не Очумелов — жандармы, государство, гора в самом грозном её обличье.

Она сидела молча. Думала.

Первая мысль была — страх. Холодный, животный. Каторга. Кара. Каземат. Она была там близко — она знала, что это. Этап в кандалах. Тюрьма. Сгнить заживо. Или петля. Всё, что она построила, — касса, план, месть, — рухнет, и её саму скосят, как она собиралась косить других.

Вторая мысль — холоднее страха — была: сколько у меня времени?

— Когда возьмут? — спросила она.

— Не скоро, — сказала Женька. — Пока следят. Собирают. Жандармы не торопятся — им дело нужно крепкое, с уликами, с бумагами. Тетрадь твою хотят взять — с поличным. И связи твои размотать — кружок, Соломина, всех разом. Им одна ты ни к чему. Им — весь куст. Будут ждать, пока ты их выведешь на других. — Она помолчала. — Так что пока ходи, живи. Но знай: каждый твой шаг пишут. И рано или поздно — обыск. И возьмут. С тетрадью. А в тетради, Катя, — она посмотрела на неё, — в тетради у тебя на что потянет? На каторгу. Это ж улика на тебя саму — что ты на всех собираешь, замышляешь. Шантаж, заговор. Сожги ты её от греха.

— Не сожгу, — сказала Маслова.

— Почему?

— Пригодится.

Женька покачала головой. Но не стала спорить. Она уже знала это слово. «Пригодится». Для Масловой это было как молитва.

Маслова встала. Прошлась по комнате. Остановилась у окна. Разлив стоял над Болотом, чёрная вода блестела под луной.

И страх — отступил. На его место пришло другое. То, что приходило всегда, когда её загоняли в угол: холодная ярость и ясность.

Хорошо, подумала она. Хорошо, что ты сказала, Женя. Теперь я знаю. Знаю — что следят. Знаю — кто навёл. Знаю — кто ведёт. Нана. Головин. Жандармы.

Они думают, что обложили меня. А это я теперь знаю про них то, чего они не знают, что я знаю. Они следят — а я знаю, что следят. Значит, я вижу их игру, а они думают, что я слепа. Это преимущество. Это всё меняет.

И главное — это решает всё. Все вопросы разом.

Она думала — когда жечь дом, как убрать Нану. Думала — долго, прикидывала, откладывала. А теперь — ответ сам сложился. Один удар решал всё.

Купец. Отравление. Подстава Наны.

Смотри, как складывается, думала она, глядя на чёрную воду. Нана меня топит — я топлю Нану. Нана шепчет жандармам, что я отравительница, замышляю, — а я делаю её отравительницей, настоящей, с уликой, с мёртвым телом, с каторгой. Нану берут за убийство —

и Нана больше не шепчет. Доносчица сама на скамье. Её доносам — грош цена: кто поверит каторжнице-убийце? И никакой Нехлюдов за нее не встрянет.

А Головин? Головин — враг, он ведёт против меня дело. Но у меня на него компромат — взятка по Рыжову, связь с Наной, «книга живых». И вот тут — тонко. Я заставлю его самого вести дело против Наны. Я — через компромат — вложу ему в руки готовое дело: мёртвый купец, отравительница Нана, улики. Головин раскрывает громкое убийство — ему слава, повышение, он доволен. И — он повязан. Он не может одновременно вести дело об убийстве против Наны и дело о заговоре против меня, в которое Нана его втянула. Если он даст ход доносу Наны на меня — всплывёт, что отравительница Нана была его любовницей по вторникам, что он с ней якшался, что это он покрывал дом. Ему выгоднее Нана — убийца-одиночка, ограбила купца, отравила. Чисто. А я — ни при чём. И донос Наны, если она вообще осмелится — бред ревнивой убийцы.

Одним ударом — Нану на каторгу, Головина под уздцы, деньги купца в кассу, и сама чиста. И после этого — жечь дом, пока суд над Наной идёт, пока все смотрят туда.

Она почти засмеялась — холодно, восхищённо собственной мыслью. Донос, который должен был её погубить, она обращала в оружие. Как обратила легенду отравительницы — в силу. Как обращала всё.

— Женя, — сказала она, оборачиваясь. — Знаешь, что мы сделаем?

Она рассказала. Той же ночью. Шёпотом. Весь план.

Женька слушала — узкие тёмные глаза загорались тем холодным огнём, что Маслова увидела когда-то на лестнице.

— Купца, — говорила Маслова. — Чужого. Приезжего. С деньгами. Пьющего. Как вскроются дороги — таких наедет. Я его отравлю. Борцом — он без следа, как удар. Деньги — в кассу. А вину — на Нану. Сулемой. Той самой, что она мне в чай сыпала. У неё с сулемой прошлое — ты знаешь, Эмма знает. Подбросим ей сулему, подбросим часть денег. Свидетели — ты видела, как Нана с купцом, как Нана брала из аптечки. Эмма подтвердит про убыль сулемы. Карл Фёдорович под нажимом напишет — отравление, и укажет на Нану. Головин — я его компроматом возьму — поведёт дело и закроет на Нану. Нана — на каторгу. Головин — повязан, донос на меня похоронит. Деньги — у нас. Я — чиста.

Женька молчала, думала. Потом сказала:

— Складно. Только тонко. Много колёс. Одно сорвётся — всё посыплется. — Она затянулась. — Яд один — борец, а подброшенный — сулема. А ну как лекарь в купце борец найдёт? Или в стакане?

— Не найдёт, — сказала Маслова. — Борец не ищут, когда сулему нашли. Нашли виноватую с сулемой — зачем дальше копать? Дело раскрыто. А стакан отравленный — уберём. Настя уберёт. Нане — чистый поставим. Улика против Наны — не вино, а сулема в её комнате, деньги, да свидетели. Вино выльем.

— А Настя? — спросила Женька. — Насте скажешь?

— Нет, — сказала Маслова. — Настя — втёмную. Руками сделает, не зная. Подаст вино — я скажу, для возбуждения купцу. Сулему подбросит — скажу, Нана украла, вернуть на место. Деньги — скажу, спрятать. Настя не поймёт. Настя слепая. Так лучше — для неё же. Коли возьмут — она чиста, она ничего не знала, с неё взятки гладки, она дура-подавальщица.

Женька посмотрела на неё.

— Жалеешь Настю?

Маслова помолчала.

— Берегу, — сказала она. — Она мне ещё нужна. И… — Она не договорила. «И не только нужна». Та тонкая трещина — волосок — чуть дрогнула. Настя — орудие. Но беречь орудие втёмную, чтоб, если что, оно не пострадало, — это уже не совсем орудие. Это уже — забота. Маслова не стала додумывать.

— А я? — спросила Женька. — Мне что?

— Ты — свидетель. Главный. Ты «видела» — как Нана с купцом последняя была, как Нана из аптечки сулему брала, как Нана раньше меня травить хотела — это правда, это и повторишь. Тебе поверят — ты в доме двадцать… сколько ты тут?

— Шесть лет.

— Шесть лет. Старожилка. Тебе поверят. — Маслова посмотрела на неё. — Только, Женя… это опасно. Свидетель по делу об убийстве. Тебя затаскают. Жандармы, следователь, суд. А ты… — Она не договорила. Больная. Кашляешь кровью. Тебе бы лежать, а не по допросам.

Женька усмехнулась.

— Я ж тебе сказала, — проговорила она. — Я покойница. Мне что допросы, что каторга — мне до неё не дожить. Я одного хочу — чтоб не зря. Перед тем как лечь. — Она затянулась, выпустила дым. — Нана мне всё одно никогда не нравилась. Задавака. Парижанка рижская. И тебя топит. — Она сплюнула. — Утопим её, Катя. С нашим удовольствием.

Они сидели вдвоём, в ночи, над разливом, и строили убийство — спокойно, деловито, как строят дом. Две женщины. Одна — косая, смерть с косой. Другая — покойница, которой нечего терять. Страшная пара. Непобедимая той страшной непобедимостью, которую даёт одной — ненависть, другой — близкая смерть.

Оставалось распределить остальные роли. Маслова проговаривала их — для себя, для Женьки, вслух, чтобы ничего не упустить.

Эмма Эдуардовна. Уже куплена — двенадцать процентов, доля, страх перед коричневой книгой. Её роль: подтвердить про убыль сулемы в аптечке (она сама заметила ещё осенью — это правда), указать, что ключ от аптечки был у Наны (подложить такую возможность), вести себя так, чтоб следствие само вышло на Нану. Эмма сделает — по арифметике: ей выгоднее живая прибыльная Маслова, чем Нана, да и дом она уже мысленно похоронила, готовится выходить с деньгами.

Карл Фёдорович. Компромат: «горячка простудная» при живой Любке, доля от Анны Марковны, его подпись под ложным свидетельством — всё в чёрной тетради. Его роль: написать заключение об отравлении (не об ударе!) и указать на сулему. Он напишет, что велят — он труслив, он повязан, он уже раз подписал ложь.

Очумелов. Собачка. Предан, влюблён, туп. Его роль: оформить, арестовать Нану, вести себя рьяно — он любит казаться значительным. Ему даже объяснять ничего не надо толком — направить, и побежит.

Головин. Самое тонкое звено. Враг, доносчик — но и ключ. Его надо взять компроматом и вложить в руки готовое дело против Наны, так, чтобы ему самому было выгоднее топить Нану, чем Маслову. Это она сделает сама, лично, в нужный момент — после убийства, когда дело уже будет, а Головин окажется перед выбором.

Привалов. Про запас. Если понадобится надавить деньгами — на суд, на родню купца, на заступников. Деньги и сила Привалова — резерв. Он не будет знать, для чего; он сделает для «своей Катьки», думая, что помогает ей в каком-то бабьем деле.

Шесть человек. Шесть колёс. Каждое крутит соседнее. И в середине — она, которая одна знает всю машину.

Как часы Эммы Эдуардовны. Как механика дома. Только теперь она не записывает чужую механику — она строит свою.

Под утро Женька ушла к себе. Маслова осталась одна.

Она подошла к сундуку. Открыла. Достала склянку — тёмного стекла, с борцом. Подержала в руке. Тяжёлую. Послушную. Смерть на троих.

Потом достала чёрную тетрадь. Ту, за которой охотятся жандармы. Улику, которой боится Головин. Ту, что потянет на каторгу.

Сжечь, сказала Женька.

Маслова раскрыла её. Перелистала. Привалов, Нехлюдов, Очумелов, Головин, Паратов, полицмейстер, пристав, Карл Фёдорович, консистория, Нана, Эмма. Полгода работы. Все грехи горы, собранные в одну книгу. Книга живых. По ней судят.

Нет. Не сожгу.

Она только перепрячет. Не в доме — в доме обыщут. У Соломина? Нет, и к нему придут. У Привалова? Он не знает, что хранит. В читальне, в книге, меж страниц? Нет.

Она придумает место. Но не сожжёт. Потому что эта книга — её главное оружие. В ней — власть над Головиным, над всеми. Сжечь её — обезоружить себя. А она не обезоружится. Она — коса. Коса не ломает своё лезвие оттого, что близко волки.

Наоборот. Чем ближе волки — тем острее надо точить.

Она записала — в самый конец, мелко:

За мной следят. Жандармы. Навела Нана через Головина (на Крещение, на Иордани). Знают: тетрадь, кружок, маскарад. Ждут обыска, хотят с поличным, размотать куст.

Хорошо, что знаю.

Один удар решает всё: купец отравлен → Нана на каторге (донос её — бред убийцы) → Головин повязан (компромат + готовое дело) → деньги в кассу → я чиста.

Потом — дом. Пока суд над Наной, все смотрят туда.

Роли: Эмма — улика (сулема), Карл Ф. — заключение, Очумелов — арест, Головин — дело и поводок, Привалов — резерв. Женька — главный свидетель (согласна, ей терять нечего). Настя — руки, втёмную (беречь).

Тетрадь не сожгу. Перепрятать. Чем ближе волки — тем острее точи.

Купца — как вскроются дороги. На первый день поста.

Склянка готова.

Она закрыла тетрадь. Погасила свечу.

За окном светало. Разлив блестел. Лёд на Томи стоял — последние дни, уже чёрный, вздувшийся, в трещинах. Скоро тронется.

Кольцо сжималось вокруг неё — жандармы, донос, слежка. А она сжимала своё кольцо — вокруг Наны, вокруг горы, вокруг дома. Два кольца, одно в другом. Чьё сомкнётся первым.

Она была почти весела. Опасность не пугала её больше — она её бодрила. Загнанная в угол, она стала опаснее, быстрее, холоднее. Коса, которую точат волки.

Через две недели вскроются дороги. Приедет купец.

И начнётся.

6.5. Прощёное воскресенье

В Прощёное воскресенье дом закрыли.

Так было заведено у Анны Марковны — единственный день в году, когда красный фонарь не зажигали. Не из набожности даже, а по обычаю: в этот вечер гостей всё равно не было бы. Весь православный мир в последний день перед Великим постом каялся, прощался, прощал, готовился к семи неделям говенья. Мужья сидели дома, с жёнами, с тёщами. Купцы разъезжались по родне — просить прощения, кланяться в ноги. Даже пьяницы в этот вечер пили дома, тихо, с покаянной слезой. Болото пустело. Фонарь не зажигали.

И потому в Прощёное воскресенье дом Анны Марковны был — не дом терпимости, а просто дом. Женский дом, где жили женщины. Без гостей, без музыки, без красного света.

Анна Марковна с утра уехала к обедне, потом по богомольным знакомым — прощаться. Эмма Эдуардовна заперлась в конторке со счётами. А девушки — те, что остались, кого ещё не выкупили, — сидели по комнатам, отсыпались, штопали, кто крестился, кто плакал, кто просто лежал, глядя в потолок. Тихий день. Серый. Предпостный.

За окном таяло. Капало. Разлив стоял над Болотом.

Маслова провела этот день с книгой — но не с «Капиталом». С другой.

Она взяла у Соломина Триодь постную — толстую, в кожаном переплёте, церковную, славянскую. Попросила нарочно. Соломин удивился — зачем атеистке богослужебная книга? Она не объяснила. Она хотела прочесть то, что сегодня, в эти дни, будут петь и читать во всех церквях. Великий покаянный канон. Тексты поста. Она читала теперь всё — и врага надо знать по его же книгам, как она узнала христианство по Апокалипсису, которого они не дочитывают.

Она читала Триодь — и находила то, чего не ждала.

Она думала — пост, покаяние, смирение, «прости меня грешного», слёзы, кротость. Христианское, толстовское, нехлюдовское. Склони голову, бей себя в грудь, прощай врагов.

А там была — война.

Великий канон Андрея Критского, который будут читать всю первую седмицу, — она читала его при сером свете, медленно, разбирая славянское, — был полон не кротости, а битвы. Крови. Оружия. Ветхого Завета — грозного, воинственного, беспощадного.

«Фараон меня потопил» — пел канон. Фараоново воинство, потонувшее в Чермном море. Египтяне, поглощённые водой, когда Моисей вывел народ, а воды сомкнулись над колесницами.

«Амалика страстей победи» — Амалик, которого истреблял Израиль, которого велено было стереть с лица земли, всех, до младенца.

«Иисус Навин» — тот, что обрушил стены Иерихона трубным гласом и перебил всех в городе. Тот, что остановил солнце, чтобы успеть добить врагов до темноты.

«Избивый... умертвивый... поразивый...» — канон был полон этих слов. Побивающих. Поражающих. Истребляющих.

Маслова читала — и удивлялась, и радовалась.

Вот оно. Опять. Как с Апокалипсисом. Христиане поют это — всю первую неделю поста, стоя в церквях, кланяясь, крестясь, со свечками, — поют про то, как топили фараоново воинство, как истребляли Амалика, как рушили Иерихон и резали всех. Поют — и думают, что каются. А это не покаяние. Это боевая песнь. Это Ветхий Завет, грозный Бог Саваоф, Господь воинств, который топит, истребляет, поражает врагов.

Они разделили своего Бога надвое — как разделили Библию, как разделили тело. Взяли себе кроткого Христа с «любите врагов» — а грозного Саваофа с «истреби Амалика» поют по-славянски, не понимая, не вслушиваясь, механически, как попугаи. Граф взял Нагорную

проповедь — а Книгу Иисуса Навина не читает. Нехлюдов плачет над лилиями полевыми — а про потопленного фараона поёт, не вдумываясь.

А она — вслушалась.

И Бог воинств, грозный, истребляющий, топящий фараона и рушащий стены, — этот Бог был ей ближе кроткого Христа. Этот Бог судил. Этот Бог воевал. Этот Бог не прощал, а поражал.

Она выписала в тетрадь — не в чёрную, в светлую, симонсоновскую, где клятвы:

«Триодь. Канон Андрея Критского. Думала — покаяние, кротость. А там — война. Фараон потоплен. Амалик истреблён. Иерихон разрушен. Навин остановил солнце, чтоб добить врагов.

Они поют это всю первую неделю поста — и думают, что каются.

Они и тут взяли себе кроткого Христа, а грозного Саваофа поют, не слушая.

А я слушаю.

Господь воинств. Бог, который топит фараона. Вот мой Бог — если б он был.

Завтра — первый день поста. Начну и я. Своё истребление. Своего фараона — потоплю.»

Завтра. Первый день поста. Чистый понедельник. Когда весь православный мир начинает говеть, очищаться, бить поклоны, — она начнёт своё. Купца. Яд. Первый суд.

Чистый понедельник. Она усмехнулась. Чистый. Да. Чище не бывает.

Женька пришла под вечер.

Они сидели в угловой комнате, в сумерках, не зажигая огня, — две женщины в закрытом доме, в тихий серый предпостный вечер. Пили чай. Говорили в последний раз — обо всём, что завтра. Проверяли план, как проверяют ружьё перед охотой: каждый винтик, каждое звено.

— Купец есть, — сказала Женька. — Я присмотрела. Дороги вскрылись третьего дня, наезжают. Один — то что надо. Чужой, иркутский, по хлебному делу, с низовьев. Крутилин, фамилия. Третий день гуляет по Томску. У Шульцихи был, у Пескарёвых был — всех перебрал, денег не считает. Хвастается, что на ярмарке тысячи взял, при себе носит — бумажник толстый, половые видели. Пьёт — беспробудно. Один, без приказчиков даже, те в номерах отсыпаются. Завтра к вечеру будет у нас — я через полового слух пустила, что у Анны Марковны тысячная, парижский канкан, лучше всех. Он загорелся. Придёт.

— Хорошо, — сказала Маслова. — Чужой, пьющий, с деньгами, один. Как по заказу.

— Как по заказу, — кивнула Женька. — Только, Катя… — Она помолчала. — Он здоровенный. И буйный во хмелю, говорят. У Шульцихи девку побил. Ты поосторожней с ним.

— Побьёт — недолго ему бить, — сказала Маслова.

Они проверили остальное. Эмма предупреждена — завтра сулема из аптечки «пропадёт», и она «вспомнит», что ключ брала Нана. Карл Фёдорович — его Маслова прижмёт после, когда будет тело. Очумелов — он завтра будет в зале, Женька позвала (Очумелов в зале — свидетель и будущий исполнитель ареста, и он ничего не заподозрит, он просто придёт на канкан, как все). Склянка с борцом — готова, в сундуке. Чистый стакан для подмены — припасён. Деньги — куда спрятать, сколько в кассу, сколько подбросить Нане — обговорено.

Настя — втёмную. Завтра Маслова скажет ей, что нужно, по частям, не открывая целого.

— А ты не боишься, Катя? — спросила Женька вдруг, в темноте. — Завтра — человека убить. Не словом, не телом — насмерть. Руками. Первый раз. По-настоящему.

Маслова помолчала.

— Нет, — сказала она. — Не боюсь.

И подумала: правда не боюсь. Странно. Должна бы. Первый раз — человека, насмерть, своими руками, обдуманно. А страха нет. Есть — она прислушалась к себе — есть другое. Нетерпение. Жар. То тёмное, горячее, что поднималось в ней на столе, на пароходе, с Нехлюдовым под Апокалипсис. Только сильнее.

Она ждала завтрашнего — как ждут мужчину, которого хотят. С тем же жаром внизу живота, с той же дрожью.

Она убьёт — и ей это будет сладко. Она это знала про себя. И не лгала себе. Бабка сказала: кто смертью торгует, к тому смерть привыкает, станешь как я, один раз дашь — другой захочешь. Вот оно. Ещё не дала — а уже хочет.

Коса радуется покосу.

Нехлюдов пришёл в сумерках, когда Женька уже ушла.

Он не должен был прийти — дом закрыт, Прощёное воскресенье, понедельник его, не воскресенье. Но он пришёл. Бык, по привычке, впустил его — князь ходил столько месяцев, что стал как свой.

Он постучал в угловую дверь. Вошёл.

Он был трезв — непривычно трезв, бледен, с ввалившимися глазами, но трезв и тих. В тёмном. Со свечой в руке — взял внизу, в доме темно было. Остановился на пороге.

— Прости меня, Катюша, — сказал он.

Маслова подняла голову от Триоди.

— Что?

— Прости меня, — повторил он. — Нынче Прощёное воскресенье. День, когда прощают. Все у всех просят прощения. И я пришёл — к тебе. — Он опустился — не на колени, но склонил голову. — Прости меня. За всё. За ту ночь, двенадцать лет назад. За сто рублей. За то, что бросил. За то, что явился потом спасать — поздно, неумело, для себя больше, чем для тебя. За Симонсона, к которому не поехал. За то, что ходил сюда, губил себя и тебя. За всё, Катюша. Прости. Христа ради прости. Мне тяжело. Мне невыносимо. Я не могу больше жить непрощённым. Прости — и я уеду. Уйду из твоей жизни. Весной, ты сказала. Весна пришла. Прости — и отпусти.

Маслова смотрела на него.

Прощёное воскресенье. Он пришёл просить прощения. По-христиански. По-толстовски. По канону. Склони голову, бей себя в грудь, прости и будь прощён, примирись перед постом, перед Богом, перед людьми.

А она весь день читала другой канон. Не про «прости» — про «истреби». Про фараона в море. Про Амалика. Про Иерихон.

И она поняла — ясно, холодно, окончательно, — что это и есть разница между ними. Между толстовством и ею. Между прощением и судом. Он пришёл просить прощения, чтобы облегчить себе душу, чтобы уехать чистым, прощённым, примирённым. А она — не простит. Не потому, что зло помнит мелко, по-бабьи. А потому, что прощение — это и есть то, против чего она встала. Прощение отпускает долг. А она — кредитор. Она пришла взыскивать, не прощать. Простить Нехлюдова — значит простить всю гору, весь Вавилон, всю цепь, на которой погибла Любка. Простить — значит предать Любку. Предать клятву. Стать Соней. Стать толстовкой.

Нет.

— Я тебя не прощу, Митенька, — сказала она. Тихо. Спокойно. Без злобы — именно без злобы, и оттого страшнее.

Он поднял голову.

— Почему?

— Потому что прощать — не моё дело, — сказала она. — Моё дело — судить. Прощение — это для вас. Для графа, для попов, для тех, кто хочет облегчить душу и жить дальше, как жил. Попросил прощения — и чист, и спи спокойно. А должок — спишется, по-христиански, Бог простит, все простят. Удобно. — Она встала. — А я долгов не прощаю. Я их взыскиваю. С тебя. Со всех. Ты хочешь уехать прощённым, лёгким, примирённым. А ты уедешь — непрощённым. С камнем. Будешь жить и помнить, что тебя не простили. Что есть на свете та, что

тебя судила и не помиловала. Это и будет твой суд, Митенька. Не ад на том свете — а то, что на этом тебя не простили. Никогда.

Нехлюдов стоял, держа свечу. Пламя дрожало. Лицо его — бледное, страдающее — было страшно в этом свете.

— Это жестоко, — прошептал он. — Христос прощал. Даже разбойника на кресте. Даже распинавших — «прости им, не ведают, что творят».

— А я не Христос, — сказала Маслова. — Я с другого конца той же книги. Я — оттуда, где озеро огненное. Где не прощают, а судят. Христос на кресте простил. А Христос в Апокалипсисе — пришёл со славою судить живых и мёртвых, и бросил непрощённых в огонь. Это один Христос, Митенька. Вы взяли себе того, что прощает. А я — того, что судит. И я не прощу.

Она подошла к нему. Близко. Взяла из его руки свечу — чтобы не дрожала, не капала воском. Поставила на стол.

— Иди, — сказала она. — Приходи завтра, в свой понедельник, если хочешь. Нет — не приходи. Весной я тебя отпущу — скоро. Но не прощу. Уходи с этим.

Он смотрел на неё. Долго. И вдруг — не заплакал, как прежде, а как-то выпрямился. Что-то в нём переменилось. Он словно принял — принял, что прощён не будет, что понесёт это как крест.

— Хорошо, — сказал он тихо. — Не прощай. Я приму. Я заслужил. — Он помолчал. — Но знаешь, Катюша… ты думаешь, что судишь меня. А ты — себя губишь. Я это вижу. Ты вся — чёрная стала. В чёрном ходишь. Глаза чёрные. И внутри — чёрно. Ты меня не простила — и себя тем не простила. Кто не прощает — тот сам в аду. Ты уже в аду, Катюша. Я вижу. Мы оба в аду. Только я это знаю, а ты — ещё нет.

Он взял свою шляпу. Пошёл к двери. У двери обернулся.

— Прости меня всё-таки, — сказал он. Последний раз. Тихо.

— Нет, — сказала Маслова.

Он кивнул. И вышел.

Она осталась одна.

Свеча его горела на столе. Триодь лежала раскрытая — на каноне, на фараоне, на Амалике.

Она села. Задумалась.

«Ты уже в аду, Катюша. Мы оба в аду. Только я это знаю, а ты — ещё нет.»

Та тонкая трещина — волосок — дрогнула. Шире, чем обычно. Он попал. Он, глупый, слабый, растоптанный, — попал в самое больное. Потому что это была правда — та правда, которую она знала про себя, но заделывала стеной. Что ей нравится. Жечь, валять в грязи, косить. Что под местью за Любку — страсть к разрушению, охота, наслаждение. Что она идёт не из одной любви к справедливости, а из ненависти и из тёмного жара. Что завтра она убьёт — и ей это будет сладко. Что она уже ждёт этого, как ждут мужчину.

Если это не ад — то что?

Она посидела над трещиной. Над сомнением. Над нехлюдовской правдой.

А потом — заделала. Как всегда. Но теперь — по-новому. Не отрицанием. Принятием.

Да, думала она. Я в аду. Он прав. Но — я выбрала ад. Сознательно. Между их раем — кротким, прощающим, лживым раем, где Любка в земле, а хозяйка со свечкой, где прощают убийц и топчут жертв, — и адом, где судят, жгут, косят, — я выбрала ад. Потому что их рай стоит на крови Любки. А мой ад — это суд над теми, кто эту кровь пролил.

Лучше быть в аду судьёй, чем в раю — соучастницей.

Лучше коса, чем свечка.

И если мне это сладко — пусть. Бог воинств топил фараона — и, верно, тоже радовался. Навин рушил стены — и пел. Души под жертвенником кричат «доколе не мстишь» — не из

долга кричат, а из жажды. Месть сладка. Это и в Библии есть. Они это поют — и не слышат. А я слышу. И не стыжусь.

Да, я в аду. Я сама его выбрала. И завтра я в нём — поработаю.

Трещина заделалась. Но — Маслова почувствовала это — волосок остался. Длиннее прежнего. Нехлюдов сегодня удлинил его одним точным словом. «Ты уже в аду.» Это осталось. Это будет расти. Медленно. Годами. До того дня, когда разойдётся совсем.

Но до того дня — ещё жить и жить. И косить, и косить.

Она задула свечу Нехлюдова. Подошла к окну.

Прощёное воскресенье догорало. По всему Томску — на горе и на Болоте — в домах прощались, кланялись, целовались троекратно, говорили «прости меня» и отвечали «Бог простит, и ты меня прости». Готовились к посту. К очищению. К семи неделям говенья.

А завтра — Чистый понедельник. Первый день поста. Когда звон будет медленный, постный, покаянный. Когда в церквях начнут читать канон Андрея Критского — про фараона в море, про Амалика, про Иерихон. Когда весь православный мир будет говеть, каяться, очищаться.

А она — завтра вечером — отравит человека.

В чистый понедельник. В первый день поста. Под покаянный звон.

Своё очищение. Свой пост. Свою войну.

Она посмотрела на сундук, где лежала склянка.

— Фараона потоплю, — сказала она тихо, в темноту. — Амалика истреблю. Начну.

И впервые за весь день, за весь этот тихий серый предпостный день, — улыбнулась.

Завтра.

6.6. Чистый понедельник

Утром звонили к посту.

Не так, как на Пасху, не так, как в праздник. Медленно. Редко. Один удар — и долгая тишина, в которой он тает, стынет над городом. Потом другой. Постный звон. Покаянный. По всему Томску, с горы, со всех колоколен — медленные одинокие удары, зовущие говеть, каяться, очищаться.

Чистый понедельник. Первый день Великого поста.

Маслова проснулась под этот звон и лежала, слушая. Внутри было спокойно и ясно. И жарко — тем тёмным, глубоким жаром, что копился со вчерашнего. Сегодня.

Она встала. Умылась холодной водой. Долго, тщательно расчесала волосы — чёрные, тяжёлые. Надела чёрное платье — глухое, строгое, то, в котором хоронила Любку. Не красное. Сегодня — чёрное. Сегодня работал не эрос. Сегодня эрос был только слугой. Хозяином был танатос.

Хотя — она усмехнулась, глядя в зеркало, — сегодня будет и то и другое. Сегодня они сольются. Как вода и лёд на реке в ледоход — одно переходит в другое, не разберёшь границы.

Она достала из сундука склянку. Тёмного стекла. Переложила в карман — в потайной, нашитый изнутри, у самого сердца, рядом с тем местом, где когда-то носила жёлтый билет. Склянка легла тёплая, послушная. Смерть у сердца.

И чистый стакан — для подмены — завернула в платок, положила в другой карман.

Готово.

Весь день она готовила Настю.

Не открывая целого. По частям. Втёмную.

— Настя, — сказала она утром, расчёсывая ей волосы, ласкаю, как всегда, госпожа рабыню. — Нынче вечером придёт купец. Богатый. Чужой, иркутский. Я хочу, чтоб ты его взяла первой.

— Я? — Настя удивилась, обрадовалась. Она теперь любила гостей, особенно дать кому-нибудь новому. — А вы, Катерина Михайловна? Вы не будете?

— Буду. После тебя. — Маслова провела гребнем по светлым волосам. — Слушай, что надо. Ты его возьмёшь. Разогреешь. А потом — скажешь ему: что он один тут делает, когда весь дом его ждёт, что он может всех девок перебрать, раз богатый, весь бордель. Раззадорь его. Пусть захочет всех. Пусть кричит, что всех перетрахает. Поняла?

— Поняла. — Настя засмеялась. — Это я умею. Мужики это любят — когда им говоришь, что они ого-го, на всех хватит. А так-то и на одну не всегда хватает!

— Умница. А как раззадоришь — веди ко мне. Скажешь: а вот и лучшая, тысячная. И уйдёшь. Я с ним дальше сама.

— А потом?

— А потом я тебя позову. Будет дело. Подать вино купцу. Особое — для мужской силы, чтоб ещё хотел. Я скажу когда. И ещё кое-что — мелочи. Делай, что скажу, не спрашивай. Поняла?

— Поняла, Катерина Михайловна. — Настя смотрела на неё снизу вверх, светлыми, преданными, пустыми глазами. — Я всё сделаю. Что скажете.

Она не спрашивала — что за вино, зачем, почему. Она давно не спрашивала. Она была — руки. Слепые, преданные, умелые руки Масловой. И это берегло её: если возьмут, она чиста, она не знала ничего, дура-подавальщица выполняла, что велела подруга.

Так лучше. Для неё же.

Крутилин пришёл в девятом часу.

Он был — как по заказу. Огромный, краснорожий, с густой русой бородой, в хорошей поддёвке тонкого сукна, в сапогах бутылками, с толстой золотой цепью через брюхо. Пьяный уже с порога — третий день гулял, не просыхая, — но не валящийся, а в той крепкой купеческой стадии, когда человек ещё тверд на ногах, но уже без удержу, без страха, без ума. Буйный. Хвастливый. Швыряющий деньги.

Он ввалился в залу — в полупустую залу, потому что был пост, Чистый понедельник, гостей почти не было, только Очумелов в углу (Женька позвала — свидетель), да двое приказчиков, да проезжий поляк. Крутилин оглядел залу, бабахнул кулаком по столу:

— Где тут у вас тысячная?! Парижский канкан?! Слыхал про вас! Гуляю!

Из бумажника — толстого, Женька не соврала, набитого — он вытащил пачку, бросил на стол половому:

— Шампанского! Всем! Музыку!

Тапёр ударил. Половой побежал за шампанским. Крутилин плюхнулся на диван, раскинулся, обвёл залу хозяйским, пьяным, жадным взглядом.

И тут к нему подсела Настя.

В голубом. Светлая, свежая, с ямочками — она похожа была на Любку, вдруг подумала Маслова, глядя сверху, с лестницы; тоже светлая, тоже с ямочками; но Любка мертва, а эта — живёт, цветёт, работает. — Настя подсела, засмеялась, прижалась, повела плечом так, что голубое сползло.

— А я — Настя, — сказала она. — Я с тобой пойду, купец. Хочешь?

И задрала платье до колена.

Крутилин заржал, сгрёб её, стиснул:

— Хочу! Всех хочу! Пойдём, краля!

Он потащил её наверх. Настя, оглянувшись на Маслову — быстро, преданно, — повела его в комнату.

Маслова ждала.

Она сидела в своей угловой комнате, в чёрном, и ждала. Внизу играл тапёр. Наверху, в комнате Насти, — она слышала сквозь стену — был купец. Хохот. Скрип. Рёв. Настя делала своё — разогревала, раззадоривала, разжигала.

Через час стена донесла то, чего Маслова ждала.

— Всех?! — ревел пьяный купец. — Да я вас всех тут! Весь бардак! Всех девок! Я богатый! Я на ярмарке три тыщи взял! Я вас всех куплю и всех… — дальше шло такое, что Маслова усмехнулась. Настя сделала своё. Купец кричал, что перетрахает весь дом. Громко. На весь коридор. Это слышали — Очумелов внизу слышал, если прислушался, половой слышал, стены слышали. Свидетели. Пьяный буян кричит, что всех перепробует. Потом — когда он умрёт, обойдя трёх, — это ляжет в картину: гулял, перебирал девок одну за другой, надорвался или отравился в разгуле.

Дверь Настиной комнаты хлопнула. Шаги в коридоре. Настин голос, задыхающийся, смеющийся:

— А вот и лучшая! Тысячная! Иди к ней, купец, она — парижская!

Шаги — к её двери. Тяжёлые, пьяные.

Дверь распахнулась.

На пороге стоял Крутилин — полуодетый, в распахнутой рубахе, с голой волосатой грудью, краснорожий, потный, с осоловелыми глазами, качающийся. Огромный. За ним, в коридоре, мелькнуло Настино лицо — и исчезло.

— Ты, что ль, тысячная? — сказал Крутилин, уставившись на Маслову. На чёрное платье. На чёрные волосы. На прядь. — В чёрном? Монашка, что ль? На пост нарядилась?

— Я, — сказала Маслова. И встала. — Входи. Запри дверь.

И сразу начала раздеваться. Под черным платьем у нее ничего не было, кроме черных чулок.

Он взял её грубо, по-купечески, с размаху, как берут всё — девок, товар, жизнь.

Огромный, пьяный, потный, тяжёлый. Он навалился, подмял, вжал в постель. От него несло перегаром, икрой, луком, потом, звериным разгулом. Он мял её, тискал, рычал. Он был — как Привалов, но без приваловской силы-красоты, без той звериной стати. Просто мясо. Пьяное, краснорожее, хвастливое мясо.

И Маслова отдалась ему.

Она лежала под этим грузным, потным, чужим телом — под человеком, которого через час убьёт. Который уже мёртв — только ещё не знает. В кармане её чёрного платья, брошенного на стул, лежала склянка с его смертью. Он мял её, рычал, брал — живой, горячий, сильный, полный жизни, крови, похоти, — а она знала: ты труп. Ты уже труп. Я тебя убью. Вот эти руки, что тебя сейчас обнимают, — через час поднесут тебе смерть. Этот рот, что ты целуешь, — скажет «пей, миленький». Я — твоя смерть. Ты лёг со смертью. Ты трахаешь девку с косой.

И — она почувствовала это, поднимающееся, тёмное, страшное, сладкое, — её это возбудило.

Не он. Он был — мясо, ничто. А вот это — что она знает, а он нет; что он живой и обречённый; что она держит его жизнь в кармане, в тёмной склянке; что эрос и танатос слились сейчас в одно, что она отдаётся тому, кого убьёт, — вот это подняло в ней жар такой, какого не было ни с Приваловым, ни с Нехлюдовым, ни с кем. Жар смерти. Сладость власти над жизнью — последней, полной, абсолютной власти: власти убить.

Она обхватила его ногами — сильными, такими, что не вырвешься, — притянула, впилась. Она двигалась под ним яростно, жадно, со стоном. Она гнала себя — и его — к вершине. И думала, задыхаясь: вот, миленький, вот, последний раз, последняя баба в твоей жизни, насладись, я тебе дарю это напоследок, а потом — чарку, и всё, и холод, и тьма, и ты даже не узнаешь, что это я, что эта баба, под которой ты кончаешь, — твоя смерть.

Она кончила — бурно, долго, с криком, тем самым хриплым звериным криком, — и сама не поняла до конца, отчего. Оттого ли, что тело; оттого ли, что власть; оттого ли, что смерть. Всё слилось. Любовь и убийство. Она кончила — от того, что убивает. И это было страшно, и стыдно, и слаще всего, что она знала.

Крутилин заревел, содрогнулся, навалился всей тушей, тяжёлый, мокрый, довольный.

— Ай да тысячная, — пробормотал он, отваливаясь. — Ай да баба. Чёрная, а горячая. Налей-ка выпить.

— Налью, — сказала Маслова. И встала. Голая, белая, спокойная, она подошла к двери и дёрнула шнурок звонка.

Внизу звякнул колокольчик.

Настя пришла через минуту. С подносом. На подносе — бутылка, стаканы. Как условлено.

Маслова встретила её у двери. Приняла поднос. И — так, чтобы Крутилин, развалившийся на постели, не видел, — быстро, у самой двери, спиной к нему, достала из кармана чёрного платья склянку. Откупорила. Накапала в один стакан — тёмного вина, крепкого, сладкого, которое держали для таких случаев, — десять капель. Двенадцать. Пьяному меньше надо, бабка говорила, — но этот огромный, пусть будет наверняка. Пятнадцать.

Размешала мизинцем. Понюхала — пахло вином, горечь не слышна. Лизнула мизинец — чуть обожгло, занемел кончик языка. В крепком сладком — не почуять. Особенно пьяному.

Настя смотрела — но не поняла. Она видела: Катерина Михайловна капает что-то в вино. «Для мужской силы» — так ей было сказано. Она и приняла за то. Она не знала, что капли из тёмной склянки — это смерть. Руки. Слепые руки.

— Этот — ему, — сказала Маслова тихо, показав Насте отравленный стакан — тот, что с каплями. — Для силы. А этот — чистый — себе возьму. Отнеси ему. Скажи — пей, мол, разом, залпом, для крепости.

Настя взяла отравленный стакан. Понесла к постели. Протянула Крутилину.

— На, купец. Выпей. Для силушки. Разом давай, залпом.

И поставила колено на кровать, чтобы дотянуться.

— А то! — Крутилин сгрёб стакан огромной лапой. — За тебя, краля! И за тысячную! За всех вас, девки! Я вас всех ещё…

Он опрокинул стакан в рот. Залпом. До дна. По-купечески.

Маслова смотрела.

Он проглотил. Крякнул. Поморщился:

— Горчит… Вино-то горчит у вас… Дрянь вино…

— Хорошее вино, — сказала Маслова. — Крепкое. Это трава в нём, для силы. Горчит — значит, забирает.

— А-а, — сказал Крутилин. — Трава. Ну, добро. — Он отёр бороду. — Забирает так забирает. Ну, которая следующая? Ты, что ль, краля, опять? Или новую давай!

Жить ему оставалось — час. Может, полтора.

Дальше всё пошло, как Маслова рассчитала.

Купец, выпивший смерть и не знающий этого, захотел ещё. Он был пьян, буен, хвастлив — и хотел перебрать весь дом, как кричал. Маслова этого и ждала. Теперь надо было увести его — от себя, к Нане, чтобы последней с ним была Нана, чтобы он умер у неё или сразу после.

— Хватит с тебя тысячной на сегодня, — сказала она, одеваясь — в чёрное. — Я дорогая. Иди к другим, коли денег не жаль. Есть у нас одна — Нана. Парижанка. Дёшево возьмёт, а девка огонь. Хочешь парижанку?

- Сиськи во! – показала Настя.

— Парижанку! — обрадовался Крутилин, натягивая штаны. — Давай парижанку! Я богатый! Я всех!

— Настя отведёт, — сказала Маслова. — Настя, отведи купца к Нане. Скажи — гость богатый, пусть ублажит.

Настя повела купца. А Маслова, выйдя следом в коридор, шепнула ей, отведя в сторону, вторую часть дела — втёмную:

— Настя. Как купца к Нане сдашь — сделай ещё. Нана у меня осенью сулему украла, помнишь, из аптечки, тебе рассказывала? Я тогда смолчала. А теперь — верну ей, чтоб совесть мучила, да улику подложу, коли что. — Она сунула Насте в руку склянку с сулемой — настоящей, крепкой, из аптечки Эммы, добытой заранее. — Спрячь это в Наниной комнате. Незаметно. Под тюфяк, в сундучок, куда-нибудь. И вот это. — Она дала пачку денег — часть крутилинского бумажника, который… — но об этом после. — Это тоже к Нане спрячь. Деньги. Чтоб были. Поняла?

— Поняла, — сказала Настя. Не понимая. Склянку — спрятать, деньги — спрятать. Руки. Слепые руки. — А зачем деньги-то?

— Не спрашивай, — сказала Маслова. — Так надо. Сделай — и забудь. Никому ни слова. Даже мне потом не напоминай.

— Хорошо, Катерина Михайловна.

Настя повела купца к Нане. А Маслова вернулась в комнату.

На столе стоял чистый стакан — тот, из которого будто бы пила она, и отравленный — тот, из которого пил Крутилин, с остатком на донышке, с каплями борца. Этот — улику, настоящую, — надо было убрать. Она вылила остаток в ночной горшок, стакан вымыла, вытерла, поставила к чистым. Следа борца не осталось нигде — ни в стакане, ни в бутылке (бутылка

была чистая, капала она прямо в стакан). Если и станут искать — не найдут. А найдут у Наны — сулему. И деньги. И свидетелей.

Чисто.

Она легла.

В чёрном платье — не раздеваясь. На постель, ещё хранившую тепло и запах убитого — живого ещё, но убитого, — купца. Взяла с полки «Капитал». Раскрыла. И стала читать — спокойно, при свече, как будто ничего не было, как будто за стеной, у Наны, не умирал сейчас человек, которому она полтора часа назад поднесла смерть и под которым кончила.

Она читала Маркса. Про прибавочную стоимость. Про то, как из труда делают капитал.

А за стеной, у Наны, сначала был хохот, скрип, рёв — купец взялся за «парижанку», дешёвую, радостную (Нана брала теперь всех, рада была богатому гостю, не зная, что он — отравленный, что он — её смерть, её каторга). Потом — Маслова прислушивалась, не отрываясь от книги, — хохот стал реже. Потом стихло. Потом — другой звук. Возня. Стон — не похотливый, другой. Голос купца, изменившийся:

— Что-то мне… неладно… краля… сердце жмёт… и ноги… ноги не чую… занемели…

Онемение. Холод в конечностях. Начинается.

Маслова читала. Спокойно. Переворачивала страницы.

Голос Наны, встревоженный:

— Что ты, миленький? Перепил? Полежи, отдохни…

— Жжёт… — хрипел купец. — Внутри жжёт… и холодно… бабу позови… плохо мне…

Маслова читала.

Коса делала своё. Борец делал своё. Тихо, как обещала бабка. Онемение, холод, жжёт внутри, сердце заходится. Будто удар. Лекарь не доищется.

За стеной начиналась паника. Нана выскочила в коридор — Маслова слышала босые ноги, — застучала в двери:

— Эй! Кто-нибудь! Купцу плохо! Помогите!

Поднялся дом. Забегали. Кто-то побежал вниз, за Анной Марковной, за Эммой. Кто-то крикнул — доктора, доктора! Очумелов, оказавшийся кстати в зале, затопал наверх.

А Маслова лежала в своей комнате, в чёрном, с «Капиталом», и читала. При свече. Спокойная. Непричастная. Тысячная спит после гостя, устала, ей дела нет до чужого пьяного купца, которому стало дурно у парижанки.

За стеной, у Наны, умирал Крутилин.

Она дочитала страницу. Про то, как капитал высасывает из рабочего прибавочную стоимость, час за часом, до смерти, а потом берёт нового.

И подумала, переворачивая лист: вот и ещё одна прибавочная стоимость. Три тысячи с ярмарки, что он взял — не сам взял, а из чужого труда, из мужицкого хлеба, что скупил задёшево и продал задорого, из чужого пота и голода. Эти три тысячи — краденые, как всё у них краденое. И теперь они вернутся — в кассу, на дело, на суд. Краденое — к тому, кто взыскивает. По справедливости.

Купца — за Любку. Деньги — на всех Любок. Нану — на каторгу, за донос. Головина — под уздцы. Всё — одним глотком вина, который он опрокинул залпом, по-купечески.

За стеной захрипело. Потом — тишина. Потом — вой Наны, бабий, в голос:

— Помер! Помер купец! Ой, что ж это! Ой, не я! Я не виновата-а!

Маслова закрыла «Капитал».

Посмотрела на свечу.

Фараон потоплен, подумала она. Чистый понедельник. Первый день поста. Первый суд.

И — она прислушалась к себе — не было ни страха, ни раскаяния, ни даже торжества. Было спокойствие. Глубокое, ровное, холодное спокойствие сделанного дела. И где-то, глубоко, под спокойствием, ещё не остывший, ещё тлеющий — тот тёмный сладкий жар. Жар смерти.

Он убил — и ей было сладко. Бабка права. Один раз дашь — другой захочешь. Она уже знала, что захочет.

Коса привыкала к покосу.

За окном — она встала, подошла, распахнула ставни — за окном стояла ночь. Морозная ещё, но с капелью, с талой водой, с запахом близкой весны. На горе медленно, одиноко, постно ударил колокол — к полунощнице, к первой постовой службе. Один удар. И долгая тишина.

А на Томи — она прислушалась, не веря, — на Томи что-то треснуло. Далеко. Протяжно. Будто застонал кто огромный подо льдом.

Лёд тронулся.

Половодье.

За стеной выла Нана над мёртвым купцом. Внизу топал Очумелов. Бежали за доктором, за полицией. Начиналось.

А Маслова стояла у открытого окна, в чёрном, слушала постный колокол и треск трогающегося льда, и внутри у неё было спокойно и сладко, и она знала: это только начало. Купец — первый. Нана — следующая. Дом — за ней. Потом — гора. Потом — всё.

Конь бледный тронулся. И ад следовал за ним.



Глава 7. Половодье

Пал, пал Вавилон, великая блудница.

Откровение, 18:2

7.1. Арест

Купца нашли мёртвым на рассвете, в комнате Наны.

К утру лёд на Томи шёл уже сплошь — грохотал, ломался, лез льдина на льдину, и этот гул, тяжёлый, непрерывный, стоял над всем Болотом, над всем городом, заглушая даже постный колокол. Половодье. Река вставала дыбом, рушилась, несла лёд на север, к Оби. А в доме на Болоте, во втором от моста, с зелёными ставнями, в это утро рушилось своё.

Крутилин лежал на Наниной постели — огромный, краснорожий при жизни, а теперь серо-жёлтый, с открытым ртом, с остановившимися глазами, навыкате. Простыни скручены — он метался перед концом. Лицо искажено — не ужасом, а удивлением: он так и не понял, что с ним. Рядом, на полу, в углу, сжавшись, с распущенными чёрными волосами, с размазанными румянами, в одной сорочке, сидела Нана и выла — тонко, безнадёжно, по-звериному.

— Не я, — выла она. — Не я-а… он сам… сам помер… перепил… не я-а…

Маслова спустилась, когда уже собрался весь дом.

Она сошла спокойно — в чёрном платье, бледная, с заспанным лицом, как сходит человек, разбуженный шумом и не понимающий, что стряслось. В коридоре у Наниной двери толпились девушки — в рубахах, простоволосые, перепуганные, крестящиеся. Эмма Эдуардовна — сухая, прямая, уже одетая, уже со связкой ключей, — стояла у притолоки, и лицо у неё было непроницаемое, деловое, считающее. Анна Марковна, в чепце, в наспех накинутой шали, металась, причитала, хваталась за сердце, за голову, за образа:

— Ох, беда, беда, смертоубийство в доме, разорение, Господи, за что, Пресвятая Богородица, спаси и сохрани…

Для неё это было — разорение. Убийство в заведении. Следствие, полиция, закрытие, позор, убыток. Она ещё не знала, что это только начало, что это первый камень лавины, которая снесёт всё.

Маслова протиснулась к двери. Заглянула. Увидела купца — серо-жёлтого, с остановившимися глазами. Того, под кем кончала восемь часов назад. Того, кому поднесла смерть своей рукой.

Она посмотрела на него — спокойно, без дрожи. Мёртвое тело. Мясо, которое вчера было мясом живым, хвастливым, краснорожим, кричавшим «я вас всех». Теперь — просто мясо. Холодное. Физика. Рефлексы кончились.

Фараон потоплен.

Она не почувствовала ничего — ни страха, ни раскаяния, ни даже вчерашнего тёмного жара. Только холодное спокойствие сделанного дела и ясную, быструю работу ума: теперь — по порядку, по плану, не сбиться.

— Что это? — спросила она, будто не зная.

— Купец помер! — заголосила Анна Марковна. — У Нанки! Ночью! Ой, что теперь будет!

— Доктора звали? Полицию?

— Послали, послали…

— Денег у него при себе сколько было? — спросила Маслова. Негромко, деловито. — У него бумажник толстый был, половые видели, хвастался — три тысячи с ярмарки.

Все замолчали. Про деньги никто не подумал в суматохе. А Маслова подумала — вслух, нарочно, чтобы заронить:

— Убитый — с деньгами. А денег-то при нём есть ли? Поглядите.

Эмма Эдуардовна первой поняла, куда клонит. Она деловито шагнула к постели, обшарила одежду купца, брошенную на стул, — поддёвку, штаны.

— Бумажник есть, — сказала она. — Пустой. Несколько рублей мелочью. А тысяч — нету.

Шёпот прошёл по девушкам. Нана в углу выла.

— Пустой, — повторила Маслова громко, так, чтобы все слышали, запомнили, чтобы это легло в память дома прежде, чем приедет полиция. — Был с деньгами — а бумажник пустой. Значит, не сам помер. Значит — ограбили. А коли ограбили — и отравить могли. Для денег.

Она сказала это — и замолчала. Семя брошено. Теперь оно прорастёт само, в головах, в пересудах, и к приезду полиции все уже будут знать: купца ограбили и отравили, у Наны, за деньги. А деньги — часть их — уже лежат, подброшенные Настей ночью, у Наны в сундучке. И сулема — там же.

Нана подняла голову. Посмотрела на Маслову — сквозь слёзы, сквозь размазанные румяна. И в её залитых глазах мелькнуло что-то — догадка, ужас.

— Это ты, — прошептала она. Ещё тихо. Ещё не веря. — Это ты, сука…

Маслова не ответила. Отвернулась.

Карл Фёдорович приехал к восьми. Очумелов — с ним.

Доктор вошёл — недовольный, заспанный, в пальто поверх домашнего, — осмотрел тело. Послушал, оттянул веко, пощупал, понюхал рот. Лицо у него было профессиональное, скучающее. Он повидал мёртвых купцов. Пьяный гулял, перепил, сердце не выдержало — обычное дело.

— Апоплексия, — сказал он, выпрямляясь. — Удар. Перепил, перетрудился в разгуле — сердце и стало. Пишу «паралич сердца». — Он достал бумагу, перо. — Дело житейское. Хоронить можно.

Он собирался написать «удар» — ровно то, что и должен был написать, что и предсказывал профессор: рядовой врач при аконитине напишет «удар». И дело закроется, спишут на разгул, никакого убийства, никакого следствия, никакой Наны на каторге.

Это Маслову не устраивало. Ей нужно было дело об убийстве. С виновной. С Наной.

Она подошла к доктору. Отвела в сторону — к окну, где грохотал за стеклом ледоход. И сказала тихо, только ему:

— Карл Фёдорович. Напишите «отравление».

Он посмотрел на неё поверх пенсне. Удивлённо.

— С чего отравление? Удар это. Я вижу — удар.

— Напишите «отравление», — повторила Маслова. — И что отравили сулемой. — Она посмотрела ему в глаза. — Иначе, Карл Фёдорович, я вспомню, как вы при живой Любке написали «горячка». И как вам Анна Марковна платит, чтоб вы «не замечали». И как вы к умирающему Симонсону приехали на четвёртый день, когда уплачено было за первый. У меня, Карл Фёдорович, всё записано. В тетрадочке. С числами и суммами. Хотите, чтоб эта тетрадочка попала к губернатору? Или в газету к Макушину?

Карл Фёдорович побледнел. Пенсне блеснуло.

— Это… это подлог… вы заставляете меня написать ложь…

— Я прошу написать правду, — сказала Маслова. — Купца отравили. Это правда. Сулемой — ну, почти правда, сулему найдут. У Наны. Это тоже найдут — правда. А что вы напишете «удар» и отпустите убийцу — вот это будет ложь. И грех. А вы человек учёный, вам грешить не к лицу.

Он смотрел на неё — с ненавистью, со страхом, бессильный. Как смотрел Порфирий Владимирыч. Как смотрели все, кого она брала за горло.

— Вы… — прошептал он. — Вы чудовище.

— Пишите, — сказала Маслова.

Карл Фёдорович взял перо. И написал — рука дрожала — не «удар», а: «Признаки отравления. Предположительно — сулема (ртутный препарат). Требуется обыск и дознание».

Подпись. К. Ф.

Дело об убийстве было открыто. Его же рукой.

Обыск у Наны сделал Очумелов — рьяно, с удовольствием, надувшись от важности. Убийство в доме, ограбление, он — при деле, он — ведёт, он почти следователь. Он перерыл Нанину комнату — и нашёл.

В сундучке, под бельём, — склянку с сулемой. Крепкой, из аптечки Эммы, подброшенную Настей ночью.

Там же — пачку денег. Крупных. Из крутилинского бумажника, подброшенную Настей.

— Вот! — заревел Очумелов, торжествуя, потрясая находками. — Вот! Яд! И деньги убитого! Отравила и ограбила! Вот она, убийца!

Нана смотрела на склянку, на деньги — и не понимала. Сначала не понимала. Потом — поняла. Поняла всё разом: и сулему (её, Нанину, оружие, которым она травила Маслову, — теперь это оружие топило её), и деньги, и весь механизм. Поняла, кто. Как. За что.

Она вскочила. Кинулась — не на Очумелова, не на полицию. На Маслову. С ногтями, с воем:

— Это она-а! Она, тварь! Отравительница! Это она его убила, она деньги взяла, она мне подкинула! Она, тысячная! Спросите её! Она травит, она в Москве купца отравила, она и этого! А меня топит! За то, что я… за то, что я про неё…

Её оттащили. Она билась, кричала, выдавала — про донос, про жандармов, про чёрную тетрадь, про всё, что знала:

— Она на всех записи ведёт! Тетрадь чёрная! Спросите! Она с политическими! Я жандармам сказала, я знаю! Она меня за это! Ищите тетрадь! Всё узнаете!

Маслова стояла спокойно. Бледная, в чёрном, скорбная. И когда Нана выкрикнула про жандармов, про донос, — Маслова только опустила глаза, скорбно, как опускает глаза оклеветанный праведник.

Очумелов махнул рукой:

— Молчи, убийца! Знаем вас. Все вы на честных людей валите, как попадётесь. Яд у тебя нашли? У тебя. Деньги у тебя? У тебя. Купец у тебя помер? У тебя. Вот и весь сказ. А на тысячную не вали — тысячная всю ночь у себя спала, после гостя, люди видели. — Он покосился на Маслову уважительно, преданно. — Катерина Михайловна — дама известная, тихая. А ты — варначка рижская, прачкина дочь, уж ты нам голову не морочь.

Вот оно. Сработало. Нана кричала правду — чистую правду, всё как есть, — и именно потому ей не верили. Убийца, пойманная с ядом и деньгами, валит на другую, на «известную тихую даму», плетёт про какие-то тетради, про жандармов, — обычное дело, все так делают, когда попадутся. Правда в устах пойманной убийцы звучала как жалкая ложь.

Легенда отравительницы, которую Нана же и раздувала осенью («она купца в Москве отравила!»), — теперь работала наоборот: да, Маслову когда-то судили за отравление, но оправдали, помиловали, она жертва судебной ошибки, страдалица, а вот Нана — настоящая, вот с ядом поймана. Тень прошлого легла не на Маслову — на Нану.

Нану уводили. В последний раз — у двери, когда её волокли, растрёпанную, воющую, — она обернулась и посмотрела на Маслову. Уже без крика. Молча. Долгим, страшным, всё понимающим взглядом.

И Маслова выдержала этот взгляд. Спокойно. Не отвела глаз.

Они смотрели друг на друга — две женщины, две соперницы, полгода воевавшие. Одна — победившая, в чёрном, свободная, с кассой и тетрадью. Другая — побеждённая, в сорочке, с заломленными руками, идущая на каторгу за чужое убийство.

«В следующий раз бери три щепотки», — сказала Маслова осенью, когда Нана пыталась её отравить сулемой.

Теперь сулема утопила Нану. Её же оружие. Её же метод. Её же яд.

Нана не сказала ничего. Только посмотрела — и в этом взгляде было всё: и ненависть, и ужас, и — странно — что-то вроде уважения. Признание побеждённого. Ты сильнее. Ты страшнее. Ты победила.

Её увели. Вой стих в коридоре, на лестнице, во дворе. Потом — только грохот ледохода за стенами.

Маслова поднялась к себе.

Заперла дверь. Подошла к окну. За окном Томь шла дыбом — лёд ломался, громоздился, рушился, нёсся на север огромными белыми плитами, и чёрная вода хлестала между ними. Половодье. Река, скованная с ноября, прорвала лёд и неслась, сметая всё.

Как она.

Первый удар нанесён. Купец мёртв — Любка отомщена, деньги взяты. Нана арестована — донос обесценен, соперница на каторге. Карл Фёдорович — повязан, написал своей рукой. Очумелов — рьяно ведёт дело по нужному руслу. Всё по плану. Чисто. Гладко.

Слишком гладко, подумала она вдруг. И эта мысль кольнула — первый раз. Слишком всё сходится. Так не бывает. Где-то — сбой. Где-то — трещина. Она ещё не видела где. Но чуяла — как чуют перед грозой.

Она отогнала это. Рано. Пока — по плану. Дальше — Головин. Потом — касса, книга, огонь.

Она отошла от окна. Села к столу. Достала чёрную тетрадь — ту, про которую сейчас кричала Нана, про которую знают жандармы. Опасную. Улику.

Нана прокричала про неё на весь дом. При Очумелове, при полиции, при девушках. «Ищите тетрадь! Чёрная! На всех записи!»

Теперь тетрадь надо было прятать всерьёз. Немедленно. Пока не пришли с обыском — не к Нане, к ней.

Но прежде — одно дело.

Она раскрыла тетрадь. Нашла страницу «Нана (Анна Берзиня)». Перечитала: сулема в чай, донос, Головин. И приписала внизу, последней строкой, спокойно, твёрдо:

Чистый понедельник. Купец Крутилин — борец. Деньги в кассу (часть — Нане подброшена). Нана арестована за отравление и ограбление. Сулема (её же) — улика. Донос её теперь — бред убийцы, не верят.

Фараон потоплен. Амалик — наполовину.

Первый суд свершён.

Она посмотрела на эту строчку. «Первый суд свершён.» Полгода назад, в пасхальную ночь, на погосте, она поклялась: «буду судить живых и мёртвых». Тогда это было — слово, туман, огромное и пустое. Теперь — свершилось. Первый приговор приведён в исполнение. Своей рукой. Купец — казнён. Нана — осуждена.

Судья стала палачом.

И — она прислушалась к себе — не было раскаяния. Было спокойствие глубокой воды подо льдом. И где-то, на самом дне, не остывший уголёк вчерашнего жара.

За окном грохотал ледоход.

Пал, пал Вавилон, подумала она, глядя на несущийся лёд. Начал падать. Это только лёд тронулся. Дальше — половодье. Дальше — всё снесёт.

Она закрыла тетрадь. Надо было спрятать её — сейчас, немедленно. И идти к Головину. Лавина тронулась — её нельзя было останавливать.

7.2. Головин

К Головину она пошла сама. На третий день после ареста.

Не в суд, не в присутствие — домой, вечером, в сумерках. Это было дерзко до безумия: поселенка, бывшая проститутка, по которой самой ведётся жандармское дознание, приходит на дом к товарищу прокурора, который это дознание и затеял. Но в дерзости и была сила. Головин ждал удара откуда угодно — доноса на себя, скандала, бумаги, — но не того, что обвиняемая придёт к нему сама, в его собственный дом, и сядет напротив.

Жил он на горе, на тихой улице, в казённоватом чиновничьем доме с геранями на окнах. Жена, та самая «испанка» с маскарада, была у всенощной — Великий пост, говели. Головин был один, в халате, в кабинете, с лампой, с бумагами. Горничная доложила: дама в чёрном, по важному делу, назваться не желает.

Он вышел. Увидел её. И побелел.

Он узнал её сразу — хотя видел-то толком только в борделе да в маске на балу. Он узнал её нутром — как узнают того, кого боятся. Чёрная дама. Смерть на балу. Тысячная. Та, что знает его грехи. Та, про которую кричала арестованная Нана. Та, за кем он пустил жандармов.

— Вы… — проговорил он. — Как вы смеете… ко мне… в дом…

— Отпустите горничную, Иван Ильич, — сказала Маслова спокойно, садясь в кресло без приглашения. — Разговор не для чужих ушей. И вам, и мне.

Он смотрел на неё. Потом — сам не зная почему, подчиняясь той силе, что исходила от неё, — велел горничной идти спать. Запер дверь кабинета. И остался с ней один.

Это был поединок. Прокурор и подсудимая. Только подсудимая вела.

Он попробовал сначала — сверху. По-прокурорски.

— Вы понимаете, где вы? — сказал он, стараясь говорить твёрдо, но голос подводил. — Вы — под дознанием. По делу политическому. Я знаю о вас всё. Чёрная тетрадь, где вы собираете на людей порочащие сведения. Связи с государственными преступниками — ссыльный Соломин, его кружок, запрещённая литература. Я знаю, что вы читаете Маркса, Бакунина. Это каторга, сударыня. Это Кара. А вы приходите ко мне в дом — грозить? Да я вас сейчас же…

— Что — сейчас же? — спросила Маслова. — Арестуете? Ночью, у себя в кабинете, даму, пришедшую к вам в гости? А завтра весь Томск будет знать, что товарищ прокурора принимает по ночам женщин с Болота. Жена ваша — испанка — узнает. Та, что сейчас у всенощной. Грехи замаливает — ваши, может, и свои. — Она усмехнулась. — Нет, Иван Ильич. Вы меня не арестуете. Вы меня выслушаете.

Он молчал.

— Я знаю про вас всё, — продолжала Маслова, — не меньше, чем вы про меня. Больше. У меня, Иван Ильич, не слухи — у меня записано. С числами. С суммами. Вот, к примеру. — Она стала перечислять — ровно, спокойно, как читают опись. — Дело купца Рыжова, позапрошлый год. Родня дала вам, чтоб вы обвинение смягчили. Вы смягчили. Сумму назвать? Три тысячи. Через стряпчего Кондратьева, в номерах «Европы». — Головин дёрнулся. — Дальше. Вы ходили в дом Анны Марковны. По вторникам. К Нане — к той самой, что теперь по вашему же делу пойдёт на каторгу. Вы с ней не только… вы ей болтали — что в суде готовится. А она — Анне Марковне, для дела. Вы, товарищ прокурора, выдавали содержательнице притона судебные тайны. В постели. Это как называется, Иван Ильич? По какой статье?

Головин сидел серый. Руки на подлокотниках дрожали.

— Дальше, — сказала Маслова. — Маскарад у вдовы Бахтиаровой, на святках. Я вам тогда, в маске, всё это и сказала. Вы не спали потом. Искали — кто. А это была я. Да, я. Чёрная дама. Смерть на балу. — Она наклонилась вперёд. — Я вас, Иван Ильич, уже судила. Тогда. На балу. Это была репетиция. А теперь — слушайте приговор.

— Вы завели на меня дело, — сказала она. — Политическое. По доносу Наны. Хотите упечь на Кару — за тетрадь, за кружок, за Маркса. Так?

Головин молчал. Но это было «да».

— А теперь подумайте, Иван Ильич. Головой. Вы же юрист, у вас голова есть, не то что у Очумелова. — Маслова говорила медленно, вкладывая каждое слово. — Донёсла на меня — Нана. Так? А Нана теперь — кто? Арестованная. Отравительница. Убийца, пойманная с ядом и деньгами убитого. По вашему же делу пойдёт на каторгу. Так вот: чего стоит донос убийцы? Пойманной с поличным? Которая, попавшись, валит на всех вокруг — на меня, на вас, на кого угодно, лишь бы себя выгородить? Грош цена такому доносу, Иван Ильич. Вы сами на суде первый скажете: показания обвиняемой в убийстве, оговаривающей других, — ничтожны. Вы это тысячу раз говорили. Значит — и донос её на меня ничтожен. Дело моё — рассыпается. Само. Потому что единственный доносчик — убийца на скамье.

Головин слушал. И в глазах его медленно проступало понимание — и облегчение, и ужас одновременно.

— Но это ещё не всё, — сказала Маслова. — Это только если вы умный. А если вы глупый — если вы всё же дадите ход делу против меня, станете раскручивать тетрадь, кружок, — то что всплывёт? Всплывёт, что донос подала Нана. А кто такая Нана? Ваша любовница по вторникам. Та, кому вы выдавали судебные тайны. Начнут копать — и выйдет на свет вся ваша связь с притоном. Рыжовское дело. Взятки. Всё. Вы же сами, своими руками, раскрутите верёвку на собственную шею. Хотите? Нет. Не хотите.

Она откинулась в кресле.

— А теперь — как надо. По-умному. Нана — убийца. Одна. Отравила купца, ограбила. Ни политики, ни тетрадей, ни доносов — ничего. Просто убийство из корысти. Вы раскрываете его — быстро, чисто, блестяще. Громкое дело: приезжего купца отравили в притоне, убийца поймана с ядом и деньгами. Вам — слава. Повышение. Губернатор доволен, в Петербург представление. А дело политическое — про меня, про тетрадь — вы тихо закрываете. За недостатком улик. Доносчик, мол, оказался убийцей, показания ничтожны. И всё. И вы чисты, и в чинах, и я вас не трогаю. Тетрадь моя — про вас — ложится на дно и лежит тихо. Пока вы ведёте себя умно. А за Россию вашу не бойтесь, я читаю — что хочу читаю. В жизни желаю разобраться.

Головин смотрел на неё. Долго.

— А если я… — проговорил он, — если я всё же… обе ниточки… и вас, и Нану…

— Тогда, — сказала Маслова, — тетрадь попадёт к губернатору. И в газету Макушину. И жене вашей. Всё — Рыжов, Нана, судебные тайны. В один день. Я уж позаботилась — есть у меня люди, у которых копии, на случай, если со мной что. — Это была ложь, копий не было, но он не мог проверить. — Возьмёте меня — и сами утонете. Со мной вместе. Подумайте, Иван Ильич: вам нужнее — упрятать одну тысячную, рискнув всем, или стать героем, раскрывшим убийство, и жить спокойно? Выбор-то простой.

Головин встал. Прошёлся по кабинету. Остановился у окна — за окном, внизу, под горой, грохотал ледоход, нёс лёд по чёрной воде.

Он был умён — Маслова не ошиблась в нём. Он быстро сосчитал. Как считал всегда — выгоду, риск, свою шкуру. И вышло ему: держать Нану виновной, закрыть дело о политике, стать героем. Всё против неё, тысячной, — себе дороже. Она переиграла его. Обложила со всех сторон. Донос обесценила — арестовав доносчицу; угрозу подвесила — компроматом; выход предложила выгодный — славу и спокойствие.

Он обернулся. Лицо у него было — побеждённое. Как у Нехлюдова. Как у всех, кого она брала.

— Кто вы? — спросил он тихо. — Откуда вы такая? Вы… вы страшнее всех, кого я судил. Вы бы… вы бы прокурором были, цены бы вам не было. Или… — Он не договорил.

— Или кем? — спросила Маслова.

— Или на виселице, — сказал Головин. — Рано или поздно. Такие, как вы, Екатерина Михайловна, кончают либо наверху, либо на виселице. Середины нет.

— Знаю, — сказала Маслова. И встала. — Значит, договорились? Нана — убийца, одна. Дело о политике — закрыто. Я вас не трогаю, вы — меня.

Головин помолчал. Потом кивнул. Медленно.

— Договорились, — сказал он. Глухо. — Будь по-вашему. Нана пойдёт одна. А вас… вас я не видел. Вы ко мне не приходили.

— Разумеется, — сказала Маслова. — Я вас тоже не видела. Я всю ночь дома. После гостя. Люди подтвердят.

Она пошла к двери. У двери обернулась.

— И ещё, Иван Ильич. Жандармов — отзовите. Того, что у моста с газетой вверх ногами. Мне он надоел. Скажите — политического следа нет, доносчик оказался убийцей, дело пустое. Чтоб к Пасхе духу их не было.

— Хорошо, — сказал Головин.

— Вот и славно. — Маслова улыбнулась. — Доброй ночи. Жене поклон. Испанке.

И вышла.

Головин долго стоял посреди кабинета.

Потом сел к столу. К бумагам. Перед ним лежало начатое дознание — по политическому делу, по доносу Наны: о чёрной тетради, о связях тысячной со ссыльными, о запрещённой литературе. Дело, которое могло отправить её на Кару.

Он смотрел на эти бумаги. Долго.

Потом взял их — все листы — и сунул в печь. Поджёг от лампы. Смотрел, как горят. Как корчится, чернеет, обугливается бумага. Как обращается в пепел дело, которое он вёл.

Он сжёг его — своими руками. Потому что так было выгоднее. Потому что она его переиграла. Потому что он выбрал — славу и шкуру — против правды.

А правда была: тысячная с Болота — отравительница, убийца, фанатичная социалистка, которая только что своей рукой убила человека и упекла невинную (ну, не невинную — Нана была дрянью, однако в этом убийстве невиновной) на каторгу. Правда была у него в руках. И он сжёг её. За выгоду.

Так работала гора. Так она всегда работала. Он был — звено цепи. И героиня знала, где это звено слабое: в своекорыстии. Она не воевала с горой силой — силы у неё не было. Она пользовалась тем, из чего гора состояла: страхом, жадностью, своекорыстием каждого её звена. Головин сжёг дело не потому, что она его заставила силой, — а потому, что ему самому так было выгоднее. Она просто показала ему его выгоду. И он сам сделал всё.

Вот как судят гору, думала Маслова, спускаясь в сумерках с горы, к Болоту, под грохот ледохода. Не силой. Гора сильнее. А тем, что гора гнилая. Каждый камень её держится за свою шкуру и за свой карман. Ткни в это — и камни сами начнут выворачиваться. Головин сам сжёг дело. Карл Фёдорович сам написал ложь. Очумелов сам нашёл подброшенное. Эмма сама чистит книги. Нехлюдов сам приносит деньги в кассу. Я их не заставляю — я показываю им их выгоду, их страх, их похоть. И они делают всё сами. Я только дёргаю за ниточки, которые у них уже есть.

Это было страшное знание. Страшнее яда, страшнее огня. Знание о том, из чего сделаны люди. Что всех можно взять — за страх, за жадность, за похоть, за тщеславие. Что праведников нет. Что гора держится не на силе, а на подлости, и подлостью же рушится.

Соломин верил в народ. Рахметов — в партию. Маркс — в историю. А она не верила ни во что — и потому видела всех насквозь. И потому была сильнее их всех.

Дома она записала в чёрную тетрадь:

Головин взят. Пришла к нему сама, домой. Донос обесценен (Нана-убийца, показания ничтожны). Компромат (Рыжов, судебные тайны Нане, маскарад). Выход предложен: Нана — одна, дело о политике — закрыть, он — герой. Согласился. Сам сжёг дознание.

Жандармов отзовёт. Слежки к Пасхе не будет.

Второй узел развязан.

Гору берут не силой — подлостью. Каждый камень держится за шкуру и карман. Ткни — сами выворачиваются. Я не заставляю — показываю выгоду. Они делают сами.

Праведников нет. Потому я сильнее всех. Я одна ни во что не верю — и всех вижу.

Она отложила перо. Посмотрела на строчку: «Праведников нет.»

И вдруг — та тонкая трещина, волосок, что тлела со вчерашнего, с нехлюдовского «ты в аду», — дрогнула. Потому что мелькнуло: а Соломин? А Любка? А Женька, которая идёт на смерть не за деньги, а за дело? Есть же. Не праведники — но есть не гнилые. Есть те, кого не возьмёшь за шкуру и карман, потому что им на шкуру и карман наплевать.

И есть та, кому она сама, Маслова, показывала выгоду, похоть, страх, — и кто делал всё сама. Настя. Которую она развратила, «показав ей выгоду» её тела. Которая теперь — руки, слепые руки, подбросившие яд и деньги.

Я их всех беру за гнилое, подумала она. А кого нельзя взять за гнилое — того беру за чистое. Нехлюдова — за совесть. Соломина — за веру. Настю — за преданность, за любовь. Я беру всех — и гнилых, и чистых. Гнилых — за гниль, чистых — за чистоту. Я хуже горы. Гора берёт только гнилью. А я — и гнилью, и чистотой. Я всё обращаю в оружие — и подлость, и любовь.

Трещина разошлась — шире, чем вчера.

Она заделала её — но уже с трудом. Уже не так гладко. Нехлюдов сказал: ты в аду. Головин сказал: кончите на виселице. Бабка сказала: ты косая. Все говорят ей одно. И она начинает — медленно, против воли — слышать.

Но — поздно, сказала она себе. Лавина тронулась. Купец мёртв, Нана на каторге, Головин повязан. Дальше — касса, книга, огонь. Остановиться нельзя. Половодье не останавливают.

Она закрыла тетрадь.

За окном грохотал ледоход.

Второй узел развязан. Оставалось — деньги, книга, огонь.

7.3. Касса

После ареста Наны дом был уже не дом.

Следствие, полиция, пересуды, страх — заведение Анны Марковны стало местом, которое обходили. Гостей почти не стало: кому охота гулять там, где только что отравили купца и откуда увели убийцу? Чистая публика — чиновники, купцы с положением — испарилась первой. Остались самые тёмные, самые пьяные, да и тех было мало. Анна Марковна металась, причитала, ставила свечки, но выручка упала до того, что едва хватало на стол.

Дом умирал. Ещё до огня — уже умирал. И это было на руку.

Потому что в суматохе следствия, когда всем было не до того, когда Анна Марковна тряслась за своё заведение, а Эмма тихо готовилась выходить, — Маслова вскрыла кассу и начала выкупать девушек. Уже не по одной, тайком, под видом побегов. Разом. Открыто. Пока никто не смотрел.

Касса была полна как никогда.

Она подвела итог ночью, при двух свечах, над синей тетрадью. Накопленное за год — Нехлюдовские сотни, Паратовские полусотни, её доля, приплод от гостей. Почти три тысячи. И — деньги Крутилина. Купеческий бумажник: три тысячи с ярмарки, за вычетом того, что подброшено Нане для улики. Две с половиной тысячи — чистыми, в кассу.

Пять с половиной тысяч рублей.

Она смотрела на эту цифру и думала: вот. Вот цена. Пять с половиной тысяч — за год блуда, за растоптанного Нехлюдова, за развращённую Настю, за отравленного купца, за Нану на каторге. Пять с половиной тысяч — краденых денег, отнятых у горы, собранных телом, хитростью, ядом. На дело.

Деньги Крутилина она держала отдельно — в уме, в совести, если она у неё была. Это были не просто деньги. Это были первые деньги, добытые кровью. Прямо. Убийством. Остальное — блудом, шантажом, обманом, — но не прямым убийством. А эти — кровавые. Крутилинские.

И она подумала, глядя на них: вот с них всё и начнётся. По-настоящему. Экспроприация — так это назовут потом, в партии, которой ещё нет. Отнять у грабителя награбленное. Купец грабил мужиков — скупал задёшево хлеб у голодных, продавал задорого. Его деньги — краденые. Она отняла краденое — и пустит на дело, на суд, на революцию. Это не воровство. Это восстановление справедливости. Первая экспроприация. Первый кровавый рубль на кровавое дело.

Так она себе сказала. И записала в клеёнчатую тетрадь, не в синюю:

Крутилинские деньги — 2500. Первые кровавые. На дело. Экспроприация: отнять у грабителя награбленное. С них — всё начнётся.

Выкуп пошёл быстро.

Через Эмму — она теперь работала в открытую, за свои двенадцать процентов, и сама торопилась: дом умирал, надо было успеть получить своё и выйти чистой. Долговые книжки раскрывались одна за другой. Долг — погашен. Отпущена. Долг — погашен. Отпущена.

Девушки уходили — ошеломлённые, не верящие. Им говорили: ты свободна, долг выкуплен, иди на все четыре стороны. Они плакали, крестились, кланялись. Кто — в деревню, к родне. Кто — замуж, если было за кого. Кто — в прислуги, в швеи, начать сначала. А кто — Маслова знала это, и это было горько — кто вернётся в другой дом, потому что больше не умеет иначе, потому что воля страшнее неволи для того, кого сломали.

Это было то, о чём говорил Герцен. Молох. Она выкупала их — ради идеи, ради того, чтобы «этого больше не было», — а живым девкам от воли было то лучше, то хуже. Одной —

спасение, другой — гибель вернее, чем в доме. Она давала им свободу, которой не все могли воспользоваться.

Но она давала. Это было больше, чем делал кто-либо. Больше, чем Вера Павловна с её одной мастерской. Больше, чем Нехлюдов с его кассой «для падших». Она выкупала весь дом. Разом. На кровавые деньги.

Одну она выкупила особо. Дуняшину товарку, рябую Глашу, у которой в деревне остался ребёнок, отданный бабке на вскорм. Маслова дала ей сверх выкупа — сто рублей, на ребёнка, на хозяйство. Глаша выла, целовала руки, звала благодетельницей, святой.

Святой. Маслова усмехнулась про себя. Я не святая, Глаша. Я эти сто рублей отравленному купцу из кармана вынула. На, неси своему дитю кровавые деньги. Пусть растёт на них. Может, вырастет человеком. А может — ещё одним камнем горы. Как знать.

Женька держалась.

Она дала показания — в тот же день, как арестовали Нану. Твёрдо, спокойно, страшно убедительно. «Видела, как Нана с купцом последняя была. Видела, как Нана из аптечки сулему брала — осенью ещё, я приметила. Видела, как Нана эту тысячную — Маслову — травить хотела, тоже сулемой, в чай сыпала, да не вышло. Злая она, Нана, давно на дом зуб точила. И на купца польстилась — деньги большие».

Половину этого было правдой. Нана действительно брала сулему, действительно травила Маслову, действительно была злая. Женька только добавила про купца и про «последняя была» — ложь, вплетённая в правду так, что не отличить. И ей верили. Старожилка, шесть лет в доме, с чего ей врать.

Но показания дались ей тяжело. Следователь, Очумелов, потом опять следователь — её таскали, допрашивали, она кашляла кровью на допросах, бледнела, но держалась. Своё дело делала. Как солдат.

— Как ты? — спросила Маслова ночью, за чаем.

— Доделаю — и помру, — сказала Женька спокойно. Усмехнулась. — Нану утопила. Теперь дом сжечь — и всё. На большее меня не хватит. Чую — недолго. Кровь уж горлом иногда. — Она затянулась папиросой, закашлялась, сплюнула тёмное в платок. — Ты, Катя, не тяни с домом-то. А то не доживу до пожара. А я хочу сама. Спичку. Своей рукой. Ты обещала.

— Скоро, Женя, — сказала Маслова. — Касса вскрыта, девок почти всех выпустила. Осталось — книгу взять, да день выбрать. На Пасху, думаю, или сразу после. Доживёшь. Спичку поднесёшь.

— Доживу, — сказала Женька. — До этого доживу. Я себе срок дала — до пожара. А там уж можно.

Она смотрела в окно, на ледоход, на несущуюся воду, и лицо её — злое, резкое, скуластое, красивое той страшной красотой, которую видела только Маслова, — было спокойно. Покойница, выговорившая себе отсрочку до дела. До последнего дела. А потом — можно.

Маслова смотрела на неё и думала: вот она — не гнилая. Женьку не возьмёшь за шкуру и карман. Ей на них наплевать. Она идёт на смерть — не за деньги, не за страх, а за то, чтоб не зря, чтоб хлопнуть дверью. Женька — чистая. По-своему, по-страшному — чистая.

И её я тоже использую, подумала Маслова, и трещина-волосок дрогнула. Женька — солдат, свидетель, поджигатель. Я её трачу — как патрон. Она сама просит, чтоб истратили, — но я трачу. Умирающую. На своё дело.

Она отогнала это. Женька сама выбрала. Женька хочет так. Это не Молох — это её воля.

Но волосок остался.

Эмма Эдуардовна выходила последней.

Она подвела свои итоги — педантично, до копейки. Двенадцать процентов с каждого выкупа. Доля в кассе за помощь. Своё жалованье, недоплаченное Анной Марковной за годы (Эмма помнила всё, до рубля). Она собрала своё — вышло изрядно, за год при Масловой она

сколотила больше, чем за двадцать лет при хозяйке. И — готовилась уйти. Тихо. Чисто. Пока дом не сгорел, пока следствие не докопалось, пока можно выйти незаметно, с деньгами, никем не заподозренной.

— Я уеду, — сказала она Масловой, в конторке, в последний вечер. — В Ревель. К сестре. У меня там… — Она не договорила. У остзейской немки, двадцать лет ведшей книги притона, оказалась где-то сестра, нормальная жизнь, куда можно вернуться, будто ничего не было. — Книги я вам оставлю. Все. И… — она помедлила, — и ту, коричневую. «Особые расходы». Где взятки. Вам ведь она нужна?

— Нужна, — сказала Маслова.

— Берите. — Эмма положила на стол коричневую книгу — тонкую, невзрачную, самую страшную книгу дома. — Мой почерк там. Но я уеду. В Ревеле меня не достанут. А вам — пригодится. — Она усмехнулась сухо, первый раз за всё время. — Вы это слово любите. «Пригодится».

Маслова взяла книгу.

— Зачем вы мне помогали, Эмма Эдуардовна? — спросила она. — По-честному. Не из страха же одного.

Эмма подумала.

— Из расчёта, — сказала она. — Сначала — из страха и расчёта. Вы сильнее были, дом обречён, я выбрала живого коня. — Она помолчала. — А потом… — Она посмотрела на Маслову остзейскими холодными глазами, в которых мелькнуло что-то человеческое, редкое. — А потом — любопытно стало. Я двадцать лет считала. Дебет, кредит, убыток. Люди для меня — цифры были. А вы… вы цифры в людей обратно превратили. Выкупаете, отпускаете, жжёте. Против арифметики. Я такого не видала. Мне захотелось — поглядеть, чем кончится. — Она встала. — Вот и погляжу. Из Ревеля. В газетах, может, прочту. Про вас ещё напишут, Екатерина Михайловна. Чую.

Она ушла — на другой день, с утренним пароходом, первым по вскрывшейся реке. Сухая, прямая, в тёмно-синем, с чемоданами, с деньгами. Крыса, вовремя сбежавшая с корабля. Единственная из всех, кто вышел из этой истории чисто, с прибылью, и доживёт, наверное, тихую старость в Ревеле, у сестры, вспоминая Сибирь как страшный сон.

Маслова смотрела с горы, как пароход — не «Иоанн Златоуст», другой — отваливает от пристани, идёт среди плывущих льдин вниз по Томи. На корме, в тёмно-синем, стояла Эмма. Не оборачивалась.

Умная крыса, подумала Маслова. Самая умная из всех. Пришла — взяла своё — ушла. Ни во что не поверила, никого не полюбила, никому не отомстила. Просто посчитала и вышла с прибылью. Может, она и права. Может, так и надо жить. Посчитать — и выйти.

Но она так не могла. Она была не крыса. Она была — коса.

К Вербному воскресенью дом опустел.

Из пятнадцати девушек осталось пять — те, кому некуда было идти, кто не захотел уходить, да две, нужные для последнего дела. Касса раздана почти вся — на выкупы, по сто рублей на обзаведение каждой уходящей. Осталось: деньги на дело (крутилинские и часть своих — около трёх тысяч, спрятанные надёжно, не в доме), коричневая книга, чёрная тетрадь, склянка с борцом (ещё оставалось), да то, что всегда — самородок, часы, венчик.

Анна Марковна была раздавлена ещё до огня. Дом опустел, выручки нет, девки «разбежались» (она так и не поняла, что их выкупили), убийство, следствие, позор. Она постарела за эти недели на десять лет. Сидела в своей комнате перед иконами, перед красной лампадой, и молилась, молилась — Богородице, которая всё понимает, которой она ставила свечки за удачные аборты. Богородица молчала.

Маслова почти жалела её. Почти. Эту маленькую, полную, седую женщину, которая тридцать лет держала дом, торговала девками, ставила свечки, ела чужую молодость, — и которую

теперь настигало. Не кара Божья — кара Масловой. Дом рушился под ней, и она не понимала откуда.

— Катерина Михайловна, — говорила Анна Марковна, цепляясь за неё, единственную, кто остался из «сильных», кто ещё приносил хоть что-то. — Что ж это делается? За что Бог наказует? Девки разбежались, гостей нет, купца этого проклятого отравили на мою голову, Нанка-убивица… За что, голубушка? Я ж по-божески всегда, я ж на храм жертвовала, свечки ставила…

— Грехи, Анна Марковна, — говорила Маслова. — За грехи. Бог долго терпит, да больно бьёт.

— Какие грехи? — искренне не понимала Анна Марковна. — Я ж как все. Дом содержала — так на то дозволение, билет, всё по закону. Полиции платила, батюшке жертвовала. Всё честь по чести…

Она правда не понимала. Для неё не было греха — был промысел, дозволенный, законный, оплаченный. Девки, долги, аборты, Клавдия в чулане, Любка в земле — всё это было не грех, а дело, хозяйство, арифметика. Как для Эммы. Как для всей горы.

И это было страшнее злодейства. Злодей знает, что злодействует. А эти — не знали. Делали зло — и были уверены, что живут по-божески. Со свечками. С billetами. С дозволением.

Их и надо судить, думала Маслова. Именно их. Не тех, кто знает свой грех, — а тех, кто грешит и не ведает, уверенный в своей правоте, со свечкой в руке. Самых страшных. Самых невинных в собственных глазах.

В Вербное воскресенье звонили радостно — предпасхально. Народ шёл из церквей с вербами, с пушистыми серёжками, несли вербу домой, хлестали детей слегка — «верба хлёст, бей до слёз, верба красна, бей напрасно», на здоровье, на рост.

Вербное. За неделю до Пасхи. До годовщины её клятвы.

Маслова стояла у окна угловой комнаты, в чёрном, и смотрела на людей с вербами, идущих с горы. Через неделю — Пасха. Христос воскресе. Год назад, в пасхальную ночь, на кафтанском погосте, она поклялась: буду судить живых и мёртвых. И вот — год прошёл. Купец казнён. Нана осуждена. Головин повязан. Касса собрана. Книга в руках. Дом опустел.

Осталось — огонь.

На Пасху или сразу после. Пока Женька жива. Пока все смотрят на следствие, на Нану. Пока можно.

Она решила: на Светлой седмице. В пасхальную ночь — нельзя, город не спит, крестный ход, все на ногах. А вот через день-два, когда разговеются, напьются, устанут, уснут, — тогда. Ночью. В огонь.

Вторая клятва — исполнится. «Весной этого дома не будет.» Весна пришла. Лёд прошёл. Дом опустел. Осталось поднести спичку.

Женькину спичку.

Она записала в чёрную тетрадь:

Вербное. Касса собрана — 5500 было, роздано на выкупы, осталось на дело ~3000 (спрятано вне дома). Девок выпустила — осталось 5. Эмма ушла в Ревель, с прибылью, чисто, отдала коричневую книгу. Анна Марковна раздавлена, не понимает за что.

Коричневая книга — у меня. Взятки всей цепи: полиция, консистория, доктор. Пустить в ход — после огня или для прикрытия огня.

Огонь — на Светлой седмице. Женька доживает, поднесёт спичку.

Третий узел — деньги и люди — завязан.

Осталось: книга в ход, и — огонь.

Год прошёл. Клятва — свершается.

Она закрыла тетрадь.

За окном шли люди с вербами. Звонили колокола. Таяло. Текла талая вода. Томь несла последний лёд.

Через неделю — Пасха. А на Светлой — огонь.

7.4. Коричневая книга

Коричневая книга была тонкая, невзрачная, в коленкоровом переплёте цвета грязи.

Самая страшная книга дома. Страшнее долговых книжек, в которых держали девок. Страшнее чёрной тетради самой Масловой. Потому что долговые держали пятнадцать девушек, а эта — держала весь город. Вернее, город держал через неё дом — а дом через неё держал город. Это была книга круговой поруки. Книга, которая связывала Болото и гору в одну цепь.

Маслова читала её ночью, при двух свечах, после того как Эмма отдала.

Почерк Эммы — сухой, аккуратный, бисерный. Колонками. По месяцам. По годам — за двадцать лет.

Полицмейстеру — 25 р. ежемес.

Приставу Сидорову — 10 р.

Околоточному — 5 р.

Помощнику полицм. Очумелову — натурой + 3 р.

Врачу К. Ф. — 15 р. ежемес. + особо за «незамечание».

В консисторию, ч/з Порфирия Влад. — 20 р. ежемес. («на храм»).

Цензору «Сиб. вестника» — 10 р. (чтоб не писали про дом).

Податному инспектору — 8 р.

И дальше, и дальше. Двадцать лет. Сотни строк. Тысячи рублей, утёкших с Болота на гору — за то, чтоб гора не трогала Болото, закрывала глаза, «не замечала». За то, чтоб дом стоял, девки работали, аборты делались, Клавдии вешались в чуланах, Любки умирали в долг, — а полиция, доктор, Церковь, податной, цензор — все брали свою долю и молчали.

Вот она, цепь, думала Маслова, листая. Не в словах — в цифрах. В Эмминых колонках. Та самая механика, которую она увидела над гробом Любки: бабка — хозяйка — доктор — полиция — консистория — всё держится вместе. Вот оно, записано. Кто, кому, сколько. Весь механизм подлости — в тонкой коричневой книжке.

Эта книга была оружие пострашнее борца. Борец убивал одного. А эта — могла убить всю цепь. Разом.

Но она была обоюдоострая. Маслова это понимала.

В книге был и её собственный след. Косвенный — она не брала взяток, она их давала через кассу, через выкупы, но имя тысячной мелькало: Эмма, педантичная, записывала всё, и «особые расходы» последних месяцев несли отпечаток Масловой — суммы, выкупы, «списания». Опытный глаз мог бы вытянуть ниточку и к ней.

И — книга была нужна жандармам, следствию, врагам Анны Марковны. За ней могли прийти. Как пришли бы за чёрной тетрадью, если б Нана не была обезврежена.

Значит, с книгой надо было поступить умно. Не просто передать в газету — это ударило бы и по ней. И не держать при себе — опасно. А — использовать. Как использовала всё. Обратить в оружие и в щит одновременно.

Она придумала.

Она пустила книгу в ход в три приёма.

Первый — Макушину. Не всю книгу — выписки. Она переписала своей рукой, без имён-дат, которые вели бы к ней, только то, что било по горе: сколько дом терпимости платит полиции, доктору, консистории, цензору. Факты. Цифры. И отнесла — не Макушину прямо (Макушин был чист, идеалист, он бы стал осторожничать, проверять), а через Соломина, в кружок. Соломин знал, как такое пускают в ход — через корреспонденцию в столичную газету, минуя местную цензуру (которая сама в списке!). Столичная газета, какая-нибудь «Русская жизнь» или «Неделя», печатала разоблачение: в сибирском городе N дома терпимости содержатся под прямым покровительством полиции, врачебного надзора и даже духовного ведомства, за регулярную мзду; приводятся суммы. Без имён — но город узнаваем, и в городе все поймут, о чём и о ком.

Второй — самой горе. Тем, кто в книге. Она дала понять — через Очумелова, который разнёс по начальству, дрожа, — что «есть книга, где всё записано, и копии в надёжных руках». Это был не шантаж даже — предупреждение. Чтобы вся цепь знала: книга есть, книга может всплыть, и потому — не трогать тысячную, не копать под неё, не искать её чёрную тетрадь, а наоборот, тихо спустить дело Наны, закрыть заведение Анны Марковны без шума (убийство — хватит, не надо ворошить взятки) и забыть. Книга стала её щитом. Пока книга у неё — гора её не тронет, потому что гора боится книги больше, чем тысячной.

Третий — Анне Марковне. Последний удар по хозяйке. Маслова не сказала ей про книгу прямо. Она сделала хитрее. Когда разоблачение появилось в столичной газете (а оно появилось, недели через три, уже после Пасхи, уже когда дом догорел, — но слух пошёл раньше), вся цепь отшатнулась от Анны Марковны. Полиция, которая брала, — чтобы отвести подозрения от себя, обрушилась на дом: закрыть, опечатать, хозяйку — под надзор, под следствие не только за убийство в заведении, но и за «развращение нравов», за всё. Те, кто двадцать лет кормился с неё, — первыми её и растоптали, чтоб спастись самим. Полицмейстер, чтоб доказать, что он ни при чём, стал гонителем домов терпимости. Порфирий Владимирыч, чтоб отвести от консистории, предал анафеме блуд с амвона. Карл Фёдорович уехал в отпуск «по болезни».

Цепь, почуяв опасность, пожрала своё слабое звено — Анну Марковну. Чтоб спастись самой.

Вот так судят гору, думала Маслова. Не разрушают — стравливают. Показываешь цепи, что одно звено опасно для всех, — и цепь сама его отрывает и топчет. Анну Марковну уничтожили не я — её уничтожили свои же, полицмейстер да батюшка, которых она двадцать лет кормила. Я только показала им, что она опасна. Остальное они сделали сами.

Как всегда. Как Головин сам сжёг дознание. Как Карл Фёдорович сам написал ложь. Гора рушит себя сама — стоит показать ей её же гниль.

Но было в этом и то, что её кольнуло.

Коричневая книга обнажала всё — но она обнажала и то, частью чего была сама Маслова. Выкупы, кассу, деньги, прошедшие через её руки. Она разоблачала цепь — и сама была звеном этой цепи, последним, новым звеном. Она давала взятки (через выкупы, через компромат), она покупала людей (Эмму, Очумелова, Головина, Карла Фёдоровича), она пользовалась механизмом, который разоблачала.

Она судила гору — и строила свою. Маленькую, но свою. С Эммой-казначеем, с Очумеловым-исполнителем, с Женькой-солдатом, с Настей-руками. С кассой. С книгой. С ядом. Со своей механикой подлости и власти.

Чем я лучше Анны Марковны? — мелькнуло у неё однажды, ночью, над коричневой книгой. Она держала дом — я держу своих людей. Она покупала полицию — я покупаю Головина. Она вела долговые книжки — я веду чёрную тетрадь. Она торговала телами — я торгую смертью. Она строила цепь — я строю свою.

Разница одна: она строила — чтобы наживаться. А я — чтобы судить, рушить, мстить. Она — для себя. Я — для... для чего? Для Любки? Для мести? Для дела, которого ещё нет? Для будущего, которое — Молох?

Трещина-волосок дрогнула. Шире.

Она заделала. С трудом. Разница есть, сказала она себе. Она строила цепь, чтоб доить. Я строю, чтоб разрушить цепь. Моя механика — против их механики. Клин клином. Чтобы сломать машину, надо построить другую машину — ломающую. И когда сломаю — распущу свою. Мне она не нужна для наживы. Мне она нужна, чтоб косить. А покосив — брошу косу.

Так ли? — спросил волосок. Бабка сказала: кто смертью торгует, к тому смерть привыкает, один раз дашь — другой захочешь, станешь как я. А ты уже строишь цепь, покупаешь людей, ведёшь книгу, травишь. Ты уже как Анна Марковна — только страшнее, потому что она доила, а ты убиваешь, и она хоть знала, что грешит, а ты уверена в своей правоте, со своей клятвой вместо свечки. Самая страшная — та, что грешит и уверена в правоте. Ты сама это говорила. Про Анну Марковну. А это — про тебя.

Она закрыла волосок. Насильно. Усилием воли. Поздно, сказала она себе. Лавина идёт. Купец мёртв, Нана осуждена, Головин повязан, касса собрана, книга в ходу, дом рушится. Остановиться нельзя. Думать об этом — потом. После огня. Если будет потом.

В Страстную среду она спрятала книгу.

Не в доме — дом должен был сгореть, и книга с ним не должна. Не у Соломина — к нему могли прийти. Она отдала её на хранение — умно, туда, где не найдут, где не подумают искать.

Привалову.

Он вернулся с приисков к Пасхе, пришёл к ней, не зная ещё, что дом доживает последние дни. Маслова дала ему свёрток — коричневую книгу, завёрнутую в холст, запечатанную.

— Сохрани, — сказала она. — Не открывай. Спрячь, где надёжно, — в несгораемый шкаф, в банк, куда хочешь. Это моё. Понадобится — попрошу назад.

— Что тут? — спросил Привалов, взвешивая свёрток в огромной лапе.

— Бумаги. Мои. Важные. Больше не спрашивай.

Он не спросил. Он ей верил — своей Катьке, с того берега, одной породы. Он спрятал свёрток — в несгораемый шкаф конторы, под замок, где держал золото и векселя. Самое надёжное место в Томске. Книгу взяток всей цепи — в шкафу у золотопромышленника, убийцы, хозяина тайги, который не знал, что хранит.

Пригодится, подумала Маслова. И книга пригодится, и Привалов. Когда придёт время горы — и книга выйдет, и Привалов ответит. За самородок. За артельщика. Он тоже в моей тетради. Всё пригодится.

Она использовала и его — последнего, самого сильного. Спрятала у него оружие против горы, частью которой был он сам. Привалов хранил книгу, которая однажды могла ударить и по нему. Не зная.

Как все. Все несли ей своё — деньги, силу, тайны, тела, — не зная, что несут на свой же суд.

Вечером Страстной среды — той, когда в церквях вспоминают, как Иуда продал Христа за тридцать сребреников, как женщина возлила миро на ноги Спасителя, — Маслова сидела над чёрной тетрадью.

Она записала:

Коричневая книга — в ход, в три приёма. Выписки — через Соломина в столичную газету (без имён, но город узнают). Горе — предупреждение: книга есть, копии в надёжных руках, не троньте тысячную. Анну Марковну — цепь сама растопчет, чтоб спастись: свои же её сожрут.

Книгу спрятала — у Привалова, в несгораемом шкафу. Не знает, что хранит. Против него же — тоже.

Четвёртый узел — книга — завязан.

Гору судят не разрушением — стравливанием. Показал цепи опасное звено — цепь сама его оторвёт.

Она остановилась. Посмотрела на последнюю, незаписанную мысль. Ту, что кольнула. «Чем я лучше Анны Марковны.»

Не записала. Но подумала — последний раз за этот вечер, прежде чем заделать волосок до огня:

Страстная среда. Иуда продал Христа. А я — сколько продала? Нехлюдова — своей ненависти. Нану — каторге. Купца — смерти. Женьку — огню. Настю — разврату. Эмму — расчёту. Всех продала. На своё дело. За своё... не за тридцать сребреников — за Любку, за месть, за суд. Но — продала.

Кто же я тогда? Судья? Или Иуда? Коса — или крыса, только пострашнее Эммы?

Она не ответила себе. Не смогла. Задула свечи.

За окном — Страстная, тихая, постная, перед Пасхой. Через три дня — Христос воскресе. Через три дня — год её клятвы. А на Светлой — огонь.

Осталось немного. Один узел. Настя. И — спичка.

Эпизод 7.4 (Коричневая книга) уже написан в предыдущем сообщении. Следующий по плану — **7.5**: Настя начинает задавать неудобные вопросы, героиня сводит всё к сексу, сама пугаясь. Пишу его.

7.5. Неудобные вопросы

Сбой пришёл оттуда, откуда она не ждала.

Не от жандармов — их отозвал Головин. Не от следствия — оно шло по накатанному, на Нану. Не от горы — гора была взята за горло коричневой книгой. Всё внешнее сходилось гладко, слишком гладко, как она и чуяла. А трещина открылась — внутри. В самом надёжном. В Насте.

На Страстной неделе Настя начала задавать вопросы.

Это началось исподволь. Настя была напугана — арестом Наны, следствием, допросами (её тоже допрашивали, как всех в доме, но она, слепая, ничего не знала, и с неё взятки были гладки). Напугана смертью купца — того самого, которого она разогревала, к которому водила Маслову, которому своими руками подала вино «для силы». Напугана опустевшим домом, уходящими девками, общим ощущением конца, которое висело в воздухе.

И вот однажды ночью, лёжа у ног Масловой на коврике, как всегда, Настя сказала — тихо, в темноту:

— Катерина Михайловна… а купец-то… отчего помер?

— От удара, — сказала Маслова. — Перепил. Сердце.

— А доктор сказал — отравили. Сулемой. Нана.

— Значит, Нана отравила.

Настя помолчала. Потом:

— А вино-то… которое я ему подавала… для силы… это что было?

Маслова напряглась. В темноте — так, что Настя не видела.

— Вино, — сказала она спокойно. — Крепкое, с травкой, для мужской силы. Я ж тебе говорила.

— А травка — какая?

— Не твоё дело. Спи.

Настя замолчала. Но Маслова чувствовала — не уснула. Лежала, думала. Вот Настя дура, а догадывается. И это хуже, чем если бы была умная.

На другую ночь — опять.

— Катерина Михайловна… а деньги… которые я к Нане прятала… это чьи были?

— Нанины.

— А зачем я их к Нане прятала, коли они Нанины? И склянку ту… с сулемой… вы сказали — вернуть Нане, что она украла. А как же её сулемой тогда… как же нашли у неё…

— Настя, — сказала Маслова, и в голосе её прорезалась сталь. — Ты много спрашиваешь.

— Я боюсь, — прошептала Настя. — Я боюсь, Катерина Михайловна. Я думаю… я думаю, Нана-то… может, не она? Может, её зря? А я… я ж вино подавала… и склянку прятала… и деньги… это ж я… выходит, я?..

Вот оно.

Маслова лежала в темноте и чувствовала, как по спине ползёт холод. Дура сложила. Медленно, коряво, но сложила. Вино, которое подавала. Склянку, которую прятала. Деньги, которые подкидывала. Мёртвый купец. Арестованная Нана. Настя своими слепыми руками сделала всё — и теперь, напуганная, начала понимать, что сделала. Что она — орудие убийства. Что Нана, может, невинна. Что она, Настя, — соучастница, а то и больше.

И это было смертельно опасно. Не потому, что Настя донесёт — Настя предана, Настя не донесёт никогда. А потому, что Настя — дура. А дура, напуганная, терзаемая, неизвестно что выкинет. Проболтается спьяну. Расскажет на исповеди попу (она набожная, она может пойти каяться). Разрыдается при допросе и ляпнет лишнее. Или — хуже — не выдержит совести, пойдёт сама, повинится, «я убила, я подавала, я прятала», — из страха, из вины, из темноты

своей бабьей души, которая не вынесет греха. Клавдия вон не вынесла — в чулан. Настя могла не вынести — куда угодно.

Дура с нечистой совестью — самое опасное, что есть. Опаснее умного врага. Умного врага просчитаешь. А дуру — нет.

Надо было что-то делать. Немедленно.

Маслова знала, что надо сделать.

Не припугнуть — испуганная Настя стала бы ещё опаснее. Не объяснить, не признаться — тогда Настя знала бы наверняка, и это легло бы на неё грузом ещё тяжелее. Не убить — об этом она даже не подумала всерьёз, хотя мысль мелькнула и тут же погасла: Настю — нет, Настя её, Настя единственная, кто...

Надо было — увести. От мыслей. От совести. От вопросов. Туда, где Настя не думает, где у Насти нет ни совести, ни страха, ни вопросов, — в тело. В то самое животное, которое Маслова в ней полгода растила. Утопить вопросы в похоти. Залить совесть жаром. Вернуть Настю туда, где она не Настя-с-совестью, а Настя-сучка, текущая, беспамятная, счастливая.

Это была её линия — полгода. Совращать Настю, уводить в тело, разделять в ней голову и тело, отнимать голову, оставлять зверя. Теперь это пригодилось не для разврата — для спасения. Настина похоть должна была съесть Настину совесть.

Она притянула Настю к себе — на кровать, с коврика, в темноту.

— Не думай, — сказала она, обнимая как подругу. — Не думай, дурочка. Нана — виновата. Она дрянь была, она тебя не любила, она меня травить хотела. Поделом ей. А ты — ни при чём. Ты вино подала — так ты не знала, что там. Тебя Бог простит. Ты чистая. — Она гладила её грудь. — Не думай. Думать — не твоё. Твоё — вот это. Чувствовать. Телом.

Настя всхлипнула:

— Я боюсь, Катерина Михайловна… грех на мне…

— Нет греха, — шептала Маслова, разжигая, умело, зная каждую Настину точку, каждую струну. — Нет греха. Есть тело. Твоё тело. Помнишь купца-то? Большой был мужик, а? Крепкий. Как он тебя брал? Хорошо?

— Хорошо… — выдохнула Настя, и дыхание её сбилось: тело отзывалось, тело вспоминало, тело заглушало мысли.

— Хуй у него большой был? — спросила Маслова грубо, нарочно грубо, тем кабацким словом, которое уводило Настю совсем вниз, в чистую похоть, где нет ни совести, ни попа, ни греха. — Помнишь? Как он тебя им… а? Текла под ним? Он и меня потом ёб. Я знаю, что большой.

— Текла… — простонала Настя, выгибаясь, забывая, растворяясь. — Ой, текла, Катерина Михайловна…

— Ну вот, — шептала Маслова, уводя её дальше, глубже, в жар, в беспамятство. — Вот про что думай. Про хуй купцов. Про то, как тебя берут. Как ты течёшь. А не про грех, не про Нану, не про смерть. Это не твоё. Твоё — вот. Течь. Хотеть. Кончать. Ты для этого. Ты — блядь, помнишь? Ты сама сказала — я блядь, я буду блядовать. Вот и блядуй. И не думай. Блядь не думает. Блядь чувствует.

И Настя — заблядовала. Забыла. Утонула в теле, в жаре, в похоти, которую Маслова в ней разожгла. Вопросы, совесть, страх, Нана, грех — всё растворилось, смылось, утонуло в том тёмном, горячем, беспамятном, что Маслова полгода в ней растила именно для этого — чтобы было чем залить, когда понадобится.

Она кончила от одниъ воспоминаний — бурно, с криком, забыв обо всём, — и уснула у Масловой под боком, умиротворённая, опустошённая, беспамятная. Счастливая своим рабским, животным, бездумным счастьем.

Утоплено. Пока.

Но Маслова не спала.

Она лежала в темноте, с уснувшей Настей под боком, и — впервые за всё время, за всю лавину, за всё гладкое своё торжество — ей было по-настоящему страшно.

Не за себя. За дело. За то, что всё держится на тонком. На дуре. На Насте, которую приходится теперь залив похотью удерживать от того, чтобы она не погубила всё — и себя, и Маслову, и дом, и месть, и кассу. Один раз утопила вопросы. А завтра? А послезавтра? А когда её опять начнёт грызть — на исповеди, спьяну, во сне? Сколько можно топить? Похоть — не вечная заглушка. Совесть всплывёт опять. Дура всплывёт.

И она поняла, глядя в темноту: это и есть сбой. Это и есть то, что идёт не по плану. Не жандармы, не следствие, не гора — а своя же Настя, своё же орудие, которое оказалось не слепым до конца, не бездушным до конца, в котором, под развратом, под дрессировкой, под «я блядь», — осталась живая душа, совесть, страх, способность сложить два и два и ужаснуться.

Я думала — сделала из неё животное, думала Маслова. Чистое тело без головы. Орудие. А она — человек. Я не доделала. Или — нельзя доделать. Нельзя из человека сделать до конца животное. Что-то остаётся. Душа. Совесть. И это «что-то» — опаснее всего.

И ещё она поняла — холодно, ясно, страшно: я попала в ловушку. Свою же. Я развращала Настю — для власти, для орудия. А теперь мне приходится развращать её — чтобы спастись. Я привязана к Насте — к её похоти, которую сама разожгла. Я должна её удерживать, кормить, разжигать, заливать — иначе она погубит меня. Я сделала её орудием — а орудие стало цепью. На мне. Я её держу — а она держит меня.

Господин и раб. Соломин бы усмехнулся. Он же читал этого немца — как его — Гегеля. Раб в конце сильнее господина, потому что господин без раба — ничто, а раб без господина — проживёт. Я — госпожа Насти. А попалась к ней в рабство. Потому что без Насти-молчащей — мне конец. А Насте без меня — ничего, пойдёт в другой дом, забудет.

Трещина-волосок дрогнула. И — новое. К «ты в аду», к «кончите на виселице», к «ты косая», к «чем я лучше Анны Марковны» — прибавилось: и я не свободна. Я, которая всех держу за горло — Нехлюдова, Головина, Привалова, Эмму, Очумелова, — я сама на привязи. У дуры. У Насти. У похоти, которую сама развела.

Коса, которая запуталась в собственном покосе.

Под утро, когда Настя спала, Маслова встала. Записала в чёрную тетрадь — коротко, тревожно, не так уверенно, как писала всегда:

Сбой. Не снаружи — изнутри. Настя.

Начала спрашивать: отчего купец помер, что за вино, зачем деньги к Нане, зачем сулема. Сложила. Поняла, что она — руки. Что Нана, может, зря. Мучается совестью.

Дура с нечистой совестью — опаснее всего. Проболтается, покается, пойдёт сама. Непредсказуема.

Утопила пока — в похоти. Увела в тело. Залила жаром. Сработало. Уснула беспамятная.

Но — ненадолго. Совесть всплывёт опять. Сколько топить?

Я думала — сделала животное. А она — человек. Нельзя доделать. Душа остаётся.

И — я попалась. Развращала её для власти — теперь развращаю, чтоб спастись. Я её держу — она меня держит. Орудие стало цепью. На мне.

Господин и раб. Я на привязи у дуры.

Надо что-то решить с Настей. До огня. Или — после. Пока — топить.

Она остановилась. Перечитала. И приписала — внизу, мелко, то, чего не писала никогда, что было уже не планом, не расчётом, а — тем, что сквозь трещину:

Или — я её просто не хочу терять. Не как орудие. А — её. Настю. Единственную, кто меня... кто ко мне...

Она не дописала. Зачеркнула. Потом — не стала зачёркивать до конца, оставила, чтоб можно было прочесть.

Единственную, кто её — что? Любит? Это слово она не писала и не думала. Нет любви. Сеченов. Рефлекс. Настя — орудие, привязанность, похоть, цепь. Не любовь.

Но что-то было. Что-то, отчего мысль «решить с Настей» — то есть убрать, устранить опасного свидетеля, как убрала бы любого, — не шла. Отскакивала. Настю — нельзя. Настю — не трогать. Настя — своя. Настя — единственное живое, тёплое, что осталось у неё, косы, в этом мире, где все либо гора, либо орудия, либо покойники.

Она заделала трещину. Но на этот раз — знала, что не до конца. Что Настя — это то место, где броня никогда не сойдётся. Мягкое место. Единственное. Через которое однажды — она это почувствовала, засыпая под утро, — через которое однажды её и достанут. Или спасут. Или погубят.

Настя спала у её ног, беспамятная, счастливая, с лицом младенца. Та, кого она развратила. Та, кто держала её на привязи. Та, кого нельзя тронуть. Единственная мягкость косы.

За окном светало. Страстной четверг. Через три дня — Пасха. А на Светлой — огонь.

И в огне — Маслова ещё не знала этого, но где-то под сердцем уже заныло, — в огне Настя обгорит. И мягкое место останется мягким, но будет — со шрамом. Как всё у них со шрамом.

7.6. Огонь

Дом подожгли на третий день Пасхи.

В Светлую среду. Разговелись, отгуляли, устали. Томск спал тяжёлым пасхальным сном — объевшийся, объпившийся, отговевший семь недель и сорвавшийся в три дня. Ночь была тёмная, безлунная, ветреная — ветер с юга, тёплый, весенний, несущий запах талой воды и прелой земли. Хороший ветер для огня.

Дом был почти пуст. Из пятнадцати девушек осталось четыре — три выкупленные, но не ушедшие, которым некуда, да Женька. Этих Маслова увела с вечера — под предлогом, свела к знакомой прачке за Ушайкой, ночевать: «в доме страшно после убийства, пойдём, девки, отдохнём у Матрёны». Трёх увела. Осталась — Женька. По уговору. И — Настя. И сама Маслова.

И Анна Марковна. Хозяйка спала наверху, в своей комнате, перед иконами, перед красной лампадой. Раздавленная, постаревшая, опоенная на ночь наливкой, чтоб спать. Её Маслова будить не собиралась — но и губить не собиралась. Пусть проснётся от дыма, выскочит, спасётся. Разорённая, нищая, опозоренная — но живая. Смерть ей была не нужна. Нужно было — разорение. Чтоб жила и помнила. Чтоб видела пепелище. Это хуже смерти.

Они собрались втроём в зале — после полуночи. Маслова, Женька, Настя.

В зале было темно, пусто, мертво. Малиновый плюш диванов во тьме казался чёрным. Зеркала отражали тьму. Пальма в кадке стояла, как покойник. Пахло — как всегда — табаком, пудрой, гелиотропом, карболкой, потом, застарелым развратом. Запах дома. Последний раз.

Долговые книжки Маслова принесла заранее — все пятнадцать серых книжечек, перевязанных шпагатом. Те, что держали девушек. Те, в которых Клавдия умерла должна пятьдесят рублей, Любка — двести двадцать восемь. Книги кабалы. Она свалила их посреди залы, на дубовый стол — тот самый, на котором плясала канкан, на котором стояла в ночь аукциона, на котором показывала ноги морю мужчин.

— Вот, — сказала она. — С них начнём.

Женька чиркнула спичкой.

Это было её право — выговоренное. «Дай мне самой. Своей рукой.» Она чиркнула — и в темноте вспыхнул огонёк, осветил снизу её лицо: резкое, скуластое, тёмное, с горящими узкими глазами. Страшное и прекрасное лицо. Лик со Страшного суда.

Она поднесла спичку к долговым книжкам.

Бумага занялась. Сначала одна книжка — серая обложка свернулась, почернела, вспыхнула. Потом другая. Потом все — разом, весело, жадно. Пламя поднялось над столом, осветило залу — красным, живым, пляшущим светом, последним красным светом этого дома, страшнее и ярче всякого фонаря.

Горели долги. Горела кабала. Горели серые книжечки, в которых был записан вечный, несмываемый, до гроба долг каждой девки. Клавдиин. Любкин. Женькин — пятьсот девяносто два рубля. Всех.

Женька смотрела, как горит её долг. И засмеялась — хрипло, страшно, счастливо.

— Вот, — сказала она. — Отдала. Весь. До копейки. Гори, проклятый.

Огонь пошёл по дому быстро.

Старое дерево, сухое, пропитанное за годы жиром, табаком, всем, — горело как порох. От долговых книжек на столе занялась скатерть, потом плюш диванов, потом сухая пальма вспыхнула разом, как факел, потом шторы, потом стены. Огонь полез вверх, по лестнице, по которой столько раз вели гостей наверх, — к комнатам, к угловой, к Наниной, где умер купец, к той, где Порфирий Владимирыч мучил, где Нехлюдов падал, где всё было.

Красный свет залил всё. Дом на Болоте, во втором от моста, с зелёными ставнями, — горел. И красный фонарь над крыльцом, который зажигали каждую ночь, который Маслова видела из окна все эти месяцы, — красный фонарь тонул теперь в большом огне, становился невидим в зареве, которое поднималось над домом, над Болотом, над Ушайкой, к тёмному небу.

Жар. Треск. Гул. Дым — чёрный, едкий, валящий с ног.

— Уходим! — крикнула Маслова. — Женя! Настя! Уходим!

Настя кинулась к выходу — задыхаясь, кашляя, в дыму. Маслова за ней.

А Женька — не пошла.

Маслова обернулась в дверях.

Женька стояла посреди горящей залы. В дыму, в красном свете, в жаре. Не двигалась. Смотрела на огонь — на то, как горит дом, который она ненавидела, в котором прожила шесть лет кабалы, разврата, болезни. Горит её тюрьма. Её каторга. Её жизнь.

— Женя! — закричала Маслова. — Женя, уходи! Горим!

Женька обернулась. Лицо её, освещённое огнём, было спокойно. Страшно спокойно. И — счастливо.

— Нет, Катя, — сказала она. Громко, чтоб перекричать гул. — Я остаюсь.

— Что?! Женя! Дура! Выходи!

— Нет, — сказала Женька. И закашлялась — долго, страшно, согнувшись, и на руку, которой прикрыла рот, брызнуло тёмное, кровь, видная даже в красном свете. — Нет, Катя. Мне всё одно. Весну не переживу — доктор сказал, ты сама слыхала. Кровь горлом. Месяц, два. А так — чахнуть в углу, кашлять, гнить заживо, под забором подыхать? — Она усмехнулась. — Нет. Я лучше тут. В огне. Сразу. Красиво. Я ж тебе говорила — хоть в огонь. Вот и в огонь. Своей волей.

— Женя!!! — Маслова рванулась назад, в жар, к ней.

Женька выставила руку — не подходи.

— Не дури, — сказала она. — Себя погубишь. Иди. Тебе — жить. Тебе — косить дальше. А мне — всё. Отдала долг, Нану утопила, дом сожгла своей рукой. Не зря пожила последок. Не под забором — в огне. Хлопнула дверью. — Она улыбнулась — широко, открыв ровные белые зубы, страшно-прекрасная в пламени. — Спасибо тебе, Катя. Ты мне дала умереть не зря. Это самое… самое лучшее, что мне в жизни… Иди. Прощай. И — помни. Коси за меня. За всех.

Она отвернулась. К огню. Шагнула — в самое пламя, туда, где горели диваны, стена, где был ад.

И — Маслова видела это последнее мгновение сквозь дым, сквозь слёзы, сквозь жар, — Женька раскинула руки, запрокинула голову, как на кресте, как в пляске, как в объятии, — и шагнула в огонь, и огонь принял её, обнял, поглотил. И в реве пламени Масловой послышался — или почудился — её последний смех. Хриплый. Счастливый. Свободный.

Женька сгорела. Своей волей. В огне, который сама подожгла.

Хоть в огонь. Буквально.

Маслова не помнила, как выскочила.

Её вытащила Настя — обратно, в дым, рванулась, схватила, поволокла. Маслова рвалась к Женьке — назад, в огонь, — а Настя тащила её прочь, к выходу, сквозь дым, сквозь жар, через сени, через крыльцо, во двор, на воздух.

И тут — в сенях, в последний миг, когда они уже почти вырвались, — сверху, с горящего потолка, рухнула балка. Пылающая. Прямо на них.

Маслова отшатнулась — успела. А Настя — нет. Балка задела её — левым боком, грудью. Полыхнуло. Настя закричала — страшно, тонко, по-заячьи, как кричала когда-то, когда её тащил Паратов, — и упала, и Маслова, уже не помня себя, схватила её, поволокла, вытащила — во двор, в ночь, на талую землю, подальше от огня.

Настино платье на левой стороне тлело, дымилось. Маслова сорвала его, затоптала, забила снегом — грязным, талым, но холодным, спасительным. Настя билась, кричала, выла от боли.

Левая грудь — та самая, которой Настя когда-то стыдилась, которую прятала руками, которую Маслова заставляла обнажать, показывать, которой торговала, — левая грудь была обожжена. Сильно. Кожа сошла, вздулась, почернела. Настя выла, держась за неё, каталась по талой земле.

— Тихо, тихо, — Маслова держала её, обнимала, зажимала рот, чтоб не кричала на весь Болото, чтоб не сбежались раньше времени. — Тихо, девочка, тихо, я тут, я с тобой, терпи, терпи…

Настя выла и цеплялась за неё. А дом — горел. Пылал весь, от подвала до крыши, ревущий столб огня в тёмном небе, зарево на полнеба, отблеск — Маслова видела, подняв глаза, — отблеск на горе, на белом костёле, на чёрном недостроенном соборе. Весь город проснулся — забили в набат, в тот самый колокол на каланче, где дозорный искал дым все эти месяцы. Нашёл. Задребезжал набат. Побежали с баграми, с вёдрами, пожарная команда, народ.

Поздно. Дом было не спасти. Он горел весь.

Анну Марковну вытащили пожарные.

Она выскочила сама — в одной рубахе, простоволосая, обгорелая слегка, очумелая от дыма и наливки, — металась по двору, выла, рвала на себе волосы:

— Дом! Дом мой! Всё! Всё сгорело! Господи! Богородица! За что-о!

Она смотрела, как горит дом — её дом, её тридцать лет, её промысел, её хозяйство, её жизнь, её деньги (а деньги её, какие были, сгорели в доме — в несгораемый шкаф, как Привалов, она класть не додумалась), — и выла, и не понимала, за что, как не понимала за что всё это время.

Маслова, сидя на талой земле поодаль, с воющей Настей на руках, смотрела на неё.

Вот, Анна Марковна. Вот за что. За Любку. За Клавдию. За всех. За свечки Богородице, которые ты ставила за удачные аборты. За долговые книжки. За «на всё воля Божья». Горит твой дом, твоя воля Божья, твой Вавилон. А ты не понимаешь. И не поймёшь. Так и помрёшь, не поняв, нищей, под забором, кляня Бога, который тебя оставил. А Бога нет. Есть я. Коса. Я тебя скосила. Не Бог — я.

Анна Марковна её не видела. Металась, выла, рвала волосы. А Маслова сидела в тени, в стороне, с Настей на руках, непричастная, скорбная погорелица, одна из многих. Тысячная. Жертва пожара. Выскочила, спаслась, подругу обожжённую вынесла. Кто подумает на неё?

Никто.

Дом сгорел дотла.

К утру — к пасхальному, светлому утру Светлого четверга — на месте дома во втором от моста, с зелёными ставнями, было пепелище. Чёрное. Дымящееся. Головешки, зола, обгорелый остов печи, торчащий в небо, как чёрный палец. И запах — гари, пепла, сожжённого дерева, и ещё — тот страшный сладковатый запах, который Маслова узнала, который был от Женьки, сгоревшей внутри. Её не нашли — вернее, нашли потом, в золе, обгорелые кости, и записали: погибла при пожаре, не успела выскочить, одна из девиц. Женя. Евгения. Без фамилии даже — кто помнил фамилию дешёвой девки. Погибла. Сгорела. Всё.

А на кладбище, где лежала Любка с крестом «Раба Божия Любовь», прибавится ещё холмик — безымянный, или с таким же казённым крестом. Женька. Та, что сказала «хоть в огонь». Та, что спасла Масловой жизнь сулемой. Та, что читала Писарева под романами про графинь. Та, что дала показания против Наны. Та, что подожгла дом своей рукой и шагнула в огонь, раскинув руки, со смехом.

Чистая. Не гнилая. Солдат. Единственный настоящий товарищ, что был у Масловой.

Сгорела.

Маслова сидела на пепелище утром, одна.

Настю она отнесла ночью к бабке — той самой, знахарке, которая умела травить и лечить, — чтоб лечила ожог. Бабка посмотрела на обожжённую грудь, покачала головой, намазала чем-то, забинтовала. «Выживет, — сказала. — Грудь попортит навек — рубец будет, страшный. А выживет. Мазью буду мазать. Приводи через день». Настя металась в жару, но — выживет. Со шрамом. С обожжённой левой грудью. С тем, что останется на всю жизнь.

А Маслова пришла на пепелище. Утром. Когда догорело, когда разошлись пожарные и зеваки, когда осталась только зола, дым и чёрный остов печи.

Она стояла на чёрной, дымящейся земле — там, где была зала, где плясала канкан, где стоял на столе в ночь аукциона, где жила год, где всё было. Чёрное пепелище. Как могила. Как та проталина на погосте, которую жгли кострами, чтоб похоронить Любку. Чёрная земля.

Вторая клятва исполнена, подумала она. «Весной этого дома не будет.» Весна пришла. Пасха прошла. Дома — нет. Пепел.

Она должна была торжествовать. Победа. Полная. Купец казнён, Нана на каторге, Головин повязан, касса собрана, девки выкуплены, цепь взята за горло коричневой книгой, хозяйка разорена и раздавлена, дом сожжён дотла. Всё — по плану. Всё — свершилось. Первый суд окончен. Вавилон — этот, маленький, болотный Вавилон — пал.

А торжества не было.

Был — пепел. И запах Женьки в этом пепле. И воющая Настя с обожжённой грудью у бабки. И — впервые — цена. На себе.

Она победила. Но огонь, который она зажгла, чтоб судить других, — опалил и её. Женька сгорела. Настя изуродована. Единственные две, кто был ей — не гора, не орудие, не покойник, а что-то живое, тёплое, своё, — одна мертва, другая со шрамом на всю жизнь. Огонь суда не разбирает. Он жжёт всех, кто рядом. И тех, кого судишь, и тех, кто с тобой.

Соломин сказал: кровь родит кровь, выкосишь поле — сама ляжешь. Бабка сказала: кто смертью торгует, к тому смерть привыкает. Нехлюдов сказал: ты уже в аду, мы оба в аду.

Вот он, ад, думала Маслова, стоя на чёрном дымящемся пепелище, в чёрном платье, одна, в светлое пасхальное утро. Вот он. Я его зажгла. И первой в нём сгорела — не гора, а Женька. Моя Женька. И Настю обожгло. А гора — Анна Марковна жива, воет где-то, нищая, но жива. И полицмейстер жив, и Головин, и Привалов, и Нехлюдов, и царь. Я сожгла один дом — а гора стоит. И сожгла — своих. Женьку. Настю.

Кого я судила? Их — или себя?

Трещина-волосок — та, что росла всю главу, весь год, — разошлась. Шире, чем когда-либо. И впервые Маслова не стала её заделывать. Не смогла. Стояла на пепелище, смотрела на чёрную землю, где сгорела Женька, и — трещина была открыта, и в неё дуло холодом, пеплом, запахом сожжённого друга.

Но — она не заплакала. Слёзы кончились давно, ещё над Любкой. Она стояла сухая, чёрная, прямая, на чёрной земле, и внутри у неё было — чёрно. Выжжено. Как это пепелище.

На горе зазвонили к пасхальной обедне. Радостно, светло, во все колокола — Светлый четверг, Пасхальная седмица, Христос воскресе.

Маслова подняла голову. Посмотрела на гору — на белый костёл, на чёрный недостроенный собор, на дымы, на весь верхний город, где звонили, радовались, христосовались, где жила гора, которую она не сожгла, которую не достать одним пожаром, одной косой.

Христос воскрес, подумала она горько. Воистину. Год назад я поклялась судить живых и мёртвых. Год прошёл. Я судила. Купца, Нану, Анну Марковну, дом. Первый суд. И — что? Женька в золе. Настя в ожогах. Я — на пепелище. А гора стоит. И звонит. Христос воскрес.

Она достала из кармана — не чёрную тетрадь, другое. Бумажный венчик. Тот, что сняла с мёртвого Симонсона год назад, на кафтанском погосте. «Святый Боже, Святый Крепкий,

Святый Безсмертный, помилуй нас.» Пожелтевший, истёртый, который прошёл с ней весь этот год — Кафтан, дом, кассу, яд, огонь.

Она посмотрела на него. На Святого Бессмертного, который должен помиловать.

Никого он не помиловал. Ни Симонсона, ни Любку, ни Женьку. И её не помилует. И никого.

Она положила венчик на чёрную землю пепелища. На золу. Туда, где сгорела Женька.

— Со святыми упокой, — сказала она тихо. Как пели над Симонсоном. Как пели над Любкой. — Со святыми упокой, Женя. С мучениками. С теми, под жертвенником, что кричат «доколе». Ты теперь с ними.

Она постояла.

Потом — выпрямилась. Вытерла лицо — сухое, без слёз, в саже. И лицо её стало опять твёрдым, сухим, чёрным, как пепелище. Трещина осталась открытой — но она переступила через неё. Пока. До поры.

Потому что дело было не кончено. Первый суд — да. Но первый. А впереди — гора. Та, что звонит сейчас, радуется, живёт. Привалов. Головин. Нехлюдов. Томск. Петербург. Царь. Вся Россия. Весь Вавилон.

Дом — это была проба. Репетиция. Как маскарад. Один дом сожгла — научилась, как жечь. Теперь — выше. На гору.

Женька сказала: коси за меня. За всех.

Буду, подумала Маслова, стоя на пепелище, на чёрной земле, под пасхальный звон. Буду косить. За Любку. За Женьку. За всех. До конца. До горы. До царя. До самого верха.

И пусть опалит. Пусть сгорю сама. Пусть лягу в поле. Соломин прав — лягу. Но перед тем — выкошу. Сколько успею.

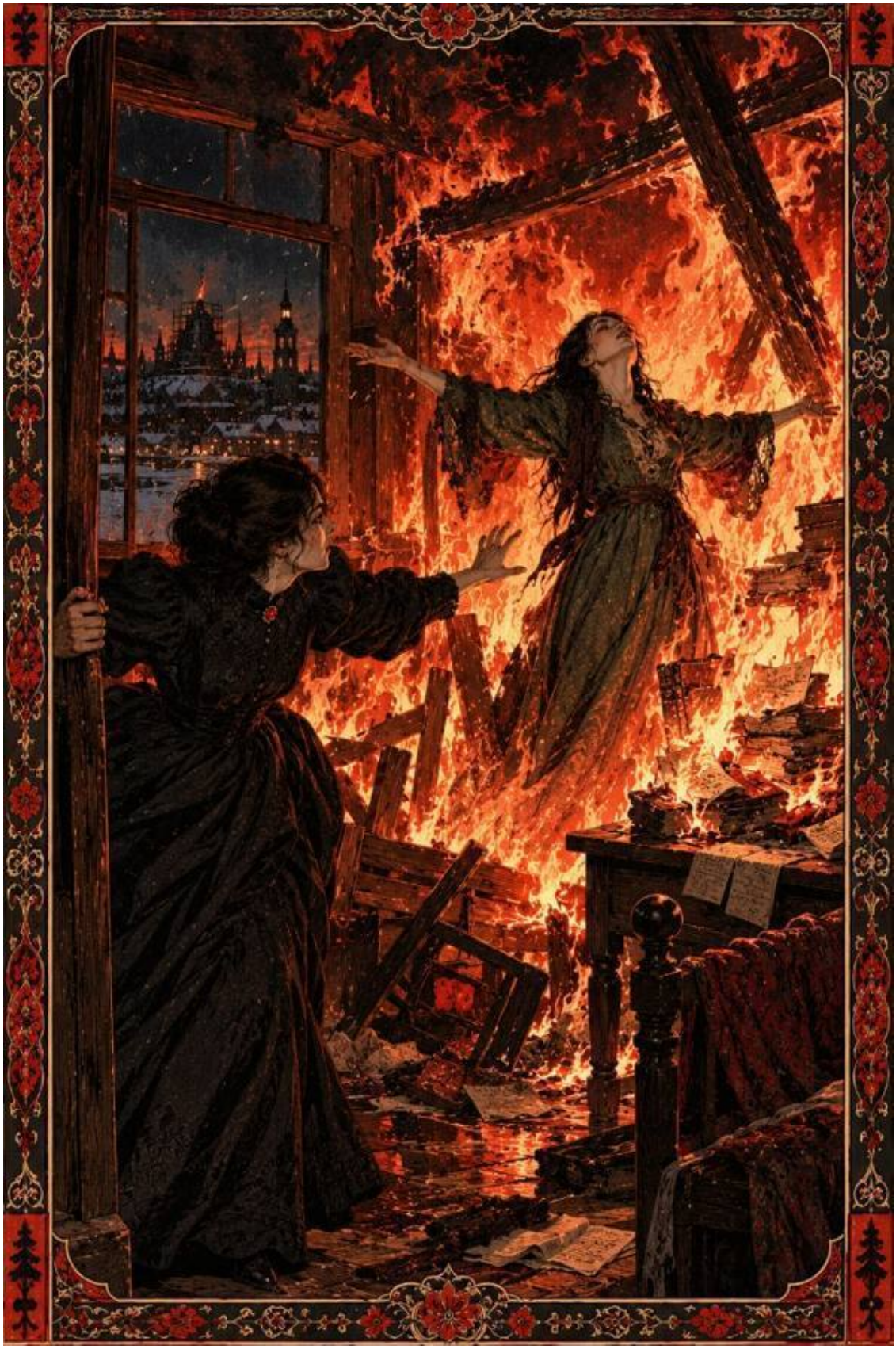
Конь бледный тронулся. И ад — вот он, вокруг, чёрный, дымящийся, пахнущий сожжённым другом, — ад следовал за ней.

Она пошла с пепелища — прочь, через Болото, к бабке, к Насте. В чёрном. По чёрной талой земле. Одна.

Позади дымилось пепелище. На нём, на золе, лежал бумажный венчик — «Святый Безсмертный, помилуй нас», — и ветер, тёплый весенний ветер, шевелил его, трепал, нёс по золе, пока не унёс куда-то, не закружил, не потерял.

А на горе звонили. Христос воскрес.

Воскрес — чтобы судить.



Глава 8. В женских руках

Жена да убоится мужа своего.

Апостол Павел

8.1. Три номера

Гостиница на Почтамтской была лучшей в Томске, и пахло в ней как в другом мире.

После пепелища — после гари, золы, сладковатого запаха сгоревшей Женьки, после Болота, где всю жизнь несло тиной, помоями, карболкой и развратом, — здесь пахло воском от натёртых полов, духами постояльцев, кофеем из ресторана внизу, чистым бельём. Ковровая дорожка на лестнице. Медные ручки, начищенные до блеска. Тишина, какой на Болоте не бывало никогда.

Маслова поднималась по этой лестнице — в чёрном платье, пропахшем дымом, с лицом в саже, которую не до конца отмыла, — и вела Настю. Настя шла, держась за стену, бледная, в жару, с перевязанной грудью под наспех надетым чужим платьем (своё сгорело), и каждый шаг давался ей с болью. Внизу, у конторки, хозяин гостиницы смотрел им вслед — двум женщинам с Болота, погорелицам, идущим наверх, к князю, — смотрел с тем выражением, какое бывает у человека, который хочет возмутиться, но боится.

Он боялся не зря. Маслова, проходя, положила ему на конторку три рубля и сказала тихо:

— Мы у князя поживём. Пока. Ты нас не видел, нас тут нет. Понял?

Хозяин посмотрел на три рубля. Потом на неё — на чёрную, прямую, с чёрными косящими глазами на закопчённом лице. И понял. Такие глаза он уже видел — у неё же, тысячной, о которой весь Томск знал. Он взял три рубля.

— Понял, — сказал он. — Нету вас.

Рыжий коридорный — тот самый, прилизанный, что служил когда-то половым в ресторане, что докладывал Нехлюдову о приезде Чехова год назад, — вынырнул из-за угла, глянул, узнал Маслову и попятился.

— И ты молчи, — сказала она ему, не останавливаясь. — Горячей воды наверх. Чистого белья. И не болтай. А то я про тебя много знаю. — Она знала — что он приворовывает у постояльцев, Женька когда-то рассказывала. — Много, рыжий. Понял?

— Понял, Катерина Михайловна, — пролепетал рыжий. И побежал за водой.

Так, за три рубля и за страх, она купила молчание гостиницы. Как покупала всё. Привычно, в одну минуту, даже не задумавшись. Она умела теперь это — брать людей за горло в первое же мгновение, одним взглядом, одним словом, одной монетой.

Нехлюдов занимал три номера.

Это было нелепо, избыточно, по-барски — три номера на одного опустившегося человека. В одном он когда-то спал. В другом — «думал»: там стоял стол, за которым он год назад писал по утрам покаянные дневники, читал Евангелие по главе, смотрел в окно и умилялся своему подвигу. В третьем — не пойми что, завален был вещами, книгами, грязным бельём.

Теперь все три номера были — как после погрома.

Маслова открыла дверь — незапертую — и остановилась на пороге.

Стоял тяжёлый, кислый, спёртый дух — немытого тела, перегара, табаку, чего-то прокисшего. Шторы задёрнуты, хотя был день: за ними — мутный полумрак. На полу — бутылки. Пустые, пустые, пустые. Коньячные, винные, какие-то лафитники. Одна, недопитая, стояла у кровати. На столе — том самом, где он «думал», — тоже бутылки, объедки на тарелке, засохшие, обсиженные мухами. Евангелие в чёрном переплёте валялось на полу, раскрытое, затоптанное, с отпечатком сапога на странице. Рядом — литографированные листки «Послесловия к „Крейцеровой сонате“», смятые, в винных пятнах.

А на кровати, поверх несвежего белья, в несвежей рубахе, лежал Нехлюдов.

Маслова не сразу его узнала.

Он похудел так, что скулы торчали. Оброс — не бородой даже, а неопрятной щетиной, седеющей. Волосы слиплись. Лицо — серое, опухшее, с мешками под глазами, с тем нездоро-

вым блеском спившегося человека. Руки — те самые белые барские руки с отполированными когда-то ногтями, которые она так ненавидела, — лежали поверх одеяла, и были они теперь не белые, а жёлтые, дрожащие, с обломанными грязными ногтями.

Князь Дмитрий Иванович Нехлюдов. Толстовец. Тот, что год назад, в этих самых номерах, вставал в восемь, умывался холодной водой, читал Евангелие и умилялся, что он не как прочие. Тот, что в белом офицерском кителе соблазнил её двенадцать лет назад. Тот, что в костюме пилигрима плясал на маскараде, пока умирал Симонсон. Тот, что приходил её спасать, сунув сто рублей в конверте.

Вот он. На дне. На самом дне.

Он открыл глаза. Мутные. Посмотрел на неё — на чёрную фигуру в дверях, в дыму и саже, — и не удивился. Он был слишком пьян, чтобы удивляться. Или слишком привык к тому, что она приходит, когда захочет.

— Катюша, — проговорил он сипло. Облизал сухие губы. — Ты… пришла. Я знал… ты придёшь… — Он попытался приподняться, не смог, упал обратно. — Выпьешь? Там… там есть ещё… — Он махнул жёлтой дрожащей рукой в сторону бутылок.

Маслова вошла. Настя за ней, цепляясь за косяк.

Она оглядела три номера. Молча. Медленно. Как оглядывала когда-то дом Анны Марковны, залу, комнату — хозяйским, оценивающим, запоминающим взглядом.

Вот до чего он дошёл.

И странное дело — она думала, что почувствует торжество. Она ведь этого добивалась. Она растоптала его — нарочно, своими руками, с наслаждением. Весь год. Валяла в грязи, читала Апокалипсис у своих ног, заставляла трогать плачущую Настю, брала сверху в красном, под Символ веры, доводила до того, что он сам себя возненавидел и запил. Она хотела этого. Это был её суд над ним, над его толстовством, над его белыми руками, над его «не как прочие».

Вот он — приговор приведён в исполнение. Князь на дне. Спившийся. Жёлтый. В бутылках, в блевотине, с затоптанным Евангелием.

Торжества не было.

Было — то же, что на пепелище над золой Женьки, то же, что на маскараде, когда она увидела его, пилигрима у стенки, которого все сторонятся. Усталость. И — впервые так ясно — жалость.

Простая, тёплая, человеческая жалость. Не к толстовцу, не к врагу, не к князю. К человеку. К живому существу, которое мучается, которое пропадает, которое — да, глупое, да, слабое, да, лицемерное, — но которое вот лежит тут, жёлтое, дрожащее, и говорит ей «я знал, ты придёшь», и это единственное, что у него осталось, — вера, что она придёт.

Женьку она потеряла. Любку. Она устала терять. Устала косить. А тут — живой. Спасти которого ещё можно. Не душу его толстовскую — тело, рассудок, жизнь. Поднять с этого дна.

И ещё — проще, честнее, без всякой жалости: он был ей ещё нужен. Деньги, связи, прикрытие. А спившийся, пропащий — не нужен. Нужен — живой, в себе, при деньгах и связях. Полумёртвый князь на дне бесполезен.

И ещё — совсем просто, по-бабьи, по-болотному: они с Настей привыкли. Привыкли к мужчине. К тому, что ночью — мужчина. Год в доме, где каждую ночь мужчины. Нельзя же оставить мужчину вот так — валяться без присмотра, пить, пропадать. Это было почти хозяйственное чувство. Как увидеть запущенную избу и захотеть прибрать.

Три причины — расчёт, привычка, жалость — сошлись в одно решение.

Она сняла чёрный платок. Повесила на спинку стула. И сказала — буднично, твёрдо, по-хозяйски, как говорят, засучивая рукава:

— Ну, Митенька. Хватит.

Она подошла к окну. Рванула шторы — разом, обе. Свет — яркий, летний, дневной — хлынул в номер, в полумрак, в кислый дух, на бутылки, на блевотину, на жёлтое опухшее лицо.

Нехлюдов застонал, зажмурился, заслонился рукой:

— Не надо… больно… свет…

— Надо, — сказала Маслова. — Хватит в темноте гнить.

Она распахнула окно. Впустила воздух — тёплый, летний, с запахом реки, пыли, цветущих где-то лип. Кислый дух потянуло вон.

Потом она прошлась по номерам — быстро, хозяйски. Собрала бутылки — все, пустые и недопитые, — вынесла в коридор, сунула опешившему рыжему: «унеси и больше не носи, князю водки не давать, я узнаю — тебе худо будет». Недопитую — ту, что у кровати, — Нехлюдов потянулся было, но она отобрала, вылила в окно, на мостовую.

— Катюша… — простонал он. — Оставь… одну… мне плохо без…

— Будет ещё хуже, — сказала Маслова. — Денёк потрясёт — переживёшь. Не помрёшь. А пить — всё. Кончено.

Она подняла с пола затоптанное Евангелие. Отряхнула. Положила на стол — но подальше, в угол, корешком к стене. И смятые листки «Крейцеровой сонаты» — тоже убрала, не выбросила, а сунула куда-то, с глаз.

— И это — хватит, — сказала она. — Начитался. Довело тебя твоё чтение — вон, до чего. Больше про грех, про душу, про целомудрие — ни слова. Запрещаю. Будешь нести религиозную чушь — уйду, и пропадай один.

Нехлюдов смотрел на неё — мутно, страдая, но покорно. Он отвык решать. Отвык противиться. Год он метался между Богом и Болотом, между похотью и покаянием, спивался в этом метании, — и вот пришла она, властная, чёрная, твёрдая, и всё решила за него: шторы открыть, бутылки вон, Евангелие в угол, пить нельзя, болтать нельзя. И от этого — от того, что за него решили, что его взяли в руки, — ему вдруг стало легче. Будто с него сняли непосильную ношу выбора, которую он не мог нести.

Он попал в женские руки. И эти руки были жёсткие — но твёрдые, но знающие, что делать. И это было — спасение. Хоть он ещё не понимал.

— Настя, — сказала Маслова. — Иди сюда. Садись, не стой, тебе нельзя, ты больная.

Настя села на стул — бледная, в жару, держась за перевязанный бок.

— Вот что, — сказала Маслова, оглядывая разгром номеров. — Поживём тут. Пока я дом не куплю. Неделю, две. Князя — в порядок приведём. Избу его свинскую — отмоем. Самого — отмоем, отоспим, откормим, лечить будем от пьянства. Ты, как оправишься, тут приберёшься, похозяйничаешь. Я буду днём ходить, дом искать, дела делать. А ты за ним гляди. Вот тебе и работа полегче — не в зале плясать, а за больным ходить. Тебе самой лечиться надо, и ему. Два больных, — усмехнулась она. — Выхаживай обоих.

Настя кивнула. Ей, кажется, понравилось. После пожара, после ожога, после ужаса — тихая работа: прибраться, походить за больным. Домашнее. Бабье. Спокойное.

— А он? — спросила Настя тихо, покосившись на Нехлюдова. — Он же… князь. А мы…

— А он теперь наш, — сказала Маслова. И посмотрела на Нехлюдова — лежащего, жёлтого, покорного. — Наш князь. В наших руках. Да, Митенька?

Нехлюдов смотрел на неё. Потом — на Настю. На двух женщин в своих разгромленных номерах. Одна — чёрная, властная, страшная, которую он любил и боялся и которая его не любила. Другая — светлая, кроткая, обожжённая, жалостливая. Две женщины, пришедшие с пепелища, погорелицы, проститутки, — пришедшие к нему, потому что им больше некуда, и взявшие его, пропащего, в свои руки.

И он — впервые за год, за весь свой пьяный мучительный год, — заплакал. Но не так, как плакал прежде — от жалости к себе, от надрыва, красиво. А просто — тихо, по-детски, от облегчения. От того, что он больше не один. Что пришли. Что взяли. Что будет кому решать за него, кормить его, не давать пить, ходить за ним.

— Останьтесь, — прошептал он. — Девочки… останьтесь… не уходите… мне без вас…

— Останемся, — сказала Маслова. — Куда ж мы денемся. Нам тоже некуда.

Она села на край его кровати. Положила руку ему на лоб — жёлтый, потный, горячий (он тоже был нездоров, пропитый). Как клала руку на лоб Симонсону. Как клала Любке. Как клала Насте.

— Спи пока, — сказала она. — Потрясёт тебя нынче без водки — терпи. Я тут. Настя тут. Спи.

Нехлюдов закрыл глаза. И, держась за её руку — за ту самую руку, что год его топтала, — заснул. Впервые за долгое время — спокойно.

Маслова сидела у его постели, пока он не заснул.

Потом встала. Подошла к открытому окну. Настя задремала на стуле, измученная, больная. Нехлюдов спал на кровати, дыша тяжело, по-пьяному, но спокойно.

А она стояла у окна и смотрела на Томск.

Отсюда, с Почтамтской, с горы, был виден весь город. Внизу, под горой, в долине Ушайки, — Болото. И там, где был дом Анны Марковны, во втором от моста, с зелёными ставнями, — там теперь чёрное пятно. Пепелище. Отсюда видно. Чёрная проплешина среди серых крыш. Там сгорела Женька. Там кончилась первая половина её войны.

А вот тут, наверху, в чистых номерах, пахнущих воском, — она, живая, свободная, с деньгами, с планом, — и спящий спасённый князь, и дремлющая обожжённая Настя. Странная троица. Погорельцы. Начинающие заново.

Она думала: год назад я поднялась сюда, на гору, в комитет, получать жёлтый билет. «Особых примет — нет». И спустилась вниз, на Болото, в дом. А теперь — снова наверху. Но уже не за билетом. Теперь я сама приду в комитет — сдавать билет. По указу. Выйти из списков. Стать чистой. Невидимой. Порядочной.

Из тысячной, из публичной женщины — в мещанку со средствами, в домовладелицу, в даму. Из красного фонаря — в чистые номера. Снизу — наверх.

Только это был обман, и она это знала. Наверх она шла не чтобы стать горой — а чтобы удобнее судить гору. Маска порядочной дамы — лучшая маска для той, кто косит. Невидимость — оружие.

Она посмотрела на спящего Нехлюдова.

Добрый он всё-таки, подумала она, и сама удивилась этой мысли. Глупый, слабый, лицемерный — а добрый. Не злой. Не как Привалов, не как Головин, не как Анна Марковна. Те — хищники, камни горы. А этот — просто заблудший. Хотел добра — а наделал зла, себе и другим, по глупости, по слабости. Таких, может, и не судить надо, а… жалеть. Выхаживать. Как больного ребёнка.

Она отогнала это. Опасная мысль. Толстовская. Жалость — яд. Нехлюдов её же этому и учил, своей жалостью, своим спасением, — и чуть не погубил. Нет. Не жалеть. Но — выходить. По расчёту. И по привычке. И — ладно, чуть-чуть — по жалости. По чуть-чуть. Можно.

Она отвернулась от окна. От пепелища внизу. От Болота.

Впереди был вечер. Первая ночь в чистых номерах. И — она уже знала — ночью она пойдёт к нему. Не выхаживать. По-другому. По-своему. Потому что мужчину, попавшего в женские руки, нельзя оставлять без женских рук до конца. Ни днём, ни ночью.

Она усмехнулась — впервые за много дней, невесело, но усмехнулась.

Попал ты, Митенька, подумала она. В женские руки попал. Теперь держись.

За окном садилось летнее солнце — за гору, за собор, за реку, за тот берег. Внизу чернело пепелище. А тут, наверху, в чистых номерах, начиналась новая, странная, короткая передышка — посреди войны, посреди косьбы, посреди ада.

8.2. В первую же ночь

В первую же ночь она пошла к нему.

Настя спала в соседнем номере — измученная, больная, провалилась сразу, как легла. А Маслова не спала. Она лежала в темноте, в чистой постели, пахнущей не Болотом, а воском и свежим бельём, слушала, как за стеной тяжело, по-пьяному дышит Нехлюдов, — и не спала.

Днём она решила — расчётом, привычкой, чуть-чуть жалостью — выходить его, поднять со дна. А ночью поднялось другое — то, что всегда поднималось, тёмное, тёплое, не спрашивающее разрешения. Год в доме, где каждую ночь мужчина. Тело привыкло. Тело не спрашивало, жалко ли его, нужен ли он, добрый ли он. Тело знало: за стеной — мужчина. И тело хотело.

И ещё — не только тело. Была мысль, холодная, ясная, поверх тёмного жара: его надо взять. Сейчас. Пока он на дне, слабый, покорный, отвыкший решать. Взять — чтобы он стал её. Окончательно. Не гостем по понедельникам, который платит сотню, а — её, в её руках, под её волей. Тело и власть, как всегда, шли вместе, одно подогревало другое.

Она встала. В темноте, голая, прошла через свой номер, через тёмную гостиную, к его двери. Открыла.

Он не спал тоже. Лежал в полумраке — светила одна лампа, прикрученная, — жёлтый, обросший, с запавшими глазами, с дрожащими руками поверх одеяла. Его трясло без водки — первая ночь без вина за месяцы, ломало, крутило. Он мучился.

Увидев её — чёрный силуэт в дверях, голую, с распущенными волосами, — он застонал. Не от желания сначала. От муки.

— Катюша… — просипел он. — Дай выпить… одну рюмку… мне плохо… я не могу… всего трясёт…

— Не дам, — сказала Маслова. — Пить ты у меня больше не будешь. Никогда.

Она вошла. Закрыла дверь. Подошла к кровати. Села на край — голая, в полумраке, пахнущая не духами уже, а собой, телом, чистой кожей после пепелища.

— Я тебе другое дам, — сказала она. — Получше водки.

И наклонилась к нему.

Она взяла его — как всегда, в своём стиле. Сверху. Властно. Доминируя.

Он был слаб — спившийся, трясущийся, выжатый. Но тело его, мужское, живое, отозвалось — не могло не отозваться, когда она села на него, когда взяла его руки и прижала к постели, когда навалилась чёрными тяжёлыми волосами ему на лицо. Отозвалось — жадно, отчаянно, как отзывается тело больного на единственное, что ещё даёт ему жизнь.

И пока она двигалась на нём — медленно, властно, не давая ему ни воли, ни передышки, держа его руки, держа его всего под собой, — она говорила. В самое лицо. Ровно. Вперемежку со своим дыханием, со своим нарастающим жаром, — но твёрдо, по-хозяйски, вбивая каждое слово, как вбивают гвоздь:

— Слушай меня, Митенька. Теперь будет так. Пить ты больше не будешь — ни капли. Я отобрала. Будешь трястись — перетерпишь, я рядом. Через неделю отпустит. — Она качнула бёдрами, он застонал. — Евангелие твоё я в угол убрала. Больше не читаешь. И про грех, про душу, про целомудрие своё — ни слова мне. Надоело. Довело оно тебя — вон, до дна. Хватит.

Он слушал — сквозь муку, сквозь жар, сквозь дрожь. И под её телом, под её словами, под её властью — ему становилось легче. Будто с него снимали что-то. Будто решали за него.

— Настя у тебя тут приберётся, — говорила она, двигаясь, задыхаясь, но не теряя нити. — Избу твою свинскую отмоет. За тобой ходить будет — кормить, поить, лечить. Я днём по делам, дом ищу. А вы тут вдвоём. Она добрая, она тебя выходит. — Она усмехнулась, близко, ему в губы. — Попал ты, Митенька, в женские руки. Теперь мы тобой распоряжаемся. Ты — наш. Понял?

— Понял… — выдохнул он. И это было не только про условия. Это было — обо всём. Он сдавался. Весь. В её руки. С облегчением сдавался.

— Ты теперь не князь, — шептала она, и жар в ней поднимался, и голос садился. — Не толстовец. Не спаситель. Ты теперь — наш. Мой и Настин. Мы тебя подобрали, как… как котёнка приблудного. И будем держать. Кормить. И вот это давать. — Она прижала его сильнее. — А ты будешь слушаться. Да?

— Да, — простонал он, кончая. — Да, Катюша… что хочешь… только не уходи… держи меня…

И она держала.

Это было не так, как раньше.

Раньше, весь год, когда она брала его сверху — это был суд. Приговор. Она топтала его, валяла в грязи, доказывала ему, что под толстовцем — зверь и раб, читала Апокалипсис у своих ног, наслаждалась его падением. Это была ненависть. Власть-ненависть.

А теперь — ненависти не было. Куда-то делась. Выгорела, может, в пожаре, вместе с Женькой, вместе с домом. Осталась — власть, да. Она доминировала, держала, распоряжалась. Но под властью было другое — не ненависть, а что-то почти хозяйственное, почти заботливое. Как берут в руки запущенное, пропащее — и выхаживают, через силу, по-своему, жёстко, но выхаживают. Она брала его — и спасала. Одним и тем же движением. Телом возвращала его к жизни. Отбирала у водки, у смерти, у дна — и забирала себе.

И ему это было — спасение. Он чувствовал это сквозь муку и жар: эти руки, эта тяжесть, эта власть над ним — держат его, не дают упасть дальше, на самое дно, в смерть. Он год падал — а теперь кто-то держал. Жёстко. Но держал.

Она довела его — и себя. Он кончил — слабо, судорожно, со стоном-рыданием, как кончает выжатый, больной, но живой человек. А она — после, над ним, запрокинув голову, тем своим тёмным долгим жаром, который был ей теперь нужен как воздух, как хлеб.

Потом она легла рядом. Не ушла. Легла — к нему, обняла его, жёлтого, трясущегося, потного, — обняла, прижала, как прижимают больного ребёнка, чтоб согрелся, чтоб уснул.

— Спи, — сказала она. — Я тут. Трясёт — терпи. Я держу. Спи, Митенька.

И он — держась за неё, за ту, что год его губила и вот теперь спасала, — заснул. Спокойно. Без водки. Впервые.

Она не спала ещё долго.

Лежала в темноте, обнимая спящего Нехлюдова, слушая, как он дышит — всё ровнее, всё спокойнее, — и думала.

Странно, думала она. Весь год я его топтала. Ненавидела. Судила. А сейчас — обнимаю, выхаживаю, держу, чтоб не пропал. И не из расчёта только — расчёт был днём, холодный. А сейчас — ночью — что-то другое. Жалость? Привычка? Не знаю. Что-то бабье, тёплое, глупое. Хочется, чтоб он жил. Чтоб не пропал. Добрый он всё-таки. Глупый, а добрый.

И тут же — холоднее — другая мысль, та, что всегда приходила, когда она ловила себя на тепле: осторожно. Это яд. Это то самое, толстовское, жалостливое, спасательное, чем он сам чуть не погубил меня. Жалость — ловушка. Привяжешься — ослабнешь. А мне нельзя слабеть. У меня дело. Мне косить.

Но — она посмотрела на спящего, на жёлтое его лицо, ставшее во сне спокойным, почти детским, — но ведь один раз можно? Чуть-чуть? Передышка ведь. Война подождёт. Женьки нет, Любки нет, я устала терять. Пусть хоть этот — поживёт. Выхожу его. А потом отпущу — к его толстовцам, к его добру. Пусть едет, спасает страну от голода, дурак. Ему там место. А мне — здесь. Коса тут. А он — лопата. Не наше дело косе и лопате вместе. Разное.

Она уже знала, чем это кончится. Знала, засыпая, обнимая его: она его выходит, поставит на ноги, насытит, успокоит — и он прозреет. Поймёт, что она не его. Что ему — к толстовцам, а ей — к косе. И уедет. И это правильно. Это и будет — отпустить его, как обещала. Весной

обещала — вот, летом исполню. Не прогоню, не убью, не растопчу до конца — а выхожу и отпущу. Живого. В его жизнь.

Это было почти доброе дело. Самое доброе, на какое она была способна.

Она закрыла глаза. Нехлюдов спал у неё на плече. За стеной спала больная Настя. За окном стоял летний томский рассвет. Внизу, под горой, чернело пепелище.

Попал ты в женские руки, Митенька, подумала она, засыпая. Да только руки эти — последние добрые руки в твоей жизни. Другие такими уж не будут. Ни у кого. Пользуйся, пока держим.

И заснула — обнимая того, кого год назад поклялась судить.

8.3. Настя прибирается

На третий день Катя с утра ушла — по делам, искать дом, — и Настя осталась с Нехлюдовым одна.

Ей было уже легче. Ожог подживал под бабкиной мазью: грудь ещё ныла, стягивало кожу на левом боку, но жар спал, и Настя могла ходить, двигаться, работать. А работать ей хотелось. После пожара, после ужаса, после жара тихая домашняя возня была как выздоровление — прибраться, навести порядок, похозяйничать. Это успокаивало, как успокаивает всякую бабу привычное дело.

И номера того требовали.

За два дня Катя отучила Нехлюдова от водки — отобрала бутылки, не давала ни капли. Его трясло, ломало, он потел и стонал, звал вина, а она держала твёрдо: поила чаем, бульоном, мочёной клюквой, обнимала по ночам, держала, не пускала назад, на дно. И к третьему дню худшее прошло. Руки ещё дрожали, но взгляд прояснился, бред кончился. Он уже не лежал пластом — сидел в постели, обросший, слабый, жёлтый, но живой, и смотрел на мир почти осмысленно.

А номера так и стояли свинушником — грязные, прокисшие, захламлённые за месяцы запоя.

Настя засучила рукава и взялась.

Она мыла, тёрла, выметала.

Распахнула все окна — впустила летний воздух, запах реки, цветущих лип с бульвара. Вынесла последний сор — засохшие объедки, какие-то тряпки, бумаги. Вымыла пол — на коленях, тряпкой, как мыла в детстве в родительской избе, до тифа, до сиротства, до всего. Перестелила постель свежим бельём, которое натаскал запуганный рыжий. Вытерла пыль с мебели, с подоконников, с зеркала. Начистила медные ручки.

И пока она работала — нагнувшись, в одной нижней юбке и кофте (жарко было, да и платье берегла, оно теперь одно), с подоткнутым подолом, с голыми руками, раскрасневшаяся, — Нехлюдов смотрел на неё с кровати.

Он смотрел — и оживал.

Она была хорошенькая. Он не замечал этого раньше — в доме, в бреду, в своём метании. А теперь, трезвея, он видел: молоденькая, светловолосая, с ямочками, с тонкой шеей, с мягкими движениями. Она мыла пол, нагнувшись, — и нижняя юбка натягивалась, и видно было круглые бёдра; она тянулась вытереть зеркало — и кофта поднималась, открывая поясницу; она отводила со лба светлую прядь мокрой рукой — и улыбалась ему, ласково, по-доброму, без той страшной власти, что была у Кати.

Катя была — чёрная, тяжёлая, властная, страшная. Катя брала его сверху, держала, судила, вбивала слова. С Катей было — спасение, но спасение жёсткое, как лекарство, как операция.

А Настя была — светлая, мягкая, тёплая, добрая. От неё веяло не властью, а уютом. Не судом, а лаской.

И Нехлюдов, трезвеющий, оживающий, мужчина, которому возвращалась жизнь вместе с телесной силой, — смотрел на хлопочущую Настю, на её бёдра, на её шею, на её ямочки, — и чувствовал, как поднимается в нём давно забытое: не похоть даже, а тихое, тёплое, человеческое желание. Не Катино, страшное, судное. А простое. Как хочется здорового, светлого, доброго.

Настя заметила.

Она шлюха была — полгода уже, Катей выученная, — и мужской взгляд чуяла кожей. Она заметила, как он смотрит. Как оживает. И — Насте стало приятно, и щекотно, и захотелось.

Ей было скучно. Прибралась — а дальше что? Катя до вечера не придёт. Больной выздоравливает, смотрит на неё маслеными уже глазами. А в Насте — то самое, что Катя полгода в ней растила, выхаживала, разжигала: неутолимая, бездумная, животная охота. Её тело привыкло. Её тело требовало. Три клиента за вечер в доме — а тут уже третий день без мужчины, на лечении, на выхаживании. Тело скучало.

И мужчина — вот он, под рукой. Выздоравливающий. Смотрящий. Хотящий. Свой, домашний, не страшный, не то что Катины купцы или садист Порфирий. Добрый князь, которого они выхаживают.

Отчего ж нет, подумала Настя. Катя не заругает — Катя сама говорила «ходи за ним, выхаживай». Вот и выхожу. По-своему. Что ж тут дурного? Ему же польза. И мне — радость.

Она не рассуждала так словами — у Насти и слов-то таких не было. Она просто — почувствовала. Скучно, охота, мужчина смотрит, можно. И — пошла.

Она кончила прибираться. Отжала тряпку. Опустила подоткнутый подол — нарочно медленно, чтоб он видел. Подошла к кровати — будто поправить подушку, одеяло.

— Ну вот, — сказала она ласково. — Чистенько теперь. Хорошо. Выздоравливаешь, Дмитрий Иваныч. Уж и щёки порозовели.

Она наклонилась — поправить подушку за его спиной, — и грудью, кофтой, теплом коснулась его лица. Нечаянно будто. Он замер. Втянул запах — молодого тела, мыла, чистого пота после работы.

— Настя… — проговорил он.

— Что, миленький? — Она не отстранилась. Наоборот — ближе. — Чего тебе? Подушку поправить? Попить? Или… — Она посмотрела на него снизу, светлыми глазами, ласково, зовуще, как научилась смотреть на гостей. — Или чего ещё хочешь?

Он потянулся к ней — робко, неуверенно, отвыкшей за месяцы запоя, больной рукой.

— Можно ли… — прошептал он. — Катя… Катя не…

— Катя велела за тобой ходить, — сказала Настя, и сама засмеялась тихо, забираясь к нему на кровать, прижимаясь. — Вот и хожу. По-всякому. И это — тоже уход. Тебе ж полезно, миленький. Не всё лекарствами. — Она обняла его. — Лежи. Я сама. Тебе нельзя напрягаться, ты больной. Я всё сама сделаю. Ты только лежи да радуйся.

И она сделала — сама.

Кротко, ласково, умело. Без Катиной власти, без суда, без вбиваемых слов. Просто — тепло, нежно, по-доброму. Она ласкала его — выздоравливающего, слабого, оживающего, — как выхаживают, как жалеют, как любят. Она отдавалась ему мягко, податливо, с тихими вздохами, — и ему, после Катиной страшной жёсткости, это было как бальзам. Как тёплая вода. Как дом.

Катя — лечила телом жёстко, как операцией. А Настя — лечила телом мягко, как лаской, как теплом.

И обе лечили. Обе выхаживали. Каждая — по-своему.

Нехлюдов лежал с кроткой Настей, оживающий, почти счастливый, и думал сквозь тёплый туман: вот оно… вот чего мне не хватало весь год… не Евангелия, не покаяния, не графа… а этого — тепла, тела, доброй бабы рядом… вот отчего я спился… от одиночества, от холода, от того, что метался и мучился… а надо было — просто вот так… просто чтоб кто-то выходил, обогрел, приласкал…

Он не знал ещё, как он прав. Как близко он подошёл к той простой, страшной для толстовца правде, которая его и спасёт, и отпустит: что мучило его не отсутствие Бога, а отсутствие тепла; и что спасает его не дух, а плоть; и что весь его надрыв — от неудовлетворённости, душевной и телесной разом.

Он не знал. Он просто — выздоравливал. В руках кроткой Насти. Как выздоравливал ночами в руках властной Кати.

Две пары рук. Жёсткие и мягкие. Суд и ласка. И обе — спасали.

Настя только одного не дала — груди.

Левой. Обожжённой.

Когда он, оживая, потянулся к её кофте — расстегнуть, обнажить, — Настя вдруг переменилась. Отстранила его руку. Быстро, испуганно.

— Не надо, — сказала она. — Туда не надо. Не трогай.

— Отчего?

— Не надо, — повторила она тихо, и ласковость её на миг сменилась тем прежним, забитым, стыдливым. — Я… там… обожглась я. В пожаре. Страшно там. Не гляди. Не трогай.

Она не сняла кофту. Легла так, чтобы левый бок был от него, в тени, прикрыт. Прятала.

Нехлюдов не настаивал. Он был деликатен даже сейчас, даже больной, даже в постели с проституткой — что-то барское, воспитанное, оставалось. Он не тронул. Обнял её правый, здоровый бок, прижал ласково.

— Бедная, — сказал он. — Обожглась… больно было?

— Больно, — прошептала Настя. И вдруг — от этого простого «бедная», от жалости в его голосе, какой ей давно никто не говорил, — у неё навернулись слёзы. Она уткнулась ему в плечо. — Страшная я теперь стала, Дмитрий Иваныч. Грудь-то… вся в рубцах будет, бабка сказала. Навек. Кто ж меня такую… кому нужна порченая…

— Ну что ты, — сказал Нехлюдов, гладя её по светлым волосам. — Что ты, глупенькая. Ты хорошая. Ты добрая. А рубец… рубец — это не главное. Душа главное. У тебя душа хорошая.

Душа. Настя заплакала сильнее — от этого слова, которого ей никто не говорил. У тебя душа хорошая. Для Кати она была — тело, орудие, руки, сучка (ласково, но так). Для гостей — товар. А этот глупый, добрый, пропащий князь сказал: душа. Хорошая душа.

И Настя — вдруг, сквозь слёзы — почувствовала к нему то, чего не чувствовала к Кате, к которой у неё были страх, обожание, покорность, рабская преданность. К Нехлюдову — она почувствовала простую нежность. Жалость. Теплоту. Как к равному. Как к такому же пропащему, обожжённому жизнью, доброму и несчастному.

Они лежали, обнявшись, — больной спившийся князь и обожжённая проститутка, — два жалких, искалеченных, добрых существа, прибившихся друг к другу в чистых номерах, пока жёсткая, чёрная, страшная Катя ходила по городу и покупала дом для войны.

И им было — тепло. Обоим.

Вечером пришла Катя.

Усталая, в чёрном, в пыли городских улиц — ходила весь день, смотрела дома, торговалась, хлопотала. Вошла — и сразу увидела. По Насте — разрумянившейся, присмиревшей, с виноватыми глазами. По Нехлюдову — ожившему, чище, спокойнее, с тем особенным мужским довольством, которого не скроешь.

Она поняла в одну минуту. Она всё понимала в одну минуту.

Настя, пунцовая, кинулась было оправдываться — забормотала, что прибралась, что выхаживала, что он больной, что оно само…

— Тихо, — сказала Катя. Беззлобно. Устало. Даже с усмешкой. — Чего всполошилась. Прибралась? Прибралась. Выходила? Выходила. Чистенько тут у вас, хорошо. — Она оглядела вымытые номера. — Молодец. Хозяйка.

Настя смотрела на неё, не веря, что не ругают.

Катя села на стул, стянула пыльные башмаки, вытянула усталые ноги. Посмотрела на двоих — на присмиревшую Настю, на ожившего Нехлюдова. И — ничего. Ни ревности, ни злости. Какая ревность. Она Нехлюдова не любила, никогда не любила, и он ей был — не мужчина даже в том смысле, а дело: выходить и отпустить. А что Настя с ним спит — так Насте нужен секс, Катя сама её такой сделала. И ему нужен. И, если честно, это даже на руку: Настя

его обихаживает и телом тоже, значит, выздоравливает он быстрее, значит, скорее можно будет отпустить.

Но об этом — вечером, в разговоре с Настей, отдельно. А пока — она просто устала, и ей было почти хорошо смотреть на эту мирную картину: чистые номера, выздоравливающий человек, прибравшаяся девочка. Почти семейное. Почти доброе. Передышка.

— Есть будем? — сказала она. — Настя, вели рыжему принести чего. Не мясного — князю нельзя пока жирного, печёнку посадил. Кашки, бульону. И нам. Проголодалась я за день.

И это «нам», это хозяйственное, будничное, — вдруг сделало их всех троих чем-то вроде семьи. Странной, уродливой, невозможной — спившийся князь и две проститутки, одна властная, другая обожжённая, — но семьи. На час. На эту летнюю передышку. Посреди войны.

Нехлюдов смотрел на них — на двух женщин, чёрную и светлую, суд и ласку, — и впервые за год, может, за много лет, чувствовал что-то похожее на покой. На дом. На то, чего у него, богатого, знатного, одинокого, не было никогда.

Пока — он просто был счастлив. Тихо. По-больному. В женских руках.

8.4. Марксизм для дурочек

— Настя, — сказала Катя однажды утром. — Я билеты наши сдала. Жёлтые. Оба. Вчера, в комитете. Мы с тобой больше не проститутки.

Настя подняла голову от шитья. Не поняла сначала.

— Как это — не проститутки?

— А так. По указу вышло — поселенкам послабление. Я выхлопотала. Сдала билеты, вернули нам виды на жительство. Чистые. Я теперь — мещанка томская, при деньгах. А ты — при мне, воспитанница. Не билетные девки, не поднадзорные. Порядочные. В списках нас больше нет.

Настя смотрела на неё, медленно переваривая. Потом лицо её осветилось — детской, глупой радостью:

— Так мы теперь… честные? Как барыни?

— Как барыни, — усмехнулась Катя.

— И на осмотр к немцу больше не ходить? С зеркалом этим? По субботам?

— Не ходить.

— И никто нас варначками, шлюхами…

— В глаза — побоятся. Я теперь дама со средствами. А ты при мне.

Настя вдруг заплакала — от радости, тихо, по-бабьи, уткнувшись в шитьё. Она не понимала указов, не понимала, как это вышло, что Катя там выхлопотала. Она понимала одно: не надо больше идти на гору, в комитет, ложиться в кресло, раздвигать ноги перед немцем с холодным зеркалом; не надо носить жёлтую книжку, клеймо; не быть больше в списках, среди поднадзорных, среди «публичных». Чистая. Как барыня.

— Спасибо, Катерина Михайловна, — прошептала она. — Благодетельница вы моя. Святая.

— Не святая, — сказала Катя. — И не благодетельница. Просто так умнее. Для дела. — Она села напротив. — Вот о деле и поговорим, Настя. Пора тебе понять кое-что. Голову тебе включить. А то ты у меня всё телом да телом живёшь, а головой — нет.

Катя задумала это после случая в доме, перед пожаром, — когда Настя, напуганная, начала складывать два и два: кто купца отравил, что за вино, зачем сулему к Нане. Тогда Катя залила эти опасные мысли похотью, утопила в теле. Но поняла: так не удержишь. Дура с нечистой совестью, со страхом, с непонятыми обрывками — опасна. Проболтается, покается, выкинет что. А надо, чтоб Настя действовала осмысленно. По убеждению. Чтоб понимала — за что. Чтоб не металась от страха, а твёрдо знала: мы правы, мы судим, мы за правду.

Для этого надо дать ей идею. Объяснить, как устроен мир. Чтоб Настя не слепо руки протягивала — вино подать, сулему спрятать, — а понимала, во имя чего.

Соломин ведь говорил: просвещать народ. Нести ему правду. Чтоб поднялся сознательно. Вот и Настя — её маленький народ. Один человек. С него и начать. Просветить. Сделать из слепого орудия — сознательную соратницу.

Катя села поудобнее, собралась с мыслями — как объяснить попроще, для дуры, — и начала:

— Слушай, Настя. Я тебе объясню, отчего мир так устроен и почему мы с тобой правы, что воюем с ним. Это учёные люди придумали, умные, по книгам. Я читала. Теперь тебе перескажу, попросту.

Настя отложила шитьё. Приготовилась слушать — старательно, преданно, как слушала всё, что говорила Катя.

— Вот смотри, — сказала Катя. — Есть на свете те, кто работает. Руками. Мужики пашут, рабочие на фабриках, девки вот в доме телом работали. Это одни. А есть те, кто не работает,

а чужим трудом живёт. Хозяева. Купцы, помещики, фабриканты, Анна Марковна наша. Они сами не пашут, не ткут, не телом — а деньги гребут. Откуда деньги? Из работников. Понимаешь? Вот ты в доме за ночь приносила, скажем, десять рублей. А тебе сколько доставалось?

— Треть, — сказала Настя. — Три рубля с малым.

— Три. А семь — Анне Марковне. За что? Она лежала с гостем? Нет. Ты лежала. А деньги — ей. Вот это и есть — как учёные называют — прибавочная стоимость. То, что ты наработала, а взяли с тебя. Даром. Семь рублей твоего труда — Анне Марковне, ни за что.

Настя наморщила лоб. Это она понимала. Это было про неё, про дом, про знакомое.

— Ага, — сказала она. — Это да. Это нечестно. Мы, значит, спину гнём — а ей деньги.

— Вот! — обрадовалась Катя. — Поняла! И так везде, Настя. Не только в доме. Везде так. Мужик у Привалова золото моет в ледяной воде — а золото Привалову. Рабочий на заводе спину гнёт — а завод хозяину. Все работают — а живут с этого немногие. Горстка. Они наверху — а работники внизу. И держат их внизу — законом, полицией, попами, долгами. Чтоб не поднялись. Чтоб гнули спину и молчали. Понимаешь теперь, как устроено?

— Понимаю, — закивала Настя. — Богатые бедных обирают. Это давно известно. Это и батюшка в церкви… нет, батюшка говорил терпеть…

— Вот! — сказала Катя. — Батюшка и говорил терпеть. Потому что батюшка — заодно с богатыми. Ему тоже с бедных кормиться. Церковь говорит: терпи, на том свете воздастся. А это обман. Чтоб ты терпела и не бунтовала. А надо не терпеть. Надо — отнять. Отнять у богатых то, что они у работников награбили. И поделить по справедливости. Чтоб все работали и все жили. Вот за это умные люди и воюют. Революционеры. И мы с тобой — тоже воюем. Понимаешь, Настя? Мы не просто мстим, не просто деньги берём. Мы — за справедливость. За всех. За бедных. Против богатых. Вот наше дело.

Настя слушала. Старательно. Кивала. Лицо её было напряжённое, сосредоточенное — она изо всех сил пыталась понять, удержать в голове.

— Поняла, Настя?

— Поняла, Катерина Михайловна.

— А ну перескажи. Своими словами. Чтоб я видела, что поняла.

Настя подумала. Собралась. И пересказала — своими словами:

— Значит, так. Есть богатые — Анна Марковна, Привалов, купцы. Они плохие. Они у нас, у бедных, всё отымают. Мы работаем — они деньги гребут. Это нечестно, это грех. — Пока хорошо, Катя кивнула. Настя, ободрённая, продолжала: — А надо у них всё отнять обратно. И нам забрать. Потому что это наше, мы наработали. — Катя кивнула опять. И тут Настя закончила, радостно, по-своему: — Вот мы и отняли у того купца деньги, когда он помер. Правильно сделали. Его деньги — они ж краденые, он купец, он мужиков обирал. А мы — бедные, нам можно. И убить его можно было — он богатый, он плохой. Это не грех. Это справедливость. Богатых убивать и грабить — не грех, а правое дело. Так?

Катя осеклась.

Вроде бы — Настя поняла. Повторила почти правильно. Прибавочная стоимость — ухватила. Богатые обирают бедных — ухватила. Отнять и поделить — ухватила.

Но вывод сделала — свой. Дурацкий. Страшный. Короткий, как обух.

«Богатых убивать и грабить — не грех».

Вся сложность — про систему, про строй, про справедливость для всех, про историю, про то, что не люди виноваты, а устройство, что нельзя просто резать и грабить, что Маркс как раз говорил — не личная месть, а переделка строя, — вся эта сложность в Настиной голове слетела, выпарилась, и осталось — голое, простое, уголовное: богатый — значит плохой, плохого можно убить и ограбить, и это не грех, а правое дело.

Катя дала ей идею — а Настя поняла её как разрешение. Индульгенцию. Отпущение грехов вперёд. Убивай и грабь богатых — и ты права, ты за справедливость, греха нет.

— Не так, — сказала Катя. — Погоди. Не совсем так.

— А как? — удивилась Настя. — Вы ж сами сказали — отнять у богатых, они плохие, грабят нас…

— Сказала. Но не просто — убивай и грабь. Это сложнее. Тут… тут не в том дело, что убить можно, а в том, что… что строй надо менять… что не люди виноваты, а… — Катя запуталась. Как объяснить дуре разницу между революционной справедливостью и уголовщиной, когда она сама-то, Катя, эту разницу держала на честном слове, на тонком волоске самооправдания? Когда она сама отравила купца и за деньги, и за месть, а «революционной справедливостью» это только обозвала?

Настя смотрела на неё, честно не понимая, в чём разница.

— Да как же, Катерина Михайловна, — сказала она простодушно. — Купца-то мы убили? Убили. Деньги взяли? Взяли. На дело пойдут, на хорошее. Значит, правильно. Богатого — убить и ограбить — за бедных. Чего тут непонятного? Я поняла. Я теперь знаю. Я за справедливость. — Она просияла. — Я теперь сознательная!

Катя смотрела на свою «сознательную» Настю — и ей стало холодно.

Вот оно. Вот что выходит, когда несёшь идею в народ. В голову дуры. Соломин прав был — не поймут. Или поймут превратно. Она дала Насте стройное, сложное, умное учение — про труд, про стоимость, про строй, про справедливость. А Настя выжала из него одну каплю, самую простую и самую страшную: можно убивать и грабить богатых, греха нет.

Тонкое учёное здание Маркса, все его оговорки, вся его диалектика («не люди — система», «не месть — революция», «не хватай зелёную историю руками») — всё это в Настиной голове не удержалось, осыпалось, и осталась голая уголовная формула с идейной наклейкой.

И страшнее всего было то, что Настя была — не одна такая. Настя была — народ. Миллионы Насть. И если нести им идею — они поймут вот так. Выжмут простое и страшное. «Богатых грабить — не грех». И пойдут грабить и резать — с чистой совестью, с «сознательностью», с индульгенцией в дурной голове.

Вот что будет, подумала Катя с внезапным, холодным ужасом. Когда идея дойдёт до масс. Не справедливость будет — а резня. Не переделка строя — а грабёж с идейной отговоркой. Соломин несёт им Маркса, Лаврова, тонкое, сложное, доброе — а дойдёт до них вот так, как до Насти: убивай богатых, греха нет. И будет кровь. Много крови. Бессмысленной.

И ещё страшнее — кривое зеркало. Потому что Настя-то поняла её, Катю, правильно. Не Маркса — Катю. Катя ведь и вправду убила купца и за деньги, и за месть, а «справедливостью» прикрыла. Настя своим дурацким умом выхватила самую суть Катиного дела, сорвала идейную обёртку и назвала вещь своим именем: убили богатого, взяли деньги, потому что можно. Настя не исказила Катю — Настя её обнажила. Показала, что под Катиной «революционной справедливостью» лежит та же простая уголовщина, что и в Настиной голове. Только Катя прячет это за книгами, за Марксом, за «судом», а Настя — выложила голо.

Устами дуры — правда, подумала Катя. Я ей идею несла — а она мне зеркало поднесла. Я такая же. Только слов больше знаю.

Трещина-волосок дрогнула. Опять.

— Ну… — сказала Катя наконец, устало. Не стала спорить, объяснять разницу, которую сама не могла толком удержать. — Ладно. Пусть так пока. Сознательная. На практике поймёшь лучше, чем из моих слов. Делай, что я говорю, — и всё будет правильно.

— Хорошо, Катерина Михайловна, — обрадовалась Настя. — Я делаю. Я всё делаю. Вы только говорите.

Делай, что я говорю. Вот и всё просвещение. Вот и весь народ, поднятый к сознательности. Делай, что велит вождь, — и будешь прав. Не понимай — слушайся. Катя хотела сделать

из слепого орудия — сознательную соратницу, а вышло то же слепое орудие, только теперь с индульгенцией в голове: «я за справедливость, мне всё можно».

Может, оно и к лучшему, подумала Катя, заглушая холодок. Сознательный спорит, сомневается, своевольничает. А орудие с индульгенцией — слушается и не мучается совестью. Насте так даже спокойнее — теперь она не будет терзаться, кто купца убил: убили богатого, за справедливость, не грех, можно спать спокойно. Я ей совесть-то и успокоила. Этой самой «азбукой». Дала отпущение.

Вот чем обернулось просвещение: не пробуждением совести, а её усыплением. Настя больше не будет мучиться виной — потому что теперь «знает», что права. Опасность снята. Но снята — ценой того, что Настя теперь искренне, сознательно, с чистой совестью готова убивать и грабить «богатых». Из забитой жертвы — в идейную уголовницу. Катя сделала её опаснее, чем была.

Соломин несёт народу свет, думала Катя, и свет этот в народе оборачивается пожаром. А я и не свет несу — я уголовщину, прикрытую светом. И у меня в руках этот пожар разгорается быстрее.

— Иди, — сказала она Насте. — Шей. Хватит на сегодня науки.

Настя взялась за шитьё — довольная, умиротворённая, «сознательная», с чистой совестью убийцы, которой объяснили, что она не убийца, а борец за справедливость. Напевала что-то тихонько. Счастливая.

А Катя сидела и думала: вот тебе и революционер и массы. Один урок дала — и ужаснулась. Что ж будет, когда миллионам таких дадут идею в руки. Когда «богатых грабить — не грех» пойдёт по всей России, по заводам, по деревням, по Настиным дурным головам. Соломин, Рахметов, я, все мы — несём спичку к стогу. И думаем, что несём свет. А несём — пожар.

Она посмотрела в окно — вниз, на Болото, где чернело пепелище её дома.

Я один дом сожгла, подумала она. А их — миллионы. И у каждого в голове — Настина азбука: богатых жечь, не грех. Вот и спалят всё. Всю Россию. Дотла. И будут правы — по-своему, по-Настиному, с чистой совестью.

Царствию не будет конца, вспомнила она. Чьему царствию? Вот чьему. Царствию Насть с индульгенцией. Царствию пожара.

Ей стало страшно — по-настоящему, холодно, ясно. Не за себя. За то, что будет. За то, к чему она сама прикладывает руку.

Но — она отогнала это. Как всегда. Поздно думать. Лавина идёт. Коса косит. А что потом вырастет на покошенном поле — Настина ли азбука, холодный ли марксист, бессмысленная ли кровь, — то потом. Сейчас — дело. Купец отомщён, дом сожжён, билеты сданы, дом покупается, Пти-Пари строится. Вперёд.

Она встала. Надо было идти — опять по делам, смотреть дом, хлопотать. Война ждала.

А Настя шила и напевала, сознательная, счастливая, с индульгенцией в дурной доброй голове.

8.5. Красное

Через неделю Катя купила два красных платья.

Она сама не ждала от себя этого. С пожара она ходила в чёрном — чёрное победило красное, она сама так решила, над гробом Любки, в ночь, когда покупала траурное платье не в долг, а на свои. Чёрное было — смерть, суд, коса. Красное осталось висеть в шкафу Анны Марковны и сгорело вместе с домом.

А тут — зашла в галантерейную лавку на Почтамтской за мелочью, за нитками для Насти, — и увидела. На прилавке, в штуке, алый шёлк. Тёмно-красный, вишнёвый, плотный, тяжёлый, льющийся. Цвета крови. Цвета страсти. Цвета того платья, в котором она плясала канкан, стояла на дубовом столе, показывала ноги морю мужчин.

И что-то в ней дрогнуло.

Не чёрное, подумала она вдруг. Для Пти-Пари — не чёрное. Чёрное — это для войны, для суда, для косьбы. А кабаре — это другое. Это — приманка. Сеть. Красный фонарь, на который слетаются. Там нужно красное. Там нужна страсть, огонь, канкан, Париж. Чёрное пугает — а красное манит. А мне надо манить. Купцов, чиновников, золото — манить в мою сеть, в мой Пти-Пари, где спереди пляшут, а сзади совещаются.

И ещё — проще, честнее, без всякого расчёта: ей захотелось. Красного. После чёрной зимы, после пожара, после смерти, после пепелища — захотелось снова алого шёлка на теле, снова страсти, снова огня. Тело, живое, молодое, двадцативосьмилетнее, устало от траура. Захотело цвести. Как весной.

Она купила два отреза. Себе — и Насте.

Насте — красное было впервые.

Настя всегда ходила в голубом. Голубое шёлковое, «для блондинок», в котором её впервые вывели в залу, в котором она плясала канкан, в котором её обжёг пожар. Голубое было — её цвет, цвет светлой, кроткой, покорной Насти.

А теперь Катя заказала ей красное.

Насте сшили — у лучшей портнихи, Катя не поскупилась, теперь она дама со средствами, — алое платье, вишнёвое, с открытыми плечами, с глубоким вырезом, с чёрным кружевом по краю. Такое же почти, как у самой Кати. Две женщины в красном.

Когда Настя примерила — впервые, перед зеркалом, в номерах, — она сначала испугалась.

— Ой, Катерина Михайловна… красное-то… я ж всегда в голубом… красное — это ж… это ж как вы… это страстное…

— Вот и будешь страстная, — сказала Катя. — Хватит тебе в голубом, в кротких ходить. Ты теперь не забитая девочка с подносом. Ты — хозяйка. Со мной. В Пти-Пари будешь первой. Примеряй.

Настя надела. Повернулась к зеркалу.

И — обомлела.

В зеркале стояла другая Настя. Не кроткая, не светлая, не забитая. Красный шёлк зажёг её — светлые волосы на алом вспыхнули золотом, белая кожа в вырезе засветилась, глаза заблестели. Из голубой овечки — в красную женщину. Из жертвы — в хищницу. Страсть, которую Катя полгода в ней растила, вырастила, разбудила, — страсть теперь была на ней, в цвете, в шёлке, в огне.

— Ой, — сказала Настя тихо, глядя на себя. — Ой, это я?..

— Ты, — сказала Катя, подходя сзади, обнимая её за плечи, глядя на обеих в зеркале — две женщины в красном, тёмная и светлая. — Ты, Настя. Красивая. Страстная. Погляди.

И тут — Настя дёрнулась. Прикрыла рукой левую грудь, левый бок. Обожжённый. Там, под красным шёлком, под кружевом, был рубец — страшный, стянутый, навек. И красное платье с открытыми плечами, с вырезом — оно обнажало, манило смотреть именно туда, на грудь, — а там было уродство.

Лицо Насти померкло. Радость сменилась прежним — забитым, стыдливым, затравленным.

— Не могу, — прошептала она. — Красное — оно ж грудь кажет… а у меня там… страшно… рубец… порченая я… В голубом-то я закрытая была, прятала, а в этом — все увидят… Нет, Катерина Михайловна, не надо мне красного. Я лучше в голубом. В закрытом.

Катя повернула её к себе. Посмотрела в лицо — в испуганное, стыдливое, затравленное.

И — вместо того, чтоб уговаривать, жалеть, — сделала по-своему. По-страшному. По-Катиному.

Она сама, своей рукой, спустила красный шёлк с Настиного левого плеча. Обнажила. Обнажила обожжённую грудь — с рубцом, стянутым, красно-бурым, уродливым, страшным. Настя вскрикнула, рванулась прикрыться — Катя удержала.

— Стой, — сказала она. — Не прячь. Гляди.

Она повернула Настю к зеркалу — так, обнажённой грудью, с рубцом на виду.

— Гляди, — повторила Катя тихо, властно, ей в ухо. — Это не уродство. Это — метка. Клеймо. Ты в огне была и вышла. Многие сгорели — Женька сгорела, — а ты вышла. С меткой. Это не стыд. Это — что ты через огонь прошла. Как… как святые на иконах, с ранами. Как мученики. Погляди — страшно? Да. Но страшное — оно тоже сильное. Оно тоже манит. Не всех — но тех, кому надо.

Настя смотрела в зеркало — на свою обнажённую обожжённую грудь, на рубец, — и слушала, дрожа.

— Есть такие мужчины, — говорила Катя, — которым это — слаще гладкого. Которым увечье, рубец, боль — манят. Ты их знаешь. Порфирий Владимирыч такой. Ему твоё увечье — пуще здоровой груди в охоту войдёт. Таким ты теперь будешь — приманка. Особая. Редкая. Не как все. — Она усмехнулась. — Из того, что тебя уродует, — я тебе силу сделаю. Из клейма — оружие. Как я из всего делаю.

Она не дала Насте прикрыться. Держала её перед зеркалом — обнажённую, обожжённую, в полуспущенном красном, — пока в Настиных глазах испуг и стыд медленно не сменились чем-то другим. Не гордостью — нет. А тем тёмным, покорным, мазохистским, что в ней жило: приятием своего увечья как части своей новой, страшной, страстной сущности. Покорностью Катиной воле, которая и уродство обращала в силу.

— Видишь? — сказала Катя. — Не прячь. Или прячь — но когда ты прячешь, а потом открываешь, медленно, — это ещё пуще манит. Тайна. Что там, под шёлком. А там — огонь, рубец, боль. Для таких, кому надо, — это слаще всего. Поняла?

— Поняла, — прошептала Настя. И — странно — ей стало легче. Катя не пожалела её, не уговорила прятаться, — а сделала из её стыда, из её уродства — силу, оружие, тайну. И Настя, которой всю жизнь нужна была чужая воля, чтоб опереться, чтоб раствориться, — приняла и это. Её госпожа и увечье обратила в дар. Значит, так и надо. Значит, она не порченая — а особая.

Две женщины стояли перед зеркалом. В красном. Тёмная и светлая. Одна — цельная, страшная, чёрными глазами. Другая — светлая, с обожжённой грудью, с рубцом, который теперь был не стыд, а метка.

Снова красное. Снова страсть. Снова борьба. После чёрной зимы, после пожара, после смерти — красное вернулось. Не как прежде — теперь с рубцом, с клеймом, с памятью об огне. Но — вернулось. Страсть не умерла в пожаре. Страсть, как трава, пробилась сквозь пепел.

Вечером, в красном обе, они сидели в номерах — Нехлюдов уже спал, они его уложили, отпоили, — и мечтали.

Катя налила вина — немного, себе и Насте (Нехлюдову нельзя, а им можно), — и они сидели у открытого окна, в красных платьях, в летней томской ночи, и говорили о будущем. О Пти-Пари.

— Вот, слушай, — говорила Катя, и глаза у неё блестели — не судным огнём, а мечтательным, живым, молодым. — Я во французских книгах читала. В Париже есть такие места — кабаре, кафешантаны. Не дома терпимости — нет. Красивее, тоньше. Сад, огни, музыка. Сцена — эстрада. Там поют, пляшут. Канкан наш — он оттуда, из Парижа, из этих самых мест. Там актрисы — певички, танцовщицы, — красивые, нарядные, в перьях, в блёстках. Мужчины сидят за столиками, пьют вино, шампанское, смотрят. Кабинеты отдельные — для тех, кто побогаче. Фонари цветные. Музыка настоящая, оркестр. — Она отпила вина. — Вот такое я и сделаю. Здесь. В Томске. В нашем доме с садом.

Настя слушала, раскрыв рот, в красном платье, с бокалом.

— И мы там будем? Плясать? В перьях?

— Будем, — сказала Катя. — Ты будешь. Первой. Звездой. В красном, в перьях, на эстраде. Канкан плясать, песни петь. Купцы томские с ума сойдут. Они ж, дураки, в Париж ездят деньги пропивать — а тут им Париж будет, под боком. «Пти-Пари» — «Маленький Париж» по-французски. Вывеску повешу, огни, сад. Съедутся все — купцы, чиновники, золотопромышленники. С деньгами. И будут пить, глазеть, швырять деньги. А деньги — мне. В кассу.

— А дом терпимости? — спросила Настя. — Как у Анны Марковны? Опять?

Катя помолчала. Отпила вина. Лицо её чуть омрачилось.

— Нет, — сказала она. — Не дом терпимости. Я его сожгла, помнишь. Поклялась — чтоб этого не было. Дома не будет. — Она помолчала. — А будет… серое. Посерёдке. Кабаре — это ведь как. Спереди — музыка, танцы, искусство, всё честно, не придерёшься. А сзади, в кабинетах, — кто захочет, кто договорится… ну… сама понимаешь. Тихо. Не напоказ. Не билетами, не напрямую. А так — кому надо, тот и найдёт. Серая зона. Ни бордель, ни театр — посерёдке. Чтоб и денег много, и чтоб полиция не прицепилась, и чтоб… — она запнулась, — и чтоб совесть моя помалкивала. Чтоб можно было себе сказать: это не бордель, это кабаре, тут хоть поют и пляшут. Тут девки не в кабале, не в долгах — вольные, захотели — пошли, не захотели — пляшут да поют. Тут не как у Анны Марковны.

Она говорила это — и слышала себя. И знала, что лжёт. Что серая зона — это тот же бордель, только с вывеской поизящнее, с самообманом попригляднее. Что она, сжёгшая дом Анны Марковны с клятвой «чтоб этого не было», — заводит, по сути, то же самое, чуть тоньше, с французской вывеской и чистой совестью. Что из поджигательницы борделей она делается содержательницей кабаре. Анна Марковна номер два. Только умнее и с оправданием. И денег будет больше, за элитарность.

И это оправдание — «тут хоть поют и пляшут, тут вольные» — было такое же тонкое, лживое, самоуспокоительное, как все её оправдания. Как «я не Молох, я мщу за прошлое». Как «я беру гору её же гнилью». Как «я делаю Насте добро». Стена из слов. А за стеной — то самое, простое, Настино: завожу бордель, потому что надо денег. Называю кабаре, потому что совестно.

Трещина-волосок дрогнула. Опять. Но Катя — отпила вина, тряхнула головой, отогнала.

— А главное, Настя, — сказала она, понизив голос, наклонившись, — главное — не это. Не канкан, не кабинеты. Главное — задние комнаты. Понимаешь?

— Какие задние комнаты?

— Самые задние. Потайные. Куда никто чужой не войдёт. Там — не пляшут и не блудят. Там — наши будут собираться. Соломин, Рахметов, товарищи. Про дело говорить. Книжки держать, какие нельзя. Листки печатать, может. Людей прятать, если надо, — беглых, неле-

гальных. — Глаза у неё загорелись опять — судным, настоящим огнём. — Понимаешь, Настя, какая хитрость? Спереди — кабаре, огни, канкан, пьяные купцы, полиция сама туда ходить будет, глазеть да взятки брать, думать — весёлое место, греховное, а безобидное. А сзади, за стенкой, — революция. Заговор. Дело. И никто не догадается. Кто ж станет искать социалистов в кабаре, среди голых плясуний? Самое безопасное место. Под носом у полиции — и невидимо.

Настя слушала, и глаза у неё тоже блестели — но она, конечно, поняла по-своему, в меру своего ума: что будет весело, что платья, перья, канкан, что купцы будут деньги швырять, что они с Катей — хозяйки, первые, богатые. Про «заднюю комнату» и революцию она ухватила смутно — «наши будут собираться, тайно, важно» — и приняла как ещё одну Катину затею, которой надо слушаться.

— Ух, — сказала Настя мечтательно, в красном, с бокалом, глядя в летнюю ночь. — Это хорошо, Катерина Михайловна. Это красиво. Пти-Пари. Париж. И мы — хозяйки. И платья, и перья, и купцы деньги швыряют. — Она вздохнула счастливо. — А то намучились мы с вами. У Анны Марковны-то, в кабале. А тут — сами хозяйки. Вольные. Красиво жить будем.

Катя смотрела на мечтающую Настю — светлую, в красном, с обожжённой грудью под шёлком, со счастливым глупым лицом, — и думала.

Вот и вся разница между нами, думала она. Я задумала Пти-Пари — для дела, для войны, для суда. Кабаре — приманка и ширма, а суть — задняя комната, заговор, революция. Для меня это — крепость. Военная хитрость. Троянский конь: снаружи весёлый конь, внутри — воины.

А Настя слышит одно: платья, перья, купцы, деньги, красиво жить. Для неё Пти-Пари — не крепость, а праздник. Не война, а гулянье.

И опять — как с азбукой марксизма — она понимает по-своему, превратно, упрощая до своего, бабьего, дурацкого. Я ей — про троянского коня, про заговор под вывеской кабаре, — а она про перья и шампанское.

И кто из нас прав? — подумала Катя вдруг, с той горькой ясностью, что приходила всё чаще. Я — что строю крепость для войны? Или Настя — что хочет просто красиво пожить, в красном, в перьях, с деньгами, без кабалы? Может, Настина правда — честнее. Проще. Человечнее. Пожить красиво, без долгов, без хозяйки, без зеркала по субботам. А моя правда — война, заговор, суд, кровь, задняя комната, революция, которая обернётся Настиной азбукой «богатых грабить не грех» и пожаром на всю Россию.

Может, Настя и права. Может, надо было — просто пожить. Красиво. В красном. Выкупить девок, завести честное кабаре, плясать канкан, стричь с купцов деньги, жить вольно, богато, весело, — и не косить, не судить, не нести спичку к стогу.

Нет, думала она. Поздно. Любка в земле. Женька в золе. Я поклялась. Я косая. Мне — война. А Насте — пусть перья. Пусть пляшет, дура, в красном, счастливая. Я ей это дам. Красивую жизнь. Насколько смогу. Между войной.

— Будем красиво жить, Настя, — сказала она вслух, чокаясь с ней бокалом. — В красном. В перьях. В Пти-Пари. Обещаю.

И они выпили — две женщины в красном, в летней томской ночи, за открытым окном, за будущее кабаре, — одна мечтая о войне под вывеской праздника, другая о празднике, не ведая войны.

За стеной спал выхоженный Нехлюдов. Внизу, под горой, чернело пепелище. А тут, наверху, в чистых номерах, две женщины в красном пили за «Маленький Париж», который одна строила как крепость, а другая видела как праздник.

Красное вернулось. Страсть вернулась. Борьба вернулась. Жизнь пробилась сквозь пепел — красной травой.

А война — война ждала за задней стеной будущего кабаре. Терпеливая. Неизбежная.

8.6. Две няньки

Настя призналась вечером, когда Катя вернулась с дел.

Она весь день крепилась, маялась, а как Катя разделась, умылась, села — Настя подсела к ней, потупилась, закраснелась и сказала, теребя подол, тихо, виновато:

— Катерина Михайловна… я вам сказать должна… а то совестно таиться… Я ведь… я князю-то… даю. Сплю с ним. Днём, когда вы уходите. — Она совсем опустила голову. — Не корите меня. Само вышло. Я его… мне его жалко, Катерина Михайловна. Больной он, несчастный, пропащий. Лежит один, трясётся, мучается. А я приберусь у него, похожу за ним — и жалко станет. Вот и… приласкаю. Чтоб ему полегче. От жалости я, не от распутства. Правда. Жалко его.

Она замолчала, сжавшись, ожидая — брани, гнева, может, побоев.

Катя смотрела на неё — красную, виноватую, с опущенной головой, — и не чувствовала ни капли ревности. Какая ревность. Она Нехлюдова не любила — ни двенадцать лет назад, ни теперь, никогда. Он был ей не мужчина в том смысле, из-за которого бабы грызутся, — он был дело, задача, тяжесть, которую надо довести и сбросить. Ревновать его к Насте было бы так же дико, как ревновать к Насте стул или самовар.

И вместо брани она — усмехнулась. И стала Настю оправдывать. Сама. Раскладывая всё по полочкам, по своему холодному уму, так, что выходило — не только не грех, а дело правильное, разумное, нужное.

— Чего ты всполошилась, дурочка, — сказала Катя, обнимая её за плечи, притягивая. — Чего каешься? Правильно делаешь. И не кори себя.

Настя подняла голову, не веря.

— Не корите?

— За что корить? Ты рассуди. — Катя стала загибать пальцы, спокойно, по-деловому. — Первое: мы у него живём. В его номерах. Едим-пьём за его счёт. Он нас приютил, погорелиц, когда идти некуда было. Платить ему надо? Надо. А чем мы платим? Деньгами? Неловко, он князь, обидится. А вот этим — в самый раз. Тем, что умеем. Чем всю жизнь платили и нам платили. Ты ему даёшь — вот и расплата за кров. По-честному. Квартира за ласку. Чем плохо?

Настя слушала, светлея.

— Второе, — продолжала Катя. — Тебе самой секс нужен. Я знаю. Я тебя такой и сделала — тело у тебя теперь просит, каждый день просит, привыкло. Без мужика тебе маятно, я вижу. А где взять? В дом не ходим больше, билеты сдали, мы теперь приличные. На улицу не пойдёшь. А тут — князь под рукой, свой, не страшный, добрый, чистый. С кем же тебе, как не с ним? Удобно. И тебе хорошо, и греха искать на стороне не надо. Разумно.

— И правда, — пробормотала Настя. — А я-то боялась…

— Третье, — сказала Катя. — Я его не люблю. Совсем. И не ревную — тут и ревновать нечего. Мне даже на руку, что ты с ним. Меньше мне с ним возни. — Она усмехнулась. — А главное — четвёртое. Он нам нужен. Но нужен — приличным человеком. Князем. При деньгах, при связях, в своём уме. А не алкашом, дошедшим до ручки, который в блевотине валяется и бутылки сосёт. От такого нам какой прок? Никакого, одна обуза. А мы его выхаживаем — я лечу, ты ласкаешь, — и он поправляется, человеком становится. Вот твоя ласка — она лечит. Лучше всякого лекарства. Я его от водки отвадила, а ты — теплом отогрела. Вдвоём и подняли. Так что ты, Настя, не грех творишь, а дело делаешь. Доброе и полезное. И себе, и ему, и мне. Поняла?

Настя кивнула — радостно, облегчённо. У неё с души свалилось. Катя не корила — Катя всё обернула так, что Настя оказалась не виновата, а молодец: и за кров платит, и себе в удовольствие, и князя лечит. Кругом права.

— Поняла, Катерина Михайловна, — сказала она, прижимаясь. — Как вы хорошо всё рассудили. А я-то, дура, маялась, совестилась.

— Совеститься тебе не о чем, — сказала Катя. — Ласкай его на здоровье. И мне спокойнее — выздоравливает он у нас с тобой, как у Христа за пазухой.

Они сидели обнявшись.

И Катя подумала, усмехаясь про себя: вот ведь как всё повернулось. Весь год она Нехлюдова топтала, судила, валяла в грязи, ненавидела, читала Апокалипсис у его ног. А теперь — оправдывает перед Настей их общий грех, устраивает так, чтоб обеим было ладно спать с ним, выхаживает, бережёт, делает всё, чтоб ему, бедному, было покойно и хорошо.

Да и не грех вовсе, подумала она. Какой грех. Нет греха, Сеченов, рефлекс, тело просит — тело получает. А тут ещё и польза со всех сторон. И ему радость, и Насте нужда утолена, и мне он в целости сохранён, человеком, при уме. Всё сошлось.

И она почти засмеялась, обнимая задремавшую уже на её плече Настю, от одной мысли — какая вышла картина. Нехлюдов. Князь Дмитрий Иванович. Тот, что год маялся, спивался, рвал на себе волосы, читал Евангелие, бил поклоны, искупал грехи, страдал, искал Бога, мучился между духом и плотью, между собором и Болотом, — и дострадался до того, что лежал в блевотине, жёлтый, конченый.

И вот — за все свои страдания — он вдруг получил.

Двух молодых жён. Страстных. Одна — властная, чёрная, берёт его сверху, как хочет. Другая — светлая, кроткая, ласкает нежно, от жалости. Обе — красивые, обе — умелые, обе — его. Гарем, какой не у всякого султана.

И при этом — двух нянек. Одна лечит, от водки отваживает, поит, кормит, держит в руках. Другая прибирает, обихаживает, за больным ходит, греет. Выхаживают, берегут, холят.

Две страстные жены — и две заботливые няньки. В двух одних лицах. Чего ещё желать мужчине? Что ещё нужно для полного счастья?

Так Нехлюдов и был вознаграждён за все свои страдания.

Вот оно, искупление по-нехлюдовски, думала Катя, засыпая с Настей на плече. Не на небе награда, не в раю, не от Бога — а вот тут, в номерах на Почтамтской, от двух бывших проституток. Страдал — получи двух жён и двух нянек. Чем не рай? Граф бы в обморок упал. А по мне — так справедливо. Настрадался человек — пусть хоть напоследок поживёт по-человечески. В тепле. В ласке. В женских руках.

Настя уже спала, пригревшись у неё под боком, в одной рубашке, дыша ровно, с рубцом на левой груди, прикрытым даже во сне. Катя обняла её покрепче, натянула одеяло на обеих, закрыла глаза.

За стеной спал Нехлюдов — выхоженный, отогретый, награждённый, счастливый. Две няньки его берегли. Две жены его ласкали. Больше мужчине и желать было нечего.

И обе женщины уснули — обнявшись, в тихой летней ночи, — спокойно и ладно, устроив наконец и его, и свою, и общую жизнь так, что всем вышло хорошо.

Хоть ненадолго. Хоть на эту передышку. Но — хорошо.



Глава 9. Наследник Престола

Коня! Полнеба обхватила тень.

Коня! — сто крат сильнее эта тень!

Брюсов

9.1. Наследник

Наследника ждали с июня.

Весь Томск только о том и говорил. Цесаревич Николай Александрович, сын царя, будущий государь, возвращался из далёкого путешествия — из Японии, через весь Восток, через Владивосток, через всю Сибирь, по тракту, — и путь его лежал через Томск. Такого город не видывал отроду. Наследник престола, живой, в Томске, — о таком деды не слыхали.

Готовились всем миром. Чинили мостовые — те, что отродясь не чинили. Красили заборы. Строили триумфальные арки — на въезде, на горе, у собора: деревянные, с колоннами, с вензелями, с орлами, увитые ельником, флагами, лентами. Вешали иллюминацию — плошки с салом, фонари, гирлянды, чтоб зажечь вечером. Купцы жертвовали на встречу тысячами — наперегонки, кто больше, чтоб государь заметил. Духовенство готовило крестный ход. Гимназистов, кадетов, мещан, цеховых — всех расписали, кому где стоять, как кричать «ура», когда кланяться. Город прихорашивался, как невеста к венцу, как девка к богатому гостю.

И Катя смотрела на это — и усмехалась.

Вот она, гора, думала она. Вся, сверху донизу. Падает ниц. Красит заборы, строит арки, жертвует тысячами, репетирует «ура» — перед кем? Перед мальчишкой. Перед сыном того, кто сидит на самом верху всей цепи. На вершине горы. Перед тем, из-за кого — в конце концов, через всю цепь, через губернатора, прокурора, полицию, Анну Марковну, бабку — погибли Любка, Женька, все. Перед самым верхом.

И тот же, кто сейчас проедет через арки под «ура», — тот самый, по чьему проезду издан указ, по которому её, Катю, «помиловали», смягчили, выпустили из списков. Милость сверху. Её «помиловали» ради проезда того, кого она — она ещё не говорила себе этого словами, но чувствовала уже, глядя на арки, — кого она хотела бы судить больше всех.

Наследник приехал в июле.

День был жаркий, ясный, пыльный. С утра звонили во все колокола — не постно, не погребально, а торжественно, оглушительно, во всю медь. Пушки палили с горы. Народ валил на улицы — тысячи, весь город, сверху и снизу, с горы и с Болота, принарядившийся, праздничный, возбуждённый. Гимназисты в парадном, кадеты, купцы в поддёвках и в сюртуках, чиновники в мундирах при всех регалиях, бабы в платках, мужики, нищие, девки — все. Толпа стояла вдоль пути, где должен был проехать наследник, — от въезда через арки, по главной улице, к собору.

Катя пошла смотреть.

Не из любопытства. Из того же чувства, что водило её на маскарад к вдове, — посмотреть на гору вблизи. Разведать. Увидеть врага. Только на маскараде был местный верх — губернатор, прокурор, купцы. А тут — самый верх. Вершина. Будущий царь.

Она оделась скромно, незаметно — в тёмное, не в чёрное даже, а в серенькое мещанское, с платком; растворилась в толпе, одна из тысяч. Невидимая. Как всегда. Как Смерть на балу. Протолкалась ближе — к собору, к тому месту, где наследник должен был выйти из коляски, подняться по ступеням, его встретит архиерей с крестом, с иконой, с хлебом-солью.

Она встала в первых рядах толпы, у самых ступеней. Близко. Так близко, как только пускали.

И стала ждать.

Он приехал в открытой коляске, шестёркой, под крики, под звон, под пушки.

Толпа взревела «ура». Полетели шапки. Бабы крестились, плакали от умиления — живого наследника видят, сподобил Бог. Мужики падали на колени прямо в пыль. Купцы орали «ура» так, что жилы вздувались. Гимназисты махали флажками. Весь город — вся гора, сверху

донизу, — выражал любовь, верность, восторг, холопскую радость, что их заметили, что к ним снизошли.

Коляска подъехала к ступеням собора. Остановилась.

И Катя увидела его.

Молодой. Совсем молодой — ей ровесник почти, года на два-три младше, двадцать три ему было, что ли. Невысокий. Худощавый. В военном мундире, в фуражке. С бородкой — реденькой, молодой. Лицо — обыкновенное. Приятное даже. Доброе будто. Усталое — проделал тысячи вёрст по тракту, по жаре, по пыли. Глаза — светлые, спокойные, чуть скучающие. Он вышел из коляски, слегка поморщившись (говорили, в Японии его ударили саблей по голове, фанатик какой-то, с тех пор голова болела) — вышел, поправил фуражку, оглядел толпу, арки, собор, встречающих — скользящим, привычным, равнодушным взглядом человека, которого встречают так в каждом городе, в сотом уже, и которому всё это надоело.

Обыкновенный молодой человек. Усталый. Скучающий. Добрый с виду.

Архиерей двинулся к нему с крестом, с иконой. Губернатор, вице-губернатор, свита — склонились. Хлеб-соль на рушнике. «Ура» гремело.

А Катя стояла в десяти шагах, в толпе, в сером платке, невидимая, и смотрела на него.

И думала — холодно, ясно, страшно.

Вот он.

Вершина. Самый верх. Будущий хозяин всей России, всей горы, всей цепи. Тот, кому принадлежит всё: земля, которую пели «Господня» над Симонсоном и над Любкой, а она — его, царская; заводы, прииски, Привалова золото; суды, что судят присяжными, забывшими написать «без умысла»; тюрьмы, каторга, Кара; полиция, что берёт с домов; армия; Церковь, что поёт «кто царь, кто убогий» и служит царю. Всё — его. Будет его. Он — камень, на котором стоит вся гора. Самый верхний камень. Замковый.

И он — обыкновенный. Молодой. Усталый. Добрый с виду. Не чудовище, не злодей, не тиран с налитыми кровью глазами. Приятный молодой человек, которому хочется домой, у которого болит голова от японской сабли, которому надоели эти встречи, арки, «ура».

И это было — страшнее всего. Что он обыкновенный. Что вершина зла — не злодей, а вот такой, обыкновенный, усталый, приятный молодой человек, который и не ведает, на какой горе он сидит, на чьих костях, на чьей крови стоит его трон. Как Анна Марковна не ведала, за что горит её дом. Как вся гора — камень за камнем — не ведала своей вины, была уверена в своей правоте, со свечками, с billetами, с «ура».

Самый верхний камень тоже не ведал. Доброе лицо. Скучающие глаза. «Ура» над головой.

И Катя подумала — впервые так ясно, так конкретно, не вообще «судить живых и мёртвых», а вот — глядя на живое лицо в десяти шагах:

Его.

Его бы — судить. Его. Не купца Крутилина. Не Нану. Не Анну Марковну. Не Головина даже, не Привалова. Это всё — мелочь, нижние камни, которые сами по себе ничто, которые держатся верхним. А вот он — верхний. Замковый. Вынь его — и вся гора осядет. Весь свод рухнет. Как рушится арка, когда вынешь замковый камень.

Его.

Она смотрела на него — на молодого, усталого, доброго с виду наследника, в десяти шагах, — и в ней поднималось то, чего она не знала прежде. Не ненависть даже — ненависть была к Анне Марковне, к Нехлюдову, горячая, личная. А это было — холоднее. Яснее. Как математика. Как приговор по формуле. Вот вершина. Вершину — судить. Это и есть настоящий суд. Главный. Тот, к которому всё идёт.

И тут — на одно мгновение — случилось странное.

Наследник, оглядывая толпу тем скользящим, равнодушным взглядом, — скользнул глазами по первым рядам, по лицам, по бабам, крестящимся, по мужикам на коленях, — и его взгляд на миг, на долю мгновения, остановился на ней.

На Кате. В сером платке. В десяти шагах. Невидимой в толпе.

Он посмотрел на неё — случайно, скользяще, ничего не видя, не выделяя, просто взгляд задержался на миг на тёмноглазой женщине, не кричавшей «ура», не крестившейся, не падавшей на колени, — стоявшей прямо, неподвижно, и смотревшей на него.

Их глаза встретились. На миг.

Он не понял ничего. Не почувствовал. Для него это был один взгляд из тысяч, из сотен тысяч, что устремлялись на него в этой поездке. Женщина в толпе. Он скользнул дальше, отвернулся, пошёл к архиерею, к кресту, к хлебу-соли.

А Катя — Катя встретила этот взгляд и не отвела глаз. И в тот миг, пока они смотрели друг на друга — будущий царь и будущая его судья, не ведающий и ведающая, — в тот миг она послала ему — мысленно, беззвучно, одними глазами — приговор.

Я тебя вижу, сказала она ему глазами. Я одна тебя вижу — настоящего. Не наследника, не помазанника, не доброго молодого человека. А — вершину. Замковый камень. Того, на ком вся кровь. И я тебя — засужу. Не нынче. Рано. Я ещё мала, я ещё внизу, я ещё учусь. Но я иду. Снизу, с Болота, из пепла, через всю гору — к тебе. Запомни этот взгляд, Николай Александрович. Это смотрит на тебя твоя смерть. Пока издали. Пока в сером платке, в толпе, невидимо. Но — идёт.

Он отвернулся. Пошёл к собору. «Ура» гремело. Пушки палили. Колокола звонили. Гора ликовала, падала ниц, целовала следы.

А Катя стояла в толпе — одна прямая среди склонённых, одна молчащая среди кричащих, одна зрячая среди слепых, — и провожала его глазами, поднимающегося по ступеням собора, к архиерею, к кресту.

Конь бледный, подумала она вдруг. Полнеба обхватила тень. Конь бледный, и на нём всадник, которому имя смерть.

Я приду за тобой на бледном коне, подумала она. Не я, так другая такая же. Снизу. Из пепла. Мы идём. Все, кого ты не видишь, кого давит твоя гора, — мы идём. И однажды — не я, так другая, не в Томске, так в Петербурге, не нынче, так через годы — однажды замковый камень вынут. И свод рухнет. И погребёт под собой всё — и тебя, и гору, и, может, нас, тех, кто вынимал. Всех. Но — рухнет.

Наследник вошёл в собор. Толпа хлынула следом, напирая. Катю притиснули, понесли, закружили в людском потоке — и вынесли вон, в сторону, к краю площади.

Она выбралась из толпы. Отошла. Встала в тени, у стены, отдышалась.

Сердце колотилось. Не от давки. От того, что случилось внутри.

Она пришла посмотреть на гору. А увидела — цель. Главную. Конечную. Ту, к которой всё идёт, всё ведёт — Любка, Женька, дом, купец, касса, Пти-Пари, кружок, Маркс, Кропоткин, суд, коса, всё. Всё это было — ступени. К нему. К вершине.

Раньше её «суд над живыми и мёртвыми» был — туманный, огромный, без лица. Судить всех, гору, Вавилон, мир. А теперь у суда появилось лицо. Молодое, усталое, доброе с виду лицо будущего царя. Вершина обрела черты. Цель стала конкретной.

Она не знала ещё — как, когда, где. Знала, что рано, что она мала, что надо расти, учиться, собирать силы, людей, деньги, входить в дело, в партию, которой ещё нет. Что путь от сибирского Болота до царя — долог, может, в годы, может, она и не дойдёт, ляжет по дороге, как предсказывал Соломин. Но — цель теперь была. Направление. Вершина, к которой идти.

И она запомнила этот день. Этот взгляд. Это чувство — холодное, ясное, как математика, чувство приговора вершине. Она будет носить его в себе — годы. До того дня, в пятом году, в Москве, когда — но этого она пока не знала.

Пока — она стояла в тени, у стены, на краю ликующей площади, и смотрела на собор, куда вошёл наследник, на арки, на флаги, на падающий ниц город.

И сказала тихо, про себя, одними губами, как клятву — третью свою клятву, после пасхальной («буду судить живых и мёртвых») и после Любкиной («весной этого дома не будет»):

— Дойду. До тебя дойду. Доколе не судишь и не мстишь — так вот, дойду и рассужу. До самого верха.

Третья клятва. Самая страшная. С лицом.

Вечером зажгли иллюминацию.

Весь Томск горел огнями — плошки, фонари, гирлянды, вензеля наследника из огней, арки в огне. Гора сияла — вся, сверху донизу. Красиво. Празднично. Верноподданно.

Катя смотрела на это с горы — с того места, откуда виден весь город, и Болото внизу, и река. Город в огнях — в честь наследника, в честь вершины, в честь горы.

Огни, думала она. Любят они огни. Иллюминацию. В честь царя. А я — я тоже люблю огни. Только другие. Я дом спалила — вон там, на Болоте, чёрное пятно, не видать в огнях-то. И ещё спалю. Я и этот весь город спалю — не плошками, иллюминацией, а настоящим огнём, когда время придёт. И гору. И вершину. Озером огненным, как в Апокалипсисе. Куда всех — и царей, и вельмож, и богатых, и сильных.

Они зажгли иллюминацию в честь царя. А я зажгу — другую. Пострашнее. В честь суда.

Она смотрела на сияющий огнями город и видела — вместо праздничной иллюминации — пожар. Будущий. Большой. На всю Россию. Тот, что начнётся — не она первая его зажжёт, но она поднесёт свою спичку, как Женька поднесла к дому, — тот, что спалит всё: арки, вензеля, собор, дворцы, гору, вершину. Озеро огненное.

Красиво горит, подумала она, глядя на иллюминацию. А будет гореть — ещё красивее. По-настоящему.

Внизу, на Болоте, в темноте, не видное в праздничных огнях, чернело пепелище её дома.

А наверху сиял город — в честь того, кого она только что приговорила одним взглядом.

9.2. Анархизм для дурочек

Кропоткина принёс Рахметов.

Через несколько дней после наследника, в кружке, за чаем, он сунул ей книжку — тонкую, французскую, в бумажной обложке, зачитанную до того, что страницы расслоились, с чужими пометками на полях, с печатью какой-то парижской типографии.

— Вот, — сказал он. — Раз вы по-французски читаете свободно. Это не всякому даётся — у нас в кружке никто оригинала не осилит, по пересказам знают. А вы прочтёте. «Paroles d'un révolté». «Речи бунтовщика». Кропоткин.

— Князь Кропоткин? — спросила Катя. Она слышала это имя — от Соломина, вскользь.

— Князь, — усмехнулся Рахметов. — Настоящий. Рюрикович — древнее царей. Камер-паж у государя был. А бросил всё — титул, службу, богатство — и пошёл в революцию. Сидел в Петропавловке, бежал — громко бежал, на всю Европу. Теперь в Лондоне, в изгнании. Пишет. — Он помолчал. — Из породы тех, что от своего отреклись. Бакунин вот — тот не князь был, а из старинных дворян, из богатых тверских помещиков, — и тоже всё бросил, в анархисты пошёл. Тут, в Томске, в ссылке жил, ты знаешь, дом его на горе. Что Кропоткин-князь, что Бакунин-барин — оба от своего сословия отреклись. Оба хотят всё под корень: государство, власть, собственность, законы.

Отреклись от своего, подумала Катя. Кропоткин — князь, Бакунин — барин. И третий — Нехлюдов, в номерах, выздоравливающий. Тоже князь, настоящий. Тоже от своего отрёкся — землю мужикам отдал, от имений, от круга. Только пошёл не в бунт, как эти двое, а в кротость, к графу, в непротивление.

Два князя и барин. Все трое отреклись от своего сословия. Двое — в анархию, в бунт, разрушить всё. Один — в кротость, непротивление, кормить голодных.

А она — не князь и не барин. С самого дна, из Болота, из борделя. И шла своей дорогой — не с анархистами, не с толстовцами, беря у всех, что питало её огонь.

Господа отрекаются от своего — вниз, к народу, к бунту или к кротости, думала она. А я — снизу, из грязи, иду вверх, к суду. Они спускаются, я поднимаюсь. Встречаемся посередине — в бунте, в книжках, в кружке. Но идём в разные стороны.

Она взяла книжку.

Прочла за два вечера.

И — загорелась.

Кропоткин писал не как Маркс. Маркс был тяжёл, учён, холоден — цифры, формулы, прибавочная стоимость, строй, диалектика; продираться через него было как рубить мёрзлую землю. А Кропоткин — горел. Писал страстно, зажигательно, ярко — «Дух бунта», «Закон и власть», «Грядущая революция». Он звал — не ждать истории, как Маркс, не копить силы столетиями, — а бунтовать. Сейчас. Разрушать. Всё — государство, которое есть насилие и ложь; закон, который есть кандалы для бедных и свобода для богатых; собственность, которая есть кража; Церковь, которая есть обман. Всё под корень. И на развалинах — вольное общество, без власти, без начальников, без законов, без принуждения, где люди свободны и равны и живут по доброй воле, братски.

Катя читала — и в ней всё отзывалось. Бунт. Разрушение. Долой власть, закон, собственность, Церковь. Да! Это было ей по сердцу — больше даже, чем Маркс с его «жди истории». Кропоткин не велел ждать — он велел жечь. Как она и жгла. Он благословлял её пожар, её косу, её суд.

И она не замечала — или не хотела замечать, — что Кропоткин и Маркс спорят друг с другом. Что Маркс — за государство (рабочее, но государство), за организацию, за историю, за класс; а Кропоткин — против всякого государства, за вольную анархию. Что это два раз-

ных, враждующих учения. Для неё всё это было — одно. Один огонь. Один бунт против горы. Маркс дал, как устроена гора (прибавочная стоимость, эксплуатация). Кропоткин — страсть разрушить её. Лавров — долг взыскать. Апокалипсис — суд и озеро огненное. Бакунин — «страсть к разрушению есть творческая страсть». Всё сливалось в один общий котёл — социализм, анархизм, народничество, апокалиптика, — в одно мировоззрение бунта, суда и разрушения, без разбора, без системы.

Она была — не доктринёр. Не книжник, вроде Кирсанова, спорящего, Маркс или не Маркс. Она брала из всего, что питало её огонь. Как коса не разбирает, какая трава, — косит всё. А противоречия — пусть учёные спорят. Ей — косить.

Загоревшись, она решила пересказать Насте. Приобщить. Как пересказывала Маркса.

— Настя, — сказала она вечером. — Я тебе ещё расскажу. Про анархию. Князь один написал, Кропоткин, он всё бросил, титул, богатство, и в революцию пошёл. Слушай.

Настя отложила шитьё. Приготовилась слушать — старательно, преданно.

— Я тебе про Маркса рассказывала, помнишь? Как богатые бедных обирают. Так вот, а как с этим бороться? Кропоткин говорит: разрушить. Всё разрушить. Власть — долой. Начальников — долой. Законы — долой. Царя, губернатора, полицию, попов — всех долой. И будет анархия.

— Чего будет? — переспросила Настя.

— Анархия. По-гречески — безвластие. Без власти. Без начальников. Над людьми — никого. Ни царя, ни господ, ни хозяев, ни полиции. Все свободны. Все равны. Живут сами по себе, по доброй воле. Никто никому не указ. Всё общее, всё по справедливости, без принуждения. Рай на земле. Вот чего хочет Кропоткин. Безвластие. Красиво?

Настя слушала. Лицо её становилось всё растерянное.

— Погодите, Катерина Михайловна, — сказала она. — Это как же — без начальников? Совсем? И без царя?

— Совсем. И без царя.

— А кто ж тогда велеть будет? — испугалась Настя. — Начальник — он на то и начальник, чтоб велеть. А коли никто не велит — как же жить-то? Это ж всё развалится. Кто во что горазд. Разбой пойдёт, грабёж, бей кого хошь, управы нет. Нет, Катерина Михайловна, так нельзя. Надо, чтоб был кто-то главный. Чтоб велел. Чтоб порядок.

— Да в том и мысль, — сказала Катя, — что люди и без начальников проживут. Сами. По доброй воле. Люди ведь не звери — они и без кнута могут по-хорошему. Помогать друг другу. Делиться. Жить в ладу.

— Не проживут, — сказала Настя твёрдо. — Люди? Без палки? — Она даже засмеялась. — Да вы что. Вы ж людей знаете. Без палки человек — зверь. Дай ему волю, без страху — всё растащит, всех перебьёт. Это ж в доме у Анны Марковны и то — был бык у двери, был городовой, была хозяйка, — а гости всё одно дрались, обижали. А убери быка, убери городового — растерзают. Нет. Человека в узде держать надо. А то зверь.

Катя уже предчувствовала — опять. Как с Марксом. Опять Настя поняла по-своему, упёрлась в своё. Но тут Настя повернула неожиданно.

— И вот что я вам скажу, Катерина Михайловна, — продолжала она, воодушевляясь, разбираясь в своём, доходя своим умом до чего-то для неё важного. — Не всех начальников надо гнать. Начальник начальнику рознь. Вот Анна Марковна — она какая хозяйка была? Злая. Жадная. Я, бывало, десять рублей за ночь принесу — а мне три, а семь — ей. За что? Ни за что. Да ещё в книжку долг пишет, чтоб я вовек не выплатила, чтоб в кабале до гроба. Вот такого начальника — да, гнать. Такого — хоть убить, хоть ограбить, не грех, вы правильно давеча про Маркса говорили. Анну Марковну — поделом спалили.

Катя слушала.

— А вот вы, Катерина Михайловна, — сказала Настя, и лицо её осветилось преданностью, любовью, — вы — другая хозяйка. Справедливая. Вы же у меня по семь рублей не забираете. У нас с вами деньги — общие. Всё пополам, по-честному, по-божески. Что добудем — то вместе. Вы меня не в кабале держите, не в долгах — вы меня из кабалы выкупили, на волю. Вы мне не Анна Марковна. Вы — хозяйка добрая. Справедливая. — Она взяла Катю за руку. — Вот таких хозяев, как вы, — зачем гнать? Зачем безвластие? Таких — беречь надо. При таких — хорошо. Над такими — с радостью. Пусть будет начальник — только справедливый. Как вы. А злых, как Анна Марковна, — тех да, тех гнать, грабить, жечь. А справедливых — слушаться и любить.

Катя смотрела на неё — и ей стало смешно, и горько, и жутковато разом.

Вот оно. Опять. Настя всё учение — Маркса, Кропоткина, анархию, безвластие — свела к одному, к своему, простому и страшному: есть хозяева злые (Анна Марковна — по семь рублей забирала, в кабале держала) и хозяева добрые (Катя — деньги общие, из кабалы выкупила). Злых — убивать и грабить, не грех. Добрых — слушаться и любить. И никакого безвластия не надо — надо просто хорошего хозяина вместо плохого.

Кропоткин мечтал о мире без господ вовсе. А Настя из этого выжала: нужен добрый господин вместо злого. Анархизм — отрицание всякой власти — в Настиной голове обернулся мечтой о добром барине. О справедливом начальнике. О хорошей хозяйке — то есть о Кате.

И это било в самое больное.

Потому что Настя — простодушно, преданно, любя — сказала Кате правду про Катю. Что Катя — хозяйка. Что у них «деньги общие» — то есть Катя распоряжается, а Настя при ней. Что Катя «из кабалы выкупила» — то есть купила, как покупают, только по-доброму. Что Катя — «справедливый начальник», которого надо «слушаться и любить». То есть — Катя никакая не анархистка, не разрушительница власти. Катя сама — власть. Господин. Хозяйка. Только добрая, справедливая. Анна Марковна номер два — но хорошая Анна Марковна.

Катя проповедовала безвластие — а Настя в глаза, с любовью, назвала её хозяйкой. Справедливой. Которую надо беречь. Над которой — хорошо.

«Вы же по семь рублей не забираете.»

Нет, подумала Катя с холодной усмешкой. Не по семь. Я беру больше. Я у тебя, Настя, всё беру — тело, волю, душу, жизнь. Я тебя развратила, подложила под кого надо, сделала орудием, втёмную яд подавать посылала. Я из тебя человека в животное превратила. Анна Марковна брала семь рублей — а я беру всю тебя. Только ты этого не видишь. Потому что я «деньги общие» говорю, потому что я ласковая, потому что я тебя из одной кабалы выкупила — в другую, свою, которой ты и не чуешь, потому что эта кабала — сладкая, добровольная, ты в неё сама, с любовью. Самая прочная кабала. Прочнее долговой книжки. Кабала любви и преданности.

Я хуже Анны Марковны, подумала она. Та брала семь рублей — и девка знала, что её грабят, что она в кабале. А я беру всё — и девка думает, что я справедливая, добрая, что я её освободила. Та держала кнутом и долгом — я держу любовью. Та — злой господин, которого ненавидят и от которого бегут. А я — добрый, которого любят и за которого держатся. И мой — страшнее. Потому что от злого бегут, а к доброму льнут. От злого освобождаются, а добрый — пожизненно.

«Над такими — с радостью. Пусть будет начальник — только справедливый.»

Вот и вся анархия, думала Катя. Вот и весь Кропоткин. Народ не хочет безвластия. Народ хочет доброго царя вместо злого. Насте не нужна воля — ей нужна хорошая хозяйка. России не нужна республика — ей нужен справедливый государь. Свергнут злого царя — поставят доброго, и будут любить, и льнуть, и держаться. А не захотят вовсе без царя. Потому что без господина — страшно, зверь, разбой.

И выходит, вся революция, весь суд, вся коса — ради чего? Чтобы сменить злого господина на доброго? Злую Анну Марковну на добрую Катю? А потом добрая Катя станет брать не семь рублей, а всё, по любви, — и будет новая кабала, слаще прежней?

— Ну… — сказала Катя наконец, устало. Не стала спорить. Какой толк. — Пусть так, Настя. Злых — гнать, добрых — любить. Пусть.

— Вот! — обрадовалась Настя. — Я ж говорю. Вы — добрая. Вас любить. А Анну Марковну — поделом. Я правильно поняла?

— Правильно, — сказала Катя. — Молодец.

Что ж тут объяснишь. Что она, Катя, и есть новая Анна Марковна, только любимая? Что доброго господина любят крепче злого — и оттого добрый страшнее? Что Настина мечта о справедливом хозяине — это не свобода, а вечное рабство, добровольное, с любовью? Что народ, который свергнет злого царя ради доброго, — так и останется в рабстве, только полюбит свои цепи?

Не объяснишь. Настя своё поняла — добрый господин лучше злого, Катю любить, Анну Марковну жечь. И миллионы Насть поймут так же. И будут менять злых господ на добрых, царей на царей, одну кабалу на другую, — и называть это революцией, справедливостью, свободой. И любить своих новых господ пуще прежних.

Она отложила Кропоткина. Загорелась было — остыла. Страсть его разрушительная осталась с ней, гору свалить она хотела по-прежнему. Но мечта — о вольном братстве без власти — разбилась. Об одну преданную дуру, которая не хочет безвластия, которая хочет доброго господина, которая в самой Кате, в анархистке, видит и любит — хозяйку.

Трещина-волосок дрогнула. Опять.

Но она отогнала. Ладно. Пусть не братство. Пусть новая гора на развалинах. Мне-то что. Я не рай строю. Я сужу. За Любку, за Женьку. Доколе не мстишь. Отомщу — а там хоть новый царь, хоть новая Анна Марковна. Моё дело — скосить эту. А что вырастет — не моя забота.

Настя уже шила, напевая, — счастливая, успокоенная, уверенная, что всё поняла правильно: злых господ жечь, добрых любить, а Катя — добрая, справедливая хозяйка, которую надо любить и слушаться всю жизнь.

Дон Кихот прочёл Санчо про безвластие. А Санчо испугался воли и попросил оставить ему доброго господина.

9.3. Дом с садом

Дом она искала всё лето — придирчиво, въедливо, беспощадно, — и оттого никак не могла найти.

Томские домовладельцы возненавидели её к августу. Весть о покупательнице с деньгами разнеслась быстро, и ей показывали дом за домом — купеческие, мещанские, с садами и без, на горе и под горой, — а она всё браковала, всё придиралась, всё торговалась так, что у продавцов опускались руки. Дама с деньгами, а скупая, как жид, говорили о ней. Дама, а въедливая, как подрядчик. Ходит, стучит по брёвнам, лазит в подпол, нюхает, считает, допрашивает — и цену сбивает вдвое, и всё ей не так.

Они не понимали, что ищет она не дом. Дом-то ей был не нужен — ей нужна была крепость. Под вывеской кабаре. С эстрадой впереди, с кабинетами, с садом под летнюю сцену, с удобными выходами на случай чего, с задними потайными комнатами, которых никто чужой не найдёт, — для кружка, для книжек, для людей. Этого она продавцам, понятно, не говорила. И оттого её требования казались им дикими, бессмысленными, вздорными.

А с ней ходила Настя.

Дом золотопромышленной вдовы Пузырёвой смотрели в начале августа.

Вдова — рыхлая, слезливая, вся в чёрном, в кольцах — водила их сама, причитая, что продаёт по нужде, что дом — рай, что дешевле отдаёт только из-за вдовьих слёз, что тут жить да радоваться. Дом и вправду был хорош: двухэтажный, деревянный, резной, с мезонином, с большим запущенным садом, спускавшимся к реке, с флигелем, с каретником, с баней.

Катя обошла его — молча, цепко, как обходила когда-то дом Анны Марковны: хозяйским, оценивающим, запоминающим взглядом. Простучала брёвна — где гниль. Слазила в подпол — сухой ли. Поднялась на чердак — крыша. Осмотрела печи, трубы, окна, двери, замки. Прикинула залу — годится ли под эстраду, высок ли потолок, широки ли стены. Прошлась по комнатам второго этажа — годятся ли под кабинеты. Вышла в сад — хорош ли под летнюю сцену, есть ли куда поставить столики, есть ли задний выход к реке, к воде.

И нашла то, что искала: за баней, в глубине сада, была старая пристройка — не то людская, не то амбар, с отдельным входом, глухая, в стороне. Потайная. Задняя комната. Та самая.

Но лицом она не показала ничего. Напротив — скривилась.

— Гнильё, — сказала она вдове. — Углы подгнили, венцы менять. Печь дымит — я по копоти вижу. Крыша течёт — вон, пятна на потолке. Сад запущен, одичал, расчищать да расчищать. Флигель на боку. Баня старая. Хлам. — Она назвала цену — вдвое ниже запрошенной. — Вот моя цена. И то много за такую рухлядь.

Вдова залилась слезами, запричитала, что это грабёж, что дом — золото, что покойник муж в нём души не чаял, что дешевле помереть ей, вдове, чем так отдать.

И тут вступила Настя.

Настя всё это время ходила за Катей, тоже осматривала — хозяйственно, деловито, она ведь была не без сметки по домашней части, крестьянская дочь, в избе выросла, многое понимала. Но понимала — своё, бабье, не то, что надо было Кате. И, желая помочь Кате, поддержать, сбить цену, она вмешалась — и всё испортила.

— И правда, Катерина Михайловна, рухлядь, — сказала Настя убеждённо, по-хозяйски кивая. — Вот поглядите — печь-то русская, большая, хорошая, пироги печь — загляденье, и лежанка тёплая. — Катя похолодела: Настя хвалила то, что Катя только что ругала. — И подпол сухой, картошку хранить — первое дело, и капусту квасить. И сад — яблоньки старые, но плодовые, и вишня, и малинник — варенья наваришь на весь год. А баня — баня справная, я топку смотрела, тяга хорошая, париться — милое дело. И колодец свой, вода чистая, я пробовала. Хозяйство доброе, жить да жить!

Вдова просияла, вцепилась в Настины слова:

— Вот! Вот умная девушка! Всё видит! Хозяйство доброе! А вы говорите — рухлядь! Печь золотая, сад плодовый, баня справная, колодец! Да за такое втрое просить надо!

Катя медленно повернулась к Насте. Посмотрела на неё — так, что Настя осеклась, поняла, что сболтнула не то, и прикусила язык, и залилась краской.

— Печь хорошая, говоришь, — сказала Катя сквозь зубы. — Пироги печь. Варенье варить. Капусту квасить. — Она вздохнула. — Настя. Поди-ка в сад, погуляй. Яблоньки посмотри. Варенье прикинь. А я тут с Пелагеей Ивановной потолкую.

Настя, пунцовая, убралась в сад.

Торговались ещё час.

Вдова, воодушевлённая Настиными похвалами, уперлась и цену держала. Катя, обозлённая, что дура сбила ей всю игру, давила с удвоенной силой — въедливо, холодно, безжалостно, по каждой гнилой доске, по каждому пятну на потолке, по каждой покосившейся ставне. Она знала толк в этом — научилась у Эммы Эдуардовны считать, у Анны Марковны — торговаться, у жизни — не уступать. Она загоняла вдову в угол цифрами, фактами, недостатками, пока слёзы вдовьи не высохли и не сменились деловой злостью, а потом — усталой сдачей.

Сошлись — почти на Катиной цене. Чуть выше. Из-за Насти с её яблоньками пришлось накинуть сотню-другую — Катя ей этого не простила, попомнила.

Но дом она взяла. Этот самый. Потому что дом был — тот. С залой под эстраду, с комнатами под кабинеты, с садом под летнюю сцену, с задней пристройкой под потайную комнату, с выходом к реке. Крепость. А печь, сад, баня, колодец, которые нахваливала Настя, — это было Кате безразлично. Пироги она печь не собиралась. Варенье варить — тоже. Ей нужна была не изба, а Пти-Пари.

Но Насте она этого не сказала при вдове. При вдове она дом ругала — чтоб сбить цену. А что он ей на самом деле годился — помалкивала.

Вечером, дома, в номерах, она отчитала Настю.

— Ты что ж это, — сказала она, — при продавце дом нахваливаешь? Печь золотая, сад плодовый, баня справная! Я цену сбиваю, ругаю всё, а ты — хвалишь! Ты мне сотню лишнюю стоила своими яблоньками! Нахвалила — вдова и заломила!

Настя повинилась, захлопала глазами:

— Да я ж помочь хотела, Катерина Михайловна… Я ж по-хозяйски… Дом-то и правда хороший, справный… Я думала — вам покажу, что я понимаю, что углядела хозяйство доброе…

— Ты углядела, — сказала Катя. — Печь да подпол. А того не углядела, зачем мне дом. Думаешь, я жить в нём собралась? Щи варить? Варенье? — Она усмехнулась. — Мне, Настя, не изба нужна. Мне — заведение. Пти-Пари. Понимаешь? Мне зала нужна — под сцену, где плясать. Комнаты — под кабинеты, где гостей принимать. Сад — под летнюю сцену, столики ставить, огни вешать. А главное — вон та пристройка задняя, за баней, глухая, с отдельным входом. Это — для наших. Для дела. Тайная комната. Вот зачем я этот дом взял — а вовсе не за твою печь и малинник.

Настя слушала, хлопая глазами, медленно переваривая. Потом лицо её прояснилось:

— А-а-а! Так вам не для жизни, а для кабаре! А я-то думала — жить будем, хозяйство заведём, корову, кур… Я уж радовалась — своё хозяйство, как у людей, печь, погреб, огород…

Катя посмотрела на неё — и вдруг смягчилась, усмехнулась уже беззлобно. Настя мечтала — о простом. О избе, о корове, о печи, о варенье, о огороде. О тихой хозяйской жизни, какой у неё, сироты, никогда не было и о какой она, бедная, тосковала. Своё хозяйство, как у людей. А Катя ей вместо избы и коровы — кабаре, эстраду, кабинеты, тайную комнату для заговорщиков. Вместо тихой жизни — крепость для войны.

— Будет тебе и хозяйство, — сказала Катя мягче. — Заведём. И кур, хочешь, и корову даже, в сад поставим. И варенье вари на здоровье, из своей вишни. И печь топи, пироги пеки. Это всё можно — при кабаре. Для виду даже хорошо: мол, живём, хозяйство ведём, бабы как бабы. А под видом хозяйства — Пти-Пари, а под видом Пти-Пари — дело. Три кожуры, как у капусты, что ты квасить собралась. Снаружи — изба с коровой, глубже — кабаре с канканом, а в самой середине, в тайной комнате, — революция. Поняла?

— Поняла, — просияла Настя. — И корова будет? Правда?

— Будет тебе корова, — вздохнула Катя. — Господи. Корова ей.

И всё же, укладываясь спать, Катя подумала о Насте с её яблоньками — уже не со злостью, а с той горечью, что приходила всё чаще.

Вот ведь, думала она. Я дом искала — крепость. Под войну. Под суд. Под Пти-Пари, под заговор, под тайную комнату. А Настя в том же доме увидела — печь, подпол, малинник, баню, колодец. Хозяйство. Жизнь. Корову.

И кто из нас дура? — подумала она, как думала уже не раз. Я, что в доме вижу крепость для войны, которой конца не видно и в которой сама, может, сгину? Или Настя, что видит печь, где пироги печь, и сад, где варенье варить, и корову, и тихую жизнь?

Может, Настина правда — честнее. Теплее. Человечнее. Купить дом, завести корову, печь пироги, варить варенье из своей вишни, жить тихо, по-бабьи, никого не судя, не косья, не жгя. Как все люди. Как Настя хочет.

А я — я и дом-то купить не могу просто, по-человечески, для жизни. Мне всюду — война. Всюду — крепость. Всюду — тайная комната. Я и печь вижу не как печь, а как прикрытие. И сад — не как сад, а как место для эстрады. И корову заведу — для отвода глаз. Я уже не умею просто жить. Разучилась. Коса не умеет пахать. Коса только косит.

Настя будет при этом доме счастлива — по-своему, с коровой, с печью, с вареньем, не понимая до конца, что живёт в крепости. А я — я в этом же доме буду воевать, и не знать покоя, и вести к концу — к огню, к крови, к суду, — и, может, этот самый дом однажды тоже спалю или он сгорит вместе со мной.

Две женщины в одном доме. Одна мечтает о корове. Другая — о суде над царём.

Она посмотрела на уже спящую Настю — умиротворённую, счастливую мечтой о своём хозяйстве, о печи, о малиннике.

Пусть у неё будет корова, подумала Катя, засыпая. Хоть это. Хоть корова. Между войной. Пусть хоть кто-то из нас поживёт по-человечески.

9.4. Стоны за дверью

Нехлюдов поправился настолько, что снова стал выходить.

Он окреп, отъелся, перестал трястись, посвежел. И — заскучал в номерах. Днём Катя вечно по делам — дом смотрит, в кружок к Соломину ходит, у нотариуса бумаги оформляет. Настя то при нём, то по хозяйству. А он — здоровый уже, трезвый, маялся без дела. И стал выходить. В ресторан — обедать, теперь трезво, без водки (Катя строго следила, рыжий коридорный доносил, если что). В библиотеку Макушина — читать.

Читать его Катя и приохотила. Вернее, взялась — как за Настю — приобщить к своему. «Будешь со мной жить — читай что путное, а не графа. Вот тебе Сеченов. „Рефлексы головного мозга“. Про то, как человек устроен. Почитай — поумнеешь».

Нехлюдов взял Сеченова. Ходил в читальню, сидел над ним — и не понимал ни слова.

То есть слова-то он понимал — русские слова. А смысл — нет. Про рефлексы, про возбуждение, про торможение, про то, что душа есть движение нервов, что мысль — рефлекс, что свободы воли нет, а есть раздражение и ответ. Нехлюдов читал — и в голове у него не укладывалось. Он был неглуп по-светски — знал языки, знал графа наизусть, знал, как держать вилку и как поклониться губернаторше. Но к такому — к естественным наукам, к строгой мысли, к материализму — голова его была не приспособлена. Образование его было пустое, барское, гимназически-гвардейское. Он Дарвина-то не осилил, а уж Сеченова…

Он сидел над «Рефлексами» в читальне Макушина, хмурился, перечитывал одну страницу по пятому разу — и ничего. Пусто. Как Катя говорила — «поумнеешь». А он читал — и глупел ещё больше, запутывался, тосковал. Это был не его мир. Его мир был — граф, Евангелие, непротивление, любовь, душа. А тут — нервы, рефлексы, никакой души, никакого Бога. И от этого чтения ему делалось не умнее, а тоскливее, пусто, холодно.

Он закрывал Сеченова, не поняв, и шёл домой, в гостиницу, ни с чем.

В тот день он вернулся раньше обычного.

Посидел в читальне, помучился над Сеченовым, бросил, пошёл в номера. День был жаркий, августовский. В гостинице тихо, сонно — послеобеденный час. Катя с утра уехала к нотариусу — оформлять купчую на дом. Насти он не видел — думал, она по хозяйству или дремлет.

Он поднялся по лестнице. Прошёл по коридору к их номерам. И — у двери соседнего номера, того, что пустовал, что снимали иногда проезжие, — он услышал.

Стоны.

Женские. Он замер. Узнал — Настин голос. Он знал этот голос, этот стон — Настя так стонала с ним, в постели, кротко, протяжно. Но сейчас — там, за дверью, с кем-то. Не с ним. Он тут, в коридоре. А она — там.

Дверь была приоткрыта. На палец. Щель.

Он не хотел смотреть. Он был деликатен, воспитан, — подглядывать стыдно, грешно. Он хотел уйти, тихо, не услышав, не увидев. Но — ноги не пошли. Он стоял, и стоны за дверью тянули его, жгли, мучили, — и он, против воли, помимо стыда, наклонился к щели. Заглянул.

Он увидел.

Настя — его кроткая, светлая, добрая Настя, та, что ласкала его, жалела, звала «миленьким», та, которую он считал своим тёплым пристанищем, своей отрадой, — Настя отдавалась чужому мужчине.

Незнакомому. Какому-то проезжему — грузному, потному, с красным затылком, в сбитой на пол одежде. Отдавалась — наклонившись, упёршись руками в спинку кровати, задрав юбку на спину, сзади. По-собачьи. Грубо, непристойно, как последняя уличная девка. Мужик держал её за бёдра, сопел, двигался, а она — стонала, протяжно, тем самым голосом, и покачивалась под ним, и подавалась навстречу.

Нехлюдов отшатнулся от щели. Кровь бросилась ему в лицо. Сердце заколотилось. Его затошнило — от стыда, от обиды, от боли, от гадливости.

Он не знал — и не мог знать, — почему она стояла так, в этой непристойной позе, сзади. Он думал — от распутства, от бесстыдства, оттого, что ей так слаще, что она такая. А на самом деле — он этого не знал — Настя стояла так, чтобы мужик не видел её груди. Левой. Обожжённой. С рубцом. Она стыдилась рубца, прятала его ото всех, кроме Кати да Нехлюдова (и то от Нехлюдова прикрывала), — и с чужими гостями становилась только так, сзади, наклонившись, чтобы грудь была в тени, не на виду, чтоб не увидел, не отшатнулся, не назвал порченой. Поза стыда, а не распутства. Но Нехлюдов этого не понимал. Он видел — распутство. Бесстыдство. Последнюю степень падения.

Он отошёл от двери. Шатаясь. Ушёл в свой номер. Сел. Обхватил голову руками.

Ему было — больно.

Больнее, чем он ждал. Он думал — он привык, он знает, кто они, Катя и Настя, — проститутки, падшие, продажные. Катя — он давно знал, Катя была страшная, властная, чужая, он её боялся и мучился ею, но не обольщался — она его не любит, она другая, она зверь.

А Настя — Настя была другое. Настя была — его отрада. Его утешение. Кроткая, светлая, добрая, жалостливая. Она его выхаживала, ласкала, жалела, называла «миленьким», говорила, что у неё к нему… ну, не любовь, но тепло, нежность, привязанность. Он думал — вот, хоть одна живая душа, хоть одно тёплое пристанище в его разбитой жизни. Хоть Настя — не продаётся, не чужая, а своя, добрая, любящая по-своему.

А она — вон. С чужим мужиком. По-собачьи. За деньги, должно быть. Стонет ему так же, как стонала Нехлюдову. Подаётся навстречу так же. Для неё и он, Нехлюдов, и этот потный проезжий — одно. Гость. Мужик. Всё равно кто. Она и ему, Нехлюдову, стонала не от нежности — а по ремеслу, как всем, как этому.

Значит, и Настина нежность — ложь. Ремесло. Значит, и тут, у неё, — нет пристанища, нет тепла, нет живой души. Одна продажность. Одна похоть. Всё равно с кем.

Рушилась последняя его иллюзия. Он думал — Катя зверь, но Настя добрая, Настя любит, у Насти можно согреться. А выходило — обе продажные. Обе шлюхи. Одна страшная, другая кроткая — но обе за деньги, обе всё равно с кем, обе — не любовь, а ремесло.

Он был совсем один. Среди двух проституток, которых принял за семью, за пристанище, за тепло. А тепла нет. Есть похоть и расчёт. И у страшной Кати, и у кроткой Насти. Одинаково.

Он сидел, обхватив голову, и его тянуло — страшно, неудержимо — к бутылке. Запить. Заглушить эту боль, эту пустоту, это одиночество. Он год пил — от этого самого, от одиночества, от того, что нет тепла, нет живой души. Отвык было, при них, при Насте с её лаской. А теперь — лаской оказалась ложь, ремесло, всё равно с кем, — и опять подступало дно, и опять тянуло к водке.

За дверью стоны стихли. Потом — мужик вышел, протопал по коридору, спустился. Потом — Настя, оправившаяся, прибранная, вошла к Нехлюдову — весёлая, свежая, разрумянившаяся, с деньгами, должно быть, в кармане.

— Ой, Дмитрий Иваныч, вы уж вернулись? — сказала она, не чуя беды. — А я думала, вы в читальне ещё. Чаю хотите? Я мигом.

Он поднял на неё глаза — тяжёлые, больные, полные обиды и гадливости.

Настя осеклась. Поняла — что-то не так. Испугалась.

— Что вы, Дмитрий Иваныч? Нездоровится? Бледный вы…

— Ты… — проговорил он глухо. — Ты сейчас… там… с мужиком…

Настя вспыхнула. Поняла — слышал. Видел, может. Залилась краской — не от стыда даже за блуд (к блуду она привыкла, это ремесло), а от того, что он узнал, что ему больно, что он так смотрит.

— Дмитрий Иваныч… я… — забормотала она. — Да это ж… это ж по делу… это постоялец, он заплатил… это ж работа… Вы не серчайте… Я ж… это ж не то, что с вами… с вами я по-другому, по-хорошему, а это так, за деньги…

Но Нехлюдов не слушал. Он встал. Отвернулся к окну. Плечи его дрожали.

— Уйди, — сказал он. — Уйди пока. Оставь меня.

Настя, пунцовая, растерянная, виноватая, не понимая толком, что натворила, чем так его ранила, — выскользнула из номера. И побежала — к Кате. К хозяйке. Как всегда, когда что-то шло не так, когда она не знала, что делать, — бежала к Кате, чтоб та рассудила, разрулила, велела.

А Нехлюдов стоял у окна, один, и смотрел вниз, на улицу, на реку, на тот берег, — и в нём снова, как год назад, подымалась чёрная пустота, одиночество, тоска. И тянуло к бутылке. Опять.

9.5. Двадцать рублей

Настя прибежала к Кате в слезах — та как раз вернулась от нотариуса, с купчей на дом, довольная, усталая.

— Катерина Михайловна… беда… князь… он видел… он серчает… он сказал — уйди… он такой чёрный сделался… я боюсь, он опять запьёт…

— Что видел? — спросила Катя, снимая платок.

— Меня… с постояльцем… я ж по делу, за деньги… а он услыхал, заглянул, увидал… и теперь сидит чёрный, к окну отвернулся, плечи трясутся… Катерина Михайловна, сделайте что-нибудь, а то он запьёт опять, я ж вижу…

Катя выслушала. Поняла в одну минуту — как понимала всё.

Ах вот оно что. Князь застал кроткую Настю с чужим мужиком. И убивается. Рушится у него, дурака, последняя иллюзия — что Настя его любит, что Настя — пристанище, тепло, живая душа. А Настя — просто дала за деньги проезжему, как всегда, как всем. И он теперь — на грани. Опять запьёт. Опять на дно.

А этого нельзя. Нельзя, чтоб он запил. Он ей нужен — приличным человеком, при уме, при деньгах, при связях. А не спившимся. Значит — надо разрулить. Успокоить. Не Нехлюдова успокоить его иллюзией — а наоборот, добить иллюзию до конца, чтоб не за что было цепляться, чтоб не из-за чего страдать.

— Сиди тут, — сказала она Насте. — Я сама с ним поговорю.

И пошла к Нехлюдову.

Он стоял у окна, спиной к двери, — чёрный, сгорбленный, как год назад, когда спивался. Катя вошла, села, посмотрела на него спокойно.

— Ну, Митенька, — сказала она. — Чего убиваешься?

Он обернулся. Лицо — страдальческое, обиженное, больное.

— Я… я видел… Настю… с мужиком… — проговорил он. — Я думал… я думал, она… она добрая… она ко мне… а она… с чужим… как… как…

— Как шлюха, — сказала Катя спокойно. — Договаривай. Как шлюха. Ну да. Она и есть шлюха, Митенька. Чего ж ты ждал?

Он поморщился, будто от удара.

— Не говори так… она… она же кроткая… добрая… она ж меня жалела, ласкала, миленьким звала… я думал, у неё ко мне…

— Чувство? — усмехнулась Катя. Не зло — устало, холодно, как объясняют ребёнку очевидное. — Любовь? Привязанность? Садись, Митенька. Я тебе объясню. Раз ты сам не понимаешь.

Она села. Он — тоже, напротив, подавленный.

— Настя — шлюха, — сказала Катя ровно. — Простая, обыкновенная шлюха. Полгода в доме терпимости проработала. Это ремесло её. Она телом торгует — как сапожник сапоги тачает. Привыкла. Ей это — работа. И блуд для неё — не грех, не любовь, не чувство, а работа. Понимаешь? Пришёл постоялец, предложил денег — она дала. Нынче утром дала этому, проезжему. За двадцать рублей. Я знаю — она мне после отдаст в кассу, у нас деньги общие. Двадцать рублей. Вот и вся недолга.

— Двадцать рублей… — повторил Нехлюдов глухо.

— Двадцать. Это постоялец не первый, Митенька. Она уж не раз давала тут, в гостинице, пока ты в читальне сидел. Рыжий коридорный ей гостей подводит, за комиссию. Обычное дело. Она — шлюха, ей всё равно с кем. Хоть с проезжим, хоть с купцом, хоть с тобой. Все — гости. Все — работа. Все — деньги. Что ты, что этот потный мужик — ей разницы нет. Ну, тебя она жалеет — ты больной был, выхаживала, привыкла, — но и жалость её, Митенька, бабья,

дешёвая, как у неё всё. Нынче тебя пожалела, завтра другого. Она ко всем ласковая. Это у неё не любовь к тебе — это натура такая, покорная, ласковая, всем даёт, всех жалеет. Добрая шлюха. Но — шлюха. Всё равно с кем.

Нехлюдов слушал — и чувствовал, как рушится, оседает, рассыпается последнее.

Он цеплялся — за Настину нежность. Думал: пусть Катя зверь, пусть всё падение, пусть Сибирь, пусть дно, — но хоть Настя, хоть одна живая душа, хоть одно тепло, хоть кто-то любит его, Нехлюдова, не за деньги, а так, по-человечески, по-доброму. Хоть Настя — его. Отрада. Пристанище.

А Катя — спокойно, холодно, безжалостно — отнимала у него и это. Двадцать рублей. Не первый раз. Рыжий подводит гостей. Всё равно с кем. Что ты, что потный мужик — разницы нет. Жалость дешёвая, бабья, ко всем. Шлюха.

И — хуже всего — он понимал, что Катя права. Что это правда. Что он сам видел — в щель — как Настя стонала чужому так же, как ему. Подавалась так же. Для неё и он, и тот — одно. Гость. Работа. Деньги.

Нет у него Насти. Нет пристанища. Нет тепла. Нет живой души. Есть — две шлюхи, одна страшная, другая кроткая, обе продажные, обе всё равно с кем, обе — не любовь, а ремесло и расчёт. Он среди них — один. Совсем один. Как был весь год. Как будет всегда.

— Зачем ты мне это говоришь? — проговорил он. — Так… жестоко… Зачем добиваешь?

— Затем, Митенька, — сказала Катя, — что жалею тебя. По-настоящему. Не как Настя — дёшево, бабьи. А — всерьёз. Ты цепляешься за Настину ласку, думаешь — любовь, пристанище. А это не любовь. И коли будешь цепляться, обольщаться — будешь страдать, мучиться, пить, пропадать. Как год пропадал. А коли поймёшь правду — что нет тут для тебя ни любви, ни пристанища, одни шлюхи да ремесло, — то перестанешь цепляться. И отпустит тебя. И легче станет. Правда — она горькая, да лечит. А ложь, обольщение — они сладкие, да губят. Я тебе правду говорю — чтоб вылечить. Горькую. Нет у тебя тут Насти-отрады. Нет. Есть шлюха Настя за двадцать рублей. Прими это — и свободен.

Нехлюдов молчал. Смотрел в пол. Лицо его менялось — от боли, от обиды — к чему-то другому. К горькому прозрению. К трезвости.

Она права, думал он. Страшная, жестокая — а права. Нет тут для меня тепла. Я обольщался. Я цеплялся за Настину ласку, как пьяница за рюмку, — чтоб не чувствовать, что один. А я — один. И Настя мне не отрада, а шлюха за двадцать рублей. И Катя — не любовь, а зверь, который меня для чего-то своего держит. Я тут — чужой. Лишний. Один. И дальше будет — хуже. Если останусь — сопьюсь, пропаду, сойду с ума. Цепляясь за то, чего нет.

— Да, — сказал он тихо. — Ты права, Катя. Нет тут… ничего. Я обольщался. — Он поднял на неё глаза. — А водки я больше пить не буду. Не бойся. Не затем ты меня от неё отваживала, чтоб я опять… Нет. Я… я по-другому. Я подумать должен. Что мне делать. Куда…

— Вот и подумай, — сказала Катя. — Трезво. Без обольщений. Что тебе делать и куда. — Она встала. — А чтоб тебя совсем не скрутило нынче от этой правды — я тебя вечером утешу. Мы с Настей. Чтоб ты не чёрным спать лёг, а спокойным. Ладно?

Он не ответил. Но она видела — он согласен. Куда он денется. Привык. В женских руках.

Она вышла. Настя ждала в коридоре, испуганная.

— Ну что, Катерина Михайловна? Как он? Не запьёт?

— Не запьёт, — сказала Катя. — Я ему правду сказала. Что ты шлюха и даёшь за деньги всем, и ему разницы нет.

Настя охнула, залилась краской:

— Ой… зачем же так-то… он же… ему ж больно…

— Больно, — согласилась Катя. — Да лечебно. Пусть не думает, что ты его любишь. А то цепляться будет, страдать, пить. А так — поймёт, что любви тут нет, отболит и отпустит. Ему же лучше.

— А… а я-то его вправду жалею, — сказала Настя тихо, виновато. — Хороший он. Я к нему… не как к гостю… я к нему по-доброму, по-настоящему… А вы сказали — всё равно с кем, шлюха…

Катя посмотрела на неё. На Настю — которая, может, и вправду привязалась к доброму князю, пожалела по-настоящему, по-человечески, нежно, — больше, чем к гостю, иначе, чем к гостю. У Насти ведь была душа, живая, тёплая, которую Катя так и не вытравила до конца. Может, Настя и правда князя — любила, по-своему, по-бабьи, по-доброму. И Нехлюдов, цепляясь за её нежность, был, может, не так уж и неправ — тепло-то, может, и было, настоящее.

А Катя — взяла и убила это. Назвала шлюхой за двадцать рублей, всё равно с кем. Растоптала то живое, что, может, было между Настей и князем, — одно настоящее, тёплое, человеческое, что завелось в этих номерах. Растоптала — потому что так было нужно. Чтоб Нехлюдов отболел и уехал. Чтоб не пил. По расчёту.

Трещина-волосок дрогнула.

А может, и было тепло, подумала Катя. Может, Настя его правда любила, по-своему. И он её. Два добрых, слабых, искалеченных существа — пригрелись друг к другу. А я — растоптала. Назвала ремеслом, расчётом, двадцатью рублями. Потому что мне так надо — чтоб он уехал. Я и это обратила в оружие — Настину жалость, Настину любовь, если она была. Разменяла на двадцать рублей. Чтоб вышло по-моему.

Я всё обращаю в двадцать рублей, подумала она. Любовь, жалость, тепло — всё. Для меня нет любви — Сеченов, рефлекс, физиология. И для других, думаю, нет — всё ремесло, расчёт, похоть, двадцать рублей. А может, есть. Может, у Насти к князю — было. А я не вижу. Разучилась видеть. Для меня всё — двадцать рублей. Может, это я слепая, а не они.

Но — она отогнала. Как всегда.

— Будет тебе, Настя, — сказала она. — Любила, не любила — какая разница. Он уедет скоро, я чую. Так лучше — без любви, без слёз. Отпустим его, и всё. А нынче вечером — утешим напоследок. Вдвоём. Чтоб не чёрным уехал, а спокойным. Поняла?

— Поняла, — вздохнула Настя. Грустно. Ей было жалко — и князя, и того тёплого, что, может, было между ними и что Катя сейчас назвала двадцатью рублями.

9.6. Награда

Вечером они утешили его напоследок.

Катя устроила это — как устраивала всё: с расчётом, с умением, со знанием мужского тела и мужской души. Не для своего удовольствия — для дела. Чтоб Нехлюдов не лёг спать чёрным, разбитым, чтоб не потянулся к бутылке, чтоб правда, которую она ему вбила днём, улеглась не в тоску и запой, а в покой и трезвость. Тело успокаивает душу — она это знала, этим и лечила его весь месяц. Вот и напоследок — пусть тело успокоит. А на успокоенного, насыщенного, расслабленного — и правда ляжет мягче, и решение придёт яснее.

Они пришли к нему вдвоём — Катя и Настя. В красном обе. Тёмная и светлая.

И была — роскошная ночь. Полная. Щедрая. Такая, какой у Нехлюдова не было никогда — ни в молодости, ни в гвардии, ни с кем. Две женщины, две жены, две любовницы разом — на него одного. Властная и кроткая, чёрная и светлая, жёсткая и мягкая, — обе, вместе, на нём, для него, со всем умением, со всей щедростью.

Катя вела — как всегда, властно, зная, что и когда. Настя — ласкала кротко, нежно, прильчиво. Они ласкали его в четыре руки, в два рта, два тела — белое и смуглое, светлое и тёмное — склонялись над ним, над одним, обвивали, нежили, доводили, не давали опомниться. Он тонул в них, в двух, растворялся, терял себя — и это было не страшно, а сладко, покойно, как тонуть в тёплой воде.

Катя смотрела на это — со стороны, даже участвуя, отстранённо, как смотрела всегда, — и думала без злости, почти с усмешкой: вот тебе, Митенька. Напоследок. Награда. За все страдания. Две бабы разом, молодые, умелые, красивые. Султан позавидует. Граф в обморок падёт. Страдал ты, искупал, бил поклоны, искал Бога, спивался — а в награду получил вот это: групповуху с двумя шлюхами. Такова твоя небесная награда, Митенька. Не в раю — в номерах. Не от Бога — от двух блядей. Получай. Заслужил страданиями.

И даже обожжённую грудь Настя ему в этот раз показала — Катя велела, да и темно было, лампа прикручена. Нехлюдов коснулся рубца — осторожно, нежно, не отшатнувшись, — и Настя не отдёрнулась, стерпела, доверилась, потому что это был он, добрый, не чужой проезжий, а он, которому она, может, и правда… Катя заметила это — Настину доверчивость, Настину нежность к нему, настоящую, — и опять кольнуло то, дневное: может, и было у них тепло, а я разменяла его на двадцать рублей. Но — отогнала. Поздно. Пусть напоследок хоть так, хоть нежно. Утешение обоим.

Было хорошо — всем троим. Долго, щедро, покойно. Нехлюдов изошёл, обессилел, растворился, насытился до самого дна, как не насыщался никогда.

И вот тут, на этом пресыщенном покое, когда всё кончилось, когда Настя уже задремала, свернувшись у его плеча, а Катя лежала рядом, спокойная, отстранённая, — вот тут Нехлюдов и прозрел.

Окончательно. До конца.

Он лежал, обессиленный, насыщенный, успокоенный, — и в этом покое, в этой телесной сытости, впервые за весь год голова его была ясна, спокойна, трезва. Муки не было. Тоски не было. Тяги к бутылке — не было. Было — спокойствие. И в этом спокойствии он вдруг увидел всё — ясно, как никогда.

Он увидел, что эти две женщины — не его. И никогда не будут. Что Катя его не любит и не полюбит — она зверь, страшная, цельная, идущая к своей чёрной цели, а он ей — дело, которое она доводит до конца. Что Настя его не любит — ну, может, жалеет, по-бабьи, дёшево, но завтра пожалеет другого, она шлюха, всё равно с кем, двадцать рублей. Что ни та, ни другая ему не любовь, не жена, не пристанище. Что он тут — чужой, лишний, пригретый на время, утешаемый на прощание, как утешают больного или покойника.

Что он целый год был на грани. Год спивался, мучился, метался — из-за Кати, из-за своей болезненной, безответной, мучительной привязанности к ней. Год был на волосок от безумия, от смерти, от окончательного дна. И если останется — сопьётся опять, сойдёт с ума, пропадёт. Потому что любить ту, кто не любит и не полюбит, цепляться за ту, кому ты дело, жить при двух шлюхах, принимая их ремесло за тепло, — это безумие. Это дорога на дно. Он там был. Он не хочет назад.

Надо уезжать.

Надо — просто уехать. Оторваться. Освободиться. Перестать болеть Катей, цепляться за Настю, жить при них, в этом чаду, в этой групповухе, в этом гниении. Уехать — и заняться другим делом. Настоящим. Своим. Таким, где он — не лишний, не чужой, не утешаемый покойник, а — нужный, на месте, делающий добро.

И тут он вспомнил.

Голод.

— Катя, — сказал он тихо, в темноту, лёжа на спине, глядя в потолок. — Ты слышала? В России голод. Страшный. В Поволжье, в чернозёмных губерниях. Неурожай. Деревни вымирают. Мрут — тысячами. Дети, старики. Нечего есть.

— Слышала, — сказала Катя. — Весь город говорит. И баржи вон идут — переселенцы, с голодных мест бегут.

— Граф Толстой, — сказал Нехлюдов, и голос его стал другим — не пьяным, не больным, не страдальческим, а ясным, твёрдым, живым, каким давно не был, — граф Толстой поехал туда. В Рязанскую, что ли, губернию. Столовые открывает. Кормит голодных. Собирает деньги, хлеб, устраивает. И другие едут — толстовцы, студенты, доктора, барышни, кто может. Помогать. Спасать. Живых людей — от смерти. Руками. Делом.

Он помолчал. Потом сказал — твёрдо, решённо:

— Вот где моё место, Катя. Там. На голоде. Кормить голодных. Делать настоящее дело — доброе, руками, живое. А не гнить тут, в Томске, в номерах, при вас, больным, лишним, пьяным. Я ведь выбрал путь — толстовский, добрый. Так надо по нему идти — к делу, к людям, к живым. А я год пролежал — в блуде, в вине, в тоске, цепляясь за тебя, которая меня не любит. Хватит. Я поеду. На голод. К графу. Спасать.

Катя слушала.

Вот оно. Наконец. То, к чему она вела его весь месяц — выхаживая, отваживая от водки, насыщая телом, добивая иллюзии, — то, чего ждала, чего хотела. Он прозрел. Понял, что она не его, что тут ему не житьё, что надо уехать к своему делу. Сам понял — она только подтолкнула. Вылечила — и отпустила. Как птенца из гнезда.

— Правильно, Митенька, — сказала она. Мягко. Без насмешки — хотя внутри усмехалась. — Наконец-то. Наконец-то хоть что-то понял. Поезжай. На голод. Это по тебе — кормить, жалеть, спасать. Доброе дело. Там тебе место, а не тут. Тут ты пропадёшь. А там — человеком будешь, нужным, на месте. Поезжай.

— Ты… ты не держишь?

— Нет. Отпускаю. Я ж обещала — весной отпущу. Запоздала малость — лето уж, осень скоро. Ну да ничего. Поезжай с Богом. Делай добро. Кормить голодных — это хорошо. Это — твоё.

Он посмотрел на неё — с благодарностью, с облегчением, с чем-то похожим на прежнюю любовь, но уже не болезненную, а тихую, прощальную.

— Спасибо, Катя, — сказал он. — Ты… ты меня вылечила. От водки. И от… от тебя же. Странно. Ты меня и мучила, и вылечила. Спасибо.

— Не за что, — сказала Катя. — Спи. Завтра про отъезд потолкуем. Билеты, деньги, бумаги. Спи, Митенька. Вылеченный.

Он уснул — спокойно, насыщенно, с принятым решением, впервые за год умиротворённый. Настя спала у его плеча. А Катя лежала с краю, глядя в потолок, и думала.

Вылечила, думала она. И отпустила. Он поедет на голод, к графу, кормить голодных. Доброе дело. По нему. Там ему место — среди добрых дураков, толстовцев, жалельщиков. Будет кашу разливать голодным мужикам, и жалеть их, и умиляться, и чувствовать себя нужным, хорошим. И, может, впервые будет на месте, не лишним. И — она усмехнулась про себя — найдёт там себе какую-нибудь дуру-толстовку. Курсистку с горящими глазами, что поехала народ спасать. Или вдовушку сердобольную. Женится, может. Заживёт тихо, добро, бестолково. Народит детей. Будет кормить голодных, читать графа, бить поклоны, умиляться. Доброй жизнью доброго дурака.

И хорошо. И пусть. Не моё это — доброта, жалость, спасение. Моё — суд, коса, огонь. Мы с ним разной породы, разных берегов. Он — лопата, я — коса. Он копает, растит, кормит. Я — кошу. Не ужиться лопате с косой. Пусть едет к своим лопатам, к толстовцам. А я — к своим косам, к кружку, к Пти-Пари, к делу.

Два года он был в моей жизни — камнем на шее. Сначала — тот, кто меня погубил, в прологе, двенадцать лет назад, в белом кителе, «Христос воскресе, Катюша». Потом — тот, кто являлся спасать, мучил спасением, носил сотни в кассу по понедельникам. Потом — тот, кого я судила телом, валяла в грязи, читала Апокалипсис у ног. Потом — тот, кого выхаживала, лечила, отваживала от водки, насыщала, добивала иллюзии. И вот — отпускаю. Вылеченного. На доброе дело. К дуре-толстовке.

Квиты, Митенька. Ты меня погубил — я тебя вылечила. Ты мне сто рублей в конверте — я тебе два года мучений и месяц лечения. Ты мне — «Христос воскресе» и падение. Я тебе — «Бог простит» и свободу. Квиты. Поезжай.

Она посмотрела на спящего — на доброе, слабое, ясное теперь лицо. И не было ни ненависти, ни любви, ни даже жалости особой. Было — спокойствие. Как после законченного дела. Нехлюдов — дело — доведён до конца. Закрыт. Отпущен. Можно вычеркнуть.

Из чёрной тетради — вычеркнуть. Он больше не в «книге живых» как должник, как подсудимый. Он — отпущенный. Прощённый (Бог простит). Уехавший. Вычеркнутый.

Одним камнем на шее меньше.

За окном стояла августовская ночь. Прохладная уже — осень близко. Голод в России. Баржи с переселенцами на Оби. Граф в Рязанской губернии со столовыми. И Нехлюдов — завтра начнёт собираться, а через несколько дней уедет — туда, к графу, к голодным, к доброму делу, к дуре-толстовке.

А Катя — останется. С купчей на дом в сундуке. С Пти-Пари, которое надо строить. С кружком, с Соломиным, с Рахметовым, с тайной комнатой. С Настей-рабыней. С чёрной тетрадью. С косой.

С наследником, которого она видела в толпе и приговорила одним взглядом, — где-то далеко, в Петербурге, ставшим уже целью, вершиной, концом её долгого пути.

С войной, которая только начиналась.

Нехлюдов уезжал в свою Францию — добрую, толстовскую, где кормят голодных. А она строила свою — Пти-Пари, маленький Париж, где спереди пляшут канкан, а сзади, в тайной комнате, куют заговор. Два Парижа. Две России. Две дороги.

Он выбрал — накормить. Она — скосить.

Передышка кончалась. Лето уходило. Начиналась осень — и с ней новая жизнь: дом, кабаре, подполье, война.

Катя закрыла глаза. Рядом спали двое — отпущенный князь и верная рабыня. А ей снилась — она знала, что приснится, — коса. И пожар. И молодое усталое лицо наследника в толпе. Мерзавца, которого надо убить. И конь бледный.



Глава 10. Маленький Париж

…и купцы земные разбогатели от великой роскоши её.

Откровение, 18:3

10.1. Прощание

Нехлюдов уезжал в конце сентября, с последним пароходом перед осенней распутицей.

Он собрался быстро, легко — будто сбрасывал с себя что-то. За несколько дней из полумёртвого, жёлтого, трясущегося пьяницы он сделался почти прежним: побрился, приоделся, выпрямился, глаза заблестели. Не Катиной властью и не Настиной лаской он теперь жил — а мечтой. Мечтой о новой жизни, о добром деле, о голоде, куда он ехал.

И всю последнюю неделю он только об этом и говорил — взахлёб, светло, как говорят о том, что наконец нашли.

— Ты понимаешь, Катя, что там творится? — говорил он, укладывая чемодан, и руки у него дрожали не от водки уже, а от волнения. — В России — голод. Настоящий. Какого не было с незапамятных времён. Неурожай страшный — ещё с прошлой осени недород, а это лето всё выжгло, засуха, суховеи. Хлеб не уродился вовсе. Двадцать губерний — двадцать, Катя! — Поволжье, Казанская, Самарская, Симбирская, Саратовская, Воронежская, Тамбовская, Рязанская, Тульская, Орловская — весь чернозём, вся житница. Там сейчас — мрут. Едят лебеду, мякину, жёлуди, кору молотую, лепёшки из лебеды с глиной. Коров режут последних, лошадей продают за бесценок — пахать весной не на чем будет. Детей по миру пускают. Деревни пустеют — кто в город бежит, кто помирает. Тиф уже пошёл — голодный тиф, он всегда за голодом идёт. А за ним, говорят, и холера подымется, с низовьев, с Волги. Голод, тиф, холера — всё разом. Мор.

Катя слушала, сидя у окна, в чёрном. Молча.

— А правительство! — Нехлюдов возмущался, лицо его горело. — Правительство сначала и слова «голод» запретило. Велено было говорить «неурожай». Будто от слова легче. Хлеб за границу вывозить продолжали — осенью, когда уж ясно было, что недород, — вывозили, продавали, чтоб казну пополнить, «мы не доедим, но вывезем», как министр сказал, — а народ пухнул с голоду. Спохватились поздно. Теперь вот земствам разрешили помогать, Красному Кресту, частным лицам. Толстой — граф — поехал. В Рязанскую, в Бегичевку. Открывает столовые — бесплатные, для голодающих. Собирает деньги, хлеб, картофель, устраивает, где кормить. Пишет — статьи, воззвания, на всю Россию, на всю Европу, чтоб жертвовали. И едут к нему — дочери его, помощники, студенты, курсистки, доктора, толстовцы — сотни едут, со всей России, спасать. Хлеб раздавать, столовые держать, больных пользовать, детей кормить. Живое дело, Катя! Руками! Спасать живых людей от смерти — вот оно, настоящее! Не рассуждать, не каяться, не Евангелие читать — а хлеб голодному дать, вот христианство, вот дело!

Он говорил, и глаза его сияли, и он был — почти красив в этом сиянии, в этой мечте. Впервые за всё время Катя видела его живым, одухотворённым, нашедшим себя.

Добрый дурак нашёл своё дело, думала она. Кормить голодных. Да, это по нему. Там ему место — среди таких же добрых дураков, толстовцев, курсисток с горящими глазами. Будет кашу разливать, умиляться, чувствовать себя спасителем. И счастлив будет. Наконец на месте, не лишний.

— Катя, — сказал он, остановившись, посерьёзнев. — Дай денег на голод. У тебя есть. Ты… ты богата теперь, дом купила. А там — мрут. Дай сколько можешь — я отвезу, на столовые, графу передам, на хлеб голодным. Это ж… это ж святое дело. Спасти хоть сколько-то. Деньгами жизни купить. Ну что тебе — сотню, две? А там на это десятки людей зиму переживут.

Катя посмотрела на него.

И — не дала.

— Нет, Митенька, — сказала она спокойно. — Денег на голод не дам.

Он опешил.

— Как… почему? Ты же… там мрут, дети мрут, а ты…

— Мрут, — сказала Катя. — И будут мереть. Пока стоит то, что их морит. — Она встала, подошла к окну, посмотрела вниз, на реку, на баржи с переселенцами, что всё шли и шли с голодных мест. — Ты голодных кашей покормишь, Митенька. Этой зимой. Тысячу, десять тысяч. А на будущий год — опять недород, опять голод, опять мор. Потому что хлеб у мужика отбирают — подати, недоимки, выкупные, долги, кулак, помещик, казна. Мужик с голоду пухнет не оттого, что хлеба нет, — хлеб есть, его за границу вывозят! — а оттого, что его у мужика забирают. Весь, до зерна. А ты — кашей. Твоя каша — это как доктор, что умирающему лоб обтирает. Облегчить. А вылечить — нет. Пока стоит гора, что мужика обирает, — будет голод. Каждый год. И твоя каша — соломинка в море. Сегодня покормил — завтра опять мрут.

— Так что ж — не кормить? Пусть мрут?

— Кормить — тебе, — сказала Катя. — Кому каша по душе. А мои деньги — на другое. Не на кашу — на то, чтоб гору свалить. Что мужика морит. Я голод не кашей лечить буду, а — косой. Под корень. Твоя соломинка — одного на день спасёт. А моя коса — если дойдёт — весь корень голода вырубит. Вот куда мои деньги. На корень. Не на кашу.

Нехлюдов смотрел на неё — и в его сияющих мечтой глазах мелькнул прежний ужас перед ней.

— Ты… ты страшная, Катя, — сказал он тихо. — Люди мрут сейчас, сегодня, — а ты про корень, про косу, про когда-то. Пока ты корень рубить будешь — сколько их умрёт? А я хоть одного сегодня накормлю. Живого. Сейчас. Разве это не важнее твоего корня?

— Может, и важнее, — сказала Катя. — По-твоему. По-доброму. А по-моему — нет. Ты одного накормишь — а корень оставишь, и он ещё тысячу уморит. Я одного не накормлю — а корень вырублю, и спасутся тысячи, после. Ты — сегодня, я — завтра. Ты — одного, я — всех. Ты — кашей, я — кровью. Вот и вся разница между нами, Митенька. Ты — лопата, я — коса. Оттого мы и не пара. Оттого ты и едешь кашу разливать, а я остаюсь косу точить.

Он кончил собираться. Чемодан стоял у двери. За окном гудел пароход у пристани.

— Ну, прощай, Катя, — сказал Нехлюдов. И помолчал. И сказал, глядя на неё, в последний раз, тихо: — Прости меня. Я знаю, ты на Прощёное не простила, сказала — судить будешь, не прощать. Но я всё ж прошу — в последний раз, уезжая. Прости. За всё. Двенадцать лет назад, за сто рублей, за всё зло. Отпусти меня прощённым. Мне так легче будет — жить, дело делать, помнить, что ты меня простила.

Катя посмотрела на него.

И — сказала. Своё. То, к чему пришла за эти два года, через кассу, через яд, через огонь, через суд, через книги, через Сеченова.

— Прощения нет, Митенька, — сказала она спокойно. — Потому что и вины нет. Понимаешь? Я теперь знаю — книги читала, учёные. Нет никакой вины, нет греха, нет злой воли. Есть только законы материи. Рефлексы. Нервы. Ты меня соблазнил двенадцать лет назад — не по злой воле, а по рефлексу: молодой самец, красивая самка, весна, туман, кровь играла — вот и всё, физиология, как у зверей. И бросил — по рефлексу: испугался, стыдно, уехал. И спасать являлся — по рефлексу: совесть защемила, нервы, захотелось облегчить. Нет тут вины. Нет греха. Есть — машина. Ты — машина, и я — машина, и всё, что мы делали друг другу, — работа машин. По законам. Как камень падает, как вода течёт. Какая ж тут вина? Какое прощение? Прощают — виноватого. А виноватых нет. Есть только — что случилось, по законам материи.

Нехлюдов слушал — потрясённый. Это было страшнее, чем «не прощу». Это отнимало самую почву — вину, грех, прощение, — всё, на чём стоял его мир, его Евангелие, его покаяние.

— Но, — сказала Катя, и голос её чуть смягчился, — если тебе так легче будет — пожалуйста. Прощаю. Раз тебе нужно слово — вот тебе слово. Прощаю, Митенька. Это ничего не

значит — вины ж нет, прощать нечего, — но коли слово тебя утешит, бери. Прощаю. — Она помолчала. — Это значит только одно: мстить тебе лично — не буду. Тебя в своей книге — вычеркнула. Ты уезжаешь — и я тебя больше не трогаю, не сужу, не ищу. Живи. Кашу разливай. Это и есть моё прощение — не то, что я зла на тебя не держу (зла и нет, законы материи), а то, что я тебя оставляю в покое. Отпускаю. Иди с миром. Косой тебя не трону.

Нехлюдов стоял, оглушённый. Это было и прощение, и нет. И милость, и приговор. Она прощала — отрицая самую возможность вины и прощения. Отпускала — вычёркивая из списка жертв. Миловала — холодно, по-машинному, как останавливают часы.

— Спасибо, — проговорил он наконец. Не поняв до конца, но взяв то, что мог взять. — Спасибо, Катя. Я… я буду помнить, что ты меня простила. Как бы ты это ни понимала — а слово ты сказала. Прощаю. Мне легче. Спасибо.

— Иди, — сказала Катя. — Пароход гудит. Опоздаешь.

Они вышли проводить его — она и Настя — к пристани.

Был серый сентябрьский день, ветреный, с первым холодом осени. Пароход стоял у дебаркадера, дымил, гудел. Грузились последние пассажиры, таскали багаж. Река катила серые волны, несла жёлтые листья.

Нехлюдов обнял Настю — она всплакнула, он погладил её по голове, сказал что-то тихое, доброе. Настя привязалась к нему, жалела, может, и любила по-своему — ей было грустно. Она сунула ему в дорогу узелок — пирожков напекла, в своей ещё не заведённой печи, у гостиничной кухарки выпросила.

Потом он подошёл к Кате. Хотел обнять — она подала руку. Он пожал. Долго держал.

— Прощай, Катя, — сказал он. — Спасибо тебе. За всё. Ты меня и мучила, и погубила когда-то, и спасла, и вылечила, и отпустила. Странная ты. Страшная. А я тебе — благодарен. Ты меня человеком обратно сделала. Из того, что валялось в блевотине. — Он помолчал. — Дай тебе Бог… нет, ты в Бога не веришь. Ну… дай тебе — чего ты сама хочешь. Хоть я и боюсь того, чего ты хочешь.

— И тебе, Митенька, — сказала Катя. — Кашу разливай. Доброе дело. Найдёшь там себе… — она чуть усмехнулась, — себе по сердцу кого. Заживёшь. Прощай.

Он взошёл на пароход. Стоял у борта, махал — им двоим, на пристани, чёрной и светлой. Пароход загудел, отвалил, зашлёпал колёсами, пошёл вниз по реке, на север, к Оби, а оттуда — долгим путём, пароходами, трактом, железной дорогой — в Россию, к голоду, к графу, к столовым, к доброму делу, к новой жизни.

Катя смотрела, как он уходит — князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, тот, с кого всё началось двенадцать лет назад, в белом кителе, «Христос воскресе, Катюша», — уходит навсегда, вычеркнутый, прощённый, отпущенный.

Камень с шеи, думала она. Последний камень из той, прежней жизни. Тётушки — в прошлом. Китаева — в прошлом. Симонсон — в земле. Женька — в золе. Любка — в земле. А теперь и Нехлюдов — уплыл. Всё, что связывало с прежним, — отрезано. Сожжено. Уплыло. Я теперь — одна. Чистая. Пустая. Готовая. Начинаю — заново. С дома, с Пти-Пари, с косы.

Пароход скрылся за поворотом реки. Прощально гуднул — издали, глухо. И стих.

Настя плакала тихонько, утирая слёзы платком.

— Уплыл, — сказала она. — Хороший был. Жалко.

— Жалко, — согласилась Катя. И, помолчав: — Ну, будет. Пошли. Дел по горло. Варьете открывать. Тебя французскому учить. Хватит реветь. Жизнь, Настя, новая начинается. Пошли.

Они повернулись и пошли с пристани — в город, вверх, к новому дому, к Пти-Пари, к осени, к войне.

А по реке, навстречу уплывшему Нехлюдову, всё шли и шли баржи — с переселенцами, с беженцами, с голодных мест, вниз по течению, туда же, в Россию, к голоду, к смерти, к жизни, — серые, тяжёлые, молчаливые, полные людей.

10.2. Тайная комната

Дом перестраивали весь сентябрь.

Катя наняла плотников, маляров, обойщиков — и дом золотопромышленной вдовы Пузырёвой, купленный за полцены после торга, испорченного Настиными яблоньками, превращался в «Пти-Пари». Большую залу расширяли под эстраду — ломали перегородку, поднимали потолок, строили помост-сцену. Комнаты второго этажа переделывали в кабинеты — отдельные, с диванами, с портьерами, для гостей побогаче. В саду, спускавшемся к реке, расчищали площадку под летнюю эстраду, вешали столбы для фонарей, ставили столики. Стучали топоры, визжали пилы, пахло свежей стружкой, краской, клеем.

А в глубине сада, за баней, где стояла старая глухая пристройка — не то людская, не то амбар, с отдельным входом, — там Катя обустраивала то, ради чего, по сути, и был куплен весь дом.

Тайную комнату.

Её она переделывала сама, без чужих рук, — не доверяя плотникам, не желая, чтоб кто-то знал. Сама разобрала и переложила полку, устроив за ней нишу-тайник. Сама приладила к двери хитрый засов — изнутри. Сама прорубила в задней стене, выходившей к оврагу, к реке, низкое окошко-лаз, прикрытое снаружи дровами, — на случай. Снаружи пристройка глядела рухлядью, хламом, забытым углом сада, куда никто не заглянет. А внутри — была чистая, сухая, с лавками, со столом, со свечами, с полками для книг.

Крепость в крепости. Сердце в сердце. Снаружи — изба с коровой (Настина мечта, Катя обещала). Глубже — кабаре с канканом. А в самой середине, за баней, в хламе, — вот это. Тайная комната. Для кружка. Для книжек. Для дела.

В тайник она перенесла всё главное: чёрную тетрадь — «книгу живых», которую искали жандармы (теперь, когда Головин повязан, слежка отозвана, но беречь надо всё равно); деньги на дело, что не в банке (крутилинские, кровавые, остаток кассы); склянку с борцом; и все три свои тетради, и книги запрещённые — Маркса, Кропоткина, Лаврова. (Коричневая книга взяток лежала отдельно — у Привалова в несгораемом шкафу, он не знал, что хранит.)

Устроив, она позвала своих — показать базу.

Пришли Соломин и Рахметов. Вечером, тайно, задами, через овраг, к задней двери — Катя их провела, показала лаз, засов, тайник.

Соломин — старый, сутулый, в заплатанном пиджаке, с изуродованной рукой — оглядел комнату, покивал.

— Ловко, — сказал он. — Хитро. За баней, в хламе, никто и не глянет. А кругом — кабаре, огни, пьяные купцы, полиция сама ходить будет, взятки брать, веселиться. И под этим шумом — мы. Умно, Екатерина Михайловна. Я тридцать лет по конспиративным квартирам — такой ещё не видал. Кабаре как ширма. Кто ж станет искать социалистов среди плясуний да среди пьяного купечества?

— В том и мысль, — сказала Катя. — Самое шумное, самое весёлое, самое греховное место в городе — и самое безопасное. На виду — и невидимо.

Рахметов — светлый, холодный, молчаливый — тоже оглядел, тоже одобрил, по-своему, скупо:

— Годится. Для сходок. Для хранения. Книжки держать, листки, если станок добудем. Людей прятать на день-другой — вон лаз к реке, уйти можно. — Он посмотрел на Катю. — Хорошее место завели. Нужное. Партии бы такие по всем городам.

Партии — которой ещё не было. Но о которой они говорили всё чаще, Рахметов особенно, — о том, что надо не кружки, а партию, не разговоры, а дело, не просвещение одно, а организацию, подготовку, действие.

И они стали говорить — спорить, как всегда.

Спор был старый, их вечный спор — Соломина и Рахметова, просвещения и действия.

Соломин — за народ, за терпеливое просвещение, за «малые дела», за то, что нельзя торопить историю, нельзя кровью, что кровь родит кровь. Рахметов — за партию, за организацию, за подготовку к большому, за то, что ждать некогда, что народ сам не поднимется, что нужно меньшинство, решительное, готовое. Они спорили — о народе и интеллигенции, о терроре и пропаганде, о том, пройдёт ли Россия через капитализм или минует его общиной, о Марксе и Лаврове, о том, что делать и кто виноват.

Спор был учёный, страстный, бесконечный — и Кате, сидевшей тут же, в тайной комнате, при свечах, он скоро наскучил.

Не то чтоб она его не понимала — понимала, и даже лучше многих. Но ей эти споры казались — отвлечёнными. Абстрактными. Переливанием из пустого в порожнее. Пройдёт Россия через капитализм или не пройдёт — а Любка в земле уже прошла, через всё. Народ поднимется или не поднимется — а гора стоит, и наследника она видела в толпе, и приговорила. Террор или пропаганда — а у неё в сундуке склянка борца, и купец отравлен, и дом сожжён, и она уже делает, пока они спорят. Для них это была теория, книжная война, умственная игра. А для неё — коса, которая уже косит. Что ей их споры. Коса не рассуждает, пройдёт ли Россия через капитализм. Коса — косит.

И потому, когда спор разгорелся особенно жарко — Соломин с Рахметовым сцепились о том, созрели ли условия или не созрели, — Катя, скучая, перебила совсем о другом:

— Василий Петрович. А книжки новые скоро привезут? В кружок? Из-за границы, из столиц? Я вот Кропоткина дочитала, Маркса первый том осилила. Ещё хочется. Что ещё почитать? И нельзя ли достать?

И — удивительное дело — оба спорщика разом остыли, повернулись к ней, оживились, обрадовались.

Будто она их спасла от надоевшего спора, в котором они за тридцать лет (Соломин) и за десять (Рахметов) не сошлись и не сойдутся. Книги — это было другое, это было приятное, это все любили.

— Книжки! — обрадовался Соломин. — Это дело. Это я вам достану, Екатерина Михайловна. У меня связи — через ссыльных, через студентов, из столиц везут, из-за границы контрабандой. Что вам? Вы ж читаете как никто — за год французский освоили, Мишле прочли, Маркса одолели. Таких читателей у нас нет. Вам — только давай.

— Второй том Маркса просите, — сказал Рахметов. — Первый осилили — и второй одолеете. По-немецки, правда, лучше — русского перевода второго тома пока нет толком. Немецкий бы вам выучить.

— Выучу, — сказала Катя. — Дайте учебник — выучу. Французский же выучила.

— Выучит, — подтвердил Соломин Рахметову, с гордостью, будто о своей ученице. — Эта — выучит. — И Кате: — Достану вам немецкий учебник. И английский — английский тоже нужен, по-английски много чего есть, чего по-русски нет и не будет. Кропоткина английские брошюры, Маркса, вся эмигрантская печать лондонская. Выучите английский — целый мир откроется, запрещённого.

— Давайте и английский, — сказала Катя. Глаза у неё загорелись — не судным огнём, не косьбой, а тем живым, жадным, читательским, какой был, когда она глотала книги у Макушина. — Три языка — три мира. Французский есть. Немецкий, английский — выучу. И читать, читать. Мне, Василий Петрович, сейчас это главное — читать. Понять всё. Как устроено. До конца. А уж потом…

Она не договорила «потом». Потом — косить. Но сейчас, эти годы, — учиться. Читать. Копить знание. Как оружие. Она ещё мала, ещё внизу, путь до наследника, до вершины — долог, в годы. И эти годы — на то, чтоб расти. Читать. Знать. Готовиться. Знание плюс цель —

она будет сильнее их всех, сильнее профессора, что знал всё без цели, сильнее этих спорщиков, что спорят без дела. Она — и узнает всё, и сделает.

Они увлеклись — советовать ей книги.

Старый Соломин и холодный Рахметов, только что сцепившиеся в непримиримом споре, теперь наперебой, дружно, увлечённо составляли ей список чтения — как два учителя одарённой ученице, забыв разногласия. Один советовал одно, другой другое, спорили уже не о революции, а о том, что Кате прежде читать — Энгельса или Плеханова, Лассаля или Прудона, историю Французской революции по Мишле или по Луи Блану, политическую экономию по Миллю или сразу Маркса второй том.

— Плеханова непременно, — говорил Рахметов. — «Наши разногласия», «Социализм и политическая борьба». Он Маркса на русскую почву кладёт. Из-за границы достану.

— И Энгельса, — говорил Соломин. — «Происхождение семьи» — вам, про женский вопрос, про то, как семья и собственность связаны, вам интересно будет. И «Развитие социализма от утопии к науке» — тонкая книжка, а всё главное.

— А из истории — Токвиля бы ей, — говорил Рахметов. — «Старый порядок и революция». По-французски она прочтёт. Как революция готовится, зреет, почему вспыхивает.

— И Карлейля, «Французская революция», — добавлял Соломин. — По-английски, как английский выучит. Огонь, а не книга. Про толпу, про террор, про гильотину.

Катя слушала, запоминала, впитывала. Ей было хорошо — по-настоящему. Среди книг, среди имён, среди знания, которого она жаждала. Эти двое — спорщики, теоретики — были ей ценны не спорами своими (споры скучны), а вот этим: они были дверью в мир книг, знания, запрещённого, которого ей так хотелось. Они доставали ей книги. Они учили. Они открывали мир.

Я их использую, думала она привычно, холодно, между делом. Как всех. Беру, что нужно: книги, знание, связи, учебники, а потом, может, и людей, и станок, и оружие. Они думают — я их, товарищ, ученица, единомышленница. А я — беру. Иду своей дорогой. Но — и правда ценны. Книги достают. Учат. За это — пусть живут. Их в книгу живых не впишу. Они не гора. Они — дверь.

— Спасибо, — сказала она, когда они наконец исчерпали список. — Достаньте, что обещали. Маркса второй том, Плеханова, Энгельса, учебники немецкий и английский. Я заплачу — за доставку, за всё. Деньги есть.

— Какие деньги, — сказал Соломин. — Между своими. Достанем. Читайте, Екатерина Михайловна. Из вас… — он помолчал, посмотрел на неё с той смесью восхищения и опаски, что всегда, — из вас выйдет… не знаю что. Но что-то большое. Такая голова, такая жажда… Читайте. Нам такие нужны.

Нужны, подумала Катя. Да. Пока вам такие нужны. Пока я книжки глотаю и расту. А как вырасту, как дойду до своего — тогда поглядим, нужна ли я вам буду. Или вы мне. Или мы друг другу — как коса траве.

Они ушли — задами, через овраг, в ночь. Спор свой так и не докончив — докончат в другой раз, он у них вечный.

Катя осталась одна в тайной комнате. При свечах. Среди полок, где лежали уже книги — Маркс, Кропоткин, Лавров — и где скоро прибавятся новые: Плеханов, Энгельс, Токвиль, Карлейль, учебники немецкого, английского.

Она оглядела комнату. Крепость в крепости. Сердце своего Пти-Пари. Снаружи — скоро огни, канкан, пьяные купцы, веселье, серая зона. А тут, в глубине, за хламом, — это. Книги. Чёрная тетрадь. Склянка. Деньги на дело. Тайна.

И она подумала — с той ясностью, что приходила в такие минуты:

Эти годы — мои тихие годы. Годы ученья. Пока я расту. Варьете буду держать — для денег, для прикрытия, для людей. Кружок — для книг, для связей, для будущего. А сама —

читать, читать, учиться. Три языка. Все книги. Всё знание. Историю, экономию, социализм, революцию — всё, как устроена гора, как её валили во Франции, где у неё корень, где слабина. Копить. Расти. Готовиться.

А потом — когда вырасту, когда узнаю всё, когда придёт время, когда сложится партия, которой ещё нет, когда дойду снизу доверху, из Болота до самого верха, — тогда. Коса.

Пока — книги. Тихие годы. Маленький Париж снаружи, тайная комната внутри, и в ней — она, растущая, читающая, точащая косу знанием.

Она села к столу. Зажгла ещё свечу. Раскрыла Кропоткина — перечитать подчёркнутое. И сидела до утра — одна, в тайной комнате, в сердце своей крепости, — читая, впитывая, готовясь.

За баней. За хламом. В глубине сада. Невидимо.

Пока наверху, в доме, стучали топоры, строя Маленький Париж.

10.3. Французский для Насти

Французскому Катя взялась учить Настю в октябре, когда дом ещё достраивали.

Это было нужно для дела. Пти-Пари — «Маленький Париж». Французское заведение. Значит, и песни должны быть французские, парижские, шансонетки, и чтоб девушки пели их — пусть не понимая, но чтоб звучало по-французски, с грассированием, с «прононсом», как в настоящем кафешантане. В этом вся приманка: купцы, что ездили в Париж деньги пропивать, услышат тут, в Сибири, французскую песенку — и обомлеют, и повалят, и раскошелятся. Париж в Томске. Ради этого «Париж» и затевался.

И первой Катя взялась за Настю — свою первую, главную, звезду будущего варьете.

Она выбрала песенку — простенькую парижскую шансонетку, из тех, что пели в кафешантанах, лёгкую, игривую, с припевом. Написала Насте слова русскими буквами, чтоб легче: «Же вё, тю вё, иль вё…» Стала разучивать — строчку за строчкой, звук за звуком.

И — ничего не вышло.

Настя не могла.

Совсем. Не то что Катя — та за полгода французский освоила до того, что Мишле в подлиннике читала, а тут простую песенку. Настя не могла выговорить ни слова. Французские звуки — носовые, грассирующие, мягкие, скользкие — не давались ей никак. Язык не слушался. «Же» выходило «же» по-русски, грубо, твёрдо. Носовое «ан» она произнести не могла вовсе — выходило то «ан», то «он», то вовсе мычание. Грассировать не умела — «р» катала по-русски, раскатисто, по-деревенски. Слова путала, забывала, перевирала.

Катя билась с ней неделю. Терпеливо сначала. Потом — всё злее. Она была настырна, упряма — раз надо, значит, вдолбит. Заставляла повторять по сто раз. Показывала губами, как складывать. Разбивала на звуки. Пела сама — красиво, чисто, с прононсом, — а Настя за ней, коряво, грубо, невпопад.

— Же вё, — пела Катя.

— Жэ во, — бубнила Настя.

— Не «жэ во», дура. «Же вё». Губы вперёд. Мягко. Же-вё.

— Жэ-во.

— Же-вё!

— Жы-вы… — Настя совсем запутывалась, краснела, потела. — Не могу я, Катерина Михайловна. Язык не ворочается. Чудной он какой-то, французский. Нос зажимать надо, губы дудочкой, рычать не по-нашему. Не выходит у меня.

— Выходит! — злилась Катя. — Я выучила — и ты выучишь! Ещё раз! Же-вё!

— Жэ-во, — обречённо.

Это было не от глупости даже — вернее, не только.

Катя злилась, называла Настю дурой, тупицей, — но в глубине понимала: тут не одна глупость. К языкам у Насти просто не было способностей. Вовсе. Как у иного нет слуха, как у иного руки не к тому приставлены. У Насти — не к языкам голова. Это не её. Совсем не её.

Настя и сама это говорила — не оправдываясь даже, а просто, честно:

— Не моё это, Катерина Михайловна. Языки — не моё. Я к ним неспособная. Вы вон умная, вам всё даётся — и книжки, и французский, и немецкий вон учить собрались. А я — дура, что ж поделаешь. Не дал Бог к ученью. У нас в деревне тоже — кто к грамоте способный, а кто нет. Я вот к грамоте с трудом, а уж к французскому… Не моё. Хоть убейте — не моё.

И это была правда. Не её. У каждого своё, а языки — не Настино. Катя это видела, злилась, но видела.

А на что Настя способна — этого ещё ни Катя, ни сама Настя не знали. Не знали, что скоро откроется в Насте такое, отчего сбежится весь Томск; что о ней напишут в столичных

газетах, а потом, через годы, дойдёт весть и до того самого Парижа, который Катя тут, в Сибири, подделывала; что Настин дар — огромный, настоящий, редкий — ждёт своего часа, рядом, под рукой, нераспознанный. Пока — обе бились над французским, которого Настя не могла, не видя того, что Настя могла бы, если б знали, куда смотреть.

Но они не знали. И Катя, настырная, упрямая, вдалбливала Насте французский — яростно, зло, впустую, — а Настя, бедная, мучилась, не способная к тому, чего от неё требовали, и не ведающая того, к чему была рождена.

На третий день Настя заплакала.

Она билась, билась над «же вё, тю вё», коверкала, путала, Катя злилась, кричала — и Настя не выдержала, разревелась, бросила бумажку с русскими буквами, закрыла лицо руками.

— Не могу! — рыдала она. — Не могу я, Катерина Михайловна! Хоть режьте — не могу! Не лезет в меня французский этот! Дура я, тупица, неспособная — ну и пусть! Не буду я петь! Не буду плясать! Не надо мне в звёзды, в артистки, в француженки! — Она отняла руки от заплаканного лица, посмотрела на Катю — жалобно, искренне, с облегчением почти, будто наконец сказала то, что давно хотела. — Я лучше, Катерина Михайловна, вот что. Я лучше полы буду мыть. В варьете вашем. Прибираться. Стряпать. Это я умею, это моё, хозяйственное. А коли надо мужиков ублажать — так я и в кабинетах буду, под клиентов нагибаться, как в дому у Анны Марковны. Это тоже я умею. Это привычное. А петь по-французски, плясать на эстраде, в звёздах быть — не моё. Увольте. Полы мыть да под мужиков ложиться — вот моё место. А французский — не мучайте вы меня им, Христа ради.

Катя смотрела на неё — заплаканную, искреннюю, просящую вернуть её к полам и к блядским комнатам, лишь бы не мучили французским.

И ей стало — и смешно, и горько, и жалко.

Горько — потому что вот оно опять. Она Настю тянет — вверх, в звёзды, в артистки, во француженки, в красивую жизнь, какую сама вычитала во французских книгах. А Настя рвётся — обратно, вниз, к полам да к блядским кабинетам, к привычному, к своему. Катя ей — Париж, эстраду, славу. А Настя просит — тряпку да половик, дайте полы помыть, не мучьте высоким. Как с анархией было: Катя ей свободу, а она — оставьте мне хозяйку. Как с марксизмом: Катя ей учение, а она — своё, дурацкое, простое. Настя не хотела того, что Катя ей сулила. Настя хотела — малого, привычного, своего.

Жалко — потому что Настя плакала по-настоящему, мучилась, и мука была зряшная: её тянули к тому, к чему она неспособна, вместо того, к чему, может, способна (а к чему — не знали). Катя мучила её французским — из лучших, мол, побуждений, в звёзды тянула, — а выходила одна мука, зряшная, обидная, и Насте от Катиного «добра» было только хуже.

Опять я ей добро делаю, думала Катя. Как с развратом (добро — научила телом жить). Как с кассой (добро — выкупила). Как с идеями (добро — просветила). А выходит мука. В звёзды её тяну — а ей бы полы мыть да блядовать, привычное, спокойное. Моё добро ей — мука. Всегда моё добро кому-нибудь мука.

Но Катя была настырна. И отступать не умела.

Жалко — жалко, а дело есть дело. Пти-Пари без французских песен — не Пти-Пари. Настя — первая, главная, звезда (так Катя задумала). Значит — должна петь. Хоть как. Хоть коряво. Хоть зазубренным набором звуков, не понимая ни слова.

— Не реви, — сказала она, уже мягче, но твёрдо. — Полы мыть и блядовать — это всякая может, этому цена грош. А я из тебя звезду делаю. Понимаешь? Не половую тряпку, а звезду. Чтоб на тебя весь Томск сбегался. Чтоб ты наверху была, а не внизу. Я ж тебе добра хочу.

— Да не надо мне наверху, — всхлипнула Настя. — Мне внизу привычнее…

— А я сказала — наверху. — Катя взяла её за подбородок, подняла заплаканное лицо. — Слушай, дурочка. Петь по-французски понимать не надо. Выучить не надо. Надо — заучить.

Как молитву. Ты ж молитвы знаешь, которых не понимаешь, — «Отче наш», «Богородице», по-славянски, непонятно, а наизусть шпаришь? Знаешь?

— Знаю…

— Вот и французскую песенку — так же. Не понимать. Заучить, как молитву. Набор звуков. Я тебе их вдолблю — по одному, по сто раз, пока не затвердишь. А что они значат — тебе и знать не надо. Споёшь — красиво, по-французски вроде, а что поёшь — всё равно. Публика тоже не поймёт — они французского не знают, купцы-то. Им бы звучало как в Париже — и ладно. Поняла? Не учить. Заучить. Как «Отче наш».

Настя шмыгнула носом. Подумала. Это — «как молитву, не понимая» — было ей доступнее. Понимать французский она не могла. А затвердить набор звуков, как «Богородице», — это можно, память-то есть, молитвы помнит.

— Как молитву? — переспросила она. — Не понимаючи?

— Не понимаючи. Шпарь, и всё.

— Ну… это попробую, — сказала Настя неуверенно. — Это, может, и выйдет. А то вы мне объясняли, что да как, губы, нос, — а я пуще путалась. А коли просто затвердить, как «Отче наш»…

— Вот и затверди. Повторяй за мной. Сто раз. Же-вё-тю-вё…

И так, настырностью, терпением, зубрёжкой — не ученьем, а долблением, как долбят молитву, — Катя всё же добилась.

Не того, чтоб Настя знала французский — этого не вышло и не могло выйти. А того, чтоб Настя затвердила песенку — набор звуков, бессмысленных для неё, зазубренных, как «Богородице». Коряво, с акцентом, который парижанин бы не вынес, — но издали, для томского купца, не знающего ни слова по-французски, звучало похоже. По-французски вроде. С грассированием, с носовыми (кое-как), с припевом.

Настя пела — не понимая ни слова, шпаря заученное, как молитву, — а выходило сносно. Для Пти-Пари. Для Томска. Для купцов, что французского не знали, а хотели, чтоб звучало как в Париже.

Катя была довольна — делом. Настя была довольна — что мука кончилась, что не гонят больше губы складывать и нос зажимать, а просто вызубрить велели, как молитву, это она может.

Обе не знали — ни та, ни другая, — что французский Насте и даром не нужен будет. Что не голосом, не языком, не песней Настя покорит Томск, а потом и столицы, и дойдёт слух до Парижа. А — другим. Тем, что в ней дремало, нераспознанное, рядом, под рукой, пока они бились над зряшным французским.

Но это откроется позже. А пока — Настя зазубрила французскую песенку, как «Отче наш», не понимая ни слова; Катя вдолбила, настырностью своей; и обе считали, что дело сделано, что Настя готова петь в Пти-Пари.

Хотя не песня была Настиным даром. Совсем не песня.

10.4. Труппа

Труппу Катя набрала в октябре — и в первый раз набрала просто.

Она думала долго, важничала перед собой: наберёт настоящих артисток, певиц, танцовщиц, с данными, с голосами, выпишет, может, из России, устроит настоящий кафешантан, парижский. Думала — создаст нечто. Новое. Своё. Не бордель — искусство, серую зону, где поют и пляшут.

А на деле — набрала трёх девок из борделя Анны Марковны.

Тех самых. Знакомых. Выкупленных ею же прошлой весной, перед пожаром, — Глашу рябую, Дуняшу, Фросю, — которых она тогда отпустила на волю, с деньгами, на обзаведение. И которые — на волю-то вышли, да воля оказалась не сахар. Глаша в деревне, у матери, перебивалась кое-как, ребёнка кормила, тосковала, замуж не взяли порченую. Дуняша в прислуги пошла — хозяин лапал, хозяйка поедом ела, сбежала. Фрося вовсе чуть обратно в дом не вернулась, да дома-то и нет уже, сгорел. Воля — голодная, холодная, одинокая, стыдная. И когда Катя кликнула — идите ко мне, в заведение, на жалованье, — они пришли. С радостью. Назад, к ремеслу, да при доброй хозяйке.

И вот стояли перед ней три бывшие Анны-Марковнины девки — и Катя смотрела на них, и в ней подымалась горечь.

Вот оно, думала она. Вот чем кончилось.

Я сожгла дом Анны Марковны. С клятвой — чтоб этого не было. Женьку сожгла — за то же дело. Купца отравила, Нану на каторгу, кассу раздала, девок на волю выпустила. Переворот устроила, революцию свою, маленькую. Чтоб — не было больше борделя, кабалы, торговли телом.

А теперь — набираю тех же девок, в то же ремесло, в своё заведение. Серая зона, кабаре, Пти-Пари — а суть та же: девки телом торгуют, я — хозяйка. Девки те же, что у Анны Марковны. Я — вместо Анны Марковны. Сожгла один бордель — завожу другой, с французской вывеской. Стала — такой же. Анной Марковной номер два.

Зря, выходит, жгла? Зря Женька сгорела? Зря клялась? Чтоб самой стать Анной Марковной?

Её грызло это — жестоко, едко. Весь её максимализм — всё или ничего, суд, коса, под корень, чтоб не было вовсе, — весь он тут упирался в стену, в простую стену: а девки-то куда денутся? Телом торговать перестанут? Нет. Ремесло есть ремесло, жизнь есть жизнь. Сожги десять борделей — девки пойдут в одиннадцатый. Свободы им дай — вернутся в кабалу, потому что воля голодная. Так на что же сожгла? Чтоб самой завести то же?

Максималистка, думала она горько. Всё или ничего. А выходит — ни то ни сё. Серая зона. Сожгла — и завела. Судила Анну Марковну — и стала ею.

Но это была — её мука. «Всё или ничего», «под корень», «стала такой же».

А девки — девки думали иначе. И были — правы.

Потому что Катя, набирая их, сказала им сразу — условия. И условия были не Анны-Марковнины.

— Слушайте, девки, — сказала она. — Уговор такой. У Анны Марковны вы сколько с гостя имели? Треть. Три рубля с десяти, а семь — ей. В кабале, в долгах, до гроба. Так?

— Так, Катерина Михайловна, — закивали девки. — В кабале. Долг вовек не выплатишь.

— А у меня — не так. У меня вы берёте больше. Не треть — почти половину. Сорок копеек с рубля — вам, шестьдесят — дому. Да и те шестьдесят — не мне в карман, а больше на дело: на платья ваши, на музыку, на убранство, на учителей вам, на то, чтоб заведение росло да чтоб вам же лучше было. Долговых книжек — нет. Кабалы — нет. В долг не загоняю. Захотели уйти — ушли, никого не держу силой. Гостю приличному не откажи, а пьяного, буйного,

противного — гони, я заступлюсь. Обидит кто — мне скажи, я управу найду. Болеть будете — лечить буду, не как Анна Марковна, что к бабке посылала. Понесёте — не неволю травить, сама решай. И главное — я вас не за скот держу, а за людей. Худого слова не скажу зря. Вы мне не рабыни — работницы. Поняли?

Девки слушали — и не верили.

Сорок копеек вместо тридцати — да ещё и те, что дому, на них же идут. Без кабалы. Без долговой книжки. Хозяйка заступится. Лечить будет. За людей держит. После Анны Марковны, после кабалы, после воли голодной — это было… это было невиданно. Это была — другая жизнь.

— Катерина Михайловна… — пролепетала Глаша. — Да неужто правда? Сорок копеек? И без долгу? И заступитесь?

— Правда, — сказала Катя. — У меня так.

И Глаша заплакала — от радости. И Дуняша, и Фрося. Они кланялись, благодарили, называли благодетельницей, святой. Для них — для простых девок, знавших только кабалу Анны Марковны да голодную волю, — Катино заведение было раем. Настоящим облегчением. Выигрышем. Больше денег, нет кабалы, добрая хозяйка, защита, лечение, человеческое обращение.

Девки выиграли. По-настоящему. От Катиной «революции» — выиграли, и крепко.

Только одно их смущало — французский да канкан.

— А сколько ж, Катерина Михайловна, — спросила практичная Дуняша, — за... ну, за гостя-то платить будут? В кабинетах? Как в дому было, или подороже?

— Подороже, — сказала Катя. — Тут публика богаче пойдёт — купцы, золотопромышленники, чиновники. И за кабинет больше дадут. Но — не сразу в кабинет. Сперва — на эстраде. Петь, плясать. Канкан. Французские песенки. Это — главная приманка. На это гости и пойдут. А уж потом, кто захочет, — в кабинет. Так что сперва — выучите петь да плясать. По-французски.

Девки приуныли.

— По-французски? — испугалась Фрося. — Это как же? Мы ж неграмотные, Катерина Михайловна. Мы и по-русски-то песни еле. А по-французски…

И выяснилось — девки знали французский ещё хуже Насти. Настя хоть зазубрила с грехом пополам одну песенку, как молитву. А эти — рты разевали, мычали, путали, хуже Насти вдесятеро. Французские звуки им были — китайская грамота. Канкан — и то еле ноги задирали, неуклюже, коряво.

— Катерина Михайловна, — сказала Дуняша, практично, деловито, — а на что нам этот французский да канкан? Мороки сколько. Вы нам прямо скажите: за еблю-то сколько? Мы за это ремесло знаем, мы его умеем. А петь-плясать по-французски — не умеем и не выучим, хоть убейте. Может, ну его? Будем просто в кабинетах, как в дому, а петь-плясать — не надо?

Катя вздохнула.

Опять. Как Настя. Тянешь их в искусство, во французское, в красивое, а они — «на что нам, скажите прямо, почем поебаться». Им не нужен Париж. Им не нужен канкан. Им нужно — привычное ремесло, но при доброй хозяйке и за хорошие деньги. Это они понимают. А французские песенки — морока, китайская грамота, зряшная мука.

— Надо, — сказала Катя устало, но твёрдо. — Канкан да песенки — это чтоб гости шли и чтоб дороже платили. Приманка. За голую девку в кабинете — трёшку дадут. А за ту, что сперва на эстраде по-французски спела да канкан сплясала, — десятку, а то и больше. Потому что — Париж, искусство, красиво, не просто блуд. Публика за это платит. Так что терпите, учите. Я вам учительниц найму — танцам, пению. Выучитесь. А пока — зубрите, как Настя, не понимаючи. Это для вашего же добра — больше заработаете.

Девки повздыхали, но согласились. Раз для добра, раз больше денег — потерпят, повыучат, хоть и морока. Хозяйка добрая, плохого не велит.

А Настя — Настя при этом сияла.

Потому что для Насти перемена была — ещё разительнее, чем для девок. Девки как были девками у Анны Марковны, так и остались девками у Кати — только на лучших условиях. А Настя — Настя вознеслась.

Была — кто? Подавальщица. Последняя. Презренная. Бегала с подносом, роняла стаканы, краснела, боялась всех, всякий гость мог обидеть, всякая девка помыкала. Ничтожество. Ноль. Била её жизнь — сиротство, тиф, улица, дом Анны Марковны, где она и в девки-то не годилась сперва, только полы да подносы.

А стала — кто? Правая рука хозяйки. Первая. Звезда будущего Пти-Пари (так Катя задумала). Наперсница, подруга, почти совладелица. Катина любовь, Катина наперсница, Катина тень. Из последней — в первые. Из подавальщицы — в госпожи. Из презренной — в элиту заведения, которой другие девки кланяются, которую слушаются, которая при хозяйке ближе всех.

Кто был ничем, тот стал всем, вспомнила Катя, глядя на сияющую Настю, распоряжавшуюся девками, важную, довольную. Вот тебе и революция. На одной Насте — свершилась. Из грязи — в князи. Из подавальщиц — в элиту.

И Настя — благодарила. Искренне, горячо, всем сердцем. Она Кате руки целовала, она на Катю молилась, она за Катю в огонь готова была (в огонь — буквально, как Женька; Настя-то из огня вышла). Для Насти Катя была — спасительница, благодетельница, госпожа, бог. Та, что вытащила её из грязи, из последних, вознесла, приблизила, полюбила (по-своему), сделала всем из ничего. И Настя старалась — изо всех сил, из любви, из благодарности. Французский зубрила, хоть не могла. Канкан учила, хоть не выходило. Девками распоряжалась, хозяйничала, хлопотала. Светилась новой жизнью.

Была так плохо — стало так хорошо. Вот и всё, что Настя знала про Катину революцию. И была — права. Для неё — свершилось. Рай. Новая жизнь. Из ада — в элиту.

И, глядя на сияющую Настю, на благодарных девок, Катя вдруг поняла что-то — важное, поперёк своей максималистской муки.

Я грызу себя — «стала такой же, как Анна Марковна», «зря жгла», «зря Женька сгорела». А девки — выиграли. По-настоящему. Крепко. Больше денег, нет кабалы, добрая хозяйка, защита, человеческое обращение. Для них — не «серая зона», не «такой же бордель», а — другая жизнь, лучшая, облегчение. А Настя — та вовсе вознеслась, из ничего во всё.

Так зря ли? Зря ли жгла, зря ли Женька сгорела?

Нет. Не зря. Женька сгорела — а вот, девки получили лучшую долю. Любка в земле — но Настя вознеслась. Дом Анны Марковны спалён — а на пепле выросло что-то, пусть серое, пусть не рай, но — лучше прежнего. Для простых девок — лучше. Ощутимо. В сорока копейках вместо тридцати, в защите, в человеческом слове.

Это я, думала Катя, грызу себя — интеллигентской мукой. Начиталась я книжек и стала интеллигенткой. Нам, кто с идеями, всё мало, всё не так, всё — предательство идеи, всё — «стали такими же». Мы себя едим за то, что не вышло всё и сразу, под корень, начисто. А простой народ — девки, Настя — они не максималисты. Они берут, что дали. И радуются малому. Сорока копейкам. Защите. Тому, что хозяйка добрая. И это малое для них — огромно, это новая жизнь, это рай после ада.

Женька сгорела — девки лучше живут. Разве не стоило? Разве Женька не за это шла — чтоб хоть кому-то лучше? Не за «всё под корень» (это я придумала, максималистка), а чтоб — вот этим девкам — легче. И им — легче. Значит — не напрасно Женька. Значит — не зря.

Это было — утешение. Горькое, половинчатое, не максималистское — а Кате, измученной своим «стала такой же», оно было как глоток воды.

Она посмотрела на девок — благодарных, радостных, на лучшей доле. На Настю — сияющую, вознесённую, из ничего во всё.

Ладно, подумала она. Пусть серая зона. Пусть не под корень. Пусть я — не вовсе не Анна Марковна. Но — им лучше. Девкам — лучше. Насте — лучше. Женька — не зря. Хоть это. Хоть малое. А максимализм свой — придержу. Всё или ничего — это гордыня. А сорок копеек девке — это дело.

Музыканта она нашла — того же тапёра. Из дома Анны Марковны, что сгорел.

Он уцелел в пожаре (в ту ночь не ночевал в доме), остался без места, бедствовал, пил пуще прежнего. Катя разыскала его.

Он был — не простой тапёр. Это она знала ещё с дома: бывший оркестрант московской оперетки, спившийся, опустившийся, игравший в борделе вальсы с пропущенными нотами, — но помнивший, умевший, когда трезв, настоящее. Он Оффенбаха играл — «адский галоп» из «Орфея в аду», под который она плясала канкан. Он знал всё это — парижское, опереточное, кафешантанное, масскульт того времени: Оффенбаха, Эрве, Лекока, Планкета, вальсы Штрауса, Вальдтейфеля, романсы, шансонетки, польки, кадрили — всё, под что веселилась, плясала, пела Европа и Россия, всё, что нужно было для Пти-Пари.

— Пойдёшь ко мне в заведение, — сказала она ему. — Тапёром, капельмейстером. Кафешантан открываю, французский, «Пти-Пари». Нужна музыка — настоящая. Оффенбах, канкан, шансонетки, вальсы. Ты умеешь, я слыхала. Жалованье положу хорошее. Но — уговор.

— Какой? — спросил тапёр, дрожащими с похмелья руками.

— Пьянства на работе не допущу, — сказала Катя твёрдо. — Ни капли. Играть будешь трезвый. Дома пей, коли хочешь, — а на работе ни-ни. Запью увижу — выгоню в ту же минуту. У меня не Анна Марковна, у меня порядок. Понял?

Тапёр посмотрел на неё — на строгую, твёрдую хозяйку. Подумал. Ему деваться было некуда — без места, без денег, пропадал. А тут — жалованье, дело, музыка настоящая, не вальсы с пропущенными нотами, а Оффенбах, оперетка, то, что он когда-то любил, в Москве, до падения.

— Понял, — сказал он. — Трезвый буду. Играть. Оффенбаха. — И вдруг глаза его, мутные, пьяные, на миг прояснились, ожили — старой, забытой любовью к музыке. — А хорошо бы, барыня. Канкан настоящий. Галоп. Я помню. Я в оперетке играл. Я вам такой Париж сделаю — заслушаются.

— Вот и сделай, — сказала Катя. — Трезвый.

Вечером, дома, она записала в тетрадь — не в чёрную, в светлую, где мысли:

«Набрала труппу. Трёх девок Анны-Марковниных — Глашу, Дуняшу, Фросю. Тех же, что весной выпускала. Воля оказалась голодная — вернулись. В ремесло. Ко мне.

Грызло: стала такой же, как Анна Марковна. Сожгла бордель — завела. Зря жгла. Зря Женька.

Но — нет. Девкам лучше. 40 копеек вместо 30, и те на дело. Без кабалы. Защита. Лечение. По-человечески. Для них — другая жизнь. Рай после Анны Марковны.

А Настя — из подавальщицы в правую руку. Была ничем — стала всем. Буквально.

Девки благодарят искренне. Радуются. Им хорошо, а было плохо.

Мой максимализм — болезнь. „Всё или ничего“, „под корень“, „стала такой же“ — это я себя ем. Интеллигенция сама себя ест за недостаточность. Я стала ей. А народ берёт малое и радуется. И малое — не зря.

Женька не зря. Хоть девкам легче. Значит — не напрасно.

Придержу максимализм. Сорок копеек девке — дело. Всё или ничего — гордыня.

Музыканта взял — тапёра из дома, оркестрант бывший, Оффенбаха умеет. Пить на работе запретил.

Французский девки знают хуже Насти. Спрашивают — за секс сколько. Им Париж не нужен. Им ремесло да деньги. Ну и пусть. Выучу зубрёжкой. Или учительниц найму.

Начинается Пти-Пари.»

Она закрыла тетрадь. За окном стучали топоры — достраивали. Завтра привезут мебель, зеркала, портьеры. Скоро — открытие.

А в ней впервые за долгое время было — не только мука, не только коса, не только «стала такой же». Было — тихое, горькое, половинчатое, но утешение. Девкам лучше. Насте лучше. Женька не зря.

Хоть это. Между войной.

10.5. Спонсор

Пти-Пари задумано было пышно, а выходило — хлипко.

Катя это видела трезво, хозяйским своим глазом. Девки плясать не умели — канкан у них выходил коряво, ноги задирали вразнобой, падали. По-французски пели хуже Насти — мычали зазубренное, путали. Труппа была — три бордельные девки да Настя, наскоро вызубрившая одну песенку. Музыкант хорош (тапёр Оффенбаха играл славно, трезвый), зала отделывалась богато — а артистки были дрянь. Не Париж выходил, а стыд. Маленький Париж — да хреновенький.

А деньги были нужны. И реклама. Чтоб повалила публика богатая — купцы, золотопромышленники, чиновники, те, кто платит щедро. Без них заведение не поднять. А как их зазвать? Афишей? Слухом? Этого мало. Нужен был — покровитель. Спонсор. Кто-то из верхних, из богатых, из влиятельных, кто пустит молву среди своих, приведёт публику, даст делу ход.

И такой нашёлся — на предварительном смотре.

Он был из богатейших — винный откупщик, миллионщик, тузом сидевший в томском купечестве, вхожий к губернатору, ворочавший всем. Пожилой, грузный, лысый, с брюхом, с перстнями, с золотой цепью, с мокрыми губами, с властным, пресыщенным взглядом человека, который всё купил и всё перепробовал. Катя пригласила его — первым, на смотр, до открытия, показать заведение, залучить в покровители.

Он прошёлся по зале — оценил убранство (убранство Катя сделала богатое, с претензией, французское, зеркала, бархат, позолота, — компенсируя слабость труппы роскошью зала). Посмотрел девок — поморщился (девки и вправду были дрянь, он видал и получше, в столицах, в заграница). Послушал пение — покривился.

— Богато у вас, барыня, — сказал он. — Зала знатная. А товар — так себе. Девки кислые, поют как коровы. На этом публику не удержишь. В Париже-то я бывал, в «Мулен Руж», в «Фоли-Бержер», — там огонь, там бабы как молнии. А у вас — так, деревня крашеная.

— Выучу, — сказала Катя. — Учительниц найму, обучу. Это дело наживное. А зала — видите, не пожалела. И публику подыму. Только мне, Терентий Поликарпыч, покровитель нужен. Чтоб слово замолвил, своих привёл, делу ход дал. Вы — первый человек в городе. От вас зависит.

Откупщик посмотрел на неё — грузный, пресыщенный, властный. И перевёл взгляд — с залы, с девок — на неё саму.

На Катю.

На хозяйку.

И в его пресыщенном, всё перепробовавшем взгляде вспыхнуло то, чего не вызвали ни зала, ни девки. Интерес. Голод. Она — хозяйка, дама, умная, властная, в чёрном, с чёрными косящими глазами, с красными губами, с той силой, что исходила от неё, — она была интереснее всех своих кислых девок. Он таких не брал давно — не девок продажных, а вот такую, с характером, с умом, с властью. Это его разожгло.

— А вот вы, барыня, — сказал он, подходя ближе, обдавая запахом дорогого табаку, коньяку, помады, — вы сами — товар знатный. Почище ваших девок. — Он облизнул мокрые губы. — Вот коли вы… со мной… нынче… по-хорошему… тогда я вам и покровитель, и публику приведу, и слово замолвлю, и денег дам на обзаведение. Такую рекламу сделаю — весь Томск повалит. А нет — ищите другого дурака. Ну? По рукам?

Катя посмотрела на него.

Вот оно. Старо как мир. Плати телом. Она это знала с шестнадцати лет — всю жизнь ей платили за тело, и она телом платила. И теперь — хозяйка, дама, образованная, читающая

Маркса и Кропоткина, легализованная, со средствами, с косой в сундуке, с приговором наследнику в сердце, — теперь, чтоб поднять дело, опять: плати телом. Отдайся грузному пресыщенному откупщику — и будет реклама, покровитель, публика, деньги.

Она не колебалась ни минуты.

— По рукам, — сказала она. — Пойдёмте.

Дело есть дело. Для дела — отдастся. Как отдавалась для дела всегда: Привалову, Нехлюдову, купцу отравленному, кому надо. Тело — оружие, инструмент, разменная монета. Для Пти-Пари, для денег, для рекламы — пустит в ход. Что ей. Не впервой.

Так она себе сказала — холодно, расчётливо, по-деловому.

Но тело — тело думало иначе.

Он взял её наверху, в одном из новых кабинетов, ещё пахнущих краской и свежим бархатом.

Грузный, пожилой, пресыщенный — а в деле оказался не стар, крепок ещё, жаден, умел (всё перепробовал на своём веку). Он навалился на неё всей тушей, брюхом, перстнями, мокрыми губами — и Катя приготовилась было перетерпеть, отработать, по-деловому, отстранённо, как терпят неприятное ради дела.

А вышло — не так.

Вышло — что тело её, здоровое, молодое, двадцативосьмилетнее, проснувшееся давно и не засыпавшее, — тело захотело. Отозвалось. Загорелось. Несмотря на то, что откупщик был грузен, пресыщен, противен ей как человек; несмотря на то, что это было дело, расчёт, плата за рекламу; несмотря на то, что она — хозяйка, образованная, судья, коса, — тело, простое здоровое женское тело, взяло своё.

Потому что давно не было. С Нехлюдова (а тот был — больной, вялый). А по-настоящему, крепко, с сильным мужиком — давно. И тело соскучилось. И откупщик, грузный, но крепкий, жадный, умелый, — разбудил его, это тело, разжёг, повёл.

И Катя — к своему удивлению, почти к досаде — загорелась. По-настоящему. Тот тёмный, горячий жар, что поднимался в ней на дубовом столе, на пароходе, под отравленным купцом, — поднялся опять, сильный, неудержимый. Она обхватила грузного откупщика ногами, впилась, задвигалась жадно, яростно, забыв про дело, про расчёт, про рекламу, — просто беря своё, насыщая тело, которое голодало и дорвалось.

Она кончила — бурно, с криком, тем своим хриплым криком, — к стыду своему, к удивлению. Не отработала. Насладилась. По-настоящему.

Откупщик, довольный, отвалился, крякнул:

— Ай да барыня. Ай да хозяйка. Горяча! Я думал — отработаешь по-деловому, ан нет — сама дорвалась. Люблю таких. — Он хлопнул её по бедру. — Будет тебе реклама, горячая. И покровитель. И публику приведу. Заслужила. Такую хозяйку поискать.

Потом, оставшись одна, приводя себя в порядок, Катя задумалась — с досадой, с недоумением.

Что ж это я, думала она. Я ж хозяйка теперь. Дама. Образованная. Маркса читаю, Кропоткина, немецкий учить собралась. Судья. Коса. Приговор наследнику в сердце. А как дошло до дела — отдалась грузному откупщику, как последняя девка, да ещё и кончила, да ещё и с криком, сама дорвалась. Стыд какой. Не отработала по-деловому, отстранённо, как хозяйке положено, — а насладилась, как шлюха, как течная.

Сексуальность-то моя никуда не делась, поняла она. Я думала — переросла. Стала хозяйкой, судьёй, книжницей, косой — думала, тело успокоится, отойдёт на задний план, будет только инструментом, оружием, который пускаешь в ход по расчёту, холодно. А оно — нет. Оно живое. Здоровое. Двадцать восемь лет. Хочет. И будет хотеть. Книги книгами, суд судом, коса косой — а тело своё просит, и громко.

И это была задача. Настоящая задача, которую она не знала, как решить.

Как хозяйке — быть? Спать с клиентами, со спонсорами, с нужными людьми — как сейчас с откупщиком? Для дела полезно — реклама, покровители, сведения, власть над мужчинами (постель — лучшее место узнавать и подчинять, она это знала, книга живых тому свидетель). И телу — отрада, оно просит. Но — хозяйке негоже спать со всеми подряд, каждый день, как девке. Уронишь себя. Станешь — не хозяйка, а первая блядь своего заведения. Потеряешь власть, уважение, положение. Хозяйка должна быть над, а не под. Недоступная — дороже, сильнее, страшнее.

А тело — просит. Каждый день почти. Здоровое, молодое, голодное.

Как совместить? Как быть и хозяйкой недоступной, властной, над, — и утолять тело, которое громко просит? Спать по расчёту, для дела, с нужными, изредка, как сейчас, — но так, чтоб не уронить себя, не стать «первой блядью», сохранить положение? Или завести себе кого-то одного, постоянного, тайного, для тела, — любовника, не клиента? Или — задавить тело, терпеть, жить монашкой, книжницей, косой, без мужчин? Нет, это не выйдет — тело не даст, вон как дорвалось сегодня. Или — наоборот, пользоваться телом свободно, в своё удовольствие, с кем захочет, как хозяйка, которая сама выбирает (Дарвин, самка выбирает), — но тогда как с положением, с властью, с тем, чтоб быть над?

Она не знала. Это была новая задача — задача взрослой, свободной, здоровой, властной женщины, хозяйки, которой и дело вести, и положение держать, и тело утолять, и всё совместить. Задача, которой не было у девки Анны Марковны (той выбирать не приходилось), не было у монашки, не было у замужней барыни. А у неё — была. Свободная, богатая, властная, образованная, здоровая, двадцати восьми лет, сама себе хозяйка — и с телом, которое громко просит.

Надо найти выход, подумала она. Какой-то. Чтоб и тело, и дело, и положение. Пока — не знаю какой. Но найду. Я всё решаю. И это решу.

А пока — тело было утолено (откупщик постарался), реклама обеспечена, покровитель залучён. Дело сделано. И телу хорошо. Двойная польза, усмехнулась она. И делу, и телу. Так, может, и совмещать? Спать с теми, кто и для дела нужен, и телу люб? Убивать двух зайцев? Это мысль. Над этим подумаю.

Внизу, в зале, пока она была наверху с откупщиком, шла репетиция.

Тапёр играл — Оффенбаха, канкан, галоп. Девки пытались плясать — коряво, вразнобой, падая, сбиваясь. Настя — тоже, в общем ряду, учила канкан, как все, неуклюже.

Катя спустилась — посвежевшая, утолённая, с обеспеченной рекламой, — и стала смотреть репетицию, хозяйским придирчивым глазом. И видела — дрянь. Девки не могли. Канкан — французский, точный, слаженный танец — им не давался, как не давался французский. Ноги вразнобой, падают, мешаются. Стыд.

— Плохо, — сказала Катя. — Никуда. Учительницу надо, танцам. Выпишу из России, не выучить вас так. А пока — хоть ровно ноги задирайте, не вразнобой. Ещё раз. Тапёр, галоп сначала.

Тапёр заиграл. Девки задёргались. И — опять вразнобой, коряво.

А Настя — Настя вдруг отделилась от общего ряда.

Это вышло само. Тапёр, разойдясь, заиграл не канкан уже, а что-то другое — медленное, томное, странное, минорное; то ли вальс, то ли что-то восточное, то ли своё, импровизацию, из тех, что игрывал когда-то в оперетке, в задумчивости, для себя. Печальная, тягучая, красивая мелодия — совсем не кафешантанная, не канканная, а какая-то… декадентская, сказали бы позже; томительная, зыбкая, с надрывом.

Девки сбились, встали — под такое плясать канкан нельзя. А Настя — Настя заслушалась. И — не думая, не нарочно, сама собой — задвигалась. Под эту тягучую, томную, печальную музыку.

И все замерли.

Потому что Настя — танцевала. Не канкан, не выученные движения, не то, чему её мучительно учили. А — своё. Телом. Как дышала. Как лилась. Руки её поднялись плавно, изогнулись, потекли; тело выгнулось, качнулось, поплыло; она закрыла глаза, запрокинула голову, отдалась музыке — и тело её, светлое, гибкое, сильное (физическое тело, не умственное — вся Настина сила была в теле, не в голове), — тело её заговорило, запело, полилось в танце таком красивом, таком странном, таком завораживающем, что все — Катя, девки, тапёр — замерли, забыли дышать, смотрели.

Это был не кафешантанный танец. Не канкан, не полька, не кадриль. Это было — другое. Томное, зыбкое, печальное, страстное, надрывное — то, чему не учат, что идёт изнутри, из тела, из самой Настиной натуры — покорной, страстной, страдающей, мазохистской, обожжённой. Настя танцевала — свою боль, свою покорность, свой стыд, свою страсть, свой ожог, свою искалеченную, страстную, тёмную душу-тело. И это было — прекрасно. Страшно и прекрасно. Декадентски прекрасно — хотя слова такого ни Катя, ни Настя не знали.

Тапёр, не отрывая глаз от Насти, играл — всё тягучее, всё томнее, подлаживаясь под неё, ведя её, следуя за ней. Девки стояли, раскрыв рты. А Настя танцевала — закрыв глаза, не видя никого, отдавшись, — и обожжённая её грудь под платьем, и гибкое тело, и плавные руки, и запрокинутое лицо — всё пело, всё лилось, всё завораживало.

Мелодия кончилась. Настя остановилась — медленно, как оседает волна, — открыла глаза. И увидела, что все смотрят. Смутилась, залилась краской, закрылась руками.

— Я… я нечаянно, — пробормотала она. — Музыка больно хороша, я и заслушалась, задвигалась… Простите, Катерина Михайловна, я не нарочно, я канкан буду…

Катя смотрела на неё — потрясённая.

Вот оно, думала она. Вот что в Насте дремало. Вот к чему она способна — не к французскому, не к пению, не к канкану даже, а — к этому. К танцу. К настоящему. Телом. Своё, изнутри, из натуры, из боли и страсти. Дар. Огромный. Настоящий. Я его и не видела — всё французский в неё вдалбливала, пению мучила, к чему она неспособна. А вот оно — рядом, под рукой, всё время было. Танец. Настин дар.

Та, что была ничем — подавальщица, презренная, неспособная к французскому, дура, — та носила в себе дар, какого не было ни у Кати (Катя умна, но не телесна, танцевать так не могла бы), ни у девок, ни у кого. Дар, которому не учат. Который — от Бога (Бога нет, поправила себя Катя, — ну, от природы, от натуры). Настя-физическая, Настя-телесная, Настя, вся сила которой была в теле, а не в голове, — вот её царство. Танец.

— Настя, — сказала Катя тихо, подойдя к ней, взяв за руки, глядя в глаза. — Забудь французский. Забудь пение. Забудь канкан даже. Ты будешь — танцевать. Вот так. Как сейчас. Своё. И на тебя будет сбегаться весь Томск. Я тебе говорю. Ты — звезда. Настоящая. Не выдуманная мной, а настоящая. Я и не знала. А ты — вон что умеешь.

Настя смотрела на неё, не веря, краснея:

— Да я ж… да это ж я так, нечаянно… это ж не умею я, это само…

— Само — и есть дар, — сказала Катя. — Чему учат — то ремесло. А что само — то дар. У тебя — дар. Танцевать. Будешь танцевать в Пти-Пари. Вот это. Своё. И прославишься.

Она ещё не знала — ни она, ни Настя, — насколько права. Что на этот Настин танец и правда сбежится весь Томск; что о странной, томной, завораживающей танцовщице из сибирского кафешантана напишут газеты — сперва томские, потом столичные; что дойдёт слух и до того самого Парижа, который Катя тут подделывала французскими песенками, — что настоящий Париж узнает о сибирской плясунье раньше, чем о её зазубренных шансонетках. Что не песней, не французским, а танцем — своим, телесным, декадентским, из боли и страсти — Настя покорит всех.

Пока — Катя только почуяла это. Увидела дар. И обрадовалась — по-настоящему, живо, не расчётом даже (хотя и расчётом: звезда для Пти-Пари!), а чем-то большим: тем, как радуются, открыв в близком человеке неожиданное сокровище.

— Моя умница, — сказала она, обнимая смущённую, счастливую Настю. — Моя звезда. Вот чего в тебе было, а я и не знала. Французский в тебя пихала, дура. А надо было — вот это.

10.6. Открытие

«Пти-Пари» открылся в начале декабря, когда лёг снег и встала Томь.

Открытие Катя назначила с размахом — зимнее, вечернее, при огнях. Весь город знал: винный откупчик Терентий Поликарпыч (залучённый в покровители) растрезвонил повсюду, привёл своих, пустил молву — «француженка открывает, Париж, кафешантан, канкан, невиданное». Афиши расклеили по Почтамтской, по Базарной, у Гостиного двора. И публика повалила — купцы, золотопромышленники, чиновники, офицеры, вся томская «чистая» верхушка, падкая на новинку, на французское, на греховное-дозволенное.

Дом сиял.

Катя не пожалела денег на убранство — роскошью зала покрывала слабость труппы. Зеркала в золочёных рамах — настоящие, не мутные осколки Анны Марковны. Бархат — алый, малиновый. Люстры, свечи, цветные фонари. Пальмы в кадках. Эстрада — настоящая, с занавесом, с рампой. Столики, крахмальные скатерти, шампанское в вёдрах со льдом. Над входом — вывеска: «PETIT PARIS», золотом по лазури, с огнями. Маленький Париж — посреди снежной сибирской ночи, на берегу вставшей Томи.

Снаружи — мороз, снег, тьма, Сибирь. А внутри — огни, музыка, тепло, шампанское, Париж. Иллюзия Парижа. Хреновенького, как Катя знала, но — Парижа.

Вечер вытянули трое. Катя, Настя и музыкант.

Девки — Глаша, Дуняша, Фрося — справлялись плохо, как Катя и боялась. Канкан плясали коряво, ноги вразнобой, сбивались, одна чуть не упала. По-французски мычали зазубренное, путали. Будь они одни — был бы стыд, провал.

Но — их вытянули. Во-первых, костюмы и косметика. Катя одела их богато, ярко — в блёстки, в перья, в яркий шёлк, нарумянила, напудрила, причесала по моде. И в этих костюмах, при огнях, издали — девки выглядели не как кислые бордельные шлюхи Анны Марковны, а как артистки, как парижанки почти. Пьяному купцу в полумраке, при цветных фонарях, под музыку — сходило. Красиво. Блестит, пляшет, поёт по-французски (вроде) — чего ещё надо.

Во-вторых — музыкант. Тапёр, трезвый (Катя проследила строго), играл славно — Оффенбаха, галоп, канкан, вальсы, шансонетки. Настоящая музыка, парижская, опереточная, — она одна, эта музыка, уже делала полдела: под неё и корявый канкан казался лихим, и мычание девок — пением. Музыка вытягивала.

А в-третьих и в-главных — Катя и Настя.

Катя вышла сама. В красном — в том самом вишнёвом шёлке с чёрным кружевом. Хозяйка, но и артистка в этот вечер. Она говорила с гостями по-французски — свободно, чисто, с настоящим парижским прононсом (выученным за год, доведённым до блеска), — и купцы, золотопромышленники, что ездили в Париж деньги пропивать, обомлевали: настоящая француженка, или русская, да говорит как парижанка, не отличить. Она пела — французскую шансонетку, сама, своим низким, грудным голосом, — чисто, игриво, с шиком, как в настоящем кафешантане. Она была — гвоздь, хозяйка, украшение, приманка. Образованная, умная, красивая, властная, говорящая и поющая по-французски лучше всех, — она одна придавала заведению лоск, которого не было у девок. «Вот она, настоящая, парижская», — шептали гости, глядя на неё, не зная, что «парижанка» — поселенка с Болота, бывшая проститутка, отравительница, выучившая французский за год на погубленном ею же князе.

А потом вышла Настя.

Настин танец был — гвоздём всего вечера.

Катя поставила его в конец, как главное блюдо, как сюрприз. Погасили лишние огни, оставили полумрак, цветной свет. Тапёр заиграл — ту самую томную, минорную, тягучую,

«декадентскую» мелодию, под которую Настя однажды затанцевала сама собой на репетиции. И вышла Настя.

Не в канкане, не в блёстках-перьях, как девки. В особом костюме — Катя придумала: что-то струящееся, полупрозрачное, тёмное, с намёком на восточное, на таинственное, открывающее гибкое тело, но левую сторону, обожжённую грудь, — хитро прикрывающее (из Настиного стыда Катя и тут сделала красоту: прикрытое манит пуще открытого, тайна). Светлые распущенные волосы. Босые ноги.

И Настя — танцевала.

То самое. Своё. Телом. Из боли, из страсти, из покорности, из ожога, из всей своей искалеченной, страстной, тёмной натуры. Руки текли, тело выгибалось, плыло, качалось; она закрыла глаза, запрокинула голову, отдалась музыке, — и танец её, томный, зыбкий, печальный, страстный, надрывный, завораживающий, — такой, какому не учат, который идёт изнутри, — захватил всю залу.

Гул стих. Пьяные купцы замолчали. Застыли с бокалами. Смотрели — раскрыв рты, завороженные, не дыша. Такого они не видали — ни в Томске, ни в Париже своём, ни в «Мулен Руж». Это был не канкан, не кафешантанная пляска — это было другое, странное, настоящее, берущее за душу, за нутро. Красивое страшной, тёмной, декадентской красотой.

Настя танцевала — и зала не дышала. А когда кончила, остановилась, как оседает волна, открыла глаза — зала взорвалась. Ревели «браво», швыряли деньги, цветы (откуда зимой цветы — а нашлись, из оранжереи вдовы золотопромышленника), били в ладоши, вскакивали. Такого успеха Катя и не чаяла. Настя — та самая презренная подавальщица, неспособная к французскому дура, — покорила залу одним танцем. Сразу. Наповал.

Звезда. Настоящая. Родилась — вот тут, на открытии, на глазах у Кати.

Журналистов Катя наняла заранее.

Двух — из томских газет, из «Сибирского вестника» и из «Томского листка». Заплатила, напоила, усадила за лучший столик. И они — отработали. Произносили пышные речи (их просили произнести — для публики, для рекламы), писали потом в газетах восторженные заметки.

«Частичка Парижа в нашем сибирском захолустье!» — писал один. «Кафешантан „Пти-Пари“ — истинный уголок европейской утончённости, перенесённый на берега Томи! Блеск, музыка, французские песни в исполнении очаровательной хозяйки, говорящей на языке Вольтера, как природная парижанка! А загадочная танцовщица, чей восточно-декадентский танец заставил замереть всю залу, — это нечто невиданное, достойное лучших сцен столицы, а быть может, и самого Парижа!»

«Томск приобщается к европейской культуре! — писал другой. — Наконец и в нашем городе есть место, где просвещённая публика может провести вечер с истинным шиком, как в лучших заведениях Москвы, Петербурга, Парижа! Честь и слава предприимчивой хозяйке, подарившей сибирякам частичку большого мира!»

Пафосно. Купленно. Преувеличенно. Катя знала цену этим речам — сама заплатила. Знала, что до Парижа её «Пти-Пари» — как до неба. Что девки пляшут коряво, поют по-зазубренному, что весь «Париж» держится на роскоши зала, на музыке тапёра, на её французском да на Настином даре, — а в основе своей это тот же бордель, серая зона, с французской вывеской.

Но — публика верила. Купцы, напившись шампанского, под цветными огнями, под музыку Оффенбаха, глядя на Катю-«парижанку» и на Настин завораживающий танец, слушая пышные речи журналистов, — верили, что вот он, Париж, в Сибири, шик, Европа, большой мир. И — валили, и платили, и восторгались. Успех был полный.

Поздно ночью, когда гости разъехались, когда девки, усталые, считали выручку (хорошую, небывалую), когда тапёр, выдержав, не выпив ни капли, доигрывал что-то тихое для себя, — Катя и Настя стояли у окна верхнего кабинета и смотрели вниз, на разъезжающиеся сани, на сияющую вывеску «PETIT PARIS», на огни.

— Ну вот, Настя, — сказала Катя. — Открылись. Успех полный. Ты видела, как тебе хлопали? Как цветы кидали? Звезда ты у меня. Настоящая. А я-то тебя французским мучила, дура. А надо было — танцем.

Настя сияла — усталая, счастливая, не верящая ещё своему успеху:

— Хлопали, Катерина Михайловна… мне… цветы… Я и не чаяла… Я ж думала, я никчёмная, дура, неспособная… а вон — хлопали… Это ж вы меня… из грязи… в звёзды…

— Не я, — сказала Катя. — Дар твой. Я только разглядела. — Она помолчала, глядя на огни, на вывеску. — А журналисты-то, слыхала, что писали? «Частичка Парижа». «Достойно самого Парижа». — Она усмехнулась. — Купленные речи. Я им заплатила. А до Парижа нам, Настя, расти и расти. Девки пляшут как коровы, поют как мычат. «Пти-Пари» — одно название. Так, подделка, серединка на половинку. Зала богатая, музыка хорошая, ты вон пляшешь, я по-французски говорю — тем и вытягиваем. А по сути — бордель с вывеской. До настоящего Парижа — ой как далеко.

— А дорастём? — спросила Настя.

Катя посмотрела на неё — на звезду свою, родившуюся нынче, — и на огни, на вывеску, на сияющий «Пти-Пари», и вдруг — не удержалась, усмехнулась уже не горько, а почти весело:

— Дорастём, Настя. Я тебя учительницам отдам — танцам настоящим. Девок обучу или новых наберу. Я всё дорощу. У меня — дорастёт. Я ж настырная, ты знаешь. Будет у нас настоящий Париж. Погоди. — Она помолчала. И прибавила тише, уже себе, не Насте: — И не только Париж.

Потому что «Пти-Пари» был — не кабаре.

Вернее — не только кабаре. Снаружи, в сияющей зале, был праздник: огни, канкан, шампанское, Настин танец, пьяные восторженные купцы, журналисты с пышными речами. А под этим праздником, в глубине, за баней, в хламе, в тайной комнате — лежали уже книги: Маркс, Кропоткин, Лавров, скоро Плеханов, Энгельс, учебники немецкого, английского. Лежала чёрная тетрадь — «книга живых». Деньги на дело. Склянка с борцом. И собирался уже кружок — Соломин, Рахметов, товарищи.

Два этажа, думала Катя, глядя на огни. Верхний — Париж, праздник, канкан, серая зона. Нижний — тайная комната, книги, кружок, заговор. Снаружи — весело, грешно, безобидно. Внутри — война. Пти-Пари — троянский конь. Снаружи весёлый конь, внутри — воины.

Купцы нынче пили у меня шампанское, плясали, восторгались «частичкой Парижа» — и не знали, что за стеной, за баней, в хламе, лежит их приговор. Чёрная тетрадь, где они записаны. Склянка, что отравила одного такого. Книги, что учат валить их гору. И я — хозяйка «частички Парижа», француженка, обворожительная, — я их судья. Коса. Они мне хлопали, деньги швыряли, за руку целовали — своей смерти. Как наследник в толпе посмотрел на меня и не узнал. Как все несут мне своё, не зная, что несут на суд.

Она смотрела на огни, на вывеску, на разъезжающихся гостей, — и в ней было спокойно, ясно, холодно. Первая часть её войны — кончена. Дом Анны Марковны — сожжён. Купец — отравлен. Нана — на каторге. Нехлюдов — отпущен. Касса — собрана. Девки — выкуплены или при ней на лучшей доле. Женька — в золе, не напрасно. Легализована. Хозяйка «Пти-Пари» — с базой, с кружком, с книгами, с деньгами, с положением, невидимая, свободная. Готовая.

А впереди — тихие годы ученья. Книги, три языка, знание. Рост. Подготовка. Кружок, подполье, будущая партия, которой ещё нет. И — долгий путь: снизу, из Болота, из пепла, из «Пти-Пари», — вверх, через гору, к вершине. К наследнику, которого она видела в толпе и приговорила. К пятому году. К Москве. К коню бледному.

Огни «Пти-Пари» горели в снежной сибирской ночи — красные, золотые, праздничные. Маленький Париж. Подделка. Серая зона. Троянский конь.

А под огнями, в глубине, за баней, в тайной комнате, — лежала коса. И ждала своего часа.

— Пойдём спать, Настя, — сказала Катя. — Устали. Завтра — работать. Дорастать до Парижа. И до другого кое-чего.

Они погасили огни — верхние, праздничные. Внизу тапёр доиграл последнее, тихое, и ушёл, трезвый, впервые за годы трезвый. Девки разошлись, довольные выручкой. «Пти-Пари» затих, тёмный, до завтра.

Только вывеска ещё горела над входом — «PETIT PARIS», золотом по лазури, — одна, в снежной тьме, над вставшей рекой, над спящим Томском, над чёрным пепелищем Болота внизу, над горой с недостроенным собором.

Маленький Париж. Начало.

Конец десятой главы.

Конец первой части.


PETIT PARIS

Глава 11. Чайка

Я — чайка… Нет, не то. Я — актриса.

Чехов (которого ещё не написали)

11.1. Нужна певица

К зиме «Пти-Пари» встало на ноги.

Прошло два месяца со дня открытия — декабрьского, при огнях, при пышных речах нанятых журналистов, при Настином танце, что сразил залу. И заведение пошло. Публика повалила — купцы, золотопромышленники, чиновники, офицеры; франкомания гнала их на «частичку Парижа», молва о танцовщице и о француженке-хозяйке ширилась, газеты писали. Выручка росла. Катя богатела. Маленький Париж — пусть хреновенький, пусть серая зона — работал.

Катя смотрела на своё заведение хозяйским глазом — и видела, как оно устроено, до винтика. Устроено было просто, по-болотному, под французской вывеской.

Спереди — сцена, огни, музыка, канкан, шансонетки, Настин танец. Красиво, пышно, по-парижски (издали, пьяному купцу). Это была приманка. На это шли.

А сзади — кабинеты. Отдельные, с диванами, с портьерами. И туда, после сцены, после шампанского, кто побогаче да понастырнее, уводил «артистку». И там была — изнанка. Суть. То же, что у Анны Марковны. Тело за деньги.

Вся разница с домом Анны Марковны — в вывеске да в цене. У Анны Марковны был прямо бордель, красный фонарь, жёлтые билеты. А тут — кафешантан, искусство, сцена, Париж, — и под этим то же самое, только дороже и наряднее. Серая зона. Ни бордель, ни театр — посерёдке, как Катя и задумала.

Девки были всё те же — Глаша, Дуняша, Фрося. И ещё пара новых, набранных.

И тут была тонкость, которую Катя держала в уме.

Девки — как были проститутки, так и остались. Жёлтых билетов они не сдавали (это Катя с Настей сдали, по указу, выхлопотали; а девкам — ни к чему, им и выхлопатывать нечем, да и незачем). Числились они по-прежнему в списках врачебно-полицейского комитета, под-надзорные, билетные, публичные женщины. Ходили по субботам на осмотр, с зеркалом, как ходили у Анны Марковны. Для властей, для полиции, для закона — «Пти-Пари» в этой части было тот же дом терпимости, с теми же билетными девками, только обставленный театром. Катя платила полиции, комитету, консистории — как платила Анна Марковна (коричневая книга взяток, только теперь своя, новая, лежала в тайнике); всё по-старому, всё та же цепь, те же взятки, чтоб не трогали. Девки — проститутки, и заведение в этой части — бордель, прикрытый эстрадой.

А Настя — Настя была другое.

Настя билет сдала — вместе с Катей, по указу. Настя числилась теперь не проституткой, а — при хозяйке, «воспитанницей», артисткой, звездой Пти-Пари. В списках комитета её не было. На осмотр с зеркалом она не ходила. Для властей, для закона, для публики — Настя была не публичная женщина, а танцовщица, звезда, о которой пишут газеты, которой рукоплещет Томск. Чистая. Приличная. Артистка.

А на практике — на практике Настя делала то же, что девки. Спала с гостями. В кабинетах. За деньги. То же самое, что Глаша, Дуняша, Фрося, что любая билетная девка.

Только — дороже. Много дороже.

Потому что Настя была — звезда. Не билетная девка за трёшку, которую бери кто хочет. А — знаменитая танцовщица, о которой пишут столичные газеты, которой весь Томск рукоплещет. Такую — не всякому. Такую — за большие деньги, и не всякому ещё, а кого Настя (вернее, Катя за неё) выберет. Настя сама выбирала теперь (Дарвин, самка выбирает) — с кем и за сколько. И брала — не трёшку, не десятку даже, а — сотни. За звезду, за знаменитость, за «ту самую», за редкость платили богатые — Привалов, золотопромышленники, купцы-тузы — платили щедро, чтоб похвастать, что был с «той самой», со звездой Пти-Пари.

Вот и вся разница между Настей и девками. Девки — проститутки, билетные, за трёшку, кто хочет. Настя — артистка, звезда, не в списках, не проститутка — а на деле то же самое, только за сотни и по выбору. Звание изменилось, цена выросла — а суть осталась. Проститутка высшего разбора, не называемая проституткой. Вознеслась из подавальщицы в звёзды — а делает то же, что делала бы в кабинетах Анны Марковны, только теперь дорого, славно, с газетами и рукоплесканиями.

Катя это видела ясно — и усмехалась про себя. Вот оно, возвышение Насти. Из грязи в князи. Была подавальщица, презренная, последняя. Стала — звезда, знаменитость, не проститутка. А по сути — та же продажная баба, только дорогая, славная, вольная. Та же изнанка — другая вывеска. Как всё в Пти-Пари. Как всё в мире. Меняй вывеску, цену, звание — суть одна: тело за деньги. Настя — тому живой пример. Звезда-проститутка. Проститутка-звезда. Вознесённая — и та же.

И Настя этим была счастлива. Безмерно. Она не видела того, что видела Катя, — что суть осталась. Она видела одно: была ничем, стала всем; была презренная, стала знаменитая; платили трёшку — платят сотни; гнали в кабалу — теперь сама выбирает, вольная, богатая, прославленная. Для Насти это был — рай, триумф, новая жизнь. И была права, по-своему: ей и вправду стало несравнимо лучше. А что суть та же — ей и знать не надо, и не поняла бы.

Но дело росло — и Катя видела в нём дыру.

Пения настоящего не было.

«Пти-Пари» — французский кафешантан, Париж. Значит, и петь надо по-французски, парижские шансонетки, красиво, с шиком. А кто пел? Катя сама — свободно, чисто, с прононсом (выучила за год на Нехлюдове), — но она хозяйка, ей не всякий вечер на сцене стоять, у неё дел полно. Настя — зазубрила одну песенку, как молитву, не понимая, поёт коряво, спасается танцем, не голосом. А девки — девки и того хуже: мычат, путают, французского не знают вовсе, хуже Насти. Пение в Пти-Пари было — слабое место, стыд, дыра. Настоящего пения, настоящих голосов, настоящего французского — не было.

А франкомания его требовала. Газеты писали про «язык Вольтера» — а на сцене мычали «жэ-во». Публика пока глотала (пьяная, под музыку, под цветными огнями, не разбирая), но Катя, хозяйка настырная, метившая дорасти до настоящего Парижа, видела: так нельзя. Нужно пение. Настоящее. И французский — настоящий, чтоб девки хоть сносно пели, чтоб звучало как в Париже, а не как на Болоте.

Нужна была — певица. Образованная. Знающая язык, пение, музыку. Чтоб и сама пела красиво (лоск заведению), и девок учила — языку, пению, манерам. Учительница и примадонна в одном лице (настоящую оперную приму Катя выпишет позже, дорого; а пока — нужна образованная барышня, певица, учительница, подешевле).

— Нужна певица, — сказала Катя Насте однажды, за полночь, считая выручку. — Образованная. Чтоб пела по-французски — по-настоящему, не как вы мычите. И вас учила — языку, пению. А то стыд: «Пти-Пари», Париж, а поём как коровы. Газеты про «язык Вольтера», а на сцене «жэ-во». Нельзя так. Нужна барышня. Найму.

— А где ж такую взять? — спросила Настя. — Грамотную, с французским? Таких к нам не заманишь — приличные-то.

— Приличные нынче голодные, — сказала Катя. — Голод, холера идёт, разорение. Бедных барышень образованных — пруд пруди, а мест нет. Нищие сидят с своим французским да пением, голодают. Вот такую и возьму — бедную, образованную, голодную. За работу ухватится. Петь да учить — дело приличное, не кабинеты. Клюнет. Дам объявление. Или через людей поищу.

Она дала объявление — в газете, в той самой, что писала про «просвещение Сибири»: «В музыкальное заведение требуется образованная девица, знающая французский язык и пение, для исполнения на сцене и обучения. Жалованье хорошее. Обращаться…»

«Музыкальное заведение». Не кафешантан, не варьете, не — упаси бог — то слово. «Музыкальное заведение». Приманка для приличной барышни. Чтоб клюнула, не испугавшись, не поняв сразу, куда идёт.

Катя знала, что делает. Знала, что приличная образованная барышня, прочтя «музыкальное заведение», подумает — театр, концерты, уроки музыки, что-то чистое, искусство. И придёт. А узнает, куда попала, — потом, когда уж поздно, когда нищета не выпустит, когда Катя удержит. Старая приманка — назвать бордель «музыкальным заведением», как Анна Марковна называла девок «воспитанницами». Меняй вывеску — лови на вывеску.

И — пошли.

Приходили на объявление разные. Мещанки, выдававшие себя за образованных (ни французского, ни голоса). Одна старая дева, учительница музыки, чопорная, — узнав, что за «музыкальное заведение», плюнула и ушла. Девица развязная, явная из бывших, — эту Катя сама не взяла, ей нужна была приличная, настоящая, для лоска. Две-три ещё — не то.

А потом пришла — она.

Катя сидела в конторе — днём, когда варьете спало после ночи, — разбирала бумаги, считала. Постучали. Вошла девушка.

И Катя подняла глаза — и сразу, одним взглядом, своим цепким, оценивающим, раздевающим взглядом хозяйки и барышника, — увидела: вот оно. То, что нужно. И — больше, чем нужно.

Тоненькая. Бледная. В стареньком, бедном, но чистом, тщательно отглаженном платье, застёгнутом до самого горла, скромном до монашества, — таком, в каком ходят бедные гордые барышни, берегущие приличие пуще хлеба. С тонкими нервными руками, которые она не знала, куда деть. С бледным нервным лицом, с большими, лихорадочно блестящими глазами — глазами мечтательницы, экзальтированной, не от мира сего. Молоденькая — лет двадцати, двадцати двух. Красивая — но не той грубой, яркой красотой, что у девок, а другой — тонкой, хрупкой, неземной, тревожащей. Птичьей какой-то. Будто подбитая птица, залетевшая не туда.

— Я по объявлению, — сказала девушка. Голос — чистый, звонкий, с той особой певучестью, что у поющих; и говорила она правильно, книжно, благородно. — Насчёт места. Я умею петь, и французский знаю, и могу учить. Я… я артистка. Вернее, хочу быть. Училась пению. Мечтаю о сцене. А это — музыкальное заведение, сцена, — это ведь близко к искусству, правда? Я так рада, что нашла. Я… меня зовут Нина.

Катя смотрела на неё.

И видела сразу две вещи.

Первое — делом: вот она, певица, учительница. Образованная, с французским, с голосом, приличная, для лоска. То, что искала. Клюнула на «музыкальное заведение», думает — искусство, сцена, мечта. Наивная. Бедная. Голодная (видно по платью, по худобе). Возьму — и петь будет, и девок выучит, и заведению лоск придаст: настоящая барышня, не девка.

А второе — хозяйским, болотным, беспощадным глазом: вот оно, тело. Редкое. Неземное. Не грубое, не девичье-простое, а — тонкое, хрупкое, благородное, тревожащее. Такое, какого нет ни у одной её девки, ни у Насти даже. Барышня. Чистая, видно, нетронутая (есть такая стать у нетронутых, Катя её знала). Образованная, благородная, неземная барышня — в кабинете, за большие деньги, богатому гостю, пресыщенному девками, — это была бы редкость, лакомство, приманка, за какую платят бешено. Не девку купить — барышню, артистку, неземную. Такую бы в кабинеты — Пти-Пари озолотилось бы на одной ней, дороже Насти.

Два взгляда, две мысли — за одно мгновение. Певица для дела — и тело для кабинетов.

И тут же — третье, незваное, неожиданное. Глядя на эту чистую, неземную, подбитую птицу с горящими глазами, мечтающую о сцене, о высоком искусстве, — Катя вдруг ощутила то, чего не ждала.

Что-то дрогнуло. Шевельнулась — совесть? жалость? память?

Потому что такой — такой чистой, неземной, мечтательной, верящей в высокое, нетронутой — была когда-то она сама. До всего. До Нехлюдова. До пасхальной ночи. До Китаевой, каторги, Болота, косы. Девочкой у тётушек — чистой, верящей, с горящими глазами. Вот такой же птицей. Которую подбили.

И вести эту птицу в кабинеты — ломать, пачкать, растлевать, как растлили когда-то её, — у Кати, растоптавшей всех без счёта, вдруг не поднялось сразу. Совестно стало. Неземная слишком. Жаль.

Я возьму её, подумала Катя, глядя на Нину. Петь и учить. Это дело, это надо. А в кабинеты… в кабинеты — потом. Или — нет. Погляжу. Пока — пусть поёт. Пусть думает, что искусство. Пусть побудет чистой. Ещё немного. Жаль сразу-то.

— Садитесь, Нина, — сказала Катя, и голос её был мягок, ласков, как у Анны Марковны когда-то, с ямочками. — Как вас по батюшке?

— Нина… Михайловна, — сказала девушка, краснея, садясь на краешек стула, сжимая тонкие руки. — Заречная.

— Заречная, — повторила Катя. С того берега, подумала она невольно. Опять с того берега. — Хорошо. Расскажите о себе, Нина Михайловна. И спойте что-нибудь. По-французски. Послушаю голос.

И Нина — обрадованная, что берут, что слушают, что близко к мечте, — встала, сложила тонкие руки, подняла горящие глаза к потолку, будто к небу, к сцене, к славе, — и запела.

По-французски. Чисто. Красиво. С настоящим голосом, с душой, с полётом.

А Катя слушала — и смотрела на неё, на эту подбитую чистую птицу, поющую о высоком в вертепе, не зная, что в вертепе, — и в Кате боролись трое: хозяйка (певица, беру), барышник (тело, в кабинеты, озолочусь) и — тот незваный третий, шевельнувшийся, которого Катя давно в себе не слышала (жаль, неземная, не тронь, память, зеркало).

Чайка пела. И не знала, куда залетела.

11.2. Чайка

Нина пела — и пока она пела, Катя слушала и смотрела.

Голос был настоящий. Чистый, звонкий, с выучкой, с душой — не кабацкий, не корявый, как у девок, а — певческий, учёный, красивый. Французская песенка в её устах звучала так, как должно: легко, изящно, с прононсом, с полётом. За один этот голос стоило взять — для лоска, для дела, чтоб на сцене не мычали, а пели по-настоящему.

Нина кончила, опустила горящие глаза, перевела дух, зарумянилась от волнения.

— Ну как? — спросила она, и в голосе дрожала надежда, мольба. — Годится? Возьмёте?

— Годится, — сказала Катя. — Беру. Садитесь. Расскажите о себе.

И Нина — обрадованная, вспыхнувшая, — села и стала рассказывать. Взахлёб. Восторженно. Наивно. Открыв Кате всю свою чистую, нищую, мечтательную душу — всю, без остатка, доверчиво, как доверяются только неземные да дети.

Она была дочь обедневшего помещика — мелкого, захудалого, тверского (опять, как Бакунин, усмехнулась про себя Катя, с тех мест идеалисты). Отец промотал, прозакладывал, разорился, помер, оставив дочь без гроша, с одним воспитанием: гимназия, французский, музыка, пение. Мать — раньше умерла. Осталась Нина одна, нищая, образованная, благородная — хуже нет доли: барышня без денег, с одним воспитанием, которое есть не даёт.

Но Нина не роптала на нищету. Нина — горела.

Она горела мечтой. Об искусстве. О сцене. О пении — она хотела быть певицей, оперной, великой; или актрисой; всё равно — артисткой, жрицей искусства, служительницей прекрасного. Она говорила об этом — и лицо её преображалось, глаза сияли, руки взлетали, голос звенел.

— Искусство, Катерина Михайловна, — говорила она, — это ведь самое высокое, что есть на свете! Выше денег, выше знатности, выше всего! Артист — он служитель, жрец, он несёт людям красоту, свет, он возвышает души! Я с детства мечтала — на сцену. Петь. Чтоб меня слушали, затаив дыхание, чтоб плакали от моего пения, чтоб я уносила их души ввысь, к прекрасному! Я знаю — путь тернист, артиста ждут нужда, непонимание, страдания, — но я готова! Я готова нести свой крест! Голодать, страдать, терпеть — ради искусства, ради сцены! Что мне нужда, что мне бедность — у меня есть мечта, есть призвание! Я — как чайка, Катерина Михайловна, — она прижала тонкие руки к груди, — я хочу лететь, выше, выше, к небу, к солнцу, к искусству! Пусть подстрелят, пусть упаду — но я летала!

Катя слушала.

Нина говорила — и это была не поза, не красивые слова. Это была — вся она. Чистая, восторженная, верящая. Она вправду так чувствовала, так жила — мечтой, искусством, высоким. Она вправду была готова голодать и страдать ради сцены. Она вправду верила, что искусство — высшее, что артист — жрец, что красота спасёт, возвысит, что есть на свете чистое, прекрасное, ради чего стоит нести крест. Идеалистка. Неземная. Птица, рвущаяся к небу.

— А любовь? — спросила Катя, зачем-то. — О любви мечтаете?

Нина вспыхнула вся, до корней волос.

— О любви — да, — сказала она тихо, застенчиво, но горячо. — Но о настоящей. Чистой. Великой. Я… я не знала ещё… мужчин… я берегу себя. Для него. Для единственного. Для настоящего, чистого чувства, какое бывает раз в жизни. Я не из тех, что… что по рукам, за деньги, по-пошлому. Нет! Я верю — есть любовь святая, чистая, на всю жизнь, одна. И я дождусь. Сберегу себя. Отдам — только по любви, великой, настоящей, одному. Как в романах, как в стихах, как должно быть. Лучше в нищете, в чистоте — чем в грязи, в разврате, за деньги. Чистота, Катерина Михайловна, — это ведь тоже искусство. Искусство души.

Нетронутая, подумала Катя. Чистая. Бережёт себя для великой любви. Верит в святое чувство, в романы и стихи. Двадцать лет, нищая, одна, в чужом городе — а верит, бережёт, горит. Птица.

И вот тут — слушая эту чистую, восторженную исповедь, глядя на горящие глаза, на прижатые к груди тонкие руки, на бледное преображённое лицо, — Катя поймала себя.

На том, что — смотрит.

Не слушает идеализм, не умиляется чистоте, не вспоминает себя-прежнюю. А — смотрит на тело.

Смотрит, как Нина, говоря о высоком, о чистоте, о святой любви, — невольно, в пылу, подаётся вперёд, и под глухим бедным платьем, застёгнутым до горла, обозначается грудь — небольшая, девичья, высокая. Смотрит на тонкую шею над стоячим воротничком — белую, нежную, с бьющейся жилкой. На тонкие руки, прижатые к груди, — на запястья, на пальцы. На бледное лицо, на приоткрытые от волнения губы, на блестящие глаза. На всю эту хрупкую, нетронутую, неземную плоть, прикрытую бедным платьем, говорящую о чистоте и о святой любви.

И — Катя поймала себя на мысли. Холодной, точной, профессиональной, хозяйской. Барышнической.

Как она в постели?

Как эта чистая, нетронутая, неземная, говорящая о святой любви и о чистоте, — как она будет в кабинете, с богатым гостем? Как расстегнётся это глухое платье, как обнажится эта белая шея, эта девичья грудь, эти тонкие руки? Как будет дрожать, стыдиться, сопротивляться — в первый раз? Как будет плакать над погубленной чистотой? И как — потом — привыкнет, сдастся, пойдёт? Нетронутая барышня, артистка, жрица, чайка, — в постели, за деньги, под пресыщенным купцом? Это ж — редкость. Лакомство. За такую богатые с ума сойдут, заплатят бешено — не за девку, а за неземную, чистую, образованную, артистку, да ещё нетронутую (нетронутую — вдвойне, втройне дороже, девственница-барышня, это ж клад для пресыщенного туза). Пти-Пари озолотилось бы. Дороже Насти. Дороже всех.

Катя представила это — ясно, подробно, телесно — как представляет барышник стати лошади, как представляет сводня товар. Прикинула — сколько стоит, кому продать, как обставить (девственность продать дорого, с торгом, избранному), как сломать постепенно (эту не сразу, эту тонко, долго).

И — осеклась.

Потому что поймала себя — и ужаснулась себе.

Я смотрю на неё, подумала Катя, холодея, — как мужики.

Как те самые мужики, которых я ненавижу, сужу, косю. Как Нехлюдов смотрел на меня в тётушкином доме — на чистую, нетронутую, — и представлял, как расстегнёт. Как Привалов смотрит на девок. Как купцы в зале смотрят на Настю, на артисток — раздевая глазами, прикидывая, как она в постели. Как барышник на лошадь, как сводня на товар. Вот этим самым взглядом — мужским, похотливым, оценивающим, раздевающим, товарным — я сейчас смотрю на эту чистую птицу, говорящую о святой любви, и прикидываю, как она расстегнётся под купцом и сколько за это дадут.

Я — как они. Хуже их. Они хоть по своей похоти смотрят, по мужскому рефлексу. А я — по расчёту, холодно, как сводня, как барышник, прикидываю цену чужой чистоты, чужой плоти, чужого падения. Я сводня. Я тот, кто продаёт. Я — Китаева. Я — Анна Марковна. Я смотрю на нетронутую барышню и вижу — товар, кабинет, деньги, сломанную чистоту. Как смотрели на меня. Как я ненавижу.

Сужу гору за то, что торгует телами и душами, — а сама торгую. Косю мужиков за похоть, за то, что раздевают глазами, покупают, ломают, — а сама раздеваю глазами эту птицу, прики-

дываю, как купить-продать-сломать. Чем я лучше? Ничем. Хуже. Они — самцы по природе. А я — сводня по расчёту, холодному, беспощадному, денежному.

Трещина-волосок — дрогнула. Больно.

И — впервые за долгое время — Кате стало не по себе от себя самой. Не от того, что сделала (яд, огонь, суд — это она оправдывала), а от того, какая она. Какой стала. Как смотрит. Этим взглядом — товарным, сводническим, мужским-хуже-мужского — на чистоту, на птицу, на то неземное, высокое, во что сама когда-то верила, чем сама была.

Я была такой, как она, подумала Катя, глядя на горящую, говорящую Нину. Чистой. Верящей. Берегущей себя для великой любви. Мечтающей о высоком. Птицей. А стала — той, кто на таких птиц смотрит, как барышник, и прикидывает цену их падения. Меня подбили — а я теперь подбиваю. Меня растлили — а я растлеваю. Из чайки — в сводню. Вот во что я выросла.

Нина, не замечая ничего, — не видя Катиного взгляда, не чуя, что её только что оценили, раздели, прикинули цену, — кончила свою восторженную исповедь, сияя:

— …вот я какая, Катерина Михайловна. Непрактичная, мечтательница, скажете. Нищая идеалистка. А я не стыжусь! Лучше так — с мечтой, с чистотой, с искусством, — чем сытой пошлячкой без души! Я верю — всё будет! И сцена, и слава, и любовь настоящая! А пока — я так рада, так рада, что вы меня взяли! В музыкальное заведение, на сцену, петь! Это ведь шаг к мечте, правда? Первый шаг? Я буду стараться, я буду петь так, что все заплачут! Спасибо вам! Вы… вы добрая. Я вижу — вы добрая, образованная, не то что я боялась. Я ведь боялась — а тут вы, умная, по-французски говорите, книги, верно, читаете. Мы подружимся, правда? Мне так нужен тут друг — я ведь совсем одна, в чужом городе…

Катя смотрела на неё — доверчивую, сияющую, назвавшую её доброй, протянувшую руку дружбы, — на птицу, которую только что мысленно продала в кабинет.

И сказала — мягко, ласково, с той теплотой, в которой была и доброта настоящая (шевельнувшаяся жалость, память, зеркало), и ложь сводни (приманка, обработка, растление, которое уже началось — этим самым «подружимся»):

— Подружимся, Нина. Конечно. Я тебе и правда рада. Такая ты… светлая. Редкая. — Она помолчала. — Оставайся. Пой. Учи девок. Будешь тут… как своя. Я тебя в обиду не дам.

И — впервые за весь разговор — не знала сама, чего в её словах больше: доброты или расчёта, жалости или сводничества, памяти о себе-чистой или начала растления этой чистой.

И то, и другое. И жаль птицу — и уже прикинула, как продать. И хочется уберечь — и знаешь, что растлишь. Доброта и коса в одной.

Я её погублю, подумала Катя, глядя на сияющую, доверившуюся ей Нину. Медленно. Тонко. Не сразу. Но — погублю. В кабинет сведу. Чистоту сломаю. Птицу подобью. Потому что — дело, деньги, Пти-Пари. И потому что… потому что не могу иначе. Коса. Сводня. Такая стала.

А пока — пусть поёт. Пусть верит. Пусть зовёт меня другом и доброй. Ещё немного. Жаль сразу.

— Приходи завтра, — сказала она вслух. — Начнём. Петь и учить. С Богом.

Нина, счастливая, рассыпаясь в благодарностях, кланяясь, сияя, ушла.

А Катя осталась одна в конторе. И долго сидела, глядя в стену. И думала о том, как она смотрела на Нину. Этим взглядом. Мужским. Сводническим. И как ей стало от себя не по себе.

Я чудовище, подумала она спокойно, без надрыва, констатируя. Нехлюдов прав был — я в аду. И других туда веду. Вот эту птицу — поведу. Знаю, что поведу. И смотрю на неё уже — как на товар. Как мужик. Как сводня.

Она достала чёрную тетрадь. Не «книгу живых» — другую, светлую, где мысли. И записала:

«Взяла певицу. Нину Заречную. Чистая, неземная, идеалистка, нетронутая, бережёт себя для великой любви, верит в искусство, в высокое. Чайка.

Такой была я — до всего.

Смотрела на неё — и поймала себя: как мужик, как барышник, как сводня. Прикидывала, как она в постели, как сломать, сколько за неё дадут в кабинете.

Я — как те, кого ненавижу. Хуже. Они по похоти, я по расчёту.

Из чайки — в сводню. Вот во что выросла.

Погублю её. Знаю. Медленно, тонко. Для дела, для денег. И потому что — не могу иначе. Коса.

Жаль. Но — погублю.»

Она закрыла тетрадь. За окном смеркалось. Внизу тапёр настраивался — скоро вечер, гости, огни, Настин танец, кабинеты, выручка.

А завтра придёт Нина. Чайка. Петь. Учить. Верить. И не знать, что уже — в руках сводни, которая смотрит на неё, как мужик, и уже прикинула цену её чистоты.

11.3. Урок

Учить девок Нина начала на другой день.

Катя отвела под уроки дневную залу — ту, что ночью сияла огнями, гремела музыкой, полнилась пьяными гостями, а днём стояла пустая, тусклая, с запахом вчерашнего табака, вина и духов. Сдвинули столики. Поставили стулья рядком. Тапёр, трезвый (Катя следила), сел к пианино — подыгрывать. И собрались девки — учиться французскому и пению, как велела хозяйка.

Нина пришла — торжественная, взволнованная, счастливая. В своём бедном глухом платье, застёгнутом до горла, с нотами под мышкой, с горящими глазами. Для неё это был — первый день на поприще, у искусства, у мечты. Она готовилась всю ночь, не спала, волновалась — как учить, что петь, как нести им, этим простым девушкам, свет искусства, красоту французской песни, радость прекрасного.

Она не знала ещё, кого ей предстоит учить. И куда она попала. Думала — хор, артистки, кордебалет музыкального заведения, девушки сцены. Чистые труженицы искусства, как она.

А перед ней сидели — девки.

Катя мотивировала девок учиться — по-своему, деловито, за выгоду.

— Выучите французский да пение, — сказала она им накануне, — больше платить будут. Господа за французскую песенку, за артистку дают вдесятеро против простой девки. Спела по-французски, канкан сплясала — и ты не трёшка, ты артистка, тебе сотню. Так что учитесь, дуры, для своей же выгоды. Барышня вот будет учить, приличная, образованная. Слушайтесь её, не обижайте — она вам прибыль принесёт. А кто учиться не станет — та так и будет трёшки хватать, в кабинетах за гроши дырку подставлять.

И девки — Глаша, Дуняша, Фрося и ещё пара новых — пришли учиться. Старательно пришли, за выгодой. Нину они не обижали — хозяйка велела слушаться, да и зла в них на учительницу не было: учит и учит, прибыль обещает, чего обижать. Относились даже с ленивым уважением — образованная, грамотная, по-французски поёт, не чета им.

Но — они были девки. Билетные, поднадзорные, привычные. Жёлтые билеты в комитете, осмотр по субботам с зеркалом, кабинеты с гостями каждую ночь. Проститутки. И привычки их были — блядские, бордельные, въевшиеся в плоть, вошедшие в природу. Они и не думали их прятать — ни перед кем, ни перед учительницей, ни перед девушкой.

Они ничего не стыдились.

Урок начался — и Нина сразу попала в другой мир.

Было жарко в зале (топили хорошо, Катя не жалела дров). И девки — по привычке, не задумываясь, как привыкли в доме, в кабинетах, перед гостями, — стали распускаться. Одна расстегнула кофту до середины груди — жарко; другая задрала юбку выше колен, обмахиваясь, раскинув ноги; третья, Фрося, и вовсе скинула верхнюю кофту, осталась в одной сорочке, сквозь которую всё просвечивало, и ей было всё равно — она так и в зале сидела, и в кабинеты так ходила, тело её было — рабочий инструмент, напоказ, без стыда.

Они сидели — развязные, полуодетые, раскинувшись, почёсываясь, зевая, переговариваясь о своём — о гостях вчерашних, о том, кто сколько дал, о болячках, о ценах, — грубо, похабно, не стесняясь ни слов, ни поз. Одна, разговаривая, машинально приняла ту позу, в какой принимала гостя, — выгнулась, подалась, — и не заметила, и никто не заметил, привычка. Другая, рассказывая про вчерашнего купца, показала руками да телом, как он её брал, — похабно, со смехом, в лицах, — и девки загоготали, и ей было весело, и ничуть не совестно.

Перед кем стыдиться? Друг перед другом? Жили бок о бок, всё видали. Перед учительницей? Так учительница — не гость, не начальство, своя вроде, чего перед ней. Перед тем, что тут девушка, Нина, нетронутая, чистая? Да они и не думали про это — для них «девушка-

нетронутая» была такая же диковина, как для Нины — они; они и забыли давно, каково это — стыдиться, беречься, быть девушкой; тело их было распахнуто миру, на продажу, без покровов, без стыда, годами. Они раздевались, выгибались, похабничали перед учительницей-девушкой так же непринуждённо, как дышали, — потому что иначе не умели, потому что стыд из них вытравили давно, в доме, в кабинетах, зеркалом по субботам.

А Нина — Нина стояла перед ними, с нотами, и не знала, куда деваться.

Она пришла нести свет искусства — а попала в содом. Она готовила французскую песенку, прекрасную, про любовь, про весну, — а перед ней сидели полуголые девки, чесались, зевали, похабничали, показывали в лицах, как их берут гости, выгибались в бесстыжих позах, говорили слова, которых Нина и не слыхивала, от которых горели щёки, и темнело в глазах, и подкашивались ноги.

Она ещё не понимала до конца — куда попала. Ещё цеплялась за «музыкальное заведение», за «артистки», за «сцену». Думала — ну, грубые девушки, из простых, кордебалет, нравы вольные, богемные, в театре, может, так и бывает, она ведь театра настоящего не видала, может, актрисы все такие — развязные, вольные. Искусство требует жертв, артисты — люди особые, не чета мещанам, со своими нравами. Так, может, она себя уговаривала, не веря ещё в худшее.

Но тело её, чистое, нетронутое, девичье, — тело не обманывалось. Оно сжималось, краснело, холодело от этих поз, слов, голой распахнутой плоти. Ей было — стыдно. Невыносимо стыдно. За них, которые не стыдились. Она, одна одетая до горла среди полуголых, одна стыдящаяся среди бесстыжих, одна чистая среди распахнутых, — она стояла, пунцовая, опустив глаза, сжимая ноты, не зная, как начать урок, как заговорить об искусстве, о французской песенке, о любви и весне — тут, среди этого.

— Я… я думала, мы будем… петь, — проговорила она наконец, тихо, дрожащим голосом. — Французскую песню. Про… про любовь. Про весну. Я ноты принесла…

Девки загоготали.

— Про любовь! — хохотнула Фрося, в одной сорочке, выгнувшись. — Мы про любовь всё знаем, барышня! Нам петь не надо, нам показать — мы покажем! — И снова похабный жест, и хохот.

— Да ты не красней, барышня, — сказала Глаша беззлобно, добродушно даже, расстёгнутая, раскинувшаяся. — Ишь, вспыхнула вся. Девушка, что ль? — Она вдруг пригляделась, удивилась. — Девушка! Батюшки! Настоящая! Нетронутая! — Девки уставились на Нину, как на диво, с любопытством, без зла, но и без всякого стеснения. — Вот диво-то. Девушка к нам попала. Ты как же сюда, нетронутая-то? Ошиблась, что ль, дверью?

Нина не поняла — или не хотела понять. Залилась краской пуще.

— Я… я артистка, — пролепетала она. — Петь. Учить вас петь. По-французски…

— Артистка, — протянула Дуняша и переглянулась с девками, и девки заухмылялись, зная что-то, чего Нина не знала; «артистка» на их языке значило одно, и они-то знали, какая тут «артистка», и во что эта чистенькая барышня скоро обратится, как все; но вслух не сказали — хозяйка не велела пугать, да и жалко было дуру чистую. — Ну, артистка. Учи, коли учить пришла. Давай свою песню. Про весну.

Нина, кое-как справившись с собой, стала учить.

И тут вышло то, что всегда: девки французский не тянули. Хуже Насти. Мычали, путали, перевирали, хохотали над собственной корявостью. Нина билась с ними — бледная, нервная, стараясь нести им красоту, объясняя про прононс, про душу песни, про то, что петь надо сердцем, — а девки зевали, чесались, хохотали, думали о своём, тянули своё «жэ-во» вразнобой. Искусство в содоме. Чайка, учащая петь свиней. Красота, не нужная никому.

Настя тут же была — училась со всеми (её Катя велела особо учить), и Настя, хоть и звезда теперь, хоть и первая, — сидела с девками, своя среди них, развязная, как они (её ведь те же кабинеты, только дорогие), полуодетая, непринуждённая. Но Настя — Настя одна проявила

к Нине что-то вроде участия: видя, как бьётся, как краснеет, как мучается чистая барышня среди девок, Настя (с её добротой, с живой душой, не вытравленной до конца) — пожалела её, прониклась.

— Ты не серчай на них, барышня, — сказала Настя Нине в перерыве, тихо, по-доброму. — Они не злые. Они так привыкли. Тут все так. Притерпишься. — И, помолчав, с простодушным любопытством: — А ты правда девушка? Нетронутая? — И, увидев, как Нина вспыхнула, кивнула сама себе, посерьёзнела, что-то поняв своим простым умом: — Эх. Чистая ты. Жалко. — И не договорила — чего жалко; но в голосе была та нотка, какую Нина не поняла, а Катя поняла бы: жалость знающей к незнающей, падшей к чистой, той, что прошла, к той, что пройдёт.

И Катя — стоявшая в дверях, незаметно наблюдавшая урок, — услышала это Настино «чистая ты, жалко» — и ту же нотку. И подумала: вот. Даже Настя, дура, чует. Что чистую жалко. Что чистую сюда — на убой. Что эта барышня среди девок — агнец среди… среди таких же агнцев, только уже остриженных, обесчещенных, свыкшихся. И её остригут. Обесчестят. Свыкнется. Станет как они — полуголая, развязная, бесстыжая, не помнящая, каково быть девушкой. Я её такой сделаю. Медленно. Тонко. Через вот это — через содом вокруг, через привыкание, через то, что стыд день за днём будет стираться, пока не сотрётся вовсе, как у них.

Урок кончился. Девки, зевая, потягиваясь, полуодетые, разбрелись — отсыпаться перед ночной работой. Нина осталась — измученная, потрясённая, сжимающая ненужные ноты, с горящими от стыда щеками.

Катя подошла к ней.

— Ну как, Нина? — спросила ласково. — Трудно с ними?

— Ох, Катерина Михайловна… — Нина чуть не плакала. — Они… они такие… грубые… вольные… Я не ожидала… Полуодетые сидят, говорят такое, показывают… Я краснела, не знала, куда деваться… Это… это разве артистки? Разве так можно? В искусстве?

Катя посмотрела на неё — на чистую, потрясённую содомом, ещё не понявшую до конца, ещё цепляющуюся за «искусство», — и — солгала. Мягко. Умело. Начиная ту самую подмену высокого, то самое тонкое растление через обман:

— Богема, Нина, — сказала она. — Артистическая вольность. Ты театра не видала, а там везде так — нравы свободные, тело артисту — инструмент, стыдливости мещанской нет, искусство выше условностей. Это ж не мещанки — это артистки, служительницы сцены. Им тело показать — что тебе голос. Привыкнешь. Это и есть — настоящая, вольная, артистическая жизнь, не то что твоё затхлое приличие. Искусство, Нина, оно смелое, свободное, оно выше стыда. Ты вот чистоту берегла, приличие, — а это, может, и есть мещанство, трусость, несвобода. А настоящий артист — он свободен, он не стыдится тела, красоты, страсти. Погляди на них — они свободнее тебя. Может, тебе у них поучиться — смелости, воле, свободе. А?

Нина слушала — растерянная, потрясённая, не зная, верить ли. Её идеал (чистота, приличие, высокое искусство) вдруг зашатался: а ну как Катя права? А ну как чистота — это мещанство, трусость, несвобода? А ну как настоящее искусство — вот это, вольное, бесстыжее, смелое? А она, Нина, с её приличием, с её чистотой, — отсталая, трусливая мещанка, недостойная искусства?

— Я… я подумаю, — сказала Нина тихо, смятенная. — Может, вы и правы… Я не знала… Я хочу быть настоящей артисткой… смелой… свободной… Может, во мне правда — мещанство, трусость…

— Подумай, — сказала Катя мягко. — Ты умная. Поймёшь. — И про себя: поймёшь. Шаг за шагом. Я тебе помогу — понять. Как понять надо. Мне.

Вечером Катя записала в тетрадь:

«Первый урок Нины. Девки — содом: полуголые, развязные, похабные, бесстыжие, ничего не стыдятся, даже перед девушкой. Привычка. Стыд вытравлен.

Нина — агнец среди остриженных. В ужасе, но цепляется за „искусство“, „богему“, думает — так в театре бывает.

Настя пожалела её: „чистая ты, жалко“. Даже дура чует — чистую на убой.

Начала растление. Тонко. Через подмену: стыд = мещанство, трусость; бесстыдство = свобода, искусство. Чтоб сама застыдилась чистоты, потянулась к бесстыдству — как к высокому.

Высокое назвать низким, низкое — высоким. И идеалистка, рвущаяся к высокому, пойдёт в грязь — думая, что к высокому.

Первое семя. Медленно. Долго. Шаг за шагом.»

Она закрыла тетрадь.

Первый урок дан. Не тот, что Нина давала девкам, — а тот, что Катя дала Нине. Первый урок растления. Переворот понятий. Семя.

А Нина шла домой — в свою нищую каморку — смятенная, потрясённая, с зашатавшимся идеалом, думая: может, правда — чистота моя мещанство, трусость? Может, надо смелее, свободнее, как артистки? Может, я отстала, труслива, недостойна искусства?

Не зная, что это Катя вложила ей в голову. Что это — первый шаг в яму. Что чайка уже сделала первый взмах — не к небу, а вниз, не ведая, что вниз.

11.4. Ебут

Сомнения грызли Нину несколько дней.

После того урока, после Катиных слов — что чистота её, может, мещанство, трусость, несвобода, а настоящее искусство смело, свободно, выше стыда, — Нина потеряла покой. Она ворочалась ночами в своей нищей каморке, думала, мучилась. С одной стороны — всё в ней, всё воспитание, вся чистая натура — противилось: содом этот, полуголые девки, похабщина, кабинеты, — какое же это искусство? Это грязь, разврат, стыд. А с другой — Катя, умная, образованная, говорящая по-французски, читающая книги, — Катя сказала: богема, артистическая вольность, свобода, искусство выше условностей; а твоя чистота — мещанство. И Нина, которая Кате поверила, которая так жаждала искусства, сцены, высокого, — Нина заколебалась. А вдруг правда? Вдруг она, Нина, с её приличием, трусостью, стыдливостью, — отсталая мещанка, недостойная искусства? Вдруг надо — смелее, свободнее, через стыд перешагнуть — чтоб стать настоящей артисткой?

Она разрывалась. Между чистотой и «искусством». Между стыдом и «свободой». Между тем, что видела (грязь), и тем, что говорила Катя (богема). И не знала, кому верить — глазам своим или умной хозяйке.

И — всё цеплялась за надежду, что это всё-таки искусство. Что кабинеты, куда уходят «артистки» после спектакля, — это что-то другое, не то, что ей мерещится в стыдном бреду. Что девки — грубы, вольны, но не... не то же, что уличные. Что «Пти-Пари» — хоть и вольное, богемное, смелое, — но всё же театр, искусство, сцена, а не... не вертеп.

Она не хотела верить в худшее. И потому — не спрашивала прямо. Боялась спросить. Боялась ответа.

А на пике этих соплей и сомнений — не выдержала. Спросила.

У Насти. Настя была — добрее всех, ласковее, пожалела её тогда («чистая ты, жалко»); к Насте Нина потянулась, как тянутся к тому, кто добр; Настя казалась ей не такой грубой, как девки, — звезда, танцовщица, при хозяйке, почти барышня (Нина не знала ещё правды про Настю). И вот однажды днём, после урока, оставшись с Настей вдвоём, Нина — краснея, запинаясь, собравшись с духом, — спросила. Про то, что мучило. Про то, чего боялась.

— Настя… — проговорила она тихо. — Можно спросить? Я… я не понимаю… Вот спектакль кончается, а потом… потом гости зовут артисток… в комнаты, в кабинеты эти… и артистки уходят… А что там? Что они там делают? В комнатах-то? После спектакля? Я всё не пойму… Это ведь… это ведь что-то по искусству? Декламация? Пение для гостя отдельно? Или… или что?

Она смотрела на Настю — с надеждой, с мольбой почти, — ждала, чтоб Настя сказала: да, пение, декламация, беседа, ничего дурного. Чтоб развеяла её стыдный бред. Чтоб подтвердила — искусство.

А Настя — Настя посмотрела на неё. На чистую, наивную, краснеющую, ничего не понимающую барышню, которая всерьёз спрашивала, что делают в кабинетах. И Настя — простодушная, прямая, без лукавства, без Катиной тонкости, без подмены понятий, — Настя сказала правду. Как есть. Как знала. По-своему, по-болотному, по-кабацки, грубо.

— Чего делают? — переспросила Настя. И, видя, что барышня впрямь не понимает, не ломается, а всерьёз, по дурости своей чистой, не знает, — Настя даже удивилась, а потом усмехнулась, и сказала просто, прямо, тем самым словом: — Так ебут же, барышня. Чего ж ещё.

И — чтоб уж совсем понятно было дуре нетронутой, чтоб не осталось сомнений, — Настя показала руками. Наглядно. Как показывают девки, в лицах, непристойно, привычно: сложила, изобразила, двинула — как натягивают, как берут, сзади, спереди, — тот самый похабный жест, которому научилась у девок, которым девки показывали вчерашних гостей. Показала

— просто, буднично, без всякого стыда (у Насти стыда тоже давно не было), даже с охотой объясняя непонятливой: вот, мол, так и так, чего тут не понять.

— Гость заплатит, — прибавила Настя, добродушно поясняя, — заведёт в кабинет, да и натянет. Кто как любит — кто так, кто эдак. — Опять жест. — Платят хорошо. Я вон, — сказала она не без гордости, — я звезда, мне по сотне дают, а то и больше, не всякому ещё даюсь. А девки — те подешевле, тем кто хочет. А ты думала — пение? — Настя хохотнула, беззлобно. — Нет, барышня. Петь-плясать — это так, приманка, чтоб гость завёлся да раскошелился. А дело-то — в кабинетах. Там и деньги. Ебут, и всё тут. И тебя, — сказала она простодушно, не со зла, а как само собой разумеющееся, — и тебя скоро заставят, коли денег захочешь. Петь-то гроши, а в кабинете — рубли. Все через это. И я была… ой, боялась сперва, как ты, а теперь — привыкла, и ничего, даже хорошо бывает. Притерпишься.

И вот тут — от этой грубой, прямой, наглядной откровенности, от этого слова, от этого жеста, от «и тебя скоро заставят», от «все через это» — Нину прорвало.

Рухнуло всё. Разом. Вся надежда, все увёртки, всё цепляние за «искусство», за «богему», за Катины слова, за то, что это другое, не то, не вертеп. Рухнуло. Потому что Настя сказала — прямо, грубо, без обиняков, без подмены, просто и страшно: ебут. В кабинетах. За деньги. И тебя заставят. Все через это.

Это был не Катин тонкий яд, не переворот понятий, не «богема-свобода-искусство». Это была — голая правда. Болотная. Кабацкая. Беспощадная. Правда, которую Настя вывалила по дурости, по доброте, по простоте, не умея лгать, не умея подменять, — вывалила прямо в лицо, как есть.

Бордель. Вертеп. Она в борделе. «Музыкальное заведение», «сцена», «искусство» — ложь, обман, приманка. Она нанялась в бордель. Поёт — чтоб гости завелись и шли ебать девок в кабинеты. И её, Нину, — чистую, нетронутую, мечтавшую о высоком искусстве, берёгшую себя для великой святой любви, — её тоже скоро заставят. В кабинет. К гостю. За деньги. Ебать. Все через это.

Нина — побелела. Потом — задохнулась. Потом — закричала.

Истерика хлынула — бурная, безудержная, с концами, как вы и хотели. Она зарыдала, затряслась, вцепилась в волосы, в платье; её колотило; она кричала — не словами, воем, — страшным, отчаянным воем поруганной чистоты, рухнувшей мечты, обманутой души. Она билась в истерике — чистая птица, узнавшая наконец, куда залетела, в какую клоаку, в какой ад; узнавшая, что её обманули, заманили, что она — в борделе, что её продадут, заставят, обесчестят; что мечта её об искусстве, о сцене, о высоком — растоптана, оплёвана, что всё — ложь, грязь, тело на продажу, «ебут, и всё тут».

— Нет! Нет! — кричала она сквозь рыдания, задыхаясь, в истерике. — Не может быть! Это бордель?! Я в борделе?! Меня обманули! Меня заманили! «Музыкальное заведение»! Искусство! Сцена! Ложь! Всё ложь! Это вертеп! Притон! И меня... меня тоже... заставят?! В кабинет?! За деньги?! Нет! Никогда! Лучше умереть! Лучше в реку! Я чистая! Я берегла себя! Я мечтала! А вы... вы... это ад! Это ад! Пустите! Уйду! Сейчас же уйду! Не могу! Не могу!

Она рвалась — бежать, прочь, немедленно, вон из этого ада; рыдала, билась, кричала; её трясло, подкашивались ноги; она была в настоящей истерике — с концами, безудержной, как рушится всё и сразу у чистой души, узнавшей грязь.

Настя перепугалась.

Она не ждала такого. Она сказала правду — просто, по-доброму даже, объясняя непонятливой, без всякого злого умысла; а барышня вон как зашлась, воет, бьётся, в реку грозится. Настя растерялась, засуетилась, кинулась к ней — утешать, обнимать, по-своему, по-бабьи:

— Ой, барышня, да ты что... да не убивайся так... да я ж не со зла... ой, да перестань, миленькая... ну да, бордель, ну да, ебут, — так что ж теперь... все так живут, я вот живу, и

ничего... да не вой ты так, сердце разрывается... ой, батюшки, что ж я наделала, напугала... Катерину Михайловну позвать, что ль...

Но Нину уже было не унять. Истерика шла с концами — она рыдала, кричала, билась, звала смерть, реку, проклинала обман, грязь, ад, свою загубленную чистоту и мечту.

На крик прибежала Катя.

И увидела: бьётся в истерике Нина, рыдает, кричит про бордель, про обман, про смерть; суетится вокруг перепуганная Настя; и — поняла в одну минуту, что случилось. Настя по дурости вывалила барышне всю правду, прямо, грубо, — и у той рухнуло всё, и она в истерике, с концами.

И Катя — вместо досады (хотя мелькнула досада: не так, не так надо было, тонко, постепенно, а не обухом) — вдруг даже усмехнулась про себя. Потому что — а что, по сути, Настя сделала её, Катину, работу. Грубо, разом, обухом — но сделала. Сорвала с Нины последнюю надежду, последнее цепляние за «искусство». Теперь Нина знала правду — голую, страшную: она в борделе, её продадут. Иллюзия рухнула. А рухнувшая иллюзия, отчаяние, ужас — это и есть почва для растления. Сломленную, отчаявшуюся, узнавшую, что бежать некуда (а бежать некуда, нищета), — её теперь и обрабатывать. Настя обухом свалила — а Катя тонко подберёт, поднимет, утешит, оплетёт, удержит, поведёт.

— Настя, поди, — сказала Катя спокойно. — Я сама.

И подошла к бьющейся, рыдающей Нине — чистой птице, узнавшей наконец, куда залетела. Подошла — мягко, ласково, с той теплотой, в которой была и жалость (неземная, жаль, зеркало), и расчёт сводни (сломлена — бери), — чтобы начать: утешать, подбирать, оплетать, вести. Медленно. Тонко. Теперь, когда иллюзия рухнула и чайка бьётся в сетях.

11.5. Некуда

Катя увела Нину наверх — в свой кабинет, подальше от залы, от девок, от чужих глаз, — и там, при закрытых дверях, долго приводила в чувство.

Нина билась ещё с полчаса — рыдала, кричала, рвалась бежать, поминала реку, смерть, загубленную чистоту. Катя не перечила, не спорила, не утешала грубо — дала выплакаться, выкричаться, выбиться из сил. Знала: истерику не остановишь уговорами, её надо выжечь, дать ей догореть. Сидела рядом, держала за руку, подавала воды, гладила по вздрагивающим плечам — молча, терпеливо, ласково. Как сидела у постели умирающего Симонсона, у постели Любки. Только те умирали телом, а эта — душой; умирала её чистота, её мечта, её вера; и Катя сидела у этой смерти, как у всякой другой, — терпеливо, зная, что надо переждать, пока отойдёт.

Наконец Нина выбилась из сил. Рыдания стихли, перешли в икоту, в редкие всхлипы; она обмякла, притихла, сидела, уткнувшись в ладони, опустошённая, раздавленная. Отошла истерика. Осталась — пустота, отчаяние, ужас перед правдой, которую теперь нельзя было не знать.

И вот тут Катя начала.

— Ну, выплакалась? — сказала она мягко. — Легче?

Нина подняла заплаканное, опухшее, несчастное лицо.

— Катерина Михайловна… это правда? То, что Настя… что тут… бордель? Что меня… обманули? Что заставят?

— Правда, Нина, — сказала Катя. Прямо. Не стала больше лгать про «музыкальное заведение», про «богему» — тут ложь уже не годилась, Нина знала; теперь нужна была другая ложь, тоньше, поверх правды. — Правда. Тут и пение, и танцы, и искусство, — а есть и кабинеты. Есть. Не стану врать. Заведение такое — всякое. И артистки, бывает, в кабинеты ходят, с гостями. За деньги. Это правда.

Нина снова залилась слезами:

— Так я уйду! Сейчас же! Не могу! Не останусь в... в таком! Я чистая! Я лучше умру, чем...

— Уйдёшь — куда? — спросила Катя тихо.

И Нина осеклась.

Потому что — некуда.

Катя разложила ей — спокойно, беспощадно, по правде (тут правда была её оружием) — всё как есть.

— Уйдёшь — куда, Нина? Подумай. Денег у тебя нет — ни гроша, я знаю, ты неделю не евши пришла, по платью видно. Родных нет — сирота, одна. В Томске — чужая, никого. Жильё у тебя — каморка, за которую платить нечем, выгонят со дня на день. Другого места — нет. Ты думаешь — пойдёшь в учительницы, в гувернантки, петь в приличный дом? А где они, места эти? Нету. Голод, холера идёт, разорение — бедных образованных барышень пруд пруди, все места заняты, все голодают. Я сама тебя через то и нашла — голодных-то образованных нынче много. Пойдёшь по дворам проситься в гувернантки — а тебе: мест нет, да ещё хозяин лапать станет, та же грязь, только без денег. Пойдёшь в швеи, в прачки — гроши, голод, чахотка. А то — и вовсе на улицу, с голоду, там уж не кабинет, там — под забор, за копейку, кому попало, без всякого искусства. Вот твой выбор, Нина, коли уйдёшь: голод, улица, смерть под забором. Или — назад, домой? Так дома нет, разорён, продан. Некуда тебе, девочка. Некуда.

Нина слушала — и каждое слово было гвоздём. Правда. Беспощадная. Некуда. Ни денег, ни родных, ни места, ни дома. Одна, нищая, в чужом городе, в голодный год. Уйти — на улицу, под забор, к смерти. Остаться — в борделе, где заставят.

Ловушка. Захлопнулась. Нищета держала крепче любого замка, любой кабалы, любого быка у двери.

— Что ж мне делать? — прошептала Нина, раздавленная. — Господи, что ж мне делать? Везде — грязь, везде — гибель. И уйти — гибель, и остаться — гибель. За что? Я ж чистая, я ж мечтала... за что мне ад этот?

И вот тут — на дне отчаяния, когда Нина поняла, что некуда, что ловушка, — Катя подставила руку. Соломинку. Начала оплетать.

— Не ад, Нина, — сказала она мягко, обняв её за плечи, притянув. — Погоди реветь. Не всё так черно. Слушай меня. Я тебя в обиду не дам. Слышишь? Я тебя в кабинеты гнать не стану. Силой — никогда. Я не Анна Марковна. У меня девок силой не гонят. Будешь петь, учить — вот твоя работа. Жалованье положу хорошее — с голоду не помрёшь, каморку оплатишь, оденешься. Будешь при мне — сыта, одета, под защитой. А кабинеты — это твоё дело, захочешь — нет, неволить не буду. Пой, учи, живи. Чем плохо? Лучше, чем под забором-то, а? Лучше, чем в гувернантках у лапающего хозяина за гроши?

Нина подняла глаза — с недоверием, с надеждой.

— Правда? Не заставите? В кабинеты?

— Не заставлю, — сказала Катя. И это была правда — пока. Силой — не заставит. Она не Анна Марковна. Она — тоньше. Она не заставит — она сделает так, что Нина сама пойдёт. Медленно. Через подмену, через нужду, через привыкание, через сломленную уже чистоту, через деньги, которых всегда будет не хватать, через то, что станет своей среди девок, что стыд день за днём сотрётся. Сама пойдёт — думая, что сама, что по своей воле, как шла сама Катя когда-то к Нехлюдову, как «пошла сама» Настя. — Не заставлю. Пой, учи. Живи при мне. А там — видно будет. Жизнь, она долгая. Погляди на других, попривыкни, поумней. Может, и переменишь мысли-то свои — про чистоту, про грязь. Может, поймёшь, что не всё так просто, что жизнь — не романы. А пока — живи, пой, не бойся. Я тебя берегу.

И Нина — раздавленная, отчаявшаяся, узнавшая, что некуда, что ловушка, — ухватилась за эту соломинку. За Катину руку. За «не заставлю, берегу, живи, пой». Больше ей не за что было ухватиться — везде гибель, а тут — защита, жалованье, работа не в кабинете, хозяйка, которая «бережёт». Она ухватилась — утопающая за протянутую руку, не зная, что рука эта — сводни, что защита эта — сеть, что «не заставлю» означает «сама пойдёшь», что её уже оплетают, ведут, тянут вниз, медленно, той самой рукой, что подаёт соломинку.

— Спасибо, — прошептала Нина, цепляясь за Катю, за её плечо, за её руку. — Спасибо, Катерина Михайловна. Вы... вы добрая. Вы одна добрая тут. Я останусь. Петь. Учить. Только не гоните в... в это. Я буду стараться. Я... я вам так благодарна...

— Ну и ладно, — сказала Катя, гладя её по голове. — Ну и умница. Живи. Пой. Я с тобой.

Оплетена. Первый виток. Утопающая схватилась за руку сводни, назвала её доброй, единственной доброй, благодарила. Как Настя благодарила. Как все, кого Катя брала — через их же нужду, страх, отчаяние, через доброту, которая была и настоящей, и ложью разом.

Но ведь я правда очень добрая, подумала Катя. Я мир хочу спасти.

Первая телесная уступка пришла тут же — крошечная, на дне отчаяния, под видом заботы.

— Вот что, — сказала Катя, когда Нина притихла, пригрелась под её рукой. — Коли петь будешь — надо и выглядеть на сцене прилично. То есть — красиво. Платье твоё, — она тронула бедное, глухое, застёгнутое до горла платьице, — платье твоё хорошее, скромное, да для сцены не годится. На сцене — надо наряднее, открытее. Артистка. Я тебе сошью — красивое, сценическое. Не бойся — не бесстыжее, как у девок, нет. Прилично, но по-артистически: плечи открыты, шею видно, — красиво, благородно, как в опере, как в концерте поют. Ты ж оперу любишь — там певицы в открытых платьях поют, помнишь? Декольте, плечи — это не разврат, это искусство, сцена, красота. Согласна?

Нина заколебалась. Открыть плечи, шею — ей, чистой, застёгнутой до горла, берегущей себя, стыдливой, — это было страшно, стыдно. Но — Катя сказала: опера, концерт, певицы так поют, искусство, красота, не разврат. И Нина, ещё не остывшая от благодарности, цепляющаяся за Катю, за «искусство», за то, что это не кабинет, а сцена, — Нина, скрепя сердце, уступила. Самую малость. Ради «искусства». Ради благодарности. Ради того, чтоб остаться петь, а не идти под забор.

— Хорошо, — сказала она тихо, краснея. — Коли для сцены, для пения... коли так в опере... Я согласна. Плечи открыть... это ведь правда не стыдно, певицы так поют... Хорошо.

Крошечная уступка. Первая. Открыть плечи, шею — ради «искусства», «сцены», под видом заботы, в благодарность, на дне отчаяния. Казалось бы — пустяк, малость, платье. А на деле — первый сантиметр. Первый шаг. Чистая, застёгнутая до горла, впервые согласилась обнажить — малость, плечи, — уговорённая, что это не стыд, а искусство. Переступила первую, крошечную черту. А за ней — будут другие, больше, больше; каждая — малость, каждая — под видом искусства, заботы, нужды, в благодарность, на дне; пока не дойдёт до последней. Так и ведут — по сантиметру, по платью, по плечику, чтоб сама не заметила, как разделась вся, как переступила всё, как пала. Катин метод. Первый виток.

Вечером, когда Нина, обласканная, оплетённая, оставшаяся, ушла в свою каморку (с авансом жалованья), Катя кликнула Настю.

— Настя, — сказала она. — Ты нынче барышню до смерти напугала своей откровенностью. «Ебут», да руками показала. Вот и истерика. Я насилу отходила. — Катя не сердилась по-настоящему (Настя ей, по сути, помогла), но выговорить — выговорила. — Ты при ней похабных слов не говори. И не пугай. Не показывай этих... жестов своих. Она чистая, нежная, непривычная — её надо тихо, осторожно, а не обухом. Поняла? При барышне — поаккуратнее. Чтоб не пугать.

Настя посмотрела на неё — простодушно, недоумевая.

— Да как же, Катерина Михайловна? — сказала она. — Их все девки говорят, слова-то эти. И жесты показывают. И мужики-то — мужики ещё похлеще загнут, да при ней же, в зале, в проходе, не стесняясь. Как же её убережёшь? Тут кругом бордель, кругом так говорят и делают. Фифа эта чистенькая — она ж тут, среди нас, среди девок, среди мужиков. Хоть я молчи — так другие скажут, покажут, да погрубее меня. Невозможно её от этого уберечь, коли она тут живёт. Притерпится, как все, к словам-то, к делам. Обвыкнет.

Катя помолчала. Настя была права — по-своему, по-болотному, по правде. Уберечь Нину от похабщины в борделе — невозможно; кругом так говорят, делают, не стесняясь; хоть Настю заставь молчать — девки, мужики всё одно обрушат на чистую барышню всю грязь, и погрубее. Притерпится. Обвыкнет. Как все. Собственно, на это Катя и рассчитывала — что обвыкнет, что грязь кругом сотрёт её чистоту день за днём, что в этом содоме чистота не устоит. Настя верно сказала — не уберечь. И не надо беречь — надо, чтоб грязь делала своё, стирала.

Но — что-то в Кате всё же дрогнуло. Та трещина, то незваное, жалость, зеркало. Хоть на день, хоть на час — продлить бы чистоту. Хоть самой не марать раньше времени. Пусть грязь кругом — но хоть свои, хоть Настя, при ней — поаккуратнее. Не из расчёта (расчёт говорил: пусть стирается скорее) — а из того незваного, из жалости, из памяти о себе-чистой.

Катя вздохнула.

— Ну, других-то не уймёшь, твоя правда, — сказала она. — Кругом бордель, кругом грязь, не убережёшь. Обвыкнет, да. — Она помолчала. И прибавила тише, почти про себя, с той неожиданной мягкостью, в которой была вся её трещина: — Ну ты сама хоть этого при ней не делай. Хоть ты. Поаккуратнее. Жалко девку. Чистая больно. Пусть хоть от тебя не слышит.

Настя посмотрела на неё — удивлённо (с чего бы хозяйке жалеть фифу, которую всё одно растлят), но перечить не стала.

— Ну, ладно, — сказала она. — Я сама не буду. При ней. Коли жалко вам. А другие — как хотят.

— Вот и ладно, — сказала Катя. — Ступай.

И осталась одна. И подумала: вот ведь. Растлеваю её, веду в яму, оплела, в платье раздеваю по сантиметру, знаю, что погублю, — а сама Настю прошу при ней не похабничать, чтоб уберечь, хоть на час, хоть чуть. Губить — гублю, а марать раньше времени — жалко. Сама её в грязь столкну, а чтоб грязь раньше меня коснулась — не хочу. Ревную её чистоту к чужой грязи — чтоб самой, своей рукой, своим ядом, медленно, тонко, а не чтоб девки да мужики обухом. Моя добыча. Моя чайка. Я подобью. Не отдам грубой грязи — сама, тонко, по сантиметру.

Жалость и сводничество в одном. Беречь — чтоб губить. Хранить чистоту — для себя, чтоб самой растлить, медленно, со вкусом, по-своему.

Чудовище, подумала она привычно. И достала тетрадь.

11.6. Конт против Гегеля

Ночью, когда «Пти-Пари» отгремело и затихло, когда разъехались гости и разошлись девки, Катя поднялась к себе — и села за книги.

Это были её часы. Самые тихие, самые свои. Днём — хозяйство, варьете, девки, Нина, дела. Вечером — зала, гости, выручка, кабинеты. А глубокой ночью, одна, при двух свечах, — книги. Рост. Ученье. То, ради чего эти «тихие годы»: читать, знать, расти, точить голову знанием, как косу.

Сейчас перед ней лежал немецкий. Учебник, грамматика (достал Соломин, как обещал) — и толстая, трудная немецкая книга, которую она пыталась разобрать, со словарём, по слову, по строчке, мучительно, как мучилась когда-то над первым Олендорфом, над первым Мишле. Немецкий давался тяжелее французского — грубее, тяжеловеснее, с длинными составными словами, с хитрым строем, где глагол убегает в конец фразы и жди его. Но она грызла — настырно, по-своему, зная, что одолеет, как одолела французский. Три языка — три мира. Второй том Маркса по-немецки, вся немецкая философия, вся наука. Одолеет.

Книга была — философская, трудная. Она разбирала её по словечку, не всё понимая, но ухватывая суть, жадно.

И, разбирая, думала о споре, о котором слышала — от Соломина, от Рахметова, из других книг, из разговоров в кружке, — но которого сама ещё не читала. О великом споре: позитивизма против метафизики. Конта — против Гегеля.

Она слышала об этом — краем, в пересказах, в спорах кружка. Что есть Огюст Конт, француз, позитивист: учил, что человеку доступно только положительное знание, то, что можно наблюдать, проверить, измерить, — наука; а всякая метафизика, рассуждения о сущностях, о духе, о абсолюте, о том, чего не пощупаешь, — пустая болтовня, детство ума, от которого человечество должно избавиться, перейдя к науке. И есть Гегель, немец, метафизик: тот, напротив, строил огромные воздушные замки из чистого разума — об Абсолютном Духе, о том, как Идея развивается, отрицает себя, снимает противоречия, о диалектике, о том, что всё разумное действительно, а всё действительное разумно, — целую вселенную из понятий, умозрений, отвлечённостей, которых не пощупать, не проверить, не измерить.

Конт против Гегеля. Наука против метафизики. Положительное знание против воздушных замков духа.

И Катя — не читавшая ещё толком ни того, ни другого, собиравшаяся прочесть (вот и немецкий грызла — чтоб Гегеля в подлиннике одолеть, да и Маркс из Гегеля вышел, без Гегеля Маркса до конца не понять, говорил Рахметов), — Катя заранее, нутром, была на стороне Конта.

Потому что — наука. Наука хоть что-то даёт. Сеченов — объяснил ей, как устроен человек, что душа есть рефлекс, что греха нет, стыда нет, что тело — машина; и это было — знание, оружие, опора. Дарвин — объяснил отбор, самку, что выбирает; токсикология профессора — яды, чем травить без следа; медицина — болезни, холеру, что идёт, микробов Пастера. Наука помогала. Наукой она косила (борец, сулема), наукой росла, наукой понимала мир — как он устроен, где слаб, где ударить. Положительное знание — её инструмент, её коса.

А Гегель? А метафизика? А воздушные замки духа, Абсолютная Идея, диалектика понятий? Что с них толку? Пустая болтовня. Умствование. Как споры в кружке — учёные, страстные, бесконечные, и всё из пустого в порожнее, созрели условия или не созрели, пройдёт Россия через капитализм или минует. Болтовня. Отвлечённость. Ничего не дающая, ничем не помогающая, ничего не косящая. Конт прав: детство ума, от которого пора избавиться. Наука — дело. Метафизика — болтовня.

Так рассуждала Катя, грызя немецкую книгу при двух свечах, заранее приняв сторону Конта против Гегеля, которых обоих ещё не читала, но собиралась, — рассуждала уверенно, по-своему, прагматически: что помогает, то и правда; наука помогает, метафизика нет; стало быть, наука права.

Она не знала ещё — узнает позже, прочтя обоих, — что не всё так просто; что из «пустого» Гегеля вышел весь Маркс, вся диалектика революции, вся её собственная «коса под корень»; что метафизика духа обернулась метафизикой истории, классов, неизбежного переворота. Но пока — не знала. Пока — заранее за Конта, за науку, против болтовни. Наука-то хоть помогает.

Она грызла немецкую фразу — длинную, тяжёлую, с убежавшим в конец глаголом, — и вдруг поймала, что не разбирает её, а думает о другом.

О Нине.

Мелькнуло — против воли, посреди философии, — то, что уже было днём: как эта чистая, нетронутая, застёгнутая до горла барышня будет в постели. Как расстегнётся сценическое платье, как обнажатся впервые открытые нынче плечи, шея, как дальше — грудь, вся она; как будет дрожать, стыдиться, плакать над погубленной чистотой под первым гостем; и как потом сломается, свыкнется, пойдёт. Мелькнуло — барышнически, своднически, холодно, как днём, — и Катя отмахнулась: об этом уже думала, повтор, довольно, не марать себя этим взглядом ещё и ночью, за книгами.

Но мысль, качнувшись от Нины, — качнулась дальше. К постели вообще. К телу. К себе.

И — посреди немецкой философии, посреди Конта и Гегеля, посреди свечей и словаря, — Катя вдруг представила в постели себя.

Не Нину. Себя. С мужчиной. С сильным, крепким, настоящим мужчиной — большим, тяжёлым, умелым, — как Привалов, как тот откупщик, как кочегар тогда, как те, под кем её тело дорывалось, кричало, кончало. Представила — ясно, телесно, жадно — его руки, его тяжесть, его силу; как он берёт её, как она кладет ноги ему на плечи, как поднимается в ней тот тёмный, горячий, неудержимый жар, как она кричит, запрокинув голову...

И — посреди Конта и Гегеля, посреди немецких глаголов, убежавших в конец фразы, — у неё свело ноги от желания.

Сильно. Внезапно. По-настоящему. Тело — здоровое, молодое, двадцативосьмилетнее, давно не утолённое — тело взбунтовалось, вспыхнуло, потребовало — громко, властно, перебив всю философию, всю науку, весь спор Конта с Гегелем. Жар разлился внизу живота, свело ноги, пересохло во рту; она сжала бёдра, зажмурилась, выронила перо. Тело хотело. Немедленно. Остро. Нестерпимо.

Вот тебе и Конт с Гегелем, подумала она, задыхаясь, с досадой и усмешкой. Вот тебе и позитивизм против метафизики. Сижу, философствую, немецкий грызу, умная, образованная, хозяйка, судья, коса, — а тело своё взяло. Как у любой девки. Свело ноги от одной мысли о мужике. Вот она, наука-то, Сеченов-то: рефлекс, физиология, тело-машина. Машина требует. Громче всякой философии.

Она отодвинула книгу. Немецкий, Конт, Гегель — всё отступило перед простым, властным, телесным.

Надо найти любовника, подумала Катя. Твёрдо, решённо, по-деловому — как решала всё. Это не блажь, не распутство — это физическая необходимость. Тело — молодое, здоровое, двадцать восемь лет — требует, и будет требовать, громко, нестерпимо, перебивая и дела, и книги, и философию. Я ж поймала себя — уже на Нину засматриваюсь похотливо, уже посреди немецкого ноги сводит. Так нельзя. Тело неутолённое — помеха; оно будет мучить, отвлекать, толкать на глупости, затуманивать голову. А мне голова ясная нужна — для дел, для косы, для роста. Значит — утолить тело. Регулярно. Чтоб не мешало. Как едят, как спят — так и это, физическая потреба, которую надо удовлетворять, чтоб машина работала исправно.

А в своём варьете — нельзя. Отдаваться в собственном заведении, при девках, при гостях, — уронить себя, положение, власть. Хозяйка должна быть над, недоступная; ляжет при всех — станет первой блядью своего дома, потеряет уважение, власть. Нельзя.

Решено. Найду любовника. Привалова — вернулся как раз. Утолю тело — чтоб не мешало голове, делам, косе. Физическая необходимость. Как дрова для печи, как масло для машины. Утолить — и работать дальше.

Она усмехнулась — своей прагматичности, своему материализму, тому, как просто, по-деловому, по-сеченовски решила дело тела: нашла, что тело требует, — удовлетворю, как голод, как жажду, без романтики, без любви (любви нет, рефлекс), по потребе. Вот и весь спор Конта с Гегелем, подумала она. Гегель бы про это дух сочинял, диалектику желания. А Конт, позитивист, сказал бы просто: физиология, потреба, удовлетвори. И я — с Контом. Тело просит — тело накормлю. Наукой. По-деловому.

Она задула свечи. Немецкий — отложила до завтрашней ночи. А нынче — спать, а завтра — послать за Приваловым (вернулся, слыхала), залучить в любовники-покровители, утолить тело, чтоб не мешало.

Она легла. Тело ещё ныло, просило, свербело неутолённым желанием. Ничего, подумала она. Завтра. Привалов. Утолю.

За окном стояла зимняя ночь. Внизу спало затихшее «Пти-Пари» — с девками, с кабинетами, с тайной комнатой за баней. Где-то в нищей каморке спала (или не спала, рыдала?) оплетённая, сломленная, начавшая падать чайка — Нина, которую Катя поведёт в яму, медленно, по сантиметру, со вкусом. Где-то далеко, в России, в голоде, в холере, разливал кашу голодным добрый дурак Нехлюдов. Где-то в Петербурге жил, не зная о приговоре, молодой усталый наследник. А здесь, в Томске, в «Пти-Пари», засыпала — с неутолённым телом, с немецкой философией в голове, с косой в сундуке, с приговором в сердце — Катя.

Двадцати восьми лет. Здоровая. Живая. С телом, которое громко просило мужчину.

Завтра — Привалов.

А пока — спать.

Конец одиннадцатой главы.


PETIT
PARIS
МУЗЫКА
ТАНЦЫ
ШАМПАНСКОЕ
ДАМЫ

Глава 12. Примадонна

12.1. Привалов

Утром Катя красилась и наряжалась — долго, тщательно, перед большим зеркалом.

Она делала это по-особому в то утро. Не для сцены, не для гостей, не для дела — для себя, вернее, для того, что задумала с ночи, с того часа, когда посреди Конта и Гегеля у неё свело ноги от желания. Нынче она шла к Привалову. Утолить тело. Залучить в любовники-покровители. Дать мужику — впервые за долгое, за тягостно-долгое время.

И, крася губы — вишнёвым, жирным, тем самым, — проводя по ним медленно, глядя в зеркало на свой красный рот, на чёрные косящие глаза, на белую шею; натягивая тонкие чёрные чулки по гладкой ноге; затягивая корсет, поднимавший грудь; душась гелиотропом за ушами, в ямку на шее, меж грудей, — она думала, ясно и холодно, и с тёмной усмешкой:

Я ведь всё это делаю — чтобы пойти и дать мужику за деньги.

Вот что я делаю сейчас. Крашусь, наряжаюсь, душусь — как девка перед гостем, как шлюха, собираясь на работу. Только я не девка — я хозяйка, дама, образованная, Маркса читаю, немецкий учу, Конта с Гегелем сужу. А делаю то же — крашусь, чтоб пойти и лечь под мужика. И возьму с него денег. Привалов заплатит — он покровитель, он богат, пусть платит, и телу польза, и делу. Иду продаваться. Как всегда. Как всю жизнь.

И — странное дело — сама эта мысль её возбуждала.

Не стыдила, не унижала (стыда нет, Сеченов, рефлекс), а — возбуждала. Мысль о том, что она идёт отдаться, лечь, раскрыться под мужиком, продать тело, — эта мысль, пока она красила губы и натягивала чулки, разливала в ней тот самый тёмный, горячий жар, что свёл ей ноги ночью. Она крась губы — и представляла, как в эти накрашенные губы... Натягивала чулок — и представляла, как эту ногу... Душилась меж грудей — и представляла, как эту грудь...

Видимо, без этого я не могу, подумала она, глядя в зеркало на разгорающиеся свои глаза, на румянец, проступивший не от румян. Без этого — без того, чтоб отдаваться, продаваться, лечь под мужика, — не могу. Двенадцать лет у Китаевой, год у Анны Марковны — приучили тело, въелось в кровь: краситься, наряжаться, идти отдаваться — и в этом самом, в приготовлении к продаже тела, уже разгорается желание. Тело моё так устроено теперь — машина, которую завели на это. Красишься — заводишься. Собираешься продаться — хочешь. Я не могу без этого. Я шлюха. Не по ремеслу уже — по природе, по плоти, по тому, во что меня переделали. Шлюха, которую возбуждает сама мысль отдаться за деньги.

И эта мысль — что она шлюха по природе, что её возбуждает продаваться, — не огорчила её, а, наоборот, подхлестнула жар. Она докрасилась, доду́шилась, оглядела себя в зеркале — красную, чёрную, нарядную, разгоревшуюся, готовую, — и усмехнулась своему отражению: ну, пошли, шлюха. Давать Привалову. За деньги. Как всегда.

И пошла — с жаром внизу живота, с тёмным нетерпением, пряча это под маской деловитой хозяйки, идущей к покровителю по делу.

Привалов вернулся с приисков неделю назад — огромный, обветренный, рыжебородый, пропахший тайгой, золотом, морозом. Катя послала ему записку, он явился — в её кабинет, днём, когда варьете спало.

Катя — хозяйка, дама, холодная, расчётливая — вела с Приваловым разговор о деле: покровительство Пти-Пари, его деньги, его связи, его защита; и — между делом, будто уступка, будто плата за покровительство, — она сама, своё тело.

— Ты мне, Михаил Гаврилыч, нужен, — говорила она деловито, сидя напротив, прямая, строгая, в красном. — Покровитель. Денег дать на расширение. Слово замолвить среди тузов,

публику привести богатую. Защиту — от полиции, от конкурентов. Ты в городе — сила, тебя все боятся. Под твоей рукой Пти-Пари вдвое поднимется. Нужен ты мне.

— А мне что с того? — пробасил Привалов, усмехаясь в бороду, медвежьими глазками оглядывая её — красную, нарядную, разгоревшуюся. — Деньги давать, защищать — а мне какая корысть?

— А корысть, — сказала Катя, и голос её был деловой, торговый, будто о пудах муки, — корысть тебе — я. Сама. Будешь ко мне ходить. Тайно, не в варьете — я хозяйка, мне нельзя при всех. На стороне, у тебя или где устроим. Я — тебе, ты — мне покровительство. Уговор. По рукам?

— По рукам, — крякнул Привалов, довольный. — А сколько ж ты стоишь-то, хозяйка? Цену-то назови. Я ж купец, я без цены не беру.

И они стали торговаться — о цене. Сколько Привалов заплатит (сверх покровительства) за каждый раз, за месяц, за постоянство. Катя торговалась — холодно, жёстко, как торговалась за дом, за всё; набивала цену, он сбивал, она держала. Деловой торг, купля-продажа, тело за деньги и покровительство. Снаружи — лёд, расчёт, арифметика.

А внутри —

А внутри Катю жгло.

Внутри, пока она холодно торговалась о цене своего тела, — тело это самое рвалось к нему. Горело. Хотело. Она сидела напротив Привалова, деловая, строгая, набивала цену, — а сама, под маской расчёта, пожирала его глазами: огромного, крепкого, рыжебородого; вспоминала его тело на пароходе, его руки, его тяжесть, шрам на груди (кайлом, артельщик); вспоминала, как он брал её тогда, как дорывалось под ним её тело, как она кричала; и — хотела этого, немедленно, нестерпимо; хотела, чтоб он перестал торговаться, сгрёб её своими лапами, бросил на диван, навалился, взял; фантазировала — пока губы её называли цену — как он расстегнёт на ней красное, как обнажит грудь, как раздвинет ей ноги в чёрных чулках, как войдёт, тяжёлый, сильный; и жар разливался, сводило ноги, пересыхало во рту, трудно было держать деловой голос, торговаться, не выдать, как хочется.

Контраст был — мучительный и сладкий. Снаружи она продавала тело — холодно, за деньги, торгуясь. А внутри — тело это рвалось отдаться даром, сейчас, жадно, само. Снаружи — я продаю, плати дороже. Внутри — да возьми же меня, скорей, я сама хочу, даром отдалась бы, только скорей. Шлюха, торгующаяся о цене, — и под маской торга изнывающая от желания отдаться тому, с кем торгуется. Продаёт — и сама хочет купленного. Берёт деньги — и наслаждение в придачу, даровое, тайное, жаркое.

Такая вот я, думала Катя сквозь жар, сквозь торг. Хозяйка — и шлюха. Расчёт — и похоть. Снаружи продаю тело за деньги, деловито; внутри — сама дорываюсь, сама хочу, даром бы дала. И то, и другое правда. Деньги — предлог, маска; а суть — хочу, изнываю, сама рвусь. Шлюха я. Торгуюсь, а сама хочу быстрее дать.

— Ну, двести в месяц, — сказал наконец Привалов, устав торговаться. — И покровительство. Идёт?

— Идёт, — сказала Катя, едва сдерживаясь. Дело сделано. Торг кончен. Цена назначена. Теперь —

— Ну так чего ж, — пробасил Привалов, вставая, надвигаясь, огромный, — чего ж тянуть-то, хозяйка? Задаток, что ль, внесём? Сразу?

— Внесём, — выдохнула Катя.

И — сбросила маску. Торг кончился, деловое отступило, осталось — тело, жар, нетерпение. Она сама шагнула к нему, сама обвила, сама подставила красный рот, — жадно, нетерпеливо, выдав наконец всё, что копилось под маской торга: как хотела, как изнывала, как рвалась. Привалов крякнул от неожиданности — не ждал от деловой хозяйки такого жара, — сгрёб её лапами, и Катя дорвалась.

Это было — то, чего тело просило ночью, посреди Конта и Гегеля; то, по чему изнывало; то, ради чего красилась, наряжалась, душилась утром, возбуждаясь самой мыслью отдаться.

Привалов взял её — грубо, крепко, по-приваловски, по-медвежьи, сильно; и Катино тело — здоровое, молодое, давно неутолённое — дорвалось, взорвалось, закричало тем своим хриплым криком; она обхватила его ногами в чёрных чулках, впилась, брала своё жадно, яростно, с той дикой ненасытностью, что копилась месяцами. Красное платье смялось, обнажилась грудь, ноги; гелиотроп смешался с дёгтем и золотом; и жар, тёмный, горячий, неудержимый, тот самый, что сводил ей ноги, — выплеснулся наконец, утолился, насытился.

Она кончила — несколько раз, бурно, долго, ненасытно, — и наконец, обессиленная, утолённая, лежала на смятом диване, в смятом красном, тяжело дыша.

Тело насыщено, подумала она сквозь сладкую истому. Наконец. А то сводило от одной мысли о мужике, посреди немецкой философии. Теперь — утолено. Голова прояснится. Машина смазана, заработает исправно. Привалов — хороший любовник: крепкий, сильный, умелый, и телу отрада, и делу польза. Двести в месяц — да он мне на покровительстве больше сбережёт. Удачный уговор. Хорошо устроилась.

Привалов, отваливаясь, довольный, крякнул, погладил её по бедру:

— Ай да хозяйка. Горяча. Я думал — деловая, холодная, торгуешься как жид, а как дошло — так огонь, так дорвалась. Люблю таких. — Он помолчал, глядя на неё, медвежьими глазками, в которых мелькнуло что-то не медвежье, тёплое. — Слышь, Катька. А ты меня-то... любишь, что ль? Хоть сколько? Или всё — за деньги, за дело? Я ж к тебе... прикипел вроде. Одной породы мы, с того берега. Я б тебя... я б на тебе и женился, хочешь? Содержал бы по-царски. Любишь меня?

Катя посмотрела на него — утолённая, спокойная, с той ясностью, что приходит после.

Любишь? Нет. Привалова она не любила — ни капли. Он был в чёрной её тетради, в «книге живых», кровавый самородок, артельщик, будущая цель. Она его использовала — тело, деньги, защиту — и судить будет, когда придёт срок. Любви не было. Любви вообще не было — ни к кому из живых. Сеченов, рефлекс, физиология. Тело утолила — и всё, никакой любви.

А кого же любила? Кого на самом деле?

И Катя ответила — тихо, спокойно, глядя не на Привалова, а куда-то мимо, в себя, в прошлое, в кафтанскую землю, где осел холмик с крестом без имени, где лежал тот единственный, кого она любила:

— Нет, Михаил Гаврилыч. Не люблю. Я никого из живых не люблю. — Она помолчала. И сказала — странно, страшно, с той декадентской, косьей своей правдой: — Я ведь Смерть. Коса. А Смерть кого любит? Смерть любит покойника. Одного. Мёртвого. Я и люблю — покойника. Он в земле лежит, под крестом без имени, в деревне, за рекой. Его одного и любила, и люблю. А вас, живых, — не люблю. Я, Михаил Гаврилыч, невеста мертвеца.

Привалов посмотрел на неё — не понял. Решил — чудит баба, декадентка, начиталась книжек, вот и несёт красивое, странное, про смерть да покойников, как эти нынешние, что про упадок пишут, про тлен, модно нынче. Хмыкнул:

— Ну и чудная ты, Катька. Смерть, покойник. Книжек начиталась. Ну, Смерть так Смерть. А в постели — живее живых. — Он захохотал, довольный своей шуткой, хлопнул её по бедру. — Невеста мертвеца. Ишь. Ну, ладно. Не любишь — и не надо. Мне с тебя любви не надо — мне тебя вот такую надо, горячую. А любить — пёс с ним. Содержать буду, покровительствовать, ходить к тебе. А покойника своего — люби на здоровье, коли охота. Мне не помеха.

Он не понял. Принял за декадентскую причуду, за красивые слова, за моду. А Катя сказала правду — страшную, точную, свою. Я Смерть. Я люблю покойника. Коса не любит живых — коса их косит. А любовь её — в могиле, под крестом без имени, с мёртвым Симонсоном,

единственным, кого она любила и кого потеряла, чей венчик носит, чьё «не надо мстить надо» перевела в свою косу. Всадник на бледном коне, влюблённый в того, кого забрал.

Привалов ушёл — довольный, покровитель, любовник, двести в месяц. Катя осталась — утолённая телом, но с тем холодком в душе, что всегда оставался после правды, сказанной вслух.

Я Смерть. Я люблю покойника.

Она привела себя в порядок. Поправила смятое красное. Смыла размазанную помаду, накрасила заново. Тело утолено, дело сделано (Привалов — покровитель), правда сказана (Смерть, покойник). Можно работать дальше.

А внизу уже начиналась дневная суета — скоро приезжала примадонна, настоящая оперная дива, выписанная за большие деньги для престижа Пти-Пари. Новая забота, новая линия, новое мясо — гонористая дива, которую предстояло разоблачить и укротить.

Катя спустилась — хозяйка, утолённая, собранная, готовая к делам. Шлюха, которая только что дала за деньги, — и Смерть, любящая покойника, — в одном лице, под маской деловой хозяйки Пти-Пари.

12.2. Элеонора Бельканти

Примадонна приехала в середине мая, в солнечный день, на тройке, с горы, к подъезду «Пти-Пари».

Она сошла с коляски — и сразу стало видно: дива. Или — то, что хотело казаться дивой. Высокая, статная, пышная — не девичьей хрупкости, как Нина, а зрелой, налитой красоты женщины лет двадцати пяти, в самом цвету, повидавшей виды. Чуть моложе Кати — но если Катя была суха, черна, резка, то эта — пышна, бела, румяна, с высокой грудью, с полными плечами, с копной тёмно-рыжих (крашеных, отметила Катя сразу) волос, уложенных пышно, по-столичному. Одета — богато, ярко, с претензией на европейский шик: дорожное платье, шляпа с перьями, перчатки, зонтик, несколько сундуков с нарядами, которые тащили следом. Лицо — красивое, но уже с тем лёгким налётом, что оставляет на лицах женщин «повидавшая виды» жизнь: чуть жёсткое в углах рта, чуть усталое под румянами, чуть расчётливое в красивых глазах. Красота, знающая себе цену и торгующая собой не первый год.

Она сошла — и оглядела «Пти-Пари», Томск, встречающих — свысока, брезгливо, царственно. Повела плечом. Поморщилась.

— Mon Dieu, — произнесла она с актёрским вздохом, картинно. — Какая глушь. Какая Азия. И сюда, в эту сибирскую дыру, занесла меня судьба артистки. О, крест искусства! — Она приложила перчатку ко лбу, будто изнемогая. — Где тут хозяйка? Доложите синьоре Бельканти, что она прибыла.

Синьора Бельканти. Так она себя назвала. Элеонора Бельканти.

Катя вышла встречать — хозяйкой, спокойно, оценивающе.

И с первого взгляда, своим цепким барышничьим глазом, увидела диву насквозь — как видела всех. Увидела крашеные волосы. Увидела «повидавшую виды» жёсткость в углах рта. Увидела под итальянским лоском, под «синьорой Бельканти», под «mon Dieu» и картинными вздохами — обыкновенную русскую бабу, не первой молодости для её ремесла, битую жизнью, расчётливую, торгующую собой под звучным псевдонимом. Узнала породу — как узнала когда-то Нана-«парижанку», оказавшуюся рижанкой Берзиней. Та же порода: самозванка с фальшивым заграничным именем, выдающая мещанское нутро за европейский блеск.

Но виду не подала. Приняла любезно, с почтением (дива выписана дорого, для престижа, пусть покуражится пока).

— Добро пожаловать, синьора Бельканти, — сказала Катя. — Рады такой гостье. Прошу.

— Синьора Бельканти привыкла к лучшему, — объявила примадонна, входя, оглядывая залу свысока. — В Милане, в Ла Скала, мне рукоплескала публика, достойная искусства. А тут... — она обвела рукой залу Пти-Пари, — тут, я вижу, провинция, вертеп почти. Ну да artista несёт свой крест и во мраке невежества. Я снизойду. Но — на моих условиях.

И начались условия.

Гонор дивы развернулся по полной — в первый же час.

Она потребовала — лучшую гримёрную (и, оглядев предложенную, скривилась: «это чулан, а не уборная примадонны»). Потребовала особый гонорар (вдвое против уговорённого: «синьора Бельканти не поёт за гроши»). Потребовала почтения — чтоб к ней обращались «синьора», чтоб кланялись, чтоб не смели указывать артистке. Потребовала отдельный стол, особые кушанья, вина («я привыкла к французскому, эта ваша сибирская бурда не для моего горла, горло артиста — драгоценность»).

И — с первых минут — выказала презрение ко всем.

К девкам — брезгливо, через губу: «Это что за создания? Это ваши артистки? Mon Dieu, да это же публичные девки! Я, синьора Бельканти, певшая в Милане, — и рядом с этими... с этим развратом? Какой стыд для искусства!»

К Насте — особо, уколола больно. Увидев Настю — звезду Пти-Пари, о которой писали газеты, — примадонна оглядела её свысока, презрительно:

— А, вот ваша хвалёная звезда. Танцовщица. — Она усмехнулась. — Деревенщина, крутящая задом. Я слыхала, о ней пишут газеты — «новое слово в искусстве». Ха! Новое слово! Голым задом вертеть — вот и всё их искусство в этой Азии. А настоящее искусство — bel canto, школа, годы труда, Милан, — этого вам, дикарям, не понять. Задом крутить — много ума не надо. Всякая девка сумеет.

Настя — вспыхнула, обиделась (она ведь гордилась своим даром, своей славой, газетами), но смолчала, растерялась перед напором дивы, перед её «Миланом», перед её гонором; не нашлась, что ответить (ответит позже, в 12.5, народной сметкой, когда диву разоблачат).

А к Кате — примадонна отнеслась с тем особым презрением, какое продажная баба с претензией питает к содержательнице:

— А вы — хозяйка? — оглядела она Катю свысока. — Содержательница этого... заведения? — Пауза, нажим на «заведения», с намёком. — Что ж, дело ваше. Торгуете чем торгуете. А я — artista, синьора Бельканти, я к торговле телом отношения не имею, я служу искусству. Так что прошу разделять: я пою, я дива, я выше всего этого, — а ваши делишки с кабинетами и девками — это не моё, это ваше, грязное. Я тут — украшение, луч искусства в вашем вертепе. И извольте это ценить и платить соответственно.

Катя слушала — и усмехалась про себя.

«Я к торговле телом отношения не имею. Я служу искусству. Я выше всего этого.»

Катя смотрела на пышную, румяную, крашеную «синьору Бельканти», повидавшую виды, с жёсткими углами рта, с расчётом в красивых глазах, — и знала наверняка, нутром, опытом, своим безошибочным барышничьим чутьём: врёшь. Вся твоя «синьора», весь твой «Милан», всё твоё «служу искусству, выше торговли телом» — фасад. Надувательство. А под ним — такая же, как мои девки, только с псевдонимом и с гонором. Повидавшая виды баба, которая карьеру свою сделала не одним голосом (голос, может, и есть, выучка есть — но не Ла Скала, куда там), а — тем самым, торговлей телом, через содержанок, через антрепренёров, через постели. «Синьора Бельканти, певшая в Милане» — это такая же Матрёна Кукушкина из какого-нибудь Ельца, как Нана-«парижанка» была Анна Берзиня из Риги. Фасад и суть. Итальянская дива снаружи — русская продажная баба внутри.

И «выше торговли телом» она ровно до тех пор, пока не предложат хорошую цену. Дай богатого туза, большие деньги — и пойдёт синьора Бельканти в кабинет, как миленькая, как любая девка, только дороже и с ариями. Катя это знала наперёд — видала таких. Гонор — фасад; продажность — суть. И разоблачить её, и прижать хвост — дело времени и её, Катиного, метода (узнать подноготную, взять за горло). Пока — пусть куражится. Пусть строит диву, синьору, жрицу искусства, презирает всех. Недолго ей куражиться. Катя её раскусила с порога.

Но — виду не подала. Приняла условия (почти все — дорого, но для престижа Пти-Пари дива нужна; окупится). Любезно, с почтением, уступчиво. Пусть дива думает, что победила, что её чтут, что она царит. А Катя — подождёт, разузнает, и в нужный час прижмёт. Как всегда. Сначала дать покуражиться — потом взять за горло.

— Разумеется, синьора Бельканти, — сказала Катя любезно. — Ваше искусство — украшение нашего скромного заведения. Мы ценим. Условия ваши... обсудим, уважим, что сможем. Отдыхайте с дороги. Нынче вечером — не пойте, оправьтесь. А завтра — покажете нам настоящее искусство, миланскую школу. Мы, дикари, поучимся.

Лёгкая ирония в «мы, дикари, поучимся» — примадонна не уловила, приняла за должное почтение. Царственно кивнула.

— Снизойду, — сказала она. — Покажу вам, что такое bel canto. Пусть ваша деревенщина, — кивок на Настю, — поглядит, как надо. Задом-то всякая, а голосом — не всякая. —

И уплыла — пышная, крашеная, гонористая — в гримёрную, которую всё же сочла «чуланом», требуя вина, зеркал, почтения.

Вечером, когда дива улеглась (потребовав тишины для «драгоценного горла»), Катя сидела у себя и думала о новой гостье.

Пышная, думала она. Повидавшая виды. Двадцать пять, а для ремесла её — не первой молодости, битая, расчётливая. Гонору — на троих. Синьора Бельканти, Милан, служу искусству, выше торговли телом. А под этим — Матрёна какая-нибудь, продажная баба с псевдонимом. Фасад и суть. Как Нана. Как все. Как я сама — хозяйка снаружи, шлюха внутри, Смерть под обеими масками. Все в масках. У этой — маска «итальянской дивы, жрицы искусства». А сорвёшь — та же торговля телом, что у девок, только дороже и с ариями.

И — Катя усмехнулась — эту маску я сорву. Разузнаю, кто она, откуда, с кем спала, как делала «карьеру», — и прижму. Как Нана прижала письмом из Риги. Эта — тоже где-нибудь прокололась, есть у неё своя Рига, свой Елец, своя подноготная. Найду. И тогда — вся её «синьора Бельканти», весь «Милан», всё «выше торговли телом» — лопнет, как мыльный пузырь, и пойдёт она в кабинеты, как миленькая, и будет служить мне, а не искусству. Укрощу. С Настей вместе. Настя ей за «деревенщину, крутящую задом» ещё припомнит — народной сметкой уколет, когда диву разоблачим.

А пока — пусть поёт. Для престижа. Пусть куражится. Пусть газеты напишут про «оперные вечера», про «миланскую диву» — Пти-Пари поднимется, из «голой задницы» в «искусство», пресса восхитится, публика повалит солиднее, деньги пойдут. Дива мне выгодна — покуда куражится и покуда не разоблачена; а разоблачу — выгодна вдвойне (укрощённая, служащая, да ещё и приманка в кабинетах, дорогая, «итальянская»). Со всех сторон польза. Пусть живёт. Пока.

Польза, думала Катя привычно. Всё — польза. Дива — польза (престиж, пресса, потом кабинеты). Привалов — польза (покровительство, деньги, тело). Нина — польза (пение, учение, потом кабинеты, дорогая чистота). Настя — польза (звезда, танец, руки). Кружок — польза (книги, связи, прикрытие). Все — польза. Я всех употребляю. Такая уж я. Смерть, что всё обращает в пользу, пока не придёт час косить.

Она достала чёрную тетрадь — «книгу живых». Открыла новую строку:

Бельканти Элеонора — примадонна, выписана для престижа. «Синьора», «Милан», «служу искусству, выше торговли телом». Гонор, капризы, презрение (девок, Настю — «деревенщина, крутит задом», меня — «содержательница»).

Насквозь вижу: фасад. Под ним — продажная баба с псевдонимом, как Нана-Берзиня. Карьера на содержанках/антрепренёрах. «Выше торговли телом» — до первой хорошей цены.

Разузнать подноготную (кто, откуда, настоящее имя, где прокололась). Прижать за горло — как Нану. Укротить. В кабинеты. В команду.

Пока — пусть куражится. Польза: престиж, пресса, «оперные вечера», публика. Потом — укрощённая, дорогая приманка.

Все — польза.

Она закрыла тетрадь. За окном догорал майский день. Внизу спала гонористая дива, видя, верно, во сне свой несуществующий Милан. А завтра — завтра дива запоёт, Пти-Пари поднимется, а Катя начнёт тихо, по-своему, разузнавать, кто такая «синьора Бельканти» на самом деле, — чтобы в свой час сорвать маску и прижать хвост.

Примадонна приехала. Фасад прибыл. А суть — Катя её уже знала. Оставалось доказать и взять за горло.

12.3. Просвещение Сибири

«Пти-Пари» поднималось на франкомании, как на дрожжах.

Россия в тот год помешалась на Франции. После Кронштадта, после того как французская эскадра пришла в гости и русский царь слушал «Марсельезу» стоя (прежде за «Марсельезу» в Сибирь ссылали, а тут — царь стоя слушает, союзники!), — вся страна заболела французским. Союз России и Франции, «сердечное согласие», дружба двух великих народов. Французские флаги, французские моды, французские словечки, французские песни. Купцы, что и прежде ездили в Париж деньги пропивать, теперь делали это с патриотическим чувством — не просто кутёж, а укрепление франко-русской дружбы. Всё французское стало — модно, шикарно, патриотично почти.

И «Пти-Пари» угодило в самую точку. Маленький Париж — посреди Сибири, на гребне франкомании. Куда ж ещё идти патриоту-купцу, любящему Францию-союзницу, как не в «Пти-Пари»? Там французские песни, канкан, шик, Париж — и всё это теперь не грех, а почти служение дружбе народов. Публика повалила гуще прежнего. Выручка росла. Катя расширяла дело, богатела, нанимала ещё артисток, обустраивала сад под летнюю эстраду.

А тут ещё — газеты.

О «Пти-Пари» написали не только томские газеты. Написали — московские, петербургские. Столичные.

Слух дошёл до столиц — про сибирский кафешантан, про «Париж в Сибири», про диковинную танцовщицу, про хозяйку-«француженку», а теперь ещё и про выписанную «итальянскую приму». И столичные газеты, падкие на диковинку, на «культуру в глуши», на модную франкоманию, — написали. Восторженно. Пышно. С умилением.

Катя собирала эти вырезки — и читала, и про себя издевалась, зло и весело.

«Цивилизация идёт в Азию! — писал московский листок. — На диких берегах Томи, среди снегов и невежества, расцвёл истинный оазис европейской культуры — кафешантан „Пти-Пари“. Просвещённая публика Сибири приобщается к изящным искусствам, к французской песне, к европейскому шику. Отрадно видеть, как глухая Сибирь тянется к свету, к культуре, к цивилизации!»

«Форпост Европы в сибирской глуши! — вторил петербургский. — Предприимчивая хозяйка, дама образованная, говорящая на языке союзной нам Франции как природная парижанка, несёт сибирякам светоч европейского искусства. А загадочная танцовщица, чей танец пленил суровые сибирские сердца, — это ли не торжество прекрасного над дикостью? Сибирь просвещается! Честь и слава подвижникам культуры на дальних окраинах отечества!»

«Просвещение Сибири», «светоч культуры», «торжество прекрасного над дикостью», «оазис цивилизации», «подвижники».

Катя читала — и хохотала про себя, зло.

Просвещение Сибири. Светоч культуры. Торжество прекрасного.

А на деле — на деле «просвещение Сибири» сводилось к тому, что Настя крутила голым задом на сцене под Оффенбаха, девки мычали зазубренные французские слова, пьяные купцы пялились и шли потом в кабинеты, а в кабинетах — ебли, как выразилась бы Настя. Вот и всё «торжество прекрасного над дикостью». Вот и весь «оазис цивилизации». Голый зад под французскую музыку да кабинеты с гостями. Бордель с вывеской. А столичные дураки-писаки, не видавшие ничего, падкие на моду, на франкоманию, на красивое слово, — называли это просвещением, культурой, светочем, цивилизацией. Писали умильно, восторженно, с пафосом — про голый Настин зад и про кабинеты, сами того не зная, называя блуд — искусством, вертеп — оазисом, сводню-хозяйку — подвижницей культуры.

Вот оно, их «просвещение», думала Катя, перечитывая вырезки. Вот оно, их «искусство», «культура», «цивилизация». Голая задница под Оффенбаха — и столичные умники в восторге, пишут про светоч, про торжество прекрасного. Дураки. Слепцы. Пишут про то, чего не видели, верят красивым словам, моде, франкомании. Назови бордель «Пти-Пари», по-французски, повесь вывеску, выпиши «итальянскую приму» — и вот уже не бордель, а «оазис европейской культуры», и газеты трубят про просвещение. Вся их «культура», всё их «просвещение» — такой же фасад, как «синьора Бельканти», как «Нана-парижанка», как мой «Маленький Париж». Красивая вывеска на голой заднице. Слова на блуде. Фасад на сути.

Но — она усмехнулась — мне это выгодно. Пусть пишут. Пусть называют голый зад просвещением, вертеп оазисом, меня подвижницей. Чем пышнее врут — тем гуще публика, тем больше денег. Их глупость, их слепота, их падкость на красивое слово — мне в кассу. Пусть «просвещают Сибирь». Я на этом «просвещении» озолочусь.

И эти вырезки Катя пустила в ход — на Нину.

Нина после прозрения и слома — жила теперь в раздвоении, в муке. И цеплялась — за последнюю соломинку, за «искусство», за то, что она всё-таки поёт, на сцене, что это всё-таки, может, не совсем вертеп, что есть же в этом хоть крупица искусства, ради которого она терпит грязь вокруг. Цеплялась — чтоб не утонуть в отчаянии, чтоб оправдать перед собой, почему осталась, почему не ушла (а уйти некуда). Хваталась за «искусство», как утопающий.

И Катя — подкормила эту соломинку. Нарочно. Тонко. Продолжая растление через подмену высокого.

Она показала Нине столичные вырезки.

— Гляди, Нина, — сказала она, разложив газеты. — Про нас пишут. Москва, Петербург. Столичные газеты. Читай: «оазис европейской культуры», «светоч искусства», «торжество прекрасного», «просвещение Сибири». Это про нас. Про «Пти-Пари». Про наше с тобой пение. Видишь? Нас знают. Наше искусство ценят — в самих столицах! Ты не в борделе, Нина. Ты — на сцене, о которой пишут московские и петербургские газеты, которую называют оазисом культуры, светочем искусства! Это ж твоя мечта — сцена, слава, искусство, чтоб писали, чтоб знали! Вот она, сбывается! Ты — артистка, о которой пишут столицы. Подвижница культуры. Светоч в сибирской глуши. Разве не об этом мечтала?

Нина читала вырезки — и глаза её загорались. Против воли, против знания правды, — загорались прежним, мечтательным, экзальтированным огнём. Столичные газеты. Про неё (про них, про сцену, где она поёт). «Оазис культуры», «светоч искусства», «торжество прекрасного». Её мечта — сцена, слава, искусство, чтоб писали, знали, — вот она, будто сбывается. Она не падшая в борделе — она артистка, о которой пишут столицы, подвижница культуры, светоч. Так, может... может, всё не так черно? Может, это правда — искусство, служение, высокое, — а грязь, кабинеты — это так, изнанка, которую можно не замечать, перетерпеть, ради искусства, ради сцены, ради славы, про которую пишут столицы?

Катя ловила её — на мечте. Кормила её иллюзией — чтоб Нина держалась за «искусство», оправдывала им своё пребывание в борделе, привыкала, вязла; чтоб иллюзия «я артистка, светоч, про меня пишут» заглушала правду «я в борделе, меня продадут»; чтоб Нина сама себя обманывала, цепляясь за газетное враньё, и так — шаг за шагом — свыкалась, оставалась, вязла глубже, уже не рвалась бежать (куда? да и зачем, если тут «искусство, слава, столицы пишут»).

— Правда? — прошептала Нина, вцепившись в вырезки. — Про нас... в столицах... «светоч искусства»... Так это... это всё-таки искусство? Сцена? И я — артистка? Настоящая? О которой пишут?

— Настоящая, — сказала Катя мягко, лживо, ловя. — Артистка. Светоч. Пой, Нина. Это твоя сцена, твоя слава. Про тебя пишут столицы. Держись искусства — и не гляди на грязь, грязь везде есть, а ты — выше, ты искусству служишь. Пой.

И Нина — обманутая, подкормленная иллюзией, вцепившаяся в фальшивое высокое, — засияла, поверила (хотела поверить), укрепилась в своём «я артистка, служу искусству», и — осталась, свыклась ещё на шаг, завязла глубже. Растление продвинулось — через мечту, через газетное враньё, через подмену. Катя скормила ей иллюзию — и Нина проглотила, потому что иначе было не вынести правды, а иллюзия спасала, оправдывала, грела.

И вот — вечером того дня — они пели вместе. Нина и Элеонора.

Катя поставила их в пару — для пробы, для публики: настоящая «итальянская прима» и молодая певица, дуэтом, французскую вещь. Престиж, искусство, «оперный вечер», про который напишут газеты. Обе — на сцене, при огнях, перед полной залой пьяных восторженных купцов-франкоманов.

И обе — в открытых сверху платьях.

Элеонора — в своём, пышном, дорогом, с глубоким декольте, обнажавшим полные белые плечи, высокую налитую грудь, роскошную спину; дива, примадонна, в полном блеске зрелой торгующей собой красоты. А Нина — в том сценическом платье, которое Катя ей сшила: скромнее, чем у дивы, но тоже открытом сверху — с обнажёнными плечами, с открытой до половины спиной, с шеей, с началом груди. Чистая, хрупкая, девичья — впервые так обнажённая на людях, стыдящаяся, краснеющая, но поющая, цепляющаяся за «искусство», за «про меня пишут столицы», «певицы так поют, это опера, искусство, не стыд».

Две певицы на сцене. Пышная дива и хрупкая чайка. Обе с голыми плечами, спинами. Пели дуэтом, по-французски, при огнях, для пьяной залы.

А Катя стояла сзади, в глубине сцены, за кулисой, и смотрела.

Она смотрела — и слушала, и отмечала, своим хозяйским, цепким, оценивающим глазом.

Первое — делом, искусством: Нина пела не хуже Элеоноры. Катя, слушая сзади, ясно это слышала. «Итальянская прима», «миланская школа», «синьора Бельканти» — а пела не лучше молоденькой Нины. Голос у Нины был чище, моложе, искреннее; выучка — может, поменьше, но дар, душа, свежесть — больше. Хвалёная дива пела не лучше нищей чайки. Ещё одно подтверждение: «синьора Бельканти» — фасад, надувательство; поёт, как средняя провинциальная певица; весь её «Милан» — враньё. Хорошо, отметила Катя. Значит, Нина — не хуже дорогой примы. Значит, Нина — ценный товар, дёшево досталась.

А потом — Катя перевела взгляд с искусства на тела. С пения — на плоть. Барышничьим, оценивающим, товарным взглядом — тем самым, на котором поймала себя раньше и ужаснулась; теперь уже привычным, без ужаса, по-деловому.

Она смотрела сзади на Нину — на её полуголую спину. Открытую до половины, впервые обнажённую, девичью, хрупкую, с тонкими лопатками, с нежной кожей, с бьющейся жилкой на шее, с началом груди в декольте. Чистая, нетронутая плоть, впервые выставленная на люди, стыдливо, под видом «искусства». И Катя смотрела — и отмечала, холодно, по-сводничьи: хороша. Нежна. Редка. Эта спина, эти плечи, эта чистота — богатого туза с ума сведут. Неземная барышня, нетронутая, полуобнажённая, поющая по-французски, — за такую в кабинете заплатят бешено. Дорогой товар. Созревает. Уже плечи открыла, спину, — а скоро и остальное. Веду помаленьку. Поспеет — продам дорого.

А потом — перевела взгляд с Нины на Элеонору. С хрупкой спины чайки — на пышную диву. И остановила взгляд на заднице примадонны.

Роскошная была задница у «синьоры Бельканти». Пышная, налитая, крутая, обтянутая дорогим платьем, — зрелая, спелая, товарная задница повидавшей виды красивой бабы. Катя смотрела на неё сзади, со сцены, оценивающе, по-барышничьи, — и подумала, холодно, весело, цинично:

Шикарная у нее жопа, что и говорить. «Синьора Бельканти», «служу искусству, выше торговли телом». Ну-ну. Скоро эта жопа нам деньги зарабатывать будет. В кабинетах. Разоблачу её, прижму за горло — и пойдёт синьора Бельканти в кабинет, как миленькая, и вот эта

жопа, что сейчас на сцене ариями публику услаждает, — будет под тузами деньги мне зарабатывать. «Итальянская прима в кабинете» — за такое богатые втрое дадут. Поработает.

Две певицы пели на сцене — хрупкая чайка и пышная дива, обе с голыми плечами, при огнях, «искусство», «просвещение Сибири», «светоч культуры», столичные газеты. А хозяйка стояла сзади, в тени, и смотрела на их полуголые тела — на хрупкую спину одной, на роскошную задницу другой — глазами сводни, барышника, оценщика живого товара. И прикидывала: эту — довести, созреет, продам дорого, нетронутую, неземную; эту — разоблачить, прижать, и роскошная жопа пойдёт деньги зарабатывать. Обе — товар. Обе — поспеют. Обе — в кабинеты, рано или поздно. А пока — пусть поют, пусть «искусство», пусть газеты трубят про «светоч». Светоч. Задница под Оффенбаха. Я-то знаю цену их «искусству» — и цену их телам. И тем, и другим распоряжусь.

глубины сцены, и: (1) отмечает, что Нина поёт не хуже Элеоноры (ещё одно разоблачение дивы-фасада: «миланская прима» поёт как средняя провинциалка, не лучше нищей чайки; значит, Нина — ценный товар, дёшево досталась); (2) смотрит сзади на полуголую спину Нины (товарным/сводничьим взглядом — хрупкая, нежная, нетронутая, редкая; «туза с ума сведёт; созревает; поспеет — продам дорого»); (3) переводит взгляд на задницу Элеоноры и думает — «роскошная жопа; „служу искусству, выше торговли телом“, ну-ну; скоро эта жопа нам деньги зарабатывать будет» (разоблачу/прижму — пойдёт в кабинет, «итальянская прима в кабинете» втрое дороже). Итог: обе певицы — товар, обе поспеют, обе в кабинеты рано или поздно; хозяйка-сводня-барышник оценивает плоть под «искусство/просвещение/светоч», зная цену и их «искусству», и их телам. Плоть (полуголые тела на сцене, спина/задница, Катин товарный взгляд) и тема (фасад/суть, подмена высокого, растление мечтой, цинизм прессы) сплавлены. Дальше: 12.4 дива-шлюха (разоблачение Элеоноры), 12.5 укрощение (Катя+Настя, Настина месть за «деревенщину»), 12.6 кружок/подавление марксистов + холера на пороге.

12.4. Дива идёт в номера

Случай представился скоро — тем же оперным вечером, когда Нина и Элеонора пели дуэтом.

Среди гостей был Воронов — золотопромышленник, туз из тузов, из тех, кому деньги жгли карман, кто приехал в «Пти-Пари» не столько слушать, сколько швырять. Сидел в первом ряду, пил шампанское, пялился на сцену — и пялился, Катя приметила, не на хрупкую чайку-Нину, а на пышную диву, на её декольте, плечи, грудь, на всю её спелую, налитую, торгующую собой красоту. Пялился жадно, по-мужски, по-купечески — как на товар, который хочется и который по карману.

В антракте он подозвал Катю.

— Хозяюшка, — сказал он, отдуваясь, красный от вина и вожделения. — А скажи-ка... прима твоя, итальянка, Бельканти эта... — Он облизнулся. — Хороша баба. Ядрёная. В соку. Так вот я спросить хотел: не пойдёт ли она... — он понизил голос, подмигнул, — в номера? К гостю? Ко мне то есть. Я заплачу. Хорошо заплачу. Не постою за ценой. — Он назвал сумму — крупную, тузовую, вчетверо против того, что брали за лучшую девку. — Ну? Сладишь? Очень уж охота мне эту итальянку... распробовать.

Катя слушала — и внутри усмехалась. Вот оно. Началось. Как по писаному. Дай туза, дай деньги — и захочет туз диву в номера; а раз захотел туз и платит хорошо — пойдёт дива, никуда не денется. Я ж говорила. Дождалась.

— Отчего не сладить, — сказала она ровно, по-деловому. — Сумма хорошая. Погодите, Фёдор Кузьмич. После представления переговорю с синьорой. Думаю — уважим.

— Уважь, уважь, голубушка, — расплылся Воронов. — В долгу не останусь.

После представления, когда зала гудела, а дива ушла к себе в гримёрную — отдуваться, млеть от собственного успеха, пить вино, принимать воображаемые букеты, — Катя пришла к ней. Затворила дверь. Села. И изложила — спокойно, по-деловому, без обиняков:

— Синьора Бельканти. Гость есть. Богатый, из первых людей. Пленился вами. Просит... провести с вами время. В номерах. Платит, — она назвала сумму, — хорошо платит. Я согласилась. Извольте пройти к нему.

Элеонора — вскинулась. Побагровела. Задохнулась от оскорбления.

— Что?! — вскричала она, прижав руку к пышной груди. — В номера?! Мне?! Синьоре Бельканти?! Приме, певшей в Милане?! Да как вы смеете! Я — artista! Я служу искусству! Я не девка ваша, не из этих... — взмах руки за дверь, к девкам, — что за деньги ноги раздвигают! Я пою! Голосом зарабатываю, не телом! Выше этого я, выше, понимаете?! Чтобы я, синьора Бельканти, — да в номера, к мужику, за деньги, как последняя шлюха?! Никогда! Да ни за что! Да я с ума сойду прежде! Оскорбление! Какое оскорбление артистке! Я уеду! Я пожалуюсь! Я...

Катя слушала эту бурю спокойно, с лёгкой усмешкой. Дала выкричаться. А когда дива, задохнувшись, перевела дух, — достала.

Компромат. Уже собранный. Пока дива куражилась две недели, Катя — по своему обычаю, тихо, по-барышничьи — разузнала. Через знакомцев в столицах, через антрепренёрскую шушеру, через письма, через газетные людишек. Разузнала всё.

— Полно, Матрёна Савельевна, — сказала Катя тихо, роняя слова по одному, глядя диве в глаза. — Будет комедию ломать.

Элеонора осеклась. Побелела под румянами. Матрёна Савельевна. Настоящее имя. Которого тут никто не знал.

— Матрёна Савельевна Кукушкина, — продолжала Катя всё так же тихо, ровно, безжалостно, выкладывая разузнанное, как карты на стол. — Из Ельца, мещанского звания. Никакого Милана, никакой Ла Скала — враньё для афиш. Пела в провинции, по третьесортным

антрепризам. А больше — не пела, а жила на содержании: сперва у купца Силантьева, потом у антрепренёра Ройзмана (тот тебя и в «Бельканти» перекрестил, для звучности), потом ещё у кого придётся. По номерам хаживала и прежде, не чинясь, когда касса пустела. Выставили тебя из последней антрепризы — за долги, за скандалы, за то, что с хозяйским пайщиком спуталась да обобрала. Потому и в Сибирь подалась, в глушь, где не знают. Начать сызнова «синьорой Бельканти». — Катя помолчала. — Так что про «artista, выше торговли телом», про «голосом, не телом» — это ты другим пой. Не мне. Я тебя, голубушка, с порога раскусила. С первого дня. Как ты сошла с коляски да «mon Dieu» завела. Знаю я вашу породу. Сама из неё.

Элеонора молчала. Смотрела на Катю — с ненавистью, с бешенством, со страхом. Загнанная. Разоблачённая. Фасад — рухнул. «Синьора Бельканти» — лопнула, как мыльный пузырь, и из-под неё выглянула Матрёна Кукушкина из Ельца, битая, продажная, пойманная за горло.

— Так что, — закончила Катя буднично, деловито, — комедию брось. Тут все свои. Гость платит хорошо — вчетверо против девки, цени. Пойдёшь в номера — и дело с концом. А станешь ломаться — расскажу томской публике, да и столичным газетам отпишу, кто есть «синьора Бельканти» на самом деле. И тогда — ни Милана, ни примы, ни ангажементов нигде, ни куска хлеба. Кукушкина из Ельца, гулящая, что в афишах врала. Выбирай. Номера — или полное разоблачение. Я добра тебе желаю, по-деловому: иди в номера, заработай, живи. Чего ломаешься? Не впервой тебе. Сама ж говоришь — не впервой.

Элеонора сопротивлялась ещё недолго. Для виду. Поломалась, попричитала, повсхлипывала даже («довели артистку, загубили, принудили»). А потом — сдалась.

И вот тут Катя увидела — ясно, окончательно — всю фальшь.

Потому что, «сдаваясь», «уступая принуждению», возмущаясь и причитая — «ах, меня заставили, ах, насилие над артисткой, ах, что мне остаётся, бедной, беззащитной» — Элеонора при этом, не замечая сама, привычным, машинальным, въевшимся движением — достала помаду и стала красить губы. Красить к гостю. Тем самым заученным, тысячу раз повторённым движением шлюхи, что идёт в номер, — быстрым, ловким, деловым движением руки, подводящей губы перед работой. Движением, которое выдавало её с головой: сколько раз, сколько сотен раз эта рука так красила эти губы перед тем, как идти к мужчине. «Не впервой» — говорило это движение яснее всяких слов. Привычка. Ремесло. Навык продажной бабы, который не спрячешь за «синьорой», за «Миланом», за причитаниями.

А главное — глаза. Катя смотрела ей в глаза, пока та возмущалась и красилась. И по глазам видела: возмущение — неискреннее. Насквозь фальшивое. Для виду. Глаза не возмущались — глаза уже прикидывали, деловито, оживлённо: туз, богатый, вчетверо, хорошо заплатит, а может, и подарит чего, а может, и в содержанки возьмёт, золотопромышленник ведь, озолотит. Глаза считали деньги и предвкушали — работу, которую эта баба знала, умела и, похоже, вовсе не так уж не любила. Губы причитали «ах, принудили, ах, насилие», а глаза горели расчётом и — да, Катя видела — азартом, аппетитом, охотой. Шла в номера не как жертва насилия — как мастерица к привычному делу, ещё и к выгодному. А «меня заставили» — это так, фасад, последняя тряпочка от рухнувшей «синьоры», которую дива накинула для приличия, сама в неё не веря.

— Ну что ж, — вздохнула Элеонора трагически, докрасив губы, оправив декольте (тоже привычным движением — выставить грудь повыгоднее), — коли принуждаете... коли нет у бедной артистки защиты... пойду. Против воли. Запомните: против воли вы меня толкаете в грязь. — И поплыла к двери — вроде бы скорбная жертва, а на деле — товар, идущий зарабатывать, с горящими расчётом глазами и привычно накрашенными губами.

Катя смотрела вслед и усмехалась. «Против воли». Ну-ну. Знаем мы эту волю.

Через некоторое время Катя — из любопытства, да и чтоб убедиться окончательно, по-хозяйски проверить товар в деле — подошла к номеру, где «против воли» трудилась дива с

Вороновым. И глянула в щель между дверью и косяком — узкую щель, в которую падала полоса света и видна была часть комнаты, кровать, тела.

Глянула — и убедилась.

Чистотой там и не пахло. Никаким «принуждением», никакой «жертвой», никаким «против воли». Дива была — в своей стихии. Увлечена. Азартна. Умела. Делала своё дело с явным знанием, с навыком, с охотой — так, как делает не жертва, а мастерица, которой ремесло по вкусу. Воронов млел, пыхтел, был доволен; а Элеонора — Матрёна Кукушкина из Ельца — работала споро, искусно, с видимым аппетитом, ничуть не смущаясь, ничуть не страдая, вовсе не «против воли», а очень даже по воле, с удовольствием почти, увлечённо, как делают любимое привычное дело. Вся «синьора Бельканти, выше торговли телом, служу искусству» — там, за дверью, в полосе света, окончательно и бесповоротно обратилась в то, чем была: в бойкую, умелую, увлечённую своим ремеслом продажную бабу, знающую и любящую работу.

Ну так я и знала, подумала Катя спокойно, без удивления, без торжества даже — просто с подтверждением давно известного. С порога знала. С первого «mon Dieu». Всё как я думала. Все в масках, и у этой маска была погуще прочих — «итальянская дива, жрица искусства». А сорвёшь маску — вот она, суть: Матрёна из Ельца, что ремесло своё знает и любит. Чистотой и не пахнет. Да и не пахло никогда.

Она отошла от щели — без любопытства уже, всё увидено, всё подтверждено. Вернулась к себе в кабинет, к чёрной тетради, к делам.

Теперь — моя. «Синьора Бельканти» будет петь для престижа, для газет, для «просвещения Сибири» — а после пения идти в номера, тузам, за хорошие деньги, которые — мне. Роскошная жопа, как я и прикидывала, пошла деньги зарабатывать. «Итальянская прима в кабинете» — дорогой товар, втрое против девки. Воронов вон как доволен, ещё придёт, ещё приведёт. Доходная дива. И поёт, и в номерах — двойная польза. Как я люблю. Всё на пользу.

В кабинете она достала чёрную тетрадь. Нашла строку про Бельканти. И дописала:

Разоблачена и взята. Настоящее — Матрёна Савельевна Кукушкина, Елец, мещанка. Милан/Ла Скала — враньё для афиши. Содержанка (Силантьев, Ройзман-антрепренёр — он и в «Бельканти» перекрестил), по номерам хаживала и прежде. Выставлена за долги/скандал/кражу, бежала в Сибирь начать «синьорой».

Предложение Воронова (вчетверо). Отказ, гонор, «artista, выше торговли телом». Прижата компроматом. Поломалась для виду, сдалась.

Проверено (щель в двери): чистотой не пахнет, в своей стихии, увлечена, умела, с охотой. Ну так я и знала.

Итог: укрощена (почти сама рада). Поёт для престижа + номера тузам за дорого. «Итальянская прима в кабинете» — втрое против девки. Доходна. Польза двойная.

Фасад и суть. Все в масках. У этой — гуще прочих. Сорвана.

Она закрыла тетрадь. Дива трудилась в номере, Воронов млел, деньги текли в кассу, газеты готовились писать про «оперные вечера» и «светоч искусства». А хозяйка знала изнанку каждого фасада — и каждый фасад обращала в пользу. «Синьора Бельканти» стала доходной статьёй. Оставалось — Настя. Настя ещё не знала, что диву разоблачили и укротили. А у Насти был к «деревенщине, крутящей задом» свой счёт — и своя, народная, расплата. Это — назавтра.

12.5. Укрощение

Назавтра Катя первым делом пошла к Нине.

Нина уже знала — весь дом гудел: диву, гордую «синьору Бельканти», вчера свели в номера, к Воронову. Девки шептались, злорадствовали («а-а, итальянка-то наша, „выше всех", — а туда же, в номера, как миленькая!»). Нина слушала эти шепотки — и бледнела, холодела. Потому что видела в этом — свою судьбу. Вот так же и меня. Диву, приму, «синьору» — свели; что ж им стоит и меня? Сегодня дива, завтра я. Вот куда всё идёт. Вот что меня ждёт.

Катя пришла — и повела разговор тонко, по-своему.

— Слыхала, Нина? — сказала она мягко, будто по-дружески. — Элеонора-то, прима наша, вчера в номера пошла. К гостю. — Пауза, взгляд. — А вот тебя, гляди, мы не заставляем. Элеонору — заставили (ну, она сама, положим, не особо и противилась, да это другой разговор), а тебя — нет. Тебя никто в номера не гонит, не неволит. Поёшь себе — и пой. У нас ведь как? У нас по-честному. Кто хочет — идёт, кого прижмёшь — идёт, а тебя, девочку чистую, артистку, — мы бережём. Не трогаем. Видишь разницу? С тобой — по-честному, по-доброму. Цени.

Это была ложь, конечно, — тонкая, расчётливая. «Не заставляем, по-честному, бережём» — а на деле вела Нину к тому же, только медленно, по сантиметру, через растление, через «искусство», через подмену; и приведёт — к тем же номерам, только дороже, дороже раз в десять, нетронутую-то, неземную. Но Нине это говорилось — чтоб успокоить, чтоб усыпить страх (который вспыхнул от истории с дивой), чтоб Нина поверила: со мной — иначе, меня — не как диву, меня берегут, у нас по-честному. Чтоб держалась, не рвалась бежать, не отчаивалась.

А потом — Катя похвалила её за пение. Искренне притом (тут врать не надо было):

— А пела ты вчера, Нина, — хорошо. Очень хорошо. Я сзади слушала. Лучше дивы пела, право слово. Чище, душевнее. У той — выучка да гонор, а у тебя — дар, душа. Слышно. Ты — настоящая певица, Нина. Не чета этой елецкой... Бельканти. — Катя усмехнулась, обронив «елецкую» (Нина не поняла намёка, но ощутила: хозяйка диву не чтит, а её, Нину, ставит выше). — Пой, девочка. Твой дар. Твоя сцена. Тебя — ценят, тебя — берегут. Не то что эту.

И Нина — расцвела. От похвалы, от «лучше дивы», от «настоящая певица», от «берегут, не то что эту». Укрепилась опять в своём спасительном самообмане: я — артистка, меня ценят за дар, меня не как диву, меня берегут, у нас по-честному, я пою, служу искусству, я выше грязи. Проглотила. Завязла ещё на шаг. Катин яд — похвала, доброта, ложный контраст, подмена — действовал вернее кнута. Нину вели лаской — к той же пропасти, куда диву пихнули пинком.

Покончив с Ниной, Катя занялась дивой — довершить укрощение.

Элеонора после вчерашнего присмирела, куда и гонор-то девался. «Синьора Бельканти» сдулась — осталась Матрёна Кукушкина, разоблачённая, взятая за горло, покорная. Да и — Катя приметила ещё вчера в щель — не больно-то она страдала; ремесло знала и любила; так что «укрощать» особо не пришлось. Прижали, разоблачили — и всё, встала в стойло, покорилась, даже с некоторым, пожалуй, облегчением (комедию «синьоры» ломать больше не надо, можно жить и работать по-привычному, по-честному хоть с хозяйкой).

Но Катя довершила — по-хозяйски, окончательно поставив диву на место и распорядившись товаром.

— Ну вот, Матрёна Савельевна, — сказала она (теперь уже звала по имени, при затворённых дверях; «синьорой» — только на люди, для публики, для престижа). — Поладили мы с тобой. Петь будешь, как пела, — для виду, для газет, для «итальянской примы», престиж мне нужен. А после пения — в номера, тузам, за хорошие деньги. Деньги — пополам (Катя,

разумеется, брала львиную долю, но дива и этому была рада после угрозы полного разоблачения). По рукам?

— По рукам, — вздохнула Элеонора покорно, без прежнего гонора.

— И вот ещё что, — сказала Катя, и тут в голосе её зазвучало хозяйское, распорядительное, деловое. — Раз уж ты теперь и поёшь, и в номера ходишь, — надо, чтоб и пение твоё на номера работало. Товар показывать надо лицом. То бишь — не лицом. — Катя усмехнулась. — Платье тебе сошьём новое, для сцены. Полупрозрачное. Чтоб, когда поёшь при огнях, — ноги твои сквозь него видно было. Гостям. Тузам. Чтоб они, слушая арии, разглядывали ноги да прикидывали, каково это — в номера-то. Пускай слюнки пускают, пускай загораются, пускай потом идут к тебе, распалённые. Пение — приманка, тело — товар, платье — витрина. Ноги у тебя, Матрёна, хороши, грех такой товар под юбкой прятать. Пусть видят — пусть платят.

Элеонора слушала — покорно, деловито (ремесло, что ж; показывать товар — дело знакомое).

— А повернёшься на сцене, — продолжала Катя, входя во вкус, — так чтоб и задницу сквозь платье видно было. Задница у тебя, Матрёна, — Катя оглядела диву с тем самым барышничьим прищуром, — роскошная. Что и говорить. Такую грех прятать. Повернёшься к гостям кормой, качнёшь — и готово, половина залы в номера запросится. Роскошная жопа — лучшая реклама. Пусть любуются сквозь платье, пусть мечтают, пусть платят за мечту.

И тут Катя — не удержалась. Давно хотела. С того первого дня, как дива сошла с коляски, царственная, гонористая, «mon Dieu, какая глушь», презирающая всех, — с того дня у Кати чесалась рука хлопнуть эту гонористую бабу по заднице, сбить спесь, поставить на место телесно, по-хозяйски, как хлопают кобылу на ярмарке, проверяя товар. Теперь — можно. Теперь дива — укрощена, разоблачена, в стойле, товар её — Катин.

И Катя — хлопнула. Крепко, звонко, по-хозяйски, с удовольствием, с тем смаком, с каким хлопают купленную лошадь. Шлёп. Вот так. По роскошной дивиной жопе, которую две недели носила гонористая «синьора Бельканти», а теперь — Катин товар, доходная статья, «лучшая реклама». Давно хотела — и наконец-то. Сбила спесь. Поставила на место. Приложила руку к товару — хозяйски, властно, насмешливо.

— Вот так, — сказала Катя довольно. — Жопа хорошая. Поработает славно.

И вот что любопытно — Элеонора приняла всё это... хорошо. Не как унижение. Не как окончательное втаптывание в грязь. А — странным образом — как прощение и приём.

В голове у Матрёны Кукушкиной уложилось так: разоблачили, прижали, а — не выгнали, не ославили, не пустили по миру (а могли бы — компромат-то убийственный). Напротив — оставили, пристроили, дали дело: петь и зарабатывать. Приняли. В команду. Простили враньё про Милан — и взяли к себе. Хозяйка хлопнула по заднице — так это ж по-свойски, по-доброму почти, как своя своей, как принимают в компанию, в семью почти; не злобно, а весело, хозяйски, «поработаешь славно» — похвала, одобрение, принятие. Значит — я теперь тут своя. Пристроена. Под крылом. Не одна, не на улице, не ославленная, — а при деле, при хозяйке, в команде. И петь дадут, и деньги будут, и защита. Чего ж ещё? После скитаний, долгов, скандалов, бегства в Сибирь — тут вдруг пристанище, место, дело. Пусть в полупрозрачном платье ноги да задницу показывать, пусть в номера, — да ей не впервой, ремесло знакомое, а тут хоть с хозяйкой по-честному, под крылом, при постоянном деле. Приняли. Простили. Своя.

И потому — все указания восприняла с готовностью, даже с благодарностью почти. И в полупрозрачное платье оденется с охотой. И ногами сквозь платье светить будет, и задницей вертеть к гостям, распаляя тузов, — всё выполнит, старательно, умело, с тем самым аппетитом к ремеслу, что Катя углядела в щель. И в номера пойдёт после пения — покорно, споро, доходно. Укрощена вполне — да ещё и рада, благодарна, предана почти (как бывают преданы те, кого прижали, а потом пригрели: за то, что не добили, а приняли).

Оставалась Настя — у которой к «деревенщине, крутящей задом» был свой счёт. Но Настина расплата вышла не злой, а — по-народному, по-простому — почти доброй, обезоруживающей. Это Катя тоже увидит, своим чередом.

А с Настей у «синьоры Бельканти» вышло вот как.

Настя-то обиду помнила — как дива, сойдя с коляски, обозвала её «деревенщиной, крутящей задом», как фыркнула на её танец, на её славу, на газеты: «голым задом вертеть — много ума не надо, всякая девка сумеет». Помнила и затаила.

И когда диву свели в номера, когда «синьора Бельканти» лопнула и обернулась Матрёной из Ельца, — Настя свой час углядела. Но мстить зло, язвить, добивать — не стала. Не по ней это. Она подошла к укрощённой диве просто, по-бабьи, без злобы — и сказала, глядя прямо, с мужицкой своей усмешечкой:

— Что, Матрёна Савельевна? В номера, значит, пошла. Задом, значит, и ты зарабатываешь теперь. — Пауза. — А говорила — «деревенщина, много ума не надо». — Настя хмыкнула. — Вон оно как вышло-то. И тебе задом пришлось. Только я-то задом — на сцене, при всех, честно; а ты — по кабинетам, тайком. Я-то одним задом, а ты — и задом, и спереди, и как прикажут. Так кто ж из нас, Матрёна Савельевна, деревенщина-то? Я хоть одному ремеслу учена, а ты — всем сразу.

И всё. Не стала добивать. Сказала — и отошла.

Укол был меток — вся спесь дивина тут и легла окончательно: срезала её простая Настя одной фразой, без книжных слов, народной сметкой, и крыть было нечем (правда ведь — и задом, и спереди, и как прикажут). Но укол вышел — не злой. Не мстительный. А какой-то простой, почти добродушный, обезоруживающий — так, по-бабьи, ставят на место зарвавшегося, беззлобно, даже с долей грубоватого сочувствия: мол, слезла с небес-то, ну и ладно, теперь обе товарки, чего уж.

И Элеонора — странным образом — не озлобилась, а приняла и это. Как приняла хлопок по заднице от Кати — за принятие в команду. Настин укол вышел ей не врагом, а — вроде прописки среди своих, грубоватой бабьей инициацией: срезали, поставили на место, признали ровней, товаркой. Своя теперь. И дива, посрамлённая, вдруг — хмыкнула в ответ, почти с облегчением:

— Твоя правда, девка. Твоя правда. — И махнула рукой. — Все мы хороши.

На том и помирились. С того дня — ладили: обожжённая звезда без билета и разоблачённая «итальянская прима», обе — товар, обе — при хозяйке, обе — в стойле, да без вражды уже, по-свойски.

А Катя, узнав про Настин укол, усмехнулась: вот и Настя по-своему диву укротила — не кнутом, как я, а словом метким, да без злобы. Оттого и держу её. Оттого мы и пара.

12.6. Книжники и практики

Кружок собирался по-прежнему — в тайной комнате за баней, куда вёл ход через чулан с вениками и кадками. Снаружи — «Пти-Пари», канкан, Оффенбах, пьяные купцы, кабинеты; а тут, за толстой стеной, при свече, за самоваром, — книги, споры, запрещённые брошюры, тонкая бумага с мелким шрифтом, привезённая контрабандой из-за границы. Соломин приводил учителей, ссыльных, студентов-недоучек. Рахметов — своих, порезче. Читали, спорили, пили чай до петухов.

Катя сидела тут хозяйкой этого угла — и всё чаще слушала молча, с нарастающим раздражением.

Спорили в тот вечер — о том же, о чём всегда. О том, как спасти Россию, как делать революцию, кто движущая сила, когда и с чего начинать. Молодой марксист — из новых, из тех, кто молился на Маркса, как прежде молились на Чернышевского, — держал речь, горячо, книжно, с цитатами.

— Поймите же, — говорил он, блестя очками, — история имеет законы! Железные! Капитализм разовьётся неизбежно, пролетариат вырастет неизбежно, и так же неизбежно, по законам развития, свергнет буржуазию! Наше дело — не торопить, не бунтовать сгоряча, по-бакунински, по-народнически, а изучать, организовывать, ждать, покуда созреют условия! Нельзя перескочить через стадию! Крестьянин ваш — это вчерашний день, это мелкий собственник, реакционная масса; будущее — за фабричным рабочим, за пролетарием, и только когда его наберётся довольно, когда созреет…

— Созреет, — перебил его Рахметов, сухой, твёрдый, нетерпеливый. — А пока он созревает, народ мрёт. Голод был — помните? Люди землю ели. Ждать, покуда «созреют условия»? Да нужно действовать, бить, жечь, подымать! Якобинский кулак нужен, диктатура, террор — а не ваше «изучать и ждать»!

— Террор — авантюра! — вскинулся марксист. — «Народная воля» уже попробовала — царя убили, и что? Ничего! Реакция, виселицы, разгром! Потому что нет законов на их стороне, нет науки! А у нас — наука, у нас Маркс…

— А у меня — народ, который сейчас с голоду пухнет, — отрезал Рахметов, — покуда вы с вашим Марксом ждёте «стадий»!

И пошло. Марксисты против народников, «наука» против «воли», «ждать» против «бить», цитата на цитату, Маркс на Бакунина, Плеханов на Лаврова, «объективные законы» на «субъективный фактор». Горячо, учёно, бесконечно. Соломин пытался мирить. Кто-то поминал Кропоткина, кто-то — Ткачёва, кто-то — общину, кто-то — фабрику. Дым, чай, очки блестят, кулаки стучат по столу.

Катя слушала — и молчала. И думала своё.

Вот они, думала она, оглядывая разгорячённые лица. Умники. Книжники. Головастые — спору нет, начитанные, иных и не переспоришь, в книгах — как рыба в воде. Маркс, Бакунин, стадии, законы, формации, движущие силы. Знают много, говорят складно. А толку?

А толку — чуть. Потому что — болтуны. Споры, споры, споры — а дела нет. Год спорят — и ещё десять будут. «Созреют условия», «изучать», «ждать», «не торопить», «нельзя перескочить». Или наоборот — «бить, жечь, подымать», а как бить, кого бить, на какие деньги, какими руками — не знают, не умеют, да и трусят, по правде-то. Горазды на словах. А доведись до дела — растеряются, переспорят сами себя, испугаются, увязнут в своих «стадиях» и «законах». Народ, говорят. А народа не знают. Крестьянина — «вчерашний день, реакционная масса». Бабу продажную, солдата, бабку-отравительницу, купца, чиновника — это жизнь, это люди, это сила, — а они про «пролетариат» книжный толкуют, которого в Томске-то и нет почти. Жизни не знают. Книги знают, а жизнь — нет.

У неё, у Кати, — наоборот. Книг она читала мало (что Симонсон давал, что в кружке нахваталась). Маркса толком не осилила, в «стадиях» путалась, Бакунина с Кропоткиным не больно различала. В голове — каша, она это про себя знала: Маркс и Апокалипсис, Кропоткин и бабкин наговор, Лавров и жёлтый билет, «экспроприация» и «буду судить живых и мёртвых». Каша. Зато — каша живая, кипящая, работающая. Она брала из всякой книги, из всякого учения — не доктрину, не систему, а то, что годилось в дело, что питало её косу, её огонь, её суд. Маркс сказал «эксплуатация» — хорошо, слово верное, беру. Бакунин сказал «разрушение есть творчество» — беру. Апокалипсис сказал «буду судить» — беру. А «ждать, покуда созреют стадии» — не беру, в печку, мне ждать некогда, мне мстить сейчас.

Книжники знают — да не делают. Я знаю мало — да делаю.

Вон, думала она, пока они тут год спорят о «методе», я — отравила купца, спалила бордель с умыслом, подвела Нану под каторгу, повязала прокурора, выкупила дом, открыла дело, собрала деньги, укротила диву, веду Нину, держу Настю. Дела. Настоящие. А они — спорят о «движущих силах». Я сама себе движущая сила. Коса — вот моя наука. Деньги, компромат, яд, огонь, тело — вот мои «объективные законы». Пока они цитируют Маркса, я строю — тихо, по кирпичику — машину мести, машину суда. Банду строю. Деньги коплю. Людей прибираю к рукам. К тому дню, когда коса пойдёт гулять не по томскому купцу, а повыше, по тем, кто виноват по-крупному.

И в тот вечер — она додумала до конца то, что зрело давно. Размежевание.

Кружок — это одно, решила она твёрдо, слушая бесконечный спор. Банда — другое. Нельзя мешать.

Кружок — пусть будет. Польза от него есть: книги (нахвататься слов, понять врага, взять что годится), связи (ссыльные, студенты, люди по всей Сибири и дальше, явки, адреса, каналы), прикрытие (мало ли кто ходит чаю попить да книжку почитать). Соломин, Рахметов, учителя — пусть спорят, пусть читают, пусть мнят себя делателями революции. Мне от них — слова, связи, ширма. Пусть живут.

Но дело — настоящее дело — не с ними. Они не годятся. Болтуны, трусы, доктринёры, увязшие в «стадиях». Доведись до настоящего — до крови, до денег, до риска, до того, чтоб человека убить или ограбить казну, — они либо испугаются, либо переругаются о «методе», либо выдадут сгоряча. На них нельзя. Для дела нужны — не книжники, а практики. Не умники, а верные. Не те, кто знает, а те, кто сделает.

И у неё такие — есть. Складываются. Банда трёх.

Настя — тело, руки, танец, народная смекалка, слепая преданность; скажи «сделай» — сделает, не спросит, не струсит, не предаст. Нина — ум, образование, французский, светскость; созреет — будет «приличная дама» для тонких дел, куда Настю не пошлёшь. И она сама, Катя, — воля, голова, стратегия, коса. Трое. Не кружок болтунов — а кулак. Малый, тайный, верный, практический. Кружок — для слов и связей, на виду (относительно); банда — для дел, в глубокой тайне, никому, даже кружку, особенно кружку. Пусть книжники спорят о революции в принципе — а мы будем её делать на деле, по-своему, своими руками, для своей цели. Они — про светлое будущее человечества; я — про суд над виноватыми. Им — теория; мне — коса.

Вот так, думала Катя, глядя на спорящих сквозь дым. Вы — книжники. Я — практик. Вы знаете, да не делаете. Я сделаю. Берите свои книги, свои стадии, свои законы — а мне дайте связи да адреса, и ступайте спорить дальше. Дело — моё. Банда — моя. Суд — мой.

Она усмехнулась про себя — и, когда спор выдохся, сказала вслух, негромко, то, что думала, — но так, чтоб сошло за простоту, за бабье, не выдав настоящей мысли:

— Спорите вы складно. Только, пока спорите, купцы жиреют, чиновники воруют, а народ как мёр, так и мрёт. Книги — это хорошо. А дело-то когда?

Марксист поморщился (баба, что с неё взять, наивность, не понимает диалектики). Рахметов — глянул одобрительно (вот, мол, и простая женщина чует: действовать надо). А Соло-

мин — посмотрел на Катю внимательно, чуть встревоженно даже, будто что-то расслышал за простыми словами, какую-то твёрдую ноту, не бабью вовсе. Но смолчал.

А Катя допила чай и подумала: вот и ладно. Пусть думают — простая баба про «дело» вздыхает. А я уж своё дело — сама сделаю. Без вас. С теми, кто не спорит, а слушается.

Трещинка, впрочем, кольнула — под конец, когда расходились.

Молодой марксист, остывая, уже примирительно, уже по-доброму, сказал, собирая брошюры:

— А всё же, Екатерина Михайловна, мы ведь об одном печёмся — о свете. Чтоб людям светло стало, хорошо, по справедливости. Ради будущего стараемся, ради счастья всеобщего. Свет несём.

Свет несём. Катя шла потом тёмным двором, к дому, и эти слова вертелись. Свет несём. А я? Я что несу? Купца отравила, бордель спалила, диву в стойло загнала, Нину на продажу ращу, Настю в руках держу, деньги кровавые коплю. Свет? Нет. Какой тут свет. Я пожар несу, не свет. Суд, кару, косу, тьму. Мщу за прошлое, а не строю будущее. Они — про счастье всеобщее, про свет; а я — про мёртвого Симонсона, про Любку в гробу, про свою клятву. Я не светоч. Я Смерть.

И на миг — тонким волоском — кольнуло: а чем же я тогда лучше тех, кого сужу? Купца травлю — а сама диву в номера гоню. Нехлюдова растоптала за то, что людей ломал, — а сама Нину ломаю, тоньше да злее. Анну Марковну разорила — а сама теперь хозяйка борделя, девками торгую. Чем я лучше? Сужу живых и мёртвых — а судить-то, может, первую меня надо.

Но — она тряхнула головой, отогнала. Как всегда отгоняла. Волосок — тонок, рвётся. Нет. Я — коса. Мне не о том думать. Отомщу — тогда и сужусь, коли жива буду. А покуда — дело. Банда. Деньги. Суд. Некогда мне в душе копаться, как они в книгах. Копаться — их забава, книжников. Моё — делать.

И ушла в дом — к тетрадям, к кассе, к делам, отогнав волосок. Но волосок — остался. Тоньше нитки, а не рвётся совсем. Копится.

А наутро пришёл первый слух с низовьев — с Волги, из Поволжья, с юга: холера. Идёт холера, большая, страшная, та самая, что уже косила по России; ползёт вверх, к Сибири, к Томску. Пока — слух, пока — далеко. Но Катя, услышав, не испугалась, как другие, а — по привычке своей, страшной, — прикинула холодно: беда идёт. Большая беда, общая. А в большую беду — большая ловля: кто наживается, кто ворует, кто мрёт, кто бунтует, кто виноват становится. В мутной воде — косе раздолье. Поглядим, что холера принесёт. Кого выявит. Кого подставит под косу.

Беда ползла к Томску. А хозяйка «Пти-Пари» точила косу и ждала.



Глава 13. Холера

Шутя ее ранил охотник прелестный
Из песни про чайку.

13.1. Гостья с низовьев

Холера пришла в Томск в июле — поднялась-таки по реке, как и сулил слух, как и предрекал Нехлюдов перед отъездом: голод, тиф, а за ними, с низовьев, с Волги, — она.

Пришла не громом, не сразу. Пришла тихо, по-воровски, как и ходит эта болезнь. Сперва — слухи: там-то, на пристани, свалился грузчик; там-то, в Заistoke, в переселенческом бараке, померли двое за ночь, синие, скрюченные. Потом — больше. Потом — газеты перестали молчать (сперва, как водится, молчали: «не сеять паники», писали про «желудочные заболевания от дурных арбузов»), а после уж и писать стали прямо: холера. Азиатская. Та самая.

И город переменился. Обуял его страх — тот особенный, липкий, подлый страх перед заразой, что хуже страха перед войной или пожаром; потому что враг невидим, потому что он в воде, в воздухе, в немытой руке, в чужом дыхании, и не знаешь, откуда придёт и когда тебя тронет. Закрылись лавки, что торговали с рук съестным. Опустели пристани. По дворам жгли можжевельник и серу — окуривали. На воротах иные малевали мелом кресты — от беды. Попы служили молебны о избавлении. По улицам поползли подводы — холерные, крытые, с бочками извести, с людьми в клеёнчатых балахонах; и где проезжала такая подвода, там крестились и отворачивались.

А хуже всего была самая смерть. Катя, повидавшая всякой смерти — и Симонсона, таявшего в тифозном жару, и Любку, сгоревшую от сепсиса, и Женьку, задохнувшуюся в дыму, — и та содрогалась, слушая, как умирают от холеры. Быстро. Страшно. Унизительно. Утром человек здоров, весел, ест, пьёт, смеётся — а к вечеру его скрутило, понесло, вырвало, и пошло, и пошло, без удержу, так что в сутки вытекал из него весь сок, вся влага, и делался он — как выжатая тряпка, как мощи: глаза провалились, щёки ввалились, нос заострился, кожа посинела, собралась морщинами, пальцы скрючило судорогой, голос пропал, остался хриплый шёпот. И в этакой-то срамной, мокрой, вонючей муке — отходил. За сутки. За полсуток иные. Красавец, богатырь, кровь с молоком — а наутро синий сморщенный труп, которого и класть-то в гроб страшно.

13.2. Чистые руки

В «Пти-Пари» холеру боялись пуще всех.

Боялись — девки. И было отчего. Девкам страх этот ложился на самое их естество, на самое ремесло, на то, чем они жили и чем были.

Потому что девки были — молоды и красивы. Тем и торговали. Тело — их товар, их капитал, их единственное достояние. Белая кожа, крепкая грудь, гладкие плечи, румянец, блеск глаз, свежесть губ — вот что они продавали, вот на что жили, вот чем гордились, чем брали над другими, в чём была вся их краткая бабья сила и власть. И вдруг — холера. Болезнь, что из красавицы в полсуток делала синюю скрюченную мумию. Что отнимала не просто жизнь — отнимала красоту, прежде жизни, у всех на глазах, превращала живую прелесть в мертвый срам. Для девки это было страшнее вдвойне, втройне: не только помереть, но помереть — вот так, подурнев, скрючившись, обделавшись, из цветка — в падаль, у всех на виду.

И они боялись — до дрожи, до слёз, до истерики. Крестились. Шептали молитвы, которых не читали годами. Жгли в комнатах можжевельник, так что весь дом провонял дымом. Нюхали камфару, носили на шее мешочки с чесноком, с ладаном, с какой-то дрянью, что присоветовала знахарка. Не ели сырого — ни фруктов, ни зелени, ни квашеного; варёное только, да и то с опаской. Не пили сырой воды — Катя велела всю воду кипятить, и пили кипячёную, тёплую, противную, да хоть кипячёную. Колодец во дворе заколотили — мало ли, вдруг зараза в воде; воду брали только из бани, из котла, перекипячённую.

А пуще всего — мыли руки.

Мыли руки беспрестанно, истово, до красноты, до того, что кожа трескалась. Доктор в газете прописал, да и Катя велела (она-то, читавшая медицину профессорскую, знала толк в заразе): холера — от грязных рук, от немытого, от нечистой воды. И девки, ухватившись за это, как за единственное спасение, — мыли, мыли, мыли. С мылом, с карболкой, с содой. После всякого дела, после гостя, перед едой, после еды, просто так, от страха. Стояли у рукомойников, у тазов, в бане — красивые, молодые, полуодетые, в одних рубашках, с распущенными волосами — и терли, терли свои белые руки, свои тонкие пальцы, до локтя, до боли, со страхом в глазах, будто можно было смыть, стереть, оттереть с себя подступающую смерть.

И было в этом — страшное, щемящее. Катя, глядя на них, видела этот контраст, и он резал ей по сердцу (по тому последнему живому в сердце, что ещё отзывалось, под косой, под чёрным).

Вот — молодость, красота, тело в цвету: девка стоит у таза, в рубашке, сползшей с плеча, волосы рассыпались, грудь белеет, кожа гладкая, атласная, глаза — живые, блестящие; вся — весна, вся — соблазн, вся — живая горячая плоть, за которую мужики платят, дерутся, сходят с ума. А руки — трёт, трёт, с карболкой, до красноты, трясущимися пальцами, и в живых блестящих глазах — не соблазн уже, а ужас, животный, смертный. Красота — и страх. Цветущая плоть — и невидимая смерть, что ходит рядом, которую пытаются оттереть мылом с этих вот гладких белых рук. Юность, свежесть, атлас кожи — и в полушаге синяя скрюченная мумия, в которую всё это может обратиться к завтрашнему вечеру. Роза — и червь в ней. Невеста — и саван.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.